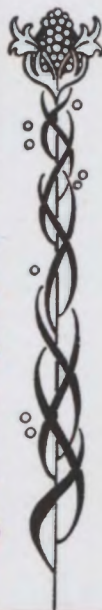


В. В. Розанов



Признаки времени
Статьи и очерки 1912 г.





В. В. Розанов

Признаки времени



В. В. Розанов

Признаки времени

Статьи и очерки 1912 г.

Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову

Письма В. В. Розанова к А. С. Суворину



В. В. Розанов

**Собрание
сочинений**

В. В. Розанов

Признаки времени

Статьи и очерки 1912 г.

Письма А. С. Суворина
к В. В. Розанову

Письма В. В. Розанова
к А. С. Суворину

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
«Алгоритм»
Издательство «Республика»
2006

УДК 1
ББК 87.3
Р 64

Федеральная программа книгоиздания России

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

Составление, подготовка текста и комментарии
В. Н. Дядичева, А. Н. Николюкина, П. П. Апрышко

Проверка библиографии *В. Г. Сукача*

Указатель имен *В. М. Персонова*

Розанов В. В.

Р 64 Собрание сочинений. Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. Сост. и коммент. В. Н. Дядичева и А. Н. Николюкина. — М.: Республика, Алгоритм, 2006. — 430 с.
ISBN 978-5-9265-0307-1

Настоящий очередной том Собрания сочинений В. В. Розанова составляют его статьи и очерки 1912 г., впервые собранные в отдельную книгу. Основные темы и здесь традиционно розановские: размышления о России и русской культуре, о церкви, положение дел в сфере образования, семейный и национальный вопросы. Обрисовывая «признаки времени», Розанов говорит о характере перемен «умственного климата» в России. В том включены его книга «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову» (1913), а также письма Розанова к А. С. Суворину (публикуются по рукописи).

Издание адресовано всем, кто интересуется историей русской философии и культуры.

УДК 1
ББК 87.3

© ООО «Алгоритм-Книга», 2006
© Издательство «Республика», 2006
© А. Н. Николюкин. Составление, 2006



Статьи и очерки 1912 года

1912 и 1812 годы

Новый, 1912-й и ушедший в вечность 1911 год, в их встрече-прощанье, незаурядные годы. И минувшее, и грядущее напряжено, полно интереса, полно многозначительности. От того, как мы проживем 1912 год, как будем вести себя ближайшие 366 дней, сумеем ли выдержать гору труда, и может быть, угроз, страданий, какие на нас надвинет этот год, – от этого будет зависеть, по всему вероятно, вся остающаяся половина первой четверти XX века. Ответственность большая, огромная. Это – призывный год. Он зовет наше мужество, рассудительность, осмотрительность. Дремать невозможно ни одного дня: уже 2 января все в России должно быть начеку, насторожено, внимательно. Бокалы шампанского, которые разопьются 1 января, к вечеру должны быть убраны и накрепко заперты на целый год. 1912 год должен быть годом величайшей трезвости и ясности ума, свежести ума. Он должен быть стариком по сообразительности и юношею по готовности к борьбе.

Рост народного самосознания, который попытались остановить убийством главы правительства, но вместо остановки – еще выше подняли волну государственного и исторического чувства: таков главный смысл и господствующая мелодия 1911 года.

Конец и итоги 3-й Г. Думы и предстоящие выборы в 4-ю Г. Думу – вот на чем будет сосредоточена внутренняя жизнь 1912 года, ее, так сказать, ежедневная лихорадка и горячность.

Но это – именно ежедневное. Это наше обывательское внутреннее дело. Именно в 1912 году оно отступает на задний фас перед громадными явлениями международной жизни, которые слагаются и будут развиваться уже помимо нашей воли и нашего определения, в которые мы волею-неволею будем вовлечены; и вот здесь хорошо провести свой государственный корабль без качаний, без ушибов, без потерь и к возможному приобретению и укреплению своей исторической ситуации – это составит самую важную, первейшую задачу 1912 года. Как и 1812 год, наступающий год будет по преимуществу внешнеполитическим, международно-политическим, военно-дипломатическим. Именно здесь мы не должны дремать ни минуты.

Ошибки Думы могут быть поправлены Думою же. Но ошибки дипломатии вообще не поправимы ничем. Как бы мы ни сознавали их «задним умом», поздним умом, — другие державы уже не допустят нас поправлять раз испорченное дело.

Китай и Персия, облегающие почти всю нашу азиатскую границу, границу неизмеримую, — разлагаются, распадаются или находятся в состоянии никогда не бывалой анархии. Около стран этих сомкнуты интересы держав всего мира. И следовательно, с каждою из держав мы можем оказаться в опасном трении, грозящем изломом. Отношения здесь — не только прямые, но и косвенные; отношения зависимые, отражательные, в узел которых в конце концов все вовлечены. Здесь столько скрытого и непредвиденного, столько обусловленного «секретными статьями» договоров, что всегда можно натолкнуться на неожиданность не только неприятного, но и опасного свойства. Тайные подводные мели здесь гораздо тревожнее, нежели торчащие над поверхностью воды грозные скалы. Наше министерство иностранных дел входит в годину величайшей проверки своей опытности и своего ума. «Мы от вас ждем», — может сказать г. Сазонову вся Россия.

Наше отношение к кардинальным точкам Запада — Германии, Франции и Англии и к главной точке Востока — Японии, по-видимому, удовлетворительно; в этом смысле мы, кажется, вправе думать, что события в Персии и Китае не застали нас неподготовленными. За прошлое, за «предисловие» к драме, может быть «раздирательного содержания», Россия может сказать спасибо своему иностранному ведомству. Не будем постоянно готовы к гневу и раздражительности: гневаться вовремя получает право только тот, кто умел вовремя благодарить.

И наконец, сюда вмешивается великая память 1812 года: это — третье содержание, третья тема 1912 года. Но век назад все задачи были проще, и в этом одном смысле были легче. Не было той ухищренности, с одной стороны, и какой-то внутренней измены, внутренней изломчивости людей и отношений — с другой, какая омрачает наши более темные времена. Тогда против величайшего военного гения всей всемирной истории Русь поднялась как один человек: и сломила его верностью своею, единством своим, преданностью вере и земле своей. Вот это-то единство поколебалось в Руси: и от этого ослабела Русь. Поколебалась в ней верность, крепость. Измена точит ее в разных местах, в разных кусках: и кровь, по каплям вытекающая постоянно, в долгих годах, — не дает полноты сил и сердцебиения в нужный грозный час. Вот что омрачает Русь 1912 года. Вот исцеления против чего мы хотели бы найти в воспоминаниях великого 1812 года. В 1812 г. перед великими задачами стояли лучшие люди, нежели *мы*; стояли тогда, говоря словами Лермонтова:

Богатыри — не вы.

Вот в чем горе... Тот народный рост, крепость и прямота, в которую мы всего-то года три-четыре начали входить, еще далеко не достигла должной

высоты, не получила того абсолютного господства и признания, которые принадлежат ей по праву истинного *первородства*. Русские в России – *перворожжденные*, и им не многое, но *все принадлежит*. Прочие только соучаствуют русским в русской жизни; прочие, *послерожжденные* – лишь *допущенные*, и не более. Между тем посмотрите на положение дела хотя бы в печати, да и не в одной печати: чухонец, которого истории числится всего один век, поднял голову над русскими, кичась какою-то «культурой», состоящею в штиблетах на поваре; и находятся поистине презренные русские, поистине предатели русские, живущие здесь же, в Петербурге, которые захлебываются от этой штиблетно-поварской «культуры» Финляндии и тычут ее в пример русским, у которых *тысяча лет* истории за плечами. Вот явлений такого печатного позора и такого общественного позора не было в России 1812 года. Да: если бы не измена за плечами, и сейчас Русь была бы непобедима.

Да взойдет над нами солнце 1912 года под осенениями 1812 года. День за днем, во всех уголках России, будем работать *все* над истощением этой измены, над укреплении единства Руси, *слитности* Руси. Пусть она будет как живая литая бронза, несокрушимая и вечная.

Рост народного сознания скажется и в выборах в четвертую Г. Думу. Партии, в которых нет ничего русского, которые *представляют не русский народ*, а *представляют разные газетные и журнальные кружки*, в несколько десятков и сотен лиц величиною, – были отброшены последние пять лет в сторону, и будем надеяться, что они никогда не вернутся к тому неестественно нелепому положению, какое заняли в 1-й и во 2-й Думе, явившись с видом каких-то господ России. Журналисту место в журнале, а не в законодательном учреждении. Русский народ будет выбирать в Думу людей земли, людей реальной работы, а не говорунов, с переходом их в болтунов. Всего этого довольно наслушалась Россия, и все это никого более не удивляет и не восхищает.

Пусть же солнца 1812 и 1912 годов сольются в одно и осветят нашу Родину благородным светом. Пусть 1912 год не померкнет перед делами и доблестью векового своего пращура-деда.

С Новым годом, добрая, славная Русь!

БОГОСЛОВИЕ

В богословско-духовном мире в этот год, как и в ближайшие, наблюдалась какая-то нерешительность и растерянность, с прослойками нервов, с одной стороны, и анархии – с другой. Продолжается та «переходность», которая открылась предсоборным присутствием и еще несколько ранее известным заявлением «32-х священников» о неканоничном строе нашей церкви, или,

ближе, — нашего церковно-государственного строя. Переходность эта не разрешается ни в ту, ни в другую сторону. Царит пока межеумочность, смена одних проектов другими, при малой вере в эти проекты. Духовная жизнь мятется, как растревоженный Китай. Все это отражается и на учено-литературной производительности. Не в страхе тут дело и не в репрессиях, а в духовном индифферентизме, в отсутствии научного энтузиазма, при котором непременно явились бы и мужество и творчество... Но здесь духовное ведомство только отражает общее положение отечества.

Из богословских трудов за год отметим: *свщ. Сахарова*: «О втором послании ап. Павла к Фессалоникийцам», Сергиев Посад, 1911; *В. О. Иванецкого*: «Филон Александрийский», Киев, 1911; *Н. Ф. Кантерева*: «О патриархе Никоне», Сергиев Посад, 1911; *Ю. А. Кулаковского*: «История Византии», 2 тома, Киев, 1911. Все эти труды отмечены высокими научными достоинствами. Достойный преемник по кафедре церковной истории в Петербургской духовной академии знаменитого В. В. Болотова, проф. *А. И. Бриллиантов*, продолжает издание лекций своего наставника и написал обстоятельную его биографию. Неутомимый *Н. Н. Глубоковский* продолжает издание «Православно-Богословской Энциклопедии». *П. А. Флоренский*, преподаватель Московск. дух. академии, начал в «Бог. Вестн.» печатанием замечательное исследование «О дружбе», философско-психологический очерк. *В. В. Розановым* изданы две книги: «Темный лик» и «Люди лунного света», объединенные одним общим подзаголовком: «Метафизика христианства». «Темный лик» сделался в киевском религиозно-философском обществе предметом специального доклада, прочитанного в марте месяце г. Макасовым; а рецензия на эту книгу известного проф. Московской дух. академии *М. М. Тареева* в академическом органе «Богосл. Вестник» не была пропущена к печатанию. *Г. Розановым* напечатаны также две брошюры: «Библейская поэзия» и «Л. Н. Толстой и Русская церковь». Эти книги и брошюры, лежа вне рамок установленной науки, представляют плод вдохновений автора, часто увлекательных, иногда капризных и всегда возбуждающих споры.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ К НОВОМУ ГОДУ

П. Муратов. Образы Италии. Том II. Москва.

МСМХII. — Сочинения *Ю. Ф. Самарина*.

Том двенадцатый. Письма 1840–1853. Москва, 1911.

Не разбирая, мы только отмечаем для любителей книги и собирателей библиотек появление *продолжения* двух прекрасных изданий, украсивших книжную производительность минувшего года.

Книга г. Муратова была отмечена при появлении первого тома большими похвалами и, кажется, получила большой успех у читателя. Она

вполне этого заслуживает по влюбленному отношению автора к Италии, которая прожила две жизни вместо одной, обычно отпускаемой народам неумолимыми Парками: жизнь язычества и могучей республики, жизнь папства при политической раздробленности и бессилии. Подобного не случилось ни с одною страной: все жили – в одно дерево, в один ствол, с кончиною которого кончалась страна, народ, цивилизация, все. Главный интерес г. Муратова – в итальянском возрождении, он равнодушен к папству и *вере* папской, которая тоже имеет свои тайны и очарования; немного уделяет внимания и классической Италии; истинная его сфера – мастерские художников, живописцев и скульпторов. Но он смотрит не картины: его занимает *личность* художников и их *сюжеты*, т. е. естественно вся *зримая* и вся *воспоминаяся* Италия; и значит, в конце концов, *занимает вся Италия*, но *под углом*, как она *открывается* не верующему, не политику или философу, а – *художнику*. Отсюда и заглавие книги: *Образы Италии*. Он влюблен в ее пластику, в ее воздух, в сцены утренние и вечерние городов и полей... Он путешествует с путешественниками, или путешественники (благоразумно запасшиеся его книгою) путешествуют с ним: а он им рассказывает и воспоминает о площадях, о зданиях, о целых областях, о картинах и статуях, о героях, страдальцах и убийцах Италии. Рассказывает об отдельных улицах и интереснейших закоулочках. Известно: закоулочки всегда интереснее улиц. Прочтите у него, в описании Неаполя или в «образе Неаполя», о *Via di Toledo*.

Второй том «Образов Италии» посвящен Риму, Неаполю и Сицилии. Характерны самые названия глав: «Чувства Рима», «Римская Кампания», «Жизнь в Неаполе». В г. Муратове переплелись: турист, ученый дилетант, страстный библиотечный работник и друг своих друзей: о последнем (не зная автора) я позволяю упомянуть оттого, что весь *том* книги – какой-то дружелюбный, как будто она вытекла из величайшего желания автора «послать» рассказать каким-то нам неведомым приятелям, что он видел, узнал отчасти в натуре и отчасти из книги и что перечувствовал, видя и читая...

Ну, в добрый путь, книжка...

Труды Самарина издаются великолепно и странно: после IV тома, вышедшего в 1911 г., о котором мы в свое время дали отзыв, вышел прямо *12-й том*, содержащий начало переписки Ю. Ф. Самарина. Всех писем издатель, Петр Ф. Самарин, собрал 2170, и печатание их займет не менее пяти-шести, а может быть, даже более томов! Некоторую часть писем, именно адресованных известному русскому иезуиту кн. И. С. Гагарину, бывшему с Самариним в переписке, издателю не удалось достать даже в копиях: они находятся в руках иезуитского ордена. Наиболее интересные письма, из всей груды 2170, к Аксаковым (С. Т., К. С. и И. С.), к Герцену, к Кавелину, к Н. А. и М. А. Милютиным, к баронессе Э. Ф. Раден, к А. О. Смирновой, к А. С. Хомякову, к кн. Черкасскому, к Гоголю и Погодину. Все эти письма Самарина будут печататься *в связи с фазисами государственной и общественной деятельности Самарина*.

Письма эти, изданные в двенадцатом томе за период от 1840 по 1853 г., обращены издателем не к читательской толпе, а естественно к немногим читателям, и главным образом к историкам русской общественности и русской государственности. Самарин был вполне подданный великодержавного царя и вместе верующий и гражданин в обстоятельствах полицейского самоуправства. Вся жизнь его поэтому была страданием, тем более ужасным, что он был просто – патриот. Патриот, отсиживающий дни свои в Петропавловской крепости и едва (по словам императора Николая I) не погребенный в ней на всю жизнь, за что же? За литературное выступление против ост-зейских баронов! Что может быть одновременно и ужаснее, и забавнее такого зрелища! Вот уж скажешь: «Свежо предание, а верится с трудом»...

В высшей степени желательно ускорение этого огромного и фундаментального издания.

«РАНЕНАЯ» МОЛОДЕЖЬ

I

Если бы не способность к наивности, люди не были бы так счастливы. Г-жа Елизавета Кускова, по собственному признанию принадлежащая по возрасту к рядам «отцов», по известной терминологии Тургенева, в то же время считает себя руководительницею учащейся молодежи и почему-то даже ответственною за ее судьбу. Летом она поместила вызывающий фельетон «Раненые» в «Русск. Вед.», а теперь в той же газете пишет «Еще о раненых». «Ранеными» она называет не тех, кто был исключен из учебных заведений или выслан и проч. О нет: их она считает здоровыми и даже здоровенными. «Раненые» – это те, которые размышляют, колеблются и вообще по каким-то душевным причинам отказываются следовать еще и еще за Елиз. Кусковою. А следовать за нею, как она нисколько не скрывает в статьях, где везде над «i» поставлены точки, – значит совершать социал-демократические акты... Нужно отдать ей честь: пишет она вообще лучше, яснее и тверже, чем профессора московской газетки, весьма и весьма размягченные и склизкие... Пишет так, что она может нравиться. И нравилась бы, если бы не сознание, до чего все ее призывы исторически неуместны и социально-младенчески, а в отношении нашей бедной России и положительно преступны. Она хорошая писательница, но отвратительный политик. И именно: она безжалостный человек и наивный публицист.

Прежде всего, она не замечает в пылу учительского жара, что и раньше-то около нее собиралась молодежь не первого сорта по уму и таланту. И об этом написала она сама. Не заметили этого ни редакторы газеты, которые иначе посоветовали бы ей убрать некоторые строки и из летнего фельетона, и из теперешнего; не заметила и авторша-пропагандистка. Именно летом она приводила очевидно подлинные разговоры с некоторыми «ранеными» из учащейся

женской молодежи. Один из них прямо ударил меня по нервам, как стих Некрасова «пронзительно-унылый»: курсистка ей заявила, что она уклоняется от политических бесед и вообще от старого пути ну хоть народовольцев и т. п., и т. п., потому что нашла новые пути. На вопросы Кусковой: «Какие?» «Что?» — она долго молчала, но потом заговорила «с мукою», что «человек есть полное существо», что «одна политика не может заполнить всей души», что в душе есть «и другие порывы, например к красоте». С тоской, как мать, потерявшая дитя, Елиз. Кускова ее спрашивает: «Ну, что же? декадентство? эти изломанные стихи?» — «Нет, *красота линий*», — ответила курсистка. Мать-учительница опять допытывается. И поистине бездарное дитя отвечает: «Я хожу теперь... на атлетические состязания». Летом я специально сходил на эти состязания, чтобы, так сказать, «вложить персты» в увлечение курсистки: такого тупоумного, жирного (ведь мускулатура издала кажется «жирным телом») и отвратительного зрелища я никогда в нашей одухотворенной Европе не видел. О, какое безрассудство воображать, что наша атлетика хотя каплю содержит в себе из «греческой борьбы», которую мы знаем по мраморам.

Друг и ученица Кусковой, «распропагандированная было ею» (ее точки над «i») и к которой она обратила (переданные в фельетоне) интимно-глубокие слова и вопросы, ответила:

— Да! Меня увлекают линии человеческого тела...

«Линии» вот этих до пояса оголенных мужиков-буйволов. Поистине «стих пронзительно-унылый». Так вот уровень умственного развития и культурной воспитанности тех, кто производил среди учащейся молодежи шум, звал товарок своих бастовать и закрывать учебные заведения и, наконец, создавал социал-демократические акты «известного характера».

Теперь она пишет (17 декабря), как *résumé* нескольких писем, полученных ею в ответ на фельетон о «раненых», — писем и единоличных и коллективных:

«Вот эта молодая аудитория, с *ослабевшими общественными инстинктами*, зачитывается теперь «Санниным», «Последней чертой», «Ключами счастья». Эту молодую, неустойчивую толпу питает беллетристика. Пусть литературные критики определяют» и проч. и проч.

Подчеркнутые мною слова — «с *ослабевшими общественными инстинктами*», — выравшиеся у Кусковой и пропущенные неосмотрительной редакцией, говорят об определенной группе лиц, *хорошо известной Кусковой* и которая немного времени назад проявляла «сильные общественные инстинкты», термин слишком известный, чтобы о смысле его было возможно спорить. Итак, люди «большого общественного подъема» сейчас разошлись.

1) «Они» — к Вербицкой и ее «Ключам счастья», где все герои то и дело раздеваются и одеваются.

2) «Оне» — просто к раздетым жирным мужикам, будто бы как к «эстетике».

Но ведь это совершенно социал-демократические «огарки», и неужели пылкая и наивная Е. Кускова ничего этого не заметила?

Е. Кускова совершенно не понимала, *кто* шел за нею и кого она усиленно *тащила за собой на буксире*. Это была пустейшая часть мужской молодежи и женской молодежи. Но она приложила теперь сама руку к потрясающему известию:

– *Вот мы с этой молодежью и делали революцию...*

Я не преувеличиваю: Кускова не скрывает точек над «i». Но кто же она, сия дева, жена и мать (у социалов все это обычно сплетается)?

Да, талантлива. Стара (ее признание), пылка, определена. Хорошо пишет. Но далее, но ум, но зрелость?

Ну, что же, и в самом деле они надеются лет в 25 *столкнуть* «теперешнее бытие России» – с его тысячелетнего корня? Ибо в социал-демократии это есть предварительное условие достижения всех целей, всех задач... Но ведь для России не составило особенной трудности справиться с двумя польскими восстаниями, 1830 и 1861 гг., причем во втором случае восстал целый край, а в первом случае этот край имел в распоряжении своем и войска. Восстания не только как «студентов и рабочих», но даже и как Разина и Пугачева не составляют просто *ничего* для организованного государства, один мизинец которого сильнее, чем всякое осуществимое и воображимое «общественное движение». Все ведь это – гимназическая война, начатая декабристами с двумя тысячами солдат (исчисление Б. Б. Глинского) и, взамен солдат, с необыкновенно верными женами. Около *плеча* своего – горизонт невелик; и когда «крутит» фабрика с 5–6 тысячами рабочих, причем у каждого рабочего «такая силища», что подкову сгибает, то каждому «с силищей» рабочему представляется, будто против них «Россия не устоит»... и вот они «пойдут» и все «расшибут вдребезги». Между тем бунтующей фабрики Россия даже не замечает, не замечает и губерния, и только слабо-слабо чувствует ее уезд. «*Беспорядки на фабрике, и, пожалуй, дня два продержатся. Поломают машины, и, может быть, директору недобровать, если не подоспеет вовремя воинская команда...*»

«Воинская команда», т. е. *пылинка* в составе России, которой никто и не замечает.

Да посмотрите: «история русской революции» есть собственно история революционного «удирай во все лопатки», и никогда – больше, никогда – лучше, никогда – успешнее. «Как они бегут» и «как их ловят» – это история всей революции. Скажите, что же это за «война», какая же это «борьба»?! Никакой «борьбы» нет, а есть история улавливания и суда. Так, господа, суд же не поле сражения, а вы, – призываете ли рабочих, призываете ли учащихся, – зовете к сражению. Тогда так и надо говорить: «Я, Елизавета Кускова, хочу бежать со студентом до забора, перескочить через забор и, вбежав в квартиру к врачу-еврею (множество страниц в «Былом»), залезть под кровать и переждать, пока пройдет мимо городской». В самом счастливом случае: «Вылезть из-под кровати и плюнуть в спину полицейскому так, чтобы он не заметил», ибо в противном случае придется опять бежать. Никакого

решительно *политического содержания* не было и нет в русской революции, и вовсе никакой нет *«истории русской революции»*, хотя ее писали и русские, и даже какой-то наивный немец, ибо анекдот и серия анекдотов не история, а приключение не политика. А выше анекдота и приключения не могла подняться революция. Если она разрослась в несколько томов довольно красочных и иногда красивых рассказов, то, что же не красиво в жизни молодежи, кого не взволнуют страдания, письма, переписка, дневники, описания тюрем, описания тюремного режима? Разве не волновали всю Россию «Записки из Мертвого дома»? Но «Записки из Мертвого дома» – роман, а не политика или история. Обширный романтический элемент, обширный поэтический элемент несомненен в нашей революции. Этим-то элементом она и изукрасилась, влечет и волнует. Аналогии ей в «байронизме» начала XIX века, а не в движении индипендентов в Англии или монтаньяров во Франции. Как и везде, мы и в революции оказались литераторами; оказались сказочниками и песенниками. В стороне от этого «литературного увлечения», – грозные черты революции показывали такие лица, как Судейкин, Дегаев, Азеф. Вот когда к мечтателям прибавил свое «дело» департамент полиции, то революция переступила за уровень анекдота. А, – тут уже «государственность», с ее железным и неумолимым лицом. Уже из этого соприкосновения с «железом» государства мечтатели могли бы понять, до чего оно для них неодолимо, ибо оно по всем линиям слито из штыков и каменных стен, из бетона, гранита и стали, которые может пронизать германская пушка, но решительно не может с ним ничего сделать стилет Кравчинского, револьвер Ковальского, растрата имущества несчастным Лизогубом, «речь» Засулич и удивительные мемуары Дебогория-Мокриевича. «Решившись, что мы должны жить рабочим трудом, я и такой-то товарищ, две курсистки, одна близорукая и потому в пенсне, заехали в лес и, избрав себе технику приготовления ситцев, стали красить коленкор... Но краски как только высыхали, так и лияли. Опустись в воду выкрашенный кусок, краски отделяются и остаются в воде, а вытаскиваешь – опять прежний коленкор». Да, *фабрика* умеет делать, *буржуазная* фабрика; но филологи и математики университета не умеют красить, и шабаш! Очевидно, нужна фабрика, чтобы были не линючие ситцы, ибо линючие кому же нужны; и *нужна* лежащая под фабрикою буржуазия. Но оставим споры: весь рассказ Дебогория не уступает самым идиллическим страницам Де-Фоз. Но «Робинзон» такой же роман, как и «Записки из Мертвого дома». Беллетристика есть, политики нет. Вся наша «история революции» есть *беллетристика в действии* с ее мотивами, горячностью, богатым личным материалом, с глубоким биографическим интересом, *который обманул всех*, заставив принять роман за историю. Разве Мельшин не вполне романтическая личность и не прожил он всю жизнь для романа? Но читать всю жизнь (до *старости*) роман и чтобы целое общество жило «байронически» больше одного или двух поколений – это психологически невозможно, и, наконец, извините, это недобросовестно. Вот, я слышал *личные рассказы*, в Саратовской губернии есть сельские местности с зараженным

люэсом *сплошь* всем населением, так что рассудительный и твердый священник перестал венчать кого-либо, несмотря на повторные требования из консистории. И, представьте себе, что Дебогорий и Кравчинский, а вот теперь и Кускова со своими «студентами» перед зрелищем такого села или, вернее, таких сел построили идиллический шалаш и спорят, нужно ли им читать «Ключи счастья» или «О смерти супругов Лафаргов, которые так сочувствовали нам», должны ли студенты читать фельетоны Кусковой, очень талантливые фельетоны, или прозаически впрыскивать крестьянам и крестьянкам, матерям и детям ртуть, серу и 606? Знаете: полюбуешься-полюбуешься идиллией, а потом и ударишь кулаком идиллиста:

— Вы, милостивые государи, русский хлеб кушаете, и вас на мужицкие деньги выучили. Так вы потрудитесь вылечить мужика, а не увлекаться цирковыми борцами и «Ключами счастья», воображая, что вы «раненые» Чайльд-Гарольды. Ничего вы не «Гарольды», а просто русские лоботрясы, которых тысячи, и они тротуары топчут и небо копят, но по русской талантности делают это «с литературой».

Дело жесткое (в отношении народа) и отвратительное, если даже его делают и невинные, чистые сердцем люди. Я сказал, что на «литературную школу» хватит одного и не более двух смежных поколений: но у третьего — не хватит сил. «Школа» выдохнется... Социализм был у нас именно «литературною школою», вроде «натуральной школы», вроде романтизма, и эта школа выродилась, умирает.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ОВСЯННИКОВ

(Некролог)

2 января скончался скоропостижно, но в глубокой старости *Николай Николаевич Овсянников*, бывший директор тверской гимназии, ранее инспектор гимназии в Нижнем Новгороде и затем директор училищ в той же губернии... Перечень этих должностей не давал бы повода говорить о нем в печати: но в Николае Николаевиче наше Поволжье потеряло деятельную натуру и неустанно-пылкий ум, всю свою долгую жизнь переходивший от темы к теме, от одной области занятий к другой, хотя в пределах исключительно истории, педагогики и географии; наконец, переходивший от одного цикла взглядов на родину к другому. Ему принадлежат идея и практическое осуществление (через учебники) «концентрических курсов преподавания в гимназиях истории», в освещении *элементарном, среднем и зрелом* одного преподаваемого предмета и даже *тех же самых частей его*. Будучи инспектором нижегородской гимназии, он горячо взялся за изучение нижегородской ярмарки; а в связи с нею — за изучение производительных сил Урала и Камского района. Питомец Казанского университета и странствователь (в связи со служебными перемещениями) по Волжскому бассейну, он положил свой интерес и душу на изучение этого уголка Рос-

сии, необозримого по величине и глубоко интересного по своеобразие и некоторой замкнутости в себе. В Нижнем он был близким другом покойного Гацисского, местного деятеля-статистика и писателя, мечтавшего очень дельно об освобождении провинциальной мысли и провинциальных интересов от «дирижерской палочки» из Петербурга и вообще столиц. Но неугомонная натура Н. Н. О-ва не допускала возможности «замкнуться и погребстись» в Нижнем ли, в его ли ярмарке или даже в целом Волжском бассейне. Он был в высшей степени идейный и вечно пылающий человек; читая постоянно текущую историческую литературу на французском и немецком языках, он увлекался новыми историческими взглядами; так, он перевел на русский язык некоторые главы Тэна о революции. Называя себя в молодости и в средних летах «Рудинным», действительно будучи им, он к более зрелым годам стал переходить к славянофильству и остановился на положительных исторических и политических взглядах Н. Я. Данилевского («Россия и Европа»). Жизнь его, при этой кипучести, протекая в известной «тишине России», принесла ему и много огорчений, — личных, служебных, всяческих. Он не был практиком и «службистом», внося и в службу «нерв», который многим, и притом высшим лицам, казался неугомонностью или проявлением честолюбия. Все бы лежало тихо *по-прежнему*, этот вздох Поволжья 70-х и 80-х годов прошлого века драл нервы высокому, худощавому педагогу, с крепко сжатыми негодующими губами и взором, устремленным в неопределенную даль. Мальчуганы-гимназисты заслушивались его превосходными рассказами на уроках, — рассказами и по истории, и по географии, — но допекали его на переменах. Сверху же уязвлял его по временам умный и малообразованный директор С., впоследствии помощник попечителя Московского учебного округа. Нетерпеливость и горячность Н. Н. О-ва давала к тому поводы и случаи. «Среда» действительно «заедала покойного». Тысячами рассеяны его ученики по Поволжью; рассеяны они по всем родам отечественных «служб и должностей». И пусть все вздохнут о нашем «старом Рудине», который дал красивый пример незасыпающего русского человека... Мир его праху, добрая память его имени.

Книги и брошюры его многочисленны; сотрудничал он в очень многих журналах и газетах, между ними в «Журн. мин. народного просвещения» и в «Нов. Вр.».

ПЕДАГОГИКА КАК САМОДЕЙСТВУЮЩИЙ АВТОМАТ

(К съезду директоров и преподавателей гимназий)

Директора средних учебных заведений и преподаватели древних языков, которые съезжались в Петербург для обсуждения предметов своих занятий, — настолько почтенные лица, что как-то больно и страшно перечить им и тем более вставлять «палку» в колесо, которое они с огромным и ежедневным напряжением катят для пользы семьи и *отчасти взамен семьи* (по слабости

ее средств и по неумению) всех русских людей. Следовало бы всем пишущим давно взять в привычку говорить об «армии учителей» так же осторожно и взвешивая каждое слово, как обычно принято у всех порядочных людей говорить об армии – страдальце-защитнице Родины.

Но рассуждения съезда директоров о проекте высшего городского училища, доклад о коем был прочитан почтенным С. Л. Степановым, окружным инспектором Петербургского учебного округа, вынуждает взяться за перо. Обсуждалась недостаточность программы городских училищ; шел вопрос о пополнении ее одним новым языком; о том, чтобы курс этот вообще довести до уровня приблизительно гимназий, дабы способнейшие из учеников городских училищ могли быть принимаемы в университет, так как, вообще говоря, желательно, чтобы «дети народа имели доступ в университет». Я только привожу канву суждений, но в дальнейшем не буду нисколько критиковать проекта, к которому, так сказать, «единолично» не питаю ни расположения, ни нерасположенности. Он – точка; а буду я рассматривать целое «туманное пятно» подобных точек; в сущности, буду рассматривать *всю* практическую педагогику текущих наших дней.

Собравшиеся – превосходные педагоги; иначе, конечно, и не претендовали бы читать доклады, говорить с кафедры и проч. и проч.!... Только *самосознание* может дать твердость *тона* перед лицом десятков видных педагогов, притом не одного Петербурга. Итак, это дело твердое: люди лучшие по *мастерству обучать наукам* юношество и отрочество, дать урок, разъяснить заданное и проч. и проч. и проч.

Однако ведь это может случиться: человек, ну даже старик, в темной ночи превосходно нащупывающий палкой почву и смело идущий вперед по тротуару и даже по лесу, *уверенный в каждом своем шаге*, – тем не менее *слеп* и совершенно не видит, куда он идет и откуда вышел, и не замечает очень близкой опасности, даже угрожающей его жизни, в 2–3 саженьях расстояния от него! Той опасности, которую может увидеть совершенно легкомысленный мальчик со стороны, но у которого просто – два свежих, зрячих глаза!

Сразу же выскажу всю свою мысль.

1) Виртуозы в *технике преподавания* совершенно естественно и до известной степени *неодолимо*, фатально и роковым образом, будут вечно и нетерпеливо, жадно и настойчиво расширять и удлинять программы *вообще всяких учебных заведений*, о коих *когда-либо* и *где-либо* зайдет у них с кем-нибудь речь. Они будут просить. Они будут доказывать. Они будут иллюстрировать примерами всего света. Плакать, стонать, выть, – пока не «удлинят»; конкретно – пока «правительство не удлинит». «Правительство», – видя, что просят такие почтенные люди, в конце концов «удлинит».

Будьте уверены, что за «одним новым языком» лет через 15–20 попросят и «второго нового языка», а к «курсу приблизительно гимназий» упростят прибавить «немножко и высшей алгебры»... «Германская культура», можно ли обойтись без немецкого языка», – обойтись «русскому даровито-

му мальчику, из которого, может быть, со временем выйдет Ломоносов или Менделеев»...

Директора или учителя так красноречивы, благодеяния их России, на самом деле благодеяния – так твердо установлены, что и рта не посмеет открыть какой-нибудь «регистратор», лавочник, швейцар, дворник, обыватель «вообще», вообще «просвирия», вообще «салоппница», и сказать:

– Нам это совсем не нужно.

«Не нужно» – и шабаш. Директорам в высшей степени «нужно», «легко устроить», «счастливы» будут талантливые преподаватели преподавать, и вообще «все по маслу», если *глядеть сверху*. Но если взглянуть снизу, то: «горько, тяжело, несносно»; и, сквозь зубы и затаенно: «Они – мучители наши, эти просвещенные директора с такими добрыми лицами и благородным сердцем»... «Мучители, потому что слепы»... «Мучители, – оттого, что ничего не видят кругом».

Теоретически эту коллизию между требованием сверху и отказом (или бессильным негодованием) снизу можно выразить так:

Педагогика у нас совершенно как-то *автономизировалась*... Она летит вдохновенно в *безвоздушном пространстве*... Она, как «Демон» Лермонтова, «пролетает» скорее «над вершинами Кавказа», нежели над болотной Петербургской губернией... Вообще, она *не нужна* России, потому что *нисколько не сообразуется* с Россией. И есть вдохновение гения, ну или таланта, наконец, хоть учености: но – *автоматической*, и сообразующейся только с законами своей *автономности*.

Разумеется, Эйфелева башня есть «сооружение более совершенное», чем колокольня Ивана Великого; или «чем вон та, у нас на Покрове, что почти разрушилась». И вот, представьте, «совет педагогов» обсуждает, решает и постановляет:

1) заключить договор с Батиньодем, чтобы через пять лет он сломал все колокольни на Руси и на месте их построил бы Эйфелевы башни, с колоколом на каждой.

2) Впрочем, и звон колоколов – плохая музыка. Посему постановить, чтобы колоколов не вешали, но перед обедней и всенощной пусть на Эйфелеву башню взбираются любители с инструментами и мелодично играют: «Коль славен Бог»...

Конечно, это «лучше»...

И техника, и высота колокольни, и все.

Музыка, прогресс...

Но в то же время это совершенно глупо. «Глупо» – и короткий сказ. Больше нечего прибавить. И так очевидно, что нечего объяснять.

Педагоги забыли про Россию. Они помнят, что состоят в министерстве просвещения. Но в какой стране находится это министерство просвещения, они... конечно, помнят, но таким *глухим* и «ненужным» им помненьем, как бы и не помнят вовсе. Так, каждый помнит жену, детей; помнит друзей; наконец, помнит и знает по имени и отчеству *знакомых* своих друзей...

Наконец, случайно помнит – «тетушку» отдаленного знакомого, которую видел раз в жизни и слышал о ней смешной рассказ. «Запомнилась» – и баста. Но – никакого дела нет. Такую «отдаленную тетушку» тоже «далекого знакомого» напоминает «Россия» в знании педагогов, в их, так сказать, мозговом сверкании. Темно. Глухо. Ничего не слышно. И, среди темноты, в ярком сиянии, в самом центре мозга:

1) Эйфелева башня.

2) «Коль славен Бог», наигрываемый любителями.

* * *

Прежде, чем ожидать к себе «Ломоносова» в училище, которому «понадобится немецкий язык» и «не сострадательно было бы не довести его до университета», следует подумать:

1) Что же, будут 80 лет ожидать «такого мальчика» в ста петербургских и ста московских училищах, по 200 мальчиков в каждом; и все они будут «подгоняться по программе» к тому светлому часу, когда вот придет и сядет рядом с ними светлый мальчик?

А вдруг он не придет?

А и придет – то непременно в *одну школу!*

А ждали *200 школ*; учеников же ждущих и приноровляющихся – $200 \times 200 = 40\,000!!$

Сорок тысяч мальчиков ради одного мальчика: тянутся, стараются, осиливают непосильное, задерживаются лишних два года в училище, а самое главное: *преотвратительно знают даже дроби и тройные правила*, ибо *поспешно перешли к алгебре* ради возможности одному послушать лекции в университете... Мамаши же их все стоят за корытом и стирают рубашечки и штанишки мальчуганам, а девочкам нашивают на юбки какое-нибудь кружево, чтобы быть «не хуже других»... Отец же все маячит в швейцарской, метет двор как дворник или продает изюм и папиросы в лавочке... Все – обывательщина, мелкая обывательщина, для которой *городское училище и существует.*

– Сынок, скоро ли ты кончишь?

– Нельзя «скоро»: ждем Ломоносова.

– Доченька, ты бы помогла подмести полы. Мать измаялась.

– Я, мамаша, *не горничная*. Мне надо учить мелкие княжества Германии да реки и горы в Шотландии.

– Ты, доченька, какого «Ломоносова» ждешь?..

– Начальство нам не говорило, что «придет Ломоносов», так как он придет в мужское училище. Но промеж себя мы толкуем, что каждую из нас возьмет не меньше как унтер-офицер, а то и коллежский регистратор...

* * *

Во всяком случае, сорок тысяч мальчиков, учение которых приноровлено к неприноровляемым силам возможного гипотетического «Ломоносова», являются такою «жертвою Молоху» из детских головок, на кото-

рую не отваживалось и самое мужественное, кровавое язычество. Совершенно очевидно, что «Ломоносов» ли или кто другой, именно по обладанию чрезвычайными силами, *дополнит сам за себя* недостающую программу... Просто, возьмет книжки и усвоит; найдет учителя и пройдет с ним. Уж если в безучилищное время XVIII века это возможно было сделать, то нет никакого сомнения, что не только Ломоносов, но и десятая или сотая часть Ломоносова теперь не затеривается и не пропадает, никогда не затеряется и не пропадет. Риторика с «Ломоносовым», которая решительно играет роль в мысленных накидываниях «школьной сети», в организации учебной системы, в установлении программ учебных заведений, — эта риторика должна быть оставлена *или, по возможности, забыта*. Нужно считать просто *неприличием* подобную мотивировку учебного дела. Это *ultimum argumentum** разума, бессильного доказать правоту свою.

* * *

Учебная система, в каждом ярусе своем, во всяком этаже, должна неупустительно иметь в виду *обстоятельства и условия этого яруса*, и только. Т. е. прежде всего — *имущественное состояние родителей и то время, на которое родители могут выпустить детей*, как бы на гульбу, в сторону от дома, без зова их обратно в дом для физической помощи имущественно-маломощным родителям.

Вот педагогика и имеет право распорядиться *только этим временем*; приблизительно от 9 до 14 лет; и ни в каком случае не позднее 16, когда всякий отрок «мещанского быта», если он не собирается выйти в хулиганы или альфонсы, становится нормально «на работу», «в услужение», в мелко-конторскую или в магазинную «службу».

И время это — большое для великолепного усвоения некоторого *тесного круга* необходимейших сведений. Но вся русская педагогика, «и с одним новым языком», похожа на широченную реку, разлившуюся по пескам и потерявшуюся в песках, потерявшуюся до того, что по ней не только плавать нельзя, но нельзя и испить тут воды. Все потеряно, все исчезло. Никакого *правильного обучения нет*, не только в области «и нового языка», но и арифметики: ибо все загромождено, как в мебельном магазине, все перегружено, как в потопляющих броненосцах при Цусиме, все качается в бедной голове ученика, — фундамент разлезается под давлением непомерно высокой колонны знаний, наук на нем. Педагогика не разрешила самого первого вопроса: *как устроить голову ученика*.

Если вы копнете «голову русского ученика», все равно в городском училище, в гимназии, в реальном училище, — то вы будете совершенно поражены странным зрелищем, которое вам откроется. «Головы расстроены» — вот зрелище; «настроенной головы» совершенно нет; вот факт.

* последний довод (лат.).

В самом деле, какая же это «голова», которая:

- 1) безграмотна,
- 2) зачитывается Мопасаном.

Или которая:

- 1) обсуждает будущий социальный строй,
- 2) не знает пород рыб, водящихся в Волге.

Или еще:

- 1) безумеет от Надсона и Некрасова,
- 2) презирает Пушкина, как дворянского поэта и камер-юнкера.

И наконец, последнее:

- 1) ругает губернатора,
- 2) сидит на шее родителей без дела до двадцати лет.

Но ведь это же общее зрелище «поучившихся в училищах» русских мальчиков и девочек... и другого зрелища мы не видим иначе, *как редчайшего исключения!!!* В виде таких разреженных пылинок, которых и принимать во внимание нечего!

Училище должно организовать голову; а система училищ должна организовать национальную душу. Говоря «организовать голову», мы выражаем кратко и грубо задачу, для которой нашли бы и более возвышенные термины, но их страшно здесь произносить, чтобы не испугать читателя ужасающим расстоянием между *задачей* школы и тем, что школа *осуществляет*. И не ссылайтесь на «будущий прогресс»; на то, что «еще не успели»... И *никогда не успеют*. Дело в том, что *подъем должен быть гармоническим*. Если душу ребенка вы подняли на вершок, то в пределах этого вершка она все-таки *не потеряла своего плана* и представляет *вершковую гармонию*. Или – аршинная гармония, саженная гармония, верстовая гармония. Но если, уже подняв на вершок, вы все расстроили, то, подняв на сажень, вы никак не «устроите», а тоже саженно расстроите! И собственно это такое «расстройство голов», которого избегают или скорее из которого выкарабкиваются кое-как лишь редчайшие единицы, единицы исключительно *хорошей первоначально заложенной гармонии души!*

Да, Ломоносов «выцарапается» и станет нормальным русским человеком; но 40 000 мальчиков исказятся и выйдут, «с одним новым языком», в тысячную часть Гилевича, в тысячную часть Елизаветы Кусковой, в тысячную часть Аладьина, в тысячную часть «господина NN», который обо всем болтает, ничего не знает и является тысячною частью кандидата в самоубийцы или тысячною частью кандидата в плуты; ибо что же ему и делать, когда он состоит из двух психик:

1) Жадность appetitов, ибо горизонт расширился до шотландских гор и рек.

2) Отсутствие *жалости* к чему-нибудь, к кому-нибудь, ибо он от всего прежнего *отвязался*, а к другому ничему *не привязался* горячо и глубоко. Потому, что он есть *болтушка*, потому что он *пустой человек*, разрешающий квадратные уравнения и не помнящий тройного правила.

В голове его, как в пустом котле, плещется мутная вода; а сердце полно ядовитых, изъязвляющих паров, объединяемых в одном имени: *зависть и бессилие*.

1) Знаю шотландские горы, 2) а нужно отпускать покупателю керосин.

1) Мать мыла полы, но я не хочу; 2) однако и коллежский регистратор замуж не взял; 3) куда приклоню бедную головушку?

* * *

Школа проходит по стране каким-то гребнем, который чешет волосы «наоборот тому, как они лежат от природы»: и все «из школы» выходят исключенные, с диким видом и в каком-то неловком положении. Ибо оттого, что они «все-таки до университета не дошли», — их все презирают полутайно и полутайно над ними иронизируют, «мнений» их в расчет не принимают. Какие же «мнения» у «не окончившего курс в университете»?.. Видя себя в таком действительно диком положении, «интеллигент-демократ» с «одним новым языком» разъяряется и спрашивает: «Да для чего же ему *давали мнения*», которых никак нельзя «принять во внимание»?! «Зачем меня учили?!» Но, *однако же, учили*: и тогда он, с Надсоном и без Пушкина, просто начинает оперировать собою и сотнями тысяч таких, как он (об этом-то он знает, что они *численно превосходят всех*), просто как известным *весом*, как *удельною тяжестью*, как *массою и числом*.

— Шире дорогу, задавим! Ползет червь: берегись сады!

«Школьная демократия», которую и вырабатывает «сеть училищ», и единственно ее одну только и может она вырабатывать, по существу автоматического самодействия, — естественно пошла войною, и войною победною, на школьную же аристократию, будем говорить тоже резко и грубо: на университетскую аристократию, на академическую аристократию, на европейски-духовную аристократию. Это пока язык дипломов. Утонченнее: «сеть училищ» дает перевес бездарности над дарованием, недоучке над выучившимся; возвращаясь к истории: она вдруг и неожиданно дает опять перевес «недорослю Митрофану» над Правдиным и Стародумом. Ибо *их* — много, а *этих* — естественно мало. Завершился *circulus vitiosus**: дальнейшее «распространение просвещения», вот именно при этой автоматичности его, переходит и уже явно для всех перешло в распространение мрака, во всеобщее огрубление нравов, в понижение решительно всех понятий: эстетических, гражданских, политических, нравственных, философских, религиозных, всяких, всяких!

Утро.

Потом прошел день.

Теперь — опять вечер. И «школьная сеть» надвигает на землю какую-то чудовищную ночь. С совами, с хищниками, с квакающими лягушками. И сырость, туман кругом.

* порочный круг, заколдованный круг (*лат.*).

– Не надо Пушкина. Подавай «Ваньку Ключника». Это всем понятно, это демократично.

– Кому нужна церковь? Эксплуатация попов. Запоем – «Вó лузях» – и утешимся. Помрет кто: единодушно «встанем» («почтим покойника вставанием»).

– Зачем «Россия»? Пусть будет улица к улице, город к городу и уезд к уезду. Глеб Успенский писал только «Нравы Растеряевой улицы», а «Нравов всероссийской державы» не писал. Значит, и не нужно.

«Цивилизация» рассеивается в хорошие мостовые, во множество «первоначальных школ», в то, что всякий сапожник будет знать «le pègre» и «la mège»*, улицы будут освещаться везде газом, и будут по ним бегать в шляпках по вечерам «бывшие ученицы первоначальных училищ», которым «не полы же мести». В каждом индивидууме вырастет крошечный-крошечный барин, барин в две копейки, с его крошечным чванством, крошечным самолюбием, в котелке вместо картуза, с «песней Шалыпина» в граммофоне вместо гармонии и с пятикопеечными папиросами «Зефир». Кроме «la pere» и «la mège» он будет произносить суждения о разнице между Вербицкой и Леонидом Андреевым и важничать, что он уже «шагнул вперед» Горького.

И эти папиросы «Зефир» затянут своим дымом всю цивилизацию: потому что «папиросы Зефир» будут курить десять миллионов человек, все «с первоначальным обязательным обучением».

Вот к созиданию этого «малого с папиросой Зефир» на место «Пушкина», а в сущности, и на место «Ломоносова», и направляется *единственно* школа, вдохновляемая «прецедентом Ломоносова», его «священную память в истории», и обсуждаемая съехавшимися и собравшимися директорами и учителями.

Ничего выше «Зефира». Ни на один вершок. Выше – невозможно, недостижимо. По крайней мере недостижимо для директоров гимназий, автономизировавшихся *от России и ее условий*.

Да в сущности, к элементарной работе «Зефир» сводится и работа их *самых*, директоров. Они тоже немножечко «Зефиры», только причесанные под Аполлона. Посмотрите: что за упрощенные суждения, что за деревянные темы, также лекции, как бы с «дезорганизацией души»?..

Ну, да: после целых чисел – дроби, после дробей – тройные правила, потом – алгебра, а еще дальше – тригонометрия и анализ. И если «еще реформить городские училища», то прибавляй к дробям тройные правила, а потом алгебру и «нельзя ли анализ».

* отец и мать (фр.).

По другим предметам – то же и подобное.

Это предмет доклада г. Степанова, который был заслушан даже в присутствии попечителя округа Мусин-Пушкина. Но ведь все это рассуждение и, наконец, весь этот «проект дальнейшего преобразования» могли составить просто сторожа гимназий потолковее. Резина. И она тянется. «Тяни резину» – вот и вся реформа. Конечно, – «тяги». И программу – «тяги». Но непонятно, зачем тут собираться директорам?

Нет, уж хочешь «анализа» в городские училища, то не отказывайся сам разрешить хоть одну задачку «на анализ»: вместо вытягивания «резины», т. е. программы, отчего съезд директоров не занялся вот этой темой, *которую действительно волнует вся Россия*:

– Да зачем тянуть эту «резину», когда в результате получается «зефир» и 10 миллионов закуренных папирос зефира, зачадивших всю Россию? Т. е., почему школьное образование не повышает типа ученика, не повышает в нем человеческого образа, духовного образа, не возвышает русской души? Отчего село «со школою» не трезвее, не благороднее, не трудолюбивее, не добропорядочнее села «без школы»? Закон ли это или *случай*, и если закон, то какую же духовную нитью «школьное обучение» связывается как бы с «дезорганизацией души».

Вот это «анализ»; это уж не «именованные числа», в пределах которых директора да, кажется, и попечитель решали свои бедные задачки.

Статистика показывает *это*.

Так сказать, художественное наблюдение показывает *это*.

Голос обывателей, голос родителей говорит *это*.

Наступает лень. Разгильдяйство. Падение чувства ответственности и долга. Меньший стыд, меньшая совесть. И только одна прибавка: умеют множить десятичные числа да знают мелкие княжества Германии. Котелок (на голове) вырос, душа убавилась. Но ведь это же такая ужасная мена, что, зажав глаза и уши, – каждый, кто взглянет, завопит благим матом.

А директора ничего не видят и не слышат. Не слышат тоски России. Не понимают недоумения России.

И все оттого, что они – *таланты своей техники*. Талант «смотрит в одну точку» и не замечает окружающего. «Талант – это внимание», – сказал кто-то. И – безвнимательность ко всему прочему. Конечно, «история педагогики» сложена была усилиями громадных талантов. И педагогика забыла *цивилизацию*. Подобно тому, как если кто смотрит в подозрную трубу на одну звезду, то он естественно перестает *видеть небо*. «*Небо*», т. е. целый мир, вся вот цивилизация, с ее неодолимыми течениями «вниз» и «вверх», «аристократическими» и «демократическими», численно-малыми и численно-огромными, совершенно ускользнуло от внимания педагогов: и, мня быть благодетелями и помощниками цивилизации, они сделались неодолимыми ее врагами и злодеями.

Они служат худшему виду мрака – *грязному мраку*.

МОЖЕТ БЫТЬ ТРЕВОЖНЫЙ ЧАС ИСТОРИИ...

История с увольнением из Синода епископа Гермогена чревата будущим...

Она может окончить собою, неожиданно и непредвиденно, то, что духовные люди в устных разговорах именуют «вавилонским пленением церкви» и что именуется этим названием и еще *тягчайшими названиями* в толстых учебных книгах, естественно не доходящих иногда до слуха народного, но очень хорошо известных всем поначитанным в богословской литературе. Здесь мы не смеем и перепечатывать того имени, каким называл все «синодальное управление» знаменитый ученостью, правдивостью и ревностью о церкви епископ Порфирий Успенский.

Синод *представляет* церковь, на которой, как «Невесте Христовой», естественно, не может лежать никакого пятна, укора или о ней быть слуха... *Непорочность* церкви и *необходимость этой идеи* вынудила и Синод титуловать «святейшим», хотя он, по «Духовному регламенту» Петра Великого, есть всего только «духовное коллегиум», на одном ряду и в одном достоинстве с прочими двенадцатью коллегиями, учрежденными преобразователем России; и, в качестве «коллегии», конечно, он не избавлен от возможности иметь погрешности.

Но все это не ясно и затушевано. Вообще синодальное управление держалось два века и держится до сих пор потому, что около него положена масса этой *ретуши*, скрывающей натуральные черты дела и, так сказать, естественное человеческое лицо учреждения. «Келейность делопроизводства» уносит в тайну решение дел и состояние церкви; титул «святейшего», вытекающий из необходимости и *народной* идеи, переносится с идеи на *факт*; торжественность обстановки и тот осторожный факт, что *обер-прокурор* Синода не сидит *в присутствии Синода* за одним столом с митрополитами и епископами, а *имеет отдельный стол в стороне* и как бы *поменьше*, во всяком случае не *так торжественно обставленный*, — скрывает ту реальную и оплакиваемую в ученых книгах действительность, что на самом деле «стол обер-прокурора» или «обер-прокурор, сидящий за столом», и есть «весь Синод», в котором кроме него все прочее является безвластным, незначащим и, попросту, *фиктивным*. На самом деле если разобрать «головной механизм» Синода, то окажется, что *русская церковь управляется светским человеком*, не имеющим никакого посвящения, никакого сана, и самые добродетели или недобродетели которого, вера или безверие, никому не известны и ничем не контролируются... Кроме внешних слов и действий...

В науке и даже в обществе все это и известно. Но *не в народе*. История с Гермогеном чревата будущим тем, что *она есть шум*; что, как все шумное, она стала *народна*. Что теперь уже нельзя «унести в келью» дело и решить все «за запертыми дверями». Ведь так, как поступлено с еп. Гермогеном,

было поступлено с митрополитом московским Филаретом: вернувшись из заседания домой, он нашел у себя паспорт на возвращение в Москву. Дело безмолвное. Он безмолвно и уехал, — и больше *во все время своего святительства* не вызывался в Петербург.

Молвы не было, и ничего не случилось.

Но вдруг пошла молва. Чтó же может случиться?

То, что случилось бы с невестою, на белоснежное платье которой упал бы ком земли, мокрой и грязной, замазавший ее чистоту. *Необходимо переодеться*. В «грязных платьях» не венчаются; а «церковь» — Невеста Христова — не может иметь ни *порицания*, ни даже о себе *слуха*. Как только прошел «слух» или совершилось «оскорбление», — правое или неправое, неосновательное или хоть ложное, все одно: нужно все изменить, нужно надеть «новое платье».

Белоснежная чистота — это церковь.

Нет белоснежной чистоты — и церкви нет. Но как *существо и идея церкви есть и вечна* и народ в это верит, да это *и есть так вечно*, — то моментально является нестерпимейшая необходимость переменить все одежды на *Непорочном* Агнце, церкви. Реально: переменить все церковное управление. И, *чем скорее, тем безопаснее*: ибо трудно и страшно представить себе то, чтó может выйти, когда народ увидит Агнца, *которому он поклоняется и молится* (народ не в церкви только, но *самой церкви*), — загрязненным, осрамленным...

Не говорю уже «грешным». Народ не допускает «греха в церкви»... Явно, нужно и придется моментально же сорвать одежды (система синодального управления), — дабы сохранить Агнца. Ибо *без Агнца народ вовсе жить не может*. «Спасайте невесту и бросьте одежды»: ибо «опороченная невеста» есть уже тем самым и *не невеста*.

Но «опорочение» началось... Вдруг пошла молва; может быть, она пошла от неосторожных; может быть, она пошла от наивных. Два века все делалось *келейно*, и *келейностью спасалось все*. И вдруг это нарушилось; все вышло *въявь*, непредвиденно, по частному и личному поводу. От «двухкопеечной свечки Москва сгорела»: мы имеем дело с началом подобного события, потому что и епископ Гермоген, и приехавший ему «в помощь» монах Илиодор суть такие лица, которым никак не «накинешь на рот платочек», а положение печати благодаря «слава Богу конституции» таково, что ничего нельзя сделать «с этими интервьюерами и репортерами». Вся система, так сказать, «вспомогательных рычагов» так расположилась, что... мы можем ожидать или *сейчас же быстрой ломки* (упразднения обер-прокуратуры и замены фикций «собора» *подлинным собором*), или такого внутреннего религиозного пожара, ни размеров, ни силы и продолжительности которого нельзя определить («Агнец горит», «Агнец опорочен» или «с пороком»). Тут среди «вспомогательных рычагов» и тот факт, что и еп. Гермоген, и монах Илиодор — оба

суть уже *народные лица*; это – лица всероссийские, а не «епархиальные должностные лица», с голосом *глухим* и лицом, *никому не видным*.

Словом, мы стоим при начале какого-то *всероссийского движения*, – отнюдь не столичного и отнюдь не синодального. Движение, в котором, как в могучем море, «синодальное управление» может поплыть как щепочка.

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ГЕРМОГЕНА

Я посетил преосвященного Гермогена в Ярославском подворье. Владыке 54 года, – «на два года моложе меня», – подумал я. В противоположность бурным речам и решениям, – это кроткий пастырь и человек, по личному впечатлению, кроткий, незлобивый и прощающий, с тем несколько детским сложением духа и облика, какое я наблюдал и у преосвященного Феофана, инспектора и потом ректора Петербургской духовной академии, и какое вообще встречается у иноков чистой воды, не запыленных мирскою пылью. Было печально и страшно смотреть на него «в обиде»: именно по полному отсутствию в нем тех черт властительства и гордости, какие тоже бывают у епископов и представляют собою второй их тип, вторую линию. Гордость и вызывает мысль о борьбе и возможном поражении; но здесь было страшно видеть «побитого ребенка», с которым обошлись, бесспорно, жестко и грубо. Удивительно, как мог в запальчивости личной неприязни допустить это «выученик» Победоносцева, Вл. Карл. Саблер. Тут что-то и не государственное, и не мудрое; не говорим о христианском и церковном отношении. Церковь могла бы только «закрыть лицо от стыда» при виде манипуляций русского обер-прокурора.

Я сидел у владыки довольно долго. Конечно, никакого еще мотива, кроме *ревности о церкви*, нет и не может быть у этого инока. Один в составе приблизительно восьми членов Синода, он был, естественно, без власти в коллегиальном учреждении; что он подавал «свои отдельные мнения», то ведь они, «по принятому порядку делопроизводства», принимались только ко «вниманию», но не к «исполнению». Следовательно, никакому *ходу дел* в Синоде он не мешал и не мог помешать. Но обер-прокурору мешали его речи, голос, мнения. Было страшно слушать, когда епископ Гермоген, с его славою на всю Россию, человек исторический, проговорил мне наивно, именно по-детски: «Бывало, прежде чем решишься заговорить в заседании Синода, – если что нужно, по чувству, говорить свое и особое, то трясутся, трясутся ноги (под столом) прежде, чем начнешь»... Эти слова о «трясущихся ногах» буквальные, я их слышал, свидетельствую, и «колесо истории» не повернет их назад, не истреплет и не задавит. Что же это такое, – спрошу я у Руси: в то время, как глотка Аладыина орет на весь свет ругательства России, русскому правительству, – что такое эти «трясущиеся ноги» у православного архиерея в заседании представителей церкви, т. е. «своего

места» и «своего дела»; своего *собственного*, и душевного, и вещественного владения («владыки» – именуются архиереи). «Трясутся» ли ноги у Влад. Карл. Саблера, когда он собирается *там же* заговорить? Нет: наивно владыка передал, что «заседание Синода длится часа 2 или 2½, и целый час уходит на то, чтобы слушать только речь Саблера, который ужасно любит говорить, неудержим в речах и говорит впереди всех, предлагая и изъясняя свою мысль, пожелания и планы». Владыка передал, что Владимир Карлович «ходит и говорит, ходит и рассуждает», – «по залу заседания»... Известно, *хождение одушевляет* мысль: но мне вся картина «заседающего Синода» представилась похожей на то, как ястреб делает красивые круги в небе, – а на земле, крепко прижавшись к ней, сидят бедные курочки и цыплята... И страх этих «цыпленочков» и напоминает, и объясняет «трясущиеся ноги». Тут – традиция, тут – навык; тут – память «бывавших случаев» и забегающее вперед действительности воображение. Влад. Карл. Саблер – хороший человек и преданный сын церкви; это – видно всей России. Но он сел на трагический стул, и сила стула сильнее его силы: хочешь или не хочешь, а твори трагедию. Не в Саблере дело, а в обер-прокуратуре, *учрежденной для защиты государственного интереса на границе*, где государство и церковь *соприкасаются* (дела по преимуществу *семьи*): но должность эта *давно* с «границы» перешла завоевателем *внутрь самой церкви*, и ныне обер-прокурор одушевляет, руководит и во всех отношениях уже *ведет за собою церковь*... Все совершилось *мало-помалу*, едва ли заметно для самой церкви и для самих обер-прокуроров. И вообще здесь *трагический процесс*, а не дурные отнюдь лица. Но «когда все исполнилось и кончилось», вот к нашему времени, – мы, в сущности, имеем *форму церкви* (causa formalis Аристотеля) более светскую, чем как это допущено у лютеран; *вполне и только светскую*; говоря литературно – «вольтеррианскую церковь»: потому что ведь обер-прокурор может быть любителем и Эмерсона, а может быть и любителем Вольтера, и *во всяком случае* он сидит «в вольтеровском кресле», уже потому, что такая страшная власть, власть «вязать» и «отсылать», «слушать» и «ничего не слушать», – принадлежит *светскому человеку*, – и принадлежит *внутри церкви*. Конечно, «вольтеровское кресло» около «престола Господня»: иначе и нельзя выразить сущность обер-прокуратуры, а главное – сущность этого дела *не юридически, а духовно*. Все «мало-помалу», все «история». Бессильно и немо я сидел у владыки, думая об этой истории: он говорил о «диаконисах», что они нарушают какие-то «каноны», что это – «павликианство». «А что такое, я не помню, павликианство?» – «Можно бы справиться, – сказал владыка, – это одна из монофизических ересей, – тут примешан и гностицизм. Это вроде арианства: они отрицали божество нашего Господа Иисуса Христа». Как не «ересь», подумал. Но справки, которых, впрочем, не было сделано, и номер «Московских Ведом.» вчерашнего дня (в Петербурге), с действительно прекрасною статьею о деле преосвященного Гермогена, в котором, по утверждению газеты, каноническая, да и всеобщая юридическая сторона резко нарушена, слились у меня в

уме и совести в какой-то туман, в котором я ничего не разбирал и ничего не хотелось разбирать. Владыка высказывал опасение, как бы «не вынули из труб выюшки и не перестали топить печей», выживая его, больного, из Петербурга, «потому что церковь при подворье уже заперли, и людей моих отобрали и выслали»... Ах «каноны», «каноны»: ну, что о них вспоминать, когда будут унесены и выюшки, и заиндевеют стекла в окнах, и водворится мороз в комнатах владыки. Эх, «каноны», «каноны»: о морозе-то и выюшках в «канонах» ничего не упомянуто, а посему «не противоречит правилам церкви» морозить живого и больного человека... Ну, это воображение вперед забегаёт: может, и обойдется. Но «Московским Ведомостям» на их каноническую статью я хотел бы ответить, что все уже «мало-помалу» и «неисповедимым ходом истории» приведено к такому положению, что «вольному литератору» приходит мысль позвать кухарку: и, велев ей завязать в фартук «всю сию археологию», — снести на рынок и продать кому случится «за изношенностью и ненадобностью».

Нужно не иметь никакого представления об образе преосвященного Гермогена, чтобы предположить, что он мог «Свету» или кому-нибудь «давать сведения» *для сообщения в печать*: ничего подобного с его стороны немислимо!! Это — глубоко не «печатный» человек, и суть его именно в том, что он защищаться никак не может, иначе как повреждая себе. Он весь «рукописен», до гуттенберговского чекана; ну, а что «злодеи-газетчики» уловляют из его беседы, то тут уж он неволен и бессилён. В этом отношении «указание ему не беседовать» могло бы быть реально осуществлено лишь через посажение владыки *под замок*, как вещи обездушенной: на что никто, конечно, не решится!

* * *

Впечатление:

Да «дела совместные между государством и церковью» должны решаться *на третьей почве*, говоря географически, — в каком-то *третьем доме*, а отнюдь не в Синоде и его заседаниях. Заседания собственно самого Синода должны быть, конечно, свободны от присутствия обер-прокурора, ибо какой же это «собор церкви» (идея о Синоде, фикция его), на котором, прежде чем возражать, — у возражающего архиерея, даже самого мужественного, «ноги трясутся», а «говорит с властью» только один Вольтер... или «кто за Вольтера». *Для государства это вовсе не нужно*. Трагический процесс именно совершился вне нужд государства. Государству нужно, чтобы дело шло прямо, честно, открыто, не гибко, *без ущерба государству*, но и ни малейше не к угнетению церкви. Дело ясное: государство не враг церкви и им быть не может. Процесс произошел невольно и безвольно. Кому нужны, — прежде всего *государству не нужны*, — трясущиеся от страха архиереи! Не нужны: и прямо это *оскорбительный вид*, оскорбительный для чести государства. «Борьба с государством»... нужно видеть преосв. Гермогена, чтобы представить его себе «борющимся с государством»! Тут дай Бог «в павликиа-

нах» разобраться. Духовные, по специальности своего образования, образу жизни и непрестанным текущим делам, от которых нет времени «оторвать глаза», *понятия о государстве (машина) не имеют*, иначе как «вот благословляли Димитрия Донского на бой», Троице-Сергиева лавра «не пускала к себе поляков», «Гермоген страдал», Петр, Иона и Алексей «благословляли»... Несколько *точек воспоминания* – и только. Не «государство», а «отечество». *Всегда и только оно!* С чем же тут «бороться»? «Слава», «монументы» и «седые времена»: и никакого представления о *конструкции государства!* Но чтобы «бороться» с машиною, нужно самому быть несколько машиною, что исключено из существа церкви самою ее идеею. Если государство не оскорбит достоинства церкви, и церковь, безусловно, никогда не поднимется на государство. «Защищаться» – да, этот жест в церкви есть. Это – жест *всего живого*. Напасть – самого жеста для этого в церкви нет! Кости не приноровлены... да ведь, в сущности, и «костей» нет, одна «благодать», т. е. просьба, умаливание, желание, и не больше!

Пусть должность обер-прокурора сохранится даже: но как *представляющая о нуждах и требованиях государства*, как *критическая и возражающая*, но отнюдь не *вмешивающаяся* и, еще страшнее, отнюдь не *смешивающаяся* с жизнью церковною и творчеством церковным. Странно: если университеты и духовные академии имели автономию, – неужели церкви ее не дать?! Просто какой-то даже дикий вопрос!!! Но, поистине, пока обер-прокурор *присутствует в заседаниях Синода*, пока духовные не обсуждают свои дела *между собою и наедине*, без стеснения от внешних, до тех пор *Святая Русская церковь*, крестившая Русь, Помощница царям, качавшая колыбель царства старенькою рукой своей, – не имеет и той жалкой самостоятельности, какая брошена студентам и профессорам.

Это – нигилизм; какой-то увенчанный и в славе нигилизм; от которого нигилизация естественно просачивается и книзу.

Одновременно со мною сидели у владыки другие лица. Владыка сидел, как «Иов с друзьями», – и не имея «черепка соскоблить покрывшую его проказу». И довелось же Владимиру Карловичу навести такую напасть на православного архиерея. Все дело лежит, конечно, в величайшей неосторожности г. Саблера. Но, может, – «не бывать бы *добру*, да *худо* помогло». Все оглянулись, смутились. И может быть, будет поправлен самый *корень*.

ИСТОРИЯ ОБЕР-ПРОКУРОРОВ ИЛИ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Князь Мещерский пишет в своих дневниках: «Ни в какой христианской церкви немыслим такой скандал: открытый и прямой бунт епископа против *главной церковной власти* и *растерянность* главной церковной власти»... «Все это роняет и оскорбляет *авторитет церкви в лице Синода*»... И т. д.

Но, по Евангелию и апостольским посланиям, *единственно только один епископ*, – а Гермоген имеет этот сан, – и есть *носитель церковной власти*. Власть эта до такой степени велика, что из нее развилось и, значит, *могло развиваться* папство. Епископам *столько же веков бытия*, сколько и церкви, сколько вообще христианству; напротив, синодальному управлению *всего два века бытия*.

Древний, почти *двухтысячелетний* авторитет в церкви и оказал сопротивление *двухвековому*, *новенькому*, *недавнему*: откуда и получился «скандал». «Скандал» этот всегда таился как *возможное* в истории петербургского церковного строя. В толстых фундаментальных книгах это давно известно, но не выходило «в гласность». Нового в случае с еп. Гермогеном только то, что известное как истина *ученым людям* – получило непредвиденно и вдруг *народную известность*.

Только. Больше ничего.

Епископ Гермоген отказался повиноваться иначе как собору из 12 епископов, какового в наличности нет у нас, но который в нормальном порядке вещей должен бы быть как *постоянный суд*, коего функции никак не могут принадлежать *административному* коллегиальному учреждению. Пожалуй, мотив здесь – *личная оскорбленность*. Не золотой мотив: но ведь мы все люди, и один только Бог без греха и слабостей. Однако *золотым обстоятельством* является то, что *личная*, и потому *живая, страстная* оскорбленность совпала с *двухвековой исторической* оскорбленностью церкви, в лице епископства, всего русского епископства, от Камчатки до Петербурга и от Стефана Яворского до преосвященного Гермогена. Уже Стефан Яворский, *при самом учреждении Синода*, высказывал ту самую оскорбленность, как преосвященный Гермоген; и выражал ее в публичном слове, в проповедях. – «О, море, ты поглощаешь все, – и нет тебе сопротивления», – говорил он иносказательно, разумея церковную реформу Петра Великого. Епископы русские *всегда и все* были оскорблены тем, что их, со времени учреждения обер-прокуратуры, тайком третировали, как гимназистов. Гимназистов, шалящих, *как малолетних и глупеньких*, учитель без спора, рассуждения и суда *высылает вон из класса*. Но даже для преступника есть суд, так как он – *взрослый*. Епископам, *решительно всем русским архиереям*, отказано в том, в чем не отказано ни одному преступнику: ни одному преступнику не отказано требовать себе *суда из непричастных к делу третьих лиц*, да и на приговор этого суда преступник еще может *апеллировать*; может требовать его *кассации* в случае формальной неправильности. Так то убийцы, то воры: какие же «убийцы» и «воры» наши несчастные архиереи, что им не дано того уважения, того уха их голосу, плачу и стону, каковой «в порядке государственного управления» дан уличному карманщику.

Народ о сем неуважении ничего не знает.

Через историю с еп. Гермогеном *вдруг все узнали* об этом невыносимом, поистине нечеловеческом унижении. Отсюда и произошла поразившая князя Мещерского «растерянность высшей церковной власти». Но если

бы он лучше прислушался к *своим же словам*, он многое понял бы в деле, которое ему совсем непонятно.

Отчего князь Мещерский употребляет *неясный термин*: «высшая церковная власть» вместо простого и краткого «церковь»? Потому что и не учившись этим делам, и не зная богословия, он не решается к *синодальному управлению* приложить имя того, *на что народ молится*. Термин «церковь» не произнесен и в официальных бумагах, полученных преосвященным Гермогеном. Почему нигде не сказано: «*Вы не слушаетесь церкви, и потому церковь вас лишает того-то, приговаривает к тому-то*». Тут-то и скрыта возможность «смуты умов», таившаяся два века и которая *непрерывно когда-нибудь должна была выйти наружу*: «высшая церковная власть», на деле принадлежащая *обер-прокурору*, конечно, *не есть церковь*, а между тем она *действует, как церковь*. Синодальное управление есть на самом деле *министерство* (коллегия) *духовных дел*, церковного делопроизводства, и оно имеет светское происхождение (от Петра Великого), светский центр управления (обер-прокурор), но в него «для производства духовных паров» и вообще ореола видимости позваны епископы, *чередуюсь и временно*, вот с обязанностью «выйти вон», когда их высылают, — как гимназисты. «Пары» есть, «благодать» — не знаю... Видимость есть, «вещи реальной» явно нет. По житейской неопытности, по младенчеству «*не мирских людей*», по неумению «ступить шага» в какой бы то ни было борьбе, — по великому страху перед огромными и неведомыми силами государства, которое их туда «позвало», — они *туда вошли*, вошли, как малолетние, в опеку и под начало *обер-прокурора*. Чего при мужестве, единодушии *между собою* и при... «евангельской ревности о достоинстве епископа» *отнюдь не должны бы были делать*. Но... «на что не согласятся духовные»: известный грустный факт нашей грустной истории. И они «согласились»... Положение, награды, «честь говорить с высокими лицами», быть «на виду», удобства и покой жизни, хотя и очень меланхолической, *жизни вполне антиисторичной* — все это согнуло их... Вошли они «в Синод», согнув низко выи, грустные, путаясь «рясою со шпорами обер-прокурора» (выражение митрополита Филарета о Протасове), и сели испуганно на стул, «на котором такая честь посидеть». Ни о каком вселенском значении, *присущем всегда епископскому положению*, им помышлять уже не приходилось. Разбирали себе «бракоразводные дела», читая пикантные документы. Кто же правил церковью?

Единственно — обер-прокурор.

Он и есть на деле *единственный епископ русской церкви*. Приявший все права их, власть, достоинство, честь, славу. «История обер-прокуроров» и есть, конечно, «история Синода», т. е. «история русской церкви».

Или — истории русской церкви нет.

Или — это история обер-прокуроров.

Но легче примириться с первым, чем со вторым. Ужасная истина, *вдруг вышедшая в народ*, состоит в том, что *русская церковь угасла*.

Святые есть: Серафим Саровский. Есть великие души: старцы по обителям. Есть молитва. Есть пламенно верующий народ. Но это все – *обстоятельства церкви и подробности ее*. А где же она?

«Она?...» – «История обер-прокуроров».

Острова есть, материка нет.

Что был святитель Серафим Саровский – об этом *потом* узнали. А *пока он жил* – была «история обер-прокурора Протасова»; о Серафиме же знали там, где он жил, окрестные мужички и прочие. Пока он жил – он был *нуль в церкви, ничего, меньше ничего*.

А святой.

Важность события с преосвященным Гермогеном и заключается в том, что явилось некое, близкое или далекое, обещание *поворота церкви к святым праведникам русской земли*, которые на ней не переводились и никогда не переведутся. «Не Протасов – а Серафим», или теперь: «не Саблер – а Гермоген», или еще: «не Победоносцев – а Иоанн Кронштадтский и Амвросий Оптинский». «Святые» имели действие *после кончины*; или, – при жизни, – они имели действие *частное, личное* «в уголке» и «про себя». Что все в высочайшей степени отражалось религиозным захуданием русской земли *в каждый текущий миг*: ибо «по широкому лицу земли» разгуливали, кричали, требовали и «постановляли» грешники и вообще люди без всякого религиозного содержания.

Явилась надежда на поворот к *народной церкви*, – не так гладко говорящей и решающей дела, как быстрые обер-прокуроры; но зато *теплой народ, близкой народу*. Церкви, от которой каждый мужик подумал бы: «Это – плоть от плоти моей и кровь от крови моей», чего он никак не может подумать о печальной двухвековой «истории обер-прокуроров Св. Синода».

Н. М. ЛАГОВ. ПАРИЖ...

ЕГО ЖЕ. РИМ, ВЕНЕЦИЯ, НЕАПОЛЬ...

Н. М. Лагов. Париж, его обычаи и порядки, развлечения и прогулки, достопримечательности, окрестности и др. места. С 76 иллюстрациями, 12 художественными автотипиями, 8 планами, образцами французских деловых бумаг и франко-русским переводчиком. СПб., 1912.

Его же. Рим, Венеция, Неаполь и проч. Их обычаи и порядки, достопримечательности и ближайшие окрестности. С 56 иллюстрациями, 14 художественными автотипиями, 10 планами и с итальяно-русским переводчиком. СПб., 1912.

Месяца через два потянутся многочисленные русские туристы в благословенные страны Италии и в шумный Париж, и им в высшей степени полезно будет просмотреть теперь, а в будущем захватить с собою два прекрасных

гида, составленных г. Лаговым с большим вниманием и полным знанием предмета. Г. Лагов издал в минувшем году превосходную книгу, полную ярких, незабываемых картин, под заглавием: «Что такое Франция. Очерки современности». Книга эта была пропущена без отзывов нашей повременной печатью, между тем она истинно замечательна. Душу читателя щемит боль при чтении этого в своем роде «последнего часа цивилизации». Богатство парижан, наглядно выразившееся, например, в сценке, когда на просьбу пассажира трамвая разменять 500-франковый билет почти все пассажиры раскрыли кошельки, с готовностью исполнить просьбу, — выражено наглядно, фактично и просто. Описание, как в лавочке муж и жена оба шпионят друг за другом в деле бережного отношения к выручке и расторопности с покупателями — опять нельзя забыть. Глава «*Matin*» — первая газета в мире» читается как страницы Золя. И вообще это очень хорошая книга о стране Золя, написанная во вкусе Золя, — как именно «человеческий документ». Тут русский с его мстительным, идеалистическим, художественным, реалистическим глазом и душою сказался «вовсю». Утешение читателю — только в мысли, что автор, как впечатлительный русский, и притом еще как молодой писатель, преувеличивает дело. Но он его во всяком случае *знает*, прожив много лет в Париже. Зато, поживя среди французов, он научился *работать*. Его гиды-путеводители *сработаны* по-заграничному: компактны, без болтовни, в высшей степени удобны для пользования, и вообще на каждой странице читатель и «справляющийся» чувствует, что составитель в каждом пяти — десяти строках имеет в виду *определенную* *нужду* запутавшегося в улицах и зданиях наивного русачка. Он его *везде ведет и все показывает*. Для следующих изданий мы, однако, рекомендуем автору *оттенить качества* указываемых, например, зданий и музеев, давая и коротенькие *исторические справки*.

ОСОБЕННАЯ ЧЕПУХА ЗА ДЕНЬ

Баян в «Русск. Слове» граждански терзает на себе плащ:

«Гермоген, Илиодор, Распутин и... Пушкин... Вот она, матушка Русь!...» «Бог обещал спасти Содом и Гомору ради семи праведников: и, кроме Пушкина, Россия имеет Гоголя, Лермонтова, Карамзина, Жуковского, Грибоедова, Толстого...» «Мы вынесли Аракчеева, Бенкендорфа, Булгарина, Шешковского, Севастополь и Цусиму, Победоносцева и Каткова, а теперь выносим Крупенского, Кассо... и Распутина! Но за нее молятся наши угодники», — и между ними наш Пушкин, этот «русский Вольтер и Руссо», этот «отец русской интеллигенции», «этот наш русский Лютер и Саванаролла», «этот Мессия нашей общественности».

Эти невероятные по глупости сравнения кроме Баяна мог бы нагородить еще только Рославлев в «С.-Петерб. Ведом.». Эти сват и сваха русской прогрессивной печати оба предовольны собой, и им никак не приходит на

ум *другое сравнение*: что Содом и Гомора всяких Баянов и Мещерских, Рославлевых и опять-таки Мещерских, Кизеветеров и Винаверов пощажается ради Пушкина и других...

Забыл Баян Крылова:

Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться...

«Может быть, не было бы Столыпина, Гучкова, Распутина, если бы Пушкин прожил еще 25 лет».

Ну, проживи Пушкин хоть сто лет, князь Гоморский и сваха Баян кушали бы *tête-à-tête* свои завтраки и рассуждали бы за ними о политике, литературе и всех делах житейских. Нет большого дома, и нет вокзала без двух дверей с надписями: «*Pour les femmes*» и «*Pour les messieurs*». Литература тоже без этого не обходилась никогда; хотя никогда это не отождествлялось с «литературой». Есть «необходимые принадлежности» костюма, обстановки и быта, но о них не говорят, не думают и никому их не показывают. Вот отчего становится так неловко, когда Баяны и князья Гоморские показываются в печати...

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

7.02.1912 г.

В «Нов. Вр.» мною была помещена заметка о Баяне за подписью *Vox*, в которой я, выйдя из пределов собственно критики, без всякого права допустил себе сделать несколько грубых шуток, которые могут быть приняты за инсинуации. Я признаю, что никакого намерения и данных порочить доброе имя лица, пишущего под псевдонимами «Баян» и «Рославлев», у меня нет и не было, почему и приношу ему извинение за вторую часть моей заметки, признаю ничем не вызванными уподобления и сравнения и вообще о всем происшедшем выражаю полное сожаление.

15.02.1912 г.

Во многих газетах, между прочим в «Русск. Вед.», но также и там, где вообще печатаются «Баян» и «Рославлев», за заметку *Vox*'а, о которых я написал извинительное письмо, появились необъяснимо грубые заметки обо мне, с упоминанием о «хлысте», якобы надо мною поднят, и о «животном страхе», мною овладевшем при появлении секундантов. Между тем, желая сократить всю процедуру, я до прихода их уже написал дружеское извинительное письмо лицу, скрытому под псевдонимом «Баян», и то другое для печати, которое было помещено в «Нов. Вр.». Вообще я был крайне поражен, что так можно было рассердиться на заметку *Vox*'а: и сказал это секундантам, задержав одного из них (г. Попова) на лестнице. Все было в высшей степени для меня неожиданно. Ни одного слова нелюбезного не было произнесено; ни одного громкого. Мне было чрезвычайно некогда: и

секунданты несколько раз объясняли, что «законы дуэли – строжайшие» (по точности), и они что-то долго писали, что я подписал не читая. Как и в полемике со Струве, однажды и навсегда я отказываюсь от всяких препирательств, – суда, ссор и проч., – вообще от всего *требующего времени*, – по поводу статей; подписывал и буду подписывать «извинения» так же охотно, как «адресы» и «на венки», какого угодно содержания и каким угодно лицам, считая, что это *вне моей души и вне задач моего существования*, и до всего этого мне никакого дела нет. Может, это уродство: но «таков, Фелица, я развратен», или «каким родился – таким и живу».

«Баяну» я написал, что драться с ним мог бы только на пушках, так как револьверы уже испорчены полицейскими, а браунинги – революционерами, из острых же орудий понимаю только вилку. Длинное письмо, на оторванном клочке бумаги, все исполненное извинений и шуток (г. «Баян» может его опубликовать), свидетельствует о совершенно другом моем настроении, чем какое предположено газетами; как и разговор мой по телефону в это утро с В. М. Дорошевичем, Е. А. Егоровым и А. А. Пиленко, коим всем или которым-то я объяснил, что, конечно, я поступил неправильно и, конечно, напишу извинительное письмо, без всяких препирательств и спора или уклончивости. У меня в печати никогда не было злобы против *лица*, а против идей, слов, тенденций: и, конечно, только *lapsus linguae**, дурная «школа» или торопливость может вырвать печатно (и незаметно для автора) слова, которые окажутся обидными для *лица*. И в этом случае я всегда обязан извиниться: это мое *credo*. В этом случае извинение не только не тяжело мне, но приятно, как всякий «без работы» долг. Мне кажется, газеты, записавшие об этом, не имеют *самого понятия о нравственности*. Что тут тяжелого? Какой мотив не извиниться? Почему это стыдно или унижительно? Кто избавлен от ошибок? И какую грубость нужно иметь, чтобы на них настаивать? Вот об Елиз. Кусковой я выразился: «Кто сия дева, жена и мать, ибо у социалов это смешано»: едва мне было сказано (устно), что это она может *на себя* принять (я же относил *к социалистам*), как я пожалел в душе и, конечно, *перед лицом ее извиняюсь*. Мой век может не уважать лица, но я уважаю и буду уважать его: и здесь, «Фелица, тоже я развратен». Литература – не улица, и литераторы – не хулиганы. Никогда я не буду оскорблен, никогда не буду испуган: потому что у меня есть *совесть*, и эта совесть «дружески жмет мне руку», когда я поправляю дурной поступок. От этого (что секунданты могли заметить) я был все время весел, пока они сидели у меня, и обоим им с надписями подарил мою «Библейскую поэзию», не чувствуя и к ним ничего, кроме искреннего расположения («совесть читает свой урок»).

17.02.1912 г.

Гг. Елец и Попов в письме, напечатанном сегодня в «Нов. Вр.», утверждают, будто я «все вставлял в мое извинительное письмо (к г. Баяну) *свои фразы, умалявшие значение полного извинения*», и таким образом поддер-

* оговорка (лат.).

живают ту версию происшедшего у меня на дому, какая начала ходить по газетам в виде говора о «животном страхе» и «угроз хлыстом»...

Ввиду этого я должен сожалеть, что не было третьих свидетелей при моем свидании, которые бы удостоверили *тон* его и отсутствие *всякого мне принуждения*, при предупреждающей моей готовности все исполнить. К счастью, есть косвенные доказательства. Письмо, *до прихода их* мною написанное, я говорил утром по телефону сотруднику «Нов. Вр.» Е. А. Егорову. Все увидят, что в нем содержалось *большее даже извинение*, чем в письме, напечатанном по их желанию в «Нов. Вр.». Вот оно:

«В «Нов. Вр.» от 4 февраля под псевдонимом *Вох* мною была написана заметка о «Баяне», *вытекавшая из точного моего понятия о статье его, где он был ниже своего таланта (как мне кажется)*. Но, выйдя из пределов собственно критики, я без всякого права допустил себе сделать несколько грубых шуток, *более роняющих своим тоном меня как автора, нежели его*. Согласно желанию (было выставлено имя, отчество и фамилия лица, пишущего под псевдонимом «Баян»), приношу ему извинение за эти шутки, признаю ничем не вызванными уподобления и сравнения; и вообще о всем происшедшем выражаю сожаление, *не только по его требованию, но и по своему желанию. В. Розанов*».

Посредники, прочтя письмо, тоже сказали, что *тут содержится даже больше*, чем что изложено в принесенном ими проекте письма. Но когда они протелефонировали текст моего письма г. «Баяну», — он не согласился на подчеркнутые в начале и в конце слова; после чего я взял назад подчеркнутые в середине. Письмо вследствие этого переписывалось (мною) три раза. Затем был написан «протокол», т. е. изложение всего «совершившегося». Его я подписал не читая (и это достаточно говорит о моем *неспорчивом настроении*). Насколько я от души подписал свое письмо, настолько мне было чуждо и неприятно подписывать письмо, опубликованное в «Нов. Вр.», *но по чисто литературной причине*, и я это сказал секундантам: оно являлось *смешение* фраз моих и ихних разного стиля, разного слога, что для уха писателя непереносимо. Но неприятность этим и ограничивалась. Читатели совершенно поверят, что *психологически невозможно*, чтобы я подарил гг. офицерам с надписями свои книги, если бы было произнесено у меня в доме хотя одно неприятное слово или было мне сделано какое-нибудь принуждение. Таким образом, «хлыст», мне кажется, окончательно падает. Считая инцидент исчерпанным, на дальнейшее я не буду отвечать.

Н. В. КОРЕЦКИЙ. ПЕСНИ НОЧИ

Второе издание. Стихотворения. 1911 г.

Если кто-нибудь хочет знать, как красив Николай Владимирович Корецкий, то никому не отказано: подите и купите его «Песни ночи»... Фотография фототипия так роскошна, что мог бы позавидовать германский император, а

что касается Нерона, то он непременно сжег бы такого красивого соперника, притом же еще поэта. Носит Николай Владимирович большой белый галстук, с пышным бантом и концами; лиджак, манжеты и все. Жалко, рукав немного не отодвинут и не видно запонки. У мужчины в запонках весь вкус. Почерк хотите? И почерк приложен. Всего приятнее, я думаю, видеть этот твердый, уверенный в себе почерк под записочками: «В контору. – Уплатить г-ну N. N. гонорар, – без вычета аванса». Ибо г. Корецкий – издатель-редактор журнала «Пробуждение». Но не думайте, что это все. В минуту, как вышла его книжка стихов *вторым изданием*, он чувствовал себя естественно в хорошем настроении духа: и приложил для читателя, под какой-то тончайшей бумагой, звездное небо и среди него, во всю почти величину обложки, летящую женщину, вероятнее, – деву, покрытую газом, к сожалению недостаточно прозрачным и еще более к сожалению, спиною, но повернув прелестное личико к «другу-читателю»... Из поднятых рук ее исходит пламя. По-моему, это конторщица или из «натурщиц», которые снимаются за 10 руб. «для любителей». Во всяком случае, вкус у автора симпатичный. Упоенный всеми сими роскошами, к которым надо прибавить дивную печать и бумагу «книгоиздательства художественной печати», я все никак не мог добраться до стихов и даже хотел отложить их чтение и разбор до третьего, более скромного, издания, но заглянул. Стихи, по-моему, тоже недурны; впрочем, в этих «апельсинах» я не очень разбираюсь. Мне показались только все стихи *выдуманскими*.

Я пришел ароматом цветов надышаться:
Лишь зажглись в небе звезд мириады,
Я пришел твои слушать рулады,
Твоей песнью пришел упиваться...
О, на миг, дай на миг, соловей, насладиться
В эту ночь чудной песнью твоею.

Конечно, хорошо... Мне кажется, когда Корецкий выходит в сад, то соловьи уже как-то сами собою начинают петь от одного удовольствия видеть брата-певца; и такие, в своем роде, сотрудники вдохновения особенно приятны тем, что им не надо платить гонорара. Но не одни соловьи, а и вся природа как-то расположена к Корецкому и шлет ему «как раз что́ надо». Напр.:

Пламя в камине дрожа угасает...
Лиц наших бледны черты...
Ночь. За окном кто-то тихо рыдает...
Там умирают цветы.
.....
Бедный наш сад! Чаше слышим мы стоны,
Листьев паденье... Бедный наш сад!
Ветви прощальные шлют нам поклоны,
В тусклые стекла стучат.

Конечно, хорошо! Я думаю, при Корецком ни одна ворона не смеет заркать, дождь не решится заморосить, небо немедленно прогоняет облака и показывает свои звезды, словом, вся природа «расчеркивается с удовольствием». Это очень хорошо, что хоть кто-нибудь счастлив в Петербурге. А то все брюзжат. Ну, а вот этому Корецкому повинуются не одни только метранпажи, корректора, но и звезды, и цветы, и даже «невольные шепоты за окном». Редкая удача. Может быть, немножко повинуются его «указаниям» и сотрудники «Возрождения» и тоже докладывают редактору, что «природа цветет» и соловьи «выводят рулады», даже на Большой Московской, где обитает поэт-редактор. Для этого, однако, я думаю, им нужно платить хор-ро-ший гонорар и не быть прижимистым в авансах: и если и это делает г. Корецкий, то нельзя не согласиться, что он среди немудрого века один живет, думает и чувствует, как истинный мудрец! Ибо, черт возьми: ничего нет мудрее благополучия!.. А из его книжки и всех ее деталей благополучие, можно сказать, так и прет. Вот уж бочка меда, куда не капнуло и капельки дегтя. Но я вспоминаю у Вальтера-Скотта какого-то принца, утонувшего в сладкой мальвазии, и не ручаюсь за читателя, что он тоже не задохнется в цветах, звездах, вздохах и т. п., и проч., и пр. Корецкого. Осторожней, господа, с самым благополучием – осторожнее!

Д. В. ФИЛОСОФОВ С «НЕУГАСИМОЙ ЛАМПАДОЙ»

У Д. В. Философова нет вкуса выбирать названия книг (особое искусство). Сборнику статей своих по церковным и религиозным вопросам, напечатанных за последние два года в газетах, он дал заглавие... *terribile dictum**, «Неугасимой лампы»! – на какое имя для сборника своих журнальных статей не отважился бы ни Влад. Соловьев, ни А. С. Хомяков, конечно. Имя это, предмет этот (неугасимая лампа) как обычай и вера складывался в веках молчания, тишины, складывался около самых жгучих скорбей, отчаяния, безнадежности; складывался там, где от печали уста немели, и только дрожащая рука умела достать бутылку с маслом, налить в лампаду, и зажечь фитиль, и поклясться *вечно* это делать! Вот уж стих Державина:

Где стол был яств – там *гроб стоит*, –

Философов сумел как-то устроить наизусть:

Где *гроб стоял* – там *стол для яств*.

Назвать святым и *тихим* именем изделие печатного станка, где пахнет смазочным салом машин, краскою и заработной платою, – назвать так книгу суетного и суетливого характера, на темы «вот сейчас», по поводам «се-

* страшно сказать (*фр., лат.*).

годня» и «завтра», и где, может быть, есть ум и талант, начитанность и образованность, но во всяком случае *по представлению* самого автора нет ничего «вечного» и «неугасимого»!.. Но безвкусице несоответствия идет дальше: «неугасимая лампада» есть типичная русская святыня, – русских монастырей, русских старых домов, а Д. В. Философов весь «заказан и сшит в Париже», и еще обитателем Петербурга его можно представить себе, но уже никакого, кроме Петербурга, другого русского города! По Невскому он может идти прямо и не спотыкаясь: но на московских мостовых непременно шлепнется, или наткнется на угол дома, или не найдет выхода из «тупичка». Конечно, выражение «неугасимая лампада» он слышал, и ему, как эстету, оно понравилось, и вот он не колеблясь взял это название в заголовок своей книги. Но *книга и ее заглавие* не имеют ничего общего. Книга могла бы быть названа «Взрывающийся фугас», «Керосиновая лампа» и всего вернее «Шумящий по улице мотор»... Но «Неугасимая лампада» – дико: и, главное, *в мыслях самого автора – совершенно ничему не отвечает.*

Философов всегда умен, но никогда не *очень умен*; везде талантлив, но *в меру*. Суетлив, но не горяч. Он, конечно, честный гражданин, и вообще есть *comme il faut* всякого общества: но странно было бы представить себе, что вот он бредет по улице, бредет-бредет, и вдруг что-то мелькнуло в душе его, отчего на душе стало тепло и светло, и он зашел в церковь и стал на колени перед образом! Раньше «светопреставление» случится, чем такое произойдет. Философов горячо обо всем спорит, вернее, он обо всем спорит громко: но приложите ладонь к его щеке: она – не горит. Вероятно, никто не видал Философова «вдруг вспыхнувшим». Он имеет в себе температуру ту постоянную, ровную, которая и сделала возможным для него постоянный, ровный труд, постоянную деятельность. В нем есть действительно «мотор», но не горячие лошади. Никогда он не скажет себе: «Тпррру! Стой!!» Нечему сказать. Легко вертятся колеса, и легко весь он катится, как по Невскому проспекту.

Он настолько образован и *развит* (редкое у писателей «теперь» качество), что, конечно, понимает важность, и *великую важность*, религии; но он *никогда не молился* (нельзя этого представить себе). И поэтому когда пишет о религии, то пишет о каком-то *чужом деле*, об интересных *посторонних вещах*. О вещах, которые имеют «культурное значение». Почему? Ну, потому, что воздвигнут св. Петр и был Франциск Ассизский. Почему один воздвигнут, а другой был? По лейбницевскому «закону достаточного основания»: явно, что и Франциск, и Петр входят *действительно необходимым звеном в культуру*, и отсюда совершенно твердый переходный мост, чтобы писать «Неугасимую лампаду», а целый год – статьи, которые вошли в эту книгу. Моторы делаются «все лучше и лучше», и Философов устраивает русскую литературу к «все лучше и лучше», являясь после атеиста Михайловского «все-таки Философовым на религиозные темы». Так довольно счастливо, благородно и рационально он устроился «в русскую литературу», естественно помогая ее прогрессу. «Моя добродетель малень-

кая, но я именно добродетельный человек». Это дает ему покой, уверенность и пищеварение.

«После пьяной и мутной Руси настал Философов, к которому не придерешься», – подумает будущий Иловайский, перекидываясь глазом от Гл. Успенских, Слепцовых et cetera к Философову. Мотор катится и будет далеко катиться. Так как под него «иглолки не подведешь», то почему ему свалиться, остановиться и вообще потерпеть крушение? По благоразумию всего дела этого не может случиться. Камешки? Но ведь Философов никуда не поедет с Невского проспекта, катаясь от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры и от Александро-Невской лавры до Адмиралтейства. Небольшой шум, на перекрестках полумузыка сигнала, шофер, костюм, все новое, все европейское: пришел наконец XX век, и как по закону «достаточного основания» когда-то построен был св. Петр и родился св. Франциск Ассизский, так теперь тоже «по закону достаточного основания» сделались автомобили и родились Философовы, в высшей степени кстати и своевременно... и это очень хорошо; кроме маленькой грусти: зачем они бензин свой зажигают от «неугасимой лампы»?

Книжка хорошая, и всем рекомендуем.

СОЦИАЛ-КОМИКИ

От драмы к трагедии и наконец к водевилю: эти фазисы прошла наша социал-демократия, имевшая свой идиллический и драматический фазис в пору «хождения в народ», ставшая трагедией около 1 марта и теперь на наших глазах кончающаяся четырьмя водевильными старцами: комическою старухой Елизаветой Кусковой и тремя «с головой Медузы» социал-библиографами: Горнфельдом (в других местах он почему-то именуется «Кранихфельд»), Венгеровым и Рубакиным. Много забот правительству Коковцова дают эти библиографы. С Кусковой, как с женщиной, оно справится, но что оно станет делать с Рубакиным, Горнфельдом и Венгеровым, – сказать довольно затруднительно. Все они хитры, как Талейраны: пишут библиографию – не придерешься! Нельзя же запрещать библиографию: тогда французская академия что скажет! Изумятся англичане, возмутится Берлин! Ни для Петропавловки, ни для Шлиссельбурга библиография недосягаема: посмотрите же, однако, какую на этой литературной низине построили в своем роде «Запорожскую Сечь» наши Талейраны... Известно, что Запорожская Сечь лежала тоже на низменном острове, окруженном мелями, – и *этим самым и была неприступна* для больших судов, и значит, для войск. Вот на таких низинах уселись и наши библиографы: достаньте вы, напр., хоть 12-дюймовой пушкой Рубакина, когда он пишет просто «Среди книг». Просто... очень невинно, и для усиления невинности посвятил книгу своей мамаше. Куда тут пушку наводить, – прослезись! Цензора на Театральной улице, я думаю, плачут, держа в руках по тому «Среди книг» и открыв стра-

ницу с посвящением матери: умилительное зрелище! «Вот прежде писатели были негодные, ни отца, ни матери не почитали: а теперь посвящают не жене и не любовнице, а «матери», и тоже «библиографу»!! «Лидии Терентьевне Рубакиной, двадцать лет работавшей среди книг и научившей меня любить книгу и верить в ее непреодолимую и светлую мощь». Тут не то что цензор, сам Азеф расплачется. Ну, цензора и поверили: дальше «посвящения» не читали, а он на странице 381 этакое выпалил: «Главнейшие капитальные труды по этике, имеющие большое значение в истории развития этических идей», — цитирую *подряд и без пропусков*:

«Библия. Ветхий Завет.

Об этике Ветхого Завета, см. *Ковалевский П., Нордау, Толстой, С. Трубецкой, Вл. Соловьев, Вольтман, Жанэ, Мечников, Штраус, Ренан, Вольтер* (после каждого имени сделана ссылка на номера книги Рубакина, где уже названы сочинения этих корифеев-библеистов, которые «читай»).

Будда.

«О Будде и буддийской нравственности», см. *Лесевич, № 6283.*

Бюхнер Л.

«Сила и материя». Перев. Н. Полилова. СПб., 1906 г.

— То же. Изд. «Вестн. Знания».

«О Бюхнере и вообще о материалистической этике», см. *Ланге, «Кропоткин и Толстой».*

Те же «основные труды по этике» на букву «К» и далее:

Кропоткин П.

См. №№ 4428—34. О Кропоткине П., и вообще об этике анархизма смотри в отделе «Анархизм». Изложение его системы и критику ее см. *Плеханов, Эльцбахер, Бернштейн, Цокколли* и в отделе «общественных наук».

Лавров П.

«Современные учения о нравственности и их история». СПб., 1903 г.

Его же. «Исторические письма». См. о них № 4443.

Его же. «Очерк вопросов практической философии». СПб., 1860 г. (редка).

О П. Лаврове см. *Кареев, № 6075. Чернышевский: «Антропологический принцип в философии».*

Ну, и что же тут делает министр внутренних дел? Ничего не сделает: библиография, невинность. И наконец, это «посвятил мамаше»... Ничего нельзя сделать, как и с тем, что из книги, где во «Введении» (190 страниц) автор научает *организации библиотек* и где есть такие волнующие главы, как: «Читатель и книга», «Классификация книг по подготовке читателей», «Распределение книг по кругам читателей» и проч., и проч., *выпущен вовсе отдел*, именуемый в училищах «Законом Божиим», т. е. отдел «Богословия», «Священного Писания», «Церкви». Ничего! Нет самой *рубрики*! Прямо начинается: «Часть первая. Изыскания искусства в связи с их историей, их теорией, их критикой. Литература. Публицистика. Этика». Ну, а в «Этике» — Библия, Ренан и Кропоткин, член центрального комитета социалис-

тов-революционеров. Но что же с этим поделаешь: глупо или не глупо, а будут читать (2-е издание, и умопомрачительное множество публикаций в конце книги, из всех городов России) и будут именно по ней организовать читальни, библиотеки, даже сортировать в магазинах «товар». Книга будет «ходка», да уже и сейчас она «пошла», как когда-то «Крестный календарь» Гуцкова.

Сказано – «Запорожская Сечь», которую за болотистостью «не достанешь»... Она поползет по губерниям, по уездам, по фабричным местечкам... Во «Введении» есть специальные главы: «Об устройстве библиотек на фабриках» и «Об устройстве сельских библиотек»: и через 20–25 лет библиотечки всей России, кроме громадных и казенных (без читателей, – вдали уединения), будут «подобраны во вкусе Рубакина»! Фатально, неодолимо!! *Каталог с толкованиями* подчиняет себе неодолимо *библиотекаря*, становясь ему «другом» и «свещающей свечой».

Кто же заметит, что в сущности «свеча Рубакина» сжигает все библиотеки! Что она не «Среди книг», а «Против книг», за брошюры, за листки, за мелочь и сор...

Возьмем «классификацию»:

«Отдел II. Публицистика и критика. Девяностые годы.

I. Течение анархическое. К чему принадлежат: А) анархисты-коммунисты: П. Крапоткин (и друг.); Б) мистические анархисты: Георгий Чулков; В) «махаевцы»: А. Вольский и друг.; Г) религиозные анархисты: Л. Толстой, В. Чертков.

II. Социалистическое течение: А) социалисты этико-социалистической школы: Н. Михайловский, Вл. Короленко, Южаков, Иванов-Разумник, Мякотин, Пешехонов, Тан, Е. Рубакин (всего указано 46 писателей этой одной группы!!); Б) народники-социалисты: Слонимский (еврей); В) социалисты марксистской школы, и в них 1) меньшевики и среди них «бундисты» Гейман, В. Медем; 2) большевики; 3) «беззаглавцы» (sic!!!): В. Богучарский и Е. Кукова (еще немного, штук шесть); 4) государственный социалист: (академик) И. Янжул.

III. Либеральные течения (без числа). В нем: в) беспартийные демократы: А. Кони и Кугель (Номо повус); г) буржуазные либералы: Чичерин, Нотович и Д. Шипов; д) идеалисты: З. Гиппиус, Д. Мережковский.

IV. Умеренно-консервативные и реакционные течения: «Группа эта не выдвинула из своей среды, как известно, ни одного мало-мальски выдающегося таланта: В. Герье, В. Буренин, Т. Локот, М. Меньшиков; в) аграрии: Ермолов, бюрократ; г) реакционеры: ген. Батянов, А. В. Васильев (бюрократ, славянофил), ген. Куропаткин, Неплюев (сектант), Вл. Саблер (об.-прок. Синода), В. Розанов, И. Сергиев Кронштадтский».

Если вы скажете, что это такая яичница, какой не видал свет, то ведь ее все-таки придется скушать! Суть не в материале, а в том, что будет болеть живот. И он будет болеть у всей России, ибо, поистине, «без Рубакина не

обойдешься». Вот все эти Киреевские, Аксаковы, Рачинские парили в воздухе, махали крыльями: к ним подполз незаметно червячок, «всего только Рубакин, послушный своей мамаше», и «испортил всем им блюда», «смешал всем им карты», усадив Аксакова с кн. Мещерским, Иоанна Кронштадтского с Куропаткиным. Вы скажете, вся Россия скажет: «Чепуха!..» Но ведь и о «столоначальнике» вся Россия говорила: «Взяточник», а император Николай вздохнул: «Да, но он *управляет Россией*». А. Рубакин, со своей «яичницей» – хотите вы или не хотите, – а влез в «управляющие литературой». И никаких средств его оттуда выкурить. «Люблю мамашу»: против этого сам Коковцов скажет: «Пас».

Разве бы на него напустить Распутина? Говорят, всемогущий человек. Не знаю, что с ним делать.

* * *

«Мы – глупенькие, да! Но мы будем управлять миром»: на этом сошлись Мякотин и «махаевцы». Ничего не поделаешь. Кто же копает землю? Конечно, не орлы. Социал-демократы съедят всех *трудолюбием*. «Маленькие. Строим библиотечки. Кладем книжки на полку; пусть там сочиняют что угодно, но – *власть будем мы* и этим *определим все*. Акакии Акакиевичи, говорите? Пусть: пришло царство Акакия Акакиевича, пришло царство смирения, простоты, недалекости. После стольких веков, когда Акакия Акакиевича все угнетали, все над ним смеялись, все на него плевали, – пришел наконец великий христианский час, когда Акакий Акакиевич может сам на всех плюнуть».

Вот вам и «титularный советник»: получите «Среди книг». – «Вы меня Шекспиром не удивите и генералом Курловым не испугаете: Шекспира я зачеркну, т. е. просто *пропущу* его, как *пропустил* же рубрики «церковь», «христианство»; а генер. Курлова даже помещу среди черносотенцев: и цензура промолчит... Я неуязвим: люблю мамашу. Не Шекспир, а мамаша».

Ничего не поделаешь. Он христианин. Мне кажется нередкое, что в социал-демократии поднялась ожидаемая и зловещая «заключительная глава христианства». «Последние да будут первыми». Поднялось все убогое, поднялось с невероятной силой! Что-то *подспудное* дает ему силу, и часто думается, не «Христос» ли это – не Белый Христос, в лучах и озарении, Которого мы любим и весь мир поклонился Ему; а тот *тусклый, без лучей* «Христос», который за ним стоит и указал *калекам* прийти в мир и завладеть миром, – *калекам и больным, худоумным и худородным*; и, словом, который сломил *гордость и аристократизм мира*. Увы, – ведь это тоже есть в Евангелии! И за всю ту сладость, которую XX веков человечество пило от христианства, оно «на остаточек» вынуждено будет выпить вот и эту черную жижицу.

Может быть, это и не так. Путаешь ум. Гадаешь и не умеешь разгадать: да отчего *пошлое*, отчего именно *убогое* и *бессильное* лезет к власти, силе и положению? И никто не может его одолеть, удержать, противиться? «Тут что-то *подспудное, темное, всемирное*...» – бормочешь, хватаясь за голову...

Священник И. И. Фудель, один из самых близких друзей покойного К. Н. Леонтьева, только что отпечатал в Москве интереснейшее письмо к нему Л-ва, посвященное высшим культурным и религиозным интересам России, под заглавием (оно принадлежит Фуделю): «К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни» (40 страниц). Это в своем роде исповедание Л-ва... Вполне удивительно и достойно упрека, каким образом свящ. Фудель мог так долго держать под спудом столь многозначительный документ, ввиду пробудившегося интереса к мельчайшим вариациям идей этого превосходного мыслителя XIX века. Спешим также порадовать вообще любителей литературы. Как известно, в минувшем году Академия Наук, многие члены которой были за академическое издание «Полного собрания сочинений» Леонтьева, тем не менее большинством голосов отклонила это издание по мотиву обремененности академической типографии уже начатыми работами. В настоящее время именно И. И. Фудель отыскал энтузиаста-жертвователя (имя его нам неизвестно, но сообщение идет от самого И. И. Фуделя), который дает средства на издание. Издание предположено в *восьми томах*, и в него войдут все беллетристические, философские и публицистические сочинения Леонтьева, также все его письма и еще множество до сих пор не изданных писем, частью уже находящихся в руках И. И. Фуделя. Издание пойдет весьма энергично и будет закончено в год или два. *Gaudeant sapientes**...

АРМЯНЕ-МОСКВИЧИ

Кончина проф. Халатянца (в студенческие годы он безразлично назывался и «Халатянец» и «Халатов»), давшего крупные труды по истории своей родной Армении, связывается у многих, вероятно и у меня, с памятью нескольких других армян, работавших в Московском университете. Халатянец был товарищем моим по студенчеству; около него помнится С. И. Саркисов, который был моим товарищем по учительской службе. Этот с величайшим одушевлением и много лет работал над грамматикой армянского языка, которую и издал, с историческою хрестоматиею, на армянском языке (отпечатана она в Москве). Наконец, мысленно присоединяешь сюда г. Тандова (Тандьянц), который напечатал прекрасные благочестивые воспоминания об университетских наставниках своих, главным образом о маститом Серг. Мих. Соловьеве. Все эти москвичи-армяне образуют очень своеобразную и красивую группу около Московского университета, объединенную трудолюбием, честью, постоянным научным прилежанием и необыкновенной привязанностью к родному университету. Подробнее и дольше других я наблю-

* К радости умным (*лат.*).

дал Саркисова, но в армянах есть что-то общее *родовое*, и впечатление от других армян не расходится с впечатлением от него. Буслаева всегда Саркисов называл с энтузиазмом «богом филологии», применяя это же название только к Боппу («Сравнительная грамматика индоевропейских языков»). О себе и детстве своем он рассказывал: «До чего мы были дики... Привозит меня отец, черненького 9-летнего мальчика, из Тифлиса в Москву. Все мне было по дороге удивительно и страшно, и обо всем я размышлял. Вот приехали наконец и высаживаемся на Московском вокзале. Едва сделали несколько шагов, как я обомлел от страха: я увидел царя. Он был величественный, огромный, в синей форме и с необыкновенно строгим выражением лица... Потом я заметил неподалеку другого, так же одетого, и недоумевал, потому что я и в Тифлисе знал, что царь – *один*. Стараясь разрешить, почему *два*, – я решил, что другой, должно быть, его полководец. Потому что царство для нас выражалось в царе и полководце. Потом только я узнал, что это были жандармы». Действительно, у наших жандармов вид «хоть куда»... Возвращаясь к памяти веселого, жизнерадостного проф. Халатьянца, которого я вновь встретил при открытии памятника Гоголю, я должен сказать, что постоянная жизнерадостность как-то не переходит у армян (как часто у русских) в распущенность, лень, пустые анекдоты и анекдотический образ жизни. В сердцевине они в высшей степени рассудительны, и шум «товарищества» или «общественной жизни» всегда окружает у них невидимую внутреннюю келейку, где армянин неустанно трудится, думает и созидает. В службе – это стойкие, деловитые люди, в высшей степени полезные той должности, которую «проходят». Я помню, Саркисов был не только превосходным учителем (греческого языка), но отличным товарищем и вместе очень тактическим служащим (подчиненным) человеком; а ученики-малыши (прогимназия) боготворили его за премудрость учености, доброту и веселость и за неувядаемо-преlestные анекдоты, которые он умеренно и изредка рассказывал им на уроках (когда видел, что класс уже утомлен сидением и упражнениями). С городским обществом они превосходно сливались, и, кажется, тут играл свою роль мотив, воспетый у Пушкина в знаменитом стихотворении:

Гляжу я безмолвно на черную шаль...

Все их любили, мужчины, женщины, и всех они ответно любили, товарищей и жен их; отлично играли в преферанс и стуколку, всегда были при небольших деньгах (богатые отцы), которыми делились с товарищами (в долг); никогда ни в чем не зарывались до головокружения, но всегда были отличными «компанейскими людьми» около закусочного стола, рябиновки, юной красавицы, зеленого поля, в университетских воспоминаниях, в быте и болтовне. Как-то, глядя на эти неисторические фигуры, понимаешь большую роль, которую сыграли некоторые армяне в русской истории (Абамелек-Лазаревы, Десянов, Лорис-Меликов). Очень они у нас подходят ко всему; сливчивы с русской жизнью, русским характером; и в то же время не

по-русски рассудительны. Возвращаясь от этих больших фигур к милым товарищам, определеннее – к москвичам-университетам, как-то хочется сказать над свежью могилою Халатьянца (такой здоровый был! отчего помер?), что и все их отношение к университету, к самой Москве, наконец, к России есть прямое, доблестное, во многих подробностях (как я наблюдал) трогательно-участливое. Ни малейшего «отнесения своего пирога в сторону» никогда я безусловно у них не наблюдал; никакого личного и национального эгоизма и замкнутости. Рассудительность их была в высшей степени *гармонична и спокойна*. Хочется в заключение сказать пожелание: пусть там высокие облака «сходятся» и «расходятся», – в нашем низшем ярусе, где «моросит дождичек», нет причины ни для каких национальных и политических расхождений, есть только причина для братства и совместной работы около маленького житейского: «мы пить будем, мы гулять будем»; ну, а день, или по крайней мере утро, будем отдавать энергичной, стойкой работе.

Халатьянц, умерший в Тифлисе и похороненный (вероятно, не без его распоряжения) в Москве, Саркисов, Тандов (судя по его «воспоминаниям») суть прекраснейшие русские люди; в то же время вся их жизнь прошла в работе для Армении, с горячею и постоянною памятью о ней. Живую эту память, рассказы о быте армян, об армянских стариках, о народных песнях (где много говорится и о русских) я помню у Саркисова; и около этого этнографического элемента всегда забота о своем министерстве и о чести своего учебного заведения, уже русского. В сущности, кроме огромных должностей и огромных лиц, мы все живем собственно *этнографически*. Профессор, учитель, ученый, чиновник, писатель – все мы «бытовые люди», житейские люди, без всякого отношения к *политике*, ибо без всякой *влиятельной* с нею связи. А быт – только *сливает* и никогда *не разделяет*. Вот почему для мира, согласия и дружной работы вместе здесь нет никакого препятствия у всех народностей. И дай Бог *этому расти*, а всякому разделению – падать.

ВИЛЯЙ-ОРАТОР

(Маклаков об университетах)

Уже сделал было рассудительный поступок: не снимая бандерольки, опустил «Русск. Вед.» в корзину. Но выпал досуг, вынул обратно, и вот полчаса читаю речь Маклакова.

Тссс... Говорит Цицерон. Не тот римский Цицерон, который одевался в тогу, а наш московский Цицерон, знающий, какие хорошие блины пекут у Тестова, какой хороший звон у московских колоколов и как москвичи, а тем паче московиты, любят послушать хорошего адвоката, даже если он и защищает воровское дело (интенданта). «Все равно, – сдобно бы было», – т. е.

красноречие. «За мной – двадцать лет непрерывного восхищения», – думает о себе Маклаков: такому борзому скакуну что значат все преграды?

Он, однако, в Г. Думе: и казалось бы, «место обязывает». Это не адвокатский бедный столик. Слушает его не публика, а страна, и даже ряд стран (Европа). Негосударственный-гражданин по естественному чувству неловкости не должен бы в Г. Думе и рта раскрывать. Ведь вы, гг. члены Думы, *строите Россию*; к построению России или, точнее, к *продолжению* строительства России призваны. История должна быть у вас «зарублена зарубкою на носу». Куда... Люди, которые двести лет прели в клубах и занимались клубными сплетнями, клубными заподозриваниями, клубным облыганием друг друга, – не научатся по крайней мере лет двадцать еще произносить государственных речей...

Чего-чего только нет в той «кулебяке с фаршем», которую масляно и горячо подал публике-Думе адвокат-политик. Государственность? Извольте: «Я уважаю тех правых профессоров, которые имели мужество быть правыми во время урагана революции. Но нужно иметь убеждения»... В последних словах уже мостик к чему-то другому. Оставим мостики и посмотрим дело без мостиков. Хотите ли отцовское чувство и слово родителя о студентах? Вот оно: «Студенческая забастовка, это – одно из тех явлений, которые я даже не могу обсуждать, потому что я его просто не понимаю. В забастовке сказались неуважение к просвещению и культуре и подчинение интересов культуры политике» (*мостик к переходу*), «т. е. те самые черты, которые потом в большей степени сказались в политике Кассо»...

Ну, если «таковы мысли» Цицерона, то явно и все его отношение к делу. Но это у философа «две посылки» определяют «умозаключение», а у адвоката они ровно ничего не определяют; у адвоката за «А» следует не «Б», а хоть «ижица». Маклакову и не студенты нужны, и не государственность, а чтобы «все в городе говорили», что он, Маклаков, самый умный человек на свете. Итак, студентов поучил: 1) некультурные люди, о которых даже рассуждать нельзя. Теперь надо поучить Кассо: но так как «уму-разуму» его учить было бы смешно в устах Маклакова, то он учит его другому – чести. Кассо – нечестный человек и нечестный министр. Вы думаете, он это доказал? Фу, – пусть философы доказывают: адвокаты только говорят. «Сказ» адвоката и есть «все» адвоката. «Видно, на этих студентах (исключенных) министр сводил счеты с неугодным ему ректором и администрацией Петербургского университета»... «Я не очень высокого мнения о чувстве достоинства нашего министра»... «Министр говорил, что автономия 1905 года дала профессорским советам громадную власть (*конечно, юридически – дала.* – В. Р.). Это дурная шутка и неправда. Автономия не дала власти советам, потому что власти не было тогда ни у кого». Т. е. *фактической силы* не было. Можно ли же употреблять одно слово в *двух значениях* и говорить, что министр солгал, потому что он, Маклаков, вставляет в слово «власть» другой смысл, чем какой вкладывал в слово «власть» министр?! «Министр народного просвещения в виде трофея развернул перед вами разгромленную науку и сот-

ни исключенных студентов. Это трофеи Тамерлана» (*рукопескания сле-ва*)... Какой жестокий Кассо!! «Если подобной политике будет аплодиро-вать Дума, то разве на следующий день страна не спросит: зачем существу-ет подобная Дума?» (*бурные аплодисменты*). И т. п. Все «обзывания»... Всех «обзывает» и презирает.

Читал речь, перечитал речь. Да Маклаков просто в ней *ничего не ска-зал*. Не то, чтобы не сказал *умного*: нет, другое! Речь не имела *никакой темы* и не имеет *вовсе содержания*. Просто в ней нет *подлежащего* и *сказуемого*. Нет ни того, «*о чем* говорится», ни того, «*что* говорится». Все «побочные слова», все «обстоятельственные слова»: «*время действия, место действия*» и пуще всего «обстоятельства образа действия». Но из «обстоятельствен-ных слов» речи не построятся. Однако Маклаков и гением считается отто-го, что он может построить речь из того, из чего ее никто не построит. Что за повар, варящий суп из курицы: ты свари суп из гвоздя. Маклаков это может: по строгой оценке он произнес совершенно глупую речь, не име-ющую даже маленького содержания, но зато так ее «выговорил», вращая двумя глазами по всем румбам компаса, «налево», «еще левее», «прямо», «впра-во», «еще правее», «назад» («можно бы было сместить ректора, если он негоден», – его фраза), что всем «в благородном собрании» показалось, что 1) министр глуп и нечестен, 2) студенты глупы, хотя и благородны, но 3) кто замечательно умен, и притом *один* умен, и кто в высшей степени благороден, и притом единственно благороден, то это – Маклаков. Но это так ясно всей России, что нечего было и доказывать. В этом случае речь опять-таки была бесцельной.

Но она хорошо звучала. *La musique, mon cher, toujours la musique et avant tout la musique**, – сказал, кажется, Шопенгауэр, а может быть, и Ницше. Что Россия? Университет и студенты? Если есть Маклаков, то можно обой-тись даже и без России. Будем слушать музыку, будемте ее слушать, госпо-да! Мы – художники. Пусть другие народы государствуют, пусть хоть госу-дарствуют у нас евреи, – люди практические и мысленные. Нам этой про-зы не нужно. Вот взойдет на кафедру еще Маклаков; поправит волосы... Тссс... Приложим ладони к уху, не пророним слова... Вот он мчится по пунцовым полям эсэров: сердце замирает, ломит голову! Попадет на Фон-танку... Но не таков конь... Алюр его склоняется, склоняется вправо, пун-цовый цвет под ногами сменяется зеленоватым, в словах надежда, хотя еще и очень сильный порыв. Но и порыв – ничего: в музыку вмешался звук благо-честивого колокола. Это Иван Великий звонит, это воспоминания 12-го года. Куда Фонтанка: теперь можно подумать о Владимире третьей степени. Но конь еще сохраняет силы. Что «Владимир» – отошла в вечность эта бю-рократия. Все сменилось широкими баритонными тонами: не видно ни «левого», ни «правого», все заволокла собою умеренная «середина», наша российская масляная, вкусная середина, прочная, как чичиковский стул,

* Музыка, мой друг, всегда музыка и прежде всего музыка (*фр.*).

который, как известно, не проваливается... «Все губернаторы сменились, а Чичиков все сидит»; «Столыпина застрелили, Горемыкин умер, Дурново в отставке: один цел Маклаков». И как не сказать ему: «Здравствуйте, Павел Иванович? Вы все тут и никуда не провалились?»

– Да, – погладит бакенбарды Чичиков, – я и до революции был, и после революции остался. И все «режимы» сменились: но режим Павла Ивановича никогда не сменится. Скупаю мертвые души по всей России: а Г. Дума – главная контора, где я заключаю сделки.

МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ РОССИИ

Среди всяческого растрепанности, сердечного, делового, часто задумываешься: «Да уж не падает ли *все*?» Но, добрые люди: в сущности – *ничего* не падает! О добродетели – естественно молчат, о благородной жизни – что же говорить? Она просто течет, никому не мешая. Но кто-нибудь кому-нибудь снес череп топором? Заговорила вся Россия. Но из этого «говора всей России» решительно ничего не вытекает «о всей России», ибо преступления, притом самые ужасные (Каин и Авель), творились уже в семье Адама, когда всего-то на земном шаре жили четыре человека: и «преступность нашего дня» решительно *уменьшилась сравнительно* с почти райской жизнью. Ибо из миллионного населения Петербурга вовсе не 250 000 преступников, из 150 000 000 русских вовсе не 35 000 000 злодеев. Злодеяние – всегда имеет около себя плакат. Оно публикуется – на то пресса и «цивилизация». Но эта цивилизация не могла бы дня просуществовать, если бы, в сущности, добро не перевешивало до чрезвычайности – зла, если бы разум не господствовал над безумием, если бы милые и простые люди, трудящиеся, страдающие, терпеливые, не лежали целою горою над песчинками-преступлениями...

Но что поделаешь – «пресса»... И ее задача – «кричать»... Нельзя же «кричать» о том, что я делаю свое дело: и естественно «кричат» о запутавшемся среди рабочих бездельнике, который путается ногами в чужой работе и портит ее... Все *на такого* оглядываются: все его видят. Но он – *один*. Поистине, «много шуму из ничего», как озаглавил волшебный Шекспир одну из своих комедий.

Эти мысли, сознаюсь, довольно утешительные и *которым непременно должен поверить читатель*, – стоят вот две недели у меня в душе по поводу одного случая... И потому, желая читателю такого же прекрасного настроения, в каком нахожусь я сам, передам «случай» во всех его подробностях. Проснул, в одно утро, в дверь голову какой-то священник с фигурой совсем не петербургской, подал зеленую книжку с непонятным словом (заглавие) «Хитопадеша» – и говорит: «Разберите в вашей газете». – Как «разберите», думаю, когда у меня голова устала, как котел, в котором двадцать лет варится «для читателей» (черт бы их побрал) варево: с чего я буду разбирать. И вслух говорю, посмотрев на обложку книжки: «Да это какая-то

Индия?! — На кой нам черт, русским, Индия: это какие-то буддисты суют нам своих идолов». Все вышло довольно грубовато... Священник было ушел, но через две минуты вернулся и нервно потребовал книжку назад. Я извиняюсь. Куда! «Вы меня обидели таким приемом! Давайте книгу назад, не хочу, чтобы вы о ней писали и чтобы даже вы ее читали!..» Тут уже меня забрало; книгу, конечно, отдал, но пошел в магазин и сам купил, заплатил целковый... И вот, живу две недели решительно изумленный и успокоенный насчет «событий в России». — «Не все так плохо, как кажется».

Нужно заметить, разговор со священником уже не был так краток, как я передал (хотя сводился к *тому* именно, как передал): едва войдя, он сел и, вынув из кармана открытое письмо (бланк), начал его заполнять своим адресом.

— Что вы пишете?

— Свой адрес.

— Зачем?

— А когда появится разбор, то вы будьте благочестивы сообщить мне, в каком номере газеты он напечатан. Я куплю и прочту.

— Да разве вы не читаете «Нового Времени»?

— Не читаю.

— Почему?

— Да я бедный человек. Как же я могу выписывать такую дорогую газету. У меня восемь человек детей, а жалованье мое, профессорское — такое-то.

«Восемь человек детей — это хорошо».

— Но как же вы работали? Перевели свою «Хитопадешу» с французского? И я буду...

— Я ничего не «переводил», а *сам* выбрал это из санскритской литературы и составил сборничек, наиболее отвечающий задачам воспитания в отроческом и юношеском возрасте... Отчего, видите, и посвятил ее:

МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ РОССИИ.

Я прочел.

— Откуда же это вы «выбирали» тексты?

— А это немного у кого есть в Петербурге: в начале XIX века было отпечатано лондонским (таким-то) ученым обществом великолепное издание санскритских текстов, в стольких-то (большое число) томах. И я его купил. — Он немного сжался: — заплатил... он назвал чуть ли не сотни рублей.

«Удивительно: «Новое Время» не может читать за дороговизной, а покупает санскритские тексты, стоящие сотни рублей!»

— И вы читаете эти «тексты»?..

— Читаю.

— Откуда же вы узнали этот язык?

— Выучился. И читаю со «Словарем», изданным нашей Академией Наук. Словарь в семи томах — Бетлинга.

Я вспомнил статью Вл. И. Ламанского – «Еще племянник и еще санскритолог», – лет 20 назад, в «Новом Времени», и выразился неуважительно о Бетлинге (у Ламанского шла речь именно о нем).

– Что вы?! *Единственный* в европейских литературах словарь санскритского языка издан Петербургской Академией Наук. Ни Берлин, ни Париж, ни Лондон этого не сделали.

– И он у вас есть?

– Есть!

– «Купили»?..

– Купил.

– За сколько?

– За семьдесят рублей (приблизительно).

«При восьми человеках детей – это трудно. Тут, действительно, уж зато газетки не купишь».

– Сколько же вы отпечатали экземпляров своей «Хитопадеши»?

– А триста.

– Но что же это за издание?! Оно не окупит себя!!

– Если триста продадутся – то и окупится. А мне больше и не надо, да и издать в большем количестве у меня не было средств.

Что-то бессильное, неумелое: точно собирается открыть банкирскую контору человек, никогда не считавший дальше «ста». Я стал соображать. Явно, кто-то должен прийти к нему на помощь, кто-то – пользоваться его знаниями, умом «1001-ю добродетелью», чтобы из двух человек составилось «одно существо», умеющее не только «работать со словарем Бетлинга», но и сделать все, «что отсюда вытекает». А «вытекает» очень многое, очень сложное, вытекает что-то более ценное и огромное, нежели «300 экземпляров», отпечатанных в типографии, для расчета с которою нужно их все продать, иначе «восьми человекам детей» не хватит на манную кашу с молоком. В Петербурге есть какое-то «Общество Востоковедения» и еще другое – «Общество ориенталистов». В обществах есть «председатели», бывают какие-то «секретари», все знающие, умеющие и могущие. У нас, наконец, есть Академия Наук, *русская Академия*, – и членом ее Бунин, что-то сочиняющий «о деревне»... Следует русской Академии Наук протянуть руку помощи, *руку дружбы*, редким и, наконец, редчайшим людям с врожденным пафосом к науке...

В самом деле, в Петербургской духовной академии, где состоит профессором М. И. Орлов, – вовсе нет кафедры санскритского языка, и, следовательно, он изучил этот язык вне «служебных обязанностей». По «служебным обязанностям» он издал «*Liber Pontificalis*, как источник для истории римского папства и полемики против него» и «Первое критическое издание литургии св. Василия Великого, со снимками с рукописей», – труды, вызвавшие критику и высокое одобрение в иностранной богословской литературе. И санскрит для него явился уже «гуляньем на стороне»... Ктó же не подстелит золотой коврик такому «золотому барашку» в его прогулках... Ах, если бы «протоиерей Орлов» жил в Лондоне, где есть могучая, в бри-

танском вкусе, «Ассоциация наук» и «Лондонское Королевское общество»... А то наша Академия обросла тайными советниками со всех боков и, запустившись в орденских лентах, совсем заснула.

Но что же такое «Хитопадеша»? Сперва полное заглавие: «Молодому полению России. Хитопадеша. Полезное наставление. Собрание древнеиндийских нравоучительных рассказов. Перевод с санскрита по двум авторитетным изданиям, с примечаниями, библейскими параллелями, указателями и параллельной нумерацией двустий. Часть I. Приобретение друзей. Часть II. Разрыв друзей. Профессора протоиерея М. И. Орлова». – «Азиатская Индия, – говорит в предисловии г. Орлов, – есть родина если не самых древних, то самых прекрасных учительных произведений по внешней и внутренней сторонам... Около VI века по Р. Х. была составлена Пантатантра, или индийское Пятикнижие, где, в форме апологов, изложена наука о жизни... Она послужила главным источником и для Хитопадеша, составленной в том же приблизительно веке, – но Хитопадеша приняла в себя и много нового из неизвестных древних источников. И Пантатантра и Хитопадеша оказали обе огромное влияние на восточные и западные литературы. Следы их влияния находят теперь в древних переводах на языки: арабский, персидский, сирийский, еврейский, греческий, латинский, немецкий, датский, голландский, испанский, итальянский, французский, английский и языки славянские». Некоторые ее фабулы («Стефанит и Ихнилат», – издана в Москве Обществом любителей древней письменности) вошли в допетровскую рукописную письменность.

Это что-то вроде народных басен, легенд, «прологов» (рассказы из «Житий» святых), притчей Соломона, изречений «Иисуса сына Сирахова», пословиц и поговорок. Это – «самоучащийся народ», «самовоспитывающийся народ»; хочется добавить: «само-спасающийся народ». В самом деле, чем-то народ «спасал свою душу» от расхищения ее пороками и темными демонами страстей раньше, чем ему дали школы, наставников и законоучителей. Чем «спасал»? Да вот этими побасеночками, легендочками, – которые *произносились необыкновенно серьезно*, со слезою на глазу. «Спасался» и укреплял волю поговорками, притчами, рассказами из «былого», примерами «бывающего». Все это и накопило «учительную литературу», у нас, у германцев; в Индии – вот «Хитопадешу». Это – не индийский идол, как я думал; не сонливый Будда, ужасно надоевший с дней Шопенгауэра и под писаниями Толстого. Это все – живое, народное, хоть и пришло из Индии. Но, возникнув в Индии, оно общечеловечно: как «басни Крылова», переведенные на немецкий язык, на французский язык, учили бы немецкого мальчика, французского мальчика. Эти «примеры из жизни», «иллюстрации из животного быта», – где дышит все, дышат даже растения, где звери – разумны, как человек, это просто трудовая народная жизнь, одинаковая на Ганге и Волхове: где просто люди работают, живут, рождаются, находят друзей, обманываются в дружбе, одни богатеют, другие беднеют... И на Волхове, и даже на Неве полезно и, наконец, приятно выслушать, «что бывало на Ганге». Тем более, что эти «были на Ганге и Инде» так прелестны по сложению фантазии и по литературному языку...

Спасибо проф. Орлову, спасибо от «молодого поколения России», с верою в которое он писал свою прелестную и поучительную книгу.

Спасибо за то, наконец, что длинный ряд лет он, как тихая лампада, горел перед образом науки, – в то время, как на шумной и «публикующейся» улице современники его растлевали, грабили, насильничали, обманывали... И он ничего этого не замечал даже. Но, отвертываясь от улицы – сюда, мы все получаем утешение и возрождаемся верою в лучшее и верою в человека. Ей-ей, сам профессор Орлов мог бы войти сказочною в «Хитопадешу».

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ

5 марта в религиозно-философском собрании был прочитан весьма содержательный доклад Евг. П. Ивановым на тему «о народности в связи с кровью, полом и религиею». Интересны были мысли его, что в сущности все христианские церкви суть в то же время *народные церкви, местные церкви* и что *вне связи с народностью* религия становится чем-то вербальным, отвлеченным и до некоторой степени призрачным. Он пытался отсюда перекинуть мост к религии Духа, но здесь рассуждения его не были ясны. Ему возражал католический священник, утверждая, что *папство* совершенно *вненационально*. Г. Иванов возразил ему, что и папство национально, ибо оно содержит коренное стремление «Вечного Города» – к универсальному охвату. Полный интересных теорий и диалектики вечер, к сожалению и удивлению образованных слушателей, из которых многие приняли участие в прениях, окончился крикливой выходкой какого-то Каблучкова или Каблушкина, сидевшего на эстраде. Он обозвал чувство своей народности в каждом человеке – зверским инстинктом и стал бранить эти зверские чувства в связи с покойным министром Столыпиным. Так как это было совершенно неожиданно и вне всякой связи с докладом, то публика немало изумилась выходке, но перенесла ее с добродушием, как один из припадков глупости, нередких у русских в азарте «общественных чувств». Доклад был философско-исторический и никакого отношения к современности не имел.

О ЗАГАДКЕ МИРА*

Признаемся, слова «оккультное» и «теософия» заставили нас с враждою взяться за книгу. Эти увядшие люди, без игры, без улыбки, без страсти, без огня, которые вечно находятся в каком-то остоленелом, полусонном состоянии и называют себя «теософами», «оккультистами» и проч., не предрас-

* П. Д. Успенский. *Tertium organum*. Ключ к загадкам мира. Тайна пространства и времени. Тени и действительность. Оккультизм и любовь. Одушевленная природа. Голоса камней. Математика бесконечного. Логика экстаза. Мистическая теософия. Космическое сознание. Новая мораль. Рождение сверхчеловека. СПб.

полагают читать их «любимые книжки». Если бы мне сказали, что «через спиритический сеанс» я могу увидеть Бога, ангела или умершую мать мою, — то я *чем более поверил бы*, тем более почувствовал бы *отвращение и негодование*; и ни за что не захотел увидеть *этим путем* Бога, ангела или мать. Вся моя религия пала бы при этом, — та религия, которая мне *мила*, меня *радует, утешает и спасает*. «Провались ты к черту, — скажу я всякой магии, — и в особенности скажу *истинной магии*, — я не то, что не верю в тебя, но я *не хочу тебя*; и без рассуждения буду колотить тебя сапогом, тебя и всех магов, — и тем более, чем ты истиннее и могущественнее. И могущества твоего я не боюсь, потому что меня с детства бережет мой ангел-хранитель».

Понятна неприязнь, с которою я взялся за книгу П. Д. Успенского. Но она не такова. В ней нет ничего «сводящего с ума» и приводящего в «оступенелый вид». С величайшим интересом читал я в ней страницы о пространстве, о четвертом его измерении; о времени и том, что оно есть пространство же, и именно — намек на четвертое его измерение. О движении; о том, что весь наш мир, вся наша вселенная есть «поверхность касания других высших вселенных». Книга вращается, ясным и точным языком, в идеях Канта, Ньютона (его «флюксии»), Лобачевского, Гауса, Римана. Все это разумно, вкусно и ни от чего не сходишь с ума.

Когда он говорит о «голосах камней», — то как хорошо это в параллели, которую он проводит между «стеною церкви» и «стеною тюрьмы»!

Я приведу несколько его мыслей, чтобы читатель мог судить об изложении и языке автора:

«Мы не замечаем того, что мы сами обворовываем себя своим «позитивизмом», — лишаем жизнь всей красоты, всей тайны, всего содержания. Мы превращаем ее в голую схему вертящихся шаров и удивляемся потом, что нам скучно и противно, и не хочется жить, и что мы ничего не понимаем вокруг».

«В свое время позитивизм явился как нечто освежающее, трезвое, здоровое и *прогрессивное*, прокладывавшее ясные пути мысли. После всяческих настроений наивного дуализма это, конечно, был большой шаг вперед. Позитивизм стал символом *прогресса мысли*».

«Но мы видим теперь, что он неизбежно приводит к *материализму*. И в таком виде он останавливает мысль, которой уже давно тесно в узких рамках *материи и движения*. Из революционного, гонимого, анархического, вольнодумного позитивизм стал основой официальной науки. На него надет мундир. Ему пожалованы ордена. К его услугам университеты, академии. Он признан. Он учит. Он управляет мыслями.

Но, достигнув успеха и преуспевания, позитивизм прежде всего поставил препятствия дальнейшему ходу мысли. Все, выходящее из схемы движения, объявлено *суеверием*. Все, выходящее из рамок обычного сознания, объявлено *патологическим*. Перед свободным исследованием поставлены китайские стены «положительных» наук и методов. Все, поднимающееся выше этих стен, объявлено *ненаучным*.

И в таком виде позитивизм, бывший раньше символом прогресса, уже является *консервативным, реакционным*.

В области мысли уже установился *существующий порядок*, и борьба с ним уже объявлена *преступлением*.

Но свободная мысль не может остановиться ни на каких рамках. Никакой *один* метод, никакая *одна* система не может удовлетворить ее. Она должна брать от всех, что в них есть ценного. Она не должна ничего признавать *решенным* и не должна ничего считать *невозможным*.

Истинное *движение*, лежащее в основе всего, есть движение *мысли*. Все, что останавливает ее, — *ложно*... Смысл жизни в вечном *искании*. И только в *искании* мы можем найти что-нибудь *новое*.

Это так хорошо и верно, что каждому бы автору «дай Бог». П. Д. Успенский взял эпиграфом к своим физико-философским исследованиям слова из Апокалипсиса, когда-то поразившие и Достоевского: «И клялся ангел, что (тогда-то и тогда-то) *времени уже не будет*», и слова ап. Павла из послания к Ефессянам: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, *могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота и что — глубина и высота*»... Автор говорит, что человек *после кантовского разума* мог бы произнести такие слова, и поражен ими в устах ап. Павла. Он говорит, что «святость» есть то же для души в ее глубочайших силах, что гений — в сфере одной и узкой ее части, мысли. И что «святыми» мир разумеется и воспринимается иначе, чем прочими людьми: именно для *них* «пространство трех измерений» не есть граница ощущения, граница восприятия и действования; и от этого они имеют «видения», вещие «сны», знают «будущее» и «далекое», суть «ясновидцы» и иногда «чудотворцы». Все это хорошо; но около всех этих соображений и изысканий нужно быть очень осторожными, т. е. читатель должен быть осторожен, и держать за спиной на всякий случай палку («теософия» и «маги»).

ЭС-ДЕКИ В СТРАНСТВИЯХ

Ну, что уж греха таить: нужно признать этот всероссийский факт, что когда в редакторский кабинет входит с объемистой рукописью «воспоминаний» или «размышлений» господин в косоворотке и с мрачным выражением лица, то редактор поспешно встает, жмет руку «вернувшемуся изгнаннику» и говорит, что «почтет за особую честь» и проч. и проч. И хоть сердце его и сжимается тоскливо, когда он ощупывает толщину рукописи, тем не менее он и подумать не смеет переделать или сократить ее и тем паче вовсе отказать в напечатании. Ибо о нем пойдет «такая молва», перед которою никакая репутация не устоит; молва, заподозривания и, наконец, прямые обвинения, сперва в «передовом обществе» и затем в «передовой печати», которая есть в сущности «вся печать»; пойдут «клички», пойдут «обзывания», сближе-

ния с Булгариным, указания на «связь с министерством» худой репутации, намеки на «рептильный фонд» и проч., и проч., и проч. И прощай доброе имя: прощай долгие года создаваемая репутация. Прощай трудом, энергией и служением именно обществу заработанное положение: все рушится в один год, в тот злосчастный год, когда редактору пришло на ум сказать «политическому эмигранту» роковую фразу:

– Ваше произведение *бездарно*.

Можно подозревать, что Тургенева «казнило» молодое поколение оттого, что этот «взыскательный художник» не все сплошь одобрял в «первых шагах» молодых людей, представлявших ему на прочтение и одобрение свои «первые шаги»... «Шаги» они все-таки проделали в литературу и в ней подняли травлю против «взыскательного художника». Тургенев имел недальнорукость смешать *читающее общество*, которое всегда ему было предано и в преданности никогда не изменялось, с отзывами о нем пяти – десяти анонимов, «шаги» которых он не одобрил и которые ему мстили в печати за оскорбленное литературное самолюбие, – как известно, самое язвительное и памятлиное.

Если перед натиском этой злобы склонил голову Тургенев, если под конец жизни стал клонить седую голову и могучий «Лев», – то решительно нечего спрашивать от К. К. Арсеньева и М. М. Ковалевского, которые вот третью книжку журнала «Вестн. Евр.» наполняют, вероятно скрепя сердце, мемуарами «ссылного» С. Чудновского, под претенциозным заглавием «Из дальних лет». Под этим поэтическим заглавием, как известно, г-жа Пассек печатала свои воспоминания о Герцене, Огареве и других лицах 40-х годов. Мне кажется, повторять *заглавия* в литературе так же недозволительно, как брать из кого-нибудь и цитаты без указания источника; по крайней мере, что касается заглавий нешаблонных, вроде «Русская история». Хочется, чтобы «Из дальних лет» так и было *единственным* в русской литературе; от него веет прелестью и стариной. Г-н С. Чудновский не только отнял заглавие у г-жи Пассек, но как-то, потершись около этого заглавия неуклюжею спиною, испортил его свежесть и аристократичность.

* * *

Г-н Чудновский живописует себя и других ссыльных. Между прочим, они стали издавать там «Сибирскую Газету», и очень интересно узнать, как они смотрели на задачи печатного слова. Оно отнюдь не обязано было служить интересам России и давать верное изображение ее состояния в данных местах и в данное время, а... живописать авторов и редакторов, в той самой позе, как они сами становились перед зеркалом своего воображения. Хотя это невероятно, и невероятно признание в этом, но вот читайте:

«В отношении к местной администрации «Сибирская Газета» твердо придерживалась того принципа, чтобы – в пределах цензурной возможности – разоблачать ее злоупотребления и хищнические проделки, и при этом никоим образом не расхваливать редких и случайных приличных админи-

страторов, дабы афишированием исключений не вводить в заблуждение читателей и не сбивать их с правильной (!) точки зрения. Крайне недовольный тем, что «Сиб. Газета» уделяет так мало места его административной деятельности, томский губернатор К. пригласил к себе однажды редактора А. В. Адрианова и обратился к нему с упреком: «Вы вот подхватываете все некрасивые поступки чиновников, беспощадно их разоблачаете, а когда администрация делает что-либо хорошее и полезное, вы не считаете нужным поощрить ее на этом пути добрым словом». Адрианов со свойственной ему искренностью и прямолинейностью ответил: «Наша газета принципиально оппозиционная; раз мы станем изображать администрацию в хорошем и симпатичном свете, благодаря ее исключительно редким приличным поступкам, мы введем в заблуждение обывателя, который может подумать, что «Сиб. Газ.» идет рука об руку с правительством». Такое прямодушное заявление редактора крайне смутило и поразило К., и он – при встрече со мною в тот же день – с горечью мне сказал: «Что вы скажете на такое заявление, а?! Могут подумать, что его газета не против правительства! И это он говорит кому же? Мне – члену этого правительства, представителю самодержавной власти (этим «представительством» К. очень гордился и всюду его афишировал). Объясните-ка хоть вы Адрианову, как это бестактно с его стороны объясняться таким образом с губернатором. Он должен благословить судьбу, что он имел дело с Иван Ивановичем, бывшим инспектором студентов Московского университета; ведь, попади-ка он на другого, тот не преминул бы закрыть за это газету!..»

Не правда ли, поучительно? Если принять во внимание, что какова была «Сибирская Газета», таковы по духу и характеру сообщаемого материала все наши левые газеты, то придется вывести заключение, что изображение России и всех русских дел, всех происшествий в России, даваемое в них, – ложно: это всегда так и думалось, но под этим не стояло удостоверительной подписи; г. Чудновский полными буквами написал, что у них всегда это так и делалось. Они и всегда лгали и облыгали Россию, но делали это не по невежеству и даже не по злу, а «по программе», запрещавшей им говорить о добрых, положительных явлениях, чтобы кто-нибудь не подумал, что они уже «не в оппозиции правительству». Какая же цена этой оппозиции и чего вообще их оппозиционность достигает? Да – ничего! Раскрашивает их медные лбы красной краской, вставляет им павлиньи перья и вообще дает кураж, счастье и благополучие. Нет людей, более довольных собою, чем русские эс-еры и эс-деки. Все это счастливые Александры Ивановичи Хлестаковы «в успехе».

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ

Всякого человека можно любить, если он немножко с грустью... С «немножко грусти» начинается человек: *до этого* он какое-то животное... или ребенок. И вот в высшей степени любопытно наблюдать, что эта общечеловеческая черта, под которую объединяется все обещающее, все *могущее расти* и, ста-

ло быть, нормально-прогрессивное, как раз отсутствует у «политических», которых можно принять за какую-то *обрубленную* партию, которая уже «вся кончилась» в своем тщеславии и напыщенности. Прежде всего таков сам автор воспоминаний «Из дальнего», С. Чудновский. Если бы его спросить: «Что же, неужели Бокль был не умнее вас?» – то он бы ответил: «Бокль был, конечно, первый человек по уму, но я – такой же, только поменьше читал книг». И все они – «такие же», т. е. решительно первые по уму люди в России и даже на всей земле, между собою же все совершенно равные. Они собственно умны по «принадлежности к партии». Партия их – самая умная, вне какого-нибудь даже приблизительного сравнения с другими партиями; и, встречая людей других партий, они просто их отшвыривают ногой, как булыжник, не вникая нисколько в их образ мысли, в основательность их мысли и проч. Это глубоко «естественное состояние», «натуральное состояние», в котором находятся все наши социалы, в высшей степени любопытно наблюдать; их считают нередко «начетчиками» и фанатиками: но какие же они «начетчики», когда они ничего не читают, кроме разве брошюрок, все одного цвета, и какие они «фанатики», когда вечно болтают, – между собою, на митингах и в своих журналах, – все на одно «до», без малейшей вариации тона, без способности перейти от «до» к «ре». Люди без многоточий в душе, в уме; без теней, без вечера и утра. Что-то плоское. Родился «социалом», уже почти родился: с протестом, негодованием и проч., сперва на мамку кормившую, а потом на «правительство». На этом «градусе» стояла стрелка столько-то лет; потом что-то хрустнуло, сломалось, инфлуэнца и проч.; стрелка упала с циферблата: «социал» умер. Все это так механично, коротко и обрублено, – без тоски и всего человеческого, – что остается почти только «служебный формуляр», в который вставляй какое угодно имя.

Ну, вот пробежите жизнь Александра Алексеевича Кропоткина, старшего брата теперь живущего в Париже эмигранта, «того знаменитого, который»... Что в нем есть, кроме исходной «штуки», – которая какое же имеет отношение к освобождению России и за которую он поплатился; и последующей жизни, сплетенной из одного тщеславия.

«Александр Алексеевич был типичный ученый. Он всецело погрузился в астрономию, с увлечением ею занимался, состоя в постоянной ученой переписке с самыми выдающимися астрономами Старого и Нового Света. В Цюрихе он очень близко сошелся с проживающими там эмигрантами, в особенности с Петром Лавровичем Лавровым, который привлекал к себе все его симпатии, не столько как политический деятель, сколько как философ и ученый. А. А. принимал участие в борьбе «лавристов» и «бакунистов» (примыкая сам к «лавристам», между тем как жена его очутилась в среде «бакунистов», о чем А. А. впоследствии немало рассказывал с трагикомическим юмором), посещал разные собрания и т. п. Вернувшись в Россию, А. А. продолжал живую и постоянную переписку с последним, и это разбило всю дальнейшую его жизнь. Вследствие перехваченного письма к нему от Лаврова, у Кропоткина произве-

ден был обыск. Ничего предосудительного у него не нашли, но Кропоткин жестоко оскорбил присутствовавшего при обыске прокурора; когда последний собирался уходить, вместе с жандармским офицером, и они протянули на прощанье руку Александру Алексеевичу, последний, со свойственной ему экспансивностью и прямолинейной откровенностью, ответив на пожатие руки жандармского офицера, не подал руки прокурору, заметив: «Я могу еще протянуть руку жандармам, как бессознательно действующим, но вам и вообще прокурорам, как «сознательным», я не могу подать своей руки». Вполне естественно, что такая «дерзость» безнаказанно сойти не могла, и князь Кропоткин, по установившейся практике, в административном порядке выслан был на пять лет в Восточную Сибирь и водворен в маленьком городке Енисейской губернии – Минусинске, куда за ним последовали и жена его с двумя сыновьями».

Из-за чего погиб человек и увлек в гибель с собою жену и двух сыновей?! Индейский петух, – которому непременно надо было пройти по двору, как можно более напустив красную перепонку на нос так, чтобы «вся дворня дивилась», – и больше ничего. Прокурора *послали*, и, раз он служит, – он *не мог отказаться и не пойти*. Кропоткин мог бороться против «должности прокурора в России», – а не против Ивана Ивановича, прокурора. Иван Иванович обошелся с ним вежливо: сделал свое дело и подал руку. Какое нужно было иметь бесчеловечие, чтобы сказать подобную фразу человеку, которому вовсе не легко исполнять *эту часть своих обязанностей*, не ради которой он шел на службу, но которая вошла в состав его обязанностей, может быть непредвиденно или неожиданно. Да и вообще, борись с «должностями», а не с «Иванами Ивановичами»: «Ивана же Ивановича» касаться не смей, он – *священное для тебя лицо*, если хочешь, чтобы священно обходились с тобой. Кропоткин, ничего этого не разобрав, влепил нравственную пощечину «Ивану Ивановичу», которая, может быть, у него будет болеть всю жизнь. Влепил «здорово живешь», просто для тщеславия. И так как с таким глупым человеком рассуждать было нечего, ибо, очевидно, ничего нравственного он понять не мог, то государство в естественном пылу негодования (отнюдь не *мести*) на такую нравственную тупость отбросило его от себя, от гражданства и вообще порядочного быта своего, в сторону.

С. Чудновский, сам такой же глупый, ничего этого не понимает и воображает, что «Кропоткину мстили за оскорбление враги». Кто же «мстил», – прокурор? «Мстили» те, кто *не был оскорблен*; и очевидно, делали это *за другого*, в заступу другому, по общечеловеческой связанности и солидарности, по братству общечеловеческому. «Из нас оскорбили одного, и мы все за него мстим, хотя мы и не оскорблены». Так понятно. И так хорошо видеть, что государство (юридический институт) не лишено этих нравственных теней в себе. Собственно слова Кропоткина – юридически ненаказуемы. Но есть юридически ненаказуемые вещи хуже и унижительнее правовых преступлений. Одно из таковых сделал Кропоткин, обидев «Ивана Ивановича». Для державы русской – от этого никакого ущерба; «основ не

потрясают» эти слова. Опасности – никакой. Но государство – немножко и человек. Именно, насколько в нем есть грусть, тени, утро и вечер. Совершенно деревянного князя оно и двинуло этою своею человеческою стороною.

«Тоска и угнетенное состояние Кропоткина сугубо усилились, когда ему, – по окончании первоначально назначенного пятилетнего срока ссылки, было объявлено, что последняя продлена ему еще на пять лет. А. А. понял, что враги его столь же злопамятны, сколько и сильны и за нанесенное им оскорбление будут ему мстить до гробовой доски. Он совсем приуныл, тем более что материальное положение его постоянно ухудшалось; арендаторы его имения, пользуясь отсутствием его хозяина, постоянно сокращали арендную плату и высылали ее крайне неаккуратно».

И вся жизнь дальше – гулянье индейского петуха; и странная, коротенькая, бездумная смерть петуха же!

«Это был удивительно своеобразный и оригинальный человек. По убеждениям своим он был несомненный и безусловный демократ, но в то же время он инстинктивно до мозга костей проникнут был сознанием своей родовитости. Не раз приводил он меня и других товарищей в чрезвычайно веселое настроение, когда в пылу раздражения и полемики с разными представителями власти он принимался доказывать им, что они не достойны даже того, чтобы он с ними говорил, ибо он – «Рюрикович». Однажды А. А. сильно оскорбил местного присяжного поверенного К.; тот вызвал его на дуэль, но А. А. самым серьезным образом заметил ему, что он забывает, какое громадное расстояние между Рюриковичем и мелким дворянчиком. В обращении с местными властями (в особенности с жандармскими) Кропоткин бывал всегда крайне резок и неуступчив, часто заявляя, что говорит с ними лишь в силу необходимости и с великим отвращением.

В отношении к колонии политических ссыльных князь Кропоткин был прекрасный и донельзя корректный и безукоризненный товарищ, сохраняя всюду и всегда в сношениях с ними образцовое джентльменство. Прибыв в Томск, Александр Алексеевич прежде всего сделал визиты всем членам колонии без исключения. В Новый год и на Пасху он обязательно обходил всех с визитами, усиленно приглашая к себе всех. Всегда и во всякое время он очень радушно принимал у себя всех политических ссыльных, обильно угощая каждого, всячески стараясь не давать чувствовать своего превосходства в каком бы то ни было отношении».

«Решившись отправить семью свою в Россию, Кропоткин до окончания срока ссылки остался в Томске. Разлука с семьей сильно подействовала на него. Он страшно захандрил и затосковал. Будущее стало пугать его в самых мрачных красках. Его *все чаще и чаще стал пугать призрак надвигающейся нищеты, так как оскудевших доходов, по его мнению, не хватило бы ему на жизнь в Петербурге*. Чем больше приближался срок его ссылки, тем сильнее он хандрил – и наконец, не совладав с собой, в припадке отчаяния выстрелил себе в висок».

Поразительно... смерть от самолюбия! Что не мог бы «по-княжески» жить!! Жить именно в *Петербурге*, хотя есть жизнь и в Кашине. И живут люди, — что делать, живут; и мог бы жить князь, если бы он любил жену, детей и самую жизнь. Но в Минусинске, очевидно, тщеславие стоило дешево, а в Петербурге, конечно, оно дороже. Нужно иметь «приемы» и иногда позавтракать в хорошем ресторане. И от таких пустяков человек «с социальным будущим» в голове взял да и разбил голову.

Ничего этого не понимая и ни о чем этом не догадываясь, С. Чудновский пишет:

«Человек этот, наверное, очень много дал бы науке, если бы не бессмысленная и жестоко-несправедливая русская действительность, не щадящая ни знаний, ни таланта...»

Не удивительное ли заключение? Все социалисты если и не делают постоянно и каждый день новых открытий, то только по двум причинам: 1) правительство не дает и, самое главное, 2) завтра сделают. Поистине, пока они есть, Россия может пребывать в эмпиреях.

ОБ АДРЕСЕ «СВ. СИНОДА» СВОЕМУ ОБЕР-ПРОКУРОРУ

Тактичны или бестактны были речи некоторых депутатов в Г. Думе, обращенные к синодальному обер-прокурору во время обсуждения сметы духовного ведомства, хорошо или недостаточно он эти речи парировал, — совершенно независимо от всего этого представляется чем-то необыкновенно странным чтение адреса от лица Синода, стоя и в синодском помещении, этому почтенному и деятельному государственному сановнику или государственному чиновнику... Ведь слово «адрес» по-славянски, т. е. на языке церкви, — написать нельзя и, по крайней мере, никогда не писалось. Еще немного далее двинется прогресс, и верующие, пожалуй, увидят или в душе своей будут опасаться, что иерархи церкви в монашеских мантиях пройдут с факелами мимо окон дома обер-прокурора, воспевая ему «канту прелюбезну», как выражаются на своем языке семинаристы, или устроят «факел-цуг», как говорят на родине Бисмарка, пастора Штёкера и Шиллера...

Адрес подписывают и адрес «со встречею» читают подчиненные своему начальнику, и вообще служащие низшего иерархического положения высшему лицу. Нельзя представить себе адрес, прочитанный от лица нескольких полковников поручику. Но в общем представлении всего народа русского митрополиты стоят иерархически и, так сказать, «священно» неизмеримо выше обер-прокурора; и «синодальное заседание» ведут они, составляют они: обер-прокурор же лишь *в стороне от них*, за небольшим служебным столом, *соприсутствует им в зале*. Но он не садится за одним столом с иерархами, с митрополитами и архиереями: и чем-нибудь обусловлена же эта формальность, которая никогда не нарушалась и чем-ни-

будь была вызвана. Она вызвана тем, что обер-прокурор Синода – *не член Синода: и недостойн им быть*. Туда не допущен даже ни один священник, по *малости его духовного сана*. Не долго были в составе Синода два протопресвитера: но и *они исключены*. Вл. Карл. Саблер – совершенно *вне Синода*: он только блюдет за синодальным делопроизводством, дабы в нем не произошло ущерба для государства. Таков смысл и Духовного Регламента, которым весь этот порядок установлен. Он вовсе не идет впереди, как полковник, и никого не «ведет за собою»: потому что за ним церковь, а не полк. И даже странно и оскорбительно сказать и думать: «за ним» церковь. Церковь не «за кем», она – впереди всего и выше всего; глава ее есть Христос. Но к представлению, что Владимир Карлович «впереди» и «ведет», мы приводимся и невольно и неодолимо именно тем, что ему «прочитан», и притом «стоя», – адрес. Что-то аналогичное тому, как «читают» адреса офицеры полковнику, чиновники департамента директору департамента или так «вообще в обществе»... Но «вообще в обществе» еще менее подходит как образец и пример форм для монахов и глав церкви. «Главы церкви» суть, конечно, митрополиты и архиепископы. Церковь имеет «возглавление», но только не единоличное; и уже никаким образом эту «главою» над нею не стоит обер-прокурор. Это невозможно ни по существу, ни по представлению народа, ни по закону. Между тем в «адресе», очевидно, «начальнику» иерархии выразили именно это: да так и несомненно, ибо в адресе они благодарят его между прочим за то, что он их «не угнетает». Может быть, он лично и не угнетает, но самый адрес и эта благодарность за то, что *лично* он не угнетает, говорят так ярко об *историческом* угнетении, о *вековом* гнете, – как ничто до сих пор. Гнет дошел до того, что потеряны самые формы самоуважения, самый тон самосознания; что человек вдруг заговорил не голосом человека, а (если бы было возможно) голосом рыбы на сковородке: «Вот, – благодарим, теперь меньше подпекает».

И разительно, что до некоторой степени эта рыба сама влезла на сковородку. Прежде всего, чтобы покончить с адресом, коего название на *церковном*, на *славянском* языке и изобразить нельзя, и конечно, славянские буквы никогда не начертывали этого звука, и уже это одно показывает всю невозможность и неуместность такого обращения: но разве нельзя было того же самого выразить в речи при случае, косвенно сказать о том же самом в проповеди с амвона, обращенной к народу, и проч., и проч. Теперь, кончив с формою, обратимся к существу: за что благодарят Владимира Карловича иерархии? За то, что он сделал *их дело*; выполнил *их обязанности*. Но почему *они* не выполнили? Почему авторитет и сила света церкви, властное, увещательное слово, властное, защитительное слово, – перешло от иерархов к обер-прокурору? Ну, а *они* что говорили? Ничего: они расторгали браки, чинили разводы, налагали епитимии, и вот напоследок сочинили адрес, или, вернее, им довелось сочинить адрес. «Довелось» и они «довели» себя... вековою апатичностью, бесстрастностью, водянистостью... И как не вспомнить грозного слова обличения Иоанна Богослова: «О, если бы ты был хо-

лоден или горяч: но как ты и не холоден, и не горяч (а только — тепловат), то изблюю тебя из уст своих, — говорит Господь». Как печально и страшно русским людям подумать, что в этих грозных словах наши иерархи за все два века своего чередования читали *«мене, текел, фарес»*, увиденное Вальтасаром на стене комнаты. «Взвешено, смирено и решено»: и *представляет и выражает* церковь теперь обер-прокурор... Они же дремлют, но сквозь дремоту произносят: «Благодарим... За нас, за нас трудился... Не оставляй трудиться и впредь за нас...»

Вот уже *«sic transit gloria mundi»**... Одежды остались. Титулы. А душа отлетела. И вот слетаются «вранье», т. е. вороны... Отчего об этом не подумали иерархи, об этих «слетающихся воронах», когда они читали уничижительные речи о себе в Думе? Не завьется ворон над живым; живого он не смеет клонуть. А где *не живое* — как не появиться ворону?

И все раскрыл это адрес. Роковой адрес.

А. Ф. КОНИ КАК ПИСАТЕЛЬ И ЮРИСТ

Когда я вижу подпись «А. Ф. Кони» под статьей или читаю в объявлениях, что в Соляном Городке или в зале Тенишевского училища А. Ф. Кони «прочтет из своих воспоминаний» то-то и то-то, неизменно «с благотворительной целью», — то всегда присоединяю сюда память о докторе Гаазе, бедном московском враче тюремного ведомства, николаевских времен, благородную и исключительную личность которого Кони впервые выставил на свет, обратил на нее всеобщее внимание, написал о нем несколько статей, всегда прекрасных, и прочел несколько лекций, тоже прекрасных. Через это «Кони и Гааз» или «Гааз и Кони» сплелись в такой один веночек благородства и великодушия, что их нельзя отделить; и, произнеся «Гааз», непременно произнесешь «и Кони», а произнеся «Кони», непременно произнесешь и «Гааз». Правда, злое или огорченное сердце подсказывает: «Гааз все трудился, помогал обездоленным, напоминал о забытых, ходил, хлопотал, заступничал. Жил бедняком и умер в бедности. А что собственно *сотворил* Кони?» Но рассудок велит сердцу молчать. Гааз, правда, ничего не получил от современников, ни даже признания и благодарности. Вся позолота его праведной и святой жизни пала на Кони: он так сплелся с Гаазом, что теперь не разберешь, кто собственно был добр, Гааз или Кони? Портретов Гааза мы не видим, портрет Кони везде видим; Гааз не читает лекций, Кони их читает. Удивляются — Кони, аплодируют — Кони, хвалят — Кони; «потому что Кони любит Гааза». Он так крепко обнял Гааза, что маленького и бедного доктора почти не видно, а виден только знаменитый, славный, состоящий, кажется, в чине «тайного советника» А. Ф. Кони, юрист-законодатель-писатель-лектор. Но эта знаменитость могла бы быть холодною; Гааз ей поддал теплоты. Знаме-

* «так проходит слава земная» (лат.).

нитый юрист, столько дел пересудивший, столько преступников видевший, мог бы сойти в могилу с тою жесткою и несколько язвительной памятью, с какою приличествует умирать людям юриспруденции. Но Гааз обломал все шипы: остались одни розы. Кони теперь представляется слушателям его лекций и читателям его статей чем-то вроде старой бабушки среди молодых внучат или старой мамы, к которой дети обращают глазки и известную, милую песню:

Колыбель вам кто качает,
Кто вас песней забавляет
Или сказку говорит,
Кто игрушки вам дарит?
— Мама золотая!
Если, детки, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы, —
Как бывает иногда, —
Кто же слезы льет тогда?
— Все она, родная!

Не правда ли, эти десять строк удивительно очерчивают, так сказать, «общественное и литературное положение» Анатолия Феодоровича. И эпиграфия на его могилу, надеемся еще не близкую, естественна следующая:

Кони всегда любил Гааза.

Это — просто, коротко и совершенно полно.

Трудитесь, вы, чернорабочие добродетели: фрукты будем собирать мы, писатели.

Но... «на всякого мудреца довольно простоты», говорит русская пословица. Мудрый и осторожный Кони, могиле которого, кажется, так же естественно быть возле могилы Гааза, как могиле Тургенева возле могилы Белинского, сверх разных лекций «с благотворительною целью» издает также обширные мемуары судебного деятеля под заглавием: «На жизненном пути». *Настоящие* мемуары *настоящего* судьи, если они когда-нибудь появятся, будут бесконечно занимательнее всяких литературных мемуаров, с описанием «литературных знакомств», где, в сущности, все «одно и то же», — старое и чуть-чуть надоевшее. Судебные же мемуары внесут в литературу колоссальный новый материал поразительного психического и бытового значения. Кони, конечно, мог написать такие мемуары; но — не написал, слишком увлекшись «литературными знакомствами», а также живописанием тех «общественных переломов», какие давно известны и помимо его книги. Упустив это великолепие (уголовный элемент), бывшее у него под руками, он утвердил то, что всегда говорилось у него за спиной: именно, что Кони, конечно, *всегда* умен, но не до избытка... В его уме есть что-то осторожное, умеренное и предусмотрительное, но бесспорное и без воображения. Живописуя «переломы общественных настроений», т. е. любимую тему Стасюлевича, Пыпина, Джаншиева и

еще множества других, он увлекается добрыми чувствами, благородными стремлениями и, не удержавшись на черте, показывает неожиданно когти, присущие юристу и даже старому сутяге и которые так поразительно видеть около Гааза. Гааз был служака николаевских времен, который «пёр вперед» по благородной натуре своей, не соображаясь с царствованием и ни с чем. Этим-то он и горел как бриллиант. Напротив, Кони тоже «идет вперед», но вместе *со своим временем*, ничем не рискуя; и выражая в словах и поступках именно *время*, а не *себя*. Натура его скорей неопределенная, но – приспособляемая и, так сказать, «собирающаяся»... Тут он неожиданно нарушает даже основной принцип, что «юстиция – слепа, и не *взирает на лица*».

– Бесстрастия, г. судья! Бесстрастия к царю и подданному, к вельможе и поденщику, миллионеру и рабу!

Ведь «земное правосудие» отражает, или повторяет, или имитирует «небесное правосудие». А там уж действительно «все равно», и *лиц* – нет, а – *дела*!

Но Кони «взирает на лица» и обнаруживает странное злорадство о падении некоторых лиц! Дело идет о Митрофании, *изуменье*, и Овсянникове, *миллионере*. Неужели к суду примешается общественная месть? Неужели судья дает в себе заговорить элементу социального возмездия? Кони – дает!! Вот уж, поистине, нашла на мудреца «простота». Мне, *не юристу*, было забавно и дико, а в конце концов и *страшно* читать у Кони об «общественных чувствах», которые, подобно медицинскому «аффекту», явно воздействовали на его решения и поступки... Так что в «мемуарах» Кони мне сам Кони показался каким-то «уголовным», хотя и прокурором, с тем извинением, что он «действовал под влиянием аффекта»...

Что ему за дело, кто подсудимая? Пусть репортеры бегут по улицам и подглядывают, в каких каретах она ездила: прокурор знает *обвиняемого* и ищет только *вины*. Вот – *суд*. Не правда ли? Кони вдруг сходит с высокого кресла судьи и «под аффектом времени» замешивается в толпу репортеров, ища сплетен и положительного *злословия*. Сколько я постигаю высочайшую идею суда, – судья, *и только он один по высочайшему значению своему*, – не может злословить и не будет злословить никакого подсудимого, никакого даже осужденного и наказанного, ни сейчас, во время суда, ни даже много времени спустя и наконец после смерти, ибо *наказание исчерпало вину*, и ни одного скрупула тяжести я не положу на виновного или его могилу *сверх* понесенного и *выстраданного* наказания. Суд сказал; он исполнил; о чем же тут болтать еще судье? Зачем судье «потирать руки»? Вот эта строгость и величие суда решительно нарушена Кони, и нарушена в *злую сторону*. Отчего и самая близость его к *смелому* праведнику Гаазу подозрительна. Дело идет о Митрофании.

«Казалось, – замечает Кони, – что *дочь* *наместника* кавказского, *фрейлина* Высочайшего Двора, *баронесса* Прасковья Григорьевна Розен, в *монашестве* Митрофания, стоя во главе различных *духовных* и *благотворительных учреждений*, имея *связи* на самых вершинах рус-

ского общества, *проживая во время частых приездов своих в Петербург в Николаевском дворце и появляясь на улицах в карете с красным придворным лакеем*, – по-видимому, могла стоять вне подозрений в совершении подлога векселей».

И далее о *среде*, из которой вышла игуменья:

«Никто не двинул для нее пальцем, – рассказывает Кони, – никто не замолвил за нее слова, не высказал сомнения в ее преступности, не пожелал узнать об условиях и обстановке, в которых она содержится. От нее сразу, с *чествой холодностью* и поспешной верой в известие об ее изобличенности, отреклись все сторонники и недванные покровители. Даже и те, кто давал ей *приют в своих гордых хоромах и обращавший на себя внимание экипаж*, сразу вычеркнули ее из своей памяти»...

Но строки эти приятно или, лучше сказать, *весело* читать в газетном листке и как-то черно и прискорбно их слышать из уст судьи.

– Нужно бросить грошик каждому осужденному! В нем нуждается и каторжная княжна.

Вот суд народа, и он бросил бы копейку баронессе, не спросив, *кто* она. Кони спросил и «баронессе» бросил булавку. Кони – не народ, он – не русский.

То же с Овсянниковым. Но здесь пристрастие сказалось уже *во время суда*. Кони взял с миллионера что-то вроде *обратной взятки*. Прежде брали «взятки» и облегчали; он взятки не взял, но *отяготил его потому, что он миллионер*. Но ведь это же самоуправство? В суде, в судье?! Я передаю рассказ Кони, как он изложен на днях в «Русск. Вед.»: читайте:

«И вот в камеру судебного следователя по особо важным делам для допроса явился «высокий старик, с густыми насупленными бровями и жестким взором серых пронизательных глаз, бодрый и крепкий, несмотря на свои 74 года». В конце допроса прокурор (Кони) и следователь (Книрим) решают, что хлебного короля надо взять под стражу, *чтобы он при своих связях и деньгах не искал свидетельского материала*. Тогда происходит следующая характерная сцена».

Заметим, что ни прокурор, ни следователь *не в праве* были брать под стражу Овсянникова по тому соображению, которое приводит Кони: *возможность для миллионера исказить следственный материал*. Овсянникову никакого нет дела до того, что у суда нет крепких замков для хранения следственных протоколов. Тогда *охраняйте бумаги стражею*: при чем тут подсудимый? И как можно принимать в отношении его оскорбительную меру потому только, что он – богач?!

И весь тон дальнейшего рассказа звучит не судом, а злорадством и издевательством.

«– Господин Овсянников, – сказал Кони, усаживаясь сбоку стола, на котором писал Книрим, – не желаете ли вы послать кого-нибудь из служителей к себе домой, чтобы прибыло лицо, пользующееся вашим доверием, для передачи ему тех из ваших распоряжений, которые не могут быть отложены?»

– Это еще зачем? – спросил сурово Овсянников.

– Вы будете взяты под стражу и домой не вернетесь.

– Что? – закричал он. – Под стражу! Я? Овсянников? – И он вскочил со своего места. – Да вы шутить, что ли, изволите? Меня под стражу? Степана Тарасовича Овсянникова? Первостатейного именитого купца под стражу? Нет, господа, руки коротки! Овсянникова!! Двенадцать миллионов капиталу! Под стражу! Нет, братцы, вам этого не видать!

– Я вам повторяю свое предложение, а затем как хотите, только вы отсюда поедете не домой, – сказал прокурор.

– Да что же это такое! – опять воскликнул он, ударя кулаком по столу. – Да что я, во сне это слышу? Да и какое право вы имеете? Таких прав нет! Я буду жаловаться! Вы у меня еще ответите!..»

Но «это» оказалось не во сне, а через несколько месяцев, и над этим столпом был произнесен присяжными суровый, но заслуженный приговор. «Это дело, – замечает Кони, – было настоящим торжеством нового суда. Немецкая сатирическая печать даже не хотела верить, чтобы *двенадцатикратный* (zwölffache) миллионер Овсянников мог быть арестован, а если бы это и случилось, то выражали уверенность, что на днях станет известным, что *одиннадцатикратный* (elffache) миллионер Овсянников выпущен на свободу».

Да, конечно, Кони нельзя купить миллионом. Но нельзя ли его купить маленькой *похвалой*? Вот тем, чего *не заметил бы* (т. е. похвалы) святой и чистый Гааз? Святость есть нечто рассеянное, невинное и младенческое. И *только* таковое. Святость есть *святая натура*, и ее нельзя *сделать*. Мудрый и осторожный Кони «сделал» из себя тайного советника, члена Г. Совета, он был почти министром; и вообще «сделал» отлично свою биографию, увенчанную «мемуарами». Но к этому он попытался «сделать» себе и святость или праведность... и для этого открыл «мощи Гааза». Мощи вообще «открывают» люди большие, высоких санов и чинов, митрополиты и прочее. Но поистине только одной «Митрофании» могло бы прийти на ум улесться самой возле мощей.

– Ваше преподобие, – сказали бы все. – Вам будет другая могила. А уж эту оставьте в одиночестве. У вас – сан и одежды и слава при жизни. А тот был серенький, тусклый, ходил в лохмотьях и жил на грошки. И вас почитает начальство, а тот был чтим *народом*.

ПАМЯТИ АННЫ ПАВЛОВНЫ ФИЛОСΟФОВОЙ

Как это ни странно представить себе, с образом только что умершей Анны Павловны Философовой у меня связывается память об *учительнице*, об *учительнице-примирительнице*. Я всегда был или равнодушен, или враждебен «женскому освободительному движению» 60-х и последующих годов. Это движение, конечно основательное в смысле движущих пружин под собою,

т. е. основательное, как выход из *тьмы к свету*, из *угнетенного и бесправного* положения к *самостоятельному и гарантированному* законами, – тем не менее в завершении своем угрожало (мне казалось) таким идеалам, крушение которых не искупалось всем приобретенным. Фундамент – несокрушим и бел, вершина – черна и рассыпается в песок: так я думал и мысленно не говорил ни «да», ни «нет» о движении...

Пока не встретил Анну Павловну, эту не «рассуждающую» или слабо рассуждающую простушку, без длинных речей и монологов, всю состоящую из коротеньких восклицаний, тихого, милого смеха, рукопожатий, грациозного рассказа о чем-нибудь, всеоживляющих воспоминаний из далекого прошлого, чтения (со слезами) некрасовского «Рыцарь на час» и т. п. и т. п. в сущности мелочей.

Все эти мелочи я тщательно изучал; о всех этих мелочах, соединенных в конкретный образ, долго размышлял. И кончилось тем, что полюбил «все женское движение», *en masse** и в бесконечном его развитии в будущем... Посему я и называю ее по крайней мере *своею* учительницей. Она мне *собой* открыла и осветила целую сложнейшую сторону жизни; *убедила собой*; рассеяла всякий *страх*; родила бездну *надежд*.

Странно?

Ведь она была *не ученая*? едва ли ее можно представить себе с *упорством читающего* книгу? Характер ее, нежный и гибкий, вместе с тем такой простодушный, мог ли пробить какую-нибудь брешь, сломить стену? и проч. и проч.?

О, нет! Конечно, – нет!!

Но с этими-то отрицательными чертами, при ее вольнолюбивой душе, и уже вечно-вольнолюбивой, *природно* и *врожденно* вольнолюбивой, – и становилось ясно, что решительно ничего из *векового и истинного идеала женщины* не будет утрачено при каком угодно «освобождении женщин» и каком угодно по дальности «движении их вперед». Я думаю, она никогда бы не могла разрешить алгебраического уравнения первой степени; но биография и личность ее разрешили труднейшую задачу мировой культуры, и с очевидностью $2 \times 2 = 4$. Ну, *очевидно* – и конец!! Анна Павловна и «эмансипэ из эмансипэ», – и прекрасна, трогательна и наивна, как Офелия из «Гамлета».

Ведь посмотрите: в грубости, в сумятице 60-х годов она ничего грубого не приняла в себя, ничем жестким или жестоким не заразилась, не взяла оттуда в себя ни одного пошлого штриха. Ее наивность, которая была совершенно безмерна, сыграла колоссальную *положительную* роль. Просто, она ничего *злого* не увидела, не поняла; а все доброе из тех лет, *которое в них было*, – ухватила в крепкие когти, в какие-то наивные когти вечной белой голубицы, – и полетела с зеленой вестью вперед: «Весна идет! Весна пришла!!»

* целиком, в полном составе (фр.).

Будь она похитрее – ничего бы не вышло.

Будь она ученою – тоже ничего бы не вышло.

Из математички, филолога – вышла бы специальность и *не вышло бы ничего общего*.

Но она была только женщина, только мать, потом бабушка: полная движения вперед! полная безграничной свободы!! И тогда она «доказала» все для *женщины*! Доказала не для математичек, доказала не для филологичек: доказала для половины рода человеческого, с длинными волосами, в особом покроя одежде, имеющей свойства выкармливать детей. Она соединила:

1) безграничный прогресс,

2) и – никакого уродства!

Чего так *все* боялись! *единственно* этого одного боялись!

Шестидесятые годы были сильны, могучи; но очень – грубы. Шла буря, ползли облака, хлестал ветер.

– Хорошо, но этим же нельзя *жить*! Все – *ломается*!

Вот в чем было общее сомнение.

Анна Павловна в бурю показала кружок голубого неба. Так просто, – никакого рисунка. Просто – лазуревое пятнышко. «Эта-то милая женщина, которая ни о чем не спорит, о всем соглашается, кроме притеснения и грубости, чего она абсолютно не переносит, – и вместе из всего в мире любит и ценит только Некрасова и реформы Александра II, главнейше – крестьянскую: что она такое?» – Да вот она и есть «шестидесятые годы» в их лазури, без тьмы их, без грубости, без жестокости, без нередкой их пошлости и ограниченности.

Движение вперед – есть.

Бури, лома и бурелома – нет.

Это и есть «Анна Павловна» в ее огромной исторической роли, вместе так просто, беспритязательно, без «рисунков» совершившейся. Она осталась прелестной женщиной, однако «всю душу отдав шестидесятым годам». Это и было все, что нужно. Никто этого так ясно, выпукло, осязательно, так закругленно не выразил.

Пронесутся века, переменится весь фон истории. Будут новые жилища, новые люди, обстановка... Будет ли это фаланстер или русско-китайская империя: в шум молодежи (ибо *она-то* там наверное будет!) войдет, неся шлейф на руке, Анна Павловна, – ну, тысячное повторение ее, или тысячное воплощение ее души, но 'я представляю именно *ее*, мне не хочется переменить ее ни на кого, – и скажет: «Вы не узнаете *сестры* своей и *подруги*?.. Как, я только о *вас* и думала, о *вас* и на том свете *заботилась*: чтобы вы были веселы, чтобы все у вас спорилось, чтобы ни с кем все не ссорились и, особенно, между собою, и вечно бы учились, и вечно бы играли, и вечно бы любили. Ну и прежде всего помогли народу, нашему чудному русскому народу, но и всем тоже обездоленным! Завтра – двинемся в поход, на помощь; но сегодня уж поздно, почти ночь – и я, да и вы все, я по лицам вижу, мы хотим потанцевать! Играйте, музыканты: но чтобы ни одного грубого звука не вырвалось у вас, а кроме грубого – все можно!...»

Вечная сестра и вечная подруга всех поколений, самого далекого будущего: вот кого мы похоронили!

Да будет благословенно ее имя и память. Спасибо ей за молодость! Спасибо ей за старость! Спасибо больше всего за ее бесконечную беззлобность! Этой черной кошки ни одного волоска в ней не было. Она вся голубая.

АЛ. ПЛАТОНОВ. НА ВЫСОТАХ ДУХА

Стихотворения и рассказы. СПб., 1912

Быстрое вырождение когда-то «изящной словесности» дошло до того, что теперь при виде любознательного юноши или любознательной девушки, берущих в руки какого-нибудь «нового автора», всегда является невольный испуг, — не напали бы они на какую-нибудь гнусность, в сюжете, освещения его, в тоне или в тенденции. Непритязательная книжка скромных рассказов, указываемая нами, составляет благородное исключение в этом торжествующем потоке. Она не лишена и художественности, во всяком случае представляет изящное чтение. Но, главным образом, она ведет на те испытанные старые «высо́ты духа», с которых сошло человечество, но которые в самих себе не изменились: это — религия, христианство; идеальный сверхчувственный мир, открывающийся, главным образом, человеку в страдании, в болезни, — и через смерть. Двадцать пять стихотворений и четырнадцать рассказов, содержащихся в томике, как будто предназначены именно для отрочества и юношества. Обращаем на нее внимание русской семьи, которая найдет себе здесь простую, ясную, нужную помощь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!..

Снова «Солнце правды», как именуется в церковной песне И. Христос, — и весеннее солнце, эта физическая «правда» и вместе астральный «господин» или «Господь» нашей небольшой планетной системы, проходят над нашей Россией, освежают и освещают неизмеримые поля ее и вносят радость в сердца народа. Весна — это опять надежды, опять — силы! А праздник — это великое религиозное воспоминание, собирающее мысли всего народа в одну точку, к одному образу, и величественному и прекрасному, собирающее все народные чувства в одно сердце. Не только знакомые между собою, но и незнакомые, встретясь на улице, дают целование друг другу, т. е. то интимное физическое прикосновение, которое обычно только родным, друзьям или по любви. Этот наружный знак есть показатель великого душевного движения, невероятного и чудного, которое могла совершить только религия: каким образом даже незнакомые почувствуют себя как родных? Но чудо налицо: пройдите по улицам, и вы всюду увидите народные лобзания. Какая

книга, какая речь, какое слово или мысль могли бы сделать подобное? Это одно показывает, что волны веры во сто крат могущественнее всяческих исторических движений, волн, целей и побуждений.

Сказала вера: и *все исполнено*.

Сказал мудрец: и все размышляют, спорят, недоумевают, расходятся; и, в сущности, *не произошло ничего*.

Пасха – *прощение грехов*. Вот откуда радость. Всякий, кто не каменный, чувствует, как в недели и месяцы, пока течет год, течет его работа в году, текут его горести и удовольствия, – душа его запылается, мнётся, весь его физический и духовный состав болит, страдает, ослаб. Этого нет у животного, которого вся жизнь есть только ряд фактов, которое не знает *воспоминаний* и у него нет *раскаяния*. У человека же всякий *факт* окружен *его последствиями*, и эти последствия, по длительности времени и углубленному смыслу, чрезвычайно превосходят самый факт, обыкновенно короткий и часто только поверхностный. Что такое история Давида и Вирсавии? Факт одного вечера. Так бы это и кончилось в «один вечер» у зверя, в зверином обществе. Но Давид уже был человек, в нашем теперешнем смысле, т. е. не только с человеческою фигурою, но и с человеческою душою: факт вызвал чрезвычайные последствия, страшное потрясение души, сложение известного псалма, и этот псалом мы заучиваем наизусть, ибо он облегчает душу каждого, кто его произносит. Только у человека душа болит: ибо только у него одного душа представляет, с воспоминаниями и сожалениями, такую запутанность, сложность, *богатство* и естественное последствие богатства – *отяжёлённость*, которая надламывает его силы. Всякий человек в этом смысле «несет крест», и жизнь всякого *настоящего* человека есть в значительной степени *несение креста*... Он вытекает из душевной его развитости, из душевной утонченности, неведомой миру до него, неведомой и человеческому миру, пока он дик и элементарен, пока он есть только *факт* и *цепь фактов*. Сюда-то и падает *религия* как *исцеление* на эту *боль*. Сюда и входит особенно сегодняшний праздник, «торжество из торжеств» и «радость из радостей»... Это есть *снятие креста* с нас! Это есть *омовение, очищение*... Представьте два года, слитых в один, без Пасхи между 360 и 360 днями: мы, или по крайней мере лучшие из нас, чуткие из нас, едва бы волокли ноги и зачернели бы в грехах и, может быть, в преступлении! Ибо нужно еще сосчитать, сколько преступлений родится просто из слабости и усталости, из душевного переутомления, как плод «не по мере» раздражения на очень незначительное даже впечатление!!! Для усталого обидка кажется оскорблением, оскорбление – непереносимою мукою, неудача – несчастьем, несчастье – крушением всей жизни. Тут гнездятся самоубийства, убийства, мука другого, проистекающая из своей муки. Не будь ежегодного повторения Пасхи, жизнь личная и общественная превратилась бы в крошечную тьму, ад, злобу, пёкло!!

Но вот пронесется по улицам шумное – «да друг друга обьемем»... В пасхальную заутреню впервые произнесется это слово: и из храмов оно

потечет по улицам, соединяя всех в целование!! Не странно ли, не дивно ли: религия, серьезное из серьезного и торжественное из торжественного, разверзается в лобзания, даже незнакомым на улице!! Проходит что-то семейное, «свое» по всей стране: на эти семь дней – целый народ, все исповедники одного исповедания сливаются в одну семью, в народ-семью, страна как будто становится «одним домом», «одним двором», где все друг другу – родные, близкие!! Это чудо не в силах была бы сотворить никакая философия, никакая литература: это может только религия и ее великие таинства!!

Страшное облегчение душ: в дни страстной седмицы все покались, рассказали свои грехи, самые потаенные, священникам... И священники, по власти им от Христа данной, разрешили узы, замолили грех перед престолом Божиим, стерли грех и в здешней земной его форме, и в тамошней небесной: и страна вдруг побелела, как черная зимою яблонька белеет в вешний цвет. Поэтому сама Церковь и именует пасхальную неделю «цветною неделею», а круг пасхальных служб именует «цветною триодью», в отличие от обыкновенной «триоди», где заключены обыкновенные годовые службы. Таким образом в представлении самой Церкви целый народ православный в эти дни *расцветает, как дерево* по весне... «Народ цветет» – вот суть Пасхи, в самоощущении, в быте...

Но этого-то самоощущения и не могло бы быть *без великого дара Божия!..* Как самому воскреснуть?! – Нужно, чтобы *кто-нибудь меня воскресил*. Больной и есть *в болезни*, немощный – *в слабости*: потому они называются «больными» и «слабыми», что *ничего не могут!* Христос все за нас сотворил, все *для нас* сотворил. Умер – и смертью нас *воскресил*. Он чистый, Он божественный, Он без греха: и умер *за грех*. Был оплеван, поруган, избит, распят позорным, преступным распятием: все это *на нас* должно бы пасть, мы должны бы вынести; и, конечно, не вынесли бы ничего этого, но были бы раздавлены мукою и умерли. Вдруг Он, целый и безболезненный, весь как Непорочный Агнец, гибнет за нас, за черноту нашу, за грех: и мы поднимаемся с невероятными силами и уже понимаем, сами и до ниточки все понимаем, когда священник в раннюю пасхальную обедню почти кричит к народу, выйдя из Царских врат, – повторяя слово Златоуста:

«Кто благочестив и боголюбив, – усладись этим прекрасным торжеством!

Кто раб благоразумный, – вниди радостно в радость Господа своего!

Кто подъял труд, постясь, – возьми ныне динарий.

Кто от первого часа работал, получи сегодня заслуженную плату.

Кто после третьего часа пришел, благодарственно празднуй!

Кто явился после шестого – нисколько не сомневайся, ибо ничего не теряешь!»

Это о тех, кто постился-постился и свихнулся; загулял в пост. Но Святитель кричит ему: «Иди к нам! Ничего не потерял!» Просто слеза навертывается. Но Святитель дальше кричит:

«Кто опоздал до девятого, – приходи, ничуть не колеблясь!»

Это кто чуть попостился одну страстную неделю, гуляка, забыл Бога! А Святитель гладит его по голове, зовет в трапезу с вернейшими своими учениками, с постниками и великопостниками. Святитель весь ликует:

«Кто подоспел лишь к одиннадцатому, – и тот не бойся опоздания!

Ибо щедр домохозяин (т. е. Христос): принимает последнего, как и первого; успокаивает и того, кто к одиннадцатому, и того, кто с первого часа работал; и последнего жалеет, и первому угождает; и тому дает, и этого одаряет; и дела принимает, и мысль приветствует; и деятельность ценит, и изволение (т. е. одно намерение, увы, неисполнившееся) хвалит.

Итак, *все* войдите в радость Господа нашего. И первые, и вторые получите плату! Богатые и бедные, друг с другом ликуйте! Воздержные и беспечные, почтите день! Постившиеся и непостившиеся, ныне веселитесь!

Трапеза полна: насладитесь все.

Телец изобильный: *никто да не выйдет алчущим!*

Все услаждайтесь пиром веры; все получайте богатство благодати...»

... «Смерть, где твое жало?! Ад, где твоя победа?!»

* * *

Много есть больных, слабых, престарелых... увы, есть и беспечные или неверующие, которые *сегодня не войдут в храм*: и вот пусть и до них всех дойдет этот крик Святителя церковного. Верующие и больные прослезятся. А неверующие пусть знают, что сила нашей радости такова, что покрывает всякое разделение и с ними. И мы говорим:

– Идите сюда и вы! Хотите или не хотите, Христос и вас искупил! И уготовал вам место на пиру с детьми своими: идите и вы, люди последнего двенадцатого часа, и садитесь с народом вашим на одну скамью, за один стол, и берите то же пасхальное яйцо и тот же пасхальный хлеб. Ибо – Христос воскрес!!

Е. И. ИГНАТЬЕВ. НАУКА О НЕБЕ И ЗЕМЛЕ, ОБЩЕДОСТУПНО ИЗЛОЖЕННАЯ

Очерки по астрономии, физической географии и геологии с 332 рисунками и шестью картинками в красках. С.-Петербург. Издание А. С. Суворина. 1912.

Талантливый автор книг «В царстве смекалки, или Арифметика для всех» (3 книги) и других принял на себя и манящую и нужную всем задачу – изложить великолепнейшую из человеческих наук – астрономию. И исполнил это, так сказать, в двух тенях: *исторической* и *современной технической и теоретической*. Астрономия, при всей ее трудности и утонченности, при всей удаленности ее предмета от человека, от рук его и от глаза, тем не ме-

нее есть древнейшая наука и, может быть, даже первая из всех: Вавилон – вот ее родина; тот Вавилон, где и исповедывалась религия «сабеизма», т. е. поклонения звездному Небу и Солнцу, всему «небесному воинству», как это сказано в Библии. Небо почиталось одушевленным, живым: потому что оно – *двигалось*; и почиталось *разумным*: а «разум» его первый прочитал Кеплер. Небо пугало и обольщало древнего человека; но когда был найден его алфавит – геометрия и алгебра, – тогда оно заговорило. Этот «говор Неба о себе» и есть все великолепие, сложность и чудеса астрономических знаний. Признаюсь, эта *историческая часть* книги г. Игнатьева мне показалась особенно привлекательной, – ибо именно она несет «длинный шлейф» достоинства, какого не имеет ни одна наука; в обрубленном виде, в «пиджачке» современности, она представила бы технику и технику, научность и научность, лишенную крыльев и поэзии. Вот символическое изображение Вселенной у египтян; вот жертвоприношение Солнцу у древних инков; вот аллегорическое изображение средневековой астрологии; и портреты всех астрономов и знаменитейших математиков от Птолемея (это *не* царь Птоломей) и оканчивая г. Глазенапом; три портрета Ньютона (разных возрастов), Гауса, Крукса, Рентгена, Томсона, наших астрономов Бредихина, Ранского (пропущен Церасский) и множества, множества других. «Небеса» разъяснены мастером-популяризатором, можно сказать, по всем швам, ниточкам, тениям и полутениям; местами даются и математические объяснения в возможно доступной форме; местами из творений великих астрономов даются выдержки. Так, законы Кеплера приведены в обширных выдержках из его творения «*Harmonices Mundi*» и из «*Epitome astronomiae Copernicanae usitata forma questionum et responsionum conscripta. Anno 1618*»*; приведен дословно документ: отречение Галилея от «движения Земли»... И от тех времен до отрывка из речи Крукса в 1903 году на съезде технической химии в Берлине: «... Часто дух великих событий идет впереди самих событий, и среди *сегодня* бродит уже *завтра*». (Крукс был осмеян за его поистине провиденциальные мысли и тезисы, послужившие источником всего переворота в физике, совершившегося на наших глазах). Рассказ г. Игнатьева об истории падения теории «атомов» – читается, как роман. Не может не попросить его перечитать в *русской книжке 1872 года* неоцененного нашего естествоиспытателя и вместе Любомудра Н. Н. Страхова («Мир, как целое»), ряд статей, написанных, как значится под ними, еще в *1858 году!* – и которые поистине могли бы служить лучшим философским введением к современной, *возникшей в XX веке*, теории электронов: полная несостоятельность, невозможность, ненужность и вредность атомистической теории были совершенно ясны Страхову! «Многие, если вы им скажете, что отвергаете атомы, изумятся и спросят: – что же в таком случае останется? Как же тогда устроен мир? Что будет? – Что будет? Будет то, что мы видим и знаем лучше атомов. Останется вещество с его превращениями, с необходимыми законами, *которым оно*

* «Гармония Мира»... «Сокращение Коперниковой астрономии... 1618 г.» (лат.).

следует. Останется *вещество не атомическое, не твердое, неизменное и мертвое, но вещество гибкое, изменчивое, живое*, то вещество, которое действительно существует. Заметьте, отвергая атомы, мы много выигрываем: *вещество становится богаче, подвижнее, многообразнее*. А в этом все дело. *Из мертвых атомов ничего нельзя объяснить даже в физической, не только в живой, органической природе*» (стр. 368)... Но ведь это – именно теория электронов, в ее философском предчувствии!! И Страхов – забытый у нас философ! Поистине, чем Скворода, ныне реставрированный, был в XVIII веке, тем в XIX веке был Страхов, не *фантазер* и не *слово-теор*, не хвастун и не компилятор, а – уединенный, отвергнутый современниками и ближним потомством мыслитель.

ПРИНЯТЫЕ ЗАПРОСЫ

Нам представляется, что запросы правительству о событиях на Ленских приисках, принятые Г. Думою, страдают устремлением к *частностям* дела и упускают из виду *центр* его, *корень* его. Запросы касаются момента кровопролития и относятся до военной силы, начавшей стрелять; еще немного сузить бы тему и высушить вопрос, – и получился бы «запрос» о стрелявших ружьях и механизмах прицела и пальбы. Г. Дума и ее руководящие партии не должны бы суживаться до этой специализации, до этой техники управления войсками и командных слов, а должны были предложить правительству запрос о том, каково было его отношение к Ленскому золотопромышленному обществу и *аналогичным ему другим обществам*. Ленское товарищество только одно из многих. Очевидно, представители наших министерств очень многое упустили и распустили, на очень многое глядят «сквозь пальцы», – если уж не говорить о злоупотреблениях, которые, может быть, тоже нашлись бы, если бы позорче рассмотреть разные подоплеки в департаментах и министерских канцеляриях. Эти товарищества рыщут по русским горам и тайгам, беря что нужно и устраиваясь наподобие маленьких промышленных республик под сенью русского двуглавого орла. А местные жители и рабочий люд быстро низводятся в положение *париев*... Вот это положение русских рабочих как *париев* и должно бы сделаться предметом запроса в Г. Думе: прежде всего по человеколюбию, а затем и по государственным соображениям. Те «уступки», на которые, по изложению барона Гинцбурга, Ленское товарищество согласилось под натиском забастовки, представляются в том отношении любопытными, что они являются «отступлением» от положения вещей, недалекого от уголовного и во всяком случае очень странного, далекого от равновесия, беспристрастия и справедливости. Такова, между прочим, вся процедура с талонами, т. е. с отметками о выработанном металле или обработанной породе, – без предъявления которых рабочим не выдавалось платы и всякий ли раз они аккуратно писались. Наконец, в думском запросе могла бы быть выдвинута вообще сторона, обеспечивающая рабо-

чих от злоупотреблений по части пищи и прокормления, по части жилищного обеспечения, по части врачебной помощи, притом не только в золотопромышленном Ленском обществе, но и вообще. Нельзя отдать рабочего в отчаянии только на защиту социал-демократии: пусть защитит этого рабочего Г. Дума, русская государственность. Россия от того и встревожена событиями в бассейне Лены, что это есть, очевидно, частица общего черного положения, общего грязного положения, общего глупого положения. И нельзя не заметить, что запрос Думы не прибавил к нему никакого ума.

Н. ШУЛЬГОВСКИЙ. ЛУЧИ И ГРЕЗЫ

Стихи, поэмы и миниатюры. С.-Петербург, 1912

Как трудно сказать отзыв о первой книжке стихов... Поэт ли автор их? Или художник? Или только писатель? Господин Н. Шульговский, автор очень красочной пьесы из александрийской жизни V века по Рожд. Хр., под названием «Аза», которая была напечатана в 1910 году, но до сих пор почему-то нигде не играна, выступает теперь со сборником стихов преувеличенно нежного заглавия — «Лучи и грезы». Заглавие нам не нравится: что-то уж очень молодое. Впрочем, поэты всегда молоды, — а то что же бы они были за поэты. Хороши ли стихи?

Помнишь сказку летней воли,
На лугу ромашки снег,
Табуна в далеком поле
Быстролетный, резвый бег?

И в серебряной дремоте
Грудь вечернюю реки?
Под Иванов день в болоте
Золотые огоньки?

Помнишь первого признанья
Ароматный ветерок,
Ночи звездной чарованье
И костра седой дымок?

Кроме подчеркнутых строк, которые искусственны, — остальное хорошо. Кроме того несчастья, что все это, конечно, написано, — *а могло бы быть и не написано*. Что это значит? Поется-то — поется, а могло бы и не петься. У автора — досуг; нет тревоги; и так как он талантливый человек и находится в дружбе или «в гармонии» с природою и обстоятельствами, то, взяв клочок бумаги, и накидывает приятные строфы, — приятные для него и для читателя. Но вот пришло дело: тогда он переходит к делу, платит за

квартиру, читает лекцию или штудировать том немецкого ученого. Поэзия его не мешает жизни, а жизнь не мешает поэзии. Они не соединены и не перепутаны. Левый карман наполнен стихами, а правый наполнен деловыми или учеными бумагами. Лучше предыдущего «Богородицыны слезки»:

На заре, в седом тумане,
Вся слезами залитая,
Проходила по полянам
Богородица святая.

Белоснежными устами
Ей молилися березки,
И дрожали под кустами
«Богородицыны слезки».

Те цветочки на поляне
Собирала Пресвятая,
На заре, в седом тумане,
Вся слезами залитая.

И, прижав их к сердцу нежно,
С ними в небо уплывала,
Тая в выси зарубежной
Голубого покрывала.

Все хорошо, кроме того, что слишком сладко и что не видно совершенно лица автора. Он спрашивает себя в одном стихотворении: «Поэт ли ты?»

И очень правильно этот вопрос разлагает в ряд вопросов, сводящихся к переживанию сильных волнений:

В душе твоей певал ли тайный голос?
.....
Под властью дум, пустынною тропинкой
Блуждал ли ты в лесу?..
.....
Кипел ли ты огнем негодованья
На тупость злобную?..
.....
Готов ли был без страха и сомненья
Ты правду горькую сказать перед толпой?..

Все стихотворение, разложенное в вопросы, *не заключает в себе ответов*. Автор умен, и может быть даже излишне умен: *он себя пытал* внутренним и верным питанием: а ответов, *наверное*, оттого не дал, что ответы в душе у него прошептались отрицательные. И мы на вопрос: «Поэт ли он?» – покачаем головой в раздумье и ничего не скажем. Кажется, – *не поэт*; но возможный блестящий писатель, во всяком случае очень образованный писатель. Нет поэзии без тайны, загадки и некоторой *спутанности*; а *весь*

Шульговский так отчетлив! Вот эта отчетливость его, разумность и образованность – подозрительна и как-то «неодобрительна» в *начинающем поэте*. Должно быть немножко «чепухи»: это уж традиция поэтов. Волоса всклокочены, платок забыт, одной пуговицы не застегнуто, галстук набок: вот признаки поэта! В мундире не показывайся на Парнасе, хотя бы ты и нес голову сахара на плече. Хитрый Меркурий возьмет от тебя приношение, но к Аполлону не пропустит, оставив плутать в перелесках у подножия Парнаса... Мне кажется, Шульговский тут и плутает. Его манит поэзия. Она так прекрасна. Да и переживает он прекраснейший возраст – юность. В юности, черт возьми, кто не поэт. На мучительный вопрос самому себе, кажется, Шульговский может ответить: это бродит во мне возраст, поют всемирные поэты, в которых я очень начитан; но моя душа только восприимчива и подражательна, но не имеет своего голоса, и может быть, оттого, что еще не имела своей большой жизни и горьких испытаний. Мои «воспоминания» – все воспоминания цветов и сладостей. Но из этой кондитерской поэзии еще не выходит.

ОБ УПРАВЛЕНИИ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ

I

Если бы *религиозная жизнь страны* текла в зависимости от порядка дел в консисториях и в Синоде, то, может быть, давно на Руси не было бы никакой вообще религиозной жизни. К счастью, этой зависимости нет, или она есть только *отчасти*. Сердце каждого человека есть самостоятельный родник религии. Кто был обер-прокурором или каков был состав Синода, когда старец Серафим подвизался в Саровских лесах? Когда Амвросий жил в своей хибарочке в Оптиной пустыни? Этого никто не знает, и никто даже этим не интересуется. И Серафим и Амвросий были самостоятельными творителями религиозного света: и народ шел на этот свет, мерцающий в пустыне, которая обволакивала и Россию, и Петербург, и в том числе площадь вокруг монумента Петру, где стоят Сенат и Синод, соединенные эмблематическою аркою.

Все истинно великое и прекрасное возникает всегда из невидимости. Вся «русская вера», можно сказать, совершилась в тишине. И потому вопросы о патриаршестве и обер-прокурах, которыми шумит русская жизнь последние годы, на самом деле суть *очень второстепенные вопросы*. Не надо преувеличивать их значения: это суть вопросы внешнего благообразия, вопросы почти «благоприличия перед иностранцами»; дабы не зазорно было нам перед ними и не смел никто нас упрекнуть, что «русскою церковью правит чиновник», что внешняя «храмина церкви» у нас – не имеет подобающего вида.

Христианство родилось «в вертепе», в «хлеве»... Сказать, что тут нет знамения и указующего «перста», – невозможно. Сердце христианства – в

смирении, униженности и простоте. И обстановка дана по этой внутренности. «Сердце Православия» и создается в лесу, на берегу малых речек, около «колодца», «ключа», куда народ потом паломничает. Это и продолжает собою «вертеп», «хлев»... Может быть, даже и — не судьба, вечная «не судьба» (не «удаётся») христианству и православию войти в хоромы, на паркетные полы, в залы, покрытые зелеными официальными скатертями... Входя туда или втаскиваемое (через силу) туда, оно умирает, задыхается, бледнеет. Как сказано в стихотворении Лермонтова:

Очи одела смертельная мгла...
Бледные руки хватают песок...
Шепчут уста непонятный упрек...

История собственно получила один раз «христианство в полном дворце»: это — папство, Рим. Россия определенно этого не хочет повторять. По-видимому, она осуществляет «христианство в деревне». Но не будем сознательно и к этому тянуться. «Как Бог устроит»... Пока что есть у нас архиереи, попы, хорошая служба, есть консистории, Синод, чиновники и Вл. К. Саблер. «Кое-что»... Все — в «недоделках». Каждому хочется это «доделать». И вот почему все тянут и прожектируют. Тогда как, может быть, в «недоделанном-то виде» — *у нас и суть всего...*

Я прочел в одной из московских газет две статьи проф. Н. Кузнецова о синодальном управлении русской церкви под заглавием: «Патриарх, или обер-прокурор». Статьи написаны в связи с делом епископа Гермогена. Ничего нельзя возразить на замечания проф. Н. Кузнецова: «Отчего епископ Гермоген стал требовать канонически-правильного суда, через малый собор из 12 епископов, *над собою*, когда о таковом правильном суде он не подымал речи, когда удалялись на покой, в административном порядке, *другие, такие же, как он, архиереи?*» Это действительно вопрос, — и на него, действительно, нечего ответить. И другой вопрос г. Кузнецова: «Если чрезмерно боятся присутствующие в Синоде архиереи обер-прокурора, то не в большей ли еще мере боятся и унижены священники в епархиях, когда эти члены Синода вернутся из Петербурга в провинцию?» — И опять нечего ответить. Подробный ответ об этом дан в известной книге, изданной Погодиным за границею, священника Беллюстина: «О быте сельского духовенства в России». Если сюда присоединить книгу казанского профессора Благовидова: «История обер-прокуроров Св. Синода», то учреждение должности обер-прокуроров как единственной *защиты* белого духовенства, почти гонимого и во всяком случае *униженного*, делается совершенно ясным в своей необходимости. Учреждение патриаршества и отмена или даже ослабление обер-прокуратуры имело бы последствием немедленное не только подавление, но *раздавление* белого духовенства монашествующим. Ну, а с другой стороны, не надо забывать и этого маленького факта, который есть тоже грозное предостережение будущему: едва вот митрополит Петербург-

ский захворал и перестал временно управлять делами епархии, как *приходское*, т. е. богатое и сильное, духовенство немедленно провело меру, которою отбиралось право совершать требы у священников всех *домовых* церквей, т. е. бедных и слабых. Мера эта не всероссийская, а петербургская, и уже по *этому одному* она является местною узурпациею, не имеющею для себя почвы в законах.

Так что и *одни* священники, без наблюдения над ними архиереев ли, светских ли чиновников или прихожан, – тоже могут начать Бог знает что делать.

Кстати об этой мере, которою очень волнуется духовенство и прихожане: отмена ее может быть сделана Синодом, как *высшею инстанциею*. Но Синод сам не может возбудить пересмотра этого дела *без повода*: и нужно, чтобы несколько прихожан, несколько их десятков или сотен, обдумав все дело, и изложив свои мотивы, и *указав на протекающие от новой меры неудобства*, подали в Св. Синод *коллективное прошение* об отмене этого консисторского указа. Тут своими ведениями и практическим умением могли бы помочь гг. Папков и Погожев.

О ПОГИБШИХ НА «ТИТАНИКЕ»

Когда остается только умереть, можно еще прекрасно и величественно умереть. Смерть рисуют «бледною»: и она действительно такова. Но сила человека иногда преодолевает ее бледный ужас: и тогда в этот миг, когда не манит более тщеславие и исчезает всякая награда, человек *совершенно свободный*, неподталкиваемый и непоощряемый, вдруг обнаруживает эту свою *свободную душу* до того прекрасно и грандиозно, что остающиеся жить на земле получают величайшее себе утешение и величайшее подкрепление своих сил нести «крест жизни», «крест земной». Так умерли англичане-мужчины на «Титанике».

«Лодка не выдержит всех севших; *кто-нибудь* трое должны удалиться». И при этих словах офицера трое англичан встают со словами «all right» и кидаются в ледяную воду.

Никто их не толкал, не звал. Никто их не *назвал*. Могли бы просидеть, отвернувшись в сторону, незаметно понурившись. Но они – *встали и сделали*.

Коротко и твердо.

И еще сотни таких смертей, когда сажали женщин и детей.

Все было так же прекрасно, как смерть Леонида и 300 спартанцев при Фермопилах. «Странник, – было вырезано на столбе в этом месте, – поди и скажи в Спарте, что мы здесь пали, верные законам отечества». Гибель «Титаника» вписывает совершенно аналогичную страницу в историю человечества, сплетенную из золотых и черных листов. Это книга вечная, это книга укрепляющая по мере числа в ней золотых листов. Вдруг англичане при-

бавили сюда еще один золотой лист: «Скажите всем, что мы умерли здесь, помня о Христе и древних греках, как джентльмены и пуритане».

Девушка может, подав руку англичанину, сказать: «Я становлюсь женою джентльмена, который *всегда меня защитит*».

И юноша или мальчик:

– Мой отец был джентльмен: и я не могу сделать ничего слабого, низкого или трусливого. Ибо я *продолжаю отца*.

Счастливые сыновья и счастливые жены. Счастливая вообще нация. Она особенно счастлива теперь, когда погиб «Титаник»: случайно, непредвиденно ни для кого еще вчера, вдруг обнаружилось благороднейшее лицо расы: крепкое, мужественное, простое.

Повернувшись спиной к этим словам, они даже могут сказать, не повышая голоса:

– Мы и всегда были такими. Кто же мог в этом сомневаться. Англичанки родили Кромвеля и Шекспира. Родили бурю и железо. И в нас всех, в каждом, есть частица и железа, и бури.

Счастливые сейчас, счастливые сегодня. Нации, как и великие океанские корабли, тоже «разбиваются»: но если бы такой час когда-нибудь настал для Англии, если бы сильный и жестокий сосед, положив лапу на английский герб, сказал – «умри!», не воскликнули ли бы, не вздохнули и не застонали миллионы грудей во *всей* Европе, с этой мыслью:

– Смертный час джентльменов? Матерей, давших Локка, Шекспира, Кромвеля, Байрона? Давших человечеству величайшие примеры *мужества жизни* и героизма смерти?! – *Да не будет! Прочь!!*

И «Титаник», который *погиб*, будет носиться ангелом-хранителем, одним и *незаметным* среди сонмов таких же, и охранять живых в час опасности и реющей над головою гибели.

Вот связь истории. И как не сказать, что она свята. Мертвые живут вечной жизнью, когда они помогают живым.

МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА III В МОСКВЕ

В новом московском музее этого наименования идут теперь спешные работы к торжественному открытию его, назначенному на половину предстоящего мая. Здание, оконченное снаружи и внутри, отличается редкой красотой в целом; а отдельные его части, посвященные разным эпохам искусства, отличаются монументальностью и роскошью стильной отделки.

Главное внимание администрации, – к слову сказать, состоящей только из четырех лиц, – устремлено в эти дни на окончательную расстановку памятников *скульптуры* древних и новых времен (этот музей посвящен *скульптуре* по преимуществу). Коллекции музея в этой области поистине громадны и являются в такой системе и в таких размерах в России впервые.

Нет, кажется, европейского музея, шедевры которого не были бы здесь представлены в художественно исполненных муляжах (гипсовых отливах) в их натуральную величину: сокровища музеев Рима, Неаполя, Флоренции, Венеции, Афин, Лондона, Парижа, Берлина, Копенгагена, Дрездена, Мюнхена, Нюрнберга, Майнца, Трира, Франкфурта-на-Майне, Мадрида имеют здесь свои достойные воспроизведения. Кроме памятников, хранимых в музеях, множество предметов здесь собрано по всей Европе, — по церквям и другим монументальным сооружениям. Таковы статуи и архитектурные детали из соборов Рима, Флоренции, Пизы, Парижа (Notre Dame и S.-Denis), Амьена, Реймса, Шартра, Буржа, эпохи романской и готической, Страсбурга, Гильдесгейма, Бамберга, Наумбурга, Вексельбурга, Виттенберга, Фрейберга саксонского и др. — той же поры.

Архитектура представляется здесь целыми порталами и другими памятниками больших размеров, выставленными в особых, крытых стеклом, двориках. Есть особый дворик оригинальной конструкции для больших памятников античного искусства, где мы видим образцы стилей строительства дорического, ионического, коринфского и римского. Тут же стоит и колонна древней Персии, из Персеполя.

Эти исключительно большие коллекции нового московского музея собраны нынешним его директором, заслуженным профессором И. В. Цветаевым, которому принадлежат инициатива и исполнение этого предприятия на протяжении четверти века *не на средства казны*, а главнейшим образом на пожертвования частных лиц. Имена лиц, на средства которых сооружены и украшены в стиле разных эпох отдельные залы, а равно и пожертвовавших значительные предметы искусства, обозначены в только что отпечатанном ко дню открытия кратком каталоге. Здесь мы читаем имена великих князей Сергея и Павла Александровичей, великой княгини Елисаветы Феодоровны, королевы эллинов Ольги Константиновны, Ю. С. Нечаева-Мальцева, который затратил на этот музей колоссальные средства, семьи знаменитого профессора Захарьина, княгини Юсуповой, кн. А. А. Щербатова, Д. Ф. Самарина, Е. Н. Самариной, М. С. Скребицкой из Петербурга, А. В. Протасовой, московских коммерсантов Морозовых, К. и С. Поповых, Солдатенкова, Третьякова, Колесникова, В. А. Алексеевой, Протопопова, Прове, Арманди, Баранова, Полякова, Бенардаки, М. Н. Журавлева из Рыбинска, Рукавишников из Нижнего Новгорода и др. И. М. Рукавишников соорудил *два* больших и эффектных зала в честь Государынь Императриц Марии Феодоровны и Александры Феодоровны.

Как почти все залы музея построены на средства частных лиц, так точно и огромные коллекции (обнимающие собою Восток, мир классический, древнехристианский, Средние века, эпоху Возрождения Италии и Северной Европы и т. д.) составлены тем же путем. Поступление памятниками искусств, обусловленное строгою системой, продолжается вплоть до последнего времени, как это доказывают весьма интересные вклады наших дипломатов К. А. Губастова и М. С. Щекина или дары последних дней — М. Н. Журавлева и И. А. Баранова.

Исключительную славу нового музея составляет *египетская* коллекция Голенищева, пользующаяся европейской известностью. В ней свыше 6000 предметов-подлинников. Приобретенная в казну в 1909 году, она по Высочайшему повелению помещена в этом обширном хранилище. Ее приводит в порядок и описывает наш египтолог профессор Тураев.

ПАМЯТИ АЛ. ИВ. КОСОРОТОВА

К покончившему так ужасно с жизнью А. И. Косоротову идет вполне этот стих:

Блажен *незлобивый* поэт...

Я знал его – несколько – перед самым выступлением в литературу: именно, он принес мне на прочтение огромный роман из гимназической жизни под названием «Вавилонское столпотворение». Помню его таким молодым, всего «в цвету», всего в надеждах. Мне казалась страшна литературная дорога, но он парировал все предупреждения. Помню его афоризм: «Петербург – холодный город, но *деловой*, и мне нравится этим. Здесь всякий *поддержит тебя*, если увидит, что *и ты можешь быть ему полезен*». Я качал головой с недоверием и говорил, что благоразумнее иметь заработок на службе, – и уже обеспеченным отдавать силы вдохновениям. Но он со своим пониманием «практических законов *взаимных услуг*» ринулся в литературу, не имея ничего другого. Но как, однако, жить, *существовать* литературою? Для этого надо непрерывно писать и чтобы это написанное непрерывно печатали. Уже первое требует не вспышки дарования, но непрерывного его горения, *без усталости и истощения*. А второе и совершенно от нас не зависит, а зависит от какого-то неопределенного и зыбкого «нравится». Подите, разберитесь в этом «нравится». Можно бы написать целый том об этом «нравится» и «не нравится», можно бы и *следовало бы* изучить законы этого «нравится» и решительно необозримые мотивы, тут вплетенные. Идти против «нравится» почти ни у кого не хватает сил, а постигнуть законы «нравится» ни у кого нет мудрости. Поэтому тут царит какой-то случай и удача, «непредвиденное» и «Провидение». Погибнуть, как и вынуть «200 000 выигрыш», равно возможно. Но первый – редок; и «пустых билетов» – непрерывная лента. И около каждого такого пустого билета горе, несчастье, разбитая жизнь, унижительная нужда и, как самое страшное и последнее, самоубийство. Помню, пугаясь «пустого билета», я 13 лет оставался в глухой провинции, не решаясь «довериться литературе» и приехать в Москву или Петербург. В глуши я исполняю «маленькую службу» и ей нужен, но в Петербурге или Москве кому я нужен? Народу так много везде.

У А. И. Косоротова не было непрерывного горения, а вспышки таланта могли дать лишь то небольшое, на что невозможно существовать. Он узнал нужду. Нужда родила раздражение и угнетенность: а какие же это спутни-

ки таланта, попутчики писателей? Они грызут и умерщвляют. Здесь мог бы, при щедрости, помочь «Литературный фонд», он на это и существует, для этого были ему подарены капиталы. Но он, как Фамусов-«эс-дек», помогает только «своим».

Ну, как не порадовать *родному* человечку... т. е. «родному» по единомыслию, исповеданию и платформе. Косоротову, как говорили на панихиде во Владимирской церкви, было отказано «фондом» даже в пособии на лечение в санатории Халила. Не мог же Косоротов, русский писатель с достоинством, целовать ручки у евреев, стоящих традиционно и много лет у денежных ящиков наших литературно-вспомогательных касс.

Деятельность угасала, крылья не поднимались, сочувствия и внимания – нигде, ожиданий или надежд – никаких. И этот редкостно-мягкий и редкостно-деликатный человек поднял на себя ужасную руку. Мне хочется о нем сказать следующее, главное: зная его не близко, но все-таки... я ни одного раза не слышал от него ни одного злого слова о людях, и злоба вообще была совершенно исключена из его натуры. Злоба и даже раздражение: он *горько уходил в себя* – когда бывала неудача, но не метал в ответ неудач брызгов ярости, гнева, даже простого упрека. Именно я не видал его никогда даже *упрекающим*, а он уходил только *в себя*: зловещий признак в смысле симптома к самоубийству. Так он уходил, уходил... до крючка и веревки. Ужасно! Теперь все поздно говорить. Крупного таланта он не имел: но он имел зато *несколько* талантов: драматурга, беллетриста, публициста, художественного критика, наконец живописца (*прекраснейший* портрет его Терпигорева-Атавы – на редкость характерен и удачен). Но все это заливалось прекраснейшею душою, наивной, доверчивой, «в мечтах» всегда и совершенно лишенной способности вредить, лгать, приноравливаться, «практиничать». Немножко бы удачи: и как он расцвел бы. Но черная собака неудач хватала его за ноги: и он преждевременно отцвел.

Погиб незлобивый поэт.

Все-таки мы будем его помнить. Он был такой добряк, что ей-ей это принесет ему удовольствие «на том свете». Будем, господа, помнить черноволового, красного лицом, запыхавшегося и что-то нецелесообразно объясняющего Александра Ивановича! Мы так мало его любили. А он так любил нас всех. У всех есть немного вины перед ним. Гибель его бесконечно грустна...

ДОНАТЕЛЛО. Н. ГОРБОВА

Москва. 1912

Литература об Италии, по-видимому, серьезно хочет зародиться в России: вслед за двумя томами «Образов Италии» г. Муратова появляется огромное исследование об одном из величайших мастеров Италии – Донателло, вышедшее из-под пера переводчика Карлейля, г. Н. Горбова, когда-то, лет двад-

цать назад, помощника и друга известного С. Н. Рачинского в его татевской *крестьянской школе*. Рачинский был великим любителем искусства; он воспитал известного живописца П. Н. Богданова-Бельского (Богданов жил близ городка *Белого*, Смоленской губ., и по имени города дана ему приставка к фамилии: «Бельский»), и, может быть, теперешний труд г. Горбова появляется не без вдохновений прекрасного старца-педагога. Разбирать здесь книгу г. Горбова мы не можем: и только указываем на нее образованным читателям, которые, даст Бог, своим вниманием к серьезной литературе преодолевают то мутное и разлагающееся течение в ней, которое идет главным образом от беллетристики и ее совершенно необразованных якобы «корифеев». Читатель теперь, отодвигая в сторону романы, и повести, и «Полные собрания сочинений» Муйжелей, Айзманов и Анат. Каменских, должен устремлять внимание на книги по истории, по искусству и по истории литературы. Почти каждый месяц здесь появляются многозначительные новинки.

Книга Горбова – одна из лучших. Уверены в ее обширном успехе, особенно хотелось бы – среди студентов и курсисток.

ОТВЕТ СВЯЩ. ВЛАДИМИРУ ГАЛКИНУ

Казалось бы, мы уже «христиане», живем «по благодати», древний суровый и *формальный* закон прошел, как учил ап. Павел в изваянных словах: «А если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Послание к Галатам), т. е. если мы «продолжаем ссылаться на *исполнительность в законе*, а настоящего и очевидного добра не творим, то тогда какие же мы христиане и для чего Христос приходил на землю»? Ибо законы, полные и священные, данные на Синае и которые не чета нашей «Кормчей», «Уставу духовных консисторий» и «Инструкции благочинным», – *были до Христа и исполнялись*. Но вот посмотрите на «благодатное царство»: это какое-то царство крючкотворства. Люди в ограде «благодати» шагу не смеют сделать по влечению души, по долгу совести, по состраданию сердца, – состраданию к ближнему. «Куда! Засудят такового». Со всех сторон поднимется окрик: «По какому *правилу* действуешь? Где у тебя почва *в законе*? Кто тебе *приказал* или *дозволил*?» И вот дошло до того, что прямо подпирает к горлу: целая половина священников в Петербурге лишены права окрестить, перевенчать, похоронить умершего друга своего, своего «духовного сына», многолетнего, с которым установилась многолетняя связь (бывают такие, – лучшее духовно-церковное явление). Простым распоряжением, никого не спросив, ни о чем не посоветовавшись, ни в чем не предупредив, духовная консистория в Петербурге указом 23 ноября 1911 года распорядилась лишить всех священников домовых церквей, – которых *столько же, если не больше, как и приходских священников* в Петербурге, – естественного и неотъемлемого права, *вытекающего из носимого ими сана*, – исповедывать, причащать, крестить, венчать, хоронить!! Всех этих священников, – из которых некоторые

высочайшей жизни, глубочайшего и просвещеннейшего ума, — она обратила не раньше и не позже, как 23 ноября, в каких-то полусвященников, в остриженных священников, как есть «стриженные овцы». До 23 ноября — полные священники, все могли делать, венчали, хоронили, крестили. Вдруг — «бац». Да что такое случилось, — именно *накануне этого дня указа*, 22 ноября? Землетрясение, мор, голод, нашествие иноплеменников или какой на весь свет скандал?! Что такое случилось, что вдруг протянулись длинные ножницы, консисторские ножницы (консисторские ножницы всегда длинны, вспомните бракоразводные процессы), и хватъ, да и отрезали длинные волосы у половины иереев. Теперь они все полуиереи. Ах, приходят худые мысли об этом, и очевидно, кто-то кого-то «хорошо попросил»... А то для чего бы остригать половину, и притом *бедную*, священников в пользу другой, и притом *богатой*, половины? Известно, в судах и, особенно, в духовном, в консисторском суде, богатый всегда сильнее бедного.

Вдруг все, *в пользу* которых стрижка, закричали:

— Это *на законном основании*. Исполнена 97-я статья «Устава духовных консисторий».

Так говорит о. Влад. Галкин в «Новом Времени» и старается Н. Г. Дроздов в «Колоколе». Спросим батюшек:

— Отчего же это петербургская духовная консистория не вспоминала о 97-й статье «Устава духовных консисторий» целые десятки лет, от самого издания Устава до 23 ноября 1911 года?

Если она *раньше* действовала незаконно, пусть уйдет в отставку за небрежение законом в течение ряда лет.

Если же раньше она *исполняла закон*, в том числе и 97-ю статью «Устава», то явно сбеззаконствовала 23 ноября 1911 г.; и в таком случае тоже должна выйти в отставку.

Уж если держаться крепко закона, то личный состав консистории должен *во всяком случае* полететь в отставку за беззаконие: 1) или *прежде*, 2) или *теперь*. И никакого третьего выхода нет.

Но очевидно, беззаконие было сделано не *прежде*, а именно 23 ноября. Очевидно это из положения дел *во всей России*. Ведь *во всей России* действует «Устав духовных консисторий», — он *один* для всех, *знают* его секретари всех по России консисторий, и все с лишком 200 владык епархиальных: отчего же никому никогда не приходило на ум отнять у священников домовых церквей присущее им право? Неужели слепы во всей России и зрячи в одном Петербурге? Да и в Петербурге *вдруг прозрели* 23 ноября, а до того дня были слепы? Что такое за Силоамская купель, вдруг «промывшая глазки» у консисторских воротил в Петербурге?!!

Все объясняется донельзя просто. При писании «Устава духовных консисторий» священники *домовых церквей*, как слишком малочисленные и не бросающиеся в глаза, — ибо ведь «устав»-то *всероссийский*, а *во всей России* домовые церкви вообще составляют незаметное исключение, — были про-

сто забыты, *запомнаны* в бытии своем, и о них не сделано *поэтому* никакой оговорки, каковая была бы непременно сделана, если бы имелось в виду лишить их присущих священнику обычных прав. Дело это не маленькое, и оговорка была бы. Но ее нет. В представлении законодателя священники приютов, богаделен, учебных заведений, ведомств и проч., и проч. сливались с массою вообще *служащего духовенства*, не заштатного, не «на покое», реального, совершающего церковные службы, деятельного, требоисполнительного. «Крестит, венчает, хоронит, исповедует, причащает, служит обедню и говорит проповедь — вот *поп*». О нем и писался «устав», о *всероссийском священнике* «in ge», «в деле». Выражение ст. 97: «*Все требы у прихожан исполняются приходскими священнослужителями и причетниками...* Но (по нужде, требующей скорости) *ни один священник не вправе отказать от исполнения треб*», — употребляет в конце слово «священник» в смысле, отличном от священно-служителя, т. е. о священнике «на покое», не «в деле», о не *служащем нигде литургию*, «заштатном». Напротив, в первом случае сложное выражение «*приходский священник*» употреблено в смысле *служащего, реального, отпращивающего храмовые службы* иерея; как и мы поминутно усложняем слово «священник» словом «приходской», не придавая ему отделяющего и противоположающего значения от *домового священника*.

— К кому бы побегать? — торопливо спрашивают встречного на улице.

— Да идите скорее к *приходскому священнику*: вот его дом, поблизости. Это просто вместо:

— Идите к *священнику*.

«Приходской священник» — это *всякий* служилый священник, без отделения от домовых; это — бытовое выражение, как оно сложилось в жизни, и в жизненном, в бытовом, во *всероссийском* смысле его и употребил законодатель, не думавший никого обижать и никому давать привилегии. Так это и понималось во всей России, понималось и в Петербурге до знаменитого дня 23 ноября, когда вдруг кому-то захотелось «снять сливочек», оставив братию «на снятом молочке». Рано встав поутру и с длинной ложкой прокрались «кто следует» и — бац:

— Никто *без нас* не понимал! Никто *до нас* не понимал! Такую простейшую вещь, как «Устав духовных консисторий»! Эврика! Пифагорова теорема: отныне *одни* мы будем получать доходы!

Что это именно *так*, что «Устав духовных консисторий» разумеет под наименованием «*приходские церковнослужители*» также и священников *домовых* церковей, *кроме единственно фамильных церковей, для надобности одного лица и его семьи*, — это видно непререкаемо из указа Святейшего Синода от 6 июня 1900 года: каковой указ, не вводя ничего нового, а только разъясняя недоумение одного епархиального архиерея, прямо и непререкаемо включает в понятие «*приходского священника*» и *священников при церквях домовых*. Вот этот указ высшей синодальной власти, которому подчинена и петербургская консистория, которая его забыла или пошла ему наперекор:

Копия с копии.

Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода.

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали: предложение г. синодального обер-прокурора, от 5 мая сего года № 11891, по возбужденному одним из епархиальных преосвященных вопросу, следует ли привлекать домовые церкви к участию во взносах на духовно-училищные нужды епархий. Приказали: Принимая во внимание, что наименование «домовые церкви» усваивается не только тем церквам, устройство которых разрешается, на основании ст. 49 уст. дух. конс., в домах для лиц, приобретших право на особое уважение и не могущих посещать приходские храмы по преклонным летам и болезненному состоянию, но тем церквам, устроенным в домах, которые получают от епархиального начальства все церковные документы и в которых совершаются требоисправления, как для лиц, принадлежащих к дому или учреждению, в котором существует эта церковь, так и для посторонних этому дому или учреждению прихожан, что к освобождению такого рода церквей, пользующихся всеми правами приходских, от участия в содержании духовно-учебных заведений, наравне с прочими приходскими церквами, не представляется оснований, Святейший Синод, согласно заключению хозяйственного управления, *определяет*: существующие и впредь открываемые в епархиях *домовые церкви*, которые получают от епархиального начальства метрические книги и другие церковные документы и в которых совершаются требоисправления не только для лиц, принадлежащих к домам или учреждениям, при которых существуют эти церкви, но и для посторонних этим домам или учреждениям прихожан, привлечь к участию в содержании духовно-учебных заведений наравне с приходскими церквами, т. е. в отношении как установленного % сбора, поступающего в распоряжение центрального управления Святейшего Синода, так и особых сборов по распоряжению местного епархиального начальства; о чем, для исполнения, послать епархиальным преосвященным печатные циркулярные указы. Июня 6 дня 1900 года.

Подлинный подписали: обер-секретарь *В. Самуилов*, секретарь *Ал. Ростовский*.

Верно: делопроизводитель (скреп.) *Ковалевский*.

Копию с копией сверял столоначальник *Н. Н.*

По общему, бытовому представлению, не мудрствующему лукаво, — «приходская церковь» получила имя от «прихожан», «приходящих»: и есть всякая церковь, в которую «идут молиться» *все желающие*. Таковы все церкви при учреждениях, приютах, богадельнях, учебных заведениях и проч. и проч., *общепосещаемые, открытые*. А «домовыми церквами» именуется только храмы в частных, личных, фамильных помещениях, где никто и не бывает, кроме членов семьи, и мало кто даже о их существовании знает.

Организации прихода не существует, и пока она не утверждена законом. Конечно, «утверждать» его не дано петербургской консистории; это есть «вопрос» и для Синода.

Что же остается? Архитектура?! Одни – суть отдельные, на улице или площади стоящие храмы, с колоколами, куполом и звонарем. Другие – помещенные в здании церкви, окруженные приютами, классами и проч. Какое это имеет отношение к «приходу»? Приход – *люди*, а не *архитектура*; и «приходящие» в домовую церковь православные, которые там до 23 ноября венчались, крестили детей, исповедывались, причащались, были тамошними постоянными молящимися – и образовывали не *канцелярский приход*, «по указу консистории», а «приход» по жизни, по быту, по привычке, по благородной традиции и нравственной связанности с *лицом такого-то священника*, много лет уважаемого и милого. Это есть совершенно достаточный для нас, русских, приход: и нам не нужно бумажно-распланированного, канцелярски задуманного «прихода». Указ 23 ноября 1911 г. заканчивается следующими строками, не оставляющими сомнения в его мотивах: «В исключительных случаях браки и другие требы могут быть совершаемы в неприходских церквях, но под тем *непрерывным* условием, чтобы о каждой такой требе надлежащим образом был уведомлен приходский причт и чтобы при этом *не были нарушены интересы приходской церкви*» (т. е. священника и причта; но слова эти показались неловкими вставить, и все глупо взвалено на «церкви», которые стоят, не кушают и детей в учебных заведениях не воспитывают).

Нет: посоветуем изобретать консистории и «приходскому духовенству» другие теоремы... Их не мало в Петербурге: хорошая проповедь, пастырское воспитание прихожан через исповедь, наставление трезвости и доброй семейной жизни. Уверены, впрочем, что и из приходского духовенства далеко *не все* сочувствуют указу 23 ноября. Они понимают, что совершение таинств есть *духовная пища* для каждого священника, «треба» не для мирянина только, а для *его души*; религиозная пища *требо-совершителя*. И что лучшие приходские священники не хотят оставить братьев своих без этой их *пищи*.

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ В ЕГО ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАСЛУГАХ

В эпоху, когда все шумело и выходило из берегов своих, из своих рамок и предназначения, когда необузданность и своеволие кичливо ставило «нрав свой» на место закона, когда все стало аномально, все шло «боком», а не прямо, ложилось «поперек», а не вдоль, – естественно не привлек к себе усиленного внимания человек, стоявший все время в стороне от этого дикого движения. Это – «наш владыка митрополит», скажу старорусским термином, как издревле русская паства привыкла называть своих архипастырей. Двадцать пять лет исполнившегося служения его на митрополии с.-петер-

бургской и «первоприсутствования» в Св. Синоде должны бы вызвать знаки горячей любви и преданности ему от паствы. Во всяком случае дело печати оценить его историческое значение и определить нравственную ценность.

Он не «предал» себя, своего места и сана, того «престола» церковного, на котором восседал и который хранил, оберегал собою. Он все «продолжил» в своем лице, своею волею, и передаст преемнику в том самом виде, в той абсолютной целостности, как *принял* от предшественников, без малейшего изгиба, пятнышка, морщинки. Могло бы и не случиться этого: и не случись этого, — мы, может быть, пережили бы мучительные и позорные дни, наконец, в высшей степени *опасные*. Митрополит Антоний сберег церковь *от опасностей*: это такая его заслуга, которая прежде всего бросается в глаза и которая никогда не будет оспорена.

И заслуга эта выполнена им положительно, а не отрицательно; не в силу его «косности» и консерватизма, не по его «упорству» и «непониманию» времени и его задач, а совершенно наоборот: по просвещенности его ума и нравственной его чистоте и спокойствию. Два течения образовались за его время около церкви и пытались увлечь церковь, волнуя духовенство, разделяя его на враждующие стороны: течение *анархическое, бес-церковное*, срывавшее ризы и закон с церкви, и течение изуверно-старообрядное, раввшее церковь куда-то назад, к временам допетровским, «стрелецких бунтов» в своем роде, к какому-то виду и состоянию, нелепому, невообразимому, мечтательному и нереальному. Во главе второго течения, быстро одолевшего первое, стояли лица и прямо, и подпольно подкапывавшиеся под его личность, пытавшиеся его свергнуть с занимаемого «первосвятительского» места и осыпавшие, наконец, его открыто невыносимую бранью, невыносимыми личными обвинениями и упреками.

Митрополит не колебался. Он все чувствовал, все видел и понимал, но остался тем, что есть. За эти дни он не мог страшно не переболеть душою: и ни паства, никто его не поддержал. Дни эти, которые можно назвать днями его мученичества, одни могут составить ореол и славу имени человека. По этим-то дням, когда он не произнес ни одного ложного звука и не совершил ни одного слабого поступка, так возможного и даже так извинительного в его положении, мы и должны оценивать нравственное лицо в нем. Буйный ветер рвал с него ризы; но он сотворил краткую священническую молитву, про себя и глухо: и Бог его сохранил; его — и с ним священное его место.

Митрополит Антоний — из преподавателей академии: едва ли не из священников; и только когда он овдовел, а вскоре после вдовства потерял двух малюток-детей, он поступил в монашество. От этого своего прошлого он никогда не отрицался; не забыл его и не изменил ему; и, можно сказать, этот «уют старопрофессорский», священнический и семейный, *дух и приемы* этого «уюта», внес и на высоту митрополичьего сана и церковного «первосвятительства». Он *таким* и остался; так *говорил*; так *поступал*. Со временем только будет оценено все это. Он внес учительскую, педагогичес-

кую упорядоченность, ответственность, скромность, деликатность в дела митрополии, Синода и церкви. Это страшно много значит. Это незаметно, и в незаметности – велико и прекрасно. Никто, вероятно, никогда им не был оскорблен; никогда и никого он не придавил, не притеснил; никто не ушел от него оскорбленный, униженный, подавленный. Он щепочки не потопил собою: а он был большой корабль и имел великий путь. Это редчайшее качество человека в высшей степени редкостно, как мы знаем, у людей его сана, класса, сословия. И имя прекрасного христианина совершенно ему приличествует. Еще раз повторим: это качество исключительно у людей его сана.

И с этим органически связана его простая благожелательность, прямая и просвещенная. Его можно назвать питомцем нравственной школы покойного протопресвитера И. Л. Янышева, читавшего «Нравственное богословие» в Петербургской духовной академии, – и эти «чтения» составили в свое время эпоху и были переворотом. На место сухих, черствых, закостенелых канонов в их *буквальности* он дал место порыву благородного, великодушного сердца, веря, что «все, что добро, – тем самым и церковно, канонично». Ибо «церковь» и «сумма добра» были для него нераздельны. Поэтому он не думал, что прежде, чем подать убогому копейку, – надо произвести археологические изыскания, имеет ли это себе «прецеденты» и почва в «канонах». Вот этою высшею и нравственною верою в церковь был одушевлен и митрополит Антоний. «Все хорошее – *по Богу*», «прекрасное – *не может противоречить* воле Божией»: с этим упованием он творил дела церковные, вел корабль церковный. Вся самостоятельность ума его и прекрасный, прямой характер выразились в том, что он был *первым лицом в его сане*, которое склонилось к помощи семье, вместо той сухой монашеской отчужденности, какая всегда стояла на «митрополичьем месте» и в отношении семьи не знала других слов, кроме *отказа* и «не могу». Имя митрополита Антония никогда не может и не должно быть забыто в истории русской семьи и ее правового положения. Ему принадлежит инициатива и доброе «благословение» в отношении положения внебрачных детей; ему принадлежит полное способствование и благожелательство в отношении облегчения развода. Это гораздо многозначительнее, целебнее и, наконец, это священнее и религиознее «изнурений плоти», «свалившихся щек» и других знаков «поста и сокрушений сердечных», которые обычно стяжали «славу» лицам его сана и положения. «Veto» митрополита петербургского и вместе первоприсутствующего члена Св. Синода – не дало бы «провестись» всем этим новым законам. Множество русских детей, множество русских женщин *обязаны* в этот день помянуть в своих молитвах «доброго владыку Антония».

И он был вообще, все 25 лет, добрый и разумный пастырь, без исканий славы и чести, без гордости и превозношения, без «буйства», покрывшего позором многих его современников и многих из личных его врагов. Никакого «грима» он на себя не накладывал; не «потрясал ни жезлом, ни сло-

весами». Эта-то его тишина и была причиной, что он как бы отошел в сторону и для многих стал неприметен. Но здесь выразилась прекраснейшая черта, и церковная, и русская. Вспомним, что любимейший из русских государей прозван народом «Тишайшим». Шум – не русский идеал. Слава и блеск – не русские качества. Еще менее – это церковные идеалы. Помолимся же все, что в эпоху шумную и опасную, когда могло быть бесчисленное множество «драгоценностей» снесено ветром и волнами с нашего церковного корабля, на нем стоял тихий кормчий, который себя не берег, чтобы сберечь корабль и его сокровища. И из этих сокровищ ничему не дал «упасть в море». А когда окончилось или почти окончилось плавание, – вынул тихо из-под своей святительской ризы и несколько драгоценных «новин-подарков» смиреннейшим из русских людей, которые были забыты и законом, и обычаем, и соседями.

ЕВРЕИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«Полагаю, есть разница между *можно* и *невозможно*», – пишет Г. Горнфельд в письме в редакцию по поводу своей фразы о Достоевском: «*Невозможно* отшвырнуть от себя автора «Бесов». *Грамматическая* разница есть, но нет волевой, нет идейной разницы, – когда *без чьего-либо вызова* и всякого *повода* автор сотворяет от себя фразу, напр., «конечно, я *не решусь* тому-то плюнуть в лицо», «я вас *не называю* дураком, но...» и т. д. Это шейлоковское «вырезать фунт мяса из человека», с *поправкой* Порции: «но *не проливая* капли крови». В одной памятной полемике Струве прибег к этому *façon de parler**, чтобы лично оскорбить своего оппонента. «*Нельзя* все-таки плюнуть ему в лицо, – выразился он, – плюнуть на все его прошлое, на все настоящее и все его будущее» и т. д. Все-таки ведь литераторы умеют владеть пером, но достаточно внимательный взор сумеет под изгибами речи прочесть настоящее чувство автора, настоящее отношение автора к предмету, – в данном случае к лицу Достоевского. Г-н Венгеров действительно в этом неповинен, и я ему приношу извинение. Он написал статью «О *героическом* характере русской литературы», говоря, что особенно в 70-х годах беллетристика, поэзия и журналистика звала молодежь к подвигу и жертве. Признаюсь, эта статья прямо *болела* у меня в душе *несколько месяцев*: ибо не было сомнения в ее смысле, принимая во внимание историческую ситуацию тех лет: «Да, идите, юноши, на подвиг, преимущественно *русские* юноши, и затем идите в места очень отдаленные, если не хуже, – а тем временем мы, инородцы, и *наши* юноши, займем ваши места в практической и денежной работе, займем их в лавочке, банке, в торговле, в аптеках и аптекарских магазинах» (во всем Петербурге нет *ни одного русского*, кроме как фиктивно, номинально, аптекарского магазина, все сплошь еврейские, и между прочим у однофамильцев г. Венгерова). Но о Достоевском С. А. Венгеров не упоминал. Я не приписываю ему лично этой злой

* манере говорить (фр.).

мысли о русских юношах, особенно в отношении инородцев. Но ведь независимо от пожелания автора, от мотивов его, – все равно злой *результат* получается, и именно он таков в отношении инородцев и русских. Все практическое, вся *работа на русской земле* перешла и переходит все более и более в инородческие руки, и тем полнее и быстрее, чем русское юношество больше рудинствует, разговаривает, перестраивает Вселенную по своим планам, спасает отечество и пролетариат, бастует и заставляет закрывать университет и курсы, и вообще всячески «геройствует» и «жертвует собою», отправляясь на Кару и еще похуже этого. Все это страшно выгодно инородцам, безумно выгодно. История русской революции, с выдвиганием вперед героической юности, есть способ перехода, орудие перехода всех русских дел – в инородческие руки. Еще: революция в длительности и затяжности своей есть модус низвержения всего вообще русского в России и завладения всею Россиею – инородческим элементом; всею Россиею – кроме одного чиновничества. Невинно или наивно г. Венгеров своею статьею, потом вышедшею в виде брошюры, сыграл здесь роль, которая при всей его невинности остается *как факт* отвратительною. Более его умный и хитрый Горнфельд, *оспаривая Венгерова*, однако, в возражении ему и поместил фразу о Достоевском, поразившую меня этим «отшвырнуть». Критик – ну, и критикуй. Борец – то борись правильно. Но какой же это спор, какая же это борьба, какая же это критика: «отшвырнуть». Это – жест, это – удар. В отношении умершего Достоевского, которым, слава Богу, никто не «швырялся» в русской критике, это выражение Горнфельда опять поразило меня не одною грубостью, но и тем, как у человека вообще хватило духа употребить такое выражение в отношении лица столь исключительных заслуг перед духовным русским развитием?! Употребить хотя бы и в отрицательной форме, для самозащиты автора от невольного выкрика читателя. «Я не назвал его дураком, я сказал только: если бы он был дурак, то...» «Я нисколько не швыряю Достоевского, *напротив*, я говорю, что *нельзя его отшвырнуть* от себя...» – Да кому вы говорите? – Венгерову. – Да позвольте, Венгеров *не упоминал о Достоевском*!! Раз Венгеров не упоминал и Горнфельд все от себя сочинил о Достоевском, явно ему надо было сблизить «швырок», «отшвыриванье» и личность «Достоевского». Ну, а уж сапогом или кулаком это делается, разница небольшая. Я вознегодовал; прошла целая зима со времени написанного; и в моем уме это сплелось, что «два еврея, для революции, пхают сапогом Достоевского». В *точности* – это не так; но *в духе* – это именно так.

Без всякой вражды к евреям и скорее с *доброжелательностью к их будущему*, я должен заметить, что роль их в литературе с годами становится отвратительною. Этот еврейский «Шиповник», который скупает и *через скупку возбуждает к написанию, к заготовлению* беллетристического материала, исключительно злобного в отношении всего русского, всего народного, всего исторического, – ужасен своей гнусной ролью, которая продолжается вот уже много лет. В «Шиповнике» не появится ни одной странички о том, что и в местечке Шклове цветут не одни добродетели. Он не даст ни одного «нату-

рального описания» того, как евреи перехватывают у крестьян, везущих «живность» на базар маленького уездного города, весь товар, *до последней курицы*; и, дав крестьянину «пятак» за то-то, сам уже получает *гривенник* с покупателя на русском базаре. Евреи 4000 лет торгуют: и за 4000 лет они получили столько *опыта* около *денег* и всяческой *практики*, что молоденькому русскому народу с ними не конкурировать. *Опыт* этот *встал в нрав, в дух*; «глуповатый еврей» все равно хитрее (в *торговле*, в *практике*) самого «умного» русского. Историю с «базарами» я наблюдал воочию в городке Белом, Смоленской губ., где учительствовал. Евреи, *палец о палец не ударив*, через эту скупку «всего и разом» отбирали у крестьян всю их возможную *прибыль* и с покупателей, чиновной мелкоты и мещанства, тоже брали «каёмочку» платы. Они срезывали по каёмочке там и здесь: и все русские надевали, в переносном смысле, какую-то «срезанную» или «обрезанную» одежонку. Вот почему «Шиповник» *этого* не изобразит? *Неправда* евреев в русской литературе ужасна и грязна. Об этом им следует очень подумать. Я верю в идеализм и *доброжелательство к России и русским* многих отдельных евреев: достаточно припомнить Гарта (как слышал, еврей юрист или инженер) и его книгу «Почему зашаталась Россия. Бывшая русская правда и будущая»; всю обширную деятельность г. Гершензона, изучающего русскую литературу с точки зрения русских исторических идеалов; не исключая отсюда и Венгера (кроме его пошловатого радикализма), изучающего много лет Пушкина; г. Переферковича, который хотя и перевел Талмуд, но отстаивает достоинство русского государства и русской церкви от натиска изуверов синагоги; и т. д. Чтобы не ограничиваться литературою, назову харьковского окулиста Гиршмана, считаемого всею Россией «праведным человеком», и наконец, упомяну о начинающем враче (сейчас со скамейки) еврее, который вошел в холерную деревню, откуда бежал весь медицинский персонал, лечил мужиков, мужики поднесли ему (принимая за русского, ибо он был рыжий) образ Николая Чудотворца за остановку холеры: и к нему он приложился и принял его. Все это — *так*; но все это — *отдельности, лица*. Этим лицам давно пора поднять протест, «*veto*», против действий еврейского «скопа», ибо недостаточно им приносить добро отдельному человеку, отдельной деревне, а *всей России, целому народу*: как и *каждый русский* думает о *всей России*. Они должны защищать русский труд, русскую бедность, русский рубль; наконец, — защищать русское достоинство. Они должны открыто и ясно выступить против натравливания русской молодежи на русские штыки: это — кровавое дело, и кровавое — против молодежи. Это предательство молодежи, и это измена России. Будучи отвратительно уже у русских, оно получает *ужасный смысл* в устах инородцев («ссорьтесь, а мы завладеем всем»). Подумать есть о многом. Пусть прежде всего *честные в литературе евреи* потребуют закрытия «Шиповника» с его христопродавческим духом, растлевающим писателя русского и русского читателя. Ибо «слова» и «изъявления» что же... *нужно дело*. Евреи лучше каждого знают, что убеждения выражаются *в деле*.

Дружно гребите во имя прекрасного
Против течения...

Гр. А. Толстой

Выход очередной розовой книжки М. А. Новоселова — «Психологическое оправдание христианства. Противоречия в природе человека по свидетельству древнего и нового мира и разрешение их в христианстве» — дает повод сказать несколько слов о всей «Религиозно-философской библиотеке», двадцать восьмым выпуском которой является эта книжка. Дело это, крупное уже сейчас, большое — через десять лет, огромное — через 20 лет: ибо кроткий Новоселов (видали его все на Религиозно-философских собраниях) будет жить до 70–80 лет и все так же будет продолжать издание своей розовой, фишашковой, зеленой и желтой «библиотеки» (серии издания — каждая серия в своей цветной обложке).

Когда-то восторженный почитатель Толстого и «протестант против правительства», он взял без спроса одну из «невозможных» рукописей Толстого (кажется, относительно Государя Николая Павловича) и отпечатал ее в Москве. Был схвачен и посажен в тюрьму. Верно, там размышлял. И через некоторое время явился столь же страстным, но благородным (без грубостей) противником Толстого. Толстой его почему-то очень любил. Увидя незадолго до смерти книжки его «Религиозно-философской библиотеки» у сестры Марии Николаевны (монахини) на столе, он расспрашивал о нем и просил передать ему поклон, память и любовь, хотя Новоселов $\frac{1}{3}$ деятельности посвятил на борьбу с идеями Толстого.

Его нельзя не любить. Я тоже его противник, но — люблю. У него серые, спокойные, наивные глаза: и такое упорство в них, что скорей земля перестанет обращаться около оси, нежели Михаил Александрович перестанет издавать свою «библиотеку».

Он ее начал в Вышнем Волочке, вероятно специально для нее построив типографию, — и теперь перенес в Москву. Сейчас она расходится в десятках тысячах экземпляров (что-то до 50 тысяч). Это страшно много для издания безукоризненного, в котором ни одной нет страницы для улицы, для успеха и ни одной нет страницы с салъцем или грязью. К Дон-Кихоту все идут на помощь, хотя он и начитан только в «рыцарских романах»: сам Новоселов — бывший учитель или инспектор гимназии, т. е. образования среднего, но к нему в «соратники» пошли образованнейшие люди Москвы и некоторые талантливейшие профессора, которые «всю высшую математику и физику знают». И все смиренно работают маленькие популярные книжки, и все на одну тему: выяснение христианства, истолкование мировой его значительности, показание абсолютной «требы» его для души человеческой, души грешной и слабой, оправдание и защита церкви и, должно быть, «службы царю и отечеству». Катехизис прост: но за него взялись образованнейшие люди России.

Имена профессоров В. Д. Кудрявцева-Платонова, А. Ф. Гусева, В. И. Несмелова, В. Н. Карпова; далее в извлечениях – М. М. Тареева, М. С. Карелина, А. И. Введенского, А. И. Гилярова; писателей А. С. Хомякова, Ф. Самарина, Влад. А. Кожевникова, Влад. Соловьева, Л. Н. Толстого, Н. Д. Кузнецова, Льва А. Тихомирова, Н. Н. Неплюева, Н. А. Астафьева, И. С. Аксакова; духовных лиц: митрополита Филарета и архиеп. Антония; педагогов К. Д. Ушинского и Н. И. Пирогова, Амоса Каменского, даже из басурман: Огюста Николя, Джона Месона, Лютардта и проч., и проч. стоят на обложках розовых книжек. Затем, в фиштакковой серии «Русская религиозная мысль», золотые страницы (по 4 страницы) из Жуковского, Гоголя, Хомякова, Достоевского, Влад. Соловьева, И. С. Аксакова, А. И. Герцена, Н. И. Пирогова, Б. Н. Чичерина, Ю. Ф. Самарина, И. В. Киреевского, М. Е. Щедрина, историков С. М. Соловьева и проф. М. Н. Петрова, С. В. Ешевского и В. О. Ключевского, из К. П. Победоносцева, графа М. М. Сперанского. «Из Розанова» ничего не взято, зато в другой, темно-зеленой серии «Семена царствия Божия» (избранные места из «отцов» церкви и религии) для себя нашел такие слова, что, пишучи рецензию, чуть со стула не свалился:

«Блудных могут исправить люди, лукавых – Ангел, а гордых исцеляет сам Бог».

В самом деле, поразительно верно! – на себе испытал. Гордость исцеляется только болезнями и страданиями, лукавство – ангельски простым отношением, а блуд, должно быть, никем не исправляется: потому что «люди» все сами блудливы, а «ангелы и Бог» к этому делу не приступают. Читатели, однако, видят, что тут введена вся русская образованность, соработают все силы, древние и новые, и по плану ясно, что разноцветные эти библиотечки могут разрастаться бесконечно вширь и глубину и дорости до миллионов листочков, книжек, от одной копейки (sic!) до 50 коп. (кажется, дороже нет). Некоторые книжки, как Влад. Кожевникова «О значении христианского подвижничества в прошлом и настоящем» (в двух частях), представляют популяризацию, переходящую в ученость. Но во главе всего поставим № 1 библиотеки: труд основателя ее и замыслителя, М. А. Новоселова: «Забытый путь опытного богопознания» (2-е издание, 25 коп.).

И читают-читают старушки «Библиотеку», заглянет юноша, насмешливо пройдет мимо студент (Бог с ним), но задумается учащаяся девушка, с горестной и неясной судьбой; профессор «не возьмет ее в руки», – ну, и тоже Бог с ним. Это – русское издание, монастырское и сельское издание; а среди профессоров ведь почти не попадает русские. Все – Кутлеры, Кизеветтеры и «Русские Ведомости». Ну, и Господь с ними. Уже большая толпа столпилась сюда, и ведет их простой сердцем, но упорный Новоселов, которому, ей-ей, прожить до 70–80 лет. Сказано, «кроткие наследят землю», и вот Новоселов и «иже с ним» из таких. Это все русский нигилизм проходит, блекнет, тускнеет; и занимается мало-помалу заря русского энтузиазма, русского идеализма. В добрый путь, первые «крестоносцы»...

В обществе, в печати и, увы, среди учащегося юношества существует некоторое колебание в признании высокого ума в обыкновенном житейском смысле у людей, читающих им с кафедры науку и несомненно владеющих *научною формою ума*. Вот эта последняя стала в какое-то подозрительное положение, очень неудобное для «полной чести» ученых. Чего-чего, а уж *ума*, казалось бы, можно у них спросить; как у женщин не всегда спрашивают красоты, но всегда спрашивают *добродетели* и, наконец, *требуют добродетели*. «Быть умным» – такое же *требуемое* качество у ученых, как «половая порядочность» – у женщин. Так это всегда и было; индийские, арабские, еврейские, древнегреческие, испанские, германские, французские, итальянские и английские ученые, – все решительно давали свидетельство своего ума, кроме русских, которые, к общему изумлению, вдруг начали делать «блестящее исключение» из общего правила и, казалось бы, психологического закона. «Быть ученым – вовсе не значит быть *умным*», – твердят, доказывают и всячески объявляют русские профессора и ученые. Это имеет и практическую сторону: если «ученый» тождествен «простому и ясному человеку, умному человеку», то отчего, в самом деле, ученым и всяческим их организациям, в том числе профессорской коллегии университетов, не дать «автономии», «самоуправления», и проч., и проч. Но раз это дело поколебалось и слияние «ученого» и просто «глупого человека» не есть что-либо невероятное, а в некоторых случаях даже *очевидность*: то о какой же «автономии» может быть речь? Они не только «сядут в лужу», но и «заведут в лужу», напр. молодежь, университет и т. д.

К числу таких в высшей степени неприятных обнаружений принадлежит заявление академика Маркова (по кафедре математики) в Св. Синод, чтобы последний 1) признал его атеистом и 2) отлучил его от церкви. Атеистов, начиная с V класса гимназии, в России почти так же много, как гимназических мундирчиков: но даже гимназисты настолько сдержанны, скромны и рассудительны, что не лезут к начальству со своим атеизмом, справедливо полагая, что это дело их совести, души, а не канцелярии и учебного округа. Точно так же Синод, как государственно-церковное учреждение, блюдет за общими нормами веры, направляет «корабль» церкви в правильный путь правильного плавания, но он не «исповедует», не слушает выкриков, как истерических, так и пьяных, и вообще в «драматизмы» и «сердечные раны» не вмешивается. Делает сторублевое дело, а не копеечное дело. С чего же академик по отделу математики лезет к Синоду с копеечной историей своей души, которая у него нисколько не занимательнее, чем у гимназиста? Так, он поколотит кухарку за непосоленный суп к обеду: и придет в Синод с «раскаиванием в грехе буйства». Синод занимается крупными делами: и напр., если «отлучил Толстого», то не ранее, чем когда действия, слова, мысли, учение Толстого начали проникать *в народ* и волновать народ, народ стал уходить «в сектантство», в «толстовство». Без «толстовства» Синод не отлучил бы Толстого: но от «теории вероятностей», приведшей Маркова к «атеизму», никакой секты

не выйдет, как не выйдет никакой революции, если он поколотит кухарку. Это глупость и ничтожество, с кухаркой ли, с теорией ли вероятностей, у гимназиста ли или у академика. Синод, консистория и посланный консисториею «для увещания Маркова в веру» от. Философ Орнатский исполнили дело формы, вероятно, с тоскою и недоумением, зачем их отвлекают от дела такими пустяками? Синод просто, вероятно, был в недоумении, что ему делать с такой глупой историей. Чего Маркову нужно? Что нужно академику и математику? Официальное признание его атеизма? Для чего оно? Пустяки для пустяков! Чтобы «в паспорт прописали»? Но там есть рубрика: «Какого вероисповедания». Нельзя же написать: «Атеистического вероисповедания», ибо такого нет. Это абсурд. В паспортах прописываются положительные добродетели: «Сколько лет?», «Какого вероисповедания?», «Холост или женат?» Все – солидности социального положения. Но какая же это солидность: «атеист». Солидная вещь, паспорт, глупостями не занимается, и там не отмечается, кто «иногда запивает», а «другой раз имеет любовницу». Маркову непременно захотелось выразить легкомыслие и «чтобы оно прошло через паспорт». «Пусть его благородие пристав обеспокоится, впишет мне там, что я ему скажу; да и не один пристав, а сам Синод». Синод, при своей «зрелости», сплавил все это в консисторию, консистория передала «увещателю»: и произошло не «трясение отечества», как ожидал Марков, а свидание академика с благочинным, вероятно не без комичных черточек в разговоре.

Марков даже не догадался, что *настоящий «атеист»* буен; и уж раз «Бога» отверг, то что же ему начальство, Синод, консистория, церковь, русская земля? Все это – исчезающие малые величины; около Бога все это – «бесконечно-малые» дифференциалы. Как же это математик, можно сказать, «стреляет ядром» по дифференциалу? «По теории вероятности» я полагаю, что ученый академик – не «атеист», но глуповат в обыкновенном смысле: об *атеизме же он понятия не имел, никакого не имеет о нем представления, совершенно не знает истории атеизма и биографий настоящих атеистов...* Он совсем маленький мальчик, послушный начальству до такой степени, что, можно сказать, никакой «маленькой нужды» не сделает без того, чтобы «пристав» ему не указал, «где» можно сделать. И надо бы к нему послать не Философа Орнатского, а «бонну-немку с шитьем», которая бы его водила гулять, обучала вежливости и манерам, кормила кашкой и иногда секла за безнравие... В случаях, если он «не там, где указал пристав».

Ну вот, и дайте им *автономию!*..

ГОДОВЩИНА В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

Прошел год со времени кончины незабвенного старца-историка В. О. Ключевского, которая так взволновала всю Россию и объединила всю ее в одном вздохе по человеку, по ученому, по профессору. Он принадлежит к той плеяде Московского университета, в которой горели звезды первой величины – Бус-

лаев, Тихонравов. И он был одною из них. Если мы присоединим сюда имя проф. Московской духовной академии Голубинского, лучшего церковного историка за XIX век, умершего тоже почти одновременно с Ключевским, – мы исчерпаем университетское и академическое *humaniora**, насколько оно выражается в личностях, в преподавании.

К годовщине смерти Вас. Ос-ча вышли две важные книги: «Опыты и исследования. Первый сборник статей» (Москва, 1912 г., 2 р. 50 к.), за которым последует еще два сборника («Очерки и речи» и отрывки «Курсов» лекций), по специальным темам, не вошедшие в его четырехтомный «Курс русской истории». Эти «Опыты и исследования» будут, конечно, приобретены всеми, кто имеет его «Курс», ибо это – продолжение и развитие того же. Вторая книга, изданная Г. К. Рахмановым в Москве (издательство «Научного слова»), более интимна и лична. Это – «В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания» (1912 г., ц. 1 р. 90 к.). Книга, гораздо более объемистая, чем угрожает цена ее (217 стр. большого формата), украшена тремя превосходными портретами Вас. Осиповича – от 1873, 1890 и 1905 гг., т. е. в старости, в начале профессуры и в середине ее.

В двух ценных статьях «Сборника», принадлежащих М. К. Любавскому (автор двух огромных исследований по русско-литовской истории и систематического «Курса» по ней), который занял кафедру Вас. Ос-ча и теперь состоит ректором Московского университета, – указан, говоря ученым языком, «извод» Ключевского, т. е. «откуда и что» в нем взялось. Все связано с детством, средою и сословием. Сын *священника в селе* Воскресенском Пензенской губернии, он, можно сказать, мальчонком впитал в себя бессознательно тот ум, тот вкус, те привязанности и те антипатии, которые широко и ярко засверкали через 30–40 лет в его чтениях с кафедры и затем увековечились в его «Курсе». Даровитый мальчик никогда не забывает своего детства. Вся огромность зрелого ученого, в сущности, уже содержится в любопытствующем, ожидающем, удивляющемся, наблюдающем глазе и уме подростка и мальчика. А благородное сердце никогда не откажется от детской тоски и от детского умиления, от детского «всего». Никто так близко не стоит к крестьянству, как сельское духовенство: одна природа, один труд, один быт – только у «попа» все это поразвитее. И оба они не очень дружелюбно смотрят на знатность, богатство и всяческую далекую славу и значительность. Вот это все, *именно это*, до суеверия и недостатка, до некоторой узости и предрассудков, было у Ключевского. Он не был историком-государственником, как Соловьев и особенно Карамзин, не был историком-холодом, как Костомаров, а великорусским историком-бытовиком. Это-то и согрело так его «Курсы», его чтения; это-то и потянуло бесчисленные сердца к его кафедре. Он обаяниями своими всех «изучающих русскую историю» заставил «полюбить русскую историю»: дело совсем новое и необычайной цены! Конечно, *быт* есть самое главное; *быт* – сейчас «за ду-

* гуманитарные науки (лат.).

шою», оболочивает душу уже непосредственно, осязательно; из *быта* развиваются, строятся *учреждения*; из него *направляются* события, происходит «все». И историк-бытовик, *безотчетный* бытовик, без теорий и без доктрин о «быте», не мог не сделаться «само собою» стержневым историком, не стать «в корень». Так все и случилось с Ключевским: теперь «русская история» и «Ключевский» слились, и *понятие* первой неотделимо от *образа* второго.

В объяснениях и характеристике г. Милюкова собраны черты исторического воззрения Ключевского, которые, как нам кажется, он бессильно пытается оспорить или лишить ценности. Ключевский не отрицает «гражданского малодушия» и «безнадежной узости понимания» в московском духовенстве, но обращает внимание слушателей и читателей на сливающую, объединяющую сторону его влияния, его воздействия. Вот что получалось в народе, в населении *около* этого не богатого умом и просвещением духовенства, которое всего боялось и ни на что не дерзало: *вся культура* старомосковская, выкованная византийским влиянием, т. е., в сущности, влиянием духовенства, и хранимого им *обряда церкви и обряда жизни*, была единою, без трещин, противоборств, сомнений и колебаний. «При всем различии *общественных положений*, — говорит Ключевский, — древнерусские люди по своему духовному облику были очень похожи друг на друга, утоляли свои потребности из одних и тех же источников. Боярин и холоп, грамотей и безграмотный... неодинаково строго заучивали свой житейский катехизис. Но они твердили один и тот же катехизис, в положенное время одинаково легкомысленно грешили и с одинаковым страхом Божиим приступали к покаянию и причащению — до ближайшего разрешения «на вся». Напротив, западное влияние разрушило эту нравственную цельность русского общества. Влияя гораздо глубже на отдельную личность, чем прежнее византийское влияние, оно зато до сих пор не вышло за пределы господствующего класса и не проникло в народную толщу. Новая культура, как стекло, *неравномерно нагреваемое*, разбило народ на два лагеря».

Так говорил старец-историк, растолковывавший слушателям «российскую историю» как «свою семейную хронику». К *каждому* слушателю, к *каждому* читателю он страшно приблизил историю; это больше не панорама, какая-то далекая и *немного чуждая*, как у Соловьева и Карамзина, даже как у Костомарова. Это — «свое дело», «наше дело»; это — «наша жизнь» и ее хроника, ее чередующиеся оттенки. Слушатель, историк и сама история — страшно сблизилась; это — не книга, а рассказ; в самой книге — чувствуется *голос*, его певучий, тонкий, цепкий голос. Он говорил нам про все «свое», не величавое, не всемирное, пожалуй, — не глубокомысленное; но что нам милее и всяческого глубокомыслия, и величавых панорам. Вот, в самом деле, это единство духа и жизни: на что его променяем? Оно есть такая ценность, которая вообще ни на что не променивается. Особливость Ключевского — что он, не отрицая преобразований XVIII века, тем не менее помещает центр тяжести русской истории в Москве, в Кремле, в старорусских базарах, в

крестьянской избе, в духовном сословии, — во всех этих элементах, которые и в «Петербург» перешли, ничего не потеряв из «своего», и в значительной степени перекрасив самый Петербург «по-своему». Он любит Москву, а Петербург он только уважает; отношение совсем другое. Но и самое уважение он простирает лишь на то, что не оскорбляет старую Москву и не превозносится над нею. Малый знак этого, малейшая тень гордости, чванства над «дедовским» и простецким — и Ключевский становится желчен и саркастичен к дворцам, господским гостиным, ученым кабинетам. Таким образом, нравственное чувство, сердечное влечение есть господствующая струя его «Курсов»; и оно-то придало им музыку. В Ключевском говорит «я», «мы» — «все мы, русские»: но когда у нас нет сил защитить себя, оправдать себя, выразить себя и мы из споров уходим раздраженные и обессиленные, — он, вооруженный всеми средствами науки и собственно богатым талантом говора или письма, защищает нас всех, и защищает так умело, уклончиво, «по-духовному», не давая ни к чему в себе придраться, не давая никому права упрекнуть его «темнотой», «пристрастием» и «суеверием», что противникам и густой стене их остается только попятиться... И мы говорим ему, говорим всей Русью:

— Спасибо, батюко, поповский сын! Твой отец крестил нас, а сын отстаивает царство крестьянское-христианское.

Вот почему он всем так близок и памятен; почему от «Курса» его идет такое веяние интимности.

«ВЕНОК» НА МОГИЛУ ЗАСОДИМСКОГО...

Пусть никто не проторит тропы к моей могиле, пусть никто не носит на нее венков, пусть она затеряется среди других немых могил!..

Из частного письма Засодимского

Эти немногие и торопливые слова я называю «венком» потому, что мне хочется именно *положить венок*, вещественно и осязательно, на могилу Засодимского; и пишешь, — «как вообще литераторы», — чего не можешь исполнить на деле. *Все лень*: куда тащиться до Волкова: я лучше сяду и напишу. Но зато пусть будет это слово горячо.

Да, у нас, литераторов, — все в воображении. Жалкие люди. Оставим, однако, себялюбивое «себя».

Если бы «Розанов принес венок на могилу Засодимского», это ничего бы не значило, и, по всей вероятности, Засодимский из могилы-дома «пхнул бы венок Розанова ногой», по крайнему расхождению в убеждениях. Не в этом дело, а в следующем. В 1892 году, только-только начав журнально-газетную деятельность, я написал в «Московских Ведомостях» шесть фе-

лятонов, между собою связанных по мысли, первый из которых назывался: «Почему мы отказываемся от наследства 60–70-х годов?», второй – «В чем главный недостаток 60–70-х годов» и т. д. Заглавия – все говорят. «Десятилетники», только что начинавший писать, резко выступил против «все-го» в 60-х годах, порицая их, осуждая, ненавидя их. Там приводились и поводы всего этого, мотивы...

Тогда я был страшно молод, теперь значительно стар; старость не только умудряет, но и *смягчает*. Двадцать лет пронеслось. Прошли «декаденты»... «Московские Ведомости», «Русский Вестник», «Русское Обозрение», «Мир Искусства», «Новый Путь» и «Весы» мелькают в воображении, как пройденные этапы, как сложная, утомительная и колеблющаяся дорога. И вот теперь, когда умер Засодимский, такой сердитый, такой правдивый, такой «верный себе до гроба», – такой, если хотите, прекраснейший Дон-Кихот и рыцарь: то мне мучительно захотелось прибрести к нему на могилу и сказать великое «прости» этому рыцарю и всей их эпохе, во многом прекраснейшей и рыцарственнейшей, не *от себя* (это не очень имеет значение), а вот именно от всех «десятилетников», как и тогда, в 92-м году, я тоже не от «себя», а от «нас» – «отказывался от наследства».

Страшные вопросы:

А любили ли мы так русскую землю, как Засодимский и «они»?

– Нет.

А любовались ли так каждую морщинку на усталом лице народа, на всякой деревенской бабе, как *они*?

Нет.

Мы пели «Диан и Аполлонов», т. е. червей, умерших в земле.

Мы не любили так *живого*, как «они». Все мы копались около «мертвечинки». Люди фантазии, а не дела.

Говорят, он «не имел таланта» (Засодимский). Да черт ли в «таланте», если он не осложняется здоровым обонянием, здоровым глазом, здоровым вкусом, не имеет здорового отношения к вещам и прямого к ним шага? Не Тургенев ли сказал: «Все забудется, всякий гений и слава; не забудется – *добрый поступок*». Вот эту маленькую жемчужину, такую молочную, такую белую и которую не засыплет гора угля, – и несли с собою, прижимая одну к сердцу, 60-е годы и их *исторический тип*, их *исторический стиль*.

– Добрый поступок!

Кто это отнимает у них? Эту заботу, эту мысль? Они все, «60-е годы» – были в *добром поступке*, без разделений, без разграничений. О, потом пошли усложнения, пошло все «к хуже». Но первый момент, и момент долгий, упорный, – был *сюда*.

Были ли у «нас» это рвение к «доброму поступку»? Мы уносились в мир фантазии... не оспорю, может быть, всемирной фантазии; были «вопросы»... Но «вопросы» – *не дело*. Этого *ясного, прямого отношения к делу* – не было, и это тоже был «стиль» и «тип» 90-х годов.

И жизнь прошла. Два десятилетия. Два десятилетия проехала громадная, громоздкая колесница «истории», такая страшная, такая черная, такая «ответственная»... Эта колесница уже не «мы»; «мы» только барахтались в ней... Вот для этой «массы дел», для *истории* – для десятилетия есть громадное время. «Шестидесятники» – почти прошли; никого не осталось, никого не остается.

Шумное было время. И сколько милого в этом шуме. Коммуны, Жорж Занд, Прудон. «Дрались, а не спорили». И все умерло. И как хочется плакать над этим «умерло».

В жизни нашей прошли *прекраснейшие люди*. Теперь одни могилы. Когда они «жили» – ничего не представлялось в ясности. «К чему этот нигилизм»... «разрушение семьи», «потрясение тысячи основ». «И эта коммуна на Знаменской, где один переводил «полезные книжки», а семь девиц живут при нем любовницами» (слышал рассказ, – смеющийся и *любящий*).

И вот «Знаменская» стоит по-прежнему, и на ней имеются «торговые бани» и «те же едут извозчики»... «Слава Богу, все основы целы».

Ах, милые люди: *разрушайте*, лишь бы весело. Эта дуреха-земля до того прочна, что, сколько вы ни «разрушаете», – все будут «бани и извозчики». Поэтому – *ничего не бойтесь*. Планета «вращается и вращается», никто ее «с оси» не сдвинет: поэтому каждое поколение просто должно быть *счастливым*, «с Прудоном или с Жорж-Занд» – все равно. Миг нашей жизни поистине краток. Но я зафилософствовался. Пусть же Засодимский не «пхается ногой» (на это он *вправе*, это его *стиль*): с глубоким смирением и раскаянием за резкость упреков, слишком *молодых и необдуманных*, кладу венков на его скромную и *чистую* могилу не от себя, но вообще от «отказавшихся от наследства 60-х годов», без мысли встретить противодействие... ну, назову имена еще «девяностыхников». Брюсова, А. Белого, Дягилева, вообще «Мира Искусства», Шестова etc, etc. Улеглась пыль; опять взошло солнце: и это благородное «кладбище 60-х годов» – как о нем хочется думать, как на нем хочется плакать, как всего там, всего и *всех*, жаль и жаль... А кончишь все Пушкиным:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись;
В день уныния смиришь:
День веселья ведь настанет.

Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

Эх, «60-е годы»: любили бы Пушкина, и, может быть, не было бы вовсе «расхождений», да и не заблуждались бы они сами...

НАША ПРИСЛУГА, ПОЖАРЫ И ДЕРЕВЕНСКАЯ ШКОЛА

Паша (кухарка) визжала из кухни: между тем она никогда и не плачет. И «некогда», и не в натуре. Что такое?

Сгорела деревня «Боровичи», Новгородской губернии. Вся, кроме тринадцати дворов «по ту сторону ветра», и сгорел новый дом, построенный старым родителям этой Пашей, — девицей лошадиной силы, неустанной в работе, веселой, скопидомной, вечно ожидающей жениха, но никак не могущей его дожидаться. В большом углу у нее «семейная икона», т. е. со святыми *имен* всех членов семьи: сама заказывала, сама выдумала, сверх дома, каждые три месяца пошлет что-нибудь денег в деревню; и имеет «на книжке» уже $\frac{3}{4}$ тысячи. Полная русская гражданка.

— Ты что, Паша?

— Ой — барин, ой-ой-ой... Изба сгорела. Теперь все вновь строить. Кто же будет, как не я. Они старые, а брат (уже рабочий) пьет.

Назавтра все ухудшилось. Сгорела девочка трех лет, племянница, дочь этого пьющего брата. Вчерашнего горя уже нет; Паша вост:

— Пропали он, дом... Девочка сгорела.

Прошли дни. Думали, не подтвердится: подтвердилось. И ужасные подробности: девочка (трех лет!) еле бегала за бабушкой, крича: «Ой, бабка, боюсь! Горько мне и темно. И Катке горько»...

Это дом ел глаза. «Катка» — кукла. Девочка не расставалась «с радостью» своей, игрушкой; одушевила ее в своем воображении и жаловалась, что от дыма не только она задыхается, но и кукла.

А бабка, — старая и умная, — тащила какие-то узлы. Видя, что она узлы тащит, девочка выбежала из «горькой» (от дыму) хаты, но на улице — смятение: она вбежала в соседнюю избу, спряталась под лавку и там, несчастная, и сгорела, потому что соседняя изба загорелась сейчас же, чего не мог сообразить трехлетний ребенок.

— Боюсь, брат убьет мамку: имущество спасли, а девочку не спасли!! — была теперь заботливая Паша.

* * *

Не прошло недели, как слышу печальный разговор по телефону только что месяц нанявшейся учительницы. Спрашиваю, отчего такой тон и тревога. Отвечает:

— Вообразите, сгорела моя племянница. Мачеха, очень ее любившая, — лежит в больнице после родов. Отец по делам уехал за границу. Девочка шести лет, но очень большого роста, и вообще совсем развитая, спала в первом этаже. И сгорела.

Через день ужасные подробности: все из дома вынесено, кроме девочки. Бонна вынесла свои платья, во втором этаже (другие девочки) спасли собачонку. Не спасли только племянницу. Крики ее слышали, ужасные

крики: но не знали, из которой комнаты они несутся, т. е. куда броситься спасать. Девочка так любила отца, что, бывало, раза три выйдет с бонною на станцию, говоря: «Лучше я три раза выйду, — а за то напьюсь чаю с папочкой».

Страшно сдержанная гувернантка говорила:

— Неужели она думала, что ей ее сгоревшие платья не вознаградит отец? Она должна была *только порученную ей девочку спасти*. Бонна во всем виновата...

Она немка. В русской семье, хотя с немецкою фамилией.

Если у служащих в *одной* семье сгорают два ребенка: то хотя это и «случайное стечение ужасов», тем не менее поражает величина процента. «Сколько же детей сгорает? Так много, что больше нельзя».

* * *

Возня с имуществом прежде, чем *спасти человека*. Тут нет простого правила, *общеизвестного, распространено-известного*: что всякий раз, когда сгорает имущество *служащего в доме человека*, оно вознаграждается тем лицом, в услужении которого оно находится, своим временным «хозяином». Будь такое правило известно, никто из «служащих» и не возил-ся бы со своим имуществом, думая только о людях, о детях. Не дожидаясь общего закона, который «когда-то еще пройдет», нельзя не посоветовать каждому нанимателю при приеме каждой новой прислуги заключать письменное с нею условие, в котором: 1) объявляется стоимость его имущества, притом без преувеличения, т. е. по проверке наличным осмотром, и 2) эта стоимость выплачивается домохозяином, в случае, если при пожаре вещи не вынесутся. Но общий закон все-таки необходим, именно ввиду *укрепления его в памяти всех*, ввиду его *распространения*. А то лет десять назад при пожаре в Лесном сгорел тоже ребенок: когда его нянька вытаскивала свой мешок!! Читали в газетах, все были поражены: и мне, к ужасу, пришлось в толпе простонародья услышать суждение бабы:

— Нет, миленький, — *каждому свое дорого!*

Кто же знает: каждая тряпка тут «копилась», к каждой вещи привязано столько психологии этого *накопления и усилий накопить*, сколько этой психологии вовсе не прикреплено к новому ребенку, прислуге почти неведомому. В момент испуга, когда «все горит», несчастное (и преступное в данном случае) воображение и озаряется только этой застарелой психикой: «Вот накоплено *столько-то*, а вот того и этого *еще недостает*». Это в своем роде *idée fixe* бедности, которая и губит детей «барских».

Дитя — чужое.

Имущество — свое.

Нужно «застраховать» имущество, вот эту *непременную хозяйскую выплату*, чтобы эта пугливая *idée fixe* погасла.

НЕ БУДЕМ РАВНОДУШНЫ

Хочется добавить: не будем *преступно* равнодушны, как мы сплошь и рядом остаемся безучастными зрителями ужасных зрелищ и слушателями ужасных историй. И своим равнодушием плодим их *повторение*.

Гибель дочери г. Ауэра, которая испеклась живою, когда *дом* сам вовсе не сгорел, и даже в квартире г. Ауэра обгорела *только эта одна* комната, где спала несчастная, и никто ее из огня не выхватил (1-й этаж!!), – не дает уснуть даже не знавшим 7-летней девочки. Вдобавок, – она проснулась, когда загорелась комната, и кричала: «Все сгорит, – как же папочка, когда он вернется?» Знаю эти подробности от ближайшей родственницы покойной. Бонна, которая едва ли была *вправе читать* с огнем в постели, когда ее питомица спала уже, ибо *мешала ее детскому сну*, пренебрегая этим первым правилом нормального воспитания. Не судим ее, что она выскочила в окно, почувствовав ожог спины (все эти подробности я знаю от родственницы г. Ауэр): он – как укус, от которого скачут. Но за этим моментом она вскочила вновь в комнату, которая была уже в огне: не выхватила не порученного ребенка, кричавшего, проснувшегося, вероятно беспамятно скакавшего на одном месте и не знавшего, что такое «спастись», где «окно», где «дверь», и, словом, *обеспамятевшего*, с которым надо было что-нибудь сделать, а он сам уже ничего не мог делать, – а потащила свои проклятые платья!! Этот второй момент действий бонны – уже сознательный и не только преступен, но чудовищно преступен. Помнила о платьях – помнила и о девочке; спасала платья – должна была спасти *в этой же комнате ребенка!* Она была в той комнате, где горел ребенок: и когда из двух предметов, платьев и ребенка, она взяла платья – неужели она не виновата!!

Нет, это, очевидно, тот случай, где «кот Васька кушает да ест». И если она «позабыла *тут* ребенка», конечно, она не вспомнит всех наших рассуждений *завтра!* Неужели же эта особа будет еще педагогичесествовать в России, в Петербурге? Может быть, уже сейчас, «потеряв место», она «публикуется» на другое. Никто ее не будет избегать, так как самое имя ее неизвестно и почему-то не названо г. Ауэром. Неужели же можно вынести это беспредельное равнодушие Петербурга, петербургской администрации, педагогического мира и, наконец, главного всего, всего общества петербургского, – что оно допустит этот ужас, безобразие и, наконец, какое-то вандализм?! Г-н Ауэр, уже из уважения и осторожности ко всем родителям, *должен* называть в печати имя и фамилию этой «бонны», читающей (вероятно, романы) с зажжением свечей, когда *в той же комнате* спят дети, т. е. мешая *им спать*. Но этого мало: такая «воспитательница» вообще должна быть лишена прав воспитания, т. е. ей должно запрещено публиковаться в «бонны» и проч.; а так как это делается анонимно, то *в самый ее паспорт* должно быть вписано это *запрещение*, с мотивом лишения, т. е. с записью факта, что *по ее вине сгорела ее питомица*. Это есть просто «описание дела», «примета личности», – и администрация даже не вправе не предупредить

возможных нанимателей об опасных «признаках» нанимаемого лица. Она — немка, из Риги; и все это должно быть как на русском, так и на немецком языке. По-настоящему, *если бы был закон* за преступное неисполнение принятых обязанностей, последствием чего была смерть человека, она должна бы ответить годом одиночной тюрьмы. Но пока нет закона, законодатель «не предусмотрел» такого дела, — мы не должны оставаться безгласными и недвижимыми, — и потребовать, что можно. Пусть никто не скажет, что в русские губернии можно ехать и, что бы там ни делал приехавший человек, приехавший иностранец или инородец, — русские никогда не возмутятся, не запротестуют и оставят все втуне. Пусть этого не говорят.

ЕДИНСТВО ИЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ?

Враждебное отношение православного населения к сектантам, принимающее иногда размеры изуверства, имеет точкою отправления вовсе не религиозный фанатизм, основанный на разномыслии; вражда растет не на почве религиозных прений, которых между сектантами и православными *никогда* не бывает, а скорее вражду вызывает тот дух замкнутости, отчужденности и жизнь «про себя» у сектантов, которые столь чужды русскому народному духу.

Ясевич-Бородаевская.

«Борьба за веру», стр. 275

I

Г-жа В. И. Ясевич-Бородаевская потрудились «добрым подвигом» 25 лет около русского сектантства, объездила на крестьянских телегах значительную часть нашего юга, нашей Малороссии; жила неделями и месяцами среди сектантов; и, выступая в печати и в правительственных учреждениях постоянным ходатаем за них, — естественно и как «сочувственница», и как женщина, могла разузнать многое в их быту, верованиях и «тайнах», что навсегда осталось бы скрыто для безучастного исследователя-ученого, для чиновника министерства внутренних дел «по сектантским делам», каким был покойный Мельников-Печерский, и даже вообще для мужчины. С другой стороны, однако, берясь за ее громадную книгу «Борьба за веру» (1912 г., 4 руб.), — где она собрала воедино 25-летние труды свои, разбросанные ранее по журналам и газетам или читанные в виде «докладов» в Русском географическом обществе и в Юридическом обществе при Петербургском университете, — и знаешь, что берешь, все-таки, горячую книгу русской женщины, с ее «*cor ardens*» (пылающее сердце), но без того спокойного озиранья

на все стороны горизонта, каковым, увы, обладают преимущественно «жесткие мужчины». Книга, наверно, с большими качествами; но и с некоторым недостатком подпочвы. Так это и есть.

Страницы и десятки страниц в ней представляют, так сказать, наблюдения, «взятые с земли», – и ценность их никогда не исчезнет, как бы ни изменились наши теории русского сектантства, наше вообще отношение к сектантству. По этим качествам «Борьба за веру» есть вековая русская книга, к которой всегда будут обращаться исследователи. Это не работа по напечатанному и рукописному материалу, – по тетрадкам и листкам, обильно отбираемым у сектантов миссионерами, духовенством и судебными следователями; по протокольным записям «сознаний» сектантов перед тою же судебною властью. Весь такой «подневольный матерьял» в значительной степени есть уже не то, что «оживой матерьял», выхваченный из жизни, – где «птички свободно поют» и поют «любовно». В. И. Ясевич-Бородаевская сама хохлушка, – у нее приведено множество хохлацких песен и разговоров на хохлацком наречии, с переводом последних на русский язык, и смотрит на сектантство как на несчастье, трагедию, как на героическое и страдальческое событие почти что «в родной семье», чуть не «у себя в дому», принимая «Малороссию» за обширный «свой дом» чисто женским сердцем. И вот под этим углом и с этим чувством и написаны ее страницы.

Это – раздраженная, разгневанная мать, ругающаяся через забор на соседа, обидевшего ее цыплят: «сосед» же – это громада русская, русская церковь, русская государственность. Она и их чувствует, и не отрицательно чувствует; вообще в ней много ума, и притом *обще*-русского ума: но в данное время, в данные годы – обижены вот именно «эти» ее «хохлы-сектанты»: и она взмахивает крыльями, гордо ходит и клохчет «на всю улицу» именно как мать и наседка. Такова ее книга, полная достоинств и недостатков. «Этот страдалец за веру, – пишет она о сектанте Дуплие, встреченном ею в 1882 году, – открыл передо мною целый ряд представителей других религиозных мировоззрений, до Кондратия Малёванного включительно, в единении с их последователями и на фоне оригинальной, ими самими созданной, религиозно-бытовой обстановки. Все эти люди, движимые жаждой познать истину и осветить ею свою жизнь, глубоко заинтересовали меня; и жизнь их, переполненная страданиями и горем, пропитанная насквозь горячими слезами и кровью, стала моим горем, моими страданиями». В 1905 году она составила обширную работу о правовом положении сектантов и представила ее тогдашнему председателю Комитета министров, гр. С. Ю. Витте. По его распоряжению эта работа («Обзор законодательства») была отпечатана в ограниченном количестве экземпляров и роздана участникам комиссии при Комитете министров, разрабатывавшей вопрос о веротерпимости и свободе совести. Таким образом, в той или иной степени, но голос, знания и, так сказать, волевой импульс этой женщины-старательницы вошел в знаменитый акт 17 апреля 1905 года: вошел в составе множества голосов добрых и благородных русских людей, которые, как бы в одну трубу трубя, говорили до 17 апреля: «Не хотим гонений за веру».

А на фигуре Дуплия следует остановиться. Он не был собственно сектантом. Впечатлительный и нежный мальчик, он родился в грубой семье. «Бывало, напьется отец и бьет меня, бьет, пока руки ворочаются, так что встать не могу, и все за то, чтобы по святым местам не ходил и чтобы деньги ему зарабатывать. – Бей, говорю, отец, бей: убьешь – похоронишь, а не добьешь – боком покачусь... Судили меня, в кандалах был, а за что? За то, что душу хотел спасти... Я сперва думал, что когда люди хорошо одеты, то и разумны»... Тут же, во время последнего посещения его г-жою Ясевич, сидели около старика две монашки из дальнего монастыря и с глубоким вниманием слушали его. По этому присутствию «в гостях» русских православных монахинь, – действительно очевидно, что Дуплий не был сектантом, не держался «иноческого учения»; а просто он был созерцательною религиозною натурою, был «мечтателем»: и сперва его били за неработоспособность, а потом за рвение религиозное – «приняв последнее за что-то особенное и как будто неправославное».

Г-жа Ясевич знала Дуплия в разные годы; была на его свежей могиле; была у него незадолго до смерти; знала в цветущий возраст, когда он изобличал «слабости», во-первых, *свои* и затем *всего мира*. Обычное колесо веры и горячности в ней. Вот сценка свидания перед смертью:

«За песнями и разговорами я не заметила, как мы въехали в деревню. Вот и хата Дуплия. Старый знакомец, как он исхудал, как изменился! Старик, видимо, обрадовался мне. «Спасы тебе Господы на добре дило», – проговорил он здороваясь. Взглянула я на своего старого приятеля, и сердце облилось кровью. Боже мой, до чего может дойти фанатизм и самоистязание русского человека! Никакие вериги не могут причинить тех страданий, какие старик этот создал себе, искусственно беря свои раны. Ведь в первое мое посещение он заявил, что «болезнь есть благодать Божия и нужно радоваться, ибо она посылается Богом для испытания человека». И вот он достиг, по-видимому, желанных результатов. Вся грудь и спина старика были покрыты сплошными язвами, которые он поддерживал (ведь *это-то* уже не «от Бога»?!) – *В. Р.*) путем соленых примочек и всяких разъедающих присыпок в течение многих лет. Пальцы на обеих руках были скрючены в разные стороны, а для еды была приспособлена ложка с кольцеобразным наконечником, в который он всовывал один из своих пальцев и так ел. Когда я подошла к нарам, на которых лежал «дид», то он, указывая на обнаженные ступни своих ног, покрытые огромными гнойными ранами, из глубины которых высывались кости, проговорил: «Вот она, благодать (! *В. Р.*) Божия» («ось вона, благодать Божья») – и, натянув валенки, стал на эти ноги, чтобы положить перед иконами земной поклон. И при всем этом ни единого стога, ни единого намека даже на страдание; напротив, меня поразило удивительное спокойствие и твердость, которые светились в глазах этого фанатика. Вынослив, терпелив и силен ты, русский человек! Дуплий велел любимому своему сыну Александру разыскать в разных закоулках, на поставцах и в печурках завернутые в тряпочки кусоч-

ки просфор, принесенных ему «черныщами з Киева», остатки засохшего в стакане сотового меда; разыскали где-то и щепотку чаю, принесенного «странником Божиим». Вспомнил Дуплий старину, вспомнил, как много ему пришлось перенести от отца и «обчества»... (стр. 195–196).

Туча вопросов:

Во-первых, по мелочам, по угощению, по «гостинцам» видно, что это — православный; это — и не старообрядец (разделение с нами в еде и питье), и не хлыст (живет с *сыном*).

Во-вторых: да я, при всем благоговении к характеру и героизму его, не только закричал бы на него, а *ударил бы его в спину* за подсыпание соли в раны и вообще явное безбожие; ибо *Бог сотворил человека здоровым и целым: «язвы» же и прочее пришли потом, пришли за грехи, как ненормальность за ненормальность*. И увеличивать *самому* «язвы» так же нельзя, страшно и грешно, как если бы кто-нибудь стал растить в себе грехи!! Дуплия следовало бы поколотить за это: и, как горячий человек, он понял бы, что это правильно, что такая «лоза» — от Бога, как поправка к его дурости, глупости, незнанию слова Божия и упрямству. Но г-жа Ясевич, «как баба», расплакалась и ничего не сказала. Печальную и слабую сторону ее книги и составляет этот перерост в ней над всем женщины и матери и полное отсутствие мужа и наставника. Мы не говорим о сложном научении: но есть вещи простые и прямые, которые она не может не знать и должна была сказать! Но не говорит по отсутствию к этому волевого импульса. Дело в том и заключается, что она странствует по сектантам без «Бога» в голове; без «богословия» как *живого личного* исповедания: а это — нельзя. Пусть тогда она исследует каторжников, ссыльников, посещает больницы, нищету, уродов, прокаженных. Но в дела «веры» как входить без «веры»? Этого не понимают с нею гг. Пругавин, Бонч-Бруевич и проч.

Третье: Дуплий и не «заблудился» бы с солеными примочками на раны, будь *предупреждающие* в церкви, в православии законы, учреждения и громкий, ясный голос. Не распространяясь, укажу на следующее: в ветхозаветном богослужении (см. обширное исследование о нем священника Титова) был *физический экзамен* на принятие в священники: кто имел на теле язву, болячку, неправильность или уродство — *не принимался*. Таковое учреждение *самим делом* показывало, *всенародно* показывало, что «болезнь и рана» что-то «не совмещающееся» с близостью к Богу (священник *ближе* к Богу мирянина), а следовательно, растравление *самим человеком* ран своих — враждебно Богу. Тут не рассуждение, а *наглядность*. Вот таких «наглядностей», таких как бы «сторожевых загоронок» около *чистого* учения веры, к сожалению, в христианской церкви не выработалось. И не один Дуплий тут запутался, а г-жа Ясевич «разинула рот», — а и покрепче их, посильнее их умы.

И еще последнее: Дуплий — естественный *идеальный священник*; такой, какого ждет не дождетсЯ Русь, хочет и не получает церковь. Чтó же такое вышло, отчего колотят его? Попал не на свое место. Он родился в крестьянской среде, в рабочей среде, где его колотят, потому что он сюда не го-

дится, действительно не годится. «Колотьба» его здесь есть немое и неумелое «выбрасывание его вон» отсюда; и выбросить его отсюда следовало. Ну, что же: не пашет, не торгует, а подати за него плати, как «за душу». Осерчали, остервенились темные люди, слабые люди, глупые люди. Ведь и «выше» их никто ничего не понял, не поняла сущая, бюрократическая, *не народная* церковь, «бесприходная» церковь. В одно время с Дуплием у батюшки родился «сыночек», которому бы по задаткам души – торговать, работать, деньги добывать. И вот вышла путаница: в то время, как Дуплия тянут в работу, «батюшкина сынка» отдают в семинарию, где он от «божественного» отвращается; и затем «посвящают в священники», где он накидывается на «сумасшедшего» Дуплия и велит полиции взять его под стражу. Так все «разыгралось дело», похожее на сумасшедший дом: между тем *все-то люди* прездравомысленны и только поставлены один на место другого. Посмотрите-ка, что сделало бы зоркое католическое духовенство с Дуплием, что сделал бы с ним гениальный и находчивый Рим. Мне рассказывал, в Риме, один русский священник-иезуит: «Каждый католический священник имеет обязанность сообщать на имя папы о всем особенном и исключительном, что случилось бы в его пастве, напр. о совершившемся чуде, исцелении, о проявлении религиозной силы в человеке» и проч.; вообще – не о канцелярском случае. Вот нашим священникам этого не поручено «церковным управлением»: они именно приставлены только к «канцелярским случаям», к «канцелярским казусам», к «канцелярским порокам» и к «канцелярским добродетелям». И «пишут» много, – о, весьма много. Но никогда не напишут, не знают, куда написать, кому написать такую неофициальность: «В моем селе, в семье такой-то, растет мальчик (или девочка) высокого молитвенного настроения; было бы полезно взять его в духовное училище и дать *наше образование*».

Сюда именно примыкают строки г-жи Ясевич, которыми – очевидно правдиво, ибо случайно, – кончает она описание свидания с ним. Это – попутные строки, которыми кончает она затяжную речь.

«Весь разговор Дуплия носил характер обличительной проповеди. С самого раннего детства он увлекался духовными книгами, особенно *житиями святых*, и чем больше он вчитывался, тем ярче ему рисовалась картина приближения царства антихриста со всеми его предзнаменованиями. Антихрист должен был вместить в себе все зло, действующее ныне по частям. *Единственной заветной мечтой его сделалось спасение в этом похибающем мире*. Он стал посещать разные монастыри, Киево-Печерскую лавру, где подолгу беседовал с затворником Ионою, особенно чтимым шалопутами. Немало гонений пришлось ему перенести в своей жизни: власть преследовала, священник укорял, чтобы не уходил из дому искать путей ко спасению, а слушал бы отца, который пил горилку «да бил своего сына».

Образ этот, судьба эта, жизнь эта – почти стереотипны для истории нашего сектантства, для *всего* образа нашего сектантства. Всегда – это, всегда – одно! В беспредельно наивные и в этом отношении беспредельно

прекрасные московские времена князь, бояре, народ со страхом и слезами покаяния выслушивали такого «обличителя», такого проповедника: и никому не приходило на ум взять его за шиворот и выбросить за ограду людской жизни. Все сознавали, что жизнь наша действительно окаянна, смрадна, что «антихрист овладел миром». Но прошли эти времена нежной и чуткой совести. Прошли века, когда строили храмы «Василиям Блаженным». Настали души грубые, деревянные. Укоры – суть «обличение властей»; укоры от простого человека, а не от «№ человека, на то поставленного» – беспорядок, «шалопутство». Все окаменело; вся цивилизация окаменела, отвердилась, «развилась до последнего»; люди разместились «по номерам», каждый стал «на свое место», в «свою должность». Есть и должность «пророка» или обличителя: протоиерей главного собора в губернии; есть и «обличаемые»: синклит в мундирах, выходящий на молебны в царские дни. Все – есть. Все – по порядку. Куда же тут деваться Дуплию?..

Ах, если бы у нас был гений, *умеющий распорядиться русскими силами*. Первая страна в мире была бы Россия. Теперь она едва не последняя.

II

И все-таки *единство* выше всего; пробежав сотни страниц об этом сектантстве, все-таки скажешь: «Не надо *его*, не надо вообще *сект*! Тем более не надо, чем грубее, жёсточе среда, от которой они отсекаются, уединяются, уходят. Нужно терпение, *на все и всегда* нужно терпение. Что же останется в мире, в Руси, если эти золотые частицы откатятся в сторону, укатятся в землю, пропадут: останется песок и глина, пустые, бесценные, которые уже окончательно пропадут, тогда как «пропадать Руси» нельзя и несвоевременно. При всех слезах и горе все-таки надо блюсти единство и целостность страны и ее духа: и работать своим «золотом» не для спасения *личной души*, а всего мира, по слову: «Кто душу свою *потеряет для другого* – сохранит ее, а кто *сохранит ее для себя* – тот ее потеряет». Нужно не думать о себе, вообще не думать. Сказать: «Прощай, душа» – и работать без *оглядки на себя и личную судьбу свою* – на других, на народ, на всю землю. А величайшая ценность земли – единство, целостность. Что вышло из Дуплия, кроме могилы, которая через век забудется? А жизнь такого человека, посвящаемая *единой церкви*, непрерывной на протяжении тысячелетия, составила бы золотую страницу в ней, которая налилась бы смыслом потому именно, что она есть страница в *книге*, а не отдельный листок, летающий по воздуху.

В церкви нужно различать «времена наши» и «времена вечные». «Наши времена», увы, часто бывают так печальны, – так рвет сердце и рвет разум действительность, – что не было бы никакого колебания «отрясти прах от ног» и проч. Но, уже готовые сделать это, мы должны оглянуться на «времена вечные»: и тогда все покажется нам в другом свете. *Нигде в мире еще не найти таких ценностей, какие есть в церкви*. Вот и все. Не буду касаться великих вещей, а укажу на *мелочь*, но как на личное впечатление. Эту

зиму шли споры о церковно-приходской школе или министерской, в смысле единства «владения и авторитета», и ораторы Г. Думы высказывались за министерство против церкви, т. е. за передачу церковно-приходских школ в ведение министерства. Вопрос стоял и у меня в голове. И вот, не помню, в первый день Рождества или в Новый год, стою я в церкви; и, по интеллигентной рассеянности, то слушаю, то не слушаю, то смотрю, то не смотрю. Вдруг в ухе моем раздалось слово «Вавилон». Поднимаю глаза: в стихаре псаломщик или семинарист читает по книге перед открытым алтарем. Он — *на службе и служебно читает*, а не то чтобы «так разговаривали друзья». Он *должен* прочесть, он *не может* не прочесть. Слушаю... И еще раз, и еще опять повторилось имя «Вавилон». Я до того был поражен! Моментально вопрос «кому учить», священнику или министерскому чиновнику, решился в сторону священника, который есть «больше» не только чиновника, но и министерства самого, больше «меня», больше «литературы», хотя бы он был косноязычен, неумен и порочен; оттого, что, во-первых, и *мы все можем быть таковы же*, т. е. неумны и порочны, но, во-вторых и главное, потому что *у нас ни у кого нет и никогда не может быть* непрерывной связи, и связи деловой, *вот служебной*, с Вавилоном, от коего ничего решительно не сохранилось, даже холмика... А ведь когда-то весь мир был пуст, земля не заселена, дика и безобразна, и он тогда светил один в подсолнечной, светил уединенною и прекрасной звездой... Вавилон, «сабеизм», «поклонение звездам», первый календарь, первая мера, первая нумерация, первые лодочки по Евфрату, в которых сидят удивленные миром полуагние люди-мудрецы: и вдруг имя его читается *в церкви, в 1912 году, в Петербурге!!..*

Можно вздрогнуть. По крайней мере я ощутил это как какое-то чудо... В моих глазах или ухе прошло чудо истории; взглянув на *золотые ризы* священников, я подумал: «Их и *стоит* одеть в золото, ибо они *одни* не забыли Вавилона и чтут имя его в священных книгах, чтут на богослужении, перед народом, громко, твердо, смело... как бы Парижа и не существовало, «мод» не появлялось, политика не смеет волноваться. И думалось: конечно, священники *при всех личных бедственных качествах* суть единственные просвещенные люди времени, единственно они охраняют всемирную культуру, единственно они несут представление целостности человеческого рода: что все совершенно забыто нами всеми, нашими всяческими учреждениями, учителями, профессорами, литераторами, — всеми, всеми! Везде «Вавилон» — побрякушка, присказка. Вдруг тут в единственном месте — *дело!* Ибо — служба, ибо — литургия! Только здесь, в церкви, единственно *на этой точке* восстанавливается вся целостность золотой позолоты истории, от Вавилона, через Иерусалим, через Грецию, через Рим... до нас, до Парижа и Петербурга, и мы понимаем, *кто мы и откуда*, как *малы* сами и почему *живем*, что нас *питает*. Вышел из церкви на улицу, вошел в театр, министерство, пошел домой: нигде «культуры» уже нет, всюду — «сейчас», суэта и пустяки, сор и грязь: целой позолоты нигде нет, а есть только обвалившаяся штукатурка.

Как же можно спрашивать: «Кому учить»?

Другое размышление: да, вот церковь одна удержала «золотые ризы». К чему бы, когда столько бедных, когда везде пауперизм? Да и сам храм убирается золотом и драгоценными камнями: тогда как этого нельзя представить себе ни в какой зале, ни в каком дворце. Сперва осуждаем (и я много лет осуждал), но потом задумываемся. Да не дивно ли и не *спасительно* ли, что, когда всюду «пошел пиджак» и сам король Эдуард VII «одевался как все», — когда все сравнялось, уравнилось, когда «гор» нигде нет, а везде «лощинка» с водицей, когда *из самого существа мира* исчезло всякое существо «водопада», «снежной вершины» и «грозы», все-таки в одном месте сохранились необыкновенные люди и необыкновенные учреждения, необыкновенная традиция, что человек выходит перед народом «с головы до ног в золоте и виссоне», и на голове его шапка с горящими драгоценными камнями, и ему кадят благовонными куреньями... «Кумир»... Но, позвольте, «кумиру» где-нибудь должно быть. *Запрещали* его, — и он *появлялся*. Какая-то мировая необходимость в «кумире», какая-то всечеловеческая потребность. Размышляю дальше и дивлюсь великим удивлением: да это суть люди, суть старцы и действительно мудрецы, которые тысячу лет без колебания говорят, *и не смеют поколебаться в этом, это им запрещено*, — что душа бессмертна, что есть загробный мир, что ни один грех не останется без наказания и никакое добро без награды, что живые должны молиться за умерших, что за живых их предки молятся перед Престолом Божиим...

То ведь это, господа, какой-то «пифагорейский союз» мудрецов; нет, — куда, больше!

И посреди храма лежит на престоле «Евангелие Господа нашего Иисуса Христа»... Лежит это чудо и удивление, власть и загадка. *Одна* только церковь положила его *на престол*, у нас всех — «на полочках». И тоже одела Евангелие в золото и камни...

Тó, господа, подумайте: не есть ли это стержень, около которого все вертится, и камень, на котором все утверждается, — наша «церковь», которую мы так «критикуем» и критикуют ее сектанты, — *лично очень праведные мужики*.

Да, «лично»... И *лицо* — пройдет! Увы, оно смертно, вот в чем горе. А церковь бессмертна. Чтó вы мне говорите, что «все патриции плохи»: есть *патрициат*, и я его чтó и храню, насколько люблю Рим и желаю *жизни* ему, *будущности* ему. Вот и все.

Многие из священников, может быть, и в Бога не веруют, пьют и не знают никакой правды. Такой священник умрет, и на его месте станет тот, кому сказано *вечное*: «Не пей! Твори правду! Веруй в Бога и бессмертие души!»

Есть — *вечное*.

А в сектах — есть только *личное*.

Церковь — *непрерывно* от «Вавилона»: а шелапуты только «от Степана».

В церкви то и важно, что все поколение *данных* священников вымрет, и если они были незаконники – то против учения, долга и вот именно против сущего для них *закона*; и со смертью их, вот этого *данного* поколения, весь грех их умрет, бессильный, ничтожный, а *правда вся останется на вечные времена*, не задетая ничуть этим поколением священников, ничуть не поколебленная. И к ней придут, и от нее изопьют внуки «шелапуты Степана». Вот в чем дело... Что есть «лицо священников», и оно может быть ужасно, и еще более чем для людей – ужасно для *самой церкви*; и есть *Лицо Церкви*, совершенно другое, не человеческое, громадное, от «Вавилона» до «теперь», несущее неизменно одну истину, одно предание, один дух, одну память, единое «все»...

И разодрать это «единое *все*» ради какой бы то ни было личной правды, личного страдания – невозможно: как невозможно и было бы *неправдою* поставить *себя* выше Вселенной. «Моя правда» и есть только «моя правда», а «мое страдание» кончится с моею жизнью: скажу ли я – «после меня хоть потоп»? Секты и всякий сектант, самый правдивейший, это и говорят, безмолвно, невольно, не осознав себя. Поистине, если бы до глубины каждый сектант понимал себя, – он никогда не стал бы сектантом. Он то же самое бы все говорил, и *вправе говорить*, так же бы обличал себя и мир, говорил бы, что «все и все предалось антихристу» (ведь это те самые обличения и почти те самые слова, какие говорили библейские пророки с *чувством своей правоты*), наконец, излагал бы мысли свои и «открытия» с требованием обсудить их и пополнить ими сокровищницу церкви, но никогда не сказал бы последнего и самого горького: «*Ухожу от церкви*» и «*остаюсь один*»... Вот это ужасно: «один» и «ухожу». Это – человекоубийство и поистине ересь, ибо Бог извел человечество из *единого человека*, и весь род человеческий *един* и до скончания мира должен остаться *един*. Единство – выше истины, выше правды, выше страдания; ибо единство есть *любовь доказанная*, а без единства есть только слово о «любви», которое как медь прозвучит и умолкнет.

* * *

По всем изложенным основаниям можно сказать, что секты, как бы ни были они *ярки и правдивы в момент вспышки своей*, никогда церкви не одолеют по гораздо большей бедноте своего содержания («личный» дух вместо «мирового»), – и приведут своих последователей очень скоро к *бедности души и бедности жизни*. Ну, что такое «никониане», «официальная церковь» и обер-прокуроры: однако Пушкин родился в ней, а не родился ни у «беспоповцев», ни у «поповцев». Почему-то так не вышло с Пушкиным, – не вышло и с Жуковским, и с Карамзиным. А там все были люди такой правды, как Дуплий, Малёванный, Сютаев; у нас же все такая «неправда», как Протасов, Победоносцев да официально-торжественный митрополит Филарет. Но Пушкин – тоже «правда». Почему-то этот грибок родился в нашем лесу, а не в ихнем; если кто-нибудь скажет, что это «случайность», то ведь никто не

поверит этому в виду «и Жуковского, и Кольцова, и Ломоносова, и Карамзина, и Лермонтова». У всех названных лиц есть *религиозные* мотивы, религиозные строфы, религиозные страницы, но не в «духе Выговской пустыни», а вот грешных «Протасова и Победоносцева». Отчего, что за тайна?! Ведь там «такая правда». Да! – но «правда» проселочной дороги, мелкого заливчика, узенького проливчика, по которому вообще не идут большие корабли, и даже там плавать они не могут. Дело в том, что Гоголя, Пушкина и Карамзина Выговская пустынь, Рогожское и Преображенское кладбища, с их благотворительными «сиротскими домами», *задушили бы в детстве*; и ни в каком случае их не допустили бы до *полного и свободного* развития, до *самостоятельного* развития. «Церковь» и «Православие» – именно *море* по шири и по открываемой каждому свободе. Церковь есть христианство без «нарочно» и без «непременно и во всяком случае». Вот ее определение, – самое общее и лучшее, в отличие от сект, которые все зиждутся на «нарочно». Самые в ней злоупотребления, пороки, злость, грубость есть результат этой «шири»: что слишком много там «дозволено» и заранее «прощено»; «прощены» нетрезвый поп, мздоимный поп, нерадивый чиновник, пьяница-мужик-гражданин. Ну, а «нужно ли так много прощения» – об этом можно долго спорить, и не сектантам этот вопрос решать. «Прощения» вообще нужно много, – между прочим, для того, чтобы «цивилизация родилась», чтобы были, около торжественного и важного, «стишки» и «анекдот». Не могут люди прожить «без благодати», но и «без анекдота» – тоже не могут... Так все это и связалось с «Вавилоном», где тоже были «анекдоты», Семирамида и проч. Ширь *беспредельная* церкви все это включает, все это «прощает», все это и «забывает» и «не забывает», имея ко всему удивительную *меру* отношения, которой вот никогда не найдут секты, пылающие, узкие, нетерпимые, пожигающие все огнем ревности, – от своей *человечности*, а не *божественности*. «Все под Богом», и я, и читатель, и митрополит Филарет, и Семирамида. И она – «не от лукавого», по той причине, напр., что в Ниневии царь, при угрозе от Бога через Иону, «наложил пост на весь город, людей и даже животных». «Постящиеся животные!!» Да, – и потому поминаются в нашей церкви! Церковь охватывает весь мир, – и ничего в нем не отсекает жестким сечением (ошибки духовенства и «наших времен» не в счет), а все – обдумывает, о всем молится, все размещает по ярусам правды, святости, слабости, греха, очень большого греха, но никогда не до *убийства, истребления*. Каин – и тот не был истреблен; сатана – и он не истреблен: а «Бог все мог бы». И вот зацвели поэзия, науки, философия; жизнь вольно раскинулась, с анекдотами и побасенками. Поются песни, есть театр. «Все» есть: благодаря тому, что есть «Церковь» от дней Вавилона до «нас», с памятью Вавилона и с заботою о нас; есть она как «царский путь» и «царские врата», через которые должен проходить весь мир, если не хочет застрять в щели какого-нибудь «Степана», «Малёванного», каких-нибудь бедных «баптистов», «прыгунов» или «шелапутов», каких-нибудь «штундистов» и даже «лютеран»... Все это *человеческие общины*; прекрасные, добродетельные. Но это – не Церковь.

И чем «наше время» беднее; чем хуже наше духовенство; чем официальнее обер-прокуроры; и «прихода нет», «собора нет»; — ничего вообще нет, ничего отрадного, святого, — тем *именно в эти тяжкие времена* будем вернее Церкви, любящее к ней... Ибо в «светлые»-то «времена» к ней все придут: но тот только есть верный человек, тот один есть друг и сын, кто не отходит от одра и рубища родного, а не кто стоит при «родном», когда оно в славе и богатстве.

Чем *порочнее* «наши времена», тем пламеннее привяжемся к несчастному и дорогомому существу, которое бьется и засыхает в «наших временах».

К ИЗДАНИЮ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ К. ЛЕОНТЬЕВА

Ну, слава Богу, началось выходом 12-томное издание *полного* «Собрания сочинений Константина Леонтьева», стоимостью 21 руб., — у Саблина в Москве. Пока вышли второй и третий томы, повести и рассказы из турецкой жизни. О них когда-то И. С. Аксаков, в общем враждебный Леонтьеву, сказал: «Прочтя их, не надо и ехать в Турцию», а Л. Н. Толстой, вкус которого так отвращался от всего грубого и несовершенного в литературе, выразился: «Повести Леонтьева из восточной жизни — прелесть. Я редко что читал с таким удовольствием». Действительно, ими зачитываешься: они открывают вовсе новый мир и нарисованы со всем великолепием *старой* русской натуральной школы, школы Гончарова, Тургенева и Толстого; со всею *жизненностью* красок этой школы и точностью глаза натуралиста-художника, от которого не ускользнут малейшие подробности. Но повести Леонтьева заслуживают отдельной статьи; пока же скажем о всем плане издания. Первые четыре тома будут заключать повести из русской жизни (первый том) и из жизни восточной. Томы пятый, шестой и седьмой будут включать его «политику и историю». Том восьмой — критические его статьи. Том девятый — воспоминания; томы десятый, одиннадцатый и двенадцатый — его письма. Все в общем образует массу чтения самого живого, интересного, волнующего, часто раздражающего и мучающего читателя, но где он не услышит ни одной *фальшивой* страницы, притворного звука, деланной позы. Леонтьев везде является *сам собою*, в полный рост, без *сгибания* в какую-либо сторону, — без лести времени, людям, социальным группам, страстям и «грехам» дня. Это самое чистое сердце в литературе, с которым по внутренней свободе стоит на одном уровне только Достоевский. За эту-то *свободу*, за эту *неподкупность правды* его и казнило в свое время общество, — «барин» самоуправный, велящий писателям писать то, что «его сапог хочет». В ответ на таковое «хотенье» барина Леонтьев хлыстнул его хлыстом по спине, от какового «барин» вздрогнул, окрысился и проклял автора. Вот вся его судьба в «истории литературы». Теперь время прошло, «барин» в гробу; наше, *именно* наше, поколение почему-то жадно тянется к Леонтьеву: сужу по множе-

ству устных бесед, какие мне привелось вести о Леонтьеве за последние годы. Именно самые молодые, самые юные являются в «сердечном сочувствии» с ним или, по крайней мере, в глубоком сердечном и умственном понимании. Всего месяца два, как появилась «Осужденный мир. Философия человекоборческой природы» г. Фед. Кулярского, писателя юного и вместе вполне зрелого. Здесь на страницах 138–173 дана лучшая в русской литературе оценка Леонтьева (глава: «К. Леонтьев и Фр. Ницше как предатели человека»), причем автор настолько смел, что *по железной твердости натуры* ставит Леонтьева впереди Ницше, который был в сущности литератором-фантазером, а не человеком действия и *требования*. Леонтьев же был гораздо более «натурой», «характером», которому лишь побочно случилось стать в то же время «и писателем». Перо – это *все* в Ницше; перо и чернильница. Да, гениальны. Но человечеству нечего было особенно «трястись» от этой чернильницы с воткнутым в нее пером: они легко прикрывались подушкой, полой полицейского или турнюром женщины. Но Леонтьева решительно ничем «прикрыть бы не удалось...». Кулярский верно отмечает в Леонтьеве больше, нежели в Ницше, цельности, *упорства*, фанатизма. Писания – второстепенное в нем; первое – могущественное *хотение*. Самый блеск писаний – *невольное* последствие этого хотения, с его «раскаленностью» (определение Кулярского). Ницше – факт литературы; Леонтьев – факт истории. Остроумно замечает Кулярский, что «Ницше слушали и слушают довольно спокойно»; что современный человек, «видавший виды», достаточно «снисходителен» для того, чтобы выслушивать «софизмы» и «парадоксы» писателя, «вся жизнь которого так *похожа* на их собственную жизнь». Если нельзя сказать, что Ницше был буржуа, вздумавший побунтовать у себя в светелке, то дело где-то очень близко проходит около этой «параллели». Ну, а *монах* Леонтьев, уже в самом монашестве запечатлевший силу своего «хочу», – совсем другое дело. «Два гения, – говорит в заключение г. Кулярский, – одного и того же уровня избрали разные пути, но надо надеяться, что в будущем эти пути сойдутся и имя Леонтьева будет всегда стоять рядом с именем Ницше. И тот и другой влюблены в нечеловеческую, ужасную красоту; и тот и другой присоединили свои творческие силы к усилиям человекоборческой природы; и тот и другой с тоской и мучительной мечтой ушли в иной, *свой*, нечеловеческий мир»... Мы не присоединяемся к этой оценке, уже по ее молодому тону, да и вообще: не приводим ее для того, чтобы показать, как переменялся теперь тон речей о Леонтьеве в молодом поколении писателей.

Несомненно, «Собрание сочинений Леонтьева» украсит теперь все общественные и сколько-нибудь значительные частные библиотеки. Может быть, он еще не «пойдет по рукам»: столько колючего шиповника он сам насажал себе на одежду, что многим покажется жутко дотрагиваться. Вообще – это писатель не для салонов и гостиных, куда (замечательно!) так легко вошел Ницше. Он безотчетно и безошибочно обеспечил себя от «захватывания» и «беглой популярности». Но *все серьезное в России* – приобре-

тет его; и он впервые теперь, вот этот год, становится на ту высоту, где стоят Достоевский, Толстой, Влад. Соловьев, как равный среди равных. Год назад я говорил, что «новый писатель – *есть*, только не *прочитан*: это – *Леонтьев*». Сборник в память его, изданный год же назад, очевидно, возымел свое действие. Зашевелились приспособления, зашевелились механизмы, без которых теперь, увы, никакая «психея» не может жить, летать, дышать. Это – книготорговля, печать, магазины, библиотека, «Рубакин». «Если Рубакин не за тебя, – умрешь, добрый Вильям», – приходится сказать Шекспиру. И приходится всякому «Шекспиру» поклониться «Рубакину». Что делать – времена. Но вот «Рубакин» сломлен, уговорен, «смилоствивился». Нет больше механических препятствий; «равнодушная природа» умилоствилена двадцатилетней жертвой... Столько именно лет после смерти ждали его творения издания.

Теперь входите и читайте все, – Леонтьев *открыт*.

К ЗАПРОСУ В СВ. СИНОДЕ ПРЕОСВЯЩЕННОГО НАЗАРИЯ

Хлопоты сверх меры, долга и нужды вообще называются «суею», «суеуливостью»; но Экклезиаст дает им более выразительное церковное определение – «суета и томление духа». Они и вообще «ни к чему», но особенно несносны и, так сказать, лицемерны, когда становятся на место *дела*, нетерпеливо *нужного*, страстно желаемого и, наконец, требуемого *страною, народом*.

– Дай *хлеба*!

– Нет, *зачем* хлеб: это слишком просто и прямо: вот вам ложечка и блюдо компота из абрикосов, груш, сахара и сладкой водицы.

– На меня напали хулиганы на улице, оскорбили меня и мою дочь. Примите меры, очистите улицу.

– Ну, не заниматься же такой дикостью. Так мы уподобимся полиции. Меры уже приняты: устроен дамский комитет, комитет устроил фребелевский сад, и бедные с вашей улицы будут отдавать туда своих детей. Пройдя фребелевские курсы, они перестанут быть хулиганами.

* * *

Приблизительно в 1902 г. К. П. Победоносцев поручил состоявшему при нем, по миссионерским делам, В. М. Скворцову одно дело вне прямой его службы. Взбунтовались семинаристы в одной епархии; ректор написал – «революция», архиерей – «революция». С простотой и здравомыслием, ему свойственным, Победоносцев послал *третьего и незаинтересованного* человека: «Поезжайте, посмотрите, какая там революция, откуда (приблизительно, в Рязани) быть революции, когда ни в Петербурге, ни в Париже ее нет». В. М. Скворцов и рассказывал: «Сгноили семинаристов в грязи. Одной сал-

феткой утиралось шесть человек (в общежитии), а ректор (монах, по правилу) за десять лет ни разу не спустился в столовую. Эконом крал и кормил учеников отбросами».

Победоносцев сместил ректора, — человека, однако, в высшей степени богослужебного, правильного, благочестиво настроенного. Сковорцов все качал головой и жалел ректора. Да: но он был чрезвычайно *созерцателен*, «не от мира сего», истый монах по призванию. И в реальное течение шумной жизни учеников не вмешивался по крайнему вообще нерасположению к шуму и жизни. «Едят плохо? Но монах почти ведь ничего не ест». Собственно, о *пище* монах вообще никогда не должен и не будет заботиться. Так естественно.

И «естественно» его уволили. Сколько помнится, Победоносцев хотел сместить и архиерея, «потому что он не должен был забыть семинарию». По сердцу, конечно, так: но по закону? Семинария — у ректора-монаха, у архиерея — управление епархией, консистория. Разделение обязанностей: зачем же ему было путаться?

Архиерея, кажется, оставили в покое.

* * *

Еще пример: минувшим летом один архипастырь в Синоде очень ревностно и очень настойчиво говорил, что вот надо «окончательно отлучить от церкви такого-то писателя». И вопрос был в колебании дней десять. Влад. Карл. Саблер разрешил вопрос, сказав:

— Что мы будем заниматься *чужими делами*. У нас семинаристы в *классе режут наставников* («вопрос» был поставлен вскоре после такого случая в одном из приволжских городов). Что с *этим* вот *делать*? Как *найтись*? Как *поступать*? А мы будем заниматься вопросами, какие книги печатаются светскими лицами по философии и беллетристике».

И вопрос был закрыт, т. е. он закрылся сам собою, как неуместный и пустой.

* * *

И, наконец, в-третьих: только что вот «сократилось вдвое» духовенство петербургское в отношении треб. Священникам домовых церквей, приютских, в учебных заведениях и т. д. — церквей все открытых, посещаемых, людных — запретили «требоисполнение», дабы доход от последнего, «не осыпаясь по сторонам», поступал целостью в глубокие карманы избранных (приходское духовенство). Об этом писалось, хлопотали. Сделано было разъяснение, что это ничуть не во исполнение «Устава духовных консисторий», по которому, согласно синодальному разъяснению, под «домовыми церквами» разумеются лишь *личные, фамильные церкви* при частных домах «особо уважаемых лиц».

И ни один архиерей против этого не протестовал. Ни один канонист. Никто вообще не «обеспокоился». А ведь смута, волнение, негодование пошли по всему городу, всей столице.

Не беспокоился и полтавский владыка, преосвященный Назарий.

Вдруг он забеспокоился, и даже обеспокоил Синод «возбуждением вопроса»: не следует ли священническим женам, разведенным с мужьями-пастырями, запретить и по истечении эпитимии вступать в брак.

Да много ли их? На всю Россию?

Две-три таких «разведенных матушек». Ведь это – редчайший случай, почти небываемый. Неужели у духовного ведомства нет *более сложных, трудных и безотлагательных* нужд, как заботиться о дальнейшей судьбе этих трех-четырех бывших матушек, которые *теперь* никакого отношения к духовному ведомству не имеют, понеже перестали быть священническими женами? Если у духовного ведомства нет *других* нужд, забот, хлопот, то поистине это счастливейшее ведомство?!

Еп. Назарий ссылается, что «есть канон». Но есть «канон» и о том, что 1) христианину нельзя мыться в одной бане с евреем, а между тем евреи допускаются во все христианские бани; и есть каноническое запрещение 2) лечиться у еврея-врача. Но с евреев-врачей, при выдаче медицинского диплома, не берется подписки не лечить христиан. Да и вообще о «канонах» (в противоположность догматам, т. е. *вероучению*) давно разъяснено, что *половина* их не исполняется, изъяснил первый авторитет по церковным древностям, покойный В. В. Болотов, «строго каноничным будет все, что оправдывается нуждою времени и пользою христиан», – и наоборот. «Канон» есть «правило поведения» христианина и христианской общины, даваемое для «пользы» и естественно теряющее силу, как только очевидно начинает вытекать отсюда не «польза», а «вред», – по изменившимся условиям и обстановке жизни и цивилизации.

Итак, две-три бывшие священнические «жены», разведенные с мужьями, конечно, *по правилу* о разводе, единственно существующему, – *уличенности* со свидетелями в прелюбодеянии. Да слава Богу, если они выйдут замуж: ибо в таком состоянии уже муж каждой будет стеречь ее от *дальнейшего прелюбодеяния*. Его интерес, его честь, его польза. Каждый муж есть бесплатный и не нанятый сторож целомудрия той женщины, которую он назвал своей «женой». Что же епископ Назарий старается прогнать этих сторожей и оставить женщин, склонность которых к соблазну уже доказана (процедура развода), явно блудить?! В первый раз за историю церкви, вероятно, выпал случай, что епископ церкви, имеющий естественную заботу думать о нравственности вверенной ему епархии, высказывался не за «пристраивание в семью» свободной женщины с доказанной склонностью к «греху», а на полное гулянье в «грехе» на оставшиеся ей 20–30 лет жизни. Ведь это «море зла», потому что она может каждый день «падать», и получится $300 \times 20 = 6000$ «грехов». *Шесть тысяч* грехов: а когда у нее будет муж, ревнивый, оберегающий свою честь, – то *ни одного! Ни одного* греха, и – *шесть тысяч!!* И владыка, пусть невинно, по неведению, по непредусмотрительности, становится на сторону *шести тысяч грехов?!!* Адское состояние. И все, чтобы не нарушился «канон», который не пришел в голову

никому, ни Синоду, ни Влад. Карл. Саблеру, — да и из сотен архиереев не пришел на память никому, кроме еп. Назария! Есть маленькое подозрение, что владыка из Полтавы имел суетное намерение показаться так ученым, как нет даже в Петербурге.

Да, а главное — комар. 2–3 женщины в России, на 140 миллионов населения! Никто не заметит, никто не видит, никому не интересно. Даже смешно: «выйдут замуж Катерина Семеновна и Елизавета Ивановна — или не выйдут?» Бог с ними, «выйдут» или «не выйдут». Никому никакого дела. Вот что духовенство, напр. в орловской епархии, почти сплошь попивает (слышал об этом чудовищные рассказы, и с ужасом мне рассказанные), — до этого *всей России есть «дело», Синоду — забота, правительству — забота, народному просвещению — забота*. Но, видите ли, *ни один* преосвященный епархиальный не возбудил в Синоде вопроса: «Что мне делать с нетрезвостью духовенства? Нет ли *общих средств*, всероссийских? Нельзя ли Синоду заняться и выработать *меры* более строгие на этот предмет?»

Ни одного ходатайства, ни одного запроса в Синод, — как бы нетрезвост духовенства и не бывало во всей России. Удивительно, вся Россия видит, один Синод не видит; вся Россия плачет, один Синод не плачет и даже улыбается счастливому положению дел: «Все до того благополучно, что никаких дел нет, кроме как изловить двух женок и не дать им вступить в брак». Просто как бы и не было «грехопадения Адама»...

* * *

«Суета и томление духа», — говорит Экклезиаст. Хотелось бы, чтобы вообще в духовном ведомстве оставили этот «метод», — отбирание щечек, заботу о соломинке, говор о пустяках... Чтобы большим умом подумали о больших делах. Их так много. *Их видит вся Россия*, кроме духовных.

ВОЗДУХА И СВЕТА...

(К вопросу церковного преобразования)

Уже тот проект преобразования церковного управления, который накидан еп. Сергием, обещает нечто лучшее русской церкви, нежели что есть теперь. Едва пробежишь глазом, видишь, что это — что-то более величественное, широкое, свободное. Все власти лучше поставлены в отношении друг друга, независимее и уважительнее. Ах, как нужно Церкви уважение, *само-уважение*... Поглядишь: все в ризах, в золоте, серебре, парче... Но вот она снята: какие маленькие человечки, и как они боятся друг друга, боятся и ненавидят, боятся и завидуют. Вы думаете, самое страшное событие за полвека — землетрясение в Мессине? Нет, самое страшное было событие, когда Владимир Карлович не приехал на завтрак, хотя обещал, к владыке тверскому,

Савве: он в своих «Записках» (в «Богосл. Вестн.») так и пишет. Померк свет в глазах архипастыря. Не преступления, не тюрьмы, не потеря веры в народе его тревожат: а «откушает ли у него «Владимир 1-й степени» (телеграмма Илиодора). Скажите, если они *сами* так боятся, кто же поможет их свободе? – «Слава Богу, – Василий Михайлович (Скворцов) был», – сказал «большой владыка», когда неожиданно вошел (к вечернему чаю) Победоносцев, который весело и мило проговорил тут же за чаем с полчаса с 5–6 литераторами. Победоносцев и не хотел пугать: а уж «владыка» испугался. И если бы вы знали, как они милы все в этом нелепом страхе, страшном, удивительном, преувеличенном, конечно совершенно бесосновательном. Что же Победоносцев стал бы «живыми есть живых людей»? Но им всем чудится шпионство, подглядыванье, подслушиванье, донос, наговоры... Какая-то детская сказка, состоящая из невероятной чепухи. Так же трепещут священники архиереев. Как-то я «сам-друг» поехал в час дня к милому и талантливому, ныне «на покое», епископу Антонину: не сообразил, что в 2 часа дня «владыки» обедают и затем, конечно, «почивают». Приезжаю полчаса второго, предобеденное время: и у него сидят в «предвкушении» еще два архиерея и один архимандрит. Я больше молчал, – а они продолжали разговор, рассказывали, недоумевали; «вопрошали» о затруднительных случаях. Так прошло с час. Когда мы поехали домой, то «друг с другом» в один голос заговорили...

До чего они все (четверо) милы, прекрасны, чуть-чуть наивны, и даже много наивны, и главное – правдивы и благородны, не «злопыхательны». Еп. Антонин рассказывал, как с ним злоупотребляли при посещении нарвской епархии, а еп. Иннокентий указывал, как ему следовало выходить из затруднений. Это был прелестный сюжет для самого прелестного рассказа Тургенева или Лескова. Еп. Антонина я «совсем знал»: сколько ума, остроумия, таланта; какой дар речи и глубокомыслия. А «натуры» – на Илью Муромца хватит: «вашему преосвященству быть на месте Пересвета и Ослаби» (в Куликовской битве). Но вот этот же еп. Антонин вышел перед сонм священников: у тех начинают «ноги трястись». Уверен, что все это какая-то «русская чепуха», не имеющая никаких оснований *в душе* и никаких оснований *теперь*, а сложившаяся исключительно на почве мрачных традиций, мрачных воспоминаний и таких «порядков», тоже *исстари поведшихся*, где все люди были, как колодники, «прикованы ногой друг к другу»: и все – рабы, и каждый – ненавидит соседа, ибо к нему «прикован», без всякой, однако, *душевной вины* этого соседа...

Помню дальновидное слово, выраженное лет 7 назад на мое такое недоумение:

– Да они прекрасны... *с вами*, потому что вы от них *независимы*. Но священник...

Тут, вероятно, и объяснение, почему Саблер не поехал завтракать к Савве: не *чтобы его обидеть*, а потому, что был в тот же час позван обедать к людям независимым, к предводителю дворянства или богатой «благотво-

рительнице-помещице». Савва же был «хорошо отмечен по службе»: но как был *зависим* – то какой же с ним разговор, общество и беседа? Он будет все кланяться и улыбаться. Это скучно и для Саблера.

Зависимость, тягостная для подчиненного, еще тягостнее для подчиняющего. Там – страх, но здесь – безмерная скука, форма и обездушенность; глубокое *одиночество* того, от кого зависимы и кого боятся. Тюремщик так же одинок, как и узник. И не менее несчастен, чем он.

Так кроме таких «линий» и «фронтов», как линия войск, где естествен-но царит «команда»; таких организаций, как фабрика, где все живет «по свистку» – и не должно быть вообще испуганных зависимостей, а *уважаемые авторитеты*, все уважаемые и *всеми* уважаемые, которые говорят, уравнивают мнения, судятся не «начальством», а *равными*, в порядке действительно судебном, а не начальнического усмотрения; и, наконец, «управляются» системой порядков и авторитетов, где все контролируются всеми, но контролируются глазом и умом, а не окриком и расправой. Священник может быть *абсолютно независим от епископа*, насколько он прав; а едва потерял правоту – становится зависим не только от епископа, но и от *своего прихожанина*. Вот дело! Если бы Савва мог опротестовать циркуляр обер-прокурора перед сонмом епископа, у него бы и не тряслись ноги перед Влад. Карловичем: а он *тогда уж наверное* поехал бы к нему завтракать. Ибо Савва вдруг вырос бы для него в интереснейшего человека, в интересный ум, интересный характер, в интересного и великого деятеля! Церковь и должна быть организована так, чтобы из нее вовсе исчез *страх человеческий*: дабы открыть место страху Божию, которому теперь в ней не находится никакого места! Да, уж где «Бога не боятся» – так особенно здесь... В консисториях, в канцеляриях... «Даже и на ум не приходит».

Но мы все «проектируем» и ничего не делаем. Созыв церковного собора есть условие для всеобщей «вентиляции» церковных порядков или, вернее сказать, беспорядка; «продует пыль» вековых старых стен... *С момента же созыва* почувствуется та чистота и свежесть воздуха, в недостатке которых все дело. Перестанут все задыхаться в страхе, в подозрительности, в подглядыванье, подслушиванье, клевете и злословии: тех «семи смертных грехах», которые ей-ей и составляли всю нашу официальную церковную историю за два последних века. «Событий» не было, а были только «сплетни». И души *хорошие* были: но они умерли в сплетне. Все задавила пыль, сор. Правда и святость и жила только в «хибарочках» старцев: где их никто не контролировал, не учил, за ними не подсматривал. И вольною душою они сотворили и подвиг Серафима Саровского, и мудрость Амвросия Оптинского.

Души в церкви много: но она *подавлена*. А сколько готовности понести подвига и жертв для церкви, для православного люда – об этом удивительно иногда послушать.

С большим извинением за несвоевременность, позволяем себе обратить внимание читателей, а в сущности, сами нуждаемся в том, чтобы поблагодарить авторов – за две ценные философские работы, появившиеся этой зимой в «Вопросах Философии и Психологии»: «Очерк теоретической философии Г. С. Сковороды» одного из лучших наших новейших славянофилов, г. Эрна, – и «Натурфилософия Аристотеля и ее значение в настоящее время» В. Карпова. Не удивляйтесь, читатель, русские философы и псевдофилософы жадно набрасываются на *новинки* германской, английской и французской философии, – на то, что «шумит сейчас», и совершенным пренебрежением обходят то, что сотворила в области философии античная мысль. У нас нет, при восьми университетах и уже вековом преподавании в них философии, ни одного «Очерка греческой философии», написанного русским профессором. Ни одной книжки «О Платоне», ни одной книжки «Об Аристотеле». Творения Аристотеля, бывшие века «евангелием мысли» в Европе, как, например, его «Органон», «Метафизика», «О душе» и «Физика», – не переведены иначе, как в отрывках или извлечениях. Словом, здесь царит что-то совершенно варварское, невероятное, – по лени и убожеству. Точно сруб избы, догнивающий под дождями годы, потому что никому не понадобилось никакой избы.

На этом безлюдии и бессмыслии было истинным наслаждением читать огромное, ясное, живое изложение философской или, вернее, натурально-философской системы Аристотеля. Он был столько же *ученый*, в современном нам смысле знания, сколько *метафизик* в смысле всех времен и народов. И до сих пор как *соединитель* этих двух устремлений человеческой мысли – не имеет себе равных умов, – равных, так сказать, по великолепию и завершенности мозговой, что ли, но общее и точнее – духовной организации. В этом отношении и Платон и Бэкон стоят позади него, ибо то, что было в них, – есть у Аристотеля, а что было у *целого* Аристотеля – недоставало как Платону в отдельности, так и Бэкону в отдельности. И это простиралось не на томы, не на трактаты, а на самый *метод*; т. е. не на то, чтобы Бэкон посвятил *отдельные* труды умозрению и *отдельные* – собиранию фактов; это – тоже есть, но главное, на каждой странице и даже в каждом отдельном объяснении, отдельном тезисе у него равно живо трепещут *факт* и *мысль*, *пример* и *теория*, вся мощь колоссального метафизика и весь эмпиризм зоркого, старательного, неутомимого наблюдателя природы. Представьте себе Дарвина, странствующего на корабле «Бигль» и осматривающего зоологические сады, питомники и «скотоводства» всех стран, который бы как хламида облек собою умозрителя-монаха Канта, – или душу этого Канта, внедренную в этого эмпирика Дарвина, и мы получим нечто очень близкое к Аристотелю, давшему 1) первую «естественную историю» и 2) первую «логику». Несоединимое – соединилось. Соединилось один раз в истории. И совершенно очевидно, что и сейчас, в XIX или XX веке, это «соединение» стоит перед историком человеческой мысли и (полнее)

человеческой культуры в такой же прелести, загадке, поражающем великолепии и, дерзнем сказать, – некоторой «умственной поэзии», как оно стояло для мира древнего и нового, во все времена, «до нас». В старые времена, когда мне приходилось заниматься Аристотелем, я поражен был тою пользою, которую он приносит для «современного человека» (верная мысль В. Карпова): всякое физическое и физиологическое явление становилось точно *прозрачнее, умнее и полнее*, когда к ним придвигались аристотелевские категории мысли и вечные неумолчные его вопросы, которыми как дробью он колотил во всякий осязаемый и умственный предмет. Это было удивительное впечатление. Не сомневаюсь, что лишь полным невежеством русских умов, русской вообще «образованности» или скорее «необразованности» в области античной философии, величественной, отчетливой, всеобъемлющей, и в частности особенно невежеством в Аристотеле, – объясняются грубейшие у нас триумфы Дарвина, Спенсера и Огюста Конта... Ничего подобного было бы невозможно, если бы наши гимназии и университеты вместо программы «всего *понемножжу*», «от всего – *одни верхушки*» – следовали программе: «немного – но *глубоко*». В университете, окончив в 1882 г. историко-филологический факультет, я не слышал с кафедры самого *имени* Сократа, Платона и Аристотеля; это было случайностью для состава наших слушателей, вообще этого не бывало. Но не характерно ли, однако, что, пройдя среднее и высшее образование в России по отделу историко-культурных наук, можно было во второй половине XIX века вовсе не услышать *ничего* из античной философии. Мой сотоварищ Белкин, потом заместивший на кафедре философии нашего профессора, Матв. М. Троицкого, раз сказал мне: «Знаешь, брат Розанов: рассуждал я раз с одним врачом о душе, он мне и говорит: «Сколько тел вскрыл, сколько черепов на своем веку распилил, – а *души ни разу не нашел*». Это ему, бедному, казалось убедительным... В том же духе он читал философию и сам, заведя в Московском университете непостижимую «лабораторию для психофизиологических исследований», где хотел «схватить пальцами душу»... И, конечно, тоже для множества юных, «не ведающих, что творят» душ казался «убедительным». Конечно, подобной ерунды, на десятки лет воцарившейся в России, в ее литературе и печати, не могло бы и появиться, преподавай у нас в VIII классе гимназий вместо «элементарной логики и психологии» и «начатков богословия» – хорошее изложение ну вот хоть аристотелевской мысли, или философии Сократа, или досократовской философии (можно бы попеременно делать). Уже *тогда*, 2½ тыс. лет назад, понятие «*φύσις*», «природа», было так разложено на элементы свои, и именно так пробарабанила «дробь вопросов» о всех умственных и физических предметах, что гиперборейское варварство Белкина (да и Троицкого) было бы немыслимо для знакомых с этою «*alte Geschichte*»*...

* старая история (нем.).

Не могу не сообщить с удовольствием, что, беседуя этою весною с почтенным Александром Ив. Введенским о философских делах в России, — услышал от него прекраснейшее суждение: «Я считаю *совершенно необходимым*, чтобы на русском языке были даны *все классические философы*, и прежде всего все *греческие философы*, — в полном объеме и точных переводах». Конечно, — это «альфа» самого знакомства, самого преподавания. Так как профессор этот чрезвычайно деятелен и вообще *исполнителен* — то, можно надеяться, он так или иначе добьется осуществления своей умной мысли. К его большим философско-педагогическим заслугам прибавилась бы еще огромная. Для этого ученые могут и организоваться; могут взять в сотрудничество, для компилятивных частей работы, студентов и курсисток.

Повторяем, — труд В. Карпова превосходен, и желательно, чтобы он появился отдельною книгою. Он, прежде всего, «настолько» необходим для студентов и студенток филологических факультетов.

* * *

Превосходен по теплоте труд Эрн о Григории Саввиче Сковороде, украинском ходебщике-философе, который, право же, есть «родоначальник русской философии». . . Г-н Эрн готовит о нем целую книгу, и, судя по отрывку в «Вопросах Философии и Психологии», — это будет превосходная книга. Сковорода был совершенно самобытен, совершенно самостоятелен. Его земляк Гоголь пустил злое словцо о «Кифе Мокиевиче», которое потом забавляло Русь целый век, и все этому «Кифе Мокиевичу» смеялись, и при всякой попытке русского «от себя» мыслить — указывали пальцами и злобно гоготали: «Это — Кифа Мокиевич». Здесь, как и всюду, Гоголь сыграл отрицательную службу: своим «Кифой Мокиевичем» он в значительной степени породил русских «позитивистов», «контистов», «спенсеристов», да и позднее последователей Шопенгауэра и «ницшеанцев», все вообще *повторяющее Запад, компилирующее Запад*... Он создал страшное «как можно свое суждение иметь» в философии и философствующей нашей литературе. Между тем, гораздо ранее Гоголя прошла по той же Малороссии трогательная и прекрасная личность Сковороды, на которую и не оглянулся Гоголь, о которой он не собрал сведений, собирая (через приятелей) сведения о разных базарных прибаутках. Около Сковороды, его благородного смирения, его высокой личной религиозности, его, прямо скажем, «нравственной святости», — и все это при редких философских дарах, — как груб кажется Гоголь; груб, жёсток и тёмн. «То, чему положил начало бездомный странник Сковорода, — говорит г. Эрн, — не только живо, но молодо и юно в наши дни (курсив Эрн). Темы философии Сковороды имеют и для нас, почти через полтора столетия, первостепенное значение. Сковорода в своих исканиях наткнулся на сокровища, которые не изжиты до сих пор. И сокровище это заключается в том, что символу (вспомним гётевское: «*Все видимое есть только символ невидимого*»). — В. Р.) Сковорода вновь, после многих веков забве-

ния, придал серьезное метафизическое и философское значение, что он все мировоззрение свое построил на принципе символическом, т. е. внутреннем, ознаменовательном, человеческом, решительно отвергнув принцип рационалистического схематизма, т. е. точку зрения внешнюю, внечеловеческую, расплывающуюся в безвоздушных и неопределенных абстракциях». У Сковороды г. Эрн находит предвосхищение того, что потом с такою силою и красотой выразили Тютчев, Киреевский, Хомяков и Достоевский. Заметим, что г. Эрн – молодой московский философ, если не ошибаюсь, готовящийся занять кафедру философии в тамошнем университете. Что-то в высшей степени обещающее содержится в этом направлении именно *молодых русских умов*. Гг. Эрн, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Флоренский, Ельчанинов, Аскольдов, Гершензон, Цветков и еще несколько других говорят о каком-то втором возрождении славянофильства, наступающем в наши дни, – о «серебряном веке» его, наступающем после «золотого века» Киреевских – Хомякова – Аксаковых. Против этой смелой молодежи, так верующей в волнуемое и растяжимое, но, однако, *одно* знамя «Россия – Православие – Старая (идеальная) жизнь», – как жалки задыхающиеся в последней злобе, но не имеющие ни слов, ни мыслей сотрудишки профессорских «Русск. Ведомостей», с их станом выцветших либералов, и выписавшиеся писатели «Русского Богатства», «Современного Мира» и просто «Современника», – пытающиеся гальванизировать тело 60-х годов. Славянофилы – верили в «воскресенье»: и им – оно дано. Но позитивисты в «воскресенье» не верили и издевались над ним: *откуда же и как им ожить?!!* В 60-х годах была хороша именно «заря» возрождения; их первые протесты и вся «весенняя» гроза их. Но прозаично было их продолжение, затянутость; этот скучный, позитивный их «день», самодовольный и однообразный. Ну, а о «поэтическом вечере» не к лицу мечтать таким вообще *не* поэтам... И этот «вечер» их – только дождлив и грязен.

ВЕГА. АПОКРИФИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ О ХРИСТЕ

І. Книга Никодима. С.-Петербург.
Государственная типография. 1912 г.

«Книга Никодима» всегда называется на первом месте, когда заходит речь об «апокрифах», этих темных по происхождению сочинениях, в которых авторы, то «правоверующие», то принадлежавшие к какой-нибудь секте, иногда в момент ее образования, – передают евангельские события, или события Ветхого Завета, с прибавлениями и украшениями, каких в канонических Евангелиях и в канонических книгах Ветхого Завета – нет. Нельзя лучше выразить отношения апокрифов к читаемым в церкви книгам, как это делает г. Вега в предисловии: «Апокрифы не могут выдержать даже и

отдаленнейшего сравнения с четырьмя Евангелиями, принятыми церковью. Невозможно подвергать сомнению немногие великие и простые истины, составляющие, по свидетельству этих Евангелий, самую сущность учения Христа, — истины, освещающие путь всего человечества. Если четыре святых Евангелия суть хлеб насущный, то апокрифические творения суть цветы, порой роскошные, порой простые. Но когда в дыму фимиама и при сладостном пении торжественно возносится жертва Всевышнему, — скромная незабудка, брошенная верующей рукой к подножью алтаря, имеет свое мистическое значение».

В *составе хлеба* и «незабудки» и «васильки» признаются, однако, «сорными травами», и таков взгляд церкви вообще на апокрифические книги: это — засорение евангельской чистой и глубокой воды мутными ручейками с берега; это — плевелы среди пшеницы. Отсюда — отношение к ним церкви, подозрительное и неодобрительное; нелюбовь духовенства к чтению апокрифов и к самому «узнаванию» о них благочестивых мирян. Отсюда же и литературная судьба их как чего-то *гонимого и скрываемого*. И, наконец, отсюда их нераспространенность, малоизвестность; отсутствие занятости ими писателей-богословов и людей духовно-академического образования. И последнее, «наконец», — что перевод книги «Никодима», за которым, кажется, последует перевод и остальных новозаветных книг, сделан светским лицом, г. Вегою (псевдоним?), — и издан с роскошью, не похожую на убогость богословских произведений, но, увы, и со множеством опечаток, чего богословы умеют избегать... Переводить с «варварского языка» II–III–IV веков по Р. Х., конечно, очень трудно. Но, во всяком случае, г. Вега дал превосходную книгу, которую купит весь литературный народ, которая в «темный люд» не пойдет уже по ее внешности и относительной дороговизне; ничьего ума не «запутает», а поэтам, беллетристам и мыслителям даст темы и помощь для их воображения и творчества. Начиная с XVIII главы и до XXVIII идет описание *Сошествия во ад Спасителя*, — изложенного двумя воскресшими, Каринном и Левкием: что они видели и что слышали в аду. Нельзя не изумиться чувству такта и вкуса тех древних соборов духовенства, которые утвердили «канон новозаветных книг», т. е. утвердили *только* Евангелия от Матфея, Луки, Марка и Иоанна, и откинули те подробности евангельских событий, какие содержатся в апокрифах... Увы, есть вещи, которые *навсегда* должны остаться краткими и схематичными; на которые можно *указать*, но *рассказать* их — значит все в них испортить. Таково потрясающее «одоление смерти», «попрание ада» Христом. *Упомянуть* это — постижимо; начать *излагать*, что чувствовали и как говорили между собою и со Христом или о Христе Адам, Ева, Сиф, Илия, Исаия, Симеон-богоприимец, Архангел Михаил и другие, — значит вдруг начать отнимать страшную *реальность* у события непостижимого и действительного и все превращать в неправдоподобие вымысла. Вот этот-то секрет, что апокриф, *конкретизируя* событие, вместе с тем *испаряет* его реальную силу, превращает его в «разукрашенную басенку», и *такое именно впечатление чита-*

теля было, вероятно, причиною, почему эти конкретные и сочные описания вообще были убраны из *признанного* Нового Завета.

Возьмем пасхальные песни о сошествии во Ад:

«Сошел еси в преисподняя земли, и сокрушил еси веревы вечные, содержащие связанные, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба».

«Плотию уснув, яко мертв Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвигл от тли и упразднил смерть. Пасха нетления, мира спасение!»

Убедительно, великолепно, полно! Но когда мы читаем целый диалог:

«И сказал князь преисподней нечистым управителям своим: «Закройте страшные врата *медные*, и вложите засовы *железные*, и сопротивляйтесь мужественно, страшась, дабы не были взяты мы в плен, — мы, стерегущие пленных». Но, услышав это, все множество Святых сказало князю преисподней: «Открой врата свои, чтобы в них вошел Царь славы». И Давид, божественный пророк, воскликнул: «Разве не предсказал я, когда был в землях живых» — и т. д. и т. д.

И вот все как-то становится неправдоподобно *в подробностях*: ибо *кто* же это слышал и даже для чего помнил? Все это — так *нецелесообразно*. Уже смертью на кресте решена была победа. И все эти разговоры и словопрения — ни к чему. Есть вещи, совершенно истинные: но истинные именно в сокращении, в символе, в тайной силе и неподсчитываемом образе. Вещи «неизреченные»... И в Евангелиях о них нет «речи».

Опечатки — с первой строки перевода: «Я Эмий, еврей, был законников у евреев», вместо: «Я, Эмий еврей, был законником у евреев»...

Август — как *собственное имя* применяется только к Октавиану; но, начиная с Тиберия, у всех это — только титул; потому нельзя писать «в правление Валентиниана Августа», но «Валентиниана августа» (стр. 29). «Пробор Он носил посредине по обычаю *жителей Назарета*» (явно — вместо «*назореев*»). Далее, вместо принятого, особенно в церковной, священной литературе, титула императоров, «*кесарь*», г. Вега везде ставит «*цезарь*», каковое есть *личное* имя только Юлия Цезаря: «Многие говорят, что Он — Бог, другие — что Он, о, цезарь, твой враг»; или: «существует частное письмо римского управителя Иудеи Публия Лентула к цезарю» (стр. 33); «пожелавшись жизнью цезаря» (стр. 35). Далее — «Вероника» вместо «Вереника» (стр. 48); «в правление Ирода, императора (!!) галилейского» (стр. 30). Но более всего этого неприятен пропуск запятых, которые должны отделить предложение от предложения или выделить синтаксическое приложение: «прикажи этим людям поклясться жизнью Цезаря (кесаря), что сказанное нами ложь (,) и да будем повинны смерти» (стр. 38); «ты не друг кесарю, если ты освободишь Того, Кто говорит про Себя, что Он — Царь и Сын Божий (,) и не хочешь ли ты, быть может, чтобы Он был царем вместо кесаря?» (стр. 51). Употребил же здесь г. Вега «кесарь», и удивительно, что почти во всех других местах он этот *титул* пишет «цезарь». Вражда его к

запятых – почти что-то принципиальное. Желательно, чтобы эти мелочи были устранены из последующих выпусков в общем превосходного издания, недостаток которого составлял стыд русской ученой и русской популярной литературы.

БЕДНЫЕ НАШИ ДЕТИ

– Папа, скажи мне характеристику Прометея.

Я оглянулся на свою Веру... ту милую Верочку, которая от семи до одиннадцати лет дала столько поэтических впечатлений, не только прекрасных по очерку, по скульптуре фигуры и движений, но и по доброте, разумности, благородству сердечных побуждений. Как она охраняла – в девять лет! – младших сестренек и братишку от опасностей, неприятностей, ушиба, падения. Дети растут, – и не замечаешь. Теперь она завивает в волосы довольно нелепый бант, который, впрочем, не умеет завязать, обозначается бюст, ворот не на все пуговицы застегнут, и только утешением и надеждой является прелестная, нежная улыбка, по временам блуждающая на ее лице. «За эту улыбку надо держаться».

– Прометей, милая? – Не знаю. Должно быть, не посаженный вовремя в Шлиссельбург анархист. Бежал на Кавказ и там царапался об острые камни. Да тебе зачем?!

Смех разбирал меня «от самого пупика». Завтрак. Отдых. И час хоть какой-нибудь шутки.

Вдруг вижу, губы ее торжественно и негодуяще надуваются.

– Мне нужно.

– Да зачем тебе нужно??

– Нам задано сочинение: написать «Характеристику Прометея».

– Написать «Характеристику Прометея»?!! Боже мой, мне 54 года, я был 13 лет учителем истории в гимназии, окончил историко-филологический факультет в Московском университете, где слушал Герье, Стороженку, Тихонравова, Буслаева: но положи передо мною лист писчей бумаги с темой: «Характеристика Прометея», и я только грыз бы перо и не написал бы ничего, кроме пяти строк: «Огненный брюнет, борода всклокочена, не повиновался господину исправнику, и тот за это связал его веревками. Симпатичен или отвратителен смотря для кого: для исправника – отвратителен, для кавказских разбойников – молодец». Что тут писать?! Я – ничего не напишу, а ты, моя девочка с бантиком...

Она вышла из-за стола. Потом, все ходя задумчиво и строго, что-то долго и много писала, ворочалась с огромными книгами, бантик все сворачивался на сторону, пуговицы все меньше застегивались, матери и сестрам все больше грубила, со мной не разговаривала вовсе. Что она написала в свою «гимназию», я не знаю (она таила), но неодолимо я чувствовал, что «тема» и ее «работа над великою темой» унесла ее в высь какой-то гордой мечтатель-

ности: мать, я, меньшие сестренки, наше маленькое хозяйство, прислуга – все ей казалось, нет, все ею *ощущалось* как что-то пошлое и низкое, грубое и мещанское, не могущее подняться до тех умственных очарований, в которых она жила. Известно:

И над вершинами Кавказа
Печальный Демон пролетал.

Особенно ее возмущало, когда ей предлагали «вымыть чашки» после чаю. Так вся и перекосясь и, молча, уйдет в свою комнату. Мы перестали требовать: что же, не тащить на веревке к делу.

Прошел год. Лето. Вакационная работа. И Вера говорит мне повелительно:

– Папа, купи мне Дрэпера...

– Дрэпера?!!

– «Историю умственного развития Европы». И Соловьева...

– Которого?

– Как «которого»? – Соловьева!! – Мне нужно прочесть там для письменной работы.

Передаю все с крошечками подробностей: «прочитать из Соловьева», *какое сочинение* – не названо, *которого Соловьева* – не объяснено ученице. Очевидно, профессорша-учительница предполагает «эти мелочи уже известными ученицам» и сказала *вообще*: «Вот вам – тема, а материал – у Дрэпера и Соловьева».

Я растерялся. Молчу. Потом спрашиваю:

– Да о чем вам задано написать?!

Оказалось, – задано выяснить «Культурное значение магометанства в связи с личностью Магомета». Да: среди «материала» рекомендованы еще статьи из «Энциклопедии Брокгауза и Эфрона». Бедная моя Верочка не знала, что это «Энциклопедический словарь», и, «при бантике», не знает, что такое «Энциклопедический», не знает этого *факта* в мире, этого характера научных работ и литературы. Она «материал» так и обозначила: «Дрэпера, Соловьева и сочинения Брокгауза и Эфрона».

– Да непременно, папа! До отъезда на дачу.

Дрэпера купил. О Соловьеве – думал-думал и сообразил, что это популярная книжка «Магомет» в составе павленковской «Галереи великих людей». В продаже не оказалось, и приказчик сказал, что много гимназисток уже спрашивали книжку, но издание все разошлось, и новое ожидается только к осени. Достал еще из какого-то старого журнала, лет двадцать назад, об Аравии, арабах и первых халифах: Верочка и это жадно схватила. Вообще видно – старается; все запирается одна в комнату и что-то пишет, компилирует. К обеду выходит молча, ни с кем не разговаривает и не допускает с собой никаких шуток.

– Боже мой, зачем им Магомет? О «магометанстве» им достаточно объяснить, что «есть татары, которые продают мыло и кричат: «Халат». Чтобы

больше объяснить, надо объяснить «многоженство» и закон «покрывала», в чем всем сама учительница, конечно, ничего не понимает, а гимназисткам 15 лет этого невозможно объяснять между прочим потому, что они и об «одноженности» ничего по правилам гимназии не знают и им запрещено об этом думать и спрашивать. Что же им учительница может объяснить, кроме того, что Магомет воевал больше других полководцев, что магометане ездят на верблюдах и что главный город у них Константинополь, а священный город – Мекка. Да, кроме того, были «Корейшиты», из рода которых произошел Магомет.

Говорю жалостливо:

– Да ты знаешь, есть Вашингтона Ирвинга: «Жизнь Магомета». Специально для этой темы. Учительница не упоминала?

– Не упоминала.

Купил. Жадно схватила.

– Ты покажи мне, что напишешь.

Не показала. В «сочинениях» как-то таится. Не то опасается во мне иронии, которой я не могу скрыть; не то что-то смутное говорит ей, что все написанное *не может не быть* ерундою. Как-то мне попались «материалы» для темы: но это просто переписанное с печатного «в свою тетрадь». Зачем она списывала, когда книги *куплены*, когда они – *ее*. Я вижу, что она старается, работает, почти не спит ночей, но не может же «везти воза», в который нужно запрячь локомотив.

Но все разговоры, всякое возможное собеседование «заранее отсечены» ее неприступным видом. Она вся замкнута, пылает и куда-то унеслась в облака.

Эту зиму упростилась и, смеясь за обедом, рассказывает:

– Такую то (фамилия и имя подруги) учитель спрашивает: «Какой город стоит на Неве?» Она ответила: «Лувр».

«Лувр»... но ведь это целое *откровение*. Дело в том, что она выучила «Лувр», вероятно, даже учительница объяснила, что там собраны великолепные картинные и скульптурные коллекции, есть Венера Милосская и есть Джиоконда Леонардо-да-Винчи; и явно, что все это заняло ее больше, чем «Петербург с нашей Кабинетской улицей»... Петербург – тусклость, скука; Лувр – яркость, звезда. И когда спросили, что же стоит на реке Неве, то из нее, как из автоматического ящика с шоколадными конфетами, за 10 коп., выскочила произвольно шоколадка «Лувр». В сущности, все бедные девочки, и моя Верочка, такая умница шесть лет назад, превращены мало-помалу в автоматические ящички, выкидывающие при нажатии кнопки разные слова:

– Магометанство. Корейшиты. Константинополь.

– Лувр на реке Неве: главное сокровище – Джиоконда.

Теперь, через три года, уже «заневестившись», она будет танцевать с офицером. То если он спросит:

– Слышали, Джиоконду опять нашли?

То она скажет:

– Да. Это в Лувре.

А если скажет:

– У нас, в Казани, очень много татар.

То она поддержит разговор:

– У них Константинополь. А были еще Корейшиты.

Из чего он может заключить, что она образованная девушка и может составить счастье семьи.

* * *

О Лувре было в эту зиму. И всего в июне, войдя в комнату (на даче), я прямо с ужасом увидел на окне две новопкупленные книжки:

«Небо и земля» – Байрона.

«Каин» – Байрона.

– Верочка, бедная: что такое ты читаешь? Откуда у тебя эти книги?

Она, конечно, не имея представления о «Байроне» и «байронизме», не имея понятия о «классицизме» и «романтизме», не зная и не подозревая, что такое «реализм в литературе», ответила спокойно, как бы дело шло о поставленном самоваре:

– Это нам задано на лето как «необязательное, но рекомендованное чтение».

И все «исполняет», бедная. Она вообще старательная ученица, – патетическая. И особенно горячо берется, когда – «сочинения» и – что-нибудь «для сочинения». Кто-то, кажется, ее похвалил; назвал «развитую» и вообще «серьезную»: и вот в это «серьезное» она работает и работает. Но она *когда-то* была умна, впечатлительна, натуральна: теперь – ум улетучился, она вся перекошена, как в параличе, без мысли и мотива движется и говорит, и «слова» вылетают из нее, как из автоматического ящика. Притом, все ужасно непоправимо: она не понимает, что все это – «слова», без связи, мертвые, не ее собственные слова, а чужие, внушенные, заученные, услышанные на несчастных уроках несчастной гимназии; что она собственно помертвела, обездушилась. И это несчастное «помертвление», названное «образованностью», принимает за образование: и отстаивает его со всем упорством шестилетнего привыкания, шестилетнего гипноза.

В то же время я уже отцовским глазом вижу, что в ней невинная, неопытная душа девятилетней девочки. Т. е. *живая развитость* – девяти лет; но – стыдящаяся себя, испуганная собою, спрятавшаяся. Толстым слоем или тяжелым камнем на эту древнюю развитость легли пухлые, навязанные, ни с чем окружающим не связанные и не связуемые слова и ни с чем будущим не соотносящиеся.

Шел по дороге человек.

На него упала гора – и задавила.

Это и есть «образование».

Образование – чтобы задавить все «свое» и вложить все «чужое». И убить все «живое»; и надавать всего «мертвого».

Но отчего гимназия думает, что то «живое», с чем ребенок приводится в ее «приготовительный класс», есть ничто или дурное, есть что-то ненужное и неинтересное, что непременно нужно задавить своим «гимназическим»: а не совершенно напротив, – к этому живому, «из детства взятому», нужно приставлять другие, такие же живые и натуральные частицы, которые бы с ними связывались в одно. Почему гимназия думает, что девушку надо «делать», а не давать ей расти, только помогая росту. Конкретно:

Почему «Каин», а не «Юрий Милославский»?

Почему «Арктический и Антарктический океаны», а не «наша Нева, наше Ладожское озеро, наше Балтийское море»?

Или эту зиму, тоже несчастная Верочка спрашивает:

– Папа, где мне прочитать о католических сектах XIII века?

Я обомлел: *наврное* она не знает, что такое «папство и католичество», иначе как в этих бедных словах из «автоматического ящика»: *папство* – это не татары, потому что там *Магомет*, а тут *папа*; и одно в Константинополе, а другое в Риме. Если только еще она знает, что папа *в Риме*, – в чем я вовсе не уверен, и с чем, во всяком случае, у нее не соединяется мысли ни о какой *необходимости*: почему бы для нее «папе» не быть в Лисабоне или в Ташкенте? Папа – имя, слово, как «Антарктический океан».

– Как, «секты»? XIII века?!!

Я подумал.

– Это альбигойцы, что ли?

– Да. Альбигойцы. Учительница рассказывала в классе.

С тем металлическим равнодушием, как бы сказала: «Булки берутся у Филиппова».

Альбигойцы – в связи с богами болгар; а богами – в связи с нашими хлыстами. А хлысты – такая темь, в которой и ученые не разберутся. Что же учительница могла рассказывать им в классе, тридцати девочкам с бантиками? «Слова из ящика»: 1) что в XIII веке на Юге Франции появилась секта альбигойцев, 2) против которой папа Иннокентий III двинул крестовый поход; 3) альбигойцы были побеждены и почти все истреблены.

Но почему «сие все важно», когда совершенно непонятна и ученицам совершенно не может быть объяснена самая *суть* именно *этой ереси* и не понятна же та *определенная суть католичества*, против которой восстали сектанты, которая их возмутила и вывела из повиновения. Это – даже не предмет университетского курса: а *последующего чтения и размышления*, лет в 35–40–50! А что 1) «Симон-де-Монфор привел войска и расколотил альбигойцев», то это, не отличаясь от схемы: 2) «Аннибал привел слонов и балеарских пращников и расколотил римлян», – является 3) не историей собственно альбигойцев, а 4) главою из «Истории походов и войн всех стран и народов», каковая в курсе гимназий не проходит. Таким образом, совершенно *незаметно для самих себя*, гимназии преподают вовсе

не то, что им *кажется, будто они преподают*; а у них выходит преподавание предметов, какие им *и в голову не приходят*. Можно представить, какая отсюда бессмыслица получается!! Никакой решительно они не преподают 1) реформации, никакой 2) французской революции (рубрики эти есть в программе): ибо ни в воображении, ни в мысли, ни в идеях, ни в осознании у учениц 15 лет и, по всему вероятно, у учительниц их нет о 1) религиозном прозелите, 2) политическом заговорщике.

Что же они учат?

Слова!!!

Их учат *словам*.

Бедных наших девочек, как бы они не были люди, а дрозды, учат *произносить разные слова*, смысла которых они не знают, и *выговаривать целые фразы*, о значении которых они никогда не узнают или узнают очень поздно, узнают со временем и после долгого учения лишь некоторые из них!

История превращения человека в дрозда, глубокого существа с человеческой мыслью и с человеческим сердцем – в великовозрастную птицу с птичьей головой и птичьей душой, и есть собственно пафос гимназий, которые так стараются, так стараются... Стараются и уповают, стараются и требуют себе жалованья.

Скажут: – «Куда же девать время, *семь годов*? Время – *пусто*, и мы начинаем его «Каином» Байрона и альбигойцами».

Как «время *пусто*»: да эти же ученики представления не имеют, – ну, представления *широкого, сочного, верного действительности*, – хотя бы о ряде великих пап, боровшихся то с варварами, то с Римом, то с развращенными нравами общества. Они не имеют широкого и сочного представления о Сергии Радонежском. Наконец, они вообще не имеют понятия о всем том, о чем говорили, писали, чем восхищались Плутарх, Тит Ливий, Григорий Турский и Нестор. Все эти лица, которых любило человечество, пробежали как тараканы, гонимые персидским порошком, перед русскими ученицами, «гонимыми» программой «от сих до сих». Это уж позвольте мне вспомнить, как учителю:

Стоит передо мной ученица пятнадцати лет, такая милая и скромная, и полуплечет.

– У меня за годовую четверть *три*, а я хотела бы *четыре*.

Это – в городке Белом. И городок такой симпатичный, наш милый русский провинциальный городок. Мелкие чиновники, мелкие и честные торговцы.

Поднимаю голову и вяло спрашиваю:

– Между кем и кем была Пелопоннесская война?

– Между римлянами и карфагенянами.

Просыпаюсь. Возбужден. Говорю негодующе:

– Как же я вам поставлю *четыре*: Пе-ло-по-ннес-ская война!!!

Плачет. Потом со счастливым лицом:

– Да, вспомнила! Между Марком Антонием и галлами.

Сурово:

– Не могу поставить четырех.

Плачет. И так хороша. Так благородна.

Про себя:

– Чёрт угораздил этих милых девушек из города Белого, которые сами нисколько не хуже сабинянок, из которых каждая порознь есть та же самая Навзикая, только еще не описанная Плутархом, заставить учить о каких-то никогда им не имеющих понадобится Антониях, Аннибалах, Лютерах, Наполеонах. Дичь такая же, как если бы сабинянку заставили танцевать кадрили, а от Навзикаи потребовали играть Шопена. И если существует такое тупое министерство «в пику России», то и я «в пику министерству» поставлю милой девочке *четыре*.

– Ну, что же, – проговорил я вяло, – учитесь вперед лучше. На этот раз я вам выведу *четыре*.

Если бы вы знали, каким счастьем бедняжка залилась.

Слова, слова и слова! Имена и имена! Номенклатура и номенклатура! *Кроме номенклатуры, в гимназиях ничему и не учат.* Номенклатура 1) Закона Божия, номенклатура 2) географии. И «дух» Закона Божия, метод передачи, обращающие на себя внимание пункты в «предмете», те же самые в Законе Божиим, как и в географии: 1) длина Волги 3600 верст, 2) в берковце девять четвериков, 3) длина ковчега, в котором спасся Ной, была 30 сажень, а дождь во время потопа шел не останавливаясь восемьдесят дней. И еще надо креститься, что ученики на вопрос, «кто был Ной», не отвечают:

– Ной впадает в Волгу с правой стороны.

Но *приближающиеся* к этому ответу – ответы учеников постоянно бывают, везде бывают; и если бы внимательно слушали экзаменаторы и *отмечали* в памяти, они заметили бы, что на каждом экзамене пройдет тоненькой ниточкой, закатится горошинкой, хоть *один* такой чудовищный ответ. У нас было в Брянске, на ревизии, по Закону Божию:

– В какой реке крестился Иисус Христос? – спрашивает памятейший и добрейший окружной инспектор Я. И. Вейнберг.

Отвечающий ученик молчит (четвертый класс).

Ревизор повторяет вопрос, обратясь к классу.

Все молчат, вероятно из страха. Поднимает руку («знаю») один ученик, Николаев.

– Ну?

– В Ниле.

Это совпадает с «Лувром» (на р. Неве) Ст-ской гимназии в Петербурге: *один закон забвения или памяти*; и с ответом – «Пелопоннесская война была между Антонием и галлами» в Белом. *Ученику решительно все равно что ответить.* Припоминается сценка в гор. Ельце. Ассистентом на экзамене сидел очень умный эллинист, Мих. Вал. Десницкий. Ученик таторит:

– (Такой-то царь и полководец) победил (такого-то).

– Да позвольте, – прерывает ассистент, – он не «победил», а, напротив, «был побежден и убит».

Ученик, вяло взглянув на Десницкого, продолжает:

– Был убит и...

Следует, что стоит на странице учебника.

Десницкий рассмеялся.

– Вот *так* всегда для гимназистов: что «победил», что «был убит» – все равно.

Сперва опешиваем: «*Не может быть, чтобы все равно*». Но, размышляя годы, и думаешь: – Да конечно, – *все равно*, «убит», «победил», «галлы» или «карфагеняне», «Лувр» или «Петербург», «Нил» или «Иордан». Ибо все это «слова иностранные», а гимназия и есть восьмилетнее усвоение иностранных новых слов, из тех, что могут мелькнуть взрослому человеку в газете или книге, и он должен все эти «иностранные слова» понимать. Но настоящая разгадка дела заключается в том, что *ужас совершенно тот же* остался бы и в том случае, если бы ученики не перемешивали имен и относили правильно «Иордан» к «крещению Иисуса Христа», а «Нил» – к «фараонам»: тогда – ревизор доволен, гимназия – с отличием, и все превосходно, министерство ликует. *Между тем ужас остается тот же*: ящик с шоколадками, в ответ на гривенник, к которому можно приравнять вопрос экзаменатора, выкидывает точно один раз шоколадку и один раз монпансье, *без путаницы*. Но, однако, он есть именно *автоматический ящик*, а гимназия-то ведь готовила *человека*!

– Позвольте, вам дали Навзикаю, а вы превратили ее в собачку в ошейнике.

– Вам дали мою Верочку, а вы из нее сделали уродца с Байроном.

– Я вам хочу отдать своего Васю, который так отлично ловит малявок и *на редкость умен* детским, но наблюдательным и практическим умом, а вы из него делаете балаболку, который пыжится рассуждать о Госуд. Думе, об оппозиции правительству и о ложности христианства. Ибо в учебнике *для средних учебных заведений*, который я собственноручно ему купил на днях, я, открыв последние главы, прочел: «Берлинский конгресс», «Оппозиция правительству общественных классов», «1-е марта».

Позвольте, почему около карасей, свойственных его возрасту, помещать «оппозицию правительству», когда он не знает, что такое «оппозиция», ибо его самого за «оппозицию» дерут за ухо; и не знает, что такое «правительство», потому что знает своего учителя, которого, слава Богу, любит. Известно, как называются половые экстазы у мальчиков, не достигших половой зрелости. Скверное имя, происходящее от порочного Онана. То гимназии, позвольте уж им сказать, ничего, и притом *решительно ничего другого*, не делают с нашими детьми, кроме как прививают им преждевременно «этот пагубный порок». Они преждевременно выводят из детского возраста, сметаю и затапывают их отрочество и юность и в девять лет, т. е. начиная с девяти лет, прививают «эти скверные привычки» рассуждать обо всем на

свете, все равно о Байроне или Цезаре, о Джоконде или карфагенянах, о химическом родстве (уже учат девочки в 15 лет!!!) или оппозиции правительству, ни к чему этому не имея осязательного, с бьющимся пульсом, отношения!

Мертвые знания!

Мертвый человек!

Фантастические сведения!

Полная величайших фантазий гимназия!

Гимназии-то хорошо. Ей тоже «все равно, что *победил*, что *был убит*»...

Но нам, родителям...

Бедные наши дети!..

Мы отдали гимназии живого мальчика, живую девочку, думая, что они *продолжат и разовьют* их жизнь, их бытие, их «целое». Но гимназия поставила к их тонким шейкам ученые пальцы. Что-то манипулировала около шеи: и выбрасывает «родителям на утешение, а церкви и отечеству на пользу» через восемь лет посиневший и распухший труп с запёханными внутри его страницами из универсальной энциклопедии. И твердо, мерно говорит:

– Но зато он может теперь читать «Газету-Копейку», обругать правительство и поступить к просвещенной купчихе сутенером. Полное образование. И все разговоры – образованные. Путь, карьера и одобрителный говор кругом.

Остается сказать:

– Мерсі, господа наставники. Мерсі, министерство народного просвещения.

ЗАВИСИМОСТЬ ДУХА ОБЩЕСТВА ОТ ДУХА ШКОЛЫ

Отрицательное действие чего-либо так же *реально*, как и положительное; вы можете какую-нибудь вещь, какое-нибудь лицо и какие-нибудь обстоятельства ненавидеть, и это ненавидимое, однако, становится такою же *образующею и воспитывающею стороною* вашего ума и характера, как и вещи, лица и обстоятельства самые любимые. Вот почему, когда говоришь о *недостатках* училищ, то не с сожалением только, что они чего-то *недодали*, что ваши дети явились в чем-то недоученными или недовоспитанными: но с сожалением, что дети *изуродованы и извращены*. Притом таким вовлекающим и «симпатичным» образом, что никакое исправление невозможно.

* * *

Возьмем – скромность. Всякое развитие начинается со скромности, *возможность* всякого развития предшествуется сознанием, что «я *сейчас* неразвит»... Я сам наблюдал в учащихся детях неделями, месяцами, годами, что, занятые в училищах темами *университетского* курса и *послеуниверситет-*

ской жизни, как-то красиво звучащими в ухе и чарующими ум, – всеми этими «реформациями» и «революциями» в 15–17 лет, когда из полукоротких они начинают носить юбки «совсем длинные», и это тоже чарует их ум, – они переполняются такой напыщенностью, гордостью, самомнением, что никакой спор и никакая поправка невозможны. Я пишу о девочках, так как у меня – дочери, и передаю наблюдения, а не размышления. Как ей объяснить, что ей привиты слова, а не понятия? Она не имеет представления о самом понимании не только реформации или революции, но и вообще какой бы то ни было вещи. И в ней предупреждено и разрушено вообще всякое и (для множества лиц, для «толпы») навсегда понимание чего-нибудь. Предупреждено тем, что в самом же начале роста знание слов ей показалось пониманием вещи. Она уже никогда и ничего не будет понимать и даже не будет стараться уяснить себе, вникнуть в предмет или явление. В те 15–17 лет, когда по естественному ходу в ней только что должно бы начаться развитие, она должна бы начинать зреть умственно и нравственно, она является «конченным человеком», «энциклопедическим словарем», к которому будут прибавляться новые и новые «изъясняемые слова» (учение в университете, на курсах, в жизни), а не книгою, только что начатою, дальнейшие главы которой будут все интереснее и интереснее, все захватывающе и захватывающе. *Ученье наше* – это всегда *энциклопедический словарь*, это никогда – *не книга*: вот сравнение. В «энциклопедическом словаре» есть все то, что и в науке или науках, но *сделанное особенным образом*, «словарно». Все – сколочено, сшито, *приставлено одно к другому*; ничто не *растет*, не развивается. Все имеет задачей «объяснить слова» и не одушевлено никакой свойственной науке идеей, одушевлением, намерением, высшим планом или высшею господствующею мыслью. Но ведь именно так «составлены все программы» всех учебных заведений, даже почти и университетских курсов преподавания; именно все ученье в гимназиях есть «словарь» и «словарь», нигде не кончающийся. Отсюда только и можно объяснить то разительное явление, всегда наблюдавшееся, множеством лиц *отмеченное*: первые ученики – тупицы, последние или средние – единственно развитые в классе. Позволю себе иллюстрировать: в Ельце переводятся ученики гимназии из VII класса в VIII. Вдруг относительно лучшего ученика, Бартошевича, *который с первого класса и вот до этого восьмого шел первым учеником в классе*, преподаватель словесности М. А. Смирнов заявляет, что он не может допустить его в VIII класс, потому что в таком случае он будет исполнять «письменную работу на аттестат зрелости», по закону поступающую на рассмотрение учебного округа, тогда как он все семь лет не мог ни дома, ни в классе ничего «сочинить». Ничего!! Но ведь это же – идиотизм! – «Как же вы ему ставили *удовлетворительно и хорошо*?» – спрашивают в совете учителя. «Потому что он *всегда все знал*», – ответил преподаватель. Это есть только самый разительный пример, который я припоминаю; но приближениями к нему были все мои наблюдения; и попадались только крайне редко случаи исключения. Как же это объяснить? Случай Бартошевича ясно

показывает, что вся гимназическая программа может быть усвоена совершенно мертвым, совершенно безжизненным умом; и показывает еще другое, и худшее: что, будучи вся и отлично усвоена, она нисколько не развивает, не одушевляет. Случай Бартошевича я передаю точно, его помнят все елецкие учителя, кто жив (20 лет назад): а кто знает «законы логического суждения», знает и то, что единственный этот случай, без какого-либо добавления «еще другими примерами», дает *истинный вывод*, дает неопровержимое умозаключение: «программа – мертва». Плохие же ученики или «так себе», как известно, много читают, «безалаберно читают», «нелепо и преступно читают». Я думаю *теперь*, что чтение это, «наше русское запойное», действительно нездорово, потому что уносит душу в какой-то фантастический мир и притупляет в ней физическое ощущение всего окружающего, всего действительного и текущего сейчас. Словом, оно вредно с точки зрения реального воспитания. Но мы здесь делаем не приговоры, а занимаемся анализом. При всех недостатках и вредном действии, «чтение», однако, повинуется законам *внутреннего* интереса, т. е. оно живо, как бы «елтит», постоянно одушевлено и странным образом тоже одушевляет ученика и – *развивает* его. «Читающие – развиты, нечитающие – неразвиты»: аксиома гимназистов. Так как это простая «наглядность» – то, конечно, она верна. Но мы возвращаемся к исходу всего дела: итак, все «программы» суть собственно «словари», усвоение которых, как бы далеко ни шло, ничуть не увеличивает *развитости учеников*.

Школы наши, как известно, вызывают отрицательные чувства к себе; отрицательные – в родителях; отрицательные – в учениках; отрицательное, кажется, и в самом министерстве, но прикровенно: ибо *noblesse oblige**... Но уже из того, что оно постоянно реформируется, это министерство вечно что-нибудь переделывает в себе, можно заключить, что втайне и оно «скрежещет зубами». По этому почти всеобще-отрицательному отношению можно было бы думать, что школа *никак не действует*; что ее значение – *отталкивающее*, и через это ее дефекты *безвредны*. Но на самом деле это не так. При всей полноте антипатии к ней, школа действует *неодолимо-могущественно*: и общество думает, убеждено, действует и проч. и проч. «как раз по этим гимназиям», не отступая от данных там шаблонов ни на шаг; даже не в силах будучи «выглянуть в сторону» от тех шор, которые каждому надеваются в гимназии.

Я указал на две черты: *скромность*, без которой невозможен никакой прогресс, и – *развитость*, без способности к которой что такое вообще человек?

Гимназии предупреждают самую возможность этих способностей. Своими «берлинскими конгрессами» для полукоротких юбочек, – для возраста, когда хочется потанцевать, сбегать на озеро, пошалить на кухне, они внушают дикую уверенность в каком-то совершенно зрелом или почти уже

* благородство обязывает (*фр.*).

зрелом состоянии подросткам. И, с тем вместе, так как «Берлинские конгрессы» только механически, в порядке «Словаря» и в духе или бездушии тоже «Словаря», приставлялись к «реформациям», «альбигойцам», «феодалному праву» и «грекам» и «римлянам», то собственно степень умственной и *душевной развитости* у них остается та самая, с какою они были отданы в гимназию, т. е. *девяти лет*. И им ничего серьезного нельзя объяснить, нельзя доказать: как именно *девятилетним*. Весь этот ужас во всей его полноте и *отразило наше общество*. Собственно, состояние его гораздо мрачнее, чем как в былую пору оно изображалось в «Мертвых душах» и «Горе от ума». Что «мертвые души» были далеко не «мертвы», видно из того, что они «воскресли» не далее, как через 15–20 лет после появления сатиры: *вторично писать* «Мертвые души» в 60-х годах было бы невозможно; все пальцем бы показали Гоголю на действительность и засмеялись бы: «Ничего подобного и даже близкого!!» Но вот если не с гением Гоголя, то взамен того с неизмеримо большим пафосом и с неизмеримо большим благородством Достоевский сделал указание на «кое-что мертвое» в своих «Бесах», а затем Гончаров в «Обрыве» (Петруша Верховенский и Марк Волохов): общество и не шевельнулось. Увы, великая черта *скромности* уже убита в нем: и прогресс, улучшение сделалось невозможно. Недоросль не знал географии и арифметики: это так отчетливо, что ему оставалось только, и как можно скорее, их выучить. И он поспешно их выучил: после фон-Визина настала эпоха Карамзина и благородных сверстников Карамзина. Но М. Волохов и Петруша Верховенский с 3-го класса уже читали Бокля и «Что делать» Чернышевского: каким же образом можно было объяснить им, что все-таки *душевное их развитие* не простирается выше третьего класса гимназии. Наступил исторический момент *пошлой, преждевременно изношенной души*, как бы до времени предавшейся «отроческому половому пороку» (аналогия с действием гимназий): и *исцеление невозможно*. Достоевский плачет: общество в ответ дает ему по уху (критика «Бесов»). Достоевский говорит: «Но ведь я рассказал только действительную историю о Нечаеве и убийстве этим негодяем студента Иванова». Ему отвечают: «Ты потому и негодяй, что рассказал ее: ибо Нечаев был осужден в каторгу». Казалось бы, ясно: в каторгу осуждают не всегда невинных людей, а иногда и негодяев; Нечаев убил, и убил – невинного: пожалейте невинного, ведь перед ним была целая будущая жизнь, у него преждевременно отнятая. Если вы жалеете *само-убийц*, отчего вы не жалеете убиенных чужою рукой? Рукой негодяя? Обыкновенная логика, простой вопрос: да, но не для того, кто отлично учился семь лет в гимназии, в 14 лет прочел Бокля и в 19 лет уже муслякается около химии:

Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между плодов прищелец осиротелый,
И час их красоты – его паденья час.

Вот истинно *пророческий* стих Лермонтова: какой в нем *целый образ* всего, что вскоре после Лермонтова настало; пророческий – и до нашего времени. Все эти Нечаевы, Петруши Верховенские, Марки Волоховы, все «неудачники в личной любви» вроде Писарева и Добролюбова (смотри эту *объединяющую черту* в их биографиях) были именно сморщенные преждевременно еще в юности грехом Онана души, возненавидевшие мир и людей из-за этого, возненавидевшие историю родную, родной быт, родную жизнь, родную страну; возненавидевшие все *реальное*, как это и свойственно онанисту, и привязавшиеся к мечте и мечтательности, как тоже свойственно онанисту. Тут порок и физический – вероятно; но, главное, *совершенно ему аналогичный порок преждевременного душевного созревания* над темами, над вопросами, над предметами, совершенно не соответствующими возрасту. Если бы Писарев и Добролюбов в 15 лет предавались гонкам на лодках по Волге; если бы в 17 лет они танцевали и были «успешно» влюблены; если бы они боролись, играли, соперничали, – и все это в поле, в лесу, в маленькой товарищеской компании, и, уж извините, без грубостей попойке – и лишь в 20 лет открывали серьезные книги, приступали к серьезному чтению, в 30 принимались бы за историю и химию, они к 40, 50, 60 своим годам украсили бы и свою жизнь, и русскую жизнь зрелыми трудами, зрелыми созданиями, великолепною зрелою наукою и литературою.

Но онанист естественно к 18 годам «все миры произшел» и «новенькое» для себя находит только «вверх тормашками» всего мира. Неестественное развитие прямо упирается в неестественный заключительный порыв. И вот объяснение всей «лихорадки» нашего общества, – этой «лихорадки» девятилетнего мальчика, девятилетнего по развитости своей, которого «знобит и бросает в жар» в душно натопленной комнате, да еще под овчинным меховым одеялом, без воздуха, без упражнений, без реальной деятельности. «Все русские обстоятельства». Но во главе всего – «обстоятельства русской школы», этой закупоренной школы, без чистого воздуха, с ее презрением к физическому движению, к борьбе, соперничеству, к *настоящей чести* и *настоящему благородству*, с ее поразительною слепотой к таким чертам души, как *мужество, ответственность, самостоятельность, самодеятельность, творчество*... Ведь самых этих *вопросов* нет в гимназии; ведь «гимназическое воспитание», которое, впрочем, *не замаскированно отсутствует*, – никогда само вопросов себе не задавало о выработке или хотя бы о *неразрушении* этих сторон души, о *сбережении того из этих качеств характера*, с чем уже приходят дети в школу.

– Смелый мальчик, ни перед кем не опускающий глаза: да это предмет испуга для гимназии. «Куда такого деть?»

– Он любит работать веслами, может проскакать верхом на лошади...

– Такого, только бы дожидаться случая, исключить; может, плохо ответит реформацию или смешает Мирабо с Дантоном: тогда – непременно исключить!!

Это – схема. И из нее получаются Петруши Верховенские и Нечаевы: эти – *затаенные*, эти – *обманывающие* уже в 17 лет; эти ненавидящие род человеческий в 17 лет.

Но главное: их «знания» приставляются как членики в бесконечном солитере, как «слова» в «Энциклопедическом словаре»... Все наше гимназическое воспитание... виноват, «развитие», есть словесное: есть развитие «всего человека» в один «говор», есть вытягивание его в способность «излагать свои мысли», которых на самом-то деле, по механизму обучения, – нет (вечный «Словарь»). «Как изложить мысли, которых у тебя нет» – мука, а в случае успеха – и триумф гимназии. Наконец, «успевают»... Смело пишет гимназист на темы, о которых понятия не имеет и *о которых не может иметь понятия*. И если он пишет блестяще («легкое перо» дал Бог), то он гордость гимназии, утешение учителей, хотя это моральное шулерство должно бы привести в отчаяние зрелую гимназию и зрелого наставника. Вот попался удачный термин: «зрелая гимназия». В том-то и дело, что *самые гимназии* и все наше *гимназическое воспитание*... виноват, обучение поразительно незрело; что оно в самом замысле своем, в пафосе, так сказать, в «парящем орле» над собою и «венце» своем, – отличается девятилетним возрастом; и, не выполняя нисколько *своего долга*, выполняет что-то не то университетское, не то гражданское, не то философское или, вернее, философско-культурное... Как старичок-младенец. Мне вот только что передана была тема, заданная ученицам IV класса одной из тифлиских женских гимназий: «Сравнить государственное устройство Афин и Спарты в связи с устройством демократической республики во Франции и конституционной монархии в Англии». Ну, не грех ли это Онана?!

Все эти вещи, – вещи такие же и параллельные, отразились в *непоправимом* обществе... Гимназия всякому своему гимназисту дает только охапку слов, им непонятых и по возрасту для него непостижимых; и способность всячески эти слова комбинировать, переставлять, сопровождать восклицательными знаками, вопросительными знаками и многоточиями... Всмотритесь же в общество, в печать, в литературу, политику, в «радикалов», «нищешанцев», «позитивистов». Несчастное детское общество, как состарившаяся дева, вышедшая на цветущий луг, с которым можно сравнить европейскую цивилизацию, – срывает и срывает не ею выращенные цветы и увивается мертвыми, засыхающими венками, которые только рельефируют ее беспомощность, старость и некрасивость. Шумящее, «лихорадящее», мятущееся, оно на самом деле есть покойник; ибо все составлено из чего-нибудь только чужого и постоянно чужого. С восклицательными около всего знаками. Это в нем – *метод гимназии*: не свои силы, а – «чужие слова». «Чужие слова» – душа русского общества. То есть это явно – *не душа*, а какая-то сколоченная *имитация души*.

Эта имитированная душа, имитированная оживленность, «надетые на себя» чужие чувства, подсказанные убеждения, которые «носятся в воздухе» и всякий их одевает, как те «общие сапоги», которые носила дворня

Плюшкина: не есть ли все это зрелище и очевидность общества, которое умерло так глубоко, как оно не умирало ни при Гоголе, ни при Грибоедове... Умерло (я думаю) окончательно и заснуло последним сном, потому что кто же пробудит счастливого и праведного, мудрого и ученого? А ведь ему давно грезится этот счастливый сон, что оно есть последний рафинад заключительного момента истории.

* * *

Таково порочное общество, развившееся из порочного гимназиста. Точнее: гимназия задержала «развитие дальше» приведенного в нее девятилетнего мальчика, девятилетней девочки. Замороженные в этих годах, но естественно «великовозрастные» по счету дальнейших лет, — они составили «возмужалое девятилетнее» русское общество, как будто бы все знающее, всем живущее, но на самом деле совершенно *неразвитое* и живущее всем, как *чужим*, как чем-то *не собственным*.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ НИГИЛИЗМ

Вероятно, не я один, посматривая на окна магазинов эту весну, читал с удовольствием обложку великолепной новой книги: «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке. Составил С. Р. Минцлов, секретарь новгородского статистического комитета, хранитель новгородского музея, член новгородского о-ва любителей древности. Новгород. 1911–1912 год». Выпуски I–V, от XII века до сего дня. Поставив мысленно ее в разряд книг к «непременной покупке», — я уже ранее «исполнения намерения» увидел ее пестреющую на столах всех ближайших друзей и знакомых: в самом деле, *кто* же сколько-нибудь образованный человек, а следовательно имеющий свою «домашнюю библиотечку» от сотен до тысячи и трех тысяч книг, не купит эту книгу *первой необходимости*, в которой он отыщет «разум и смысл» некоторых изданий, анонимных и полуанонимных, петровского, елизаветинского времени... И вот, наконец, приобрел, — и, конечно, уже сейчас же извлек пользу: отыскал «разум и смысл» нескольких книг своей библиотеки, о которых 30 лет недоумевал, «что это» и «кем написано».

Вот что говорит автор в объяснение появления своей книги: «Сотни тысяч книг стоят на полках главных обширнейших книгохранилищ русских. Много в них драгоценнейших сведений о прошлом; но не только обыкновенному читателю, интересующемуся той или другой эпохой, но и опытному историку часто невозможно бывает ориентироваться в этих безмолвных полчищах и отыскать хотя бы часть требующегося для них. Указателей к большинству периодических изданий, особенно старинных, не существует, а если и есть, то приходится перечитывать их от доски до доски, пересматривать сотни томов, — и все затем, чтобы выбрать из их числа два-три,

оказавшиеся нужными; про книги, выходившие отдельными изданиями, и говорить нечего: их – море, и, чтобы ориентироваться в нем, приходится прерывать ворохи каталогов книжных магазинов, устарелые библиографические работы и в результате в недоумении смотреть на строки, гласящие, что те или другие записки вышли в таком-то году в Москве или в Казани. А что в них говорится, о *какой эпохе*, о *ком* – для этого опять-таки надо пересматривать груды книг. Вот этот-то черный труд розысков всякого рода оригинальных документов и рассортирования их по эпохам я и взял на себя. Идея моя – дать полный свод указаний на всякие сказания о России и о русских людях, расположенный в хронологическом порядке так, чтобы всякий, желающий ознакомиться с тою или другою эпохой, мог сразу определить, кто именно писал о ней и где можно найти его сказания; мне хотелось извлечь из забвения весь цикл имен, затерянных теперь в пыльных рядах книг, отметить все отзывы современников об авторах этих документов и, наконец, кратко изложить содержание каждого документа... Помимо путешествий по России, сюда же включены мною и путешествия русских людей по Святой Земле, как содержащие материал для изучения религиозной стороны русского быта разных эпох: вошли сюда и некоторые летописи, вроде «Летописи Самовидца», являющиеся записками очевидцев».

Итак, автор идет по «*via sacra*»*, протоптанной митрополитом Евгением Болховитиновым, Сахаровым, Снегиревым, Погодиным, Барсуковым и всем сонмом «брадатых мужей», как бы стоящих «в великом выходе» на той солее, которая стоит перед нашим историческим алтарем, перед кремлями Москвы, Новгорода, Пскова, Нижнего и иных. Давно, давно следовало бы учредить особый орден «за ревность в науках» – благороднейшую ревность человеческую – и награждать им основателей музеев, библиотек, обсерваторий, физических кабинетов, собирателей коллекций, – и вот таких ученых, как Передольский, Саввантов, Максимов, Титов и настоящий, г. Минцлов. Два слова об археологии. Не знаем, как «археология Германии или Франции», но я замечал, чувствовал, *осязал*, в долгие годы собственного копания около древних книг, что есть *что-то теплое особенно в русской археологии, в русских древностях, рукописях, в книгах, в библиографии...* Они имеют свойство заражать и покорять, влюблять и убеждать; перед ними никакой нигилизм не выстоит. Этот шепот веков всероссийского кладбища, точно «с плакучими ивами» над собою, – вовлекает и уводит в тени свои, в доброту свою, в ясность свою, в «вечерний свет» свой – самого легкомысленного и самого непокорливого.

«Ну, вот, – думал, – министр просвещения, а уж наверно председатель ученого комитета министерства, как и редактор журнала министерства народного просвещения, наверно тоже, купив книгу, приветствовали автора ее благодарными и «поощряющими к дальнейшему» письмами. Ведь еще Карл Великий окружил себя учеными, поэтами и историками, а с тех пор

* Здесь: святая тропа (фр., лат.).

«прогресс все совершенствовался». Как вдруг получаю на четвертушке бумагу, которую перепечатаваю буквально:

«Министерство народного просвещения. Департамент народного просвещения. Разряд общих дел. 21 июня 1912 года. № 24853. Г-ну С. Минцлову. Ученый комитет министерства народного просвещения, рассмотрев составленную вами книгу *«Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке. Выпуск I. Новгород. 1911 г.»*, — полагал: рассмотренное издание признать не подлежащим включению в список книг, заслуживающих внимания при пополнении ученических библиотек средних учебных заведений. О таковом мнении ученого комитета, утвержденном министерством, департамент народного просвещения уведомляет вас вследствие прошения. За вице-директора (фамилию не разобрал вследствие росчерка). Делопроезводитель А. Мамонов».

Вот тебе и «медаль», вот тебе и «Карл Великий»! Бумагу уже «директор» не подписал, ни — «вице-директор», а за «вице-директора». А г. директор и вице-директор?! Сплюнули на сторону: «Какая-то книга». Конечно, это не то, что «дрова, которые на зиму закупают» для здания министерства: статья деятельности, гораздо более волнующая «всех там»... Дрова и, я думаю, ремонт здания, потолков, полов... Ах, эти ремонты казенных зданий: какая это важная вещь! Да еще «одобрения» учебников, от каких-нибудь фирм Полубояриновых или Салаевых, фирм-миллионщиков. Это не то, что «хранитель новгородского музея», — с таким миллионщиком поговорить интересно, его всегда примет в кабинете «сам» ли «директор», вице-директор, или «председатель комитета», или «влиятельный член» оно-го. Ну, и конечно, все «одобрит» и «разрешит».

* * *

Ну, «дрова» или не «дрова», — а только это — нигилизм, господа; нигилизм — *открытый*, на всю Россию. Министр реформирует радикальных профессоров, а лучше ли — сидят у него под рукою старички ученого комитета «с дровами и Полубояриновым». Что-то уж слишком странно: *запрещать русскую историю гимназическим библиотекам*?! Ну — запрещать ее подробности, ее частности, вот библиографию, вот сведения о литературе предмета! Боже мой, Боже мой: мыслимо ли это в Германии, в старой прекрасной Англии, во Франции с ее Дюканжем? Говорят, где-то теперь показывают приехавших в Петербург «совсем голых» дикарей из Африки: уж не «утка» ли это, не переодеваются ли большие «члены» больших «комитетов» по праздникам в «африканское платье», да, вымазав лицо сажей, не показываются ли потихоньку в садах, чтобы кое-что приработать?

А не сотворить ли, вместо «медали», такую молитву или такое лишнее «прошение» в ектению: «Господи, избавь нас от чиновника, от тли, тарантула, скорпиона и всего нечистого»? Вот уж усердно скажут молящиеся: «Поддай, Господи!»...

УРАВНЕНИЕ ПРОГРАММ

Это какой-то рок: среднеазиатским озерам пересыхать, а министерству просвещения все повторять шаблоны. Напр., один шаблон:

1) учителя должны быть «в скорби»: дни их и годы должны проходить в нищете, унижении и рабском страхе перед начальством.

То сколько лет ни писали об этом, стонали, просили, пели акафисты, в тайне проклинали и ненавидели, – все ничего не помогало. И только этот год «воспоследовало улучшение», хотя, кажется, и по сей день никто еще не получил жалованья «по новому положению». Но, наконец, этот шаблон, – после девятилетних усилий всей печати и всего общества и *при отсутствии откуда бы то ни было противодействия*, – наконец сломен. Теперь о нем нечего говорить, и я хочу обратить внимание на другой шаблон.

Министерство почему-то думает, что

2) *растить ученика – то же, что класть дымовую фабричную трубу.* «Кирпич на кирпич и т. д.». Те же законы, правила, дух. Тот же метод.

«Клади дальше, клади дальше!» «Еще ряд!» «Все вверх!»

Это очень хорошо для трубы, но не так хорошо для человека.

* * *

Такое совпадение: всего на днях я выслушал (уже в передаче третьих лиц) рассказ, что вот эти последние годы в одной семье было три дочери: окончив курс гимназии, старшая девочка умерла в чахотке, вторая дочь захворала воспалением головного мозга, после чего третью дочь испуганные родители не отдали совсем в гимназию.

Факт так обыкновенен (хотя неизвестен министерству просвещения, не интересующемуся «дальнейшею судьбою воспитанниц», по выходе из гимназии), что я не спросил ни о подробностях, ни от кого идет слух. Только прочитав в газетах, что «министерством просвещения решено сравнять программу женских гимназий с мужскими», – я переспросил о слухе и узнал точный источник. Идет сообщение от женщины, не имеющей никакой вражды к школе и собственный сын которой легко кончил гимназию, здоров и цветущ. Да, – но ему все давалось легко, он явно талантлив, и талантлив именно *учебными качествами ума*, – *памятью и математическим соображением*, при которых вообще всякий курс гимназий – и теперешний, и гораздо труднее, если бы случилось, одолевается и одолевался бы легко. Эта особая *учебная форма ума*, отнюдь не творческая, но *легко и точно отпечатывающая* в себе все услышанное (объяснения в классе), все читаемое (задаваемые уроки), – форма ума будущих инженеров, будущих адвокатов и т. д., – попадает у учеников приблизительно в размере 10-ти на 100. Так я наблюдал, будучи учителем: и эта группа отчетливо выделяется. Но не для нее, собственно, а особенно *не для одной ее*, существует гимназия. Отметим, что эта группа именно *воспринимающая*, а не *творческая*, и в нее не войдет будущий *настоящий* поэт, настоящий худож-

ник, настоящий музыкант, настоящий писатель, настоящий священник, даже настоящий ученый и профессор, которые все уже *не отпечатывают*, а (сами) *делают*, создают, выдумывают, фантазируют, так или иначе *сотворяют из себя*. Но я и (отнюдь) не об этих умах говорю. Я говорю о стране, о России: *гимназия*, мужская, как и женская, *есть среднее учебное заведение, через которое проводятся дети всего населения* «немножко повыше», говоря обобщенно; т. е. всего, что не задыхается «до последнего» в ежедневном труде, всего, что не «идет за сохою» и «не шьет сапоги» и не «стоит за корытом». Хотя детей прачек, кузнецов и сапожников, и отличных детей, отлично учившихся, я учил, помню, в бытность свою учителем. Наша русская гимназия очень демократична, и через нее проводится весь городской слой, «чуть-чуть повыше дворника», — и это уже *так пошло, так принято*, и всякий коллежский регистратор, как и псаломщик, или их вдовы, еле-еле существующие, умерли бы *от стыда* — *перед собою*, ограничься они для детей только городским училищем и не отдай их «в гимназию» («в эмназию», — говорят в таких семьях). В страшном упоре этого стремления я вижу и некоторую доблесть, как вижу доблесть во всем сильном, настойчивом, — при нашей всеобщей и в других областях бесхарактерности, уступчивости, зыбкости. «Хоть что-то nibудь твердо стоит», «хоть что-то nibудь твердо направилося». Стремление это, как я наблюдал в учительские годы, отнюдь не утилитарное и идет не по мотиву: «Сын (или дочь) выйдут в баре», «будут сладко есть и получать много жалованья», а совсем по другому и очень человечному мотиву: «Дети мои — *как и все*, и если не способнее всех — пусть и уступают в жизни другим, способным и талантливым; а если не уступают и такие же, как все, если они никого не тупее, то пусть идут в *соревнование со всеми*». В «соревнование» отнюдь не в благах жизни, а в работе: этот мотив отчетлив. Тут «будущая должность», будущее «служебное положение» отнюдь не вырисовывается, а вырисовывается «служба отечеству», «работа отечеству»: и вот от того-то это течение и нельзя одолеть, и не следует с ним бороться, что оно очень доблестное и в нем выражается прекрасный гражданский дух, исторический дух. «Будет сладко есть» — никогда не мечтается; «сделает открытие» или «совершит подвиг» — всегда думается в последней семье бедняка, ремесленника, чиновницы-салопницы на 25-рублевой пенсии. И, вообще говоря, эти «дети *из последних*» хорошо и легко учатся. Теперь сейчас перекиньтесь отсюда к другой стороне: раз уже *все двинулись* в «эмназию», все *сюда устремилося*, раз «через гимназию» весело и радостно идет вся страна, — каково положение тех несколько устаревших, несколько истощившихся в большом или в крупном историческом труде, в общественном труде семей дворянства, чиновников, ученых, писателей, музыкантов и т. д. и т. д., дети которых по естественному закону представляют несколько истощенную почву. Я не забуду, в Ельце, этого ужасного впечатления: вот к весне «ожидают в приемной классного наставника» маленькие, худенькие, скромно одетые дамы: и едва выйдешь — у нее уже слезы стоят в глазах. «Сын *по математике* не успевает»,

«сын по древним языкам не успевает», — и предстоит «исключение». Это о семиклассниках, о восьмиклассниках. Спросишь фамилию: увы, это были *все сплошь* дети дворян, местных землевладельцев! Вспомнишь и учеников: тихие, не дурные. Отнюдь не глупые, не тупые, не идиотичные: но, что делать, «плохо решают задачи на составление уравнений» или «не могут одолеть синтаксиса греческого языка», да и этимологию никак не удерживают в памяти. Я знаю, хищная демократия, особенно из литераторов, сейчас восклицает: «А, — к чёрту! Папаша их были помещиками и издевались над нами, пусть же дети почистят у нас сапоги». Отнюдь не вся демократия это скажет, благородная демократия этого не скажет, но хищная, вот располагающаяся завтра «*сесть в баре*», особенно будет восхищена мыслью, что именно «дворянские-то дети» и «почистят у них теперь сапоги». Есть общий закон истории: что крупный общественный и государственный труд, как равно яркое художественное или поэтическое проявление, вообще яркая и мощная жизнь «отцов», жизнь отнюдь не распушенная или развратная, не «алкогольная», — как бы вытягивает соки из отца-производителя и дает потомство несколько ослабленное, нуждающееся в (историческом) отдыхе. Примеры: царевич Алексей Петрович после Петра Великого, Федор Иоаннович после Иоанна Грозного; равно потомство или вовсе беспотомственность Цезаря и Августа. Но, окинув всю панораму истории, мы не можем и не должны забыть, что это поле есть не только поле зоологии, но и *справедливости и благодарности*. Благодарность к «отцам» обязывает в отношении детей: конечно, нельзя и разрушительно было бы давать им что-нибудь большое, но дать уют и уважение им — мы должны. Без этого вся история обращается в свинство и неблагодарность. «Дети Толстого» или «потомки Пушкина» и Достоевского могут быть и не талантливы, но все-таки «это — дети Толстого» и «потомство Пушкина»: и было бы грубо и беспощадно, если бы их толкнули, оскорбили, не дали «среди себя» места, и места уважительного. Вот с этою-то стороною истории и сталкивается программа гимназий. Я теперь оставляю великие имена и обращаю внимание только на положение страны, классов, сословий. Раз уже «последний» проходит через гимназию, и сюда все «двинулось», и это стало неодолимо: как вы допустите, как исторический и государственный разум страны, разум России, может допустить, чтобы программа этой гимназии была такова, что ее не может одолеть «правнук тех Тургеневых, которые» и т. д. А, поверьте, они очень и очень «не могут одолеть», даже теперь, не говоря о каком-нибудь увеличении программ. У меня сейчас щемит душу воспоминание: отвечает по географии (у карты) урок Б., внук знаменитого в летописях русской науки математика. Это был чудный по воспитанности и благородству мальчик, — и способностей не менее как средних. Но у него, бедного, не было памяти, ну, вот, на эти *имена*, разные «Гвадалквивиры» и прочие заштатные глупости. И вижу: он мямлит; всматриваюсь и вижу, что он мямлит оттого, что выжидает минуту, когда «учитель не смотрит», и тогда, перевернув руку, потихоньку читает на ладони написанные там имена «Гвадалквивиров» и проч. Я отвел глаза, дал ответить «по ладони» и, конечно, поставил — «3», а жалею, что не «4». Кому они нужны, эти реки

Испании; влюбится в «дуэнью» – ну тогда и вспомнит «Гвадалquivир». Это – «к делу». А «без дела»... Но, Боже мой: три четверти гимназической программы (*мужских гимназий*) решительно «без дела», и собственно вставлены учебным начальством по закону «кладки трубы фабричной», чтобы «все выше», и с *тем единственным оправданием* перед страной и перед разумом, вероятно и перед собственной совестью, что это ведет к *общему развитию*. Но как я объяснил уже ранее, «кладка трубы» вообще ни к какому «развитию» не ведет, ведет к развитию единственно «безалаберное чтение» учеников, весьма непоощряемое: зачем же ученик Б. страдал, унижался, *впервые учился обманывать* (это ясно было видно в чрезвычайно благовоспитанном мальчике)... К чему весь этот *прямо ужас!!* Воскресите тела Ушинского-Ильминского, Пирогова, Стоюнина, спросите всех этих благородных сотворителей *русского училища* об этом примере: и они все, закрыв лицо руками, скажут: «Ужасно! Неужели для этого мы работали, страдали, боролись?!»

Первый обман – всегда в гимназии!

Первое: «Я испугался и солгал» – всегда из-за «невывученного урока» и которого «не было сил выучить»; и это всегда – в гимназии!

О, не через «трудные программы» проводится в гимназиях все население страны. Программы не должны быть трудны, – но *по силам* и, главное, *по возрасту и по психологии возраста учеников*. Выходит так, что все население проводится впервые в гимназиях через *страх, подлость и ложь*. Это так страшно сказать, и между тем это такая правда. «На смотру» и «параде», будьте уверены, «скроет фальшь в шагистике» первый офицер, первый генерал, – совершенно доблестный: то как вы скажете, чтобы мальчик 13 лет, для которого «отвечанье урока» есть тот же «смотр начальства», – не обманул, не сфальшивил. И так как это – «из страха фальшь», то каким же именем это назвать?! Да: они «зреют» для аттестата; но одновременно они умирают вечною смертью как «гражданин», «деятель», «герой». Ибо, уж конечно, «с фальшью для вида» – во все эти достоинства не пройдешь!

Ну, да, – я понимаю, можно обмануть, спасая царя от поляков (Сусанин) или когда Екатерина спасла Петра Великого, окруженного турками на р. Пруте, но, извините, обмануть ради «реки Гвадалquivира», на берегах которой «он, может быть, будет петь романс», – это глупость. И вот все-то обманы в гимназиях происходят ради таких глупостей, а еще точнее: ради того, что министерство, *оставив неисполненную главную задачу школы – воспитывать*, кладет и кладет «трубу далее», все «далее», и все одну «трубу», как какую-то тупую «вавилонскую башню», которую, – оно может быть уверено, – никогда «до неба» не достроит. И сама развалится, да и не дадут достроить: *ибо в педагогике этот механизм понимания всего дела – преступен*. Пусть в каком-нибудь «Уставе» гимназий пропишут всеми буквами по белому полю бумаги: «Все Гвадалquivиры должны быть запомнены и отвечены к 18 годам, – хотя бы обманно и читая с ладони», и все рассмеются, вся страна скажет: «Не надо». И прибавят: «Да это вовсе и не образование, и не воспитание, а просто – труба».

Кроме двух девочек, одной умершей от чахотки и одной умершей от воспаления мозга, кроме мальчика Б., — я могу привести в пример свою сестру Веру, умершую тоже от чахотки года через полтора по окончании, и хорошем окончании, курса гимназии. Вот почему министерство просвещения *не составит статистики умирающих в первые два года по окончании гимназий*, — и *от каких болезней?* Это было бы интересно, а характер болезней показал бы кое-что... Но оно не искренно, это министерство, — и всегда было не искренно. Из памятных примеров я помню еще ученика Бориса Г-ва: он был крошечный, тихий ученик, и все, с первого класса, шел первым. Когда раз я ставил ему «3», он схватил меня за руку со слезами: «Не ставьте». Это в первом или во втором классе; когда я, удивленный, спросил его, в чем дело, бедный сказал мне: «Папа нас порет за тройки». Буквально. Отца я знал, он был строгий и сам чрезвычайно трудолюбивый человек, очень многосемейный. Отец *сам боялся троек*, помня продолжительность курса и предвидя, что с «тройками» в первом и втором классе — можно *и не кончить курса*. Словом, тут не было жестокости, а только *очень серьезный взгляд на вещи, на будущее*. Что же, однако, случилось: другие сыновья этого Г-ва не захирели; но именно этот, самый первый его сын, классу к пятому захирел, силы все подрывались, и он, проведя все детство в ужасном учебном страдании, едва-едва, учась уже всегда только «на 3», — окончил курс. Он весь был изуродован, «отцветя, не успевши расцвести». Вот эти бледненькие, измученные лица учеников — они есть в воспоминании каждого учителя, но порасспросить об этом учителей министерство никогда не догадается, как и навести статистику о болезнях. Теперь я возвращаюсь к исходу рассуждения: отчего же так мучат детей родители? Родители сами в муке: вся страна «идет радостно через гимназии», без «гимназии» уже никуда нельзя деться мальчику, девочке; без гимназии — это «срам»: и вот дети именно родителей выдающегося общественного и служебного положения, выдающихся умственных сил, «именно как раз они» — тянутся, лопаются на пути и не успевают. Не успевают не всегда, но в очень большом проценте. Сказать коротко — ничего, не ужасно: но видеть изо дня в день, из вечера в вечер, как у юноши или у девушки, *с чувством ответственности*, — и этот день «голова болит», и завтра «голова болит», и они сидят над «биномом Ньютона» уже далеко за полночь, а у родителей уже мелькает тревога о «малокровии мозга», об «истощении мозга», об «истощении всей нервной системы», а сзади гонит нужда: «Срам не кончить гимназию» — это зрелище *вот дома, в детских комнатах*, до того ужасно, до того уныло, до того, наконец, оно греховно, и именно *против здоровых задач воспитания греховно*, — что и сказать нельзя...

Явно, что именно потому, что «через гимназию все теперь двинулось», — курс гимназический должен быть поставлен очень твердо, очень развивающе — но отнюдь не высоко. Это совершенно допустимо и возможно, так как, согласно сделанным объяснениям, «труба, будучи дальше проложена» — *не развивает*. Нужно совершенно переменить все приемы преподавания: и

тогда теперешнего умственного развития учеников и учениц VIII класса совершенно можно достигнуть, кончая курс приблизительно на курсе V или VI классов, но этот курс «разрабатывая с учениками», а не задалбливая и не «натаскивая» на них, торопливо и через силу.

Всякому учителю известно и всем родителям известно, что теперь, вследствие величины программ, «курсы» *пробегаются*, а не *проходятся*; они – *хватаются*, а – не *усваиваются*. И от этого у каждого ученика пирамида знаний высока: но она, уже начиная с первого класса, – *скверной кладки*, и от этого вся шатается, в середине, в фундаменте, в каждой точке. *Твердых знаний в гимназиях не существует вообще*: это совершенно очевидно из следующего. Пусть ученик или ученица выдержали экзамен, хорошо или отлично. «Отлично» – значит «твердо»? Но каким испугом, какой бледностью покроется лицо каждого выдержавшего, если ему сказать: «В августе придет сюда знатный ученый, и нам хочется ему показать знания наших учеников; поэтому через три месяца вы вторично ответьте перед ним ваш *твердо усвоенный курс*». Боже мой – «твердо усвоенный»: если я сейчас, а вернее, двадцать лет назад «твердо усвоил», например, сочинения Достоевского, например, реформацию, да и вообще что угодно, то я отвечу все это «твердо усвоенное и понятое» ровно так же, как тогда, 20 лет назад. Все «усвоенное и понятое» – *никогда не забывается*, ибо становится *органической частью души*. Отчего же ученики побледнеют и задрожат: они, бедные, ничего не усвоили; они, бедные, ничего не знают иначе, как «к ответу» и на сегодня (день экзамена); и души их никакими «органическими частицами» не увеличились, а суть такие же маленькие и пустенькие, как в классе 3 или 4!! Ученики – *вообще ничего не знают*: это педагогическое открытие, которое удивит и министерство. Но это – совершенно *так*, ибо для «знающего» хоть двадцать раз передерживать экзамен – все равно, а ученики все дрожат при мысли о «вторичном экзамене». Явно, что «отлично выдержанный экзамен» был на «фу-фу», случаем, – «в азарте и нервах» и «от снисхождения и невнимания экзаменатора». И, по строгой оценке, *ничего дельного в себе не содержал*.

«Ничего дельного при страшно высокой трубе» – это и есть *суть* и *образ* гимназического учения, с которого явно надо снять верхние кольца «трубы», в то же время нижние кладя гораздо *лучше, основательнее, медленнее*. Известен ответ Александра Гумбольдта, который он дал при посещении России, когда ему показали программы наших гимназий: «По этим программам я не мог бы выдержать экзамена». Александр Гумбольдт был первое светило науки своего времени, а показаны ему были «программы» всего только старой «уваровской гимназии», 40-х годов, после которой «трубу» все клали дальше и дальше. Что ответ Гумбольдта не был случаен или шутлив, можно судить из того, что когда была показана «предполагаемая» (и потом *введенная*) программа русского языка и словесности Ф. И. Буслаеву, – то он о $\frac{3}{4}$ ее сказал, что «этого в гимназиях вовсе не нужно проходить». Он, такой знаток древней словесности, такой *влюбленный в нее чело-*

век, — предложил исключить почти все памятники «словесности» XV, XVI и XVII веков, находя, что *по серьезности и непонятности для юношества* — это суть предметы университетского преподавания, а отнюдь не гимназического!! Святая истина: да, конечно, старшие классы гимназий захватывают собственно *начала всех факультетов университета*, и через это гимназия вторгается *не в свою область!!* В этом все и дело. Но «башки не хватит» на все факультеты, и словесный, и математический, — с *их совершенно различным методом, различным духом* и требованием от мальчика и девочки совершенно *различных* и частью *несовместимых талантов*, как, напр., талант лингвистический и талант математический. Тут мы и попадаем почти в корень дела: даже у настоящих ученых, у талантливых профессоров, мы не находим, чтобы хороший математик *был в то же время и лингвист* или хороший лингвист *был в то же время и очень недурной математик*. Обычно, даже всегда — лингвист есть «швах в математике», а математик — «швах в филологии». Этого не может не знать министерство, это — азбука дела и очевидности: отчего же *только* у девочек в 17 лет и у юношей в те же 17 лет министерство предполагает эту *универсальную совмещенность?!!* Притом — требует со всей России, сплошь. Тут что-то глупое до преступности. Несовместимое у ученых, у старцев, — почему будет совмещаться у учеников, у юношей?! Вот какую «тянет резинку» министерство: и удивляться ли, что эта резинка «лопается», а еще далеко до лопанья — *тянется неизбежно с обманом!*

Явно, что при стольких языках нельзя проходить *столько* математики.

А при «столькой» математике потрудитесь убрать языки.

И тоже — «богословие» и литература. В элементах — согласимы, способности еще «тянутся»; но уже очень скоро «согласованность» исчезает, и которая-нибудь нить обрывается.

Вот почему скорее уж мужские гимназии, сохраняя те же восемь или, гораздо лучше, семь лет учения, должны быть упрощены и сокращены до уровня женских гимназий, нежели чем женским гимназиям усложняться до мужских. Но, конечно, такое «преобразование» было бы слишком просто и грубо, — и мы упоминаем о нем лишь в виде примера. На самом деле, какой мотив *непременно уподоблять мужское и женское среднее образование?* Это — тот же механизм преобразования, «чем больше — тем лучше», без всякой души и смысла. Мы к этим мотивам *униформности* — вернемся еще.

ПЕРЕД ЗАДАЧАМИ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

...Да, если бы *мальчикам-гимназистам* приходилось по *окончании курса* сейчас принять на себя те обязанности, которые в 80 процентах выпадают на долю *девочек-гимназисток*, — то, пожалуй, «уравнивайте их программы». *Одинаковая ноша* — потом, пусть будут и одинаковые *плечи, сила, под-*

готовка – предварительно. Тут важно не «как мыслит министерство», а «как мыслит страна, народ, Россия». Мыслит и *предполагает*, мыслит и *планирует*. Но, позвольте: *вся страна*, конечно, мыслит, что девушка между 16–20 годами становится за великое «тягло» семьи, хозяйства, домашней экономки, домашней гигиены, сбережения мужа, рождения и выращивания детей, с их мелкой, но *страшно важной* физиологией, психологией. Это – целая наука; помилуйте, – это целый мир наук! Это – целая *культура*!! Отсюда-то все народы начинают произносить первый «Аз» своей цивилизации, истории, быта, всего-всего решительно! Здесь зарождается *первая и настояще-серьезная молитва*; здесь сберегается *первый рубль*. «От рубля и до молитвы» мир этот включает решительно *все, полную* цивилизацию, но лишь в *миниатюре*.

Как же министерство к этому «тяглу» отнеслось?

Никак. Забыло о нем.

А страна?

Ежечасно и еженощно о нем вздыхает.

Мука министерства – просто «ничего» для страны.

А мука страны – совершенно «ничего» для министерства.

Согласитесь, что это в высшей степени странно; нельзя не заметить, что если родители посылают дочерей в гимназию, то «как для примера» и потому еще, что «все делают». Ну, «общее течение» таково. Но *кровной связанности* семьи с женскою гимназией вовсе не существует. *Индивидуально* ни одной семье женская гимназия совершенно не нужна; не нужна, так сказать, «до зубовного скрежета» (*это – и показывает все*). «Будущему инженеру» математика до такой степени нужна, что он стену вышибет лбом, чтобы ее получить; но «будущей матери семейства» объясните, пожалуйста, что дает женская гимназия.

Ну, вот, ответ:

– Да, на утренней молитве (перед уроками) начальница бывает, но ни один учитель не бывает, и инспектор тоже не бывает.

Позвольте: как же «будущая хозяйка» потребует от прислуг, чтобы они «становились на работу *вóвремя*», напомним мужу, чтобы он не *запаздывал* к службе, и как скажет детям, чтобы они «к чаю являлись *своевременно*», когда у нее нет идеи и *привычки* вообще «*вóвремя*», «в срок», и даже идеи и привычки «*порядка*»?!

А это – «Аз» воспитания. Конечно, *воспитание* важно и для мальчиков, но для девочек, именно ввиду будущего «тягла», – с *воспитания* все начинается, без воспитания – *вообще ничего нет*.

А как оно поставлено в женских гимназиях?

– Никак.

Что о нем думает министерство?

– Ничего не думает.

Да, конечно, есть «надзирательницы» и «классные дамы»: с обязанностью следить, чтобы не происходили «невозможные шалости», потасовки,

драки и т. п. Это – отрицательная сторона деятельности. А где же положительная?

«Не пришла на ум» министерству.

Конечно, «порядок во всем» требуется и мальчику, он потребуется от мужчины. Но опять огромная *разница* с девочками: от мужчины *потребуется порядок*, «своевременность» и «срок» ему будут *указаны*, и вообще форма деятельности и труда – *дана*. В «порядок» он войдет *пассивно*, – *повинуясь* ему. Совершенно иначе девочка как «будущая хозяйка дома»: она *заводит* порядок, и «завести порядок» – ее долг и идеал. Это активное отношение к «порядку», – отношение приказывающее, требующее, наконец, отношение, указывающее самой иметь предварительно «*план* порядка в голове», – совершенно иное, нежели у мальчика и мужчины. Девочка – «генерал» порядка, мальчик – «нижний чин» в порядке и его великой категории. Как же девочки приучаются к несению этой великой миссии в жизни и в истории?

Министерство отвечает: «*Как мальчики*».

Как те естественно несколько «бунтари *против порядка*», с вечной внутренней войной «*против дисциплины*», какая присуща всякому «нижнему чину» и вообще лицу *повинующемуся, пассивному* в отношении идеи и факта порядка.

* * *

Возьмем – одежда, внешность. Быть распушенным, небрежным в ней – «простимо» для мальчика и иногда даже нравится в нем. «Нет этой преждевременной занятости собою», – говорим с любовью о гимназисте с вихрами. Но что представляет собою «распушенно одетая девочка», и даже «девица», – этого не нужно, к счастью, объяснять. Кроме министерства просвещения, для всякого понятно, что это в девочке и девушке есть *гадость, нестерпимое*. Между тем «вихрастые девицы» в гимназической форме не редкость сейчас. «Пуговицы не застегнуты, а на голове чудовищный бант» – не редкость. Теперь обратим внимание на следующее: министерство дало гимназисткам ту однообразную *на восемь лет* форму, как дало и гимназистам, серьезно воображая, что «гимназистка и гимназист – *одно и то же*, ибо *оба учат одну алгебру*». Заметьте, большую чуткость к одежде уже в ведомстве императрицы Марии, где форма на протяжении курса *меняется три раза* и где не исключен красивый *голубой цвет*. Это – очень важные мелочи. Перейдем к общему: да если с «расстегнутыми пуговицами» гимназистки нацепляют на голову все-таки «чудовищный бант», то это в них «натура кричит», та «разница» между девочками и мальчиками, *не различать* которую поставило себе задачей министерство, но которую оно может *именно только «не замечать»*, а *одолеть* ее ему никак не удастся, и было бы поистине горе, если бы когда-нибудь удалось. Это – *слава Богу*, что девочки и девушки относятся к одежде не как мальчики и юноши! Но «слава Богу» здесь надо культивировать, направить и воспитать. Нужно этим *воспользо-*

ваться, это *обработать* и это *продолжить*. Сорвите (как готово бы министерство и как оно отчасти сделало) все «бантики» с девочек, — и вы их возмутите, оскорбите, обозлите. И, все-таки, *не смиритесь*. Это есть вечное и прекрасное в женщине, во взрослой девушке и в девочке, — «нравлюсь ли я?» — «хороша ли я?». Вопрос этот — принадлежность пола, выражение пола; без этого вопроса девочка так же ненатуральна, как если бы у нее росли усы. Ей-ей, министерство ничего не делает с гимназистками, как только «делает накладные» (уравнение программ). Правильное воспитание, *специально девичье воспитание*, должно не подавлять инстинкт «нравиться», а направлять его в благоразумное русло — «нравиться скромным», «нравиться через *деликатное*», «нравиться через женски-целомудренное и возвышенное». Совсем другие идеалы — идеалы, которых совершенно нет у мальчиков. Может быть, я что-нибудь объясню министерству, если скажу, что с гимназистками оно делает те же неприятные, антипатичные усилия, какие бы у него вышли, если бы оно *женоподобило* своих гимназистов, заставляло их душиться одеколоном, помадиться помадою и фабрило им «красиво» усы. Это было бы *нестерпимо!* Почему же министерство не поймет, что именно такое «нестерпимое» оно устраивает с гимназистками, заставляя их: 1) зубрить алгебру, 2) ходить без банта, 3) почти в «серой походной шинели» (тусклость формы) и, вообще, быть 4) «господином-товарищем».

* * *

Самые *предметы* должны быть не те: я сказал, и никто не может этого оспорить, что завтрашней «хозяйке дома» потребуется целый мир знаний, мальчику *никогда* не нужный, и понадобится целая система навыков, привычек и вещей «к неременному исполнению», которые юноше и мужчине даже на ум не придут! И все это «понадобится» властно, «безотлагательно», чего если «нет» — то «уж лучше бы вы не брались за обязанности хозяйки дома». Помилуйте: *кассация* всей судьбы, всей будущности! Легко ли это для родителей? — для министерства — «само собою, легко». Что же оно делает с «женским воспитанием» *в укладе всей страны? В хозяйстве всей страны? В плане истории?*

— А черт бы его драл, план истории, — скажет министерство.

— Позвольте, это *преступление*, — ответу я. — Конечно, «Акакий Акакиевич» не обязан знать «план истории», но *орган государственного управления*, каковым является министерство, *обязан* знать «план истории». Обязан, или — его *заставят*. Не сегодня, не завтра, не правительство, так Дума, а то общество и вообще родители, но — *заставят*.

Ей-ей, книга «Люди лунного света» (мое сочинение) не плохая книга: без нее и разъяснений, которые в ней сделаны, совершенно нельзя понять некоторых явлений истории; или, точнее, нельзя понять некоторых «образующих линий» всемирной цивилизации, вот как есть «образующие линии» в пирамиде и ее начертании. Между прочим, «учебные планы» министерства и вот теперешнее «уравнение программ мужских и женских заве-

дений», с этим упорством и неодолимостью тенденции, находят, так сказать, «свое место» в истории, будучи подведены под свет этой книги. Что такое это «уравнение», эти «программы»? Откуда эта «труба, которую класть бы все выше и выше» (длина программ)? Да то, что министерству действительно не приходит на ум, будто девочки-гимназистки, т. е. дочери всего образованного и полуобразованного класса в России (какая масса! какая громада!), по выходе из гимназии в огромном количестве, в преобладающем числе примут на себя «семейное тягло», станут к хозяйству, к мужу, к детям с той же невольностью и естественностью, как спартанец «брался за оружие», как чиновник «берется за бумаги», как крестьянин «берется за соху» и всякий ремесленник «за свое ремесло». У всякой девочки (кроме исключительных) есть свое «ремесло в мире»: это — ремесло «быть семейнинкой». Но будьте уверены, — и вот это-то разъяснено в «Людах лунного света», — эти всемирно известные и всемирно требуемые вещи не только неизвестны особым существам, именуемым в медицине «урнингами», но они «и вообразить себе не могут этого», «и поверить не могут тому», чтобы это было кому бы то ни было нужно и кому бы то ни было интересно. И притом «поверить не могут» (и это-то и разъяснено в «Людах лунного света») не за себя только, не только от своего лица, но — и за весь мир, от лица всего мира. Всякий ведь судит о вещах на фундаменте своей натуры; личная «натура», «натура» физиологическая — и есть те «темные идеи», о которых говорил Лейбниц, те «смутные представления», о которых шел философский спор в XVII веке и которые представляют настоящий центр управления нашими светлыми, дивными, так сказать, «официальными идеями» и мыслями. Но «урнинги» (их, по медицинской статистике, приходится приблизительно три на тысячу человек) имеют то особенное в своей «натуре», что в них полы еще как бы не разделены, или — уже слиты, а во всяком случае они не нуждаются, как прочие все люди, ни в каком дополнении себя до цельного полного человека, ни в каком, следовательно, сопряжении или супружестве, ни — в малейшей семье, и вообще они выпали из «столбика» генерации, «родителей и детей»; они суть «выкидыши на сторону», суть каждый — человек-solo, один и единственный, сам и для себя. На них вообще не обращалось внимания как на «курьез», — «случай» или «извращение»: и только в моей книге впервые показано, что эти «выпавшие» отнюдь не случайное явление, а законное, необходимое и вечное в текущем и вечно волнуемом поле, переходящем в напряжениях своих от нуля или полного «покоя» вот этих урнингов — до бесконечности (полигамические и полиандрические инстинкты). Далее показано, что никакого «извращения» или «болезни» в них нет, так как кроме полного здоровья и достижения до глубокой старости — они еще отличаются, почти сплошь, высокою талантливостью в подвиге жизни, в общественной и государственной деятельности, но преимущественно в науках и искусствах, в поэзии и литературе. В древности к ним принадлежали Цезарь, Сократ и Платон, — люди довольно даровитые и отнюдь не представлявшие собою «клиничес-

кой картины». Вообще тут ужасно напутали медики и юристы, они-то и «извратили» все общественные представления об «урнингах». Сейчас скажу о своей книге: в ней показано, что наш «пол» вообще течет, есть громадное мировое течение, наподобие океанических течений, так и явления «урнизма» или категория «урнингов» не представляют собою «постоянной величины» и, так сказать, «одного портрета», но образ «урнинга», фигура «урнинга» постоянно меняются, почти в каждом индивидууме, ослабляясь и усиливаясь в своей сущности, от «не могу вообразить брака» до *«все-таки вступаю в брак»*, *«не охотно — но вступаю»*, *«равнодушно выхожу замуж»* или женюсь и, в конце концов, становлюсь отцом-матерью и т. д. Но все это — *неохотно, охлажденно*. В том вся и суть. Вот этих-то степеней *первого, раннего* урнизма никто и не изучал, никто на них не обращал внимания, тогда как роль его в истории — колоссальна. В истории и в обществе. Это — первые начинающиеся «плохие семьянины», а в женщинах — «худо ведущие хозяйство», не умеющие «построить дома» (в идейном смысле), плохие домоводки и — вместе *талантливые общественные деятельницы, ученые, художницы, артисты*. Дело-то все и заключается в *таланте*: урнинги решительно придают блеск обществу, сообщают ему живость, интересность, глубину мысли, разнообразие начинаний и подвигов. Роль этих «плохих семьянинов», не женившихся потому, что было «некогда» или «забыл» (слыхал этот мотив от больших государственных людей), «равнодушных» в семье и к семье, невнимательных к женам и детям и, вообще, *дома — отрицательных*, роль их в культуре и цивилизации громадна, неизмерима... Вспомнить только Платона, Цезаря и Григория VII Гильдебрандта (*типичный урнинг*), организатора папства и католичества...

Вот тут «все наше министерство просвещения» и получает свое «место»... Оно все трудится для «урнингов» и их «успехов», обольщенное тем блеском, какой проявила уже наша русская, да и вообще европейская женщина *«вне семьи»* или — *индифферентная в семье, типичная семья-разрушительница*, типичная, невольная и невинная. Просто — «не надо». «Не надо» семьи будущему адвокату-женщине, архитектору-женщине (есть уже), хирургу-женщине (тоже есть), профессору-женщине, женщине-писательнице, женщине-скрипачу (есть). Семья для них, *если и заведется*, — «побочное», *придаток* жизни, а не ее *стержень*. Но, позвольте, есть, однако, и *стержень*, и для него нужно — *ученье, школа*. Вот чего «совершенно не пришло министерству на ум». Не пришла на ум «вся страна», — *домоводки*, а не *гражданки*. Его явно надо остановить, потому что оно находится явно в безумии. Как забыть *всю страну*? Как забыть *домоводок*, из которых каждая, даже единичная, колоссально важнее Софьи Ковалевской, ибо без «Софьи Ковалевской» и даже без «Григория Гильдебрандта», наконец, без Цезаря и Платона мир, *только несколько иначе*, все-таки же существовал, жил, был счастлив и устойчив: а без «миллой домоводки», которая и сама скромно, изящно одета, и детей в воскресенье поведет нарядно в церковь, и причастит их, и около которой вечером соберется в «уют» ее не гениальное, но

добропорядочное общество, без этой «обыкновенной фигуры», почти без имени и лица, или с самым обыкновенным именем и лицом, — *мир не стоит, мир разрушился*, пали царства, развратились воины, рухнули церкви... Все — *она*, все — *из нее*; она родила и Гильдебрандта, и Цезаря, она родила благородных Гракхов, она выходила («благочестивая Моника») великого бл. Августина. Как же можно это забыть «ради Софьи Ковалевской», которая сделала «такую честь нации, что читала лекции в Стокгольме». Но эти ее «лекции» совершенно никому не нужны и никому не интересны, там ее мог заменить в этом месте всякий тапёр науки. Но кто-то должен был *воспитать* Петра Великого, кто-то должен был *воспитать* бл. Августина. Вот на этом месте, родительницы и воспитательницы, уже никто женщину не может заменить, за нее не сделает ее дело ни Ньютон, ни Гильдебрандт, ни Августин, ни Петр Великий. Это место прямо *царственное*, по его именно *незаместимости*. Позвольте, школа имеет свой *гипноз*; она тянется *восемь лет*, она обнимает самые *впечатлительные годы*: и какова «в годы формирования» — такова женщина остается на всю жизнь и потом. Но сейчас «гипноз женской гимназии», а особенно гипноз ее тогда, «когда *программы уравниваются*», — естественно будет тот, что она «должна *выйти в мужскую*», «начать делать *мужское дело*», быть «в очках» и «резать лягушку» или читать *Corpus juris civilis**.

Ну, а кто же будет делать *женское дело*? Министерство явно думает: бабы, мужички, «простые» и «необразованные». Нет, оно так *не вправе думать*. Семья нужна и образованному классу. И деревенских-то баб надо бы кой-чему *семейному* и *домоводственному* подучить, ведь они не знают элементарных правил вынашивания и выкармливания детей: но образованный класс в высшей степени нуждается в *образованных семьянинках*, но образованных не «на степень Софьи Ковалевской» и не для «салонно-литературной» болтовни, а для *ведения дома* и благочестивого, государственного и исторического, воспитания детей и даже отчасти воспитания мужа (у нас по этой части довольно распушенно). Женщина, *по самой организации*, естественная охранительница, естественный консерватор; тот «ангел мирный, охранитель душ и телес наших», о котором в великих и прекрасных словах молится церковь ежедневно. Сколько раз, и в годы учительства, и потом, я наблюдал: *гимназистки* (одиночками, в учебное время) — ходят в церковь, *гимназисты* — никогда. Вот это бы надо наблюдать министерству, отметить в уме своем и спросить: почему? Как девочка уже семи лет «играет в куклы», т. е. «в *детей*», и им устраивает непременно «домик», так, в 16 лет, девушка невольно и *задумчиво* «пойдет к обеду», потому что у нее есть инстинкт «повести своих детей в церковь в праздник». Женщина, *а не мужчина*, — хранительница «церковного праздника», «церковного *обихода жизни*», который она *как-то умеет* из храма и прихода перенести в свой *личный семейный дом*. Мужчина этого не умеет, и просто ему этого «не дано».

* Курс гражданского права (лат.).

Есть «данные таланты», по-народному, — «от Бога». Школа и должна, конечно, работать над «данными (природою) талантами». Как же это, скажите пожалуйста, «женская гимназия» *воспитывает и продолжает далее* «данные Богом» особливые таланты девочек стать около всего в жизни, около отечества, около церкви, около быта, около общества, в *основе* же около мужа и детей, — непременно *растительницею*, как бы *садоводкою*, как бы *огородницею*, все поливающею и поливающею, все хранящею и хранящею, хранящею в молитвах, хранящею через труд, заботу, *ум, соображение и уменье*. Вот «уменья»-то часто не хватает. «Хочется, а не *можно*». Неужели же школе не над чем тут поработать? Неужели тут нет благодарного материала? Мрамор есть, но где же *резец*? Министр молчит, министерство молчит. «Карамзина не читаем, зато проходим логарифмы». — Ну, это мальчикам, инженерам, а — девочкам? «*Тоже и девочки* проходят логарифмы, а на Карамзина не осталось времени». Но ведь это, извините за выражение, глупый ответ. Логарифмы явно не должны входить в «курс *общего образования* девушек», но вот, например, «Карамзин и Жуковский» должны пройти девочками гораздо внимательнее, заботливее и *проникновеннее* (да! да!), нежели мальчиками, нежели в мужских гимназиях. Отчего бы, напр., на уроках русской истории в женских гимназиях не уделить большую главу истории женского образования в России, не в «стриженных» ее моментах (хотя не избегая и этого), а в великих действительно подвигах Бецкого, Екатерины II, истории основания институтов, замечательных деятельниц воспитания, в истории всего «Ведомства императрицы Марии». Это было бы поучительнее и *им лично важнее*, чем война за испанское наследство или Алой и Белой розы. Не кажется ли сразу же, что девочкам должны быть преподаны не «цари израильские и иудейские», а великие семейные идилии Библии — «Книга Руфь», «Книга Товита», а на случай будущих *скорбей матери* — и «Книга Иова». Все — иное, все — другое, нежели мальчикам!! Явно, что богословие и катехизис — девочкам «ни к чему», зато *богослужение* и годовой *круг церковной жизни* — должен быть пройден гораздо подробнее и старательнее. Им решительно должны быть известны части «Требника», — крещение, погребение, миропомазание. Вообще они должны быть *познакомлены с церковью* обстоятельнее, живописнее, объяснительнее, чем «гимназисты с папиросой». Тем это «впрок не пойдет», а этим непременно *впрок пойдет*, и они много спасут потом из этого и будущих гимназистов. Все, что я сейчас сказал, пришло мне на ум в момент писания статьи: из этой минутности обдумывания видно, сколько же *материала* найдется, если к этому приложить ум на годы, если начать *всматриваться, наблюдать и размышлять!!*

* * *

Итак, министерство построило идею (?!!) женского образования, своих женских училищ, по типу *а-нормальной девушки*, и самое это образование *а-нормально для массы девушек*, — вообще нисколько им не нужно и скорее вредит им. Вредит уже через отвлечение внимания от нужного. Время —

богатство, силы молодого организма — тоже богатство, здоровье — богатство же. Вот еще сторона дела: здоровье *для мальчика в 17 лет* и здоровье *для девушки в 17 лет* — совсем разница, разные должны быть его *запасы*, разная в нем *нетерпеливая сейчас необходимость!* Мальчик — «еще поправится», «укрепится»: его «работа» (служба) начнется через десять лет; но девушка «сейчас идет в поход» в этот возраст, в свой особый «женский поход». Как к этому *приноровилось министерство* и подумало ли оно об этом? «Бином Ньютона, а не собрание васильков в поле». Ну, уж если для мальчиков действительно «бином, а не васильки», то для девочек решительно васильки в поле, а не бином в классной комнате! Вообще не для женских только, но и для мужских гимназий в высшей степени не обдумана *весна* и как ею пользоваться, как ее тоже уместить «в программу». «*Исключить из программы*» весну, когда *Сам Бог ее дал миру*, и дал не одним же старичкам, поигрывающим в весенний и летний вечер в винт «на открытом воздухе», «в клубном саду», но дал и юношам, и девушкам, — исключить и отнять ее только у *учащегося возраста* — ужасно! Ужасно ради карфагенян и римлян, ради франконской династии, саксонской династии, ради горных богатств в Австралии и пр., и пр., и пр.

Но я здесь кончаю. Мне кажется, *министерство просвещения* никогда не поймет задач женского образования, иначе как применительно только к «высшим курсам», только к женской «учености» — грядущей «профессиональности женщин». Т. е. к *исключительному у женщин*, а не к *нормальному у них*; к *исключительному в натуре их* и в судьбе. Да и естественно: министерство — из мужчин, министерство — из *чиновников*. Вековая работа их — ученость, формирование ученых людей, *службистов* государства и общества. Так они и дочерей наших тянут в «ученость» и в «мундир». Нет другого метода, другого понимания. Получается то же, что из «дочерей *без матери*», под ферулой и присмотром, а вернее, без присмотра, вдового отца-чиновника. Такая судьба — печальна. Гимназистки, вообще девушки, вот наши дочери — *сиротствуют в России*, сиротствуют «без призора». И вот — их «положение в министерских женских гимназиях».

AU NATUREL...*

Все рассуждения, может быть, не столько доказывают, как смешной, позорный *забавный* случай из области рассуждения.

Вот все это лето сижу на нижнем балконе дачи, делаю свое дело, — но, отрываясь, слушаю и урок, который идет на верхнем балконе. Ученик — мальчик 13 лет. Увы, хотя и мой сын, но должен признаться, что собственно к ученью он туповат. Такой остроумный в шалостях, такой наблюдательный в лесу, на реке, в поле, — он ничего не понимает и не запоминает в

* Без прикрас (фр.).

уроках. Необыкновенно прилежная и ясная в объяснениях учительница бьется с ним. Мне больше жаль учительницу, а сына бы я прямо выпорол. Не только не понимает, а часто и груб в ответах, и как-то самоуверенно, пошло груб. А какой был деликатный и тонкий еще полтора-два года назад. Не понимаю, откуда и что берется у детей в эти роковые 13–14 лет: все дети между 13–16 годами какие-то «неузнаваемые» для родителей. Но это – наблюдение à part*.

Всего недели полторы учительница жаловалась:

– Он ничего не слушает или не слышит на уроках. Я ему подробно объясняла о Кронштадте, что это – крепость, защищающая вход с моря в Петербург; что основана она Петром Великим. Спрашиваю сегодня: «Где Кронштадт?» Он отвечает: «В Камчатке» (которую тоже прошли). Что же это такое? Сколько я ни бьюсь, толку никакого не получается. Он все забывает. Наконец, когда он сегодня опять не знал, где Кронштадт, и я его разбранила, – он покраснел, расплакался от обиды и говорит: «Да зачем мне знать Кронштадт, когда я не знаю никаких политик».

Так и сказал во множественном числе. Рассмеялась учительница, передавая, рассмеялся и я. Никто ему о «политике» не говорил: но эти дикие «13 лет» так странны, что в них вдруг дети оказываются знающими невероятные слова, точно по наитию какому-то, и рядом не знают самых обыкновенных слов.

Я молчу. Не знаю, что сказать. С учительницы (у нее 20 лет практики, – опытна, спокойна, энергична!) пот катится, а что сделать с сыном – я и сам не понимаю. «Надо катить дальше в гору»; а как катить – полное недоумение.

Но вот слушайте дальше. Если сын туп, то не остроумнее и обстановка.

Объяснения слышны до последнего слова, до «придыхания». Речь у учительницы твердая, ясная. Никакой путаницы в мысли, в словах. Никакой возможности для ученика запутаться. И слышу: объясняет она ему все перипетии с дочерьми Петра Великого и как очутился на престоле Петр III, почти немец: т. е. все сложные замужества дочерей Петра I, которые и я сам, бывший учитель истории, теперь уже не очень твердо помню.

– Ну, запутается мой Вася в ангалт-цербстских отношениях. И что тут воспитательного и поучительного? Учил бы о Геркулесе и Тезее... Ведь он и имен их не знает еще. У Геркулеса – плечи во какие, силища – непомерная, и портрет весь такой, что не забудешь. А как Язон поплыл за золотым руном в Колхиду, т. е. на наш Кавказ, и какие опасности он вытерпел, то это даже занимательнее Шерлока Холмса...

Но эта династическая путаница хоть тяжела, но что против нее сказать. «Учи, мой Вася, – вези воз». Великое экзаменационное: «Надо».

Для экзамена в третий класс все «вкратце» и «быстро». Знаю: это все «концентрические курсы», которые, заимствовав идею их из Германии,

* в сторону (фр.).

проповедывал известный педагог Н. Н. Овсянников, и наконец они были приняты у нас. Согласно идее «концентрических курсов» одна и та же часть курса истории, т. е. одно и то же событие и лицо, проходится трижды: 1) совсем коротко, 2) порасширенное, 3) совсем широко. Получается: 1) Петр Великий – маленький, 2) Петр Великий – средний, 3) Петр Великий – большой.

Но учительница у нас ясная и объяснительная. Да ведь и в гимназиях учитель объясняет на уроке обширнее, чем дано в учебнике, потому что иначе в чем же состоял бы урок. Не в одном же спрашивании по книге «от сих и до сих». И вот третьего дня, к ужасу и недоумению, я слышу, что моему «Васе», предполагающему, что «Кронштадт в Камчатке», учительница толково, ясно, отдельно, «по программе министерства народного просвещения», объясняет, до чего был «невозможен император Павел I» и его «пришлось убить, на что дал согласие его сын и наследник», император Александр I Благословенный. Даже мне писать неудобно, а в газете неудобно печатать: к чему же это моему Васе, который с основательной скукой мальчика 13 лет заявил, что он «политик еще не знает». Но он – ничего себе, растет без обиды от родителей и без обиды от среды, от общества и обстановки: но я воображаю себе других мальчиков 13 лет, обиженных грубостью семьи, обиженных бедностью, обиженных низшим положением в сословной или служебной иерархии, о чем дома говорится, в семье говорится: и вот как на воображение и на сердце таких-то мальчиков подействует «история в лицах», происшедшая в Инженерном замке?..

Почему же все это воспитательно?

Почему все это педагогично?

Когда неизвестен поход аргонавтов и великолепный корабль, на котором они плыли – и который имел на корабельном носу *живые глаза*, которые *видели и направляли* корабль куда нужно!!

Я вам скажу, что наши педагоги суть мещане, а не поэты. А решительно нельзя учить и *воспитывать* детей, не будучи хоть несколько поэтом и не имея хоть капельки сказочного великолепия в душе и благородного доверия к благородным человеческим вымыслам. Давно-давно я старшим дочкам немножко рассказывал «о корабле Арго» и прочем: то *я сам* боялся тех ужасов, какие пережил Язон, и детишки, слушая, подбирали ноги под себя от страха: детям всегда кажется в страхе, что их кто-то «хватает за ноги», и они их поджимают под юбки. Что же за «история» для детей, если они не переживут священных «мифов» человечества: да история для *гимназистов* и *гимназисток* и есть великие мифы – до IV класса, великие герои – от IV до VIII класса. Я не дурак был, когда «спал» во время ответов учеников в гимназии в Брянске, Ельце и Белом: ибо для меня непрерываемо было с *первого же года преподавания*, какой *ерунде и пошлости* обучает гимназистов министерство просвещения; до какой степени само министерство не имеет ни капельки трепета перед священством и тайной истории, перед ее

загадкой и роком. Поистине — сопливый мальчишка, слушающий *чужую* обедню... Вот этой «чужой обедней» все можно объяснить... Каким образом, не пройдя мифов Греции, — не зная иначе, чем *в перечне имен*, героев Рима, начать «долбить» тоже имена, — *почти одни имена*, — Плантагенетов, Капетингов и Гогенцоллернов, скакать по революциям и реформациям, вскочить в Инженерный замок и посмотреть убийство императора, — и выскочить «с аттестатом зрелости» читателем «Газеты-Копейки» и клаксром думских речей «покрепче»...

Что же такое это за *огрязнение* детей? Зачем грязнят наших детей? Зачем их официально грязнят?!

Не понимаю ничего.

Не понимал учителем (и тогда сплошь грязнили). Не понимаю теперь, в 57 лет. Какое там «церкви и отечеству на пользу»: это только фраза из «L'art poétique»* Буало! На самом деле гимназическое преподавание направлено к преждевременному вырыванию из души всего невинного и идеалистического, всякого доверия и уважения к действительному миру и к внушению всего злобного, всего презирающего, всего циничного и ругающегося. Точно «от I до VIII класса гимназии» ученики обучаются «неприличным словам» по «программам министерства просвещения». Не знаю, за что тут «платить деньги» министерству.

* * *

Пишу это с неодолимым чувством, что «все останется по-старому». Тут есть рок. В судьбах народов есть рок «кверху» и есть рок «книзу». Теперь нас тянет «рок книзу», и наше дело — погружаться и погружаться. «Но когда» все тонем, нужно же хоть кому-нибудь тонуть «с сознанием».

Совсем было кончил и поставил уже точку, но встретились такие яркие подробности, что не могу удержаться не рассказать. Оказывается, сын, должно быть пытаюсь связать давно пройденное с проходимым сейчас, задал учительнице вопрос:

— Александр Невский и Александр I одно и то же лицо?

Как она очень вразумительна, то целый урок посвятила на «восстановление в памяти давно прошедшего». Нужно заметить, и «Кронштадт» с «Камчаткой» он путал потому, что *начинаются* оба имени как будто сходно. Но вот я пошел с ним купаться и, одеваясь, спрашиваю:

— Ты, Василий, проходил о Суворове?

— Нет, не проходил.

— О Суворове! Вспомни! Но ведь ты проходил о Павле?

— Это прошли.

— Так совсем о Суворове не слыхал?

— Нет... Постой — о Суворове? Проходили. Он (как отчеканивая) одержал много блестящих побед над французами.

* «Поэтическое искусство» (фр.).

Курс «концентрический», – сокращенный: и о Суворове явно в курсе и дана только эта формула – строка. Это уже учительским ухом я слышу, умом учительским припоминаю. *Сам так проходил с учениками.* И сюда «концентрически» прибавлена занимательная смерть Павла I. Не явно ли, однако, что надо было, выпуская Сперанского, выпуская смерть Павла I, *событие без всякой исторической необходимости и ценности*, – выпуская путаницу престолонаследия в XVIII веке, просто пройти *страниц 20* «рассказов о Суворове». Что 1) запомнилось бы, как картина, – и не *забылось бы*, ибо картины и описания вообще не забываются, забываются лишь несчастные гимназические *перечни*; и 2) было бы вполне *воспитательно*, как пример героизма, ума и русского духа.

Скажите: почему то, что ясно для всего света, не ясно для одного министерства просвещения? И оно «каждый раз на эфтом месте», как знаменитый ямщик в рассказе Горбунова, опрокидывавший тарантас вообще и «на всяком месте»?!

ВРАЧИ-«ПСИХИАТРЫ» В КАЧЕСТВЕ САМОВОЛЬНЫХ ТЮРЕМЩИКОВ

Врач получает вместе с дипломом право лечить, помогать больным; но лишь когда его позовут и насколько позовут. Но одна часть врачей, именно так называемые «психиатры», Бог весть каким образом и откуда, извлекли из этого права совершенно другое, ни в каком законе не прописанное: право *насилъно лечить*. Отсюда был уже один шаг до третьего права: врач-«психиатр» выступает на общественную арену не с бромистыми препаратами «для успокоения», а со смиренной рубашкою, веревками и цепью, на которую он сажает своего «пациента»; в случае его бегства из лечебницы – ловит его, разыскивает и, словом, исполняет функции судебного следователя и прокурора, но только без всякого «постановления суда» и без всякого вообще закона, на этот предмет установленного. И делается таким образом тюремщиком, а больницу свою обращает в тюрьму. Все это – на глазах целого общества, в культурном городе. Здесь мы имеем дело с чудовищно и бесстыдно расширенным понятием «ученой компетенции»; со смешением функций врача и прокурора; и, кажется, более всего должны судить местного прокурора, который пассивно созерцает явное беззаконие, происходящее у него на глазах, и хозяйничанье чужого человека в сфере прав и обязанностей, только ему, прокурору, принадлежащих. Когда, с одной стороны, является натиск нахальства и злоупотребления, то довольно естественно ожидать, что гонимый человек, на защиту которого никто не поднимается, поднимает сам руку и защищает себя, как затравленный зверь в лесу. В таком случае действительно цивилизованная страна является «глухим лесом» для объявленного пациента: и неудивительно, что он защищается в ней зоологическим способом.

Таково происшедшее 7 июля убийство в Риге «пользовавшего врача» Макса Шенфельда его пациентом, Генрихом фон-Раутенфельдом. Вот заключительный момент этой многолетней истории. Запертый в больницу, фон-Раутенфельд бежал из нее. Заперт он туда был потому, что являлся наследником миллионного состояния, по завещанию отца, на какое состояние точили зубы и другие родственники; за то, что он полюбил простую девушку, дочь железнодорожного сторожа, Эмилию Кученек; и когда ни один пастор в Риге и Одессе не согласился (по просьбе тех же родственников) перевенчать его с любимой девушкой, он вместе с невестой принял православие и был православным священником обвенчан с нею. Хлопоты его у священника, переход в православие, связанный с подготовлением в «догматах» новой веры, и, наконец, само венчание, которого священник не может произвести по закону над умалишенным и вообще над ясно выраженным душевнобольным, все это есть полное засвидетельствование о том, что молодой 30-летний фон-Раутенфельд не находился в той степени опасного <для> окружающих помешательства, которое требует изоляции буйного больного. Но женитьба аристократа на простолюдинке, да еще переход в православие подняли против несчастного всю ярость местных баронов, пасторов, а паче всего родственников, в руки которых в случае сумасшествия перешли бы громадные владения «пациента». Услужливым и, конечно, не бескорыстным орудием в руках всего этого, можно сказать, уголовного скопища явился «психиатр» Макс Шенфельд со своею лечебницей-тюрьмой в Риге.

Несмотря на то, что судебная экспертиза, состоявшаяся 15 сентября 1911 года, по настояниям любящих родственников, отказалась дать заключение о сумасшествии фон-Раутенфельда, — он, тем не менее, был насильно заключен в лечебницу Макса Шенфельда. Отсюда он бежал 24 июня 1912 года, — воспользовавшись «Ивановым днем», когда сторожа были на прогуле. Он посетил жену свою с ребенком, которой попечитель над его именем барон фон-Лоренгофен выдавал нищенское содержание, был у матери и тетки, а 9 июля разыгралась следующая сцена: «Когда Генрих фон-Раутенфельд сидел за обедом, в комнату ворвался доктор Шенфельд и *накинулся на своего бывшего пациента с пощечинами*. Экономка Бергман, бывшая одна в доме, испугалась, как бы доктор не убил Раутенфельда, и побежала звать швейцара. Когда швейцар и экономка входили в квартиру, из нее вышел фон-Раутенфельд. Войдя в комнату, они увидели лужу крови, а на пороге из прихожей в гостиную лежало бездыханное тело врача-психиатра» (корреспонденция из Риги г. Ф. С. Павлова). Дело об этом убийстве вызвало величайшее волнение в Риге и породит шумный судебный процесс.

Дело это — одно из многих подобных, и вызвано оно недостатком твердого закона, который воспрещал бы врачебному персоналу всякое *насильственное действие над пациентами вне стен лечебницы и приемных покоев* и вообще поставил бы врачей в чисто пассивное по отношению к больным положение, сводящееся к *даче помощи, где и насколько эта помощь*

испрашивается самим больным, а за лишением его способов попросить, т. е. за лишением речи, — испрашивается *ближайшим родственником*. У убийцы фон-Раутенфельда была *жена*: и очевидно, без ее приглашения врач ничего не вправе был предпринимать по отношению к ее мужу. В Риге произошел совершенно дикий случай, когда какие-то «родственники», которых около миллионного состояния всегда оказывается очень много, — получили большие права, большую распорядительную силу и власть, нежели жена. Этой жене с ребенком каким-то «попечителем» над именем Генриха фон-Раутенфельда выдавалось 40 рублей в месяц содержания, — с угрозой прекратить его, если она «не примет мер к водворению своего мужа обратно в лечебницу» (в дни его бегства из нее; смотри ту же корреспонденцию). Так как все перипетии этой истории происходили громко и открыто, то нельзя не обратить внимания на бездействие прокуратуры рижского окружного суда, не прекратившего явные насилия над несчастным. Всякое насильственное лишение свободы есть преступление; и здесь мы имеем ряд преступлений со стороны родственников, со стороны врача, который со своими «пощечинами» (просто трудно поверить!) был более злодеем, нежели «психиатром», — со стороны, наконец, пасторов. Какое они имели право «по письмам родственников» отказать в венчании 30-летнему человеку «в здравой памяти и уме», о чем свидетельствует принятие им православия и венчание у православного священника. Здесь мы имеем столько «бесправий» в основе, что «громкий процесс», нужно надеяться, прежде всего займется выяснением, каким образом сложилась эта гнилая, преступная почва, в конце концов невольной и естественно обогрившаяся кровью. Человек, с которым родные, пасторы и, наконец, врач — поступали как с гонимым зверем, естественно, их зверски укусил. Когда человек не видит около себя охраны закона, судьи и администрации, он напоследок вспоминает, что природою дан ему зуб, — и кусается. Кто до этого доводит человека, тот и виновен.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАСЛУГА ВЕДОМСТВА ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ

Пример можно приводить не для подражания, а в методических целях. Только в этих целях я позволяю себе после критики женских гимназий министерства просвещения указать на училищную деятельность ведомства императрицы Марии. Читатель, вероятно, почувствовал неловкость в выражении: «*училищная деятельность В. И. М.*». — «Какая же *училищная деятельность?*» — вероятно, спросил он себя в уме и поправил меня: «*Воспитательная деятельность*. Это ведь наши институты екатерининских, александровских и николаевских времен». В этой поправке читателя, которая совершенно правильна, и лежит все дело, вся сущность.

Министерство просвещения занималось училищною деятельностью, т. е. оно строило училища, возможно, поспешнее и, возможно, больше; по-

том вытягивало программы в них и постепенно и настойчиво предъявляло более и более строгие требования к прохождению, к исполнению программ. «Чтобы физику прошли до расширения газов», и «на экзамене, кроме учителя и директора, должен присутствовать и член от министерства». Когда «член» присутствовал, а «физика была пройдена до паров», то бритый и высокий чиновник, имеющий вид сушеного судака, потягивался и говорил в себе: «Теперь и в Самарканде, и в Симбирске, и в Керчи, везде проходят физику с законом Гей-Люссака, и прогресс России уже почти равен германскому. Окно в Европу стало больше».

И засыпал сном оправданного.

Этот строитель училищ, чиновник министерства просвещения, ничего не понимал в России. Да даже ничем в России он и не интересовался. А был «просвещенный человек» или, по крайней мере, видел об этом золотые сны.

Едва ли нужно говорить, что все ведомство императрицы Марии представлялось ему археологическим курьезом. И если в деловых бумагах он был в отношении его почтителен, то в душе глубочайше его презирал и ненавидел.

Ведомство же императрицы Марии, *которому подражать не нужно и которое повторять не нужно*, — имело единственно одно за всю историю школ в России *цельное представление о воспитании, гармонизованное с тем, что нужно России в данный текущий момент*. В эпоху Скотининых и Простаковых, т. е. непобедимой внешней грубости и дикости, оно образovalo идею: 1) вырвать еще ребенком будущую мать семейства из зоологических условий существования «дома», отделить ее совершенно от *старой семьи* и 2) сформировать из нее совершенно нового человека, новую женщину, новую семьянинку. Вот идея Смольного института: идея, собственно, Руссо о «новом и лучшем человеке», порвавшем со «старым миром», греховным и злобным, злобным и грязным. Я привожу только один пример как *одну точку* из вековой ткани, векового узора. Точки менялись, узор не оставался постоянно одним: но у тех, *кто делал узор*, была постоянная мысль *приноровиться к данному положению России*, работать не на «просвещение вообще», а «работать на пользу России»...

Теперь, если вы станете знакомиться с историею русского образованного общества не по литературной вещице «Мертвые души», а по *подлинным* письмам и мемуарам той эпохи, по трудам Барсукова, Грузинского (семейные отношения в фамилиях Буниных, Мойер, Елагиных), Гершензона («Образы прошлого»), и Корнилова («Семейство Бакуниных»), и многих, многих других, перечислить которых здесь нет возможности, — вы не должны забыть ни на минуту, что в основе этого общества лежала *мать семейства*, идеал которой предносился умственному взору воспитателей того времени и которая вышла, *вся сплошь*, только из учебных заведений ведомства императрицы Марии, воспитывавших детвору от 9–10 лет до 17, до замужества. То есть, принимая во внимание впечатлительность этого возраста, *воспитавших, вырастивших* эту гражданку и мать.

Что же это была за *мать*?

Да ответ прост: *какова мать — таковы дети*. А «дети» эти были — общество 30, 40, 50-х годов. Это — *вся русская культура*, это, если хотите, *целая цивилизация*, преждевременно сломанная мутным потоком 60-х годов, сломанная и затоптанная, сломанная и оскорбленная.

Это — сестры милосердия в Севастополе.

Это — матери Киреевских и Хомяковых, «подруги» и жены Огарева и Герцена. Да и не важны эти определенные имена: важнее масса, гармонизировавшая с этими запомнившимися, оставшимися в истории именами.

Долг, честь, мужество, героизм... Великое чувство России, великое и настоящее *гражданство* русское. А были часто просто «жены чиновников», «жены помещиков»...

Это уже не «литературный эскизец», это — *документальная история*. Поистине, русским нечего склонять голову ни перед римской матроной, ни перед исторической женщиной Англии или Франции: потому что мы имели женщину 30–50-х годов.

Но откуда она взялась? Конечно, *образующих условий* было очень много: но среди них есть и это — ведомство императрицы Марии. Во всяком случае, школа... т. е. воспитание, этим ведомством данное, не разрушило, не подгноило, не обезобразило «прочих условий», каковы бы они ни были... А школа — очень могущественна, даже если она презирается, как я объяснял ранее. «Толстовский классицизм» сломил в юношестве всякий идеализм, вытоптал всякое «русское чувство» в отрочестве 70-х и 80-х годов.

Старые «институты» сразу же стали на верную точку зрения: дать *цельного человека* стране, а не неизвестный «х», в котором «умещена очень длинная программа»... От этого в былые годы и теперь, когда заходила речь о «девушке институтского образования», то «ученая сторона» этого образования как-то оставлялась в тени, никто о ней настойчиво не спрашивал: но уже считался гарантированным известный *minimum*, по крайней мере, внешней добропорядочности, а вообще же ожидалась мягкость и деликатность души, твердый долг, привычка, и железная привычка, никогда не ступить ногой в грязь, — в прямом и переносном смысле слова. Твердый, непоколебимый, неразрушимый корсет на человеке: все согласится, что в этом — *суть* института. Но ведь если душа отражается на внешности, то и внешность в конце концов гипнотически давит на душу. Везде есть «культ», «служба», «мундир»: есть даже в религии, есть *форма* и для молитвы. Тем паче в великой панораме жизни. Женщина старого, «институтского» стиля имела не только героические, изящные, аристократические формы, движения, весь метод жизни: в критические минуты она выказывала и *героическую душу*, о чем полны рассказы 30, 40, 50-х годов. Героическая душа в героическую минуту; но и «корсет» сам по себе весьма существен, он социально существен, так как он в высшей степени удобен для всех, кто вступает в сношения с человеком в «корсете». Если в «корсете», то он 1) вовремя уплатит долг, 2) не задержит платы за работу, 3) явится к службе в срок, 4) «по-

русски» не надует вас. «Корсет» тяжел тому, кто его носит, — да и ему он тяжел, пока непривычен и нов, но решительно для всех прочих, для всех окружающих, «корсет» есть великое облегчение жизни, труда, сношений, общений, совместной работы.

Но «корсет» — это институт: кто же дерзнет отвергнуть великую культурную роль «старого института» в «русской жизни». Вот вам и не «практические учебные заведения», державшиеся «далеко от жизни». Нет, они были именно *практичны*, именно — *для русской жизни*.

И в институтах традиционно выработались и очень долго держались (может быть, и теперь держатся) какие-то тайны воспитания, какие-то секреты выливать человека в форму и, кроме того, как-то развивать его душу, особенно развивать сердце. Я называю это «тайнами» и «секретами», потому что хорошо знаю по должности преподавателя и классного наставника в гимназиях, как мужских, так и женских, что вопрос «как воспитывать», «как *воздействовать на душу*» не то чтобы отсутствовал в них, но вопрос этот прямо приводит в ужас наставников, инспектора, директора. «*Как?!!*» «*Никак!!!*» «*Не умеем!!!*» «*На ум не приходит*, как!!!» Гимназии и рады бы воспитывать, отрицания этого — нет; но должно быть тоже «традиционно» дух воспитания, высокое мастерство воспитания до такой степени там выметено и не зарождалось, да и никогда никто о нем не думал, что все прямо приходят в ужас, раздражены и измучены одной мыслью «взяться еще и за это дело». «Как, чтобы сверх давления паров — он и умел поклониться, умел смело и открыто сказать свое желание, чтобы он был прям, без грубости, деликатен без лести, чтобы из него исключить обман, предательство и пр. и пр.: нет, исполнить это сверх длиннейших программ по десяти наукам — решительно не посильно никому!»...

Как кажется, эти преимущества старых институтов над новыми гимназиями, на которые, повторяем, мы указываем лишь в *методических*, а не в *подражательных* целях, — вытекли из того, что все «ведомство императрицы Марии» есть лишь в слабой степени бюрократическое, бюрократическое лишь насколько это неизбежно: а вообще-то оно действует, создает, задумывает и исполняет все вне рамок «казенной службы», с большим участием личной талантливой инициативы, с материнским участием здесь ряда русских императриц и их приближенных, среди которых было много даровитых женщин. Для *женщины* — воспитание всегда останется на первом месте; для нее вырастить в ребенке сердце — это прежде всего. Без сердца, без воспитания человек — для женщины «вовсе не человек». Совершенно иной взгляд у мужчины: он видит в человеке работника, машину, инструмент. Качества сердца для него на втором плане, на первом — выучка, приспособление к работе, умелость. «Качества чиновника определили качества ученика»: ибо «мы учимся *для службы*». Эта аксиома «служащего человека», от министра до столоначальника, т. е. невольная аксиома всего министерства, определила строй и дух гимназий, сперва — вообще, а затем теперь — и женских. Но именно, когда это коснулось женщин, — все получило

вид окончательного уродства, окончательного изуродования: «Что вы тянете на веревке наших дочерей в чиновника, когда из десяти учениц восемь никогда не пойдет в чиновники? И не можете же вы уродовать восемь девочек для того, чтобы из двух их подруг вышли опытные писемководительницы, телеграфистки, почтовые чиновницы и заслуженные будущие преподавательницы?!» В самом деле, это какое-то предварительное общество обеспложения, обеспложения à priori, когда индивидуально еще не выражено «призвание к сему»... Это — нельзя в религии; не смешно ли это в педагогике?

ЗАКРЖЕВСКИЙ О КОНСТ. ЛЕОНТЬЕВЕ

В Киеве издается очень недурной еженедельный журнал «Огни», хоть несколько противоборствующий разливу в «матери городов русских» еврейской крикливой и бесстыдной печати. В нем по поводу вышедших трех томов «Собрания сочинений Константина Леонтьева» напечатана вдумчивая статья г. Александра Закржевского, автора двух книг о Достоевском. Г-на Закржевского вообще мы можем отметить как редкое явление польского писателя, отдающего весь энтузиазм русскому духу, русской культуре, русской (хочется сказать) тайне. Вот что он говорит о Леонтьеве, — издание которого, кстати сказать, судя по отзывам в книжных магазинах, получает успех:

«Удивительно, сколько еще никому не известных кладов хранит в себе Россия! Творят они в одиночестве, в одиночестве пребывают, — и знают о них лишь одинокие и такие же страдающие, никем не понятые люди, как они сами... При жизни никто о них не знал и они не были никому нужны... Впрочем, это участь общая для всех истинно глубоких художников; улица подхватывает и превозносит лишь то, что годится для улицы, а алмазы сохраняются за семью печатями до тех пор, пока случай не вытащит их на поверхность жизни... Все обаяние Леонтьева, вся его красота именно в том и заключается, что он заявил неслыханное дерзание: пошел вразрез со своим временем, с господствующими идеями, с догматами, с традициями — во имя своей личной свободы, которая непонятна стаду и тем, на устах которых слово «свобода» звучит так же привычно, как, напр., слово «автомобиль».

* * *

Леонтьев восстал против той нивелировки личности и общества, которую обещает революция; он восстал против *обещаний* революции, а не только против ее эмпирической действительности. Памятно его слово: «Нужно отделять военные успехи революций от их же *штатских последствий*». В самом деле, пока революция воюет — она героична, красива, интересна. Но едва она победила, и везде, где победила, — она обнаруживает такое *плоское существо свое*, такую *мизерную душу в себе* — что воротит душу. Социализм, который собрал в себе все задачи и загадки революции, с его перераспределением богатства и работы, — и только, — есть та же самая «буржуа-

зия», которую мы переживаем, но буржуазия обобщенная и доведенная до апогея. «Grand bourgeois» – «petits bourgeois»* – вот разница между «теперь» и «в будущем». «Все буржуа», – «некоторые все-таки не буржуа», вот различие между потомками нашими и нами. Рабочий тянется к некоторому достатку и обеспеченности: это справедливо и основательно, это, наконец, прекрасно *в себе самом*; но когда нас учат, что и ангелы на небесах молят Бога только «О пенсии на старость для рабочего», что и фараоны, и консулы, и короли вращались единственно около «социального вопроса», не зная, как разрешить его, и погибли оттого, что не разрешили, – что Ромео и Юлия любили друг друга на почве «обеспеченного состояния» и без этого «обеспеченного состояния» никогда бы не полюбили один другого: то это становится до того противно и скучно, это до того ложно и извращенно, что сама *истина рабочего вопроса* тонет в бессмыслице. Вопрос «о рабочем», доведенный до абсолюта, – самовзрывается; становится ненавистен и презрен. И чувствуется, что именно социализм-то и будет для рабочего гибелен: как короли погибли в формуле «l'état c'est moi»**, рыцарство – в гидальго из Ла-Манча и смиренный и *нужный* чиновник погиб во *всевластии* бюрократии. «Самодержавный рабочий» так же точно провалит *вообще весь рабочий вопрос*: он явит миру не теперешнее страдальческое лицо свое, вызывающее всеобщее сочувствие, а лицо крошечного *буржуа* же, но со всемирными претензиями, давящее на все, что повыше его, получше его, что подревнее его, что духовно, физически и социально аристократичнее его. Увы, как и во всем, как всегда, рабочий гонимый и отверженный превратится в рабочего гонителя и отвергателя, но в гонителя уже без тех «задерживающих центров», какие для духовенства содержались в Евангелии, для королей – в «благе народов», для аристократии – в напоминании о том же «народном благе». Спрашивается, о *чем* и *что* напомним «пролетарию-самодержцу», когда история его *началась* с забвения всего до себя и *состоит* в забвении всего до себя?! И вот этот господин, поистине без границ и поистине без удержу, но с душонкой в три копейки, с самолюбием фараона, но уже без жрецов и воинов около себя, сам весь деревянный и соломенный, – сгорит как масленичная кукла, которую после шести дней блинов отвозят в мусорную кучу заднего двора. Как всемирный человеческий идеализм, обобщенный человеческий идеализм, *без специфичностей*, – сейчас сочувствует рабочему, бедняку, пролетарию, сочувствует ему в положении *части среди других частей*, – так этот же идеализм восстанет и разорвет его на клочки, едва лишь он явится в положение *всего и целого*. А ведь суть социализма: «пролетарий – это *все!*»

* * *

Вернемся к дальнейшей характеристике Закржевским Леонтьева: «Судьба этого человека по существу своему трагична... Трагедия Леонтьева – это трагедия русской души, которой противны все рамки, все условности, все

* «Крупная буржуазия» – «мелкая буржуазия» (фр.).

** «Государство – это я» (фр.).

традиции, которая в своей одинокой, странной, загадочной жизни видит такие миры, прозревает такие горизонты, проникает в такие глубины, где во-
дворот, где хаос, где безумие, где боль, где Христос... Во имя единствен-
ной радости в страдании, во имя эстетического и религиозного чувства стра-
дания — готов он был принести в жертву и свой покой, и покой и радость
человечества, ибо ведомо было ему, что не спокойствием, не сытостью, не
мещанскою жизнью покупается мир горний, мир гения, а жертвой, слезами
и кровью... Красоту страдания он возлюбил выше своей жизни... Это не
всем понятно; только в России еще встречаются такие удивительные, стран-
ные, безумные люди, только здесь во имя страдания отрекаются от прогрес-
са и счастья, только здесь любят одинокую и страшную свободу свою силь-
нее всей жизни!..»

Все это хорошо сказано и верно сказано. Закржевский правильно судит,
что *личность Леонтьева* замечательнее и любопытнее, чем «Сочинения
Леонтьева», которые воистину есть лишь приложения к его портрету. В каж-
дом штрихе, в каждой черточке эти сочинения только рисуют и дорисовы-
вают его личный портрет. Это очень редко бывает; это бывает только тогда,
когда под сочинениями лежит по-настоящему могущественная и прекрас-
ная личность. Леонтьев вообще был весь *настоящий*, без подделок, без
фальши, без притворств, без заимствований. И он поистине не мог прийтись по вкусу последней трети XIX русского века, где все за всеми бежали,
все всем подражали, каждый страшился быть собою, прятал поглубже свое
внутреннее «я», — да, может быть, этого «я» и не было совсем. Шелгунов
был похож на Михайловского и Скабичевского, Скабичевский был похож
на Шелгунова и Михайловского, и вся русская литература являлась «про-
порциею из тех же членов с перестановками»... Пока в обществе не про-
неслось (декаденты) глухое:

— Ну, и скучища же!..

* * *

Теперь это факт: можно почти считать критерием литературного ума и
вкуса, литературной образованности — иметь у себя на столе «Сочинения
К. Леонтьева». По этому будут определять, войдя в кабинет: «*стадный* ли
человек хозяин дома» (без Леонтьева), или он — лицо, «сам», «я» (с Леон-
тьевым). Ну, а усвоение мировоззрения Леонтьева — это целый переворот.
Он еще не настал. Но около него борются. Вот уж когда подходяще ска-
зать, принимая во внимание зерно его личности и учения, — его *эстети-
ческий идеал*:

*Дружно гребите во имя прекрасного
Против течения.*

Как часто стихи эти произносились некстати, — произносились устами
холодными и пошлыми. Но теперь они воистину *кстати*!..

В лице А. С. Суворина Россия потеряла верного сына, а Европа потеряла то единственное выражение общественного русского мнения, с которым она считалась, обойти которое она не находила возможным. Интересы России, авторитет России, нужды России были в глазах великого публициста тем *непререкаемым*, тою *святынею*, за которую он вступался как лев, не уступая этого никому и ничему, не уступая недругам и друзьям, — когда приходилось расходиться в мнениях, — не уступая чужим и своим, и не уступил бы этого родному; не допускал здесь двойственности или колебания и в составе меняющихся лиц у кормила правительственной власти. Это был редкий случай полного слияния частного человека и национального интереса; редкий случай, когда человек, «ходивший в сюртуке или в халате», был в то же время точно «ходившим в России», в ее реках, в ее пустынях, в ее городах, столь ему милых, в ее сословиях, воспоминаниях, в прошлом, но особенно — в будущем. Он весь точно летел к этому «будущему России»: к ее славе, ее величию, ее могуществу, и кипел негодованием, презрением, — и как часто невидимыми слезами! — когда вдруг что-нибудь останавливало движение вперед России, когда неотвратимый рок или людская бесталанность и неумелость крушили лелеемую мечту. Было бы узко назвать его «великим гражданином» или (дадим спуск врагам) «замечательным гражданином»: это определение, выдвигающее на первый план юридическую сторону в человеке, было бедно, сухо и слишком мундирно для А. С. Суворина. Нет, он был и хотел быть именно *сыном* родины, с оттенком этой покорности великой Родительнице-Земле своей, с исчезновением личного «я» в лучах ее значительности. Весь — новый публицист, публицист последнего чекана, он незаметно хранил под современным сюртуком кафтан старого казака с Дона, ищущего в Сибири «добывать землицы», или кафтан еще более древнего новгородца, отправляющегося по сплетениям рек добывать золото, товаров, приключений или славной смерти. Если мы присоединим сюда озабоченность сподвижников Петра «государевым делом», которое для них было именно делом русской земли, русского царства, — то мы укажем все три начала в русской исторической стихии, отложившие, бесспорно, в Суворине какой-то след свой, какое-то свое воспоминание, какую-то свою ухватку, какую-то свою «врожденность» и «наследственность». Не имея монолитного гения, Суворин представлял в *сочетании даров своих* настоящую гениальность. Весь рассыпающийся, по-видимому, во впечатлениях дня, он на самом деле был дальнозорким человеком, и за днем он никогда не забывал века. Полный великодушия, порывистости сейчас, на этих горящих столбцах газеты, где он увещевал, смеялся, язвил и звал людей, — он не упускал из виду того великого, что строится или должно строиться в России. Вот эта комбинация в нем практических позывов и идеала, воображения и расчета, деловика и вместе литератора, который сверкал в шутках, остроумии, в драмах, истории, публицистике и писал, кажется, во всех родах своего искусства, кроме стихотворческого, — это сочетание было изумительно. Речь

его в глубокой старости и даже в последней страдальческой болезни, — когда он уже писал на бумажках, — его отметки, указания, суждения, — были вполне молоды и свежи, ни одним штрихом не говорили об увядании, истомлении, о приближающейся смерти, хотя эту смерть он чувствовал за плечами и говорил о ней спокойно. Великим подвигом для родины он потрудились, — и не опустил глаз перед смертью, ни со смущением, ни со страхом, ни со стыдом. Он стоял чистый перед этой смертью, как рабочий великой русской работы, который правильно сдал расчет хозяину. Хозяин — Россия. Вся душа его собрана была сюда. Не то, чтобы он не хотел, но ему некогда было подумать, как «ежедневнику», с «уроком на завтра», которого нельзя «отложить», — подумать и погадать о предвечных расчетах, о загробии с его непостижимой тайной. Здесь он не отрицал. Здесь он даже неопределенно многое чувствовал, но знал, что мудрее того, до чего додумалась Церковь, все равно ничего не придумаешь, полагался на это твердо и дальше этого не хотел искать, разведывать. «Разведки» его все были на земле, для великой, святой родины. Он был твердо уверен, что «там» будет тоже хорошо, если все хорошо сделано «здесь»; и он просто старался хорошо делать «здесь», — без дальнейшего.

Хороня его, все должны вспомнить, что хоронится величайший журналист второй половины XIX века и начала XX, не только России, но и Европы, что хоронится золотое перо, — и так, как он плакал о России в дни Цусимы, в черный год японской войны, — уже долго никто не поплачет о ней. Этого *родного голоса* долго не забудет Россия. Он-то, этот родной голос, и сделал то, что «слово А. С. Суворина» весило неизмеримым весом везде от дворцов до хижин, от петербургских министерств до далеких окраин, звеня радостью в верных сердцах и отзываясь огорчением в сердцах лукавых, враждебных России. Все знали, что Суворин не свое говорит; не то, что ему нашептывают ближайшие сотрудники или политическая партия; все знали, что «Суворин говорит» означало — «нужно России». Вот это «нужно России» — и делало все. Это «нужно России» — секрет им созданной газеты. Этот секрет многие старались угадать и повторить. Но никому не удавалось. Ибо у него это шло из натуры, а у них — от искусства и подделки.

НЕЛЬЗЯ ЛИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРОВАТЬ РАЗВОД?

(К пересмотру его в Св. Синоде)

В газетах сообщено было, что «в Св. Синоде ожидается возвращение в Петербург Вл. К. Саблера, чтобы немедленно же приступить к рассмотрению вопроса о разводе» в процессуальной и законодательной его стороне. Как известно, вопрос этот то поднимается, то падает, и так тормозится или волокнется уже несколько лет.

Позволю себе обратить внимание на сторону, не обсуждавшуюся ни в повременной печати, ни в министерстве юстиции, ни в духовном ведомстве.

Почему собственно *централизован* развод? Синод, естественно, завален делами о разводе, и он естественно испуган числом их, так что, вероятно, иерархам Синода иногда кажется, будто вся Россия хочет развестись, и «дозволь-ка», то семья исчезнет у русских. При подобном ужасе, естественно, «все задержишь». Но это иллюзия именно централизации и только сидящих в центре. Если бы в России нельзя было произвести ремонта ни в одной церкви, не «проведя вопроса через хозяйственный отдел при Св. Синоде», то директору этого отдела, конечно, показалось бы, что все церкви в России разваливаются, — чего, конечно, нет.

И церкви стоят благополучно.

И семьи живут благополучно же.

Рушится, падает, «требует ремонта» вообще немногое, и это есть просто следствие жизни, «житейского», — показатель и выражение того, что «время идет» и что «все дела человеческие несовершенны». Боль и страдание происходят в каждом единичном случае не оттого, что «данная семья разведена», но именно оттого и дотоле, пока «она не разведена». Это видно из примеров, если вы знаете хоть один (ибо это вообще редко). На том самом месте, из которого исходили скандалы, ругань, тревога соседям, где дети ревели, где дети были брошены, где творилось чуть не площадное прелюбодеяние, и посторонние с проклятием проходили мимо этого черного места, «где муж с женой ненавидят друг друга», — на этом месте, едва они «разведены», воцаряется покой, согласие, мир, дети не видят скандалов, хотя и не видят, «как бы схоронив», одного из родителей, и сами родители, разойдясь в разные стороны и устроившись в новую жизнь, ведут ее чисто и целомудренно. Кто говорит, — развод (при детях) всегда операция (без детей даже и не операция), но без развода — это рак, съедающий семью, детей, весь род, заражающий целую генерацию. Повторяю, это надо видеть. Зрелище гораздо благодатнее и, так сказать, лазурнее, чем всякие рассуждения. Я видел подобных примера три: где болталась — годы — грязная, злобная лужа, образовывались два чистых озера.

Но раз это так признано, раз предрассудок против развода упал и его, кажется, не разделяют сами духовные лица, — отчего удерживать его чудовищную централизацию, возникшую в суровые до жестокости петровские времена, и возникшую в силу общей тогда тенденции — «поставить все во фронт» и сказать всему — «смирно».

Ведь как было в допетровские времена, когда церковь была у нас та же православная и каноны блюлись еще построже, чем теперь?

Все кончалось между священником, мужем и женою, — не восходя дальше, ни к епископу, ни, конечно, к патриарху, которого заменил Св. Синод. Ни у одного патриарха не лежало на столе «бракоразводного дела», — да, обдумывая всю Россию, блюдя во всей России благочестие и веру, патри-

арх счел бы за позор заниматься такими мелочными, частными, личными делами, точно «собирая сплетни по соседству». «Развод в руках Синода» есть продукт такого бюрократического измелчания церкви (хоть страшно это сказать, но куда же правду деть), что страшно и несколько смешно подумать...

Допетровская Русь хорошо известна, — в подробнейших историях Голубинского и Соловьева; и вот неудивительно ли вполне, что ни Голубинский, ни Соловьев не отыскиали ни одного «архиерейского дела о разводе», архиерейской озабоченности разводом, как и никакой тоски семьи из-за развода. Между тем воображать, что несколько миллионов русских «жили в ладу, как в раю» — невозможно: натура человеческая везде одна, а семейные язвы — не из тех, что забывают или выносятся молча. В чем же дело? Да было совершенно другое положение развода, — *при тех же, как теперь, о нем законах* (ибо они идут от Евангелия). Развод данной единичной семьи никогда не восходил к общерусскому значению, не доводился до Москвы, до патриарха или епископа, но оставался *приходским делом*, — как оно и есть всегда «дело этого околотка», «дело этого села», — и разрешался, канонично и благочестиво, духовником мужа и жены, который единственно и до глубины знает жизнь их, знает во всей *правде ее*, знает во всем *прошлом ее*, чего не знает Синод и никогда не узнает из обычно лживых бракоразводных бумаг, свидетельств и рассказней.

Вся плачевная процедура развода восходит к началу «Устава духовных консисторий», каковому «Уставу» нет и ста лет, и он ни малейших sacramентальных качеств не имеет. Между тем вся возня с разводом министерства юстиции, духовного ведомства и разных комиссий, с призывом экспертов от медицинского мира, вращается именно *около теперешней консисторской формы развода*, как будто это был бы какой-то фетиш, от которого нельзя отойти. Поистине плачевно и поистине позорно молчание профессоров канонического права в университетах и в духовных академиях. Достаточно было бы проф. Заозерскому или проф. Красножену поместить две-три коротенькие статьи в газетах, чтобы стало всем ясно, и особенно чтобы стало ясно старательным чиновникам министерства юстиции, в каком «тупичке» они все толкутся, когда выход на прямую улицу открыт и свободен.

Ведь собственно нужно:

1) Чтобы поводы к разводу были те самые, какие указаны в Евангелии и соблюдались всегда в церкви.

2) Чтобы разводила именно церковь, как она же венчает.

Вот два принципа. Но ни Евангелие, ни каноны, ни практика древнегреческой церкви нисколько не предписывают, не указывают и не запрещают:

3) Кто же должен разводить?

Киев и Москва решали:

— Священник.

Петербург решил:

– Консистория или Синод.

Петербургское решение, в смысле священства и правильности, никаких преимуществ не имеет перед киевским и московским.

Явно, что киевское и московское решение было как-то священнее петербургского. «Солгать на духу» – кто солжет? «Уж так повелось», что обычаем народным, тысячелетним народным привыканием, «на духу солгать» – невозможно. И тогдашние разводы, московские и киевские, все были правильные разводы, поставленные на истине, на слезах и на великой священнической совести. Едва я сказал, как все закричат: «Конечно, это так!» Как о теперешнем разводе все закричат и кричали сто лет: «Это – ложь, обман и подкуп». Да ведь и вообще на священнике все держится: священник – не только древнее, но и священнее, религиознее таких новеньких и чисто бюрократических учреждений, как «консистория».

Таким образом, вопрос о разводе мог бы быть разрешен совершенно просто:

а) Устранив фетиш *именно* консисторской процедуры развода, за коей не лежит *никакой санкции*,

б) Устранив *idée fixe*, будто все разводы должны стекаться в столицу Российской империи или по меньшей мере в город г. губернатора и архиерея, –

в) Отменить статью свода закона: «Запрещается писать всякие бумаги, клоняющиеся к расторжению семейного союза». *Этим-то* законом именно, которому что-то около 150 или 170 лет, и была уничтожена прежняя *священническая форма развода*, заключавшаяся в том, что священник, по достаточном опросе мужа и жены, по достаточном исследовании всего дела, – после, наконец, не подействовавших его увещаний к миру и к прощению друг друга, – писал им древнее, в Библии установленное и *никогда никем не отмененное* «разводное письмо», коим брак расторгался, – и это расторжение вносилось в их документы, со всеми последствиями.

Все совершалось так же кратко, твердо и правильно, как теперь пишутся «метрики» об актах крещения, венчания и смерти, каковые акты и обозначаемые ими факты бытия христианского уж никак не малозначительнее, чем пресловутый развод, надоевший всем, как оскомины от кислого яблока.

До какой степени древний развод был естествен и правилен, не возбуждал никакой придирки с церковной стороны, – можно видеть из приведенной статьи закона, где слово «развод» даже не произнесено, хотя оно касается только разводных актов. Запрещение священнического развода совершилось глухо и анонимно.

Пишу это, имея и косвенную цель в виду. Куда теперь девался священник и его авторитет? Куда он отодвинут, – в тень, слезы, нужду и унижение! Что это и почему «консистория» – новенькое бюрократическое учреждение – есть «представительница церкви», а не священник есть «представитель церкви»? Непонятно, неканонично, несвященно. От Евангелия и до сих пор на церковном небе есть две тысячелетние звезды: иерей, архи-

ерей. Вот это звезды настоящие, неподдельные, натуральные. Печальна зависимость и часто униженность иереев от архиереев, и так легко ведь это исправить, поставив священника и собор священников в епархии, «совокупность благочиний», что ли, в положение совето-слушательное, а не совето-исполнительное, в отношении архиереев. Два эти чина соответствуют двум стихиям православия: народной — сюда принадлежит «иерей» — и пустынной, монашеской, затворнической, которую собственно и выражает *теперешний* инок-архиерей. Ибо, как сто раз повторялось в печати и знающим хорошо известно, — в древности епископы не были монахами, и даже запрещено было монахам вступать в отправление епископских обязанностей. Инок-епископ есть собственно выразитель и представитель, пожалуй, наблюдатель и блюститель монашества и монастырей в епархии, «пустынничества» и аскетизма в ней; а естественным представителем и блюстителем священников в епархиях могло бы быть лицо вроде теперешних двух «протопресвитеров», — каковые одной природы и натуры, одного духа с сонмом белого духовенства. Но оставим эти общие соображения, из которых, может быть, что-нибудь пригодится для будущего. Во всяком случае возвышение *авторитета священнического* всем любо; никто не стал бы оплакивать «павшее величие консисторий», если б одна функция их, развод, была передана приходскому священнику, «духовному отцу» семьи, «своему батюшке» для семьи. И всякий чувствует, как через эту передачу священникам права «оставлять разводное письмо» вырос бы священник в глазах семей русских, как семья русская теснее прижалась бы к священнику, и даже в семьях-то, особенно в сельских, стали бы лучше жить, стали бы деликатнее и вежливее жить, если бы священник мог тирану-мужу, пьянице-мужу, иногда выжиге-мужу или совершенно распущенной бабе пригрозить, что «освободит жену от него через развод», что отнимет от гулящей бабы «мужа». Без возможности этой угрозы и этого наказания ведь как и винить наших священников, что они «не действуют на улучшение семейных нравов», не поднимают «дух семьи». Дайте рычаги — и поднимется тяжесть.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛАССИКИ

Байрон. Чайльд-Гарольд. Перевод В. Фишера. Под редакцией А. Е. Грузинского. С иллюстрациями. Книгоиздательство «Окно». Москва. 1912; Дон-Жуан. Перевод П. Козлова, под редакцией А. Е. Грузинского. С иллюстрациями. Москва. 1912.

А. Е. Грузинский невыразителен и неярк в самостоятельных этюдах о русских, западноевропейских писателях («Литературные очерки». Данте. Шиллер. Гейне. Императрица Екатерина. Жуковский. Глинка. Тургенев. Толстой), но он превосходный организатор книг, превосходный обрабатыватель на-

копленного материала около великих или интересных писателей, – в учебных целях, приблизительно университетского уровня, университетского тона, университетских понятий. Здесь у него есть любовь к делу, превосходное знание предмета, тонкий изящный вкус. Все это восполняется тем, что литература для него не есть только объект, но до некоторой степени и субъект: он сам автор небольших рассказов, т. е. знает сладости и горести творчества, а потому к этим сладостям и горестям может отнестись теплее, нежели только ученый. От этого ученые его труды, – не излагающие, не «лекторские», а вот обрабатывающие, «составительные», – превосходны. Их следует всякому рекомендовать, особенно юношеству, – в целях, чтобы хоть когда-нибудь у нас образовался контингент солидного образованного читающего общества. А то теперешний «читатель» Бог знает что... Обращаясь к изданиям, заглавия которых мы здесь выписали, укажем на редкий портрет Байрона в 1804–1806 гг. и его маленькой дочери Ады Байрон, портрет поэта в албанском костюме (Т. Филиппса), Шарлоты Гарлей, которой было посвящено начало «Чайльд-Гарольда», и рисунки: «Сарагосская дева» (Льюиса), Инесы (рисунок Дженкинса), – и еще множество современных Байрону рисунков, воспроизводящих местности, описываемые в «Чайльд-Гарольде» и «Дон-Жуане». Текст обеих поэм сопровождается множеством примечаний исторических и историко-литературных, без которых чтение их было бы темно для большинства читателей! Примечания обнаруживают вкус и ум. «*Ars amandi*»* Овидия вернее переводится «Искусством *волокичества*», нежели «Искусством *любви*», – каковой термин, очевидно, не подходит к стихотворству Овидия, изображающему довольно низменные похождения римских распутников. Есть и опечатки, так как их трудно принять за ошибки: «Знаменитая Лаура, которую Петрарка воспевал всю жизнь во множестве стихотворений, была женою *маркиза де-Сад*», вместо *д'Эсте*. И в том же роде. Но это не лишает прелести, ума и изящества все издание, полное благородных мотивов.

ЕЩЕ О ВРАЧАХ-ПСИХИАТРАХ И ЛЕЧЕБНИЦАХ-ТЮРЬМАХ

Злоупотребления и самая *возможность* злоупотреблений психиатрических лечебниц и гг. «психиатров» с душевнобольными, – или с людьми только со странностями, излишествами и вообще с лицами, ведущими себя не по шаблону и норме, – представляют собою чрезвычайно опасную сторону общественной жизни, тем более опасную, что она в высшей степени *растяжима* и допускает множество *личных вариантов* воззрения. Известно, что о таком-то «больном» одни медицинские авторитеты высказываются, что он «ненормален», а другие – что он совершенно или почти «нормален». Извест-

* «Искусство любви» (лат.).

на «отдача на испытание» предполагаемого душевнобольного, каковая сама по себе уже доказывает, что в болезни его нет прямой *очевидности*. В статье, вызванной убийством в Риге доктора Шенфельда, я обратил внимание на то, что «психиатрическая лечебница» этого врача обратилась в острог для несчастного фон-Раутенфельда, а битие и схватывание им в частном доме (!!) своего «пациента» во всяком случае совершенно выходит из пределов «прав» врача, как и совершенно разрушает иллюзию об образованности, деликатности, гуманности и проч. мнимых ученых «психиатров». Неужели наука психиатрии рекомендует в некоторых случаях давать пощечины пациентам? Речь шла именно о пощечинах, о которых рассказал г. Павлов в своей корреспонденции из Риги («Утро России»). Здесь мы имеем перед собою не медицинский только, но *правовой вопрос*: и явно — дело закона и прокурорского надзора защитить свободу граждан, предупредить *ясным словом* самую возможность якобы научных пощечин. *Насильственно* запирать в лечебницу можно не сомнительного или испытываемого больного (если он в то же время не есть уголовный преступник), а лишь такого душевнобольного, болезнь коего носит *определенное название*, и в числе *непрерывных свойств* этой болезни значится посягательство на жизнь другого, и вообще значатся *угрожающие, опасные поступки*. Но эта определенная и вовсе уж не такая многочисленная группа больных, *свобода коих угрожает обществу*, — должна содержаться в психиатрических лечебницах таким образом, чтобы бегство их было невозможно, т. е. чтобы надзор за ними был тщателен и сторожа не отлучались ни по каким поводам, праздничным, или семейным, или просто «выпивочным». А то директор-«психиатр» наймет подешевле кой-каких сторожей, — больные разбегутся, и вдруг директор сам, своей ученой персоной, начинает гоняться по городу за некоторыми ему особенно интересными пациентами и даже смирять больных научно оправдываемыми пощечинами. Кстати, если директор Шенфельд дрался, притом в частном доме, то что же у него в лечебнице выделяли сторожа? И не была ли его «психиатрическая лечебница» своеобразным исправительным батальоном, нигде в российской администрации не зарегистрированным? Во всяком случае, необходимость более ясного закона и большая активность местной прокуратуры диктуется, так сказать, безопасностью и честью самих гг. психиатров, дабы им не попадать в положение или в риск убитого Шенфельда. Врачи невольно распускаются даже до фатальных «пощечин», а «подозреваемый» больной, или «испытываемый» больной, который до исхода испытания сознает себя как все, как люди, не лишенные чести, — естественно защищается от пощечин или отомщает за пощечины так, как это вообще бывает и как поступил фон-Раутенфельд. Вообще, получив пощечину, — здоровый тоже стреляет. Это отнюдь не признак сумасшествия.

Случай между фон-Раутенфельдом и психиатром Шенфельдом вызвал разговоры и в печати, и в обществе. И ввиду большей ясности дела я позволяю себе, в дополнение уже известного, привести следующие строки из

частного письма ко мне г. Ф. С. Павлова*, корреспонденция которого послужила мне основанием для некоторых юридических вопросов. «Вы поняли, в своей статье, правильно сущность дела. Из моей второй корреспонденции, помещенной в № 190, от 18 августа, в «Утре России», вы можете увидеть, каким способом несчастный фон-Раутенфельд попал в лечебницу для душевнобольных д-ра Шенфельда и по каким данным был признан умалишенным. Я уроженец города Риги, около 20 лет сотрудничаю в местных газетах, фактически хорошо знаю местную жизнь. Про лечебницу д-ра Шенфельда говорили давно. Привозили богатых клиентов издалека. Мнимобольные совершали побег, и их на станциях железных дорог ловили при помощи жандармов и водворяли обратно. Сколько народа загублено этим путем и сколько тяжелых дел совершено на этой почве, думается, известно лишь одному Господу Богу. Будучи сам врагом всякого насилия, я в данном случае не могу порицать поступка фон-Раутенфельда, убившего д-ра Шенфельда. Меня брат покойного д-ра Шенфельда пригрозил в рижской печати привлечь к ответственности за клевету в печати, но обвинить меня ему не удастся. Я выставил бы ряд свидетелей и указал бы, где находятся относящиеся к обстоятельствам этого дела документы, как, напр., свидетельство рижской городской лечебницы для душевнобольных «Ротенберг», из которого видно, что фон-Раутенфельд находился там на испытании и был признан вполне нормальным и здоровым (подпись директора лечебницы г. Тилинга и врача-психиатра Шварца). Это было после того, как он бежал из заграничной лечебницы для душевнобольных, куда был посажен обманном образом. Интересно также письмо брата-студента фон-Раутенфельда, к которому должно было перейти имение Линденру после смерти Гейнриха-Иоанна фон-Раутенфельда. *Ф. Павлов*».

Автор пишет частное письмо, — и тон письма не оставляет сомнения о его искренности. Еще раз повторяем, что в интересах самих врачей-психиатров, их безопасности и чести, им следует ввести в некоторое урегулированное русло свою деятельность по части экспертизы, а особенно уж по части уловлений и усмирений... Не дело врача хватать и сковывать; не честь ему — физическая расправа с больным (пощечины Шенфельда)... И, наконец, вспомним древнее изречение, что «супруга Цезаря *не должна быть даже подозреваема*». Уже печально вообще для врачебно-психиатрического персонала, для психиатрических лечебниц, когда около них образуется говор, является шепот, является заподозривание, что врачи-психиатры начинают проявлять странную наступательную энергию около пациентов, которые с кое-какими странностями в поступках и словах имеют несчастье совмещать наследование миллионных состояний (фон-Раутенфельд). Врачи, вообще спокойные при виде разных психических странностей, не торопящиеся брать к себе в лечебницы на хлеба нищих людей, воображающих себя Сократами, Спинозами и Буддами (заметка на мою заметку в «Речи»),

* Адрес на бланке его письма: Рига, Большая Московская ул., д. 129. Телеф. 42-71.

тут вдруг начинают торопиться и запирают на замок с преимущественным вкусом наследников-богачей, возле которых, конечно, имеются вице-наследники и вообще лица, которым «не досталось». Тут нужно быть очень осторожным. Неприятна здесь роль сутяги старых времен, какого-нибудь Чичикова возле духовного завещания старухи, — но во сколько же раз отвратительнее роль науки и ученых, когда они тут тоже соучаствуют!! Тут, нам кажется, наука отнюдь не должна быть тороплива и активна; здесь именно, возле богатого-то наследства, она должна быть скупа на действия и упряма, как лошадь, которую понукают, и она все-таки не идет. Можно брать (собственно — пассивно *принимать*) лишь тогда богатого наследника в лечебницу, когда он действительно и очевидно *сумасшедший* в прямом и грубом смысле, в смысле физическом и так сказать площадном; и нужно по мере сил отказываться принимать в таковые лечебницы людей с неуловимыми или трудноуловимыми психозами. Он может быть и не так здоров и разумен, как подлинный Сократ или Спиноза, — но *здоров в той достаточной степени*, чтобы сознательно перейти в православие, как поступил фон-Раутенфельд, сознательно повенчаться с любимой девушкой и мирно прожить то состояние, которое лестно получить другим. Так было с молодым дворянином в Риге, и совершенно напрасно вмешался в это менее психиатрическое, нежели наследственное, дело врач Шенфельд. Вмешался и погиб.

1812–14 ГОДЫ И ИХ ВОЗМОЖНОЕ ИДЕЙНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Исторические дела, сложные судьбы народов полны таких же печалей и неудач, несовершенств и бессилия, как и жизнь единичного человека; и только изредка этот серый свет будней прорезывается полным солнцем, и в воздухе стоит голубой день. Годовщина 12-го года и ее центр — Бородино — именно есть такой голубой день русской истории. Оглядываясь на него, всякий русский человек радуется. Всякий чувствует себя сильнее, всякий надеется на большее в будущем для своей родины, для своего потомства. Что же такое наш Бородинский бой и вся та годовщина?

Это наш Марафон, и как эта битва, так и все меньшие 1812–1814 гг. удивительно напоминают, и единственно они напоминают, борьбу эллинского народа и эллинской цивилизации с полчищами Дария Гистаспа, двинувшего с собою на Запад все силы тогдашней исторической Азии. Германия, боровшаяся с Наполеоном за независимость, вопреки попыткам их историков к аналогии с эллинской борьбой, на самом деле не имеет с нею никакого сходства, ибо греки все побеждали, а германцы все бывали разбиты, унижались, просили и были выведены из беды только русскими. Напротив, русские, поставленные в такой же риск, имея перед собою такой же напор народов, имея такую же малую вероятность победить, напрягли все силы, как и тогдашние греки, и победили не числом, но мужеством, побе-

дили тем, что их вера и преданность старине и всему родному оказались сильнее, устойчивее, самопожертвованнее, нежели преданность обновленной революцией Франции и Европы этим обновительным началам новой гражданственности. В «Войне и мире» Толстого, особенно в сценах оставления Москвы и в рассуждениях самого Толстого по поводу этого оставления, очень хорошо показано, что тут не две армии боролись, но как бы в едином человечестве боролись два враждующих духа, две несовместимые стихии, из которых одна должна была выжить и другая погибнуть. Боролись, в сущности, две разные цивилизации: и вот это-то и придает особенную близость нашей борьбе с эллино-персидскою, где тоже боролись не армии только, а разные стихии истории, разные цивилизации.

Наполеон вел в Россию то, что можно бы назвать новым варварством. Он вел то, что Конст. Леонтьев так удачно назвал «вторичным упрощением», по виду сходным с простотою всего элементарного и младенческого, но внутри содержащим предсмертное гниение. Труп так же «прост», содержа лишь химические элементы и химические процессы в себе, как и «земля, из которой взят человек»; напротив, живой и здоровый человек сверх химии несет в себе и биологию, и психику. Революция, рванувшись к «равенству и свободе», рвалась к свободе древних лесов германцев и кельтов, к равенству одинаковых дикарей в этом лесу. Единое социальное человечество, без сословий, без классов, без рыцарей, без королей, без духовенства, без схоластиков и без миннезингеров, — с талантом единой еды и единой работы, — было не «помолодевшим» человечеством, а, напротив, предсмертно-заболевшим человечеством. Болезненна и смертна была самая мечта революции, ее *утопия*, двигавшая все реальные дела в ней. Наполеон, который в своем «императорстве» не нес никакого принципа, был на самом деле нигилистом с императорскою властью, и под единством его власти на Восточную Европу, молодую и здоровую духовно, сложную социально и *по принципу* сложную, — опрокинулась вся эта упростившаяся предсмертно Европа, могучая пока по факту, могучая железом, порохом и людьми, но идеалистически вся бессильная, опустелая, выеденная трупными червями. И Русь вся уперлась в землю и победила. В 12-й год победил здоровый, неразвращенный мальчик дряхлого старика-исполина, с его многодумностью, с его опытом и ветхими знаниями, с его старческим цинизмом, мастерством управления и техникою побед, которая на этот раз не помогла. Вот собственно краткий смысл дела. Победили именно дух и доблесть, как и у эллинов; ведь и эллины, особенно тех-то времен, были мальчиками сравнительно со старою Мидо-Персидскою монархией, со всеми углубленностями ее религии Светлого Духа и Темного Духа (Аурамазда и Ариман); а если принять во внимание, что при Ксерксе на Грецию обрушился вместе с персами и подвластный им Древний Египет, то борьба между архаическим миром и новым миром в греко-персидских войнах станет совершенно очевидною. И аналогия их с русскою борьбою — еще полнее.

К великому несчастью, русские войска, затем двинувшиеся на Запад, в Германию и Францию, начали проникаться теми самыми началами, в борьбе с которыми заключалась сущность дела. Случилось то, что позднее случилось и с эллинами при Александре Македонском: победитель заразился от побежденного началами его духа и цивилизации. Мальчик бросился жадно и любопытно на старческие сладости и пороки, на старческую мудрость, на старческую расслабленность и изнеженность. Уже к концу царствования Александра I русское общество было совсем не то, что было оно в начале этого царствования; и чем далее, тем изменение духовной физиономии общества шло все быстрее. В великой Отечественной войне кроме вещественной стороны, победы оружия, заключалось и идеалистическое зерно: нужно было его посадить в землю и вырастить. Конечно, это могли сделать не воины, а мудрецы, это была задача литературы, поэзии и мыслителей русских. Вот тут-то хотя и естественно, но плачевно русские обнаружили поразительную слабость, умение только перенимать и подражать, а не созидать. Русская мысль могла бы опереться на 12-й год и произвести всю ту духовную работу, какая, например, в той же «Войне и мире» происходит у Пьера Безухова и Ник. Ростова или, без этих псевдонимов, — какая произошла у самого Толстого под впечатлением картин 12-го года и размышлений о 12-м годе. Конст. Леонтьев в «Анализе, стиле и веяниях в романах графа Толстого» правильно замечает, что в этом пункте творец «Войны и мира» не был верен истории, именно — что он вложил Пьеру Безухову те славянофильские мысли 40-х и 50-х годов о *народности*, каких в 1812–1814 годах вовсе еще не зарождалось у русских, не зарождалось вовсе и ни у кого. Это указание Конст. Леонтьева и договаривает то, что мы хотим сказать здесь. Русский воин, русский человек, взятый от земли и вызванный из поместья, победил французов и шедшую с ними Европу, но русский мыслитель ничего не вывел из этой победы, не сумел с нею справиться, не смог взять этого факта основанием для построения сложнейших умозаключений. Славянофильство явилось только в 40-х годах: и, зная литературу, мы как-то чувствуем, что в первую четверть XIX века и не было у нас вовсе умов такого закала, такой серьезности тона и строя, каковы братья Киреевские, Хомяков и Константин Аксаков. Это было естественно, но плоды этого были в высшей степени печальны. Славянофильство запоздало родиться на 30 лет: а если бы оно родилось одновременно с 12-м годом как духовный плод физических усилий, мы, очевидно, не имели бы декабристов, Герцен не отправлялся бы в эмиграцию, русские вместо запоздалой Г. Думы имели бы уже к поре освобождения крестьян Земский Собор, с плеядой великих умов и характеров того времени. Едва я назвал эти факты, как всякий почувствует, до чего запоздалость славянофильства имела действительно роковые последствия, — общественные и государственные. Между тем славянофильство уже было дано в 1812 годе. «Записка о старой и новой России» Карамзина была первым движением сюда, увы не получившим дальнейшего развития. Русские вернулись из-за границы, из Франции и Германии, «пересмешниками», — с маленькой детской мыслью, которая при-

нялась осмеивать все родное, забыв великий труд 12-го года, не вспомнив и не задумавшись: да чем же Россия победила в 12-м году?

Смех бывает тоже талантлив, как и вообще пороки имеют в себе даже иногда гений. Прошло немного лет, и в «Сожженной Москве» увидели только, или миру показана была только, кунсткамера, каких-то уродцев, с Фамусовым, Молчалиным, с беззубыми «бабушками» и идиотичными «внучками»; прошло еще немного лет, и на месте 12-го года была показана тупая, хохочущая, циничная фигура генерала Бетрищева. Не говорилось прямо, но подразумевалось: «Вот они, победители Европы». Здесь принадлежит великая и героическая услуга Толстому, – увы, не доведенная им до конца, не поддержанная им самим до гроба, как хотелось бы, как нужно бы. Великая эпопея «Войны и мира» отодвинула в сторону и закрыла, как что-то *несерьезное*, – гениальное, но несерьезное – и «Горе от ума», и «Мертвые души», с их историческою недалекою, с их бедностью, идеализмом.

Весь XIX русский век вообще оказался недостойным, оказался мал перед 12-м годом; он покатился в сторону от этого года, обходя его, торопливо забывая его, наконец попытавшись даже пересмеять его. Весь русский ум и дух, – увы, приходится сказать, ничтожный дух и ум, – фатально потащил за собою как общество, так наконец и государство к падениям и падениям. Дар смеха может создать превосходную литературу, но не может дать самой маленькой победы. Совершенно правильно несколько раз указывалось, что после 12-го года Россия не вела ни одной большой войны с ярким и быстрым успехом; мы побеждали только персов, но уже едва осиливали турок, а с армиями европейского строя и совсем не справлялись. Японская война – вся плод векового смеха над собою русских. Смеющийся над собою народ вообще не побеждает, и это было бы даже странно. Такой народ есть не субъект победы, а объект завоевания. Что такое война в Манчжурии, с хохотом демона за спиною армии, с попытками того же демона развратить армию и бросить ее обратно на Россию, с «интеллигентными» телеграммами воюющему врагу, «поздравляющими его с победой» (вероятно, «дано» было за телеграмму). Россия начала или, вернее, решила на японскую войну, как бы забыв о русской литературе XIX века, как бы еще с идеализмом XVIII века. А вела ее в цинических условиях Щедрина и нигилистов, Нечаева и нечаевцев. В японской войне было побеждено не русское правительство и не русский солдат: ибо в 12-м году положение их было тяжелее, но за правительством и солдатом стояло героическое общество. И результат войны был другой. Японская война выяснила, что страна с разложившимся культурным слоем вообще есть уже объект завоевания, покорения соседями, а отнюдь не сколько-нибудь стойкой борьбы с ними. Замечательно, что, посылая телеграмму микадо, русские «культурные люди» посылали ее царю-завоевателю, *шедшему наступательною войною* и даже предпринявшему именно ту же «Манчжурскую авантюру», как мы; они осуждали «завоевание» и «Манчжурию» только у себя, у просмеянного и проклятого (ими) отечества. Трудно ли им было победить? Могли ли мы не быть побеждены? Щедрин и Нечаев «сорвали свой реванш»...

И ответ один на это, вернее, осветить это можно только из одного факта: победитель 12-го года заразился всеми гнилостными началами разложения от побежденного; вместо того, чтобы сознать великое здоровье победы и почерпнуть в ней силы для всего наступившего века, для векового духовного развития (Толстой, славянофилы), — мы побежали за зараженными веселостями Запада, за его литературой, публицистикою, за его злобой, смехом, остроумием; за его вообще *отрицанием*, а не за великими *утверждениями* Запада, которые тоже есть, вернее, были, но все были подъедены революцией. Кроме «кафе с газетами», в Европе есть и церкви; но с 12-го года никто (кроме единого Чаадаева) не вошел в европейскую церковь, а в кафе бежали все. Кроме Гейне и Байрона или Бёрне и Поль-Луи-Курье, в Европе есть и Данте, и Мильтон: но когда же русское общество *увлекалось* Данте? Его переводами — любители-филологи, не больше. Россия бросилась на легонькое в Европе, обходя все массивное и фундаментальное. Это легонькое, вот именно гниение сверху, оно жадно хватало и поглощало. С Европою был флирт, а не любовь; с Европою «брака» вовсе не было. Не Европа-супруга соблазняла молодого русского юнкера, а Европа-горничная, обокравшая, разорившая госпожу свою и отбившая мужа у нее.

Не торжественное и великое в ней, не ее соборы, не ее старое искусство, не ее крестовые походы, не рыцарство и рыцарские нравы долго потом — обольщали нас; нас поманила песенка Беранже, ярость и злоба Бёрне; поманил вообще смех, поманил вообще гнев; поманил европейский *нигилизм*, который был, конечно, раньше русского и был, конечно, сильнее русского. Вот за что мы схватились и что «молодой офицер заграничных войск» принес на родину. Это есть отдельная интересная глава истории русской литературы, глава, еще никем не начатая: взвесить, оценить и изучить в подробностях, изучить в биографиях и в книгах, борьбу *увлечений серьезным в Европе с увлечением легоньким в ней*. Конечно, — легонькие увлечения победили! Конечно, значительная сущность русской литературы XIX века и заключается в победе *легонького европеизма над фундаментальным европеизмом*; и, наконец, в ненавидящем растоптании ногами серьезного не только у себя, но и серьезного в Европе! В этом «эврика» и «душа» литературного XIX века.

Пришел «разночинец» со своей злобой и отрицанием, пришел «интеллигент» со своим высокомерием, надутостью и презрением ко всему, что не он. «Интеллигент» сделался единственным «духовным лицом» новой Европы, а «разночинец» — единственным ее «сословием». Все сословия исключительно ненавистны ему, ибо он есть пыль, от них отделившаяся, есть часть *их* же, но не удержавшаяся на прежнем месте и плюющая с нового своего места на то прежнее, где сидели его предки. В «разночинство» сбегались обломки, отбросы, а затем очень скоро и духовные ренегаты, духовные изменники прочих всех классов; вот это-то свое «бегство» они и возвели в принцип, утверждая, что и каждый должен «бежать» из своего места,

от своей должности, от своего класса, своего сословия, своего «края» и «родины». Кто откуда *больше* «бежал», тот более *великий* человек, вот род «секты» и «святых» ее, состоящих из Бакуниных и Нечаевых. Когда каждый бежит из «своего места» — скажите, пожалуйста, что можно из такого социального строя сделать и даже как можно в таком социальном строе жить? «Интеллигент» же есть тот, кто все «понимает», но, увы, ничего не делает, — о всем рассуждает, но не имеет ни одной унаследованной привычки и никакого унаследованного нрава, обычая. Человек без «обычаев» тоже очень странное явление, на которое очень трудно рассчитывать. На такие рельсы ничего не положишь: все провалится. Вот собственно структура русского общества, да и не одного русского, а и европейского, насколько оно разрушено, стало аморфно, безвидно, тускло, антиисторично. И «интеллигент» и «разночинец» с необыкновенной яркостью выразили «вторичное упростибельное смешение» К. Леонтьева; тут мы читаем самые имена тех мертвенных «микробов», которые съедают и почти уже съели строгий кристаллический строй великой Европы и старой Руси.

* * *

Но сознание всего этого пришло слишком поздно. Оно опоздало на тридцать лет, на целое поколение. Вот это-то промежуточное поколение, между 1812 годом и 40-ми годами, предупредило возможность самого распространения и самого укрепления славянофильства, которое вынуждено было остаться чисто литературным явлением, не просочившись в жизнь, не овладев событиями. Событиями могуче владело отрицательное, разрушительное движение, которое практически выражал чиновник стиля Сперанского и литератор стиля Герцена. Россия пошла не к самоутверждению, а к самоотрицанию. Нигилист, не победивший нас при Наполеоне, разбил нас в господствующих литературных движениях от 20-х годов до сих пор, имея кульминационный пункт себя в шумной журналистике 60-х годов. Здесь был, по-видимому, пыл молодости; но это был молодящийся старичок. Суть старчества — сомнения, отрицания; суть старчества — желчь воспоминаний и желчь отношений. Все это и есть суть «обличителей» 60-х годов, резонеров 60-х годов, откровенно принявших уже не оставляющее о себе сомнения имя «нигилиста». Но какой же «нигилист» творец истории, созидатель жизни? Он только разрушитель, и откровенно говорит это своим именем.

В нигилисте атрофирован, переродился и умер главный нерв строительства — благородная доверчивость, энтузиазм, наивность, вера. Старики не создают мифов, старик не может поверить ни в какого Бога; старик, которого вся жизнь прожжена, не может уважать никакой власти, никакого авторитета. Не это ли портрет человека 60-х годов? Он не пойдет ни за каким вождем — если этот вождь не ведет его к дальнейшему разрушению, — да и вождя не выйдет никогда из нигилиста, кроме как вождя к разрушению же. Пойдут за Чернышевским, обоготворят Бакунина, каждый шаг которого есть разрушение, который во время осады австрийцами Дрездена предложил

городскому муниципалитету выставить на стенах бомбардируемого города картины Дрезденской галереи, выставить Мадонн Рафаэля и портреты Мюриса и Веласкеза, просто в виде солдатской мишени. Сходство с Атиллою и другими «громоилами» истории поразительно. «Вторичный упрости́тельный процесс» дошел до конца: интеллигент есть варвар и дикарь, каковой без «исторических навыков» он и есть в самом себе. «Анархия» – в самом имени своем она дает формулу вторичного упрости́тельного смещения К. Леонтьева. «Расквасить все яйца и сделать из всего всеобщую яичницу» – таков принцип новой зоологии. Яичница будет, но зоологическое царство исчезло бы. Принцип Бакунина – и его личность действительно обоготворена в публицистике – есть принцип всеобщего умерщвления, принцип социально-исторического некрофильства. «Возлюбим труп и поклонимся трупу!» – лозунг времен, ставших нигилистическими. Биология выше психологии, физика властнее биологии, химия выше физики, и мертвая механика венчает все – эти тезисы обняли русскую мысль, как давно обнимают и европейскую. Везде царство смерти; и Смерть – единственный Возлюбленный. Таков смысл и позитивизма, и долговязых увражей Герберта Спенсера, и наших русских Добчинских, бегущих за Контом, и философствующего сопенья Бокля. Все «боги» нового времени, копающие яму человечеству. Не мавзолей, – а простую позитивную глиняную яму. Все – разрушается, все идеи – только разрушительны.

Не удастся ли XX веку? Что Европа не помолодела в революции, а постарела и приблизилась к какому-то универсальному цинизму, к какому-то царству всемирной пошлости – это не было ясно вначале, но по истечении столетия стало совершенно ясно. Скука собою и пресыщение разрушением – обнимает все, владеет умами и сердцами или готова овладеть. Пессимизм Шопенгауэра и лирические философемы Ницше – это симптом. Тут уже ничего позитивистического нет, тут нет ничего вообще от духа XIX века. Девятнадцатый век, прошедший нумерационно, должен пройти и духовно. Двадцатый век вправе быть совершенно самостоятельным по отношению к XIX, нисколько его не повторять, нисколько ему не подражать. Насколько XIX век был полон разрушения, в мечте своей, в делах своих, в *зерне* своем, – настолько вправе XX век вдохновиться идеей созидания, стать творческим. Довольно разрушать, пора строить. Но строить можно только с строительными идеями, общее – со *строительною душою*. В XIX веке самые благородные натуры были обращены тем не менее к низкой цели – разрушению; может быть, в XX все повернется так, что не только великие натуры обратятся к созиданию, но ему начнут служить и дефектные натуры, которые вообще неизбежны в каждом живом обществе. Это было бы самым важным показателем. Движение века вовлекает в себя все. Все проникается новым духом, новым веянием, новым ветром. Этот ветер сметает всякое сопротивление. Ждать ли его? Есть ли он? Начинается ли он? Уважение к истории, вникание в историю, вникание в жизнь народную, не в легком абрисе «сегодняшних случайностей» на улице, – а в вековом и тысячелет-

нем строе ее, — вот первое или, лучше сказать, первый поворот нового ветра. Во главе его — уважение вообще к человеку, вообще совершенно новое представление человека, нежели какое господствовало весь XIX век (физико-химическое: «человек — сумма данных физики и химии»). Почти началом переворота было бы, напротив, представление физико-химического мира под веяниями антропоморфизма: прозрение, что везде в природе уже предносится человек, что до известной степени природа пропахла человеком раньше, чем он родился или сотворился. Как сто лет строили человека «из атомов», как гору из камешков, — так пусть увидят или захотят видеть целый мир, проникнутый тенью человека, образом его, предчувствиями его, возможностью его. Но, во всяком случае, возвращение человеку царственного значения — примат всего, выход из всего, первый шаг в развязывании того возмутительного узла лакейства, в пафосе к которому лежит ключ XIX века. Первым делом должны переместиться все масштабы измерений: не по дециметру, сантиметру и миллиметру, все уменьшаясь, все дробясь в созерцании, а, наоборот, по гектометру и т. д., т. е. все увеличиваясь. Посмотрите: век великих микроскопических открытий есть в то же время век полного отсутствия своей архитектуры, полной неспособности создать памятник или великое здание! В одном и другом мы узнаем поступь нигилизма, процесс все того же мирового саморазрушения! Мир рассыпался; если ему суждено вновь собраться, человек получит вновь страсть к удлинению, протяжению, к увеличению против натурального и естественного, — во всех родах к измерениям телескопическим и звездным на место микроскопических и песочных. В науке должны появиться новые вкусы, новые влечения, совершенно новые мысли о мире, как именно произошло на рубеже XVIII и XIX веков, но в обратном порядке... Оставим, однако, гадать: литература *измельчания*, с культом измельченного, с проникновением во все мелкое, с уважением, любовью и страстью к мелочам, — должна двинуться в обратную сторону, с зовом великого.

Эту задачу задавала героическая борьба юного народа со старыми цивилизациями, с цивилизацией в моменте ее *самоотрицания*. Но задача не была понята, была отвергнута в самой теме своей рядом гениальных пересмешников. Гений у них был; но гений ко злу, к падению. Вспыхнет ли пафос вверх? к сотворению? Мы спрашиваем, а ответит век.

«ГОСУДАРСТВЕННЫ» ЛИ РУССКИЕ

(Ответ г. Философову)

Иногда г. Философов смешит в газетах, как Варламов в Александринском театре. Он поместил в «Рус. Сл.» большое изъяснение А. С. Суворина, его личности и деятельности, и что же получилось? Личность Суворина выходит у него не только талантливой, но и в высшей степени симпатичной,

искренней, без прибавки сказки о «перемене убеждений». Но в этой личности Философов находит один порок: она была в высшей степени *русскою*. «Суворин — не только яркая, богатая талантами *личность*, но и настоящий русский *тип*. Изучение этой личности — шире биографического исследования. Приглядываясь к Суворину, мы, русские, как бы изучаем самих себя. Все то, что как бы потенциально заключено в душе большинства русских людей, даже самых серых, невидных, — пышно и цветисто воплотилось в личности покойного. Суворин отчетливо выражал собою русский национальный тип, со всею гаммой светотени». Казалось бы, и отлично. Но Философов находит, что это в высшей степени скверно потому, что русский народ совершенно лишен инстинктов государственных. Дивимся этому. Кто же создал Россию? Государственные инстинкты, если верить Философову, живут у нас только на окраинах, и носителями этих инстинктов являются одни инородцы. Прекрасно, — но почему же инородцы не создали у себя прочного государства, когда еще Россия им нисколько не мешала, а они мешали России. Почему Польша развалилась, Армения не пребывает не только «Великой», но и «малой», Финляндия ничего, кроме Мехелина, не имеет, мордва одевается по-мордовски, а татары продают мыло, — и не из чего этого никакого «государства» не получается, а у политически-неспособных русских было уже сильное национальное и вероисповедное государство тогда, когда ничего подобного единому национальному государству не было, например у немцев? Посему историки все признают у великорусского племени величайшую способность государственного созидания, и отрицают ее только фельетонисты еврейских и под-еврейских газеток. И Суворин, несмотря на всю его впечатлительность, был вполне государственным человеком, и это отметила после его смерти печать всего мира, а при жизни — эту же его черту почтил английский парламент в лице своего спикера, когда единственный раз в жизни Суворин посетил Лондон. Надеемся, в политике английский парламент несколько больше понимает, чем Философов. Переходя к «окраинам», заметим, что они дают нам хороших служилых людей, которыми Россия пользуется как материалом; но «служилые люди» — не то же, что строители государства. Они «служат», а не строят. Таких лиц, как чистокровные русские — Никита Панин, Сперанский, граф Киселев, Вышнеградский, как роды Шереметевых, Строгановых, Блудовых, — «окраины» нам не дали. Стоит сравнить притязательного и бездарного Бунге со смелым творческим умом Вышнеградского, который разом поднял наши финансы из векового упадка, чтобы увидеть разницу между мелким и крупным калибром государственного ума. Инородческие умы, может быть от давления мелкой провинциальной жизни, все более мелочны, чем коренные русские характеры и умы. Если от дела мы перейдем к перу, к мысли и к вдохновению, то опять достаточно указать на Каткова и Аксакова и сравнить с ними Гессена и Винавера, чтобы решить в пользу «государственности» и русской политической печати. Философов, правда, может указать на себя как на пример политической неспособности, хотя и русской; но одна черная ворона с кусочком еврейского сыра во рту не портит ни стаи, ни песни.

«И в то время, как русские войска оставляли Праценские высоты, спускаясь в долину, французы с другой стороны подымались на них и спешно устанавливали пушки...» — это картинное описание начала Аустерлицкого поражения, которое мы читаем в «Войне и мире» Толстого, невольно приходит на ум всякий раз, когда думаешь об умственных движениях и сердечных слабостях русского общества университетской выработки. Его не хочется называть «образованным обществом»... Какая для этого причина? Нет, оно «поштучно» и массой выработано техникою среднего и высшего обучения и собственно безлично отражает в себе тот нетвердо усвоенный энциклопедический словарь, зазубриванию которого почему-то дали имя «русского просвещения». Когда после этих бездушных сведений попадаете на зуб живое слово Ницше, Шопенгауэра или «пролетарии, соединяйтесь поскорее», то русские естественно млеют, как старая барышня, увидавшая после уездных столоначальников заезжего молодого генерала. Этим объясняются «роман с Боклем», «роман с Мошоттом», «роман с Марксом», etc. etc., — которые сожгли сердце русской девы. Теперь это сердце вялое и усталое, и, кажется, никто не владеет им. В самом деле, пора оглянуться на безлюбное время теперешнего момента: никто не «владеет», никем не увлечены, нет героя, нет «жениха»... Впервые такое несчастье случается с русским обществом. Никем положительно не зачитываются, ничьего портрета не выставляют перед собою. Но не станем гадать о будущем, а вернемся к прошлому. В то время, как русские в самом деле исторически олицетворяли собою две строки из Некрасовского «Ямщика»:

На патрет все какой-то глядит,
Да читает какую-то книжку,

— непременно переведенную с немецкого, французского или английского, — в это же время люди нерусской крови и нерусского рода пристально и любовно начали разрабатывать нашу историю, изучать наш быт, вдумываться в нашу жизнь, все это соединяя, сливая с изучением русской литературы. Тут действует у них, конечно, не «патриотический национальный вкус», которого у них просто нет, ибо они же ведь не русские, — а космополитический вкус, общечеловеческая мерка качеств и интересных. В самом деле, в смысле «интереса» какое может быть сравнение между чудачком Боклем, который, ничему не учившись (его не отдавали в школу за слабостью здоровья), вздумал скупать у букинистов всякие книги, преимущественно по естествознанию, географии, этнографии, да по философии и политической экономии, заставил ими до потолка несчастную свою квартиру и по ним, «по естествознанию», начал писать «Историю цивилизации Англии», где нет 1) ни Англии, 2) ни истории, 3) ни цивилизации, как можно сравнить его с Хомяковым или Герценом, которые действительно обняли мир наук, обня-

ли и поняли, возлюбили и разочаровались?! Человеческая трагедия у гениальных Хомякова и Герцена и у одутловатого, преждевременно лысого Бокля, который только твердил одно, что «для историка нужно знать химию», — эта трагедия до того несоизмерима, что представляется чем-то невероятным 25-летнее увлечение русских Боклем и 40-летнее ими же пренебрежение к Хомякову. У одного — никакой мысли, у другого — целый мир мыслей; у одного — никакого образования, у другого — универсальная образованность; у одного — полное отсутствие творчества, у другого — вся жизнь была творчеством... Но что вы поделаете с барышней, хотящей быть непременно «за генералом» и чтобы был «из столицы»: сколько родители ни уговаривают — она совершает «необдуманный шаг». Так бедное русское общество «кружилось» десятилетия с Боклем, Дарвином, Спенсером, Контом, позднее с Шопенгауэром и Ницше (эти были уже другого порядка величины), — и совершенно прошло мимо целого ряда интереснейших русских умов, оставив их книги непрочитанными, а их идеи неувоенными. Эта порывистая смена увлечений лишила весь XIX век вообще всякого *своего роста*, не говорю — хорошего, но хотя бы даже дурного. Мы просто никак не росли, а только увлекались. Не развивались, а «меняли шляпы». Пока, кажется, не износилось самое то место, на которое надевается шляпа, и мы сидим «на реках Вавилонских», около разбитых кумиров и с опустелым сердцем. «Ничего не придумывается», «ничего не любитя».

* * *

Ну, будет сетовать. Перед нами новая интересная книга г. Гершензона — «Образы прошлого. Пушкин, И. С. Тургенев, И. В. Киреевский, Герцен, Огарев», вышедшая в Москве весной этого года. Кстати, в Москве образовалось целое книгоиздательство «Путь», которое можно назвать некоторым крестовым походом в защиту истинного просвещения: им издан, а главным образом — предположен к изданию целый ряд книг исторического, литературного, философского и религиозного содержания, в монографиях о замечательных мыслителях, преимущественно русских, или в коллективных сборниках на известную тему. Издательницей является г-жа Морозова, и если она «из тех Морозовых, которые» и т. д., — то это новый прекраснейший венок на голову нашего исторически-просветительного и исторически-благотворительного рода. До сих пор изданы монографии о Хомякове — Н. А. Бердяева, о Сковороде — Вл. Эрн, о Козлове — С. А. Аскольдова, печатаются: о К. Н. Леонтьеве — В. В. Бородаевского, о Н. Ф. Федорове — Н. А. Бердяева, о М. М. Сперанском — А. В. Ельчанинова, об архим. Феодоре Бухареве — С. С. Розанова, о Тютчеве — Вячеслава Иванова, о Гоголе — Зеньковского, об отце Серапионе Машкине — свящ. П. А. Флоренского; предположены в дальнейшем монографии о Достоевском, И. В. Киреевском, Н. И. Новикове, о Чаадаеве, Б. Н. Чичерине, кн. С. Н. Трубецком, Влад. Соловьеве и Л. Н. Толстом. Оригинальные книги изданы: «Два града» и «Философия хозяйства» С. Н. Булгакова, «Философия свободы» Н. А. Бердяева, «Жизнь В. С. Печерина»

Гершензона, «Полное собрание сочинений» И. В. Киреевского, «Философские характеристики» — Л. М. Лопатина, «Борьба за Логос» — Вл. Эрн. Согласитесь, что это целая библиотека. А так как все издания «Пути» так тщательны и обдуманны, что их можно покупать закрыв глаза, т. е. не справляясь ни о теме, ни об авторе, а зная лишь, что это «новое» и от «Пути», то, без сомнения, «русским Боклям» и «русским Добчинским» приходит конец. Болезненный вой по поводу «Пути» не умолкает уже целый год в «передовой печати» или, что то же, в совершенно отсталой печати. Мы давно говорим и говорили, что ничто так не ненавистно «передовому русскому человеку», как появление солидного сочинения на книжном рынке.

Есть одна черта, которая делает изучение русских писателей, ученых и мыслителей очень интересным, а от этого изучения требует некоторого своеобразия приемов, духа и письма. Это — богатое осложнение личности жизнью. «Сочинения» русского автора всегда есть продукт его жизни, и обыкновенно — вывод из жизни, и нет возможности писать о его книгах, стихах или философии, не рассказывая одновременно «мечту и муку» его жизни, ее сор и светлые дни. Нет песен Кольцова вне его прасольства (мелкая торговля скупщика по деревням), нет «Певца во стане русских воинов» и баллад Жуковского вне его придворных и аристократических связей, «Истории» Карамзина вне царской дружбы, нет лекций Грановского вне высокоинтеллигентной Москвы 40-х годов, нервных статей Белинского вне мокрых стен его квартиры и хищнических талантов Краевского и Некрасова, нет разнообразных порывов Влад. Соловьева вне его журнальных и «дружелюбных» симпатий и зависимостей, его мягкости, впечатлительности и самолюбия. Везде произведения — только отражение личности и обстановки. Тогда как у Бокля «Цивилизация» несколько не отражала квартиры, у Спенсера «Синтетическая философия» отражала только облака, проходящие над Лондоном, да и вообще там книги суть схематические явления, не нуждающиеся ни в лице, ни в биографии, а только в трудолюбии и учености, во врожденном остроумии или отражающие врожденную тупость. Ученый или мыслитель там — это обыкновенно огромный мозг, которому безразлично, куда он помещен и даже в каком веке он работает. Он тклет из себя паутину мысли, великую или слабую, вечную или минутную, по своей внутренней необходимости, как «корова дает молоко» и совершенно не нуждаясь в биографии, приключениях, в горе или счастье своего обладателя, — «дает молоко» и осенью, и весной, и на сухом сене, и на цветочной поляне. От этого из вежливости, конечно, прибавляют «биографию» к «Канту», или издатели к «Цивилизации» приделывают «Жизнь Бокля»: но в сущности, это лишнее. Никакой биографии нет у Канта, и вовсе не было никакой «жизни Бокля», а была хроника написания книг и история книгопечатания. Нельзя не сказать, что теперешние наши ученые тоже переделывают свою биографию в хронику издания своих сочинений, а европейские мыслители — преимущественно Италии и Франции — старых времен имели красивую, сложную, одухотворенную жизнь. Так что тут национального нет ничего, а все

«от века и цивилизации». Но у нас пока живет и недавно жилось свободнее, прихотливее, «с капризмом», что на Западе давно выметено трудолюбием и «культурностью». И, словом, за несколько последних десятилетий «История русской литературы» занимательнее и романтичнее, чем таковая же история западных литератур.

И заниматься ею, разрабатывать ее – значит почти воссоздавать по пожелтевшим бумажкам, хранящимся в громадных библиотеках, фасад домов того времени, убранство квартир, «моды» барышень и барынь, «препровождение» за день, с картами, послеобеденным сном, халатом, табаком «Жукова» и трубкою с длинным чубуком; воссоздавать служебные передряги, маленькие «завидования», большие честолубия; вечную подозрительность III отделения и заявление «гражданских прав» мирным обывателем; ну – и любовь, любовь, наша русская неустроенная любовь; и долги, долги – без которых климат России решительно был бы хорош. Когда мы читаем Пушкина и Лермонтова и сравниваем их с Куприным и Андреевым, нам и в голову не приходит, что это люди совершенно разных цивилизаций, разной истории, т. е. что под Пушкиным и Лермонтовым лежит какая-то забытая и совершенно разрушенная цивилизация, которую в наши дни откапывает специальный журнал «Старые годы», как когда-то Лэрд и Раулинсон откапали цивилизацию Вавилона. Мы в тех домах («Старые годы») не жили, и мы не поем тех песен.

Г-н Гершензон весь погружен в эти желтые листочки прошлого. Года два назад он «собрал и выпустил» «Жизнь Печерина», оригинального московского профессора, который в эпоху попечительства графа Строганова, соскучившись московскими дождями и сплетнями, взял да и уехал за границу, никого не спросив; там долго странствовал; бедствовал, писал стихи; переписывался с Аксаковыми; переменял веру (католичество) и умер где-то в ирландском госпитале, ухаживая за больными. Нежная и философическая душа, роман которой превосходит интересом и поэзией всякий возможный роман «с девушкой». Едва ли образ этого Печерина не подсказал Достоевскому фигуру Версилова в «Подростке», – с его замечательным исповеданием своих «странствий по Европе», «ношением вериг» и подозреваемым переходом тоже в католичество. Книга «Образы прошлого» может быть названа любовным рассказом о русских людях от 20-х до 50-х годов, собственно лишь очень внешним образом связываемым с «Историей литературы» в сухом смысле. Так, он восстановил и написал фигуру доктора Вернера, друга Печерина, в «Княжне Мери» Лермонтова: оказывается, это штабный лекарь Н. В. Майер, друг Одоевского и Марлинского, лично знакомый и Лермонтову, о котором оставили воспоминания Огарев, Сатин и Филипсон и от которого сохранилось несколько писем, напечатанных М. О. Гершензоном. Срисовав внешний, очень уродливый портрет с Майера, сохранив его душевную интересность и глубину, – Лермонтов не сохранил его доброты и привязчивости к людям. Майер, по воспоминаниям Сатина, узнал

себя в докторе Вернере и сказал о Лермонтове: «Pauvre sire, pauvre talent» – «жалкий человек, жалкий талант». Он был обижен срисовкой с живо-го лица, притом с переделками; Лермонтов придал ему черные глаза; сообщил сухость и эгоизм душе; и, словом, подрисовал его «под Печо-рина» и, может быть, несколько «под чеченца». Живой Майер несрав-ненно обаятельнее и лучше Вернера.

В очерке, посвященном Герцену («Герцен и Запад»), Гершензон изуча-ет все его заграничные связи и приводит многочисленные письма к Герце-ну Прудона, Мишле, Гюго, Луи-Блана, историка Эдгарда Кинэ, Гарибаль-ди, Мацини, Д. Медечи, Орсини, Саффи, Карлзэя. В письмах замечатель-ны характеристики: Мишле – русских революционеров и Герценом Луи-Блана. Мишле считал революцию не русским явлением в России, что довольно правдоподобно и сходно со взглядом на это явление Достоевско-го (Гершензон отвергает взгляд Мишле). Все революционеры, говорил он, и первые из них, декабристы, не имеют ничего общего с русским народом, совершенно на него не похожи и делают дело, совершенно ему ненужное и даже совершенно непонятное. Россию они стараются сделать поприщем европейской или всемирной революции, для этой революции берут от Рос-сии место и пытаются в нее втянуть народную душу – но напрасно. Люди типа Герцена – прекрасные люди, но – совершенно европейцы, которые пишут и думают по французским и немецким книгам, на запросы француз-ского и немецкого ума.

В посмертных сочинениях Герцена есть коротенькая его заметка, на-писанная о знаменитом авторе «Истории французской революции» и вме-сте – члене временного республиканского правительства 1848 года, Луи-Блане. «Когда я ближе познакомился с Луи-Бланом, – пишет Герцен, – меня поразила внутренний невозмутимый покой его. В его разумении все было в порядке и решено; там не возникало вопросов, кроме второсте-пенных, прикладных. Ум его, подвижный в ежедневных делах и подро-бностях, был китайски неподвижен во всем общем. Эта незыблемая уве-ренность в основах, однажды принятых, слегка проветриваемая холод-ным рациональным ветерком, прочно держалась на нравственных под-порках, силу которых он никогда не испытывал, потому что верил в нее. Мозговая религиозность и отсутствие скептического сосания под ложеч-кой обводили его китайской стеной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнения». Это очень хорошо, как изобра-жение застывшей революции, и, без сомнения, применимо не к одному Луи-Блану. Если, например, придвинуть к самому Герцену мировоззре-ния Достоевского, то и его, Герцена, можно назвать вулканом в изверже-нии, но который тоже застыл в монотонном отрицании, порицании и раз-рушении и не может ни остановиться в них, ни перемениться в них. Что он ответил, когда великий Карлзэя сказал ему, что он «в русских (той эпохи) ценит драгоценный инстинкт повиновения, без которого нет исто-рического строительства» (то же приведено у Гершензона)? Герцен не

только ничего не ответил на эти слова, но он ничего в них и не почувствовал, т. е. не воспринял в них великого поворота мысли. Увы, всякому человеку отпущено немного градусов по дуге, по которым он может и умеет двигаться, и никто не может обернуться по всему кругу. «По всему кругу» оборачивается только всемирная история, широко ставящая «да» на место «нет» и «нет» на место «да». Дуга Герцена не была даже очень велика. Конечно, он был шире и подвижнее Луи-Блана, но оттого, что он был новее, свежее в том же положении революционера, в том же положении отрицателя. Наконец, за ним и за его юностью стояли широкие русские поля, глухие русские леса, с их волюшкой и голубыми колокольчиками; все это понадышало в его сочинения ароматичности, которой нéоткуда было взять парижанину Луи-Блану. И хотя Герцен вообще представляется роскошным явлением «освобождения», почти лучшим из одновременных ему на Западе, по богатству в нем цветного спектра, а все-таки, под тон фонвизинскому Стародуму, скажешь: «А много было в Герцене от николаевских времен!» Какое красивое по цельности отрицание в противовес красивому по цельности утверждению. Без Николая I — нет и Герцена, и в основе-то самой яркости герценовской все-таки лежит николаевская сила. В более мягкую, рыхлую эпоху и Герцен разрыхлился бы, размяк и обезобразился. Он потерял бы страсть, остроту и огонь. К тому же он был великолепный барин, совершенно в тон с барственной николаевской эпохой: и от этой-то барственности, от этой почти царственности тона, прозы вытекает вся его литературная и публицистическая прелесть, чарующая нас, как и стихи Пушкина. Потом пошли отрицатели еще «шибче», но как эпоха стала смутнее и грязнее, то и они все вышли мельче и тоже как-то грязнее. Таким образом, Герцен сам не понимал, что все прекрасное произошло оттуда, против чего он восстал: из тех якобы «гнилых» условий действительности, которые он позорил перед Европою. Хороша «гниль», откуда родились Пушкин, Лермонтов, Карамзин, Грибоедов, Герцен и Огарев. Из гнилого и рождается гнилое, больная утроба вынашивает больной плод; кривое и маленькое деревцо рождает от себя другое такое же ничтожное деревцо. Это — ботаника, это — и история. А следовательно, и все учение Герцена, вся его обаятельная публицистика — была игрою юности, без серебряных старческих волос. Он восстал против великой исторической России, не низкой, а благородной, не расслабленной, а могущественной, — восстал легкомысленно, как новорожденный Аполлон, у которого кудри по плеча, и все на него молятся, но нельзя забыть, что ему 17 лет. «Великолепие — да, мудрости — ни на грош».

Лук звенит, стрела трепещет...

Все эти «раскаты» революции ничто перед дробью батальона, проникнутого почтительностью к г. командиру, как дальновидно заметил Карлзэйд и как разумеется само собою.

Впрочем, наивный Аполлон мог бы стрелять до бесконечности, если бы с него не сдернул хламиду сзади простой мошенник. Ах, это прозаическое государство: конечно, «не нужно бы его», обходись улицы совсем без воров, дома – без пожаров, дороги без разбойников и векселя без фальшивых подписей. А то трудно «отрицать государство», когда приходится поутру кричать: «Пожар! Отечество – спасай!», вечером – «Грабят! Городовой – помогай» и т. д. Герцену и его другу Огареву пришлось трудно, когда совершилась следующая история, о которой рассказывает Гершензон.

Огарев, после долгой и страстной любви к первой своей жене, Марье Львовне, – разошелся с нею. Это была увлекающаяся, поэтическая женщина, но очень несчастная и в конце концов даже дурная. Слабое и искривленное деревцо, оно все клонилось к земле, кривилось больше и больше падало... Герцен пишет в последних письмах, что она была собственною сумасшедшая. Оставленная мужем и волочась в неудачных любовях, она дошла до алкоголизма, была и больная, и дурная, и несчастная. И вот что случилось. «В 1846 году, когда Марья Львовна на короткое время приехала в Петербург, Огарев – очевидно, для обеспечения ей правильного получения ежегодной от него пенсии – выдал ей крепостные заемные письма на последнее имение, уцелевшее у него от миллионного наследства, суммою в 85 000 руб. сер., с обязательством уплачивать ей по этой сумме шесть процентов в год. Деньги эти и высылались ей периодически или непосредственно Огаревым, или через ее приятельницу А. Я. Панаеву, с которою Некрасов был, как известно, очень близок. В 1848 году Марья Львовна, по совету Некрасова, выдала Панаевой полную доверенность на ведение своих дел, а вскоре затем Панаева, несмотря на данное ею Огареву обещание не действовать против него, уговорила Марию Львовну передать эти заемные письма некоему Шамшиеву, с тем что Шамшиев ей деньги выплатит в два года, а имение возьмет на себя. С тех пор Мария Львовна получала гроши, и деньги, следовавшие ей, прилипли к чьим-то рукам, – Панаевой или Некрасова, неизвестно. Эта история была главной причиной позднейшей вражды Огарева и Герцена к Некрасову» (с. 529). Сообщение это я впервые прочел у Гершензона и впервые же из него только понял много лет назад удивившую меня строку у Михайловского с многообразием: «А на памяти Некрасова были не только проступки, но и преступление»... Очевидно, он имел в виду *этот* случай. Что в нем ужасно – это то, что Марья Львовна в это время была покинутая и одинокая женщина, больная и полубезумная. Тут, действительно, ум закружится... Принимая во внимание, как грохотала сатира Щедрина по людям «старого устоя», да имея в виду и «музу мести и печали» самого Некрасова, нельзя не подивиться великому душевному покою «молодой России»; нельзя не указать и на то, с какою деликатностью разрушаемая «старая Россия» целые десятилетия молчала об этом случае и ни разу не бросила рассказ о нем в ответ на громы обличений.

Первое издание этого труда появилось за границею, в Берлине, второе появляется в Москве. Автор положил несколько десятков лет на вдумчивое изучение Евангелий и посланий апостолов, а также писаний современных им, но не позднейших, дабы не было замутнено перед изучающим зеркало, в котором он рассматривает учение И. Христа. Автор (в предисловии) отвергает распространенный взгляд, будто зерном учения Спасителя служила «любовь к ближнему», так как изгнавший торгующих из храма и изрекший: «Я не мир принес на землю, но меч и разделение», и что ради Него «нужно оставить отца и мать, и жену, и ближних», — явно не имел главным предметом любви. Конечно, это так: хотя есть другие, столь же многоценные и памятные слова, говорящие, что «кто имеет любовь — исполнил все». Но не будем ни соглашаться с автором, ни оспаривать его. В обширном предисловии (125 стр.) автор развивает свое понимание Евангелий и всего учения И. Христа, а затем дает *перевод Евангелия «по его смыслу»*, вставляя на место некоторых выражений И. Христа, оставляющих в читающем колебание или недоумение, — уже прямо *тот основной смысл, какой он, Дурново, находит* в Его учении. Через это все Евангелие читается, так сказать, рациональнее и прозрачнее, чем есть. Может быть, многих это удовлетворит, — удовлетворит *логизация религии*. Но столь же бесспорно, что очень многие будут до муки спорить с г. Дурново; спорить против *его* именно понимания учения И. Христа, подставляя на место этого свои другие толкования. Здесь спор может быть бесконечен и уже был бесконечен. Наконец, г. Дурново встретит группу людей, — и к ним принадлежит пишущий эти строки, — которые вовсе и не хотят *разъяснять, просветлять* темные места в речениях Христа, ни хорошо, ни худо, а хотят видеть их в Евангелии именно темными, загадочными, непостижимыми и непостижимыми; хотят получать от этих слов впечатление и не хотят, чтобы это впечатление переходило в мысль. Мне $2 \times 2 = 4$ г. Дурново не нравится, потому что это арифметика, а не молитва; а я хочу молитвы и ради нее обращаюсь к вере, к церкви, к Богу, к религии. Религия и не *противоречит* 2×2 , и не есть *то же*, что 2×2 , а находится *в стороне от этого* и есть *третье, иное*. Есть «вправо и влево», и г. Дурново указывает «вправо» (положим), воздерживая от «левого»: а я хочу — «вперед». Хочу, может быть, «назад», хочу, может быть, «вверх». Вот видите, сколько движений, помимо рационального. Наконец, я хочу и «никуда», а мне «*чего-то* хочется»: «чего» — не знаю, а главное — не допускаю, чтобы мне кто-нибудь указывал. «Не сидится» на месте, а «бежать» тоже никуда не хочу. Тогда я «становлюсь» на колени, душа моя вся пламенеет, произношу довольно бессвязные, не по 2×2 , слова, которые меня как-то утешают: и, совершив все эти «мало понятные поступки», чувствую себя успокоеннее, светлее, лучше. Вот это мне кажется больше религиею, нежели «усовершенствовать себя

согласно своему понятию» (идея г. Дурново), чему мог научить и не Христос, а всякий школьный учитель. Религия есть и останется Святою Тьмою; где мы Бога не видим, а только чувствуем; откуда (откуда же???) к нам прилетают ангелы, говорят нам вести, откуда мы ждем чуда, — и иного чуда и из иного места не хотим, отвращаемся. Что такое? Непостижимое и должно остаться непостижимым: *но сюда* мы молимся, *сюда* поднимаем заболевшего ребенка; *здесь* молим о мире в душу, когда ссоримся с ближними. Все — *здесь, сюда и отсюда*. *Отсюда* нам дают святую воду, и я обмачиваю ею заболевший глаз; *отсюда* масло на заболевшую рану; и *здесь* ставлю лампаду, на которую взглядываю ночью. Закричат: «Предрассудки! Темнота!» Ну вот и хорошо, что «темнота»: при *свете* я буду играть в карты, а когда захочу помолиться, то непременно останусь «в темноте». Все «понятное» мне надоело в классической гимназии Толстого и на «понятно изложенных» лекциях в университете. Как я вышел в жизнь, я увидел, что все важное в ней, все, наконец, ценное и святое в ней — именно непонятно, темно, *но греет*, *но живет*, *но питает*. Да: «понятное» — не питает, а «непонятное» вот питает. Не умирать же мне с голоду ради вашего «понятного», не умирать среди камней пустыни, которые «осмотришь со всех сторон», «поймешь со всех сторон» и — бросишь. Потому что что же с ними делать?

Религия — тайна. Вот этого г. Дурново не понимает, и не понимают множество людей рационального склада натуры. Это люди размышляющие, а не болящие, допытывающиеся, а не тоскующие, делающие и не грешащие. Но ведь есть в мире Грех, Боль, Тоска. *Есть* ли?

Если *да* — религия вечна.

А когда умрет Грех, Тоска и Боль — религии будет не нужно. Но тогда, пожалуй, человек скажет: «Тогда и *мне* не нужно быть».

Так что когда останутся одни камни пустыни...

И когда будет человек гладенький, как камень, — без «греха, проклятия и смерти»...

То — по-видимому, уже совершенно разумный и счастливый, — он поищет веревки и крюка на потолке или поищет осины, как темный ученик Христов...

И вот этот-то последний час, к которому все идут и жаждут его, — будет самый горший час.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОД КИРЕЕВСКИХ

Много надо прожить, чтобы нажить в душу коротенькую мысль: что талант, блеск, в особенности, что искусство писать, колкость и остроумие слога, если под этим великолепием не лежит обыкновенного существа, которое мы именуем просто «хорошим человеком». Мысль эта, гораздо сложнее выраженная, чем здесь, была высказана впервые славянофилами; высказана как

зерно цельного взгляда на культуру, цивилизацию, на литературу, нашу и не нашу. Кажется, что это – обыкновенно, просто и «все уже знают». На самом деле это никому не приходит на ум, никому не приходило в голову в пору увлечений Байроном и байронизмом; да и позднее в пору увлечения Ницше, ницшеанством, декадентством и аморализмом. Мысль эта – старая, старого возраста, и создана она литературной школой, которая в самом рождении не была молода. Пора в рассмотрение истории литературы ввести эти категории – «моложавого» и «старого». Право, около категорий эстетических, нравственных и проч., около категорий «служения общественным интересам» и «выражения индивидуальности», своевременно внести это деление литературных произведений по *возрастам*, задумываясь о каждом: какой *возраст* в нем *бьется пульсом*?

Ибо вопрос, так сказать, о метафизическом возрасте писателя открывает его *горизонт*. Понятие тоже новое и необходимое в истории литературы.

Дерево растет, и с каждым нарастанием древесины оно становится больше, а верхушка его хоть чуть-чуть выше. Не «лучше» и не «красивее», а больше и выше. Так человек и душа его с каждым годом *поднимается*: она не делается более истинною, более добродетельною; ей просто открывается с каждым годом новый горизонт, она больше видит, дальше видит, шире видит. Как при подъеме на колокольню: сперва – своя улица, затем – несколько кварталов, весь город и наконец «за городом». С башни св. Марка, в Венеции, видны Адриатическое море и Альпы.

Видна целая страна.

Категория возраста, которую хочется ввести в приемы литературной критики, и относится единственно к далёкости видения. Через каждые 3–4 года, и много-много через десять лет, человеку жизнь представляется совершенно не такою, как он знал ее до этого, – представляется иною в самых своих основаниях, отнюдь, однако, не изменившихся. И происходит это не вследствие начитанности, не от новых знакомств и впечатлений, или не от этого главным образом. Главным образом все зависит от какого-то таинственного перестраивания самого судящего, самого глядящего на жизнь. Медики утверждают, будто через каждые 5–6 лет *меняется весь человек*, т. е. все клетки его тела заменяются другими. Может быть, это играет роль. Но нужно обратить внимание еще и на то *место*, куда становятся новые клеточки. Вот это *место*-то не остается прежним, оно перестраивается как-то к старости, и новые клеточки, – по веществу совершенно свежие, по форме и положению «продолжают», а не «повторяют» прежние отслужившие клетки. И с каждой сменой клеток душа человека все поднимается, зрение – все длиннее; все становится ему *виднее*.

Не истиннее, не благороднее, не лучше, а – виднее.

Человек растет. Но и, кроме того, человечество тоже растет и *стареет*, – люди не во все века рождаются «одинаковыми младенцами». *Одинакового* рождения нет. «Сама утробушка» нация имеет годы, возрасты, молодую или старую душу в себе: и, будьте уверены, сейчас рождающиеся от нас

дети совсем не те, какими рождались мы сами, и мы родились совсем другими, чем как родились современники Карамзина и Жуковского. То, что сбивчиво называют «наследственностью», скорее есть именно вот это *со-старение* поколений, расширение их *опыта* уже до рождения, расширение их *зрения*, утолщение их *зрелости*. Дети отнюдь не *повторяют* родителей: а ведь таков смысл слова «наследственность», «наследование». Дети скорее *отрицают* родителей и, во всяком случае, идут «дальше», хотя и тою же дорожкой, по которой двинулись отцы. Наследственность есть продолжение, а не повторение. И продолжение в сторону не «лучше», а – шире, не добродетельнее, а – *виднее*.

Это – вообще; и, наконец, как *исключение* рождаются иногда люди «вперед» или – «назад», как выпад из поколения грядущего или, напротив, давно прошедшего. Они или непомерно стары в данном живущем поколении, или непомерно в нем же молоды и остаются такими в течение всей жизни. Пример в литературе второго – Жемчужников, который в «Песнях старости», написанных в 70-летнем возрасте, остается «молодым человеком», которому по строю души хоть сейчас жениться. Пример старости в литературе – Лермонтов. Он в возрасте самых юных лет – уже старик; с жалобами на старость, со старческой усталостью, которая редко-редко прорезается бравурными молодыми выходками; но и в них он – кутящий старичок («Уланша», «Сашка»), с типичным старческим цинизмом, без всякого идеализма молодости. Лермонтова переутюжил его возраст, вот этот метафизический возраст, – с которым он уже родился; и, будучи 24 лет, – чувствовал, мыслил и писал, как столетний, относился ко всему в жизни, как столетний. Что же *молодого* в тоне «Купца Калашникова», или не суть ли столетние эти мысли и ощущения в «Выхожу один я на дорогу», в «Ветке Палестине», в «Гляжу печально я на ваше поколенье», – да и везде, почти везде? Белинский дивился, как он, юноша, угадал тон *матери* в «Казачьей колыбельной песне». Но у него есть и тон *бабушки* или, вернее, тон старой-старой матери, которой пора бы бабушкой быть, – а только дочери ее остались «без судьбы». И вот ей воображаются и безмолвные упреки этих дочерей небу, и конечная жалкая их судьба.

...На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыни росли и цвели мы.

.....
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о, небо, святой приговор!..

Без введения категории старости и юности в литературе нельзя понять *славянофильства*, и особенно исторической судьбы его. Славянофильство мне представляется существом с чудовищною головою, но совсем без ног и без рук – не ходящим или каким-то «стопоходящим», по сажени в сутки и не больше. Кому теперь придет на ум «учиться у Белинского»: между тем

С. А. Рачинский, профессор ботаники, переводчик Дарвина и Шлейдена, в свои 60 лет советовал мне «читать Хомякова и учиться у него», сам, очевидно, многому у него научась. Это было в 90-х уже годах минувшего века.

В «Образцах прошлого» Гершензона есть превосходная статья о П. В. Киреевском. Это брат философа и теоретического основателя славянофильства, редактора-издателя «Европейца», И. В. Киреевского. Он всю жизнь собирал народные песни, былины и проч., – и с его собирания началось систематическое и научное отношение к народному поэтическому, песенному творчеству. Здесь он положил первый камень и покрыл его мудрыми надписями.

Начиная его биографию, Гершензон хорошо говорит, – что в ней повторяются черты биографий всех прочих славянофилов. «Они все вышли из старых и прочных, тепло насиженных дворянских гнезд. На тучной почве крепостного права привольно и вместе закономерно, как дубы, вырастали эти роды, корнями незримо коренясь в народной жизни и питаясь ее соками, вершиною достигая европейского просвещения, по крайней мере в лучших семьях, – а именно таковы были семьи Киреевских, Кошелевских, Самариных. Это важнейший факт в биографии славянофилов. Он во многом определял и их личный характер, и направление их мысли. Такая старая, уравновешенная, уверенная в себе культура обладает огромной воспитательной силой; она с молоком матери внедряется в ребенка и юношу окружает теплой атмосферой, так что прежде, чем он успеет сознать себя, он уже сформирован; она заранее отнимает у своего питомца гибкость, но зато обеспечивает ему сравнительную цельность и последовательность развития. Нам, нынешним, трудно понять славянофильство, потому-то мы вырастаем совершенно иначе – катастрофически. Между нами нет ни одного, кто развивался бы последовательно: каждый из нас не вырастает последовательно из культуры родительского дома, но совершает из нее головокружительный скачок или движется многими такими скачками. Вступая в самостоятельную жизнь, мы обыкновенно уже ничего не имеем наследственного, мы все переменили в пути – навыки, вкусы, потребности, идеи; редкий из нас даже остается жить в том месте, где провел детство, и почти никто – в том общественном кругу, к которому принадлежали его родители. Это обновление достается нам недешево; мы, как растения, пересаженные – и может быть, даже не раз – на новую почву, даем и бледный цвет, и тощий плод, а сколько гибнет, растеряв в этих переменах и здоровье, и жизненную силу! Я не знаю, что лучше: эта ли беспочвенная гибкость или тирания традиции. Во всяком случае, разница между нами и теми людьми очевидна: в биографии современного деятеля часто нечего сказать о его семье, биографию же славянофила необходимо начинать с характеристики дома, откуда он вышел»...

Это так верно, это к такой бездне вещей относится, что, наверное, слова эти не пройдут в истории нашей литературы и напишутся эпиграфом ко многим будущим книгам.

Отец братьев Киреевских был великолепный православный англоман. Служака екатерининских времен, он при Павле I вышел в отставку с чином секунд-майора и вернулся в то родовое село Долбино, Калужской губернии, в котором родился. Он знал пять языков, любил (в то время!) естественные науки, имел у себя во дворце-доме лабораторию, занимался медициною и довольно успешно лечил домашних и крестьян. Умирая, он говорил старшему сыну, будущему философу, чтобы он занялся химиею, так как это «божественная наука». Немного он и писал, но это у него не выходило, и он не печатал. Приверженец английской свободы и английской образованности, он ненавидел французских энциклопедистов и тратил большие деньги, скупая и сжигая «безбожные писания», особенно Вольтера. Сам он был набожен и, не применяя над крепостными физических наказаний, ставил их за провинности «на поклоны», до сорока и более. Это же «церковное покаяние» он налагал, вне всяких правил, и на нерадивых или провинных чиновников, когда одно время служил. При всем властительном характере он был очень добр, и в черновых его тетрадях найдены две заметки, где он упрекал себя за выговор одному чиновнику, ошибочно данный, и в другой раз за то, что не пропустил крестьянина проехать по лугу. В церкви села Долбина была чудотворная икона Успения Божией Матери, и в барском доме совершались частые богослужения, на большие семейные дни. Жил он, несмотря на англоманство, народною жизнью, любил и уважал старину и строго держал древний чин. «В летнее время двор барский оглашался хоровыми песнями, под которые многочисленная толпа девок, сенных девушек, кружевниц и швей водили хороводы и разные игры: в коршуну, в горелки, «Заплетися, плетень, заплетися, – ты завейся, труба золотая» или «А мы просо сеяли», «Я еду в Китай-город гуляти, привезу ли молодой жене покупку» и др., а нянюшки, мамушки, сидя на крыльце, любовались и внушали чинность и приличие. В известные праздники все бабы и дворовые собирались на игрища, то на лугу, то в роще, крестить кукушек, завивать венки, пускать их на воду и пр. Крестьяне были достаточны, многие зажиточны. К Успеньеву дню, в августе, в Долбине собиралось к чудотворному образу множество народа, и тут же купцы навозили товару, раскидывали палатки и лари, и открывалась ярмарка. Но водочной продажи отец Киреевский не допускал у себя, – и даже в дни ярмарки не позволял местному откупщику открыть виноторговлю. Оберегая своих крестьян, Киреевский «без всяких прав» физически не допускал кабака. Вообще, при великой доброте и благородстве, Киреевский был человек власти, своего достоинства и горделивой самостоятельности. Так, в 1805 году губернатор Яковлев, объезжая губернию, захотел остановиться в Долбине, – и попросил позволения переночевать. Но Киреевский, узнав, что с Яковлевым «объезжает свою губернию» и его «прелестница», – отказал. Губернатор должен был ехать уже ночью дальше и проситься ночевать в другом месте. В 1812 году, ради безопасности, он переехал из Долбина в Орел с семьею, – и здесь самовластно принял в свое заведование городскую больницу, куда во множе-

стве свозили раненых французов. В госпитале царили вопиющие неурядицы и злоупотребления; «не щадя сил и денег, всех подчиняя своей твердой воле, – рассказывает Гершензон, – Киреевский улучшил содержание раненых, увеличил число кроватей, сам руководил лечением, словом, работал неустомимо; попутно он обращал якобинцев на христианский путь, говорил им о будущей жизни, о Христе, молился за них». Здесь, в госпитале, он и заразился тифом, который в ноябре 1812 года свел его в могилу.

Он был и дома оригинал. Бывало, запрется в комнате и, лежа на полу, читает книги; вокруг – недопитые и допитые чашки чая. Когда, уже немолодым человеком, он вступил в брак с Авдотьей Петровной Юшковой, то гости говаривали, что «единственный чистый предмет в доме – это хозяйка»: так как в кабинете и библиотеке он не позволял убирать и стирать пыль (чтобы не перепутали его бумаг и читаемых книг). В жизни был наивен, как ребенок; так, переехав для первых родов жены в Москву, он уезжал с утра из дому, не оставив жене денег, и она не знала, как накормить многочисленную дворню. А он, засидевшись в какой-нибудь книжной лавке, возвращался поздно, с кучею книг, а иногда со множеством разбитого фарфора, который тоже страстно любил.

Иною была мать братьев Киреевских: будучи вдвое моложе своего мужа и скоро подчинившись его моральному и религиозному духу, – она все-таки сохранила природную веселость, свежесть и необыкновенную привязанность к природе; позволим себе сказать: сохранила «врожденное язычество», какое есть у всякого человека. Любила цветы, поэзию, живопись, шутку, – и сама была остроумна и готова на проказы, сама прекрасно рисовала. «Чувство любви к красотам Божьего мира было необыкновенно развито в Авдотье Петровне: до преклонного возраста не могла она равнодушно видеть цветущий луг, тенистую рощу. Цветы были ее страстью; она окружала себя ими во всех видах, составляла букеты, срисовывала, наклеивала, иглой и кистью передавала их изображения». Так вспоминают о ней. Зная три иностранных языка, она была начитана в немецкой, французской и английской литературах; сама любила писать; много переводила, и переводы ее, большею частью оставшиеся в рукописях, составляют много томов; помогала переводами и перепискою Жуковскому (своему родственнику), при издании «Вестника Европы»; когда подросли ее дети, то перевела «Левану» Ж. П. Рихтера, двухтомную «Жизнь Гуса» Бонглоза и отрывки из мемуаров Стефенса. Игривая кровь матери сказалась в Петре Ив. Киреевском, когда однажды, придя к Ек. Ивановне Елагиной в день ее именин и не принеся подарка, он подошел к окну и, растворив его, сказал, показывая в сад: «Но дарю тебе всю жимолость на свете и еще полярную звезду».

«Об Иване Васильевиче Киреевском говорят и пишут много, но о брате его, Петре Васильевиче, редко упоминают; между тем он был еще замечательнее своего брата Ивана как по редкости совершенно праведной жизни, так и по образованию, не менее обширному» – так приходилось мне

устно слышать от Ник. Петр. Аксакова, лет шесть назад умершего в Петербурге богослова-славянофила.

Иван Васильевич был старшим братом и, естественно, во всем имел инициативу в семье: книги, знакомства, философские увлечения, выбор литературных кружков — все принадлежало брату Ивану, за которым в те же самые волнения или те же самые связи вступал за ним его младший брат. Та же служба в Архиве министерства иностранных дел, о котором упоминает Пушкин в «Евгении Онегине» («архивные юноши») и который на самом деле есть древнехранилище вообще древних памятников и древних актов России за все время ее истории; те же кружки Раича, Веневитинова, В. Ф. Одоевского; то же слушание профессоров Московского университета, где не было еще расцвета, но этот расцвет начинался; и, наконец, то же увлечение натурфилософией Шеллинга, которая в ту пору кружила головы всей Европе. Но в то время, как Иван Васильевич всем этим увлекался и всему этому подчинялся, Петр Васильевич входил в то же самое русло гораздо спокойнее и самостоятельнее. Г. Гершензон справедливо замечает, что нет никакой необходимой связи между предметами занятий Петра Васильевича в его учебные годы и между тою зрелою фигурою уже трудящегося на жизненном поприще человека, какую мы видим в центральный период его жизни. Петр Васильевич тише рос и крепче вырос. Можно думать, что и товарищи, друзья, профессора менее замечали его, нежели блестящего дарованиями старшего брата Ивана, и менее на него накидывались с «убеждениями» и влияниями. Петр был защищен фигурою Ивана от слишком сильного прибоа волн, — и вышел цельнее и чище. Жуковский был друг их матери, живал подолгу в их доме, в Долбине, очень любил обоих мальчиков и сам был ими любим; но этого могло бы вовсе не быть, как и философии Шеллинга могло бы вечно не существовать, и все-таки Петр Васильевич совершил бы весь жизненный труд, который он совершил, без всякой перемены и даже оттенка перемены. Напротив, теоретик славянофильства, Иван в некоторые фазы своего умственного развития был зависим от Шеллинга; да и на литературную его деятельность Жуковский имел сильное влияние.

Учение и образование в то время было совсем не похоже на теперешнее, наше, и имело значительные преимущества перед ним. Именно — в свободе выбора, вкуса, в отсутствии, так сказать, «вероисповедного» давления на душу, — идейно-вероисповедного. Состояло оно почти исключительно в превосходном изучении языков немецкого и французского как *sine qua non**; большею частью — и английского; реже — итальянского и испанского; из древних — непременно латинского и иногда греческого. Но эти языки не «учились», как теперь, Бог знает зачем, ибо теперь «выучившиеся» в гимназиях этим языкам и их основательно не знающие никогда не читают потом, в зрелую жизнь, ни немецких, ни даже французских книг (исключения не считаются). Напротив, в то время «учить язык» — значило не пачкаться в

* без чего нет; совершенно необходимое условие (лат.).

его грамматике и писать «экзерсисы», а – *читать и знать литературы и науку* соответственных народов. Через это и получалось «европейское образование», чего, конечно, и тени нет теперь, ни в гимназии, ни в университете. Теперь собственно везде «уездное русское училище», несмотря на множество сменившихся гимназических систем и на несколько «реформ» университетского устава: «уездное училище» – в гимназии, «уездное училище» – в университете. Дальше и выше ни на вершок. Теперь все одинаково «надолблены» сведениями энциклопедического характера; «напичканы» программами знаний, фактов, все более расширяемыми; и уже в гимназии, а еще более в университете, острижены и обработаны в сумму «убеждений» приблизительно присяжного поверенного и члена Думы еврея Винавера. Ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево, ни выше, ни ниже. Голова отрублена, как петуху на кухне, а крылья тоже как обрезаны поваром. «Сия общипанная курица называется интеллигентом»: она гола, бедна, тоща, но сыта самодовольством. Душа умерла, а сведений довольно много. В то время, 70–80 лет назад, «сведений» почти не давалось, кроме самых общих, самых элементарных. Вместо истории проходило «Mithologie de la jeunesse»; вместо греков и римлян – читался по-французски Плутарх. И прочее в том роде. Но уже с 14 лет невинный еще отрок или девушка входили незаметно и сами собою в весь трепет поэзии Байрона, Шиллера, Гёте, позднее Вальтер Скотта и Шатобриана: из строф Пушкина и пламенных статей Белинского, даже еще из юношеских писем Достоевского (о Корнеле и Расине, о Гомере) мы знаем, что это было за вхождение. Это было полное претворение поэта в себя, полное претворение себя в поэта. Это не было ни формальное «ознакомление» с классиками теперешних читателей-учеников, как подчинение их «авторитету», тоже формальное и внешнее; но с каждым новым циклом чтения читающий и образующийся как бы принимал «крещение и исповедание», и таких крещений было несколько. Из этого обильного и роскошного чтения на трех-четырех языках, чтения неторопливого, чтения, наконец, «художественного» по всем условиям, по всей обстановке, выходили из рук таких «гувернеров-мусьё», какие описаны в «Онегине», такие чудно-образованные и всесторонне развитые люди, как Пушкин.

И все это завершалось в «кружках», которые так неосторожно и недальновидно осудил Тургенев в «Рудине». Всякий кружок был маленькою «церковью», – но не на темы вероисповедания, а на темы всемирной культуры. «Кружок» был толпою «самообразующихся» юношей: где полная *открытость* и полная *свобода* была естественным канонem. Температура кружка имела ту высоту, какой никогда не достигнет «общество вообще», по разнокалиберности вер его, по практицизму его, по прослойкам в нем индифферентизма, склонности к удовольствиям, наслаждениям и забавам. «Кружки» имели то же значение, как «специальные семинарии на дому» профессоров в германских университетах; но только – не с учеными задачами, а с общеобразовательными, культурными. В них развивался талант, в

них закалялся талант; в них талант приучался *не рассеиваться*. Кружки чудным образом концентрировали и сберегали душу, охраняли ее от расстления, от цинизма, что так возможно в молодости и в громадном городе. Гимназии были чрезвычайно дурны (пороли), и никто туда, по крайней мере из дворянства, не отдавал детей; дети, таким образом, росли в усадьбах, за городом; и в семейной обстановке, среди сельской природы, с «мамушками» и «гувернерами» оставались здесь до университета, куда поступали легко, без теперешних идиотически-длинных программ и «неукоснительных» формальностей. Так все это «уложилось» само собою и «образовалось» само собою, без предначертания какого-нибудь петербургского администратора, всегда воображающего, что из головы его, как из головы Зевса, выходят только «Паллады-Афины», а не самые обыкновенные кретины. Это следовало бы сохранить, возделывать, продолжить дальше. Но в эпоху «преобразований» 60-х и 70-х годов все было сломлено, развеяно ветром и уступило место кретинизму, из которого не знают, как выволочить ноги, «начальство» и подчиненные, дети и родители. Римские склонения, порнографические повестушки и «gaudeamus, братцы», с табаком и девицами, — и все прорезается и оживляется мордобитием профессоров: полная классическая система.

* * *

Петр Васильевич Киреевский начал изложением, в двух книжках «Московского Вестника» за 1827 год, новогреческой литературы; это было в связи с греческим восстанием за независимость. Затем в следующем году он напечатал перевод комедии Кальдерона (с испанского): «Трудно стеречь дом о двух дверях» и перевод повести Байрона «Вампир». Это — напечатанное. Затем в рукописях его найдены переводы еще нескольких драм Кальдерона и нескольких пьес Шекспира. Но отчего-то он их не печатал. По всему вероятно, это не выражало его призвания. Затем, во время войны России с Турцией он намерен был поступить в военную службу. Но это ему не удалось.

Он поехал в Германию, и именно в южную Германию, благословенную именами Гёте и Шиллера. Первая остановка была в Дрездене, где они с приятелем Рожалиным первым делом отправились смотреть «Фауста», дававшегося в честь 80-летия Гёте. «Невозможно было не забыть», — писал он брату Ивану. Затем отправился пешим хождением и верхом по Саксонской Швейцарии. Но было какое-то почти физиологическое расхождение его с немцами. Лошади — не по нем, экипажи — не по нем, сапоги немецкого шитья — быстро потеряли подметки; «нет в городах наших колоколен и златоверхих церквей». И наконец поспешил в Мюнхен — «здоровый, веселый, нетерпеливый, слышать Шеллинга и его мюнхенскую братию», — как отзывались в письмах о нем.

Университет начала XIX века не был тем «проходным двором», как теперь, где никто никого не знает, никто никем не интересуется и никому

ни до чего дела нет, кроме «формальностей». Желаящие записаться в слушатели должны были лично явиться к ректору университета и испросить на слушание дозволение, а также должны были лично посетить профессоров, у которых они собирались слушать лекции. И это не были формальные «явки» и поклоны, — что было бы глупо само по себе и для входящего оскорбительно, а для принимающего утомительно. Это было личным знакомством неопытного и юного с мудрым и зрелым руководителем занятий. Вот его рассказ о посещении великого Шеллинга, — в письме к брату Ивану: «7–19 октября. Я сейчас возвратился от Шеллинга. Ходил просить позволения слушать его лекции и проговорил с ним около часу. Узнаешь ли ты меня в этом подвиге? И что всего удивительнее, не запнувшись ни разу. Но что тебе сказать о Шеллинге? Не можешь вообразить, какое странное чувство испытываешь, когда увидишь наконец эту седую голову, которая, может быть, *первая* в своем веке, когда сидишь с глазу на глаз с Шеллингом! Так как завтра уже начинается курс, следовательно, откладывать моих визитов профессорам было долее нельзя, то я и отправился прямо к Шеллингу. Меня встретила девушка лет 19, недурная собой, с маленькою сестрою лет девяти, и когда я спросил, здесь ли живет der Herr geheimer Hofrat v. Schelling*, сказала маленькой: *Sich doch nach ob der Papa zu Hause ist?*** А сама между тем начала говорить со мною по-французски о погоде. Наконец, маленькая дочка Шеллинга возвратилась и сказала, что Шеллинг просит меня войти. Гостиная Шеллинга — маленькая комнатка, шагов в одиннадцать вдоль и поперек, и не только имеющая вид простоты, но даже бедности; вся мебель состоит в маленьком диванчике и трех стульях, а на голых стенах, несколько закопченных, висит один маленький эстамп, представляющий очерки какой-то фигуры, едва видной в лучах света, и вокруг нее молящийся народ. Минут пять я ходил взад и вперед по комнате, наконец отворилась дверь — и вошел Шеллинг, но совсем не такой, каким я себе воображал его. Я часто слышал от видевших его, что никак нельзя сказать по его наружности: «Это Шеллинг», и я думал найти старика дряхлого, больного и угрюмого, человека, раздавленного под тяжелою ношею мысли, какого видал на портретах Канта. Но я увидел человека, по наружности лет 40, среднего роста, седого, несколько бледного, не Геркулеса по крепости сложения, с лицом спокойным и ясным. Глаза его светло-голубые, лицо кругловатое, лоб крутой, нос несколько вздернутый кверху сократически; верхняя губа довольно длинная и несколько выдававшаяся вперед, но, несмотря на то, черты лица довольно стройные, и лицо хотя округлое, но сухое; вообще он кажется весь составлен из одних жил и костей. Определить выражение его лица всего труднее; в нем ничего определенного не выражается, и вместе с тем лицо ко всем выражениям способное. Лихонин, говоривший, что выражение лица на портрете Жан-Поля

* господин тайный советник фон Шеллинг (нем.).

** Посмотри там, наверху, дома ли папа? (нем.)

слишком индивидуально, назвал бы выражение Шеллингова — *абсолютным*. Только в нижней части лица видна какая-то энергия, и легкий оттенок задумчивости в глазах, когда он перестает говорить. Но когда он, опустив на минуту глаза в землю, вдруг взглянет, — какая-то молния блеснет в его глазах, обыкновенно совершенно спокойных... Он встретил меня извинением, что заставил дожидаться, — и попросил перейти в его кабинет. Здесь, говоря с Шеллингом, я ничего не мог заметить, кроме кипы бумаг на большом столе и нескольких рядов книг на досках, прибитых к стене. Когда я сказал, что желаю слушать его лекции, он отвечал, что очень рад, если хотя чем-нибудь может быть мне полезен, и просил адресоваться к нему во всем, что он может сделать. Он посадил меня на диван, а сам сел передо мной на стуле и с вопроса, долго ли я намерен остаться здесь, начал говорить о здешних способах занятий и средствах к ним, о собраниях по части искусств и библиотеках; потом, спросивши, в каком состоянии осталась библиотека Московского университета после пожара, начал расспрашивать о Москве, о нашем профессоре Лодере, с которым был знаком, на каком языке немецкие профессора читают у нас лекции, много ли занимаются латинским языком в университете. «Ну, хорошо, — сказал он между прочим, — в медицинском отделении искони уже введен латинский язык, и необходим; но если бы, я думаю, читать философию на латинском языке, — думаете ли вы, что нашлись бы слушатели?» — Я отвечал, что большая часть слушателей, способных понимать лекции философические, были бы способны понимать их и на латинском языке, но что, впрочем, немецким языком занимаются в России еще гораздо больше. — От университета нашего он перешел к образу жизни москвичей, — говорил, что воображает в Москве большое разнообразие во всех отношениях, смешение азиатской роскоши и обычаев с европейским образованием, расспрашивал о состоянии нашей литературы, — говорил, что он слышал, будто она делает большие успехи, и что он слышал также, что у нас драматическое искусство процветает, особенно, что есть отличные комики; но в последнем, к несчастью, я не мог подтвердить его мнения. Потом он перешел к настоящей войне. «России, — сказал он, — суждено великое назначение, и никогда еще она не выказывала своего могущества в такой полноте, как теперь; теперь в первый раз вся Европа, по крайней мере все благомыслящие, смотрит на нее с участием и желанием успеха; жалеют только, что, в настоящем положении, ее требования (от Турции) слишком умеренны». Он говорил о трудностях русского языка и как важно между тем было бы его изучение, хвалил его звучность; говорил, что очень много слышал о нашем Жуковском и что, по всем слухам, это должен быть человек отличный. Очень хвалил Тютчева. «*Das ist ein sehr ansgezeichneter Mensch*, — сказал он между прочим, — *ein sehr unterrichteter Mensch, mit dem man sich immer gerne unterhält*»*. И когда я

* Это — замечательный человек... очень образованный человек, с которым всегда приятно разговаривать (нем.).

наконец встал, чтобы идти, он спросил мое имя и сказал, что ему очень приятно было бы, если бы я иногда навещал его по вечерам; и это приглашение повторил два раза. Разговор его так прост, жив и неразмерен, что невольно забываешь, что говоришь с этим огромным Шеллингом. Зачем не ты был на моем месте?»

Письмо (от 1829 г.) было к брату Ивану, «шеллингианцу» в то время. Писавшему – всего 21 год. Тогда же оно ходило по рукам в Москве и было напечатано М. П. Погодиным в его «Московском Журнале».

* * *

Существует представление, особенно в нашем наивном и темном студенчестве, что «зачем же *лично слушать* профессоров», когда можно то же самое прочесть и выучить по их литографированным лекциям. И на основании этого в наших университетах, – лет тридцать назад (моя пора), как и теперь, из «курса» посещает лекции менее половины записавшихся, иногда только $\frac{1}{4}$ и даже менее. Это все равно, что если бы кто полагал «все равно, быть ли в личном общении с Пушкиным или читать его посмертно напечатанные письма к жене и друзьям».

Во всяком личном общении проходит некая живая тайна, ускользающая вовсе из типографской краски. Тут – тело. Тут – интонация. Тут – мина полупрезрения, недоумения, нерешительности, когда обсуждается на лекции истории историческое событие или историческое лицо или когда комментируется художественное произведение. Чем все заменить, как? Наконец, в ученом человеке я вижу *лицо*, прошедшее десятилетия над книгами, и это *лицо* чего-нибудь стоит, оно просвещает самым своим выражением и неуловимым гипнозом. Есть преступные усыпления, и есть святыя усыпления: и несомненно, основывая университет, имелось в виду дать юношеству перед выходом в труд жизни пережить несколько лет «святых усыпаний». О таком действии читающего лекции на слушателя дает понятие, напр., письмо брата этого Киреевского, Ивана Васильевича, из Берлина о *географе* Риттере: «Я был два раза на лекции у Риттера. Он читает географию, и пока я останусь в Берлине, не пропущу ни одной его лекции, несмотря на то, что он читает в один час с Hegel'ем. Один час перед его кафедрой полезнее целого года одинокого чтения. Каждое слово его было для меня новостью, ни одна мысль не пахнет общим местом. Все обыкновенное, проходя через кубик его огромных сведений, принимает характер гениального, всеобъемлющего. Все – факты, все – частности, но в таком порядке, в такой связи, что каждая частность кажется общею мыслью» («Материалы для биографии И. В. Киреевского», стр. 25, в I томе издания Гершензона, 1911 г.).

А между тем география, осязательная и конкретная, была совершенно вне круга его способностей и призвания!

Брат Иван был подвижнее Петра, живее мыслью и, так сказать, ускореннее впечатлительностью; Петр же был замкнут и неуклюж. Иван был

создан для многого, Петр для одного. Живя в Германии, он полон Россиею. Интересны мелочи: первый день Рождества и Новый год (1830) он встречает в семье Тютчевых, русский же Новый год (по старому стилю), «один для меня настоящий», он встретил дома, растянувшись с трубкой на диване и перелетев мыслями в Москву. В другом письме он пишет про за границу: «Отдаление от всего родного особенно развило во мне глубокое религиозное чувство». Говоря о наступившей ранней весне в Мюнхене, он продолжает: «Несмотря, однако же, на здешнее раннее тепло, я не променял бы нашей весны на здешнюю. В ручейках, которые теперь у нас бегут повсюду в Москве, в этом быстром, бодром переходе, в живительной свежести нашего весеннего воздуха — есть прелесть, которой здешняя весна не имеет. У нас природа спит долго, зато просыпается свежее, бодрее, и быстрота перехода от спокойствия к жизни чувствуется живее. Здесь все просыпается понемногу, немецкая природа ленится бодро вспрыгнуть с постели и еще долго остается между сном и бдением; ясные дни сменяются с сырыми, и не знаешь, в самом ли деле она проснулась или заснет опять». На природу похож и человек, и Киреевский везде отдает преимущество русскому характеру, русскому уму, русскому «всему» в очерке человека и жизни. «Только побывавши в Германии, вполне понимаешь великое значение русского народа, свежесть и гибкость его способностей, его одушевленность. Стоит поговорить с любым немецким простолудином, стоит сходить раза четыре на лекции Мюнхенского университета, чтобы сказать, что недалеко то время, когда мы их опередим в образовании. Здесь много великих ученых, но все они собраны из разных государств Германии одним человеком — королем, который делает все, что может; это еще не университет: что могут они сделать, когда их слова разносят по ветру? Надежды, которые может подавать университет, должны мериться и образованностью слушателей: — А знаешь ли, что в Московском университете едва ли найдешь десяток таких плоских и бездушных физиономий, из каких составлен весь Мюнхенский? Знаешь ли, что во всем университете едва ли найдешь между студентами человек пять, с которыми бы не стыдно было познакомиться? Что большая часть спит на лекциях Окена и читает романы на лекциях Герреса? Что дня три назад Тирш, один из первых ученых Германии, должен был им проповедывать на лекции, что для того, чтобы сделать успехи в филологических науках, не должно скупиться и запастись по крайней мере *латинской грамматикой!* Потому что многие из них приходят к нему, прося позволения просмотреть грамматику Цумпта, которая стоит *один талер!* И это тот университет, где читают Шеллинги, Окены, Герресы, Тирши. Что, если бы один из них был в Москве? Какая жизнь закипела бы в университете! Когда и тяжелый, педантический Давыдов мог у нас возбудить энтузиазм».

В самом деле, от *массы* студенчества столько же зависит дух университета, как и от высоты профессоров. Разношерстное, плохое, некультурное студенчество так же тянет профессию неодолимо вниз, как, с другой стороны, выветрившаяся, тщеславная и научно слабая профессура проходит

«ветерком» по головам студенчества. Все в связи. Юношество начала 30-х годов, образец которого мы видим в двух братьях Киреевских, и подняло неодолимо Московский университет, *один* Московский (сосредоточение русского дворянства *средней* школы России), на ту высоту, на которой заблистал он в 40-х годах, через десять только лет.

Восстановить первоначальный, древний дух русского народа, – восстановить его по непререкаемым памятникам, а не через воображение или догадку, – наконец, дать документы, где было бы видно течение этого духа и отражение в нем всей природы и всего быта, видна была бы жизнь и игра этого духа, его возможная глубина, его ясность и легкость, – такова была задача, занявшая П. В. Киреевского еще в его студенческие годы в Германии и которой он отдал всю последующую жизнь. Более величественной и более благородной задачи нельзя себе представить. Но она была смутна и неопределенна. Где найти этот «первоначальный народный дух»? В летописях и вообще в старинных памятниках – во-первых. Но в старину так мало вообще писалось, что в написанное попадали только крохи народной души. Где же искать *полноты души*?

В живой речи народа сейчас, – о которой Киреевский справедливо догадался, что эта «речь», при отсутствии или слабости книжных влияний, очевидно, сохраняет все древние черты. Здесь мы уже чувствуем Даля. Но еще важнее была его догадка, что наименее подлежит изменениям *размеренное песенное слово*, которое или разрушается, т. е. забывается, а если уже сохраняется, то *дословно* от того времени, когда была сложена, по закону: «из песни слова не выкинешь». Так он пришел к идее собирать народные песни.

В настоящее время, после Даля, после собирания песен Рыбниковым, после множества частных изысканий в этом направлении, изданных нашею Академиею Наук, – все это кажется «обыкновенным». Но это было совершенно необыкновенно в 30-х и 40-х годах, когда все русское общество бредило «музой Байрона» и зачитывалось романами Вальтер Скотта, когда Герцен увлекал общество заинтересоваться Сен-Симоном, Фурье и Луи-Бланом, когда Гоголь описывал «мертвые души» и Лермонтов пел своего «Демона». Такая прозаическая задача, такая деревенская задача, такая, можно сказать, «не дворянская и грязная работа», работа «неинтеллигентная и необразованная», была нова, смела, дерзка. Куда дерзостнее, чем все «гражданские мотивы» Герцена или критические статьи Белинского; куда всех их народнее и демократичнее. Мы применяемся к языку теперешних понятий, хотя он вообще не подходит вовсе к Киреевскому.

Мать его, Авдотья Петровна, сообщает в письме от 1832 года, что сын ее Петр «издает собрание песен, какого ни в одной земле еще не существовало, – около 800 одних легенд, т. е. стихов по-ихнему». Песни он собирал *с голоса*, лично, разъезжая для этого по селам и ярмаркам Московской и Тверской губерний. В письмах той же матери ею рассказывается эпизод

этого собрания, которое оказывалось не совсем безопасным. «Когда он нынешнее лето собирал в Осташкове нищих и стариков и платил им деньги за выслушивание их нерайских песен, то городничему он показался весьма подозрителен, и он послал об нем рапорт к губернатору. То же сделали многие помещики, удивленные поступками слишком скромными такого чудака, который, по несчастию, называется студентом. Губернатор послал запрос ректору Московского университета Малиновскому, а тот, по обыкновенному благородству своего характера, отвечал, что он Киреевского (т. е. питомца вверенного ему университета) не знает».

В подозрительности и недоверии администрации, конечно не понимавшей, что такое и для чего «собирать мужичьи песни», как этого не понимали и Белинский или Герцен, — отразилось, очевидно, несчастное 14 декабря. «Вкрадывались в доверие солдат — и удалось; может быть, собрание певцов около себя — лишь предлог, а потихоньку ведутся с певцами и не певцами совсем другие разговоры». Таким образом, администрация запуганно предугадывала совершившееся через сорок лет, в 70-х годах, «хождение в народ», действительно в целях смуты. Киреевскому, при его настроенности, ничего не стоило бы рассеять это недоразумение. Но он, как и все последующие славянофилы, был слишком целомудрен, чтобы оправдываться и вообще чтобы «улаживаться» в деле, где он был совершенно чист. Известно, что Некрасов потому избегал цензурных кар своему журналу, что «кормил обедами членов цензурного комитета», — как об этом громогласно и высказывал. Ничего подобного вообразить нельзя себе в Киреевских, Аксаковых, в Хомякове, в Тютчеве или Каткове. Вот эта-то нравственная гордость славянофилов, гордое сознание ими своей безвинности, и, с другой стороны, подлизыванье радикалов к агентам администрации, на которую внутри-то они точили нож, и есть, конечно, мотив поразительной разницы «цензурной судьбы» одних и других. У нас все решается в порядке «клубного амигошонства»; у нас истории нет, по крайней мере в нижних ярусах управления, а есть «клуб». И клубное «братанье» разрешает труднейшие проблемы. На это «братанье» не шли славянофилы, не шли преданные государству и отечеству люди литературы, и над ними измывались и их съедали мелкие чиновники, «докладававшие выше», — которых не кормили пирогом, — может быть, «с начинкой». Потом эти же подлизывавшиеся радикалы вопияли, кивая головой очень высоко: «Вот какие там были деспоты: не только нас, храбрых львов, преследовали, а даже гнали совершенно безобидных баранов — славянофилов». Радикалы только не рассчитали, что кто сеет в истории, должен сеять не на один день; и что все их обмолвочки и циничные рассказы всплывут со временем въявь, — и провалится под ними земля в тот самый час, когда они водружают на ней победу.

Славянофильство в исторической традиции своей поразительно тем, что за 80 лет существования этого «течения» (его нельзя назвать «партией») в нем не было ни одной фигуры с пятном. И ни одного усилия скрыть

в себе пятно. Оно — *было*, воистину можно сказать; тогда как враждебное ему течение только *казалось*.

Но оставим «вообще» и вернемся к конкретному.

Кроме самоличного собирания, своим тихим одушевлением П. В. Киреевский сумел заразить и окружающих. Друзья-писатели собирали для него народное творчество, — и еще надо оценить, не вошло ли очень много в их «музу» невольных и бессознательных впечатлений, невольных и бессознательных отражений, от этого собирания народных песен и, через это, от ознакомления с русским крестьянином, с русским простолудином, с деревенским стариком-певцом. Так, для него собирала песни вся семья поэта Языкова и прислала ему множество их, записанных в Симбирской и Оренбургской губерниях (родина Языковых). Пушкин прислал ему тетрадь песен, записанных в Псковской губернии; Кольцов — песни, им собранные в Воронежской губернии; Гоголь присылал разрозненно собранное, при его вечных «поездках», по всей России. Это — поэты. В то же время Снегирев, из которого развился впоследствии такой археолог-этнограф, прислал ему песни, собранные в Тверской и Костромской губерниях, Кавелин — из Тульской и Нижегородской, Вельтман — из Калужской, Шевырев — из Саратовской, Рожалин — из Орловской, А. Н. Попов — из Рязанской, Трубников — из Тамбовской, Гудвилович — из Минской, Даль — из Приуралья; раньше еще прислал ему (за границу) песни Максимович. Наконец, он приучил к этому делу совсем юного М. А. Стаховича, а в самом начале толкнул на дело записывания песен прямо из уст народа П. И. Якушкина. Он был студентом-математиком Московского университета. По его указанию и на его средства Якушкин обошел пешком Костромскую, Тверскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Орловскую губернии.

Таким образом эта тихая и скромная душа сделалась источником огромного движения, просветительные и жидущие размеры которого можно сравнить только с Петраркою и другими гуманистами, бросившимися в XV веке на разыскание утраченных или потерянных манускриптов греческих и римских поэтов и историков. Киреевский также начал эпоху «Возрождения древней Руси», — *основной Руси*, — как гуманисты начали «Возрождение греко-римского гения». И как *там* движение продолжалось век, — так дело Киреевского продолжалось все 70 лет XIX века и, конечно, займет еще не одно десятилетие в XX веке.

Плод его работы, его совершенно нового *метода* искать и находить, лучше всего можно осязать, сравнив, напр., величественную, «в стиле Растрелли» — «Историю государства Российского» Карамзина с простым, житейским «Курсом русской истории» Ключевского. Две разные истории, и как будто — разных существ. В *одном* — стены и башни, высоты и высоты, везде «Иоанны» и нигде «Ивана». А ведь звали-то *современники* просто «Иван Васильевич», и так называет Грозного народная песня. У Ключевского — то болотце, то лесочек, там записанный «говорок народный», выдумка, легенда, — все приведено: и мы с удовлетворением говорим: «*Это* —

наша история». Но начал это все Петр Васильевич Киреевский. Он пробудил во всех других преемниках и продолжателях своих русское обоняние всех вещей, русское осязание всех вещей, русский вкус ко всему. Он *сам так жил в своей Киреевской Слободке*, – доставшейся ему после раздела, в 17 верстах от Орла. «Простой степной помещик, – с усами, в венгерке, с трубкой в зубах и с неотступно следовавшим за ним всюду водолазом Кипером, которого крестьяне называли *ктитором*» (Лясковский – «Братья Киреевские»). П. В. Киреевский любил и охоту. Зная *семь языков* и с ними впитав дух столько же культур, – он сознательно, твердо, *раньше старшего своего брата Ивана*, предпочел всем им деревенскую и сельскую культуру Руси, псковскую и новгородскую тоже деревенщину, и совершенно не имел иного отношения к общечеловеческим идеалам *истины, красоты, справедливости*, чем просто русское к ним отношение, русское чувство этих идеалов. Соединяя с этим русским чувством огромное европейское образование, он открыл ворота *русской смелости*, – смелости называться собою, чувствовать, как *чувствуется самому русскому*, думать, как *думается самому русскому*, никому не вторя, никому не подражая.

Работа его для *русского освобождения* – огромна, неизмерима.

Корзины собранных им и присланных ему песен, былин, духовных стихов он возил всюду с собою; возил в именье Языковых, когда поехал к ним в гости; возил за границу, когда случилось туда вторично съездить. Этот рукописный материал он изучал, стараясь *по всем вариантам одной и той же песни* восстановить первоначальный, древнейший ее вид, – обставив этот *подлинник* позднее наросшими видоизменениями. Это требовало множества справок, сравнений, множества проверок о древнейшем употреблении того или иного слова, того или иного оборота речи в летописях и других древних памятниках письменности.

И что же из всего этого вышло? Киреевского, конечно, увенчали, как Петрарку в Риме? Его друзьями и почитателями сделались министр просвещения и московский митрополит? Издание им собранного материала было принято на государственный счет? А сам он был избран почетным сочленом «первенствующего в России ученого учреждения», т. е. Академии Наук? А вот послушайте:

«Установление идеального текста песни с подведением всех вариантов требовало неимоверной усидчивости и крайне утомительного напряжения мысли; работа подвигалась черепашьям шагом. Добро бы еще Киреевский мог, по мере изготовления материала, беспрепятственно выпускать его в свет; но *при тогдашних цензурных условиях это оказалось невозможным*. Через 12 лет после первого замысла о печатании дело еще не подвинулось ни на пядь; в 1844 году брат Иван писал ему из деревни в Москву: «Если министр просвещения (граф Уваров, официально провозгласивший триединую формулу основ русской жизни: «православие, самодержавие и *народность*»), – если министр будет в Москве, то тебе непременно надобно просить его о песнях, хотя бы к тому времени тебе и не возвратили экземп-

ляров из цензуры. Может быть, даже и не возвратят, но *просить о пропуске это не мешает*. Главное, на чем тебе следует основываться в своей просьбе, – это то, что песни – *народные*, а что весь народ поет, то не может сделаться тайною, и цензура в этом случае столько же сильна, сколько Перовшиков (профессор физики в Москве) над погодою. Уваров верно это поймет, также и то, какую репутацию сделает себе в Европе наша цензура, запретив *народные* песни, и еще *старинные*. Это будет смех во всей Германии... Лучше бы всего тебе самому повидаться с Уваровым, а *если не решишься*, то поговори с Погодиным». Наконец в 1848 году *после многих хлопот* удалось напечатать 55 духовных «стихов» в 9-й книге «Чтений в Обществе истории и древностей Российских», – как *первую часть* «Русских народных песен, собранных Петром Киреевским». Очевидно, предполагалось дальнейшее печатание, но на «Чтения» (кстати почти никем не читаемые) в том же году обрушилась цензурная кара за напечатание книги Флетчера о России. Затем, только в 1856 году было напечатано в «Русской Беседе» Кошелева сперва 4, а потом 12 песен. Всего при жизни Киреевского была напечатана 71 песня из многих тысяч, им собранных.

Цензура наша исторически была и остается теперь совершенно не-образованным явлением клубного характера, – почему-то на казенном содержании. Она представленья не имеет, что нужно государству и отечеству. Ей дан какой-то «Устав», которого читать легко и бегло, осмысленно и в целом она не умеет, а читает *по складам*, по строкам, «от сих до сих», и, когда найдет «речение» в книге, не отвечающее «речению» в «Уставе», немедленно запрещает, будь то «летопись», 300 лет назад писавший Флетчер, народная песня – ей все равно, она ко всему равнодушна. «Российскому клубу» обывателей до «книгопечатания» нет дела. Мне было объяснено (по поводу «Уединенного»), что в пропуски *духовной цензуры* светская не мешается, но что если бы петербургскому цензурному комитету пришлось *от себя* пропускать Библию, то, конечно, она бы Библию не пропустила, а подвергла аресту. Это, когда я сослался на историю Лота, и сослался, что этот соблазнительный рассказ Библии не обвиняется же по пункту «порнография» и не вызывает запрета всей книги. Тезис – «запретили бы Библию» – высказал свободно и легко важный чиновник цензурного ведомства в присутствии и других чиновников. Дело-то в том, что исполнение ими своего дела свелось к «читанью по складам» («Устава» и книги) и что отлетел *общий дух, общее понимание*, общее даже сознание, «для чего я (цензура) существую и что я делаю». Об этом, очевидно, кому-то и как-то надо подумать. А то ведь пока роль цензуры чисто анархическая:

1) Всю революцию пропустила (журналы «Дело», «Русское Богатство», «Отечественные Записки»).

2) Все национальное запретило (журнал «почвенников» «Время», с издателями и сотрудниками – Достоевским, Н. Я. Данилевским, Н. Н. Страховым, Ап. Григорьевым).

3) Щедрина и Некрасову, Благодетелю и Михайловскому писать можно.

4) Каткову (история цензурных на него кар), Ив. Аксакову, Ив. и П. Киреевским – нельзя.

И, словом:

Библию – под запрещение.

Кафешантан – подай сюда.

Пишу это несколько раздраженно оттого, что всего третьего дня ко мне пришел чиновник самого цензурного ведомства, книгу коего, благонамереннейшую и направленную к показанию вреда обыкновенного детского порока, цензура арестовала за «порнографию».

Трогательна была смерть П. В. Киреевского. Он не мог перенести скорпостижной смерти старшего брата Ивана, около которого прошла вся его жизнь, и умер через 4 месяца от тоски. У него произошло разлитие желчи, не останавливавшееся два месяца и четыре дня. Он очень мучился, но всегдашняя кротость не изменяла ему. Умирая, он перекрестился и сложил руки так, как их складывают покойникам. Его последние слова были – «Мне очень хорошо». При постели умирающего были мать и братья. Похоронили его в Оптиной пустыни, – рядом с могилой брата Ивана.

Так погасла эта прекраснейшая лампада русской литературы.

* * *

Она горела не своим светом, не своим маслом; в ней горело масло всей Руси, из нее светил русский свет. Смиранные братья «Иоанн и Петр» только зажгли ее, только несли ее...

Но ничего в нее не вложили от своего эгоизма. Как Герцен, который весь есть – блестящий эгоизм. Но Бог с ним.

Смотрите, как сверкала мысль брата Петра. Он не любил, почти ненавидел писать. Но кое-что осталось: и как это полновесно! Вот 2–3 его афоризма, отысканные на бумажонках:

«Равенство всех вер значит не что иное, как угнетение всех вер в пользу одной, языческой: *веры в государство*».

«Что живо, то самобытно. Чем полнее существо человека, тем и лицо его выразительнее, не похожее на других. То, что называется общечеловеческою физиономиею, значит не что иное, как *на одно лицо со всеми*, т. е. физиономия пошлая».

«Язык родной процветать не может без полноты национальной жизни. Что же такое национальная жизнь? Она, как и все живое, неуловима ни в какие формулы. Предание нужно. Выдуманная национальность, национальные костюмы, обычаи, остановленные в известную минуту, переменяют свой смысл и становятся китаизмом».

Какая нежность мысли, какой аромат самой фразы. К ней применимо из «Песни песней»: «Слово это твое – как пролитое миро».

<А. С. ХОМЯКОВ... – ЛИТУРГИЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА...>

A. Khomiakoff. Luz de oriente. Madrid. Imp. de Gabriel Lopez del Horno. 1912.

Leiturgia o santa misa de san Juan Chrisóstomo. Madrid. 1912.

Интересно писать в Петербурге о мадридских книжках, притом совершенно новеньких... Виновники этого приятно-комического положения – один русский заграничный священник и один – *terribile dictu** – чиновник русского посольства в Мадриде, который, вероятно скучая отсутствием собственно политических дел России, до Испании относящихся, вспомнил, что с этим пламенным сердцем католичества связана отрицательно и враждебно православная церковь, и решил «наперекор стихиям» проповедывать православие в Испании. Плодом этой счастливой догадки и счастливой попытки и явился перевод на испанский язык нашей литургии Иоанна Златоуста и полемических против латинства статей приснопамятного Алексея Степановича Хомякова. Печатью дело не ограничилось, а печать только «благодатно вспомоществует» настоящему делу. Пятеро испанцев поддались славянофильской пропаганде русского дипломата и уже перешли в православие; а кроме сего есть, кажется, и «оглашенные», т. е. заявившие желание перейти. Для них и служилась там на испанском языке литургия, без сомнения, при посольской церкви. Дипломат, с которым мне пришлось познакомиться, на мое недоумение о сем успехе ответил: «Знаете, везде есть мятущиеся души, есть умы с вопросами... Всем таким католичество говорит одно: *молчи*». Он коварно, дипломатично улыбнулся. «Вот перед такими и раскидываем мудрую сеть православия, с нашей русской рыхлостью, где все в вопросе и недоумении, ничего еще не решено или по крайней мере ничего не запечатано». – «И?...» – «И – *действует*. Находят теплоту и надежду для измученной души». Отлично, подумал я: нет худа без добра, и, с другой стороны, нет добра без худа.

В католичестве все уже дотекло, а в православии все течет; там все устроено, благоустроено, обдуманно и организовано, так что верующий может только повторять молитву за патером. Мы – народ безграмотный, из молитв знаем только «Отче до половины», как выразился Толстой во «Власти тьмы», из богословов хотя есть очень ученые, но они «не распространены»: и благодаря этому у нас пар, туман и музыка. Все это если не способствует «уяснению ума», то зато способствует блаженству сердца. И удовлетворяет не только русских, но вот, оказывается, и испанцев.

Можно порадоваться и посмеяться хорошим московским смехом.

* страшно сказать (*лат.*).

СВЯЩЕННИК ФЕОДОСИЙ ЛЕВИЦКИЙ И ЕГО СОЧИНЕНИЯ, ПОДНЕСЕННЫЕ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ ПЕРВОМУ

Материалы к истории мистицизма в начале XIX века.
Сообщил Л. К. Бродский. С.-Петербург. Синодальная
типография. 1911. Стр. XXXV+860.

Теперь, когда все оживилось памятью 12-го года и царствования Александра I, библиографии уместно отметить кропотливый и бескорыстный труд Л. К. Бродского, — если не ошибаюсь, ученого чиновника одного из подразделений нашего духовного ведомства. Это — из тех трудов, на которые потрачены деньги, здоровье, годы жизни, и долгие годы, и который никогда не будет вознагражден доходом, славой, даже простой известностью и является, таким образом, чем-то вроде испаряющегося ладана на жертвеннике науки. Балтский (Подольской губ.) священник Левицкий, «побуждаемый особым чувством, прислал в собственные руки в Бозе почившего императора Александра Павловича, в Св. Синод и обер-прокурору Синода князю Голицыну — несколько написанных им бумаг духовного содержания». По воле государя, бумаги были рассмотрены тремя членами Синода и найдены достойными внимания, «как содержащие в себе много высоких истин и пророческих взглядов в настоящее и грядущее время». Вследствие этого отзыв священник Левицкий был секретно вызван Александром I в Петербург. Г. Бродский собрал все его богословско-философские и богословско-поэтические сочинения, разные записи, в том числе и хозяйственные и семейные, трогательные по нежности и деликатности чувства, и, словом, кажется, «кончил» Левицкого, так как непонятно, что стал бы прибавлять к этому последующий исследователь. Из трудов и всяких «записей» свящ. Левицкого видно, какие (в удачном случае) духовные лица суть врожденные «строители» и «строители», естественные «домохозяева» во всем, в быту, в обществе, в семье, в государстве, где бы ни было. И остается каким-то историческим недоумением, каким образом это «зиждательное» сословие, с таким инстинктом «улья» и «меда», — никогда-то никогда не было позвано к наведению благообразия и гармонии в сельской и городской жизни, теперь совершенно анархической!! Сюда было позвано с «приказом» довольно-таки выродившееся дворянство (земские начальники), порастерявшее свои имения, а не было подумано о попе с молитвой, о попе с «книгой правил церковных», о попе — советнике народном и, наконец, в случае явного беспорядка — о попе с властью. Для примера вот правила, какие сам себе начертал священник Левицкий, приняв сан:

«8-й пункт. Нет драгоценнее времени для души и сердца, для размышления и умиления, как светлая ночь. Почему все таковые ночи пропускать в тщетном только сне, без всякой душевной пользы, есть ве-

личайшая и непростительная потеря. А посему нужно бы всеконечно стараться несколько часов такого времени посвящать на размышление и употреблять к славе Божией и в свою пользу.

9-й пункт. Возбуждать прихожан должно к частейшему приобщению Святым Тайнам; а для примера заставлять жену свою по крайней мере не единожды всякий месяц приобщаться.

10-й пункт. Стараться убедить и заставить своих прихожан-родителей, дабы детей своих малолетних молитвам и заповедям учили, – так, по крайней мере, чтобы четырехлетние умели молитву Господню и прочие краткие молитвы, шестилетние – Символ веры, а семилетние – Помилуй мя, Боже, и десять заповедей Божиих. К сему родителей убеждать наиудобнее при посещении их с молитвою в посты, а крепко настоять во время пасхальной исповеди.

11-й пункт. При браках спрашивать молодых, умеют ли молитвы и заповеди.

12-й пункт. Положивши начало беззаботному (?!) хозяйству, стараться завести у себя в доме непрестанных богомольцев.

13-й пункт. При удобном случае дать знать верховному правительству, что все правления и чиновники почти все, как духовные, так и светские, одну только форму законов соблюдают, а о нравственности вовсе никто не брежет (бережет) и что для исправления сего нужны важные визитаторы» (ревизоры).

Как это полно, закругленно и благостно. Но в книжке еще закругленнее и благостнее. Удивительны рассуждения его о своем хозяйстве, изложенные до того благочестиво и с таким поминутным и повсеместным богомыслием, что прямо самому хочется купить корову и завести огород; «а если Господь благословит и родятся дети – то для них и овцеводство, и пчел завести». Книжку желательно бы видеть *настолюю*, особенно у сельского и уездного духовенства. Прелестным духом она напоминает знаменитые «Записки Андрея Болотова», одни из лучших мемуаров минувшей нашей жизни. Ее следовало бы непременно рекомендовать в библиотеки средних учебных заведений.

По смерти, однако, случилась с ним... неприятность. Граф Протасов, обер-прокурор Синода, известный по борьбе своей с московским митрополитом Филаретом, просил письмом подольского преосвященного Арсения «собрать *под рукою* сведения», нет ли у священника Левицкого «направления к духовной восторженности», и, не доводя до консистории, лично отписать ему об этом. Епископ Арсений отвечал в письме, что Левицкий «жизнь ведет в благочестии и благоговении к Богу, примерную, отличается воздержанием, трезвостью и ревностью в церковном богослужении. Что же касается до образа его мыслей, то направление к духовной восторженности в нем не прекратилось». Этот-то «запрос» обер-прокурора Синода, верно, испугал как местного преосвященного, так и синодальное управление в Петербурге. И вот что случилось. Прослужив всю жизнь при Свято-

Николаевской церкви, священник Левицкий завещал и похоронить себя в ограде ее, на указанном им месте, — где он чуть ли не заготовил себе могилу. Но епископ этого не разрешил, и он был похоронен на градском (гражданском) кладбище. К погребению его съехалось 24 священника. Погребли. Но прихожане, не только горячо, но нежно любившие его, снова стали просить сперва своего архиерея, а затем и Св. Синод дозволить перенести прах «своего батюшки» в ограду родной церкви. Ну, казалось бы: «любят батюшку» — пусть любят по-своему и выражают любовь. Но были же такие странные времена, так сказать пресыщенные и пересыщенные духом покоя, самоуверенности и гордого довольства, что даже им «восторга» благочестивого было не нужно, была излишнею — привязанность мирян к священнику. «Ничего вообще не нужно, а как сидите — так и сидите». Это вовсе не бюрократическая подозрительность к движению, а бюрократическое довольство покоем. Г. Бродский приводит в подлиннике все «бумаги» в Синод, из Синода, опять в Синод, опять из Синода, запрос архиерею, ответ от архиерея — по поводу «погребения в ограде церкви». И просто не понимаешь: да о чем люди «пишут», просто — глупость, просто — ничего. Так и не позволили перенести прах бедного и прекрасного священника. И не понимаешь, «почему», — не понимаешь до конца книги. И только про себя скажешь, думая о благочестивых и терпеливых людях Руси: «Слава долготерпению Твоему, Иисусе», словами клиросного пения в Великий четверг. Да еще прибавить: «Претерпевый до конца — той и спасен будет».

В. РЕКОВ. БЕЗ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. ИЗ ЖИЗНИ ЭКСТЕРНА

С.-Петербург. 1912.

Хорошие мы люди, русские, но уже слишком безвольны, распушенны и предаемся без основания излишним восторгам и, тоже без основания, ужасно-му унынию. Психическая жизнь у нас совершенно забивает собою тусклую и маленькую рабочую жизнь, мы перегораем всевозможными чувствами и всевозможными идеями, почти не отдавая жизни, и становимся к 21-му году своей биографии мизантропами, меланхоликами, пессимистами, — в каком состоянии духа «проклинаем землю и уходим с нее». Такова подпочва множества молодых самоубийств, отроческих самоубийств. Книга «Без средней школы» падает как раз в эту точку больной русской молодости. Это рассказ о себе «экстерна», т. е. экзаменующегося «со стороны», не пройдя курса школы, и подготавливавшегося к экзамену дома или вообще своими усилиями. Вот эти «свои усилия» и «своя жизнь», этот рассказ о том, как «самого себя спасает» тонущий человек, которого заливают тяжелая и грязная волна жизни, волна мелочной и пошловатой службы, мелочных и уже утонувших в тине людей, — и поучителен, и хотелось бы, чтобы он пошел по рукам

читателей «На заре туманной юности», как поется в песне. Он не художествен, этот рассказ, но каждая его страница списана с натуры. Кончив городское училище, он почти мальчиком еще попадает в низы земской службы. Захватывающая любовь к чтению заставляет его искать «света дальше». Это, конечно, университет, как представляется всем в России. Нужно, для этого, осилить самостоятельно полный гимназический курс: вещь потруднее, чем совершить путешествие «в малоизвестные страны»: потому что скучнее, томительнее, монотоннее, да и требует недюжинных и притом *очень разнообразных* способностей. Он и служит, и учится: перебирается в Петербург; занимается на подготовительных (к экзамену) курсах; и вообще пробивается тернистой дорожкой, по которой пробиваются теперь толпы юношей и девушек, — притом наиболее энергичных и самостоятельных. Может быть, он и погиб бы, как гибнут многие плечо с плечом около него, если бы не встреча с «отцом», как он называет в дальнейшем отца молодой девушки, ему понравившейся и на которой он женился. Бодрый, умный и добрый старик точно заменяет ему «семью-поддержку», «семью-опору», какой он не видел в детстве; подбавляет ему сил, вдохновляет надеждой: и на могиле одного «покончившего с собою экстерна» он говорит другому такому же экстерну, кто есть его настоящий избавитель: молодая любовь, прекрасная девушка и вот этот старик. Он очень основательно говорит, что «от кого отвернулась и семья, и школа — тому выход только в самоубийстве». Конечно, деревцо около деревца растет: а деревцо, *одно* стоящее в поле, погибает. Но тут нужно то иметь в виду, что таковое искание близости, *спасительной* близости, должно быть обоюдно. Нужно, чтобы юноши и девушки не смотрели с враждою на семью и школу, — точнее, чтобы они не доверялись злым наветываниям против старой (естественно!) семьи и школы, какими полна печать и легкомысленное общество. Все — с недостатками: и молодые люди с недостатками, и школа с недостатками, и семья с недостатками. Но нужно извинять эти недостатки, нужно перерабатывать их своими усилиями, а не холодно и люто отрицать и презирать. Презрение к семье и школе, ставшее трафаретом в печати, — презрение голое, циничное, нерассуждающее, а только *упражняющее*, есть одна из главнейших причин молодых самоубийств. И те литературные плакальщики и плакальщицы, которые при всяком новом самоубийстве кивают головами — «ну, конечно, *разве же можно не умирать в нашей семье! Разве можно не повеситься или не утонуться от русской классической гимназии!!* Бедный идеальный юноша!! Бедная идеальная девушка!!!» — такие литературные плакальщики поистине не знают жалости к юношеству, потому что они-то и толкают к новым и новым самоубийствам. Ведь юношам где же разобраться, что это только газетный трафарет, в рамках которого не лежит никакой души, никакого к юным сочувствия.

Прочтите, юноши, эту непредвзятую книжку. Она не лжет. Она многих из вас может взять за руку и вывести из омута недоразумений и душевной смуты.

Неумение русских людей, — или, вернее сказать, людей русского духа, русского строя мысли, — *самим* сорганизоваться, *самим* начать и исполнить какую-нибудь коллективную работу, часто — национального значения, сделало то, что во главе таких работ становятся у нас евреи, немцы или поляки, и в таком случае вся подобная работа принимает или антирусскую окраску, или пренебрежительную в отношении России и русских.

Каждый том «Нового Энциклопедического словаря» Брокгауза — Эфрона, — который есть просто второе издание своего первого издания, — приносит подписчикам и читателю огорчения. Прежде всего он неполон, и *грубо* неполон в отношении русских «имен, понятий, лиц» (рубрики «Словаря»). И родник — очень прост: он *ленив*, этот «Новый Энциклопедический словарь», ибо «пишет дальше», не справляясь с тем, что было до него написано. Возможно ли было предположить, что редакторы и участники «Словаря», приблизительно на *сто* томов величиною и издающегося в XX веке, пропустят то, что не ускользнуло от внимания и учености маленького «Словаря светских русских писателей», составленного *в начале* XIX века киевским митрополитом Евгением (Болховитиновым), который был издан Погодиным. «Словарь» митрополита Евгения — настольная книга всякого историка литературы (очень точные и очень ранние сведения, особенно о писателях XVIII века), и, без сомнения, он всегда под рукою у С. А. Венгерова, который есть главный редактор отдела истории литературы в «Новом Энциклопедическом словаре». И нужно объяснять крайнюю лень Венгерова, что он допускает в сто-томной Энциклопедии пропуски русских ученых, уже находящихся у митрополита Евгения. Так, пропущен «Агафонов Алексей», переводчик XVIII века с языков манчжурского и китайского на русский язык книг летописного характера, а также нравоучительного и политического, — изданных в Москве. Неужели этот ранний у нас синолог — «*ничто*»?! Пропущен «Антонин, архимандрит», автор громадной «репродукции» (восстановления по сохранившимся переводам) утерянной книги пророка Варуха, — написанной в конце XIX века и изумительной по громадности филологической учености, в эту книгу вложенной. Пропущен вовсе знаменитый основатель судебной фотографии Буринский, недавно умерший и позорно не оцененный в России обществом и профессионалами-юристами, — труды коего по применению фотографии к вопросам судебной экспертизы были приравнены в отчете Академии Наук к изобретению микроскопа: до такой степени они расширили область исследуемого и распознаваемого. Это тем более удивительно, что *общим* редактором всего «Нового Энциклопедического словаря» является *юрист* К. К. Арсеньев, коему, «а также и его папаше», отведено очень много места. Вообще удивительно и, конечно, вполне почтенно чувство авторов статей к своим родителям; но его желательнее было бы видеть на кладбище, нежели в «Энциклопедическом словаре», предназначенном к общему пользованию, а не по-

священном «культу предков». В первом издании также много говорилось о папаше публициста Слонимского, который был польским агрономом. Но вот от чего, поистине, можно свалиться с ног: о Владимире Лукиче Боровиковском всего сказано 26 печальных строк (редактор отдела – профессор С. А. Жебелев), когда о нем есть громадное исследование С. П. Дягилева (не указано в «Словаре»), когда имя Боровиковского есть украшение вообще русского имени, есть гордость художественной России. Пропущен вообще Порт *Артур* (если его не читать «Портартур»). В очерке «Английская философия» пропущен русский труд казанского профессора Смирнова – «История английской этики. Английские моралисты XVII века». Нельзя же руководиться принципом: «Чем лучше для России, тем хуже для Словаря». А в самом деле он дает почувствовать, что «чем хуже для России, тем лучше для Словаря». «Арыки» (каналы оросительные в Средней Азии), – на что, кажется, полезнее и благодетельнее для населения, а им дано всего только 20 строк; зато «Ашенбреннеру», ничего не создавшему, не вырастившему, не посеявшему, уделено много места, и только потому, что он «был шлиссельбуржец» и о нем упоминается в «Былом». О Буринском – нет, о Боровиковском – не статья, а небрежная заметка; зато о Бакунине – целая монография, и, только перечисляя «похвальные слова» Бакунину, «Энцикл. словарь» исписал больше бумаги, чем говоря о всей жизни и о всех произведениях Боровиковского. Но Боровиковский *рисовал* и *оставил потомству* художественное наследие, а Бакунин чуть не истребил Дрезденскую картинную галерею! Таким образом, «Словарь» руководится странным принципом: если, например, построить храм, то будет только упомянуто об этом, а если тот же храм разрушить, то об этом с хвалебными трубными звуками будет рассказана целая история, а разрушитель будет помещен в пантеон бессмертных. Странное понятие об истории: «Разрушай и разрушай, только разрушай». Тогда зачем и *о чем* писать «Энциклопедический словарь»? Влад. Вас. Атласов, покоритель Камчатки, едва упомянут; известный деятель по отношениям России к Финляндии, ген. Бородин, упомянут в голлом перечне его историко-политических трудов, – с заключительной отметкою «бобриковец»; ученый-исследователь Ладожского озера, напечатавший огромный труд о нем, г. Андреев, имеет голое указание на свой труд, и о нем сказано меньше, чем о ком-нибудь из польско-еврейских «агрономов». Все, кто трудился, работал, кто скромно изучал Россию и скромно ей помогал жить и улучшаться, помогал расширяться и познавать себя, – едва упомянуты, и только прославлены, расписаны и увековечены все, кто ее разрушал или ей вредил, кто ее позорил. Вот уж из таких *вредителей* России ни один не забыт. В параллель катоновскому «*Carthago delenda est*»*, составители и писатели «Словаря» дышат: «*Russia delenda est*». Очень странна для Петербурга и для России такая деятельность. Подписавшись и получив девять томов, не знаю, куда их девать и на какие полки ставить.

* «Карфаген должен быть разрушен» (лат.).

Тут такая ненависть к России, что противно держать в комнатах. Да и потом: все это — антикультурно, все это — круглое и глупое невежество. Уж если рисовать дивные образы и портреты — это меньше и ничтожнее, чем пытаться истребить Дрезденскую картинную галерею, то что же в *оценках* и *идеях* может пойти дальше такого вандальского отношения к истории! Боровиковский, создатель дивных картин, или Арцыбашев со своим «Санниным», — *важнее и культурнее для России?* Оказывается, «Санин» и Арцыбашев: ибо о них опять Венгеров расписался в «низкопоклонных чувствах» что-то столбцах на пяти, т. е. раз в *пятнадцать* больше, чем о Боровиковском. Это просто дико и глупо, это нисколько не «свободомысляще». Как этого всего не замечает К. К. Арсеньев, как *неловкости* этого не чувствуют руководители отделов — не понятно. И зачем расписывать «чувства» в «Словаре»? Это можно сделать в журнальной статье: «Словарю» оставьте дело, изложение, и если оценку, то беспристрастную до сухости. Некоторые отделы «Словаря» — именно все технические, зоологические, геологические, географические — превосходны. И это образец и для других отделов «Энциклопедии». На профессоре Жебелеве решительно лежит пятно, что он допустил такую статью о Боровиковском; из редакторов юридического отдела — проф. М. М. Ковалевского, проф. В. Д. Кузьмина-Караваева, проф. В. М. Нечаева, проф. М. Я. Пергамента, — неужели никто не знал о Буринском? Или все «сразу забыли»? Странное забвение.

«Астракова», видите ли, была «знакомая Герцена» и упоминается в мемуарах о нем, «Ватсон» — ухаживала за больным Надсоном. Да Господь с ними: это дело больницы или дело гостиных сплетен, а не дело Энциклопедии. Забыл имя (мелькнувшее): но не пропущен адвокат, «который произнес защитительную речь в суде о Прудоне». Ну, Прудон важен: но какое дело до адвоката его? Наконец, неужели это не варварство: о невежественном враче Бюхнере, написавшем какую-то «философию природы» и которым увлекались только русские семинаристы «выучки Щапова», — сказано раз в шесть больше, нежели о великом ученом, академике Бэре, который был основателем или одним из основателей такой глубокой и важной науки, как эмбриология, без коей вся биология — как без костылей, без языка и без разума!!!

Бэр и Бюхнер!! Только русские ученые (ибо «Словарь» составляется *учеными*) могли поставить Бюхнера «выше и культурнее» Бэра, во всяком случае *замечательнее* и более достойным к *ознакомлению*. Это поистине написано для смеха веков.

Говорим все это потому, что «Энциклопедия» — такое особенное издание, в котором не может не быть *жизненно* заинтересована вся Россия, все читающее и все *учащееся* общество.

И неужели искать разгадку в том, что финансово-книжная фирма «Брокгауз — Эфрон» издает не только «Энциклопедический словарь», но и «Еврейскую Энциклопедию» и сделала общий «Энциклопедический словарь» только пропедевтикою и введением к «Еврейской Энциклопедии».

Но где же «Русская Энциклопедия»? Где *настоящий* академик Соболевский, который мог бы стоять во главе подобного дела лучше только (увы!) «почетного академика» К. К. Арсеньева, который есть попросту журналист, хлопотливый журналист, и он напрасно замешался в ученое и бесстрастное дело «Энциклопедии».

СВЯЩЕННИК Н. Р. АНТОНОВ. РУССКИЕ СВЕТСКИЕ БОГОСЛОВЫ И ИХ РЕЛИГИОЗНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ

Литературные характеристики. С портретами. Том I. Введение: Вопрос о церкви и интеллигенции в жизни, литературе и обществе. — Н. П. Аксаков. — С. Д. Бабушкин. — Н. А. Бердяев. — С. Н. Булгаков. — Граф П. А. Валуев. — Аф. В. Васильев. — Заключение: Мирная борьба с социализмом как задача для Церкви и духовенства. С.-Петербург. 1912.

«Вот и опять поп сделал больше профессора», — говоришь невольно, взглянув на компактный том священника Н. Р. Антонова «Русские светские богословы» с ожидаемыми впереди еще несколькими томами и сравнивая этот труд с теми тощими брошюрками в несколько страничек, какие мы имеем по этому же предмету «от руки и разума» гг. профессоров. Профессора величественно поднимались с кресел, кричали, обводили глазами публику: но предстояло много читать, думать, *систематизировать* и, словом, *работать*; и они, издав мечтательный вздох, бессильно опустили в кресло с национальным «*non possumus*»*...

Так бы «воз и ныне был там», если бы не старая, крепкая, *трудолюбивая* семинария: незаметный приходский священник Н. Р. Антонов, автор книги «Храм Божий», взял брошенное дело в свои руки и написал книгу, содержащую превосходные по *верности*, по *точности* характеристики-портреты светских богословов, от графа П. А. Валуева до С. Н. Булгакова, в то же время дав и библиографию, и *исчерпывающее по полноте* изложение *системы мысли и хода мысли*, как религиозной, так и философской и литературной, пока шести мыслителей, с обещанием дать и остальных до «ижицы».

Отдельные характеристики на самом деле суть целые исследования; например, нашему прекрасному богослову, Н. П. Аксакову, автор посвятил 22 главы и 110 страниц; Бердяеву — 15 глав, С. Н. Булгакову — 19 глав.

* не можем (*лат.*).

«Куда же больше?» — скажет невольно читатель, не привыкший к оценке «пророков в отечестве своем». И чтобы «благодарный читатель» ни в чем уже не мог пожаловаться на «доброхотного автора», приложил еще превосходно выполненные портреты, на которых, например, С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев — как живые! «Спасибо, спасибо», — не может не сказать даже озабоченный читатель.

Лучшее в труде, что он самостоятелен в оценках и не гонится за шумом улицы и мнением толпы и текущей минуты. Так, он поистине *открыл* Стефана Димитриевича Бабушкина, о котором, признаюсь, я никогда не слышал: это — сибиряк по рождению, питомец Казанского университета, по профессии — юрист, но посвятивший досуги свои и ум церковному делу. По приложенному портрету это превосходный русский человек, с умными и добрыми глазами, человек жизни, человек бытовой, для которого религия и церковь были не предметами книгописательства, рычагами жизнеустройства, жизнскрепы, жизнесподпоры. Так оно и есть на самом деле. Этот Бабушкин написал книгу — «Церковно-приходская община и земский собор» (Казань, 1905 г.), и вот ее-то и изучает, и излагает трудолюбивый Н. Р. Антонов. Бабушкин мне так понравился, что, читая о нем, я мысленно зачислил себя «в полк (секту) Бабушкина — и не дальше».

В статье о Н. П. Аксакове в высшей степени любопытны и важны страницы, посвященные изложению трудов Аксакова над «вселенскими соборами». Аксаков говорит, что *органами церкви* были поместные соборы, соборы отдельных диоцезов: они выражали дух и мнения местного духовенства и местного церковного народа. Что касается «вселенских соборов», то они не только собирались по зову греческих императоров, но и были собственно *органами императорского управления*, а вовсе не церковного. Самое наименование «вселенских» есть более претензия и пышность, нежели дело: это Аксаков доказывает исчислением присутствовавших на соборе епископов. На Никейском присутствовало 318 епископов; допустим, что тут были *полностью все* епископы. Тогда на Константинопольском вселенском соборе, где было только 150 епископов, — *отсутствовало 168*, т. е. более половины, на Ефесском, по тому же способу счета, отсутствовало 118, а на соборах 5, 6 и 7-м *отсутствовало до 300 и более* епископов, и собиралась лишь *малая часть их всех*. По этой *частичности* собирающихся самое наименование «вселенского», т. е. «*со всех концов земли собранного*» собора — не верно. Это — одно. Но и другое: «Акты первого вселенского собора не сохранились, а как доказывают современные исследователи, — никогда и не составлялись; следовательно, — нет, а вероятно, и не было подписей». Далее, и в тех случаях, когда и акты, и подписи были составлены и сохранились, — мы наблюдаем, что подписями скреплялись лишь догматические решения соборов и приговоры соборного суда; «но каноны, даже проходя через горнило соборного обсуждения, никакими подписями в деяниях (соборов) не скрепляются и всегда составляют только самосто-

ятельное приложение к деяниям без всяких указаний на способ, ход и порядок их утверждения и обсуждения» («Что говорят каноны», стр. 35).

Это следовало бы принять во внимание епископу Антонию волынскому, выступавшему недавно страстно, но *отвлеченно* на заступу «целости древних и божественных канонов», а во всяком случае этого не должны забывать его сущие и возможные оппоненты, как в литературе, так и на ожидаемом поместном русском соборе. Собственно важны и вечны не каноны, т. е. *юридического* характера постановления, а *дух церкви*. Вот что едино и вечно и в чем живет Бог, этот любовный и мудрый дух, этот старый и теплый, жизненный, *органический* дух, *вечность* которого мы ощущаем, читая церковную книгу и духовного писателя XIX или IX века, а общность чувствуем, входя на церковную службу в Архангельске или Чернигове, разговаривая с членом клира, или даже только с человеком духовного воспитания, или даже только с человеком из духовной семьи, из духовного рода, с одной стороны, и с другой – с человеком светским, с универсантом, с врачом, с адвокатом, с профессором, с немцем или вообще с лютеранином.

Дух этот мы скорее зрительно видим, мы его обоняем и осязаем, а сложить определенных слов о нем не умеем. Тут есть и ленцы; есть и уклончивость, непрямота («ложь – конь во спасение» – *сословная* поговорка духовных), но есть и «музыка сфер» мудрого Платона, загробный мир, загробные страхи; есть терпение, много терпения; есть прощение другого, и много прощения; есть связанность, соединяющая «Ивана» IX века с «Иваном» XIX века, т. е. особенное чувство моря голов, океана голов и их нескончаемой жизни и вечного единства:

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны...

Сказки, мифы, поэзия, безграничность действительного, чаемого и ожидаемого; и – «верю! верю!»... Тут – не одно Евангелие, а вся Византия, и – вся Русь. Вот – православие. Какой это все обнимет догмат или канон? Какая выразит все это и определит формула? Нет формулы: ибо это – жизнь, от писка младенца в люльке до вздоха старца перед кончиной, от могучего голоса протодиакона на царском молебне до тихого прошения в сельской церкви о «христианской кончине живота нашего». Все – *тут*. И это «все» – неуловимо, сладко, великолепно, включает сытость и алканье, рождение и смерть. А догматы и каноны?.. Только схоластика и даже только *попытка* схоластики, как вот указывал Н. П. Аксаков.

К КОНЧИНЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ

2 ноября в 5 часов утра тихо отошел в вечность тихий митрополит петербургский, высокопреосвященный Антоний. Вся петербургская митрополия и очень, очень многие в России проводят добрейшими напутствиями своего пастыря, от которого никто никогда не видел зла, не видел гнева, раздражительности, мстительности, ни даже простого раздражения: свойств, увы, особенно цепляющихся за ноги и въязвляющихся в сердце людей высокого положения и большой власти, даже когда они и стоят в рядах духовного чина. В богословской литературе и в памяти ученых историков церкви хорошо помнятся многие имена, которые окружены рассказами в этом отрицательном смысле. Даже высочайшее имя Филарета, митрополита московского, не свободно от упреков в чрезвычайной гордости и умственном высокомерии, которыми он подавлял окружающих, приближенных и подчиненных; подавлял и иногда даже оскорблял и мучил. Высокопреосвященный митрополит Антоний совершенно свободен от укоров и даже от подозрений этого характера. И, вместе с тем, ошибся бы всякий, кто назвал бы доброту и благость митрополита Антония только пассивною и приписал бы ее безволию, слабохарактерности, податливости и отсутствию в нем мужества; или соединил бы ее с идеей распушенности.

Нет; бразды правления в епархии, а по первоприсутствию в Св. Синоде, и во всей России, может держать только крепкая рука и твердый разум. Ничего не было бы ошибочнее, как представить себе митрополита Антония безвольным человеком. Его доброта была именно добротою полного воли человека, но — воли, а не своеволия. Своеволие, каприз и нравность проистекают из расшатанной или неупорядоченной воли, — из слабого владения собою и своим маленьким и вздорным миром страстей и пристрастий. Такой человек кипит, горячится, волнуется, раздражается и, мучимый неповиновением от смелых, сам мучит нравными приказаниями и распоряжениями робких и слабых. Испуганный властью, еще выше стоящею, он запугивает властью людей вовсе безвластных. Ничего подобного не было в почившем архипастыре.

Всех, соприкасавшихся с ним, — всех, имевших отношение до управления петербургского митрополиею и русскою церковью, — он поражал, напротив, необычайною деятельностью, неустанным за всем наблюдением и здравомыслием ума, спокойного и бесстрастного. «Ведущие дела церкви», — дела управления и суда, — говорят, что без помощи и направляющих указаний владыки петербургского они были бы растеряны, подавлены множеством и мелочностью дел и измучены самым направлением их, нередко злым или вздорным и по застарелости уставов русского церковного управления, и по злоупотреблению или темноте низших духовных инстанций и вообще низших «исполнителей» администрации и суда. «Духовное управление в России», связанное с пресловутым «Уставом духовных консисто-

рий», вообще полно недостатков, застарелостей и неудобств. И в этом случае малейшее безволие лица такого положения, как митрополит петербургский и первоприсутствующий член Синода, — только безволие, а не злая воля, — творит множество бед, горя и несчастий. Вот в этой-то ежедневной, еженедельной и ежемесячной работе за долгий ряд лет митрополит Антоний и проявил высокий активный ум, крепкую и деятельную волю, не направляемую ничем, кроме желания людям добра, кроме желания предупредить чужое горе и несчастье, — или вывести людей из него. Невидимо и не снискивая никакой славы и никакого шума около своего имени, он отер множество человеческих слез и рассеял и просветлил человеческого горя. Он никогда не наводил на человека облака, он всегда раздвигал облака и открывал человеку кусочек голубого неба. Здесь его тенденция не знала колебаний и раздвоения. И за это не благословляет ли его тысяча сердец? Не был ли он по этому одному настоящим христианином?

Бури последнего десятилетия могли бы повредить и поколебать церковный корабль. Малейшая оплошность или неосторожность, малейшая уторопленность и самонадеянность лица такого положения, как митрополит Антоний, могла бы наделать бед, из которых потом не выбраться. Дьячок и еще более не окончивший курс семинарист может призывать реформации и рекомендовать преобразовать весь церковный строй, надеясь из бурсацкой своей головы, да еще с насекомыми, извлечь образ церковного управления лучший, чем какой завещали Иоанн Златоуст и Василий Великий. И все это — безвредно и безопасно. Но двинуться в этом направлении или даже уступить этому направлению, со стороны первоприсутствующего члена Св. Синода, значило бы развести в церкви ветры, которые потом трудно собрать и укротить. Все, кто сколько-нибудь знает владыку Антония, знает, что ничего застарелого, косного, ничего черствого никогда не находило себе в нем никакой защиты. До глубокой старости митрополит Антоний был полон свежести — готовности к *благопотребной* новизне; но именно — *благопотребной*, а не *всякой*. Большая разница. Человек большого ума, он был ума спокойного. Ему принадлежит историческая заслуга, что он не допустил церковный корабль войти ни в какую смуту и даже ни в какое мутное течение. Церковный корабль шел при нем широким и давним историческим руслом, не заворачивая ни в какие узенькие и фанатичные протоки.

У него было постоянное сочувствие созыву Церковного Собора, постоянное желание Церковного Собора; это, пожалуй, была единственная вещь, которой он ожидал нетерпеливо и горячо, ожидал страстно; «молился ежедневно об этом», как он однажды выразился. Соборный разум церкви, соборное сердце церкви — вот чему православно он отдавал надежду на обновление духа и строя церкви, не желая стяжать себе лично, по скромности ума и сердца своего.

Это был добрый и мудрый пастырь. Тяжелый недуг последние годы угнетал его. Бури ломились около него, бури задевали и оскорбляли его; ветры разведали и пытались сорвать с него святительские ризы. Безумные

черные души нередко кричали: «Пора бы его *на покой*». К благу церкви, этим ветрам не дано было силы. Тихо страдал от своих физических недугов и душевных болей петербургский архипастырь. И мирно опочил среди своей паствы, на первосвященном престоле. Паства его соберется около его гроба и воздаст достойному достойное. Воздаст и уважение, воздаст и любовь Священнику, Святителю и Управителю.

К ДЕЛУ МАРТЬЯНОВА

Освобождение от наказания отцеубийцы, который предварительно изучил по «Своду законов» кары, присуждаемые за это преступление, — поразительно в бесчисленных отношениях...

И прежде всего в том отношении, что кассирует самый суд.

Зачем он?

Что он делает?

— Да ничего.

«Ничего» не делает и «ни для чего» существует. Потому, что если тяжчайшее преступление, какое можно вообразить себе, наказанию не подлежит перед Московским окружным судом и, вероятно, перед другими такими же судами, то хотя за самые преступления суд и «присуживает» наказания, и вообще населяет Сибирь, — но, очевидно, что все это случайно, потому что уж «другие-то преступления» во всяком случае легче этого, простительнее этого. На самом деле ни «другие» преступления, ни это — не «виновны», и суд лишь *формально* присуждает в некоторых случаях наказания, чтобы *формальным образом* оправдать свое существование.

— Как не делаем? Делаем. Вот в такой-то книге рассказан такой-то анекдот: за это и присудим.

Анекдот — «виновен».

Отцеубийство — «не виновно».

Согласитесь, что суда — *нет*, и его просто нужно *распустить*.

— Как «распустить» суд? В стране? Что же тогда будет в ней?!!

Да уж не больше, чем теперь.

Мы имеем суд помраченной совести или запутавшейся мысли. Согласитесь, что *такой* суд лучше, если бы совсем не судил.

Суд *может* быть и *нужен* — только чистый. Это — белое полотно, на котором видно пятнышко. Но если «пятнышко» положить на грязную тряпку, то, очевидно, его «видно» не будет. Совесть или мысль суда таковы, что для него «отцеубийство — не виновно»: и значит, вообще на его совести и мысли ничего разобрать нельзя. Это — не чистое полотно, а просто сорная и драная рогожа, на которой ни «пятен», ни «дыр, если *больше будет*» — не видно.

Как могло это случиться?

Да *чем* человек судит? Что такое вообще *суд*?

Я «сужу», если я негодную; я «осуждаю», если что-нибудь, кто-нибудь мучит во мне чувство *правды*. Без врожденных даров *негодования* и *правды* вообще нет суда. Это есть *орган* суда, *стимул* суда. Как у нас это обстоит?

Русский суд есть сумма *форм судебных*. Скорее всего, *зрелище*, если посмотреть со стороны; картина судебных учреждений и судебных функций. Видно что-то «скопированное», «срисованное».

Как будто другие народы, действительно с совестью и негодованием, выработали, создали у себя суд и его естественные формы и процессуальности. Русские, заметив эти «формы» и не понимая, что и для чего они, переняли их. Все произошло так, как если бы жители Гонолулу, увидав с моря пришедший корабль и заметив самое главное и самое видное в нем — именно, что он желтый с черной каймой, — построили огромную желтую постройку у себя и провели по ней черную кайму, сказав: «Вот и у нас парход».

О *паре* они естественно бы не подумали.

О *паре* в суде, — о том, чем «суд идет», — и у нас не подумано.

И у нас есть только *мертвый суд*, есть только *формальный суд*, совершенно как и при Николае Павловиче, до «преобразований». Сумма форм и только. «Чтобы прокурор боролся с адвокатом», а «адвокат боролся с прокурором»; и — «председатель беспристрастный». И — «третья сторона, незаинтересованные присяжные».

Да, но все это — картинка. «Пароход — это большая желтая постройка с черной каймой и притом дымит». Это — Гонолулу.

Русский судит *русским сердцем, русской правдой*. И он судит *христианскою в себе совестью*. Вот — пар. Но русский суд есть европейский суд, совокупность форм европейского суда; и, как космополитический суд, он не имеет, конечно, в себе *пара*: русского чувства правды и чувства христианского негодования.

Вот разгадка чудовищных «решений», выносимых иногда из суда и которые не только поражали, но потрясали Россию, причем сам суд оставался блаженно-спокойным. Он сам будто приехал «на гастроли в Россию»: и если с формальной стороны игра его отлична, то что ему за дело до негодования «черни», «улицы» и всего этого «Гонолулу».

Не замечая, что «Гонолулу»-то он. А Россия — живая, и совестливая, и верующая страна.

Для России-то «отцеубийца — виновен». Это в «Гонолулу» сынки едят папаш: и таковые нравы привили «русскому суду». Нам это совершенно чуждо. Живому русскому народу это страшно и отвратительно.

Ну, вот пример, что «Гонолулу» сидит не в «присяжном Иване», а в системе учреждений судебных. Как известно, десятки лет негодует печать, общество, все христиане, все русские — злоупотреблением на суде термином «вменяем» и «невменяем». Конечно, есть случаи «невменяемости», когда убивает человек, *не помня, что делает*; это — несчастие убитого, а не

преступление убийцы. По крайней мере, в то давнее время, когда писались «Судебные уставы», когда наука психиатрии не существовала, тонкие адвокаты не изошряли своих язычков, под «невменяемостью» некоторых преступников закон явно имел в виду *осязательных* «больных», больных с *первого взгляда*, так сказать буквально вырвавшихся из «смирительной рубашки» и убивших «кого попало». Такова была мысль законодателя *тех времен*, следовавших сейчас за царствованием Николая Павловича. Не подлежит сомнению, что законом не подразумевались те тонкие распознавания почти неуловимых психозов, какие возникли *много времени спустя*, — в науке совершенно новой, психиатрии. Теперь: для «толкования законов» существует единственная инстанция — Сенат. «Такая солидная, что приступа нет». Но вот «истолковав» такие скрупулезности законов, которые и не известны никому, кроме специалистов-юристов, и не понятны никому, кроме этих же специалистов, Сенат за все пятьдесят лет безобразия со словом «вменяемый» — «невменяемый», не «истолковал» этого закона, не ввел в *границы* его применения и нисколько не помог тому, что смущало, возмущало и тревожило совесть всего русского народа.

«Даже не обеспокоился».

Это — Гонолулу. Даже Сенату «не мучительно в гневе его», что об убийцах, накануне справлявшихся в законах, что следует за отцеубийство, суд произносит «невменяем».

«На этой рогоже ничего не видно».

Нет пара. Пароход очень желт, но «не идет».

Это «не идет» есть русский суд. Случай, анекдот и хохот улиц.

Сенат тоже не «разяснил» в *свое время*, что «сказанное в законе о *присяжных поверенных*» относится *естественно и непременно* и к «помощникам присяжных поверенных». И русский суд очутился в руках *нерусских*, — которые *самую массу свою*, своим *многолетним давлением*, совершенно изгнали как русский дух, так и христианскую совесть из русского суда.

И опутали его софизмами какого-то международного вранья, какого-то космополитического остроумия. Слушает русский, что говорят на суде, и ушам не верит. Постоянная везде ирония над русским законом, над русским государством, постоянно издевательство над властью «смуглых» помощников присяжных поверенных. Когда народ помнит из Церкви: «Бога бойся, Царя чтите».

Русский суд *был бы* неуклюжий, тяжеловесный, но солидный. Он был бы милостивый суд, но в *строгих случаях*. «Суд — Божье дело», и русский суд, с *русским паром в себе*, не был бы суд легкомысленный. Теперешний вертлявый, весь «в картинках» суд... полуфранцузский, полувеврейский... что он такое? Кому он нужен?

Кого он научает и просвещает? А суд есть просвещение страны, самое наглядное, самое поучительное, самое величественное.

Великое училище померкло. Точнее, о создании Великого Училища суда — никогда не было подумано.

Составленная словами св. евангелистов, с 152-мя картинками. Учебное пособие к изучению священной истории Нового Завета. 1913. С.-Петербург. Издание Б. И. Гладкова.

Преподавание всех предметов у нас обогащается введением, помимо «учебника», по которому «учится» предмет, — всякого рода пособий, делающих этот предмет более наглядным, вразумительным и привлекательным. Но один предмет, самый «главный» по наружному положению и самый последний по внутреннему к нему отношению училищ и вообще воспитывающего и учащего персонала, в тайне дела — самого министерства просвещения, не имеет ничего для себя, кроме «сокращенного учебника». Это — «Закон Божий». Тут — ни атласа, ни пособий. Причина этого, пожалуй, в том, что не известно, кто «начальник» преподавания Закона Божия: архиерей в городе или директор гимназии, министр просвещения или Св. Синод. Тот и другой поэтому стеснены, чувствуют «неловкость», когда хотят или хотели бы распорядиться, и, избегая этой неловкости, никак не распоряжаются. Потому преподавание *единственно* Закона Божия остается у нас, говоря по-народному, «без царя» и «без головы». И от этого оно захудало. Тороплюсь сейчас же сказать об одном предположении насчет законоучительства, которое или тревожило, или тревожит заботливое министерство просвещения: именно, чтобы «преподаватель Закона Божия в гимназиях, видах аккуратного исполнения педагогических обязанностей, не был в то же время обременен обязанностями священнослужителя храма». Эта забота хуже беззаботности. Она может исходить только из совершенно атеистической, безрелигиозной головы, — что и отвечает такому космополитическому «курорту», как наше министерство просвещения. Священник ежедневно духовно питается от службы, на ней воспитывается и образуется, и *настоящий* священник, а не одна только форма священника, есть, конечно, только тот, который постоянно служит церковную службу, и всего лучше не при гимназической бы церкви, довольно безнародной, а при *народной, обыкновенной приходской*. Здесь священник питается от службы и от народа, и питание это передаст ученикам, бессознательно и неодолимо. Передаст в присловьи, передаст в замечании, передаст в неуловимом общем отношении, полном веры и народности. Вопрос этот чрезвычайно важен ввиду того, что «Закон Божий» есть почти единственный предмет, через который ученики гимназий сливаются с народом, прикасаются к народу; потому что уже язык русский с его суффиксами и всей германской обработкой, уже литература русская с ее западноевропейскими темами — на самом деле *полурусские*.

Добрые русские матери семейств имеют обыкновение *сами* заниматься со своими сыновьями и дочерьми *до четвертого* класса гимназий, причем немного вперед проходят и латинский язык. Так мне приходилось с радостью наблюдать в уездных гимназиях в бытность учителем. Вот этим матерям

в высшей степени хочется рекомендовать превосходный труд Б. И. Гладкова, можно сказать, — энтузиаста «Закона Божия» на Руси, наподобие приснопамятного С. А. Рачинского. Им написано 19 книг и брошюр, все вращающихся около этой темы — внушения народу и детям Закона Божия и разных его сторон и отдельных истин. «Евангельская история» не оставляет ничего желать в смысле обдуманности и тщательности, начиная с плана и всех его подробностей и кончая шрифтом, крупным, четким, для народа и детей. Это полная «История Нового Завета», проходимая во втором классе гимназий, без йоты опущения и без йоты прибавки, но только рассказанная не «Преображенским» или «Рудаковым», но текстом евангельским. Кажется, нет более учебного текста, чем евангельский, и примененный «по благодати и внушению Святого Духа» для неразумных, для начинающих, для детей и темного народа. Здесь *упрощение* доведено до величайшей грани и вместе вполне достойно, величественно, наконец свято. Почему этот святой ученический текст, этот естественный ученический текст, нашли нужным переделать и подделать через «Рудаковых» и «Преображенских», через «протоиереев Смирновых», — нельзя понять кроме коммерческих соображений. Конечно, от «Птички Божией» Пушкина только и остается честь Пушкину, а если «Птичку Божию» *переделать*, то наживутся все переделыватели, которых может быть бесчисленное множество. И вот такой «план преподавания», конечно, обещает сколачивание множества «состояний» кому следует, и Рудакову, и Смирнову, и Преображенскому... Ну, а около «храма» всегда были и торгующие, это еще со времен Христа. Б. И. Гладков, не отнимая (да и где силы взять!) ничего у «торгующих», вернул все дело к его первоначальному естественному положению:

— Все — *слова евангелистов.*

— Ничего — *моего.*

Для этого надо было очень много проработать, выкроив, так сказать, ленточки из всех четырех евангелистов и (немного, для заключительных уроков, — о «сошествии Св. Духа на Апостолов» и проч.) из «Деяний Апостольских»: и, эти ленточки склеив, — получить *полную новозаветную историю*, связную и подробную, без вставки хотя бы единого своего слова.

Рисунки (множество) — великолепны. Это снимки с лучших произведений кисти западных мастеров на евангельские темы. Однако тут есть или может быть и неосмотрительность. Этих «Апостолов» в следующих изданиях нужно решительно исключить: все они так драматизированы или выглядят такими трагиками на сцене, как для русского народного и детского взгляда решительно непривычно и даже неприлично. Это — *католические* изображения, «в позах», как «в позах» проповедуют в Италии патеры в церквах. У нас это не принято. И не принято так изображать апостолов. У нас и умирают тихо. И совершают подвиги тихо. И апостолы все предполагаются тихими. И сам Христос был тих. Это уже тысячелетнее представление незачем колебать. И невозможно, и нецелесообразно. Может ли русский так представить себе, напр., Нафанаила и Матфея? Даже во сне ни

одному русскому так не привидится; у католиков же — это в каждой церкви, на всяком шагу.

Замечательно, что книжка г. Гладкова — «Закон Божий. Для народа и народных школ. С изображением Богоматери и Иисуса Христа, и с картою Палестины. Цена 10 коп.», *рекомендованная* Св. Синодом как руководство для своих школ, — министерством просвещения только «допущено». Как-то не найдешь для этого ни понимания, ни формулы.

ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

Решительно мы живем при какой-то перемене климата в России; разумею умственный климат, моральный климат. Растут настроения, которым раньше не находилось никакого места, никакого *приюта* в обществе и печати; появляются книги, о каких раньше не приходилось слышать. Мы говорим о светской литературе, светских темах, светских работах, которые со страстной горячностью впитывают, вбирают в себя религиозный дух, церковный тон, ищут церковных слов, церковных формул. Все стремится облечься в церковную поэзию и церковный смысл, как в некоторое новое одеяние. Перед нами четыре книжки, две из них принадлежат *начинающему* автору, Н. И. Кибардину — «Система педагогики по творениям блаженного Августина» и «Новая школа блаженного Августина». Обе написаны прекрасным литературным языком, с полным знанием всех творений блаженного Августина, этого величайшего учителя западного христианского мира, — и вводят систему мысли этого гениального ума в школьные тревоги нашего времени. Это — не архаическое исследование, с равнодушием к скорбям дня, а живое изучение, нужное сейчас. «Задача педагогики как науки состоит в точном установлении законов, зная которые можно бы возбудить и направить личные силы и способности каждого человека к единой цели — развитию всего богатства индивидуальности и достижению им высшего блага... Время отвлеченно-метафизического настроения педагогики миновало невозвратно, уступив место более ясным и точным наблюдениям над здоровой и больной душой человека... Взятые из вечно развивающейся перед глазами наблюдателя жизни, эти наблюдения, будучи приведены в систему, всегда могут быть приложены к практике жизни». Так начинает автор свое изучение и затем вводит в «педагогический опыт веков» те приемы наставления, рассуждения, воспитания, какие мудрый Августин применял в руководимой им школе над учениками-друзьями. К первой книжке приложен прекрасный портрет: «Блаженный Августин и мать его Моника», воспроизведенный с картины, находящейся в Лувре. Благодарно припомним здесь, кстати, и о трудах двух московских ученых: князя Трубецкого — «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке» (о бл. Августине) и Герье — «Блаженный Августин» (Москва, 1910 г.).

Еще замечательнее, как показатель «ломающегося» времени, две следующие книги, изданные *под псевдонимом одним попечителем учебного*

о́круга (как мне известно от автора, приславшего эти книги): «Молитвы и песнопения православного молитвослова. Для мирян. С переводом на русский язык, объяснениями и примечаниями. Николая Назимова» (фамилия матери автора) и «Вера, молитва и жизнь православного христианина. Краткая учебная книга православной веры Христовой, для семьи и начальных народных училищ. Издание 6-е». В первой книге я читаю молитвы с переводом и толкованиями – «За отправляющихся в путь», «За болящих», «На закладку дома», «На поселение в новом доме», «Молитва на нивах» и т. д. – все богослужение и все требы, в важнейших частях и моментах.

Господа, – это целая культура! Мы редко сознаем, что корень культурной России, образованной России лежит, конечно, в церкви. В том благородном, великом святом слове, которым она осенила всякое дело человеческое, всякое человеческое начинание, всякую заботу нашу; укрепляет наши силы, когда они падают, разгоняет в нас страх, когда он овладевает нами; учит мужеству воина, учит домовитости хозяина. Раньше доброго дела нужно к нему одушевление: вот церковь и дает одушевление, с утра до ночи, от «встав от сна» до «отходя ко сну», на все, на все... Церковь одушевляет: и хотя она не сотворяет никакого реального дела, но через эти одушевления она поистине есть родительница всех реальных дел. Но мы этого корня своей культуры не видим, – и нищенски и грязно воображаем, как ничему не ученое дитя, что «культуру» нам принесли парикмахеры, Мопассан и Бокль.

Оставим...

В данном случае то характерно и показательно, что взошел в семью русскую и в народную школу русскую с этим корнем культуры русской высокоий (сейчас, увы, не «у дел») администратор министерства просвещения, о которых все привыкли думать, и не без основания, что они только «пишут циркуляры» да видят одни «верхи» в волнующихся студентах и оппозиционных профессорах... Бог с ними, и с первыми и со вторыми. Они все «от парикмахера и Бюхнера», и эту спорынью надо как-нибудь дожевать с русским хлебом. Но пора бы давно спуститься в более существенный ярус народного просвещения, осязательно нащупать, что такое «русский гимназист», что такое «ученик народного училища», мыты ли они, чесаны ли они, умеют лоб перекрестить, помнят ли об отце, об матери. А то все «студенты» да все «стипендии» – слова иностранные и лица полуиностраные.

«МЫ ВСЕГДА ХОРОШИ»...

Убийство отца и матери студентом московского Коммерческого института Соломоновым заставило содрогнуться старого и малого в России... Беру подробности:

В селе Богородском снимала у одного немца домик в 3 комнаты семья русского художника И. Е. Соломонова. Отцу было 60 лет. Женат был он на второй жене, мачехе убийцы. Но это была добрая старушка, хорошо отно-

сившаяся к пасынку. Жизнь была трудная, но возможная. Отец, бывший учитель рисования, вышедший в отставку за старостью и выслугою лет службы, хотя и кончил Строгановское училище, и работал упорно и много, — однако при всем этом «отчаянно бился за существование, кормя себя, жену и уча сына», которому дал среднее образование и перевел в высшее.

Жене его было 55 лет; за домик в 3 комнаты они платили 16 руб. Прислуги не было, и старушка сама готовила обеды, стирала белье и мыла полы. «Сыну Александру, — пишет хроникер «Утра России», — ни в чем необходимом не отказывали. Но все же *отец-старик скупился* (?! — В. Р.), и на этой почве у него возникали нередко ссоры с сыном. Они особенно участились за последнее время, с поступлением Александра в Коммерческий институт. *Связанный лекциями по вечерам*, Александр должен был возвращаться в село Богородское *поздно ночью*, что было и *неудобно*, и нарушало обычный тихий строй жизни маленького домика».

«Сын просил у отца средств на то, чтобы нанять в городе хоть какую-нибудь плохонькую комнатку вблизи института, но старик и слышать не хотел об этом. С одной стороны, это вызывало лишние расходы, а с другой — отец боялся, что «Сашка на стороне избалуется», тем более что за молодым родители замечали кое-что «неблагопотребное». Александр хмурился, молчал. Таким его видели на днях на именинах тетки, которая торгует сундуками на Ильинке, жаловался кому-то из гостей, что у отца было в банке 3000 рублей, а ему не дает 10 рублей на комнату. Елизавета Павловна Соломонова была не родная мать Александру, но была добрая, отзывчивая, она *заботилась о нем как мать, оставляла ему ужин, убирала ему комнату. Он, однако, не любил ее*».

Что касается 3000 рублей в банке, с доходом от них в 150 рублей в год, — то ведь этот доход и шел на прожитие «едва-едва жизни». И убавься 3000 р. «на отдельную квартиру сыну», — *ежемесячно не хватало бы всей семье*. Да и сыну надо было еще *три года учиться*, у старика-отца в 60 лет *способность рисования могла еще упасть* — и тогда как же жить ему, старушке и самому сыну *без трех тысяч*?

Очевидно, сын, который посторонним жаловался, что ему не нанимают «отдельной квартиры» (а *стол, обед и чай как?* — В. Р.), ничего не понимал в распорядке жизни, в трудности жизни; и не понимал оттого, что никогда в ней не принимал участия трудом. Хотя юноши его лет и даже раньше, уже со средних классов училища, дают уроки и вообще кое-что прирабатывают к средствам семьи. Стоило бы немного лучше учиться, показать себя перед учителями и перед директором реального училища, и он бесспорно получил бы урок, даже два урока, и приносил бы в дом рублей 20–30. Старушка-то мать ведь мыла же полы и стирала белье в 55 лет?

Всего этого сын не понимал, и *ничто не навевало ему этого понимания*. Ни общество, ни читаемая печать. Отец говорил, но что «один он»? Отец «мог ошибаться», сын и «сам понимает»: ходить (или ездить) за город неудобно, и хоть у отца есть 3000, но он «все-таки не дает».

Убийство произошло так. Утром в тот день Александр немного поссорился с отцом и, «рассерженный, уехал в город» (значит, и «на проезд» давали). Старик уселся оканчивать пейзаж — «Зиму». Мать хлопотала по хозяйству. К вечеру старики сходили в баню, потом пили чай, мирно разговаривали и легли спать.

«Сын вернулся из Москвы очень поздно. Был третий час пополудни». Это едва ли («после *вечерних* лекций в институте»). Старики после бани крепко спали. Тот стучал — они не слышали. Стал барабанить в окно. Отец встал с постели и отпер дверь.

Сын вошел в домик, а отец, запев дверь, пошел следом и выговаривал о «неблагопотребном поведении, мотовстве и беспутстве», для каковых упреков теперь было основание. Сын отвечал, что он «засиделся у товарищей», конечно не понимая всю невежливость такого «сидения», когда дома отпираться некому, ибо прислуги нет.

Ссора перешла в дикую сцену. «Сын схватил старика-отца и начал его душить. На крик прибежала и Елизавета Павловна. Рассвирепевший Александр схватил топорик для колки угля и ударил им мачеху, а затем и отца, снеся ему череп. Потом еще раз ударил уже убитую мачеху, все нанося удары по голове. Потом вымыл руки, несколько убрал комнату и вышел из дому куда глаза глядят. В домик, ранним утром, вошли местные рабочие, и их объял ужас: «Оба убитые лежали рядом друг с другом, как бы обнявшись. Правая рука старика прижимала к себе хрупкую фигурку дряхлой старушки с изуродованным убийцей лицом. Голова старика и его белая апостольская борода залиты кровью. На старике порвана рубашка. Тут же валялся вымытый топорик».

Сын ходил, путался и, вернувшись, — заявил полиции о преступлении. «В кабинете пристава он сидел успокоившийся, немного осунувшийся, с большой копной белокурых волос, чуть пробивающимися усиками и отвечал на вопросы следственной власти. Голубые глаза смотрели открыто, и как-то не верилось, что этот юноша несколько часов назад совершил такое дело. Его показания были сбивчивы; он *отговаривался тем, что совершил свое злое дело в состоянии аффекта*».

Все-таки судебно-оправдывающее слово «аффект» — не забыл. Иностранное слово. Хотя он едва ли знал все русские слова, например «Верую во Единого Бога»...

Да еще в Бога-«Отца», с которым мог бы сблизить и своего маленького, земного «отца», такого трудолюбивого. Известно, что такое по гимназиям «учителя рисования и чистописания»: кротчайшие люди! Их немного презирают «остальные учителя», — за «недостаточное образование»: и они все «пишут и пишут» тихо в уголке и вот — растят детей, вне которых у них нет собственно интереса и полета в жизни. Какой там пейзаж «Зима», — для продажи только, в лавочку или мещанину.

Что такое этот юноша? Недалекий, не злой и обыкновенный. Он убил родителей, очевидно, в раздражении, в запальчивости, в ссоре. «Вспылил»

и «хватил» попавшейся под руку вещью, которая на этот раз оказалась «топориком». Затем уж он наносил удары «от несчастия». «Комнаты нет», «далеко ездить», и вот ко всем этим несчастиям и затруднениям жизни прибавляется еще преступление! «Убил»... И убийца махает, бьет в полной прострации и бессилии, что «на него свалилась такая груда бед». «Семь бед — один ответ».

Копна белокурых волос, ясный взгляд и дурак. Это как у всех. Это «наши»... Преступник ли он? урожденный «злодей», с фатальным тяготением к ужасу? Всего менее. Утром был невинный, да и всю жизнь был бы, может быть, невинным, но подошел «случай»: побранили, выговорили, может быть, толкнули. «Как снести» ему, ничего не сносившему? Если бы он был унижен, если бы он знал беды — снес бы. Если бы, с другой стороны, его не бранили, не упрекали, не заставляли работать, а все кормили и потом женили и он рождал бы деточек: то, по всей вероятности, и даже наверно он никого не убил бы и даже никогда никого не прибил. Собственно, просясь «на квартиру» и «в Москву», он следовал верному инстинкту и призванию: «за квартиру» бы кто-нибудь платил, например со средствами вдовушка в 40 лет: и вот он у нее «нахлебником» мог бы жить всю жизнь. Слушая лекции в высшем заведении, по вечерам разговаривая с товарищами и вовремя ложась спать. Естественный их удел — собственно «спать» и вообще «в кровати». Но вот «разбудили», — и это вечное, несносное «трудись» и «ограничивай себя». Тогда он убил. Он, которому вообще так тяжело жить, так тяжело было ездить из Москвы в Богородское!

Преступник ли он?

Скорее преступны обстоятельства, время, обстановка и «веяния» или, точнее, отсутствие веяний. Был штиль. Мертвый штиль, среди которого молодой человек ничего не делал. А «делать» приходилось или скоро «пришлось бы»: и он убил по отсутствию энергии делать.

Над ним не было атмосферного давления. Он мертв, недвижим и стилищен сам. Самое важное и чрезвычайно значащее в нем — это что он «толпа» и «как все». Вода вообще спокойно... и... косо лежит. Но она спокойна именно под атмосферным давлением. Насос, подымаясь над водою, защищает ее от давления воздуха, избавляет от атмосферного давления: и тогда вода подымается и, не будь бы нижней плотной стенки насоса, — выплеснулась бы. Мертвая вода «вскочила бы и выплеснулась», с энергией почти этого белокурого молодого человека. И наши ленивые преступления и есть эта «мертвая вода», которая вдруг выплескивается, потому что на нее ничего не давит. Ничто ее не прижимает к земле.

Сколько я умею постигнуть, если — не во всей массе, то в огромной части массы молодых самоубийств и также молодых преступлений лежит причиною это общее понижение атмосферного давления, барометрического давления, нормального и нужного в условиях планеты, но которое искусственным образом с них снято, устранено. В 18 лет человек *сам* должен зарабатывать свое существование: а для него все еще работают два старика, одному 60 и другому

55 лет. Если бы они не работали, все бы их осудили: «Что же они ничего не делают». Все бы на них, соседи, общество, собственная совесть, — закричали бы за это. Обратите внимание, что не «самоубиваются» и не совершают преступлений молодые люди, живущие уроками, и *энергично* ими живущие; готовящиеся к экзаменам и лекциям, и тоже *энергично* готовящиеся! Ни одного рассказа о занимающемся, обремененном *делом* и *заботой* самоубийце. «Некогда подумать» такому... Да сколько мы знаем молодых людей, уже содержащих семью, целую семью стариков-родителей, или меньших братьев, в 18 лет: *придет ли им в голову* самоубиваться, когда каждый час дорог и когда без каждого часа «в труде и поте» малолетние или старые погибнут. Тут «атмосферное давление», главным образом в виде собственной совести, собственной горячей и прекрасной души, огромно — и оно сохраняет жизнь.

Но горячая душа — это личная особенность и дар Божий. Не все рождаются с дарами Божиими, а *жить* нужно всем. Для «всех» же какое атмосферное давление? Оно могло бы быть в виде того «ожидания всех», того «всеобщего требования», которые, напр., чувствовали над собою старики-родители, полные труда в таком преклонном возрасте. Это-то «требование» не позволяло им ни на один день остановиться в работе, все идти вперед и вперед, и они сохранили свою жизнь и не отняли чужой.

В старой бурсе, где было так ужасно жить, где даже «секли за проступки», никто не самоубивался. Как-то мы рассмеялись все за столом, когда нам рассказали об одном старом училище, где секли *вообще весь класс по субботам*, вероятно, как «будущих виновных» или за «скрытую предполагаемую вину», «вообще за вину». И вот вообразите, из таких высеченных никто не самоубивался и никто «топориком» не рубил родителей. А что были там «развитые не меньше нашего» юноши, видно хотя бы по Помяловскому, который, выйдя из такой бурсы, *сейчас же* «весьма сознательно» описал ее. Да из такой сеченой бурсы вышли и Филарет московский, и Иннокентий таврический. Сечь вообще отвратительно. Так больно. Но нельзя ли в самом деле подозревать в человечестве какой-то *общей вины*, избыточной *вины*, присутствующей действительно во всяком человеке, которая и «выскакивает», если не атмосферное давление в виде могучей воли и требования или вот эта смешная «сечка».

Высекли: и не самоубиваются, и не совершают преступлений (столь частых).

Но перестали сечь: вдруг молодые люди сами себя начали «сечь» самоубийствами и преступлениями.

Нет страдания: тогда они сами на себя накладывают страдание или накладывают страдание на другого.

«Человеку должно быть тяжело» — вот закон. «Он должен быть под тяжестью» — другая формула закона. — Да почему?! — Да потому, что он «не ангел», которые *одни* «летают», а — «стопоходящее существо», с *виною на себе*, виною всеобщую, неотложную, индивидуальную у каждого. И за эту-то врожденную и всеобщую «вину» должен нести и «тяжесть».

А нет ее, — и «вину» он выражает в «преступлении». Те, которые «всех вообще секли», секли за врожденное, скрытое у всех преступление. И ведь оно в самом деле есть, и его надо чем-то «прижать к земле».

Нет «прижимания к земле» скорбью, тяжестью, слезами, болезнью, бедностью, — и рождается преступление.

Мы изменили, т. е. под всеобщим требованием изменены были, планетные условия существования над молодежью, которую как-то изолировали, поставили в парник, чтобы до нее «ветерок не дотронулся», «морозец ее не хватил», и только и есть — «дышим на нее». Повторяю — *трудящиеся* в ней не самоубиваются и не совершают преступлений, и не об этих прекрасных натурах речь. Речь идет о «них вообще». А «они вообще» не только избавлены от страдания, труда, бедности, нужды трудом родителей, трудом общества, стипендиями, «вспомогательными комитетами», но даже избавлены от того, от чего решительно никто не избавлен: от суда, от суждения, от порицания и насмешки. В противоположность знаменитой поговорке: «Ну, батюшка, за глаза царя ругают» или вообще «ругают самую знатную персону», — студента даже «за глаза» не ругают, а в глаза и за глаза, за спиной и со всех боков — только хвалят.

Таким образом, нет даже легчайшего психологического давления. «От вас *ожидают*», «*хотелось бы*, чтобы вы то-то и то-то делали»... Нет этих слов, этого требования, этого говора.

Не решаются даже и «ожидать». Существует скорее предположение, что это «такие ангелы», которые уже «все сами сделают», без подсказывания. И не решаются обеспокоить даже напоминанием.

Тогда он берет топорик и убивает отца и мать, на него (именно ведь *на него!!*) всю жизнь трудившихся.

Он погиб действительно не по своей вине, но по вине всего общества, создавшего для него решительно внепланетные условия существования. Условия без всякого тяготения, без всякого давления.

В рассказе описателя, бывшего на месте преступления и видевшего преступника, замечательны частности, очевидно бросившиеся ему в глаза. Например, он «не любил мачеху». Отчего? — Просто «не любил». «С ангела что спрашивать»: у ангела есть факты, а мотивов нет. Молодой человек нисколько не чувствует вины, и страшной вины, тяжелой душевной вины, что он «не любил доброй женщины, стиравшей на него белье», ставившей для него самовар, убиравшей за ним комнату. «Она — как слуга, но я — как барин»: потому что если «ангел», то естественно и «барин». Но и отец был ему тоже «как слуга», на отдалении слуги, поставлявшего «все нужное». И трагедия-то и заключается в том, что он жил *в родительском доме* не как в родительском, как и в учебных заведениях они учатся не как в учебных заведениях, — а живут везде как бы со служками себе, со своими служителями, со своими немножко-«крепостными»; ну, — *нравственно-крепостными*, находящимися «в обязательстве» кормить, поить, содержать, обучать, обмундировывать и прочее. С верхней-то стороны было *родительское от-*

ношение, — что видно по заботам мачехи; но с нижней стороны не было детского отношения, а было какое-то взрослое, грубое, жесткое.

Он не любил обоих родителей; не *очень* не любил, а просто не любил. «Он теперь успокоился», — через несколько часов. И уже обдумывает «аффект». Это тоже не «очень», это не великая хитрость, а просто свобода души для тем, в данную минуту для оправдательных тем. Суть в том именно, что душа свободна, не занята. Суть в том, что вокруг души великая пустота; пустота — без обязанностей; пустота — без любви. «Вот в Богородское ездить трудно, а теперь еще придется оправдываться на суде. Бывает же на одну голову столько несчастий». И эту «пустоту», ужасную пустоту вообще вокруг молодежи, создало общество, решившее во что бы то ни стало извлечь ее из условий обыкновенного существования.

«Мы не только летаем, но и не можем грешить», — это единственная мысль, при которой оставлена молодежь. Что бы она ни делала — «все хорошо». Не учится — «хорошо»; бьет наставников — «хорошо» же. Уверен, что сейчас обдумывается во множестве редакций, как сказать об этом юноше, что и «он тоже хорошо». Характерно, что в передаче факта нигде не сказались, и конечно *бессознательно и неодолимо не сказались*, ни одного возмущенного и негодующего слова, эпитета о юноше. «Кошмарный случай» — это есть. Но ведь взял топор не «случай», а 18-летний мужчина. Но сказать «*кошмарный* юноша», «*кошмарный* сын» — этого «не пришло на ум» перу его, он инстинктивно этого не сказал, и инстинктивно этого не скажет вся печать. «Они все ангелы». Это не только пишут, но чистосердечно *думают* все, кто пишет, говорит, кто будет волноваться около дела. «Кошмарное дело», в сердцевине которого не стоит даже «дурной человек» (и этого не скажут).

Иное дело, если бы отец зарубил. Сказали бы: «Чудовище-отец». «Чудовище-отец» шумело бы год по печати.

И отцы это знают. Они трепещут в страхе. И трудятся для детей. И Бог их хранит за любовь и труд: они не самоубиваются и никого не губят.

Но мировая змея сделала чудовищный изгиб и укусила, где не ожидали. «Греха нет», «все ангелы», «вины совершенно нет»: вдруг темная тоска, страшная тоска овладела ангелоподобными существами. «Обеспечены» — и «кончают с собой», «побили профессора» — и заглядываются в воду с моста. Один живет «нахлебником у вдовы»: но не вкусны сладкие хлеба, и он все хныкает. Все разговаривают по вечерам с приятелями, «как бы помочь России» и как бы ее вытащить из «позорного состояния» натиском на профессоров, на университет, на кого-нибудь, «хоть на всех». А в душе стоит тоска, и вот, утрудившись, доехав до Богородского, — вступает в драку с отцом и убивает его и старушку-мачеху. «Столько досад на свете». И все существование вообще тоскливое, дождливое. «А на полной стипендии» или «на полном иждивении» старых родителей.

И жжет горячим ядом огромная змея сердце молодежи. И не избыть ей этого яда.

В противоположность этому «обыкновенному», что дети *никак* не чувствуют родителей, мне раза два в жизни приходилось наблюдать обратные случаи, что родители были страшно отчуждены от детей. И вот я видел, что в детях, Бог весть и как, особенно Бог весть *почему*, пробуждалась нежнейшая любовь к этим родителям, казалось бы «невозможным»:

– Мама приехала! Мама приехала! – говорили они, в имении, устроив что-то вроде «триумфальных ворот» накануне для родительницы, возвращавшейся из-за границы. Она вечно была за границей «по своим делам» или, вернее, «по своим удовольствиям» и никогда детей не брала с собой.

– Где мама? Что же мама не идет? – говорила девочка лет девяти, у которой страшно поднялась температура. Она вся горела. Была невыносимая головная боль. Всяческая помощь была сделана другими родными: но она помнила только «маму».

Мама оглядывала «новинки» в Гостином дворе. Взглянув на дочь, протягивавшую к ней руки, она равнодушно сказала: «Ну, что же, компресс поставлен», – и отвернулась. И вот в этих случаях тоже мировая змея: обе эти матери неожиданно рано и скоропостижно, «почти случайно», умерли. Но у Бога нет случаев, а везде – закон.

ЛЕВИНУ ИЗ «РЕЧИ»

«...Искренних людей не так мало, как кажется. Можно верить даже искренности Меньшикова и Розанова», – пишет еврей Левин, из «помощников присяжных поверенных», в «Речи».

Ну, для чего такое великодушное снисхождение. «Искренности» русского человека можно верить только тогда, когда он раскрывает еврею свой кошелек, и «искренности русского писателя» – только тогда, когда он сдавленной фистулой поет акафисты евреям в еврейском издании.

Евреи вот всегда «искренни»: они взяли русское богатство – совершенно искренне. Они задавили честную русскую мысль в печати – и почему это тоже не искренне? Они захватили сальными пальцами чистую когда-то дворянскую литературу: и это их сальце и эта их грязнотца совершенно чистосердечны. Вообще полный эгоизм всегда искренен: и евреи, которые в России суть только эгоисты и всегда эгоисты, имеют все основание для полной искренности.

Кушайте, господа, на здоровье это мясо старой клячи России, – которую вы загнали и затравили, как стая шакалов темной ночью в глухой степи.

Как-то зашла речь о переводах среди курсисток. «Можно ли обратиться в *«Русское Богатство»*, оно много издает и переводит?», – сказала одна. – «Да. Но там переводами руководит *Горнфельд*, и он *дает работу только*

евреям», — сказала другая. — «Может быть, в «Современный Мир»?» — «Нет, там всем заведует *Кранихфельд*, и русских тоже не пропускает». Этот разговор бедных *русских девушек-тружениц*, на днях мной подслушанный со стороны (т. е. разговор был не со мной, а возле меня), — запал мне в душу, и я не отвечал бы Левину, если бы не узнал случайно о «распределении труда» в радикальных русских изданиях.

ОТВЕТ г. КОРОЛЕНКО

Наименование г. Короленко *нескольких* русских лиц, переводы кои были помещены в «Русском Богатстве», не опровергает того, что в «Русском Богатстве» *главную* массу переводчиков составляют евреи. Как бытие черных лебедей в Австралии не опровергнуло того, что в остальных четырех частях света, т. е. в неизмеримо преобладающей массе, они сплошь и без исключения белые. Притом — Ватсон, Анненская, Русаков, Пименова и другие — старые сотрудники журнала, времен еще Михайловского, и не о подобных лицах шла речь. Поэтому я полагаю, что г. Короленко *уклонился* от прямого и ясного ответа.

ЗАКОН О ЦЕНЗУРЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНЗУРЫ

«Закон всегда *благ*», — по замыслу, по мотиву, по цели: и без полного доверия к этому отечество не могло бы существовать, а все граждане без этого убеждения естественно бы взбунтовались.

Вот эту-то аксиому элементарного политического бытия исторически старается опровергнуть наша цензура: и нельзя не думать, что кроме «неясности и неполноты» законов о печати, которая, вероятно, есть, тут играет немалую роль полное извращение самого смысла законов в момент их применения, каковое применение уже делается цензорами, читающими журналы, газеты, книги. «Закон не может *не быть благ*»: и с доверием к этому никак нельзя допустить мысли, чтобы государство Русское, которое выделило целое министерство из себя со специальною заботою о просвещении, о его расширении, о его движении вперед, — через цензуру имело в виду стеснить мысль, ограничить науку, задержать литературу в новых и новых ее формах или темах. Конечно, ничего подобного не может быть *в мотиве закона*, и возможно допустить только, что в законе есть неясность, допускающая возможность перетолковать его в этом *черном и отвратительном смысле*. Вот этот-то *черный и отвратительный* смысл и придан законам о печати администрации печати, которая как будто враждебна самой себе, принципу своего существования, и всеми мерами старается подорвать доверие к благу своего существования и к смыслу своего существования.

«Упраздните меня! Упраздните меня! — ибо я, кроме вредного и глупого, ничего не делаю», — как будто подсказывает она каждому столько же своими «запрещениями», как и своими «дозволениями»! И что это — *так*, показывает самая история цензуры, сводящаяся к историческому вздоху всей образованной России о ней: «Или *преобразовать* бы, или *упразднить* бы ее», которого *явно* не было бы, будь цензура явно блага, благотворна, полезна.

Кто же не счищает мусор с улицы? Кто же будет утверждать, что печать может подвергнуться нашествию мусорных людей и может быть занесена мусором, в котором не доищешься здорового зерна. Мрачные люди и низменные течения могут через посредство скоропечатных машин забить песком и грязью все чистые колодцы, из которых пьет страна здоровую воду; могут отравить население, его душу, его воображение. Печать может совершенно «опровергнуть» всякое образование и деятельность всякого министерства просвещения, потому что в то время, как учитель в школе разучивает со ста учениками Пушкина, какой-нибудь «подворотный листок» приучает сто тысяч читателей упиваться кровавыми и развратными выдумками грошового воображения, подстегиваемого пятакком. Слабая воля читателя, который в печатной странице ищет отдыха от труда и развлечения для усталого мозга, — делает возможным, что под видом «развлечения» и «отдыха» ему будет поднесена *печатным торговцем* такая мерзость, которая навсегда отравит его несчастный мозг и, так сказать, заменит его для всякого благотворного воздействия.

Вот *санитарная, очистительная* работа и возложена на цензуру: и слово «цензор», «сепсор», как и в Риме, где впервые эта должность возникла, обозначает в наше время также борьбу против сора, грязи и, так сказать, порчи общественной атмосферы миазмами.

И — только. Ничего решительно больше.

Должность «цензора» была благороднейшею в Риме, и ее все благословляли, потому что явно для всех она имела в виду то «блага», в котором не сомневался никто; и никто же не сомневался, что этого одного «блага» ищет могучий Рим в учреждении «цензуры». А на должность «цензоров» назначались лица с особою доблестью, проходившие предварительно консульскую, преторскую и другие высшие государственные должности.

* * *

Но, поистине, оправдалась римская поговорка: «Quod licet Jovi, non licet bovi», т. е. в переводе и с вариантом — «Что делают Боги, того никак не сделает корова».

Несчастный чиновник, несчастный Акакий Акакиевич извратил и омерзил благородную и нужную идею; и не только сам в качестве «цензора» стал посмешищем страны, а «историю сего учреждения» превратил в хронику анекдотов, но и решительно и слепо творит зло и вред своему отечеству.

Произошло это таким образом: в Риме высочайшие лица, облеченные доверием республики, гасили, обезвреживали и уничтожали гадкие, уличные, «протокольные» явления нравов, жизни, быта.

Запомним это: лицо — высочайшее; объект его — низжайшее. Тут, так сказать, «в натуре вещей» заключен был гнев, вражда, ярость: и ярость благородного человека, так сказать, палкой в спину выгоняла из Рима порок и преступление.

У нас «цензура» — не особенно высокая служба, и решительно она теоретически по значению и важности в ряду бесчисленных служб необозримого министерства внутренних дел. Но сделаем замечание. Эта невысокая служба уже самым положением «Цензурного устава» рядом с «Уставом благочиния» в *Своде законов* — показывает, что функции цензора и в наши дни — те же, что были в Риме: что ему подлежат явления «неблагочиния», «непотребства», «неприличия», явления собственно *протокольные* и *полицейские*, но в особой сфере, возникшей в новые времена, — в сфере печати.

Как судья судит преступления, т. е. патологию личной воли, и его пафос есть нравственное негодование лично здорового человека, — так точно же пафос цензора лежит в негодовании против гадкого, низкого и подлого злоупотребления печатной машины около изобретения Гутенберга. И как судья судит воров и убийц, судит фальшивомонетчиков, так и цензору поручено ловить псевдолитературу в литературе, псевдонауку в науке, притом явного и бесспорного характера. «Лови хулигана и не трогай честного человека» — девиз судьи и цензора. Только это мотивирует их должность, только это оправдывает их смысл.

Что же сделали гг. цензоры всю фактическую историю своего учреждения?

Решительно ничего!

Конечно, всякий воришка *приспособляется* и не явно отнимает у вас кошелек, а *потихоньку* особыми ножницами «срезает» у вас золотые часы. Ножницами, а не рукою. Рассчитывая на «божественный разум цензоров», хулиганы печати быстро *приспособились*, изучили цензурный устав и начали писать свою мерзость, которая единственно живет в их душе и преступном мозгу, «цензурно», т. е. минимально избегая сталкиваться с *буквою той или иной строки цензурного устава*, но в то же время безумно надругаясь над *всем смыслом этого цензурного устава* и над самым *учреждением цензуры*. Акакии Акакиевичи «ничего», вот видите ли, «не видят» ни в голой женщине, сидящей перед монахом, ни в другой голой женщине, скачущей на пунцовом жеребце, ни, наконец, в третьей голой женщине, стоящей перед публикой на шаре («земной шар») головой вниз и ногами вверх. Или, как в «Кладбище страстей» Городецкого, — выведено *свальное сладострастие* пятерых человек на одной кровати; и, там же, совместный разврат гимназиста, его репетитора и матери этого гимназиста, причем сын говорит о матери, что она «любит *присутствовать* при этом, так как сама уже стара»... Что это такое, для чего это? Кроме *единственно* цензоров вся Рос-

сия знает, видит и проклинаят сии «явления печати» — как сор, грязь и разврат, как «порнографию». Но младенцы на Театральной улице видят в «жеребце», видите ли, «зоологию», проходимую в первом классе гимназии, в монахе — чтимую отечеством особу, а о всех трех женщинах «комментируют в уме», что, конечно, они не могли же явиться голыми на сцене, а *были в трико*, и хотя трико, конечно, не нарисовано и его нельзя нарисовать, так что на обложке-то выведена просто и только — голая женщина, притом специфически для соблазна и возбуждения грязного воображения, для порока, для развращения гимназистов и солдат, для развращения учеников городских училищ, — тем не менее «одобряют цензурскою властью», притом без всякого комизма, а совершенно серьезно, одобряют не в качестве «действующих лиц» французского водевиля, а в должностных и чиновных особ министерства внутренних дел!

Помилюте: гимназист 4-го класса, покупающий за 15 копеек трех голых баб, *понимает*, что это «порнография», и *покупает именно как порнографию*, бросаясь на рисунок детским умом и бессильной волей, а господа цензоры, с бородами, семейные люди, господа статские советники, видите ли, этого *не понимают!!*

А что же они «понимают»?

А *ничего* они не «понимают», эти статские советники.

Если *гимназист* понимает и с гимназистом *одинаково вся Россия* понимает, что это «порнография», порок и для *разврата и развращения* читателя, детей и грамотного простонародья, издано, напечатано и сочинено, а один цензор и один «цензурный комитет» этого «в заседании» не понимает...

То остается скромно резюмировать, что цензура развращает общественную нравственность и политическое воображение печати.

Это до такой степени явно, это до такой степени на глазах у всех, это до такой степени *доказательно* у всякого киоска с книжонками на Невском и везде, — в том киоске, где рядом с Нат Пинкертоном непременно торчат раздетые бабы, — что, что же я кричу об истине, которую за исключением цензоров знает решительно вся Россия, и неужели ее не знает министр внутренних дел, в ведении которого находится главное управление печати? Почему же он не поставит человека опять головой кверху, а ногами вниз и каким образом министр внутренних дел, читающий хоть свою премудрую «Россию» и вообще хоть сколько-нибудь человек образованный, может мириться с извращенною и вредною для России, с опасною для России, деятельностью целого учреждения под своей властью?!

Представьте себе, что «ветеринарный отдел министерства внутренних дел» напускает сап на лошадей.

Представьте, что «комитет борьбы с чумной заразой» разносит по России чуму.

Это — цензура. Та цензура, у которой хватило же духу допустить издание целой серии книжек под заглавием: «Общество огарков» и «Лови мо-

мент» (общее заглавие серии), которые все говорят своим памятным термином. Издает их та же пресловутая фирма, которая печатает и «Нат Пинкертон», и помещается она в Лештуковом переулке, дом № 10.

Как могло это «вверх ногами» случиться? Почему до такой степени извратился смысл цензуры?

Цензор в Риме и России — борется с грязью.

Но «Акакий Акакиевич в цензуре» почему-то догадался о *правительственной мысли* (слушай, «Россия») — отдать 10 – 15 чиновникам на Театральной улице, в обыкновенном мундире статского советника и не выше, под надзор, наблюдение и преследование все академии, все университеты, всех журналистов, всех писателей, всю науку. «Это что «Нат Пинкертон»: возиться с такой гадостью — руки запачкаешь. Нам подай философов из университета — мы станем чиркать у них чистым карандашом по чистой бумаге».

Таким образом всю грязь цензура «свободно» вывалила на голову России.

И начала бороться с наукой и литературой. Просто ради какого-то аристократизма, «чтобы показаться более важной персоной», «чтобы о нас плохо не думали».

Тогда как даже в *Риме* цензура была только полицейское учреждение, морально-полицейское, с задачей бороться с величайшей *грязью*. Весь смысл цензуры и единственный мотив ее возникновения, в римские и во *всяческие времена*, заключался и заключается в том, чтобы обрушить величайшее нравственное достоинство на величайше-низкие явления, увы, неизбежные в человеческой массе в силу испорченности вообще человеческой природы. Чем *выше* цензор — тем *ниже* его объект. Чем *чище* он, тем *грязнее* его объект. Вот! «Грязь» дела тут не *обида* цензору, как, по-видимому, воображали наши цензора, не хотящие возиться с печатными «огарками», а *честь* для него: цензору, как *отцу*, родители вверили своих детей, вверили их целомудрие и невинность, вверили их *чтение*.

Государство у нас «попечительствует» над всем, над всем «родительствует», и оно чувствует, что как «в школы государственные» родители приводят своих детей учиться, так «цензуре государственной» родители как бы доверили *чтение своих детей*, чтение *подростков*, а вся страна «родительским попечением над народом» вверила ему же обезопасить чтение, книгу, брошюру, газету.

«Грязь; грязь выметай! Грязь, грязь гони!»

Чем грязней метла, чем чернее сор — тем больше чести цензору! Вся его *благодетельность* («закон всегда благ») заключается во взятии самой грязной метлы и в выметании из читающего общества наиболее зловонного сора, вот всех этих «Огарков», вот всех этих «Лови момент», даже бы «Пинкертон», которого бы никто не пожалел (Шерлока Холмса надо оставить, ибо это нравственнейшее чтение, решительно приучающее ненавидеть порок, и сам Холмс есть, конечно, Дон-Кихот гражданской добропорядочнос-

ти.) Никто бы цензуру не осудил, все бы ее благословили, если бы она промела печатную улицу, задышающуюся в вони, от всех этих печатных миазмов, отравляющих (и родители не усмотрят, что они под полою пронесут в учебную комнату свою) детей наших и отравляющих непоправимой отравой весь народ, увы, сплошь уже теперь грамотный.

Да, приходится сказать «увы», ибо первую книжкой для выучившегося грамоте простолудина является «одобренная цензурою» серия 7-копеечных книжек: «Лови момент» и более якобы литературные жеребцы, монахи, голые бабы, соблазны и грех-грех, разврат-разврат.

Да подите же, г. председатель цензурного комитета, подите, господин редактор «России», постойте час около киоска с (якобы) газетами и посмотрите, *кто* покупает одобряемые вами произведения печати. Дети, подростки, горничные, прислуга, рабочие.

Это как зловонная фабрика, отравляющая выбросами и газами чистую реку, когда-то чистую и невинную, из которой пьет все прибрежное население.

ХРИСТИАНСТВО И СЕМЬЯ

Снова в трудовых месяцах перерыв — праздник детей, праздник семей, праздник женщин. «Родился наш Христос», — и в Рождестве Своем повлек за Собою и привлек в религию *семью* как источник религии, как фундамент, на котором — все дальше строится. В этот праздник особенно есть повод вспомнить и продумать все неизмеримое значение, какое занимает семейство в цивилизации.

И особенно — в христианстве.

В нем семья обожествилась до некоторой степени. От самой нищей семьи и до царской семьи всякая мать, окруженная детьми и мужем, не может не почувствовать прямо или косвенно, отдаленно или близко, что старец Иосиф, склоненный над Рожденным Младенцем, что Божия Мать, держащая на руках того же Младенца, — есть вечный прототип и образец каждой семьи; и что каждая семья, насколько она благочестива и чиста в себе, повторяет в моментах жизни своей, в моментах быта своего, те евангельские истории, которые с детства знакомы каждому из учебных книжек и по рисункам. Это не может великим образом не поднимать самочувствия каждой матери, возбуждая ее мечты и усилия к идеалу; это не может не отразиться и на детях, внушая им таинственные догадки, пробуждая мечту и грезу. В отличие от язычества, христианская семья в истории Святого Семейства, окружившего вифлеемские ясли, получила себе небывалое в истории признание, венец и напутственный идеал. Все это — не как учение и догму, а просто как картину, понятную и безграмотному. Семья возшла на образ, на икону. Верующие поклоняются в храме божественной семье; а вся цивилизация поклоняется мудрым поклонением обыкновенной семье, как *зерну*, из которого *все в этой цивилизации зарождается*, все в этой цивилизации происходит.

Но все это — более в идеале, чем в действительности, которая довольно горька и довольно сѐрна. Но нужно сознать, что идеал — есть, что путь совершенствования — указан. Малое проникновение идеала в жизнь происходит оттого, что семья наша не стоит так близко к церкви, как нужно; и что, с другой стороны, церковь слишком перелила весь свой идеал в аскетизм и монашескую, *одинокую* жизнь, вместо того чтобы уделить этому идеалу одну половину души и сил, а другую и такую же половину сил и души отдать семье и разработке семейных идеалов. Если взять такую классическую книгу в православной духовной литературе, как «Путь ко спасению» преосвященного Феофана, то мы увидим, что там едва уделено семье *несколько страниц* на *много томов* текста всего сочинения. Это, так сказать, материально указывает на неравномерность распределения забот церкви, или, конкретно сказать, — духовенства, между идеалами *семьи* и *монастыря*. Монастырь взлелеян, устроен, имеет множество себе уставов, изменявшихся по требованию времен; сюда, можно сказать, «притекала вся кровь сердца» церковного и помогала работе жизни. Между тем как семье дан только обряд венчания, да построено брачное право и брачная юриспруденция, весьма несовершенная по общему признанию. От этого ли исторического невнимания или мало-внимания к семье, от других ли причин, но и семья не стала так близко к церкви, как следовало бы.

Между тем нельзя не заметить следующего. Семья православного священника, когда она была близка к своему идеалу, *выше по духу и по типу*, нежели семья в каком бы то ни было другом сословии или в другом состоянии, когда она тоже близка к своему идеалу. Другими словами, *церковный тип* семьи выше *светского типа* семьи же. И объясниться это может только ближайшим и теснейшим действием на семью Евангелия, христианства, церкви, ее иконописи, ее песнопений, ее уставности. Светская жизнь наша слишком уж *не уставна*. Она свободна, и это — хорошо; но она доходит до анархичности, и это решительно худо. Однако высокий тип именно *священнической семьи* убеждает нас, что есть действительно некоторое *сродство* между религией и семьей и что *сродство* это могло бы быть разработано гораздо глубже, нежели как это сделано до сих пор.

Будущее движение Церкви, которого мы должны ожидать, так как «Древо Христово» не может не расти, — направится, несомненно, в эту сторону, в разработку семейных идеалов; так как все возможное в сфере идеала одиночной аскетической жизни уже сделано в минувшие 15 веков движения роста церкви, почти исключительно аскетического.

Семья не может не обратиться сюда своих надежд. Христианское просвещение семьи — не может не желаться самым горячим образом, особенно после того в некоторой степени опозоренья семьи, которому она подверглась в «упадочной литературе» и еще ранее — в ультрареалистической. Эта литература необычайных эксцессов и уличных анекдотов, гоняющаяся за эффектом и впечатлением, неглубокая в одной части и патологическая в другой, засорила семью низменными идеалами, чаще же всего ложилась

около нее грязною сплетнею. По справедливости можно сказать, что семья делает все усилия, чтобы отбиться от этой литературы. Самые усилия эти показывают, что семья ищет иных и лучших идеалов. Эта жажда велика, и ей может удовлетворить Церковь.

Через семью воздействие ее может простереться на всю цивилизацию. Вся цивилизация, в ее сложности, выходит из отдельного человека, а человек рождается и воспитывается семьею. Одна будет цивилизация, если ее делают питомцы Шиллера и Пушкина, и другая будет цивилизация, сделанная руками героев Максима Горького. Этим примером все сказано. Влияние на семью есть в то же время и могущественнейшее государственное влияние, с которым не сравнится никакое влияние политических партий, как и литературных течений. По справедливости можно сказать, что через воздействие на *семью* церковь единственно может, не пачкая своих чистых риз, воздействовать на политику: то есть воздействовать не прямо, грубо и коротко, а косвенно, мягко и длительно. Она может отдать партиям минуты истории, взяв себе века истории. Вот *где* область ее действия, правая, чистая, несравненно могущественная. С тем вместе, сойдя с поля аскетического служения и войдя в служение семейное, Церковь получит горячими своими служителями не исключительные личности, пусть и очень высокого дара, а массы людские, толщу народную. Конечно, и она сейчас служит Церкви, — но одно дело «служить», только присутствуя пассивно на храмовых службах; и другое дело «служить» с высоким разумением всего учения, всех идеалов, — служить *активно*. Вот это-то активное соучастие всего народа в жизни Церкви и брезжится как возможное, когда сама Церковь станет *семейною* преимущественно, а не аскетическою преимущественно.

«Рождество Христово», с которым мы приветствуем читателя и весь русский люд, весь православный люд, — есть великий залог и обещание развития *семейного христианства*.



Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову

ИЗ ПРИПОМИНАНИЙ И МЫСЛЕЙ ОБ А. С. СУВОРИНЕ*

Не хочется говорить ничего систематичного. Буду говорить отрывками. Это соответственнее даже лицу, о котором говорю, соответственнее теперешней минуте.

Прежде – человек, физика, фигура. Почти всегда это впечатление:ходишь по невысокой лестнице (2-й этаж); открываешь бесшумную дверь (Василью):

– Можно?

– Пожалуйста! Пожалуйста!

Проходишь из большой передней в темноватый проход между спальной и библиотекой. Библиотека – огромная комната, с огромным столом посередине, на котором лежат книги и «так», и корешком кверху: и около них что-то копошится маленькая, почти крошечная старушка, N., – сестра сотрудника Богачева. Она всегда тут. Имени ее никогда не запомнишь. Но она до такой степени всегда «тут», что ее знаешь давним знанием – и, вместо здорованья, поцелуешь в темя. Она поднимет глаза: это – тихие глаза, и все лицо – умное, просвещенное. Она «убирает» библиотеку Алексея Сергеевича, распределяет по классификации и составляет каталог.

Библиотека – великолепна. И огромна, и интересна, – по изданиям, по предметам. Вся почти из истории литературы. Хотя я раз странным образом встретил там «Творения Кирилла Александрийского». Вообще там много по «духовенству»: А. С. Суворин по матери – сам из духовных.

Идешь иходишь в полусветлую (сзади) комнату. У самых дверей большой прекрасный портрет Новикова, с этим его пальцем, так характерно отогнутым. Против дверей сейчас же огромный стол с новинками книг и журналов. Сколько раз скажешь, чем-нибудь заинтересовавшись:

– Алексей Сергеевич, я возьму эту книгу (т. е. в собственность).

– Возьмите, батюшка.

* *Начало* этой статьи, с некоторыми пропусками, было помещено в «Новом Времени» в ближайшую по смерти А. С. Суворина неделю.

Отсюда (из прохода – налево) кабинет, передняя стена которого заменена одним огромным стеклом. Все-таки от множества книг и вещей в кабинете – в нем полутемно, вернее, – недостаточно светло. Влево – бронзовый бюст Пушкина, работы князя Паоло Трубецкого, – ему понравившийся на выставке и подаренный сотрудниками. Множество столиков, – все заставлено чем-то, в большинстве книгами. Книг – множество, они – везде, – частью громадные фолианты. Бросается в глаза Шекспир, – его любимец. Огромные портреты – его первой жены, умершей дочери (Колосовой), Шекспира, Пушкина, Тургенева и Толстого. Еще чьи-то портреты, множество. Вообще «множественность» всего ложится на душу давящим впечатлением. Слева, на половине длины кабинета – всегда пылающий камин. А вон, дальше, и он.

Всегда я его помню собственно в единственной позе: спина колесом и он внимательно ушел «в стол» (письменный, перед стеной и окном), читает или (несколько реже) пишет. Если пишет – «Маленькое письмо», но чаще читает лист завтрашнего набора (корректурка завтрашнего номера) или корректуру книги печатаемой. Очень часто я его заставлял почему-то за корректурными листами Пушкина, и тут «сверочные» издания: он копался около строк Пушкина, его выражений и проч. Пушкин был его Солнцем литературы. Он с ним совершенно никого не сравнивал, никого не приближал к Пушкину. Из множества мелькающих разговоров о Пушкине я мог бы, мне кажется, вывести это впечатление о *мотиве* такого исключительного отношения к Пушкину:

«Пушкин *все* знал и *все* понимал. В уме его не было ничего дробного, частного и пристрастного. Полная *закругленность*, полная *всеобъемлемость*. Столь же замечательно редко *его сердце*. Пушкин есть полная правда, и у него нет ни одной строки, а в жизни не было ни одного отношения, куда примешивалась хотя бы частица вольной и даже невольной лжи, притворства, ломанья или позы. Величие правды Пушкина заливает все».

В это определение я не вношу ничего своего, «розановского». Это, по припоминаниям, мелькнуло мне разрозненно в речах Алексея Сергеевича. Я только крупинки смел вместе, в кучку (в определение).

В Шекспире его поражала колоссальность творческого воображения. Шекспира он ставил гораздо выше Толстого, и умнее, и гениальнее. Я не помню его речей о Гамлете; помню, что как иллюстрации шекспировского гения мелькали у него «Король Лир» и вообще трагедии *действия*, а не *размышления*, характеры *мощи* человеческой, а не человеческого ума.

Байрона, Шиллера и Гёте, – самых имен у него в разговорах со мною не мелькнуло. Как бы их не было. Это или случайность разговоров, или сущность его отношения. Вероятнее первое. Очевидно, однако, что эти «державшие лиру» гении человечества не зачаровали ума его тем неотстанным очарованием, из которого льются невольные, неудержимые речи, – как зачаровали Шекспир и Пушкин.

Отношение его к Толстому было резко двойственное. Он считал как бы русскою историческою святынею его «Войну и мир», и считал таковою не только за великие художественные качества, но и за душу Толстого в «Войне и мире», т. е. за чувство любви к России в этом великом романе. Здесь, за эту великую любовь к Родине, он поклонялся Толстому до земли. Вне этого исключительного, выделенного отношения к исключительному произведению лежало — этажом ниже — его отношение к другим художественным произведениям Толстого. Там был алтарь, здесь — обыкновенное литературное отношение, «жилой дом», «базар», суета, печать, литература. Восхищение Суворина было восхищением мастера слова к мастеру слова. Затем, еще ниже этажом, лежало отношение к «общему в Толстом», к его жизни и лицу. Здесь было удивление к силе и разнообразию этого лица, к интересу и сложности этой жизни. Суворин во множестве разговоров около Толстого передал мне очень много конкретного, частного, единичного; слов покойных братьев Толстого, им слышанных; переданных ему разговоров сестры-монахини; Софьи Андреевны и проч. Эти-то единичные рассказы о незаметных, исчезающих штрихах в личности Толстого заключались в конце концов, или обобщались в конце концов, в отрицательное и иногда негодующее отношение к Толстому. Суворин считал его, так сказать, на дне всех глубин, в самом «колодце» души, необъятно честолюбивым человеком, человеком необъятного самолюбия, с каким-то всепожирающим «я», которому он готов был принести в жертву, и фактически принес в жертву, Родину, ее святыни, ее историю, ее заветы. В Суворине же постоянно сквозило это: «Мы все относительно сравнительно с Россией, наше дело — *служить* ей, а не *господствовать* над нею». Почти: «самое право наше учить Россию очень ограничено, и мы должны очень осторожно пользоваться этим правом»... «Мы можем предлагать России, но не можем ничего ей навязывать».

Опять я здесь «собираю в кучку» то, что мелькало у Суворина. Толстой был, конечно, гений, но и Суворин — очень умный человек, с которым «почтаться следует». Суворин был со страшно зорким глазом человек, при том с тою особенностью, что он эту «зоркость» никому не навязывал и скорее держал про себя. Но и не это только. Он слишком много «видел на веку», — людей, положений, страстей, грехов. И, видев громадную панораму, ничему (кроме «целокупной России») не отдал души и ума в плен. В résumé всех многочисленных бесед о Толстом у меня осталось впечатление, которое я выражу, сказав то, что у меня не раз мелькало в уме, когда я выходил задумчиво из его кабинета:

«Как странно!.. В Ясной Поляне — великий отшельник, с непререкаемым во всем свете нравственным ореолом. Здесь... что такое этот «кабинет Суворина»: суета, шум, перекрещивающиеся впечатления, разговоры, точно «битва пигмеев» (существо газеты, существо «ежедневности») в вихре всемирной растолченности, всемирной раздробленности, всемирной пыли, грязи и ветров. Но в этом «кабинете» тоже сидит имеющий свой тихий час

человек, который только кажется, что отдает суете «всего себя», но на самом деле вовсе не отдает «всего себя» одной суете. От того, что около этого человека вращается всемирная суета, составилась почти всеобщий взгляд, да даже и решительно всеобщий взгляд, что и он сам — суета, жрец «временного», с душою неглубокой и грешной. До чего же поразительно это открытие, которое вот я делаю в этих уединенных беседах, почти подслушал, почти подсмотрел, что на самом деле «суета сует», человек без нравственного выдающегося признания за ним, гораздо превосходит чистотою простого и доброго, простого и благородного отношения ко всем вещам мира, того угрюмого и святого отшельника, того всемирного порицателя, отвергателя и критика».

Это было удивительно. «Что такое мнение Суворина перед Христом и Богом?» Казалось, — ничего. «Мнение Толстого перед теми же Судиями?» — «О-о-о!» Во всяком случае — «Много». Но я хочу, чтобы запомнился этот мой определенный взгляд, что это мнение «странника в суете мирской» на самом деле ближе к Богу, ибо оно было неизмеримо человечнее и как-то именно благороднее всемирными сочувствиями, а самое главное — своею натуральностью, своею правдой, своею естественностью, нежели то мнение пророка, глашатая и постника (вегетарианский стол и прочие «опрошения»). И вышло это потому единственно, что один в тайне все молится *себе*, может быть, от преизбыточества гения, а другой, и считая себя *относительным*, — служит Неведомому Богу, который конкретно перед ним мелькает как *Родина, Земля, Суета* (даже).

Да, — Суворин поклонился *пыли*. Пыли как частицам, отделившимся ото всего в мире. Это был, пожалуй, пантеизм суеты. Но в этом пантеизме суеты есть кое-что и из христианского смирения. Тот же как-то невольно поклонился Одиночеству и Угрюмости; в которую если навести подозрную трубу в ее религиозную даль, то увидишь одну огненную букву: «я», «Я».

Вот в чем дело. Видел и свидетельствую. Много удивлялся и прихожу к этому заключению.

* * *

Совершенно исключительна была какая-то нежная любовь Суворина к Чехову. К другим он питал интерес; считал их полезными России и т. д. Из всех этих сложных отношений выделялась его любовь к Чехову как *личности* — и только; больше — к *личности*, чем к литератору, хотя он очень любил его и как литератора. Помню его встречавшим гроб Чехова в Петербурге: с палкой он как-то бегал (страшно быстро ходил), все браня нерасторопность дороги, неумелость подать вагон... Смотри на лицо и слыша его обрывающиеся слова, я точно видел отца, к которому везли труп ребенка, или труп обещающего юноши, безвременно умершего. Суворин никого и ничего не видел, ни на кого и ни на что не обращал внимания и только ждал, ждал... хотел, хотел... гроб!!

Удивительно. Мне кажется, если бы Антон Павлович сказал ему: «Пришла минута, нуждаюсь в квартире, столе, сапогах, покое и жене», — то Суворин бы сказал ему: «Располагайтесь во всем у меня». Буквально. Да я что-то такое и видел в кусочках, подсмотрел.

Чехова, в литературном мире давнем и новом, он больше всех любил.

* * *

Манера беседы — всегда одна: услышав (заглушаемые по ковру) шаги, он загибал голову... Сидел еще минуты две-три. Вставал, — и разговор был на ходу, взад и вперед по большому кабинету. Манера — величайшая живость... смех, тихий, небольшой, смех какой-то «в увлечении»... припоминания, факты, много фактов... факты в ответ на мысли, факты как аргумент мысли и пропедевтика к мысли. Он совершенно никогда *не рассуждал*, не делал умозаключений. Силлогизм был создан без Суворова и не для Суворина. За 12 лет я не помню ни единого его «суждения», ни разу не слышал слова «следовательно». И уверен, что слова «следовательно» не встречается нигде в его сочинениях. Что же это была за речь? Великолепие знаний, наблюдательности, «приглядывания к людям», сурового суждения людей. Он бывал суров:

— И сколько раз, когда они гнели (угнетали) меня, хотели закрыть мою газету, я говорил в себе: «Мерзавец! Я *умнее тебя*, и я *переживу тебя!*»

Со страшной силой удара в «умнее» и «переживу».

Я удивился. Никогда таким не видал его.

«— Звонок (телефон). Приказание: «Явиться в кабинет министра внутренних дел в восемь часов утра». Я старик: в восемь часов утра!!

...Вы поймете, что я не спал всю ночь. В восемь часов утра вхожу к Сипягину. Черный, гневный:

— *Это что такое?!!*

Подает *Приложение* к «Новому Времени».

Беру. Смотрю. И говорю: «Приложение за субботу» (или «среду», не помню в разговоре).

— А что *это*?!

Указывает на портрет.

— Портрет.

— *Почему вы его поместили?*

— Не знаю почему. Редактирует «Приложения» N. N., я их и не смотрю. (Прочел подпись.) — Да это же (такой-то принц или принцесса), должно быть, в связи со свадьбой поместили. Вообще — не знаю «почему», но, без сомнения, есть основание.

Долго смотрит на меня. Действительно убеждается, что я не знаю «почему», а злоумышления, очевидно, не было. Оказывается: с этим заграничным принцем была какая-то история, неприятная и для Петербурга, и Сипягин вообразил, что я поместил портрет его, чтобы оскорбить того-то и того-то, посмеяться над тем-то и тем-то.

Они вообще набитые дураки. В (таком-то) году, в подвальном этаже дома, где тогда помещалась редакция, отыскивали не то заговор, не то бомбы. Что вышло из этого!!! Министерство внутренних дел верить не хотело, что это без моего ведома, даже верить не хотело, чтобы я тут не принимал какого-то участия. Сколько мне стоило усилий развязаться с этим. Они вечно ищут впотьмах и хватают кого попало. Существование же газеты, в прежние времена, было так хрупко».

И он передавал много случаев: один раз только заступничество графа Дм. Ан. Толстого перед Государем Александром III спасло «Новое Время» от требования кар, чуть ли даже не закрытия, по настояниям берлинского правительства и германского посла в Петербурге. Толстой сказал Государю: «Я не нахожу возможным наложить на «Новое Время» никакой кары, потому что германский министр внутренних дел не налагает никаких кар на немецкие газеты (такие-то), тоже позволяющие себе неосторожные выражения по отношению к особе Вашего Величества».

Кажется, тогда был задет германский государь.

* * *

В суждения свои он влагал иногда нечто физиологическое:

– Витте, я слышал, преспокойно может забыть, что у него не переменены (за неделю, должно быть) носки, и проходит две недели в грязных носках. На себя и свою обстановку он не обращает никакого внимания.

Это было в общем разговоре (со многими), и он привел черту прыткости, беспокойного движения все вперед и вперед этого министра, где он забывает свой комфорт и удобства. Суворин привел это с большим одобрением и с натиском в мысли, что в движениях министра и должно быть нечто «головокружительное», «напролом», «на штурм, хотя бы без сапог». Что министр «сладкоежка» и любящий мягкие кресла – уже не деловой министр.

Кстати, сам Суворин в прежние годы ходил в сероватом пиджаке, довольно заношенном; последние годы – в пунцовом ватном халате, надетом на белье. Лучше бы – синий. Но это «как сшили».

Куда он ни отправлялся, ему в чемодан, в белье, клался образок. «Внимаешь белье и всегда найдешь этот незаметно вложенный образок», – говорил он мне как-то любяще и благодарно. Уверен, этот «образок» сыграл свое значение в том, что он вообще не любил, когда говорят против Церкви. Допускал на страницы своей газеты, – но этому молча не сочувствовал. «Русь как стоит – пусть стоит». Это в нем говорил и государственный крестьянин (дед), и воин (отец), и это осталось в журналисте.

Года четыре назад он сказал как-то мне:

– Как хороши *утра* в Петербурге. Эту зиму я встаю рано и выхожу гулять на Литейный. Попадается множество гимназистов и гимназисток: и бегут, бегут! Какие милые, здоровые, веселые лица.

Я почувствовал в тоне: «Хороша наша Россия, и врут те, что говорят, будто она гниет» (или опускается).

Как-то, вернувшись из Москвы, куда он ненадолго зачем-то ездил:

– Там носят *картузы*!! Москва ни о Петербурге, ни о всей России ничего знать не хочет и носит *картуз*, который, я помню, видал в юности своей, но вот уже лет тридцать ни на ком не вижу...

И он смеялся весело и одобрительно, и, как всегда, моментально увлекшись:

– Картуз! картуз! Что такое шляпа? Это – чужое, подражанье. Настоящая русская *шапка* – конечно, картуз...

О загранице:

– Приедешь в Россию: грязь, сор, вонь, неудобства. Проживешь недели две, махнешь рукой – «Ничего!» – привыкнешь и не чувствуешь.

Еще:

– Салтыков приехал из-за границы. Я поехал к нему узнать впечатление. Говорит: «Народу нет!» – «Как народу нет?!» – «Человека нет!» – «Как человека нет?!» – «Какие же это люди, – мелюзга! Нет большого, крупного человека. Народ пошел мелкий. Против нас куда же это?» И передал, что при всей нелюбви к жандармам он как доехал до границы – подошел к громадному жандарму на русской границе-станции и подарил ему три рубля, ничего не объясняя. «Потому что он большой». И Суворин заливался его прелестным, хочется сказать – детским, смехом.

После прочтения Менделеева «К познанию России»:

– Все мы жалуемся, каждый день, что ничего нам не удастся, во всем мы отстали. У Менделеева я перечел цифры возрастания территории России (и, кажется, цифры промыслов и населения): за мою жизнь, вот 50 лет, как я оглядываюсь сознательно, Россия до такой степени страшно выросла, увеличилась в землях и во всем, что едва веришь. Россия – страшно растет, а мы только этого не замечаем за хмуростью своей и «ежедневностью».

И мне показалось это отсветом многих дней и ночей, тысяч дней и ночей, – когда этот, по-видимому, «тихий старик» следил из Эртелева переулка:

– «Растем ли?» И даже – «Скоро ли?» И горевал, и радовался, и унывал, и надеялся.

Он был весь «в росте»: пожалуй, это его господствующая идея. Не «добро», не «нравственность», не «идеал совершенства»: а это физиологическое, солдатское и бабье, как бы брюхатой бабы, чувство:

– Больше! Больше ребят, больше хлеба! Больше всего: еды, довольства, движения, человеческих голов, земли, богатства, всего решительно!

Это – чувство хозяина; экономиста не «за книгами», а «в деле». Это есть то хлебное чувство роста, против которого никогда не выстоять худощавому «прогрессу», который тараторит слова о нем и, в то же время, как чахоточный кашляет от всякого движения Родины, злится на всякий успех ее.

Вне этого чувства «роста России» и *соотношения с ним* нельзя понять Суворина, и он не представим в самой фигуре своей, в ежедневности своей.

С этим я связываю одно замечание, почти под нос себе сказанное, — старого его сотрудника:

«Суворин *всегда был прогрессивен*... Как могут говорить о его ретроградности: до сих пор, до таких лет, он только и думает о прогрессе всего, решительно всего; думает об этом в подробностях, в частностях, в поименности, — а не в общих фразах, ни к чему не относящихся».

Это было глубоко верно. У «сотрудника» это сказалось как отложение 35 лет почти ежедневного видания Суворина; я же, знающий его полтора десятка лет и гораздо реже видя, схватил во внимание эти слова как прекрасное и полное определение. Сказано это было после юбилея Суворина, — когда везде печаталось, что «писатели не пришли к нему сказать доброе слово, потому что он *ретроград*». Нужно сказать, что и Суворин отнесся глубоко спокойно к этому «не пришли», и «сотрудник» сказал эти слова без всякого вида раздражения, а только в недоумении.

С «хлебным прогрессом», я думаю, связаны и такие его издания, как «Вся Россия», «Весь Петербург», «Вся Москва»: они с такой *необходимостью* вытекают из всего его отношения к России, из суммы его чувств к России. Ведь тут вовсе не «адресы»: *а указана, исчислена и переименована* вся торговая, промышленная, деятельная, *вся хозяйственная* Россия. А «быть хозяином», дышать «как хозяин» — это суть Суворина. В его изданиях показан каждый переплетчик и весь «переплетный промысел», каждый обойный мастер и все «обойное мастерство». Мне он передавал как-то затруднения и почти капкан, сделанный ему Департаментом торговли и мануфактур в деле издания «Всей России». Я не очень помню и даже тогда не очень понял; но помню эти слова: — «Ну, где же можно получить все эти *сведения*? — конечно, их имеет один только Департамент торговли, который обещал» и проч. и проч. «Я сделал уже огромные затраты, до 15 000 рублей, когда вдруг получается приказание: «Не выдавать сведений». «Я поехал», — туда-то, к тому-то. Интересно, что Департамент *торговли* ставил препятствия к изданию столь необходимого для *торговых людей* справочника. «Им что Россия», — слышалось в раздраженном тоне С-на...

Вообще нашу бюрократию, с ее вековым космополитическим духом, с ее черствым формальным либерализмом, — бюрократию, глухую ко всему русскому, ко всякой чести и славе России, даже к пользе и счастью России, он хорошо знал и никогда не переоценивал. Как-то он говорил мне о давнем желании своем издать учебник, кажется по истории, и вообще о желании издавать учебники: это так вытекало опять из «всего Суворина». И заключил ответом, какой услышал от Полубояринова (миллионер, издатель учебников):

- «— Оставьте, Алексей Сергеевич!
- Почему?
- Вы не знаете, не сумеете. Ну *что*, что вы напечатаете отличный учебник: его никто не купит, он не пойдет.
- Почему не «пойдет»?

- Потому что не будет «одобрен».
- Почему же, если он отличный?
- Все равно. Ведь нужно «провести одобрение», а вы этого не сумеете.

Не знаете ни лиц, ни ходов. Оставьте это дело *нам*. Как «проводить» — мы вам не скажем, сами же вы встретите «неожиданные препятствия», которых ни обойти, ни победить не сможете и не сумеете.

- Я должен был бросить дело».

«Прогресс в России» или «освобождение и свет в России» и заключается, конечно, в медленной и упорной, в стойкой и, наконец, победной борьбе с такими «заграждениями» на всяком шагу перед русским трудом и духом, перед русским человеком; заключается в медленном распутывании всех этих паутин, этого мочала около наших ног и рук. И вот эту-то борьбу десятки лет нес на своих плечах Суворин, чрезвычайно много сделал для нее своей могущественной газетой; и с таким грузом невидимых или мало видимых, нешумных, дел за спиной мог спокойно слушать, когда газетные и журнальные сороки стрекотали кругом его: «Суворин не либерал».

О знаменитом генерале, отправившемся «в поход Мальбрука» на Восток:

– Знаете, когда я перед самым его отправлением из Петербурга видел его последний раз, то, смотря на его тусклые глаза, при небольшом росте, подумал с тревогою: *он — тупой*. Так и вышло.

Он махнул рукой. Мне приходилось в редакционных кругах спрашивать, почему сам Суворин так его рекомендовал, на него указывал (за это *потом* многие упрекали Суворина). Мне отвечали очень основательно:

– Рекомендация, действительно, была ошибочна. Но скажите, кого бы *в то время перед войной* указали вы сами? Указать было некого; на виду, из недрах, был только он. И ореол Скобелева, около которого он когда-то стоял, — все как-то обмануло...

И все-таки у Суворина, по чисто физиологическому основанию (глаза), мелькнуло в последнюю, увы, слишком позднюю минуту: «он — *тупой*».

Помню, перед самым отплытием (или отъездом) на Восток у Суворина обедал и провел вечер тоже знаменитый и потом опозорившийся адмирал. За обедом он сидел рядом с умным Кладом. Тут я был опытнее Суворина:

- Знаешь, — сказал я жене, вернувшись домой, — он *трус*!

Не было никаких признаков: адмирал, еще почти молодой красавец, лет 40–50, был с виду «волк»... Но он все обращался (за обедом) к Кладу, державшему себя с достоинством, и было что-то неуловимо заискивающее в его речах, в живом и уже слишком подвижном голосе и манерах; как и потом было что-то «смахивающее муху» в рассказе о своем полуудавшемся подвиге на Дунае (в Турецкую кампанию). И неудержимое впечатление нравственной ничтожности, и именно с оттенком боязливости, легло на мою душу. Потом я встретил его на одном «состязании», где было множество публики и был Суворин. Вспомнив «прощальный обед», я удивленно спросил одного из друзей:

- Почему же они не здороваются?
- Алексей Сергеевич избегает встречаться с ним (или «избегает кланяться», «отворачивается» — не помню).

Мука войны прошла у Суворина как отвращение ко всем, виновным в поражениях; и следовательно, тут не было, в «рекомендациях», ни тени личного отношения, личной службы, личного угождения: потому что можно было и при «неудачах» как-нибудь оправдывать, оговаривать неудачи, «вызвolyть» дружка. Газета слишком подвижна и слишком могучее оружие, чтобы с помощью ее нельзя было оказывать поддержки и «человеку в несчастии». Но Суворин указывал, потому что *надеялся*: и когда «люди надежды» обманули Россию, в них все для Суворина умерло.

* * *

Разговоры на быстром ходу все ускорялись, — и у меня лежит в душе впечатление от них, как от дыма и искр, стелющихся за пароходом, когда он шумит на взморье «за границу». Так и в разговорах — «все вдаль» и «уносятся». Почему-то всегда наши слова перебивались смехом. Он много припоминал, рассказывал. О Воронеже, о Никитине и Де-Пуле, о первой «интеллигентной книжной лавке», которую завел Никитин и которая в то же время была вроде «клуба на ходу» для местной молодежи тех дней. В воспоминаниях его чувствовалась веселость и счастье. Впечатлительность Суворина была безмерная. Уже много лет его зная, начиналось думать: «А ведь он никому впечатлению *не отдается слепо*». Это очень позднее соображение и наблюдение: но, помню, первые годы знакомства я удивлялся: «Что же это за Суворин, — точно мальчик! Как подвижен, смеющ, и все искры, искры: где же *фундамент*?!!» Но фундамент был. Только Суворин его никогда не указывал, не паялился фундаментальностью и основательностью своих убеждений. Он был слишком для этого благороден, правдив и прост.

Через годы лишь знакомства, через какие-то побочные штрихи в разговорах я увидел, что у него есть великое молчание в душе — о России. Не помню ни одного случая, чтобы он *прямо* говорил о России, о качествах ли ее, об интересах. Ведь вся речь его была дробна и конкретна, а в конкретном он все как-то поругивал. Но замечалось, что все «поругиванья» имеют, однако, один склон: все клонилось к тому, все проистекало из того — «ах, зачем России не так хорошо, как *могло бы*». Я себе могу представить Суворина, пробирающегося, как тать, тоже в нестираных чулках, в темный чужой дом, где живет язвящее Россию существо, — и что он в сердце его ударяет ножом. Это я могу представить. Я уверен, что добрый, мягкий, уступчивый Суворин, так, по-видимому, рассыпающийся в речах, имел молчаливый, черный гнев на врага России, безымянного и темного, пожалуй неопределенного и неведомого, который грызет ее кровь и мозг. Где имя этому *врагу*? Где его *место*?.. Суворин не знал, не мог бы назвать одного имени. Но что вот гнев этот есть у него, я *через много лет* увидел, догадался...

То, о чем я говорю, никак не перешло на столбцы газеты. Те бури и гнев, которые там раздавались, — все лежали этажом ниже; все это были «конкретности» и «пустяки», «так» и «этак», один год и другой. Это был «глухой гром» за горизонтом, разные громы, с разных сторон горизонта. Суворин и больше любил, и больше гневался, чем как умел это передать в газете. Вообще, как ни сложно «Новое Время», Суворин *сам* был сложнее и разнообразнее его; был неуловимее его. Так называемые «колебания газеты» (мнимые) лишь отчасти и слабо выразили душу Суворина, всю сотканную из «муара», особенной материи, на которую глядишь «так», и она отливает иссиня, повернул иначе, и вдруг она кажется с пунцовым отливом, посмотрел «от света» — блестит как белая сталь, повернул к свету — и она черная, как вороново крыло. У Суворина была огромная, любящая душа; нет, великие деятельности — а он, конечно, был великим деятелем — не создаются из душ «так себе». Эта огромная душа не была рассмотрена за пылью, которая кругом его кружилась (существо газеты). Но она была, эта большая душа, в нем; и она была вся чистая, «сама в себе», одна и никогда никуда не подавалась.

Это — самая удивительная его особенность. Он казался весь податливым. В сущности — он был совершенно неподатлив. Говорил одно и другое. И — думал одно. В 12 лет близкого знакомства я видел его «во всех мнениях» и хорошо знаю, что вижу *того же* Суворина, *без йоты перемены*, как увидел в первый раз. В его «переменах» (кажущихся) был как бы закон этих перемен, все их объединявший и вводивший в одну формулу. Удивлялся я многим пометкам на его корректурах и всегда выводил одно: «Он хочет, чтобы ты не говорил ничего, кроме того, что у тебя на душе...» Это «у тебя на душе» могло быть враждебно Суворину, и он это пропускал, т. е. печатал то, с чем был не согласен. Напротив, бывало то, что «вполне согласно с газетою» и «мило самому Суворину» (знал по разговорам), но в тоне изложения ты допустил неправду против *собственной души*, сказал чрезмерно то, что по существу обыкновенно, и Суворин каким-то инстинктом это вычеркивал. Каким? В *слоге* он подмечал неправду: и не хотел никакой. Как-то мне случилось излишне патетично сказать об Александре II, — не помню, с семейной или религиозной стороны. В тоне было преувеличение и слащавость (кажется, просто в одном эпитете, т. е. в одном слове). Суворин написал сбоку карандашом: «О, Господи!» Это сейчас вернуло меня к трезвости, и место, конечно, было вычеркнуто (мною).

Это поразительное явление, что он не хотел «суворинской правды», сказанной не таким слогом («стиль — душа вещей»), и без малейшей в себе болезненности пропускал в свою газету то, с чем был вовсе не согласен ни по существу, ни для пользы России, если опять же по слогу («душа вещи») видел, что тут горит твоя индивидуальная душа. Это явление было прекрасно и благородно. Из крупных и памятных вещей приведу весь вопрос о разводе, который я много лет проводил в «Новом Времени». Суворин много о нем говорил со мной, и у него сочувствия к разводу не было. Он был к

этому спокоен или чуть-чуть даже враждебен. Уже потому враждебен, что это задевало Церковь, которую он любил по памяти матери-протоиерейши (о ней он много рассказывал). Но, видя, что это меня «очень забрало», да и убеждаемый (в разговорах) примерами, случаями, какие я ему рассказывал, он пропустил на страницах газеты многолетнюю борьбу за развод. Это один пример. Но есть и еще несколько, когда он пропускал целые «кампании» в своей газете, стоя далеко с ними не в согласии, потому что видел одушевление сотрудников, что они лезут в борьбу, в отстаивание или — в нападение. Старик улыбался благородной улыбкой и не говорил, а будто думал: «Что же, не я один умен. По мне, вы дураки и ничего не видите: но когда вы так хотите, то тут, может быть, Божий перст». Так вся «кампания» в пору аннексии Боснии и Герцеговины была проведена без его желания. «Германия есть самая основательная страна в Европе, и германцы — самые основательные люди в Европе. А мелкие разные народности и наши сердечные чувства к ним, то ведь что же это значит в истории и политике, которые прежде всего есть громада и вечность, ну не вечность — то века. Нельзя уходить от века, гоняясь за днем».

Так, помню, он говорил мне в кабинете. А внизу, в «редакции», шумели проклятия против Германии. Передаю, как это пронеслось около моего слуха.

* * *

Суворин старел и рос. Из таланта «Незнакомца», который весь горел и по молодости был полон своим «я», он вырос в мудрого и благородного старца, который понял, что «если жить для эгоизма, то вообще *не стоит жить*». Не интересно жить для славы, для богатства. Вся эта позолота «я» не дает настоящего удовлетворения. «Незнакомец» — Суворин, конечно, был бы богаче, много знатнее, а главное, был бы неизмеримо более прославлен, чем как все есть теперь. Если бы Суворин остался Чацким-«Незнакомцем», трудно передать тот ореол и значительность, какой бы он достиг. Каждая его острота повторялась бы стоустою печатью, и он пожал бы всю жатву прославления и денег, пошедшую в короб Горькому и Л. Андрееву, но только умноженную еще на силу первенствующей и европейской газеты. Вот этот-то миг, точнее, — тянущиеся 5—6 лет колебания и были святыми в жизни Суворина. Весь, по-видимому, «в изъяснениях» мыслей и чувств, он о самом главном в жизни и в душе был «вовсе без изъяснений». Кажущееся противоречие здесь — муар Суворина. Крестьянский и солдатский сын, он сказал в себе — «не изменю отцу и деду». «Не изменю, а стану вести крестьянскую соху, буду держать солдатское ружье, буду это — никому не говоря, не советуясь ни с женой, ни с сыном, и как бы меня ни судили». Вот этот миг созревания Суворина — был великий. Повторяю: слишком очевидно, что «Незнакомец» был бы втрое богаче и влиятельнее «Суворина». Но он из «Незнакомца» родился в «старца Суворина», чтобы запрячься в огромный и тяжелый воз, именуемый «Россиєю», — воз еще на неопределившейся дороге, в темноте, мраке, среди разбойников на дороге и в топкой грязи. Он, никогда

почти не упоминавший о «Бог» и «Христе», имел когда-то где-то тихую часовенку, в которой сложил в угол блестящие аксельбанты Герцена, просившиеся естественно на плечи «Незнакомца», и надел серую солдатскую шинель своего отца, чтобы идти в трудный и опасный поход, идти всюду, где пойдет Россия. Он пошел параллельным фланговым ходом около лошадей, везущих воз — правительство, — разглядывая еженощно путь (ночная работа газеты, эти вечные его корректуры ночью), понукая, не давая заснуть, ободряя, поддерживая. Давая пошла — усталому, стегая кнутом — ленивого, отгоняя вовсе — хищного или злого. Никто, конечно, не в силах указать, чтобы был хоть один случай, когда Суворин слился с «направлением лошадей и возницы, везущей воз» — слепо, мертво, не рассуждая. Никто не сможет указать, где бы он, *сознавая будущий вред*, — стоял за вредную меру для России. Суворин был зоркий человек, но меры предвидения и для него ограничены. Никто не знал, что Куропаткин окажется так неспособным, никто не мог предвидеть, что так окончится война с Японией; в те краткие, но сильные минуты, когда длилась революция, никто не думал, что она не будет в выигрыше. Суворин был совершенно *нравственно* прав, думая, что для будущего прироста населения в России не мешает земляца в Корею. Это — хищничество, но то, которое от Рима до Германии позволяли себе все государства. В эпоху революции я помню его слово. Он созвал всех сотрудников и поставил вопрос: с кем идти газете? Куда ей идти? Все ушли «в неведомую даль». Поднялись рассуждения, споры. Поднялись «следовательно». Вдруг Суворин, кажется вошедший в совещание (совещание было без его присутствия), сказал, что «неведомыми далями» нельзя отговариваться от тревожной минуты сейчас и сотрудники должны решить один конкретный вопрос, который лежит перед всеми русскими, перед целою Россией: становимся ли мы на сторону революции и будем добиваться учредительного собрания, или мы становимся на сторону правительства? Я, зная «муарчатость» Суворина, был поражен предложением столь конкретным, отчетливым, не смутным ни в одной букве. Вообще в великие минуты Суворин не знал колебаний. Сейчас — не помню решения, которое вынесли сотрудники. Хорошо помню, что все они, столь страстные и пылкие в других, более мелких случаях, здесь обнаруживали гораздо более Суворина неясности и колебаний. Всем хотелось «идти вперед» и с «ура»: но ответить, как спрашивал Суворин, становимся ли мы *на сторону революции и революционеров*, никто не решился. А вопрос был именно в определенном слове, в *одном слове*.

Всем также ясно, что ни в какие решительно годы «газета Суворина» не становилась на сторону безраздельно всего правительства, всех правительственных лиц; всем памятно и все знают, что количество жестокой критики, высыпаемой на правительственные мероприятия, всегда почти на правительственную вялость, неумелость и бесталанность, — превышало количество одобрений. А раз это *так* — не может быть никакой речи о «Суворине, идущем за правительством». Этого вообще никогда и не было. «Тон делает музыку»: и есть нечто неведомое «в кулуарах газеты», чтобы у кого-

нибудь когда-нибудь, у крупных или у второстепенных сотрудников, была хотя малейшая озабоченность о том, «не разойтись бы с правительством» или «как думает правительство». Хотя невероятно, но было так: никто не заботился и о том, «так ли думает Суворин». Установилось как метод и дух, что сотрудник должен писать то, что видит, что знает, — как думает. А уж там, «наверху» (в кабинете Суворина), или предварительно в одном из редакционных отделов, — отъежится то, что лишнее. Как я раньше объяснил, «лишним» оказывалось все неправдивое, все неискреннее, всякое преувеличение, грубость тона, слащавость тона; пороки души и никогда пороки политики.

Как известно, в финляндском вопросе происходили иногда колебания *целого* правительства. И вот я помню, опять же больше ухом, чем умом, фразу, темной ночью, внизу редакции: «Ну, прекрасно (был назван величайший авторитет в этом деле, «повернувший корабль»): он хочет так, а мы будем говорить свое». Слова эти, сказанные редактором постоянному по финляндским делам сотруднику, т. е. решавшие «кампанию» на эти месяцы, показывают абсолютную независимость газеты от правительства и правительственной политики, от какого бы авторитета эта политика ни исходила.

Еще одно обвинение, более забавное, чем серьезное, но которое необыкновенно часто повторяют: «А объявления?» Сокрушенно мне писал один врач с Петербургской стороны: «Писал Меншикову, писал Столыпину, теперь пишу вам: обратите же внимание редакции»... приблизительно на то, что много барышень ищут «приюта у одиноких» и что в Петербурге есть хорошенькие «натурщицы». Я ничего наивному врачу не ответил, но скажу однажды навсегда, что в городе с двухмиллионным населением, где сосредоточены все высшие учебные заведения и стоит гвардия, неотъемлемо есть и будут «натурщицы» и «по хозяйству», что это было еще во времена праотца Иакова и сынов его («блудница, сидевшая у ворот», которой Иуда «дал перстень») и что вообще это есть порок человечества, а не порок Суворина. «Но зачем объявления?» — Да затем и «объявления», что есть торг, есть унижительные и порочные социальные положения, социальные формы средств жизни, со своей нуждою «спроса» и «предложения»: и спорить против «объявлений» — значит спорить против пустяков, против бумажек напечатанных, а не против существа дела, которое непобедимо для пророков, мудрецов, для царей и законодательств. «Отчего Суворин не борется с тем, чего не может побороть Вильгельм германский?» — Понятно, «отчего». — «Но зачем же он пачкает газету?» А вы хотите, чтобы пачкались заборы объявлениями? Чтобы без «объявлений» натурщицы брали вас за рукав на улице и т. д.? Все это — просто глупо, и я бы не оспаривал этого, если бы оно так часто не повторялось. «Объявления» эти, впрочем, не играют никакой роли, не занимают никакого места во внимании редакции; и в финансах газеты, при громадной массе прочих объявлений, не играют также роли. Параллельно этим платным объявлениям всегда печатались в газете (при единоличном владении Суворина) многие объявления *бесплатно*, — о труде и от тружеников, между прочим от бедных учительниц и курсисток «по урокам». Если

бы дело было в денежной стороне порочных объявлений, то, для устранения порицаний, стоило бы редакции выбросить параллельно и блудные и «скорбещенские» объявления, и она, не потеряв ни одного рубля, избавилась бы от многолетних бешеных и язвящих укоров. Это — вообще. Но и прибавлю кое-что личное. Как писатель, я скажу: а разве не страшно любопытство — пробежать глазами столбцы этих объявлений, «самых тех, которые бесстыдны», и задуматься, и сообразить *по ним* клокочущую и мрачную панораму жизни, и ужасную, а порой — и трогательную («последний рубль — помогите, кто может!»). «Объявления в *Новом Времени*»... *Читайте их, читайте все, всякие:* пока гремят «передовики» и блестят в красноречии фельетонисты, — смотрите *подлинную жизнь* в этих «объявлениях», жизнь в ее ужасных «зобах», в ужасных восклицаниях, призывах к жалости, призывах к разврату и тысячекратно более в призывах к труду, в поисках должности, службы, работы. Какие это звуки и сколько под ними картин! Каждое объявление — что экран или ширма: им закрыта и через него просвечивает длинная повесть, длинный роман; просвечивает трагедия, просвечивает водевиль!

Ах, «объявления»... Они — *нужны*, и нужны — *в полноте*. Что там лакомиться кусочками действительности; мы — не дети.

Что «объявления» никого и никогда не ввели в соблазн — это ясно из существа «объявления». Оно говорит тому, кто его *смысл* понимает, кому этот «зов» нужен. И никого неведущего ни к чему не влечет. «Неведущим» смысл их даже непонятен.

* * *

Значение Суворина мало-помалу было разобрано где следует, и само собою установилось, что люди, тревожные в совести около великого «воза-России», стали искать его совета. Приблизительно в 1900 году, или около этого, он давал мне читать свой *отзыв*, напечатанный в единственном экземпляре, — не помню, в ответ ли на просьбу Витте или скорее — Плеве. Я помню, дело касалось *всех сторон* государственного управления и что по всем рубрикам Суворин сказал свое: «Нет *творчества*». Критика существующего была сурова. Через его «Записку» (страниц 30–40 небольшого книжного формата) была проведена мысль, что общество не может не волноваться и даже разные «инциденты» не могут не происходить, пока вся правительственная деятельность заключается в одной борьбе со студентами и курсистками, т. е. в отсутствии всякой собственно-государственной деятельности; ибо студенты — не Россия, а только студенты, забота о которых не есть забота о России. «*Дел правительства вообще никаких нет*»; «*правительство ничего не предпринимает*», «*правительство ничего не начинает*» — эти указания и укоры звучали во всяком абзаце. Вот такие «записки» Суворина, которые будут же разысканы в его архивах и когда-нибудь напечатаны, объяснят очень многое. Но в общем они объяснят то положение, какое создал сам себе Суворин: как бы негласного и невидимого министра же, к голосу которого, к *опыту* и *уму* которого хотелось прислушаться каждому министру, — мнение которого вообще хотелось

знать правительству, даже *нужно* было знать правительству; ибо для очень многих лиц легче было услышать что-нибудь между четырех глаз, нежели выслушать то же самое, едва ли даже всегда смягченное, перед миллионом глаз, и судящих и смеющихся. Можно говорить, или думать, догадываться, о зависимости – идейной или какой-нибудь «в оттенках», – правительственных лиц от Суворина, но ни о какой зависимости Суворина ни от всего правительства в целом, ни от отдельных его лиц, конечно, не может быть и речи.

Среди частностей на эту тему. Однажды он спустился вниз (в редакцию), но не нашел, кого искал, – и, случайно увидев меня, разговорился. Было после собрания 1-й Думы, несколько месяцев. Все шумело и горело. Никого в комнате, кроме нас двоих, не было (день, сравнительно рано). Опершись левой рукой на стол, как бы придерживая бумагу или «план истории», он сказал резко, скорее *при* мне, чем *ко* мне: «*Новое Время* всегда сюда и вело. Оно вело не прямо («муар» Суворина), оно передвигалось то *вправо*, то *влево*, но, передвигаясь, всегда имело в виду *эту самую* точку. И все пришли сюда, и Россия имеет то, что ей раньше или позже все равно пришлось бы дать». – И он чертил пальцем правой руки *ломаную линию* – все подвигавшуюся выше и выше на столе.

Еще раньше этого (до *объявления* о Думе), очень резко:

– Я буду требовать Земского Собора и *далее этого не пойду* (т. е. в революции). Если пойдут или захотят идти и дальше, пусть идут. Но *мое* требование – *не меньше Собора*. Дальше, я думаю, идти не нужно.

Не понимаю, как все это назвать – «консерватизмом» или «подпеванием» кому бы то ни было.

Он весь был *сам и целый*. Он знал свой ум. Таланта – его удивительно по *разнообразию* входящих составных частиц таланта – «хватило бы на все». И он тоже это знал. Наконец, он знал, что у него есть то, чего не хватает слишком многим «правительственным лицам»: великое чувство России, чувство Матери, которую разрубить нельзя, которую нельзя судить.

* * *

Портреты Суворина, решительно все, не передают совершенно его лица, и потому именно, что не *передают разговора*: а Суворин был «весь в речи» и ничего – «в позе». «Суворина говорящего», – и так экспромтами, с тихим веселым смехом (нельзя представить его себе *расхохотавшимся*) и всегда в увлечении – естественно нельзя выразить в фотографии; хотя, я думаю, мог бы передать его хороший и *долго знавший* художник. Единственный портрет *схожий* – это *исчезающего* Суворина, навеки умолкнувшего, во Франкфурте-на-Майне (приложен здесь).

Тут – нет обмана. Все прочие портреты, я думаю, *неестественны*: до такой степени, что я, например, стараюсь не смотреть на них, если случайно встретит глаз на листе газеты. «Это вовсе не *то* и не *тот*». И объясняется тем, что всякий раз Суворину приходилось «усаживаться» перед пластинкой и хоть минут на пять (приготовления) остаться неподвижным: это



А вот Н. Ганс, лорд, и
в саду, в саду зной.

до того выходило «из рамок Суворина», что он естественно скисал, делался моментально нетерпелив и «не в духе». Тогда как «не в духе» я его вовсе не помню, и едва ли он бывал, — разве что в инфлюэнце. И можно смеяться сказать, что все его портреты — «с инфлюэнцей».

Но есть один не «с инфлюэнцей», как и бывало одно положение в нем, когда он «держался» и «сидел»: это когда сидел перед министром. Сюда, я думаю, относится большая фотография, в черном сюртуке, где он весь осторожный и напряженный. Таким я его никогда не видел, — но представляю, что именно таким он входил к министру, как и бывал на разных «больших заседаниях», куда, я знаю, бывал приглашаем. Правый его глаз тут совсем не такой, как левый: он весь сожмурен и черен, недоверяющий и презрителен, — глаз весь в борьбе, и хищной борьбе. Он твердо знал, что сам он — не «момент» и что не во власти никакого человека — превратить его в «момент»; напротив, каждый министр есть по существу своему «момент» и цветет, лишь пока на него любят. Эта разница в долговечности и в точке опоры («сам» и «другой») сообщала ему, как сообщает и каждому писателю, чувство огромного своего превосходства и прямо властительности*. Но «на этот час», на этот «недолгий век твой» — «я от тебя завишу», однако лишь настолько, насколько «пренебрег бы быть осторожным». Тут есть качание властей, моментальной и очень сильной и — бессильной в данный момент, но зато долговечной. Но и не это одно: при «неосторожности» министр, конечно, может причинить бедну неприятностей газете, «истрепать ее нервы» и сделать большие денежные убытки, хотя отнюдь не фатальные при том положении, какое заняло, напр., «Новое Время». Но ущерб в несколько десятков тысяч рублей не составлял «кровоточивой раны» для «Нового Времени». Взамен этого, совершенно легально и не подвергаясь ни малейшему риску, газета такого положения, как «Новое Время», может надеть величайших неприятностей всякому «Ведомству» и отравить министру «час его цветения». Есть тончайшие иголки, которые мучительно колются и которые по тонкости и гибкости своей непреломляемы ни для какой власти. «Щедрин весь прошел» (цензурно), и тоже «Гоголь весь прошел»: этим все сказано. Человек такого гибкого ума и неуловимого в тонах пера, как Суворин, конечно, был большою угрозой для всякого сановника, приемлющего власть и о «распоряжениях» которого он будет «почтительнейше докладывать публике» каждый день.

И вот, мне кажется, этот «черный с провалом» глаз Суворина, на том парадном портрете, выражает это недоверчиво-неприятное осматривание друг друга, когда он сживал в «кресле vis-à-vis». Таких речей, без со-

* Служа при Третье Иване Филиппове и находясь у него «весь в руке», помню, — я, тогда еще начинающий писатель, при личных разговорах всегда чувствовал, что «я массу могу», чего «ты совершенно не можешь»; и это дает, при всем неравенстве служебных отношений, прямо осознание своей власти писателю. Это невольно и безотчетно, это просто «есть в кармане». У Суворина, при своей газете, и такой газете, каждый звук которой слышен всей России и значительной части Европы, — понятно, что такое чувство своей власти в разговоре с министрами — было огромно.

мнения осторожных, я от него никогда не слышал. Напротив, он весь был «в неосторожности», со мною и, кажется, вообще в редакции. Но бывал и осторожен: и портрет *этот* дает о таких минутах и часах понятие.

* * *

Вытянув губы, весь хмурый, темный, Суворин сказал мне:

– Ничего нельзя печатать. Сипягин рвет и мечет и только ждет придирки, чтобы закрыть «Новое Время».

Я, полушутя и уклончиво, просил Суворина провести какую-то «с риском» статью о церкви. Слова эти и значили: «Нет».

– Что он, умен или как?

В большие подробности политики я не входил.

Рассмеялся:

– Он находит, что до него русские министры были чиновниками, а он хочет быть «боярином». Не понимаю, что из этого выйдет и почему это понадобилось России.

* * *

Все шумело о Трепове («Звездная палата»):

– Да *кто* он и *что*? – спрашиваю.

– Понятия не имею, и никто не знает.

– Должно быть, – умен!!! (утвердительно).

– Нет. По крайней мере – не говорят. Ничего определенного, как-то появился вдруг. Я спрашивал Витте. Он сказал: «Тоже не знаю». Но припомнил только, как на похоронах Александра III было пасмурно, он (Витте) стоял около эскадрона. Солдаты приопустились, и тогда офицер, оглянув строй, скомандовал:

– Смотри веселей!!!

«Это был Трепов», – договорил Витте: Суворин смеялся тихим смехом («веселей» на похоронах).

* * *

И люди, и исторические положения вообще не имеют полных аналогий, а только приблизительные. В природе и во всем органическом, живом – нет повторений, все живет особо. Но когда думаешь о крошечной крестьянской избе, крытой соломой, где родился Суворин, – и думаешь, как он пришел из воронежского городка на север, вовсе безвестный, вовсе маленький, – и все, что он потом сделал, статьями, газетою, бесчисленными изданиями полезнейших книг, то невольно навертывается на ум аналогия с Ломоносовым, – с одной стороны, и Новиковым – с другой. Есть сходство здесь и там. Ученые были и до Ломоносова: был учен Феофан Прокопович, был очень учен и Тредьяковский или Татищев. Но повелось говорить: «*Науку* начал у нас Ломоносов». Также и журналы у нас были, и очень много книг до Новикова. Был «С.-Петербургский Вестник» Сумарокова, ученые «Ежемесячные со-

чинения» академика Миллера. Но Новиков первый *зашумел журналами*, он бросал в Россию *потоки* книг. Суворин в необыкновенном разнообразии его деятельностей, как прямых, так и вспомогательных, — был *Ломоносовым русской ежедневной прессы*; тут — и театр, тут — и газета, и «Маленькая Библиотека», и календарь, и магазины. К чему ему было *столько*? К чему, например, магазин редактору? Все *неволью* у него *закруглялось* в целое, *закруглялось* в *обобщенность*; без «календаря», все «по дням» и все «со справками», какой же журналист? Он сам едва ли знал, *почему*, собственно, то или иное начинает: а нужно было. И нужна «Вся Москва». «Весь Петербург», «Вся Россия». Все — «само собой», все — природа, великая «природа» журналиста, сложная, как лес, дремучая, как лес, мудрая, как лес.

* * *

Только участвуя в «Новом Времени», — и участвуя параллельно или в другие годы в разных *других* газетах и журналах, можно понять, что такое эта газета. «Так...», кажется, «стоят на углу газетчики и продают разные газеты», между ними и «Новое Время», и «Листок», «Голос», «Слово». — Как-то мне сказала одна бедная и деятельная благотворительница: «Пожалуйста, напишите в *Новом Времени* заметку о приюте-школе, устроенном мною на Васильевском острове для уличных, всеми брошенных детей». Тогда этого я не умел; и в великом затруднении сказал, почему ей, филантропке, у которой даром учат и воспитывают детей курсистки из бестужевки, а молоко и хлеб откуда-то собирает она из лавок, — отчего ей не обратиться в другие газеты? Совсем отказал. Она печально задумалась и сказала: «Да, но *это* — *совсем не то...*» Я ссылаясь, что «Новое Время», за множеством материала и теснотой в газете, не даст напечатать более 15 строк (этого-то, т. е. так *кратко*, я и не умел), тогда как в «Биржевых», в «С.-Петербургских Ведомостях» можно поместить большую и, следовательно, серьезную статью. Чуть ли я и не готов был поместить *там* обстоятельную статью. «Я уже испытала это. Большая статья в другой газете, как бы сочувственна она ни была, в материальном смысле ничего не даст или даст кой-что. Но в *Новом Времени*, если появится заметка в 5–6–10 строк: отовсюду начинается движение, шлют деньги, вещи, спрашивают, интересуются, пишут письма». Я был удивлен. Не предполагал этого. Но затем, «публицистичная», и сам испытал. Вот, например, тема развода. Вы написали фельетон, два, три, — вы подняли «целую кампанию» в другой газете, притом с 100 000-ной подпиской. Ничего. Литераторы читают. Одобряют. Читает купец, приказчик. Тоже одобряют. Шлют письма, сочувствующие и безграмотные. Что же получилось? Все читают, но ничего не получилось. Ваши произведения раздались «сердечным аккордом», на которые тоже отдались «сердечным аккордом», и это еще в лучшем, самом благоприятном случае. Но это музыка, а не жизнь. Между тем кровавое и слезное дело развода, конечно, требует не «музыки о себе», а ищет рычага, на который бы опереться; требует лома, требует *материального движения*, говоря словами механики. Теперь я говорю о том, что мне лично известно: тогда же, еще путешествуя в Крыму и увидев там душевнобольного (как стран-

но!) лебеда, я написал «О непорочной семье и ее главном условии» (разводе): но, чувствуя странность сочетания лебедей и развода, не решался отдать в печатание. Думал, странно покажется читателю и публике. В то время «исправлял обязанности» (это — по очереди) Алек. Алек. С-н: и как-то, кончив разговор, я вынул из бокового кармана рукопись и вяло отдал ему. Ни на что не надеялся. Через 2 дня напечатано: и по всей печати пошел такой шум, а затем — митрополит, а затем еще — все попы, и власть, и администрация Церкви, — все затревожились и встретили (первые месяцы и даже года два) такой пальбой «против», что не было никакого сомнения, что «дело сделано». Оно «сделано» было тем, что «поднято к общему вниманию». *Кого? Чьего? Всех*, и, под давлением «всех», — к «вниманию» тех, кто *делает жизнь*. Уже не «кто *делает музыку*», а «кто *жизнь делает*». Это один пример. Но также — школа. Также — классическая система. Церковь. Духовенство, что угодно. Должно быть, — война, походы. Инженерство. Мосты. Нефть. «Непорядки в водопроводе» и «наша скверная управа». Я не знаю дел, вне моей точки зрения лежащих, но в *тех нескольких линиях*, в каких пишу, писал, — неизменно испытывал то же, что мне сказала, и тогда я едва верил, благотворительница: «Несколько, 5–6, строк в «Новом Времени» играют больше роли, чем столбцы в других газетах».

Чем же это достигнуто? Отнюдь не числом подписчиков, так как есть более распространенные, нежели «Новое Время», газеты: но вот *35 лет* уже, как «Новое Время» сделало своими читателями все *видное в России*, в *каком бы отношении* оно ни было «видно»; все в ней *сильное*, все в ней *влиятельное*, все в ней образованное и *реально идущее вперед*, все в ней что-нибудь *задумывающее, предпринимающее и решающее*. Этого «подписчика», раз им сделался человек 35 лет назад тому или менее (кто моложе), решительно нигде еще достать другим газетам, и просто потому, что он «уже читает *Новое Время*». Таким образом, так рано, как можно было (1/3 века тому назад), «Новое Время» получило в свои читатели все высшее, одухотворенное и нервное общество и всю в нем реальную силу, ведущую силу; овладело «паром» и «колесом» парохода, оставив другим «винтики», «шлюпки», «мебель кают», «лакировку» палуб того же парохода: каковых «вещей» естественно больше, чем паровик и печь, да что в том дела? И изменить этого нельзя: в том ужас газет. *Уже 35 лет!!!* Нужно, чтобы «Новое Время» обидиотилось. Чтобы оно вдруг «побежало за декадентами»*.

* Лично А. С. Суворин не относился отрицательно к «целому» декадентству, — и мне иногда говаривал, отчего я не возьмусь выяснить новое и интересное в нем. Ему нравилось в декадентстве *молодость, движение и жизнь*. Нравился смех и драки (полемика). Но он не принимал на себя бороться со всею редакцией, бывшей крайне враждебной к декадентам. Равно я знаю из одного разговора с ним, что ему нравился Максим Горький, и он сочувственно говорил о его живой и *новой личности* в литературе, и сочувствовал всему подымавшемуся около него движению. «Бывало, прочтешь вещь Горького и чувствуешь, что тебя поднимает со стула, что прежняя дремота невозможна, что что-то *нужно делать!* И это «*нужно делать*» в его сочинениях — было нужно» (слова А. С. С-на).

Вдруг начало «со всею печатью» славить Леонида Андреева. Но в том и секрет: «печать-то», и притом без какого-либо исключения, «пела хвалу Андрееву», но *ведущие вперед Россию силы* столь же «понятно» не придавали никакого значения Андрееву. И когда после десятка лет «дрыгання ногами в воздухе» Л. Андреев повис в нем, как мертвец, — все увидели, что было право только «Новое Время». Точнее: увидели то огромное достоинство, с которым оно не поддавалось всеобщему увлечению явно глупым явлением. Вот здесь одна из причин, почему «Новое Время» читается всем серьезным, а потому и оценка его донельзя нужна всякому серьезному человеку, даже такому человеку, который «по убеждениям» смертельно с ним расходится: огромная самостоятельность и независимость газеты в мнениях, огромная гордость в мнениях и совершенная невозможность «купить» это мнение взаимными комплиментами, деньгами, ухаживаньем, чем угодно, и в том числе «общим приговором». И это ничего, что там «шутит об актрисах» Беляев, еще кто-то пишет почти неприличный «Маленький фельетон» или вдруг раздражается почти скандал в «Письмах в редакцию». Все это побочное. Все это не пар и не колесо. «Без маленького неприличия какой же №?» И если нет «веселой шутки» — то «читатель заснет от скуки». Все целесообразно — и скандал, и шутка — введено в газету, чтобы она была «общераспространенною», «первою по величине, живости и подписке»: дабы «колесо и пар» работало над *грузом*, а не над пустяками. Итак, «груз» есть: он приобретен «Маленьким фельетоном»; и когда на этот громадный груженный корабль взбирается человек, чтобы сказать *дело*, сказать *скорбь*, сказать *нужду*, то он и получает в громаде корабля, в громаде всего движения около него, то *внимание*, тот *особый*, тот *деловой резонанс*, какого он никогда не мог бы получить, говоря ли со страниц малообразованной распространенной газеты или засушенного академического органа печати. Таким образом, сочетание «Юрия Беляева» и, положим, «Водовоза Водовозовича», рассуждения о смерти и бессмертии и, положим, «кто упал с трапеции в цирке», — совершенно целесообразно, необходимо, удачно и могущественно. А так как «Новое Время» «всеми читается», — не только 100 000 дворниками, как некоторые очень распространенные газеты, но «всею Россиею в деле», то мне опять же известно, до какой степени серьезнейшими людьми, людьми огромного и теоретического и практического значения, искалось сказать свое слово со столбцов именно «Нового Времени». Ну, вот пример: передает мне рукопись редактор: «Ваша тема, посмотрите». Читаю: о баптистах, тогда шумевших на всю Россию, ректора одной из духовных академий, т. е., во-первых, архиерея и, во-вторых, ученого. Предмет 1) живой, автор — 2) известный авторитет. Конечно, рекомендую. Не печатается. Не печатается дни, недели. Спрашиваю: «Что? Отчего?» — «Да ведь — это *величина фельетона*, куда же тут?» Лицо «со стороны» не может поместить более 200 и самое большее 300 строк, какая бы подпись под статьей ни стояла, каким бы весом ни пользовалось лицо в администрации, каков бы ни был его ученый авторитет. Шутка, веселое, талантливый

рассказ — да, пройдет в 1000 строк (однако не более), ибо увеличивает груз (обширность волнения вокруг) и ничему *серьезному и нужному не помешает назавтра*. Но если статья неуклюжа и корява, если это замаскированный «служебный доклад» (выражение глав редакции о многих манускриптах) — все подобное отстраняется, несмотря на подпись. Ибо 2–3 таких «доклада» в 2–3 дня подряд — и газета начнет тонуть (скука «вообще читателя», — сокращается волнение, сокращается *обширность читающего мира*). Если принять во внимание, что, вследствие дороговизны бумаги и массы бумаги в каждом номере, каждый «годовой экземпляр газеты дает *два рубля убытку*» (т. е. каждому годовому подписчику редакция дает то, что себе *стоит на два рубля дороже**), то, явно, в этот отказ «томительно-деловым статьям с важными подписями» не входит ни малейший денежный расчет, а только общий план газеты и *то самое особенное значение, какое ей дано*. Значение это: 1) обширнейший круг читателей, вся образованная Россия, 2) возможность этой «всей России» сказать ценное, исторически значащее слово, но непременно *кратко, ясно, литературно-талантливо*, по крайней мере *литературно-не-худо* (ученые сплошь и рядом совершенно не умеют литературно писать).

Ничего — *специального*, ничего — *частного*, ничего — *личного*, ничего — *особенного и партийного*; все — для *всей России*, для *Целой России*, обобщенно — что «требуется народу и государству», требуется «русской истории, как она *сейчас живо совершается*»: вот лозунг и молчаливо принятый всеми сотрудниками маршрут. Это (в газете) в редакции «то, что само собою разумеется» и о чем «никто не говорит, потому что все знают». Отсюда почти несносность, с какою газета, например, вынесла всю мою полемику со Струве: «В. В., пощадите, кому это нужно? Вам и Струве?» Это было «злоупотреблением места», т. е. отнятием столбцов «просто ни для чего». Ответ мой Пешехонову («Социал-демократическим сутенерам»), наделавший мне столько бед в печати, прошел (по газетной терминологии) как «затычка». Написав сгоряча и послав в типографию, я все ленился день за днем подойти к телефону и сказать метранпажу «разобрать». Просто — кейфовал, отдыхал, кончив полемику со Струве. Вдруг за кофе дочь говорит: «П...ка, что же вы это написали?» — «Что?» — «Пешехонову. И не хорошо. Да и съедят вас». Я схватился. Напечатано. Прихожу в редакцию. «Почему напечатали?» — «Да вы же не разобрали, а в наборе стояло. Было ночью пустых 1/2 столбца, большие статьи не вошли бы, и пустили вашу маленькую». То, что называется «затычка». Потом — громы, ругань; ругань и редакции, Сувориных — поименно; показываю редакторам, и молодым, и старым. «Да ну их...», и не читают. «Никакого значения, никакого дела, и не хотим читать». По смерти Каткова профессор Любимов написал в книге, что «в редакции был прием — *скрывать от Михаила Никифоровича злые печатные о нем выходки*». Помню отчетливо, что, ради пропуска ста-

* Это возмещается только объявлениями.

тей (моих) в ответ Струве, я показывал редактору слова Струве «против газеты Суворина». Я думал: «Заденет — и дадут место». Но ни старик Суворин, ни молодой *не стали читать* и «дали место» по всегдашней ко мне любезности. «Ну, хорошо, пишите, — вы всегда *пишете хорошо* (не уменьшает воза), а что он говорит — дела (нам) нет». Еще пример: евреи, вероятно, думают, что «Новое Время» только и думает о них. Входит как-то ко мне еврей, ученый (он показал мне свое имя в «Энциклопедическом словаре», — о нем почти столбец), и говорит, что, в силу тяжелого преследования, какому его (за одну услугу русскому учреждению) подвергли «свои», он решил им отплатить, разоблачив некоторые ужасные еврейские тайны. Еврей этот, уже пожилой, производил впечатление тихого кабинетного ученого. В то время печаталась моя «Иудейская тайнопись». Эту «тайнопись» я вел к обрезанию и, всегда им интересуясь, заговорил о нем и вообще об еврейской ритуальности. Но, как и Переферкович (переводчик на русский язык Талмуда), он ничего в нем (обрезании) не понимал; понимал не более, чем, напр., Белинский или Кавелин — в православии. Как и Переферкович в юдаизме определенно и ясно глуп («Кавелин в православии»), так и этот еврей был определенно и ясно «бессмыслен», «бездумен» в «Авраамах», «Ривках», во всей толще этой мглы и многозначительности. «Обрезание установилось в гигиенических целях и было кроме евреев еще у кафров», а «Иегова — просто дурак» (приблизительно, я немножко шучу и преувеличиваю). Я оставил. Но меня тронул (как трогал и у Переферковича) этот тихий и милый вид ученого, как бы сидящего на горе манускриптов и книг, который натывается на стулья, ничего не помнит и точно живым видит своего «Маймонида». Спросил о подозрении касательно ритуальных убийств (тогда все говорили об этом). Он сказал: «Ритуальных убийств, безусловно, нет». (Помолчав): «Но в юдаизме есть *ужасные вещи*, которые если разоблачить — то они гораздо *хуже, тяжелее* ритуальных убийств». Очевидно, однако, «разоблачения» должны были быть долгие, «документальные», «с цитатами», — и я, сказав, что сейчас мне некогда, записал его адрес и сказал, что ему напишу в досужую минуту или приеду к нему сам (пожилой и почтенный человек). Прощаясь, он сказал:

— Я был уже у г-на Столыпина и (кажется) Меншикова, и они тоже сказали, что «потом». Я удивляюсь: «Новое» же «Время» антисемитическая газета, и я естественно иду туда с моим гневом и мстью; но меня никто и выслушать не хочет.

Я улыбнулся: и мне показалось удивительным. Оно и действительно удивительно, — и соткало еще ниточку, которая привязывает мою душу и уважение к этой газете: «Да, — *ничего специального!*» — и вовсе никакой нет *ненависти* даже к людям, партиям, течениям, направлениям, смертельно враждебным самому «Новому Времени». Об евреях на столбцах газеты просто говорят шутки, и говорят о том очевидном для всех вреде, какой они наносят России и русским своим жадным стремлением захватить в свои

руки все*. И только. Но это одна из тысячи «вредных вещей», какие есть в России, и только евреям кажется (с перепугу и нервности), что «Новое Время» денно и ночью думает их утопить, а на самом деле «Новое Время» и думать о них забыло, ни малейше им не членовредительствует и только с шуткой не отказывает тому сотруднику, который принесет 99-ю статью, где опять высмеиваются «лапсердак и пейсы». То же самое отношение к социал-демократам. Я сам писал несколько передовых (без подписи) статей, где с уважением говорил о «левой бедности», — «точущей зубы» (о кадетях никогда не говорил с уважением в статьях без подписи): и никакого не было возражения в редакции, редакция и сама знает, что в «левом зубе» есть много правды, а главное — есть почва для борьбы, гнева и мести. Но «левые» часто бывают дураками. И тоже напишешь, без подписи или с подписью, в этом духе: и редакция опять пропускает. *Индифферентизм ли это?* Ни — малейше!! Редактор думает совершенно как и я, а я думаю совершенно как и редакция, что «левые» бывают часто дураками — но это *одно*, и что в них есть правда и основательность — и это *другое*, и также должно быть отмечено. Суворин, когда арестовали социал-демократов 2-й Думы, не «подпевал правительству», а сказал в «Маленьком письме» лучшее похвальное слово их вождю, Церетели: сказал, что как он произнес с кафедры лучшее слово при открытии Думы (2-й), так теперь он пропел лебединую песню ей и один сказал мужественно и правдиво то, около чего другие виляли и вращались. Церетели же говорил: «Да, мы пытались возмутить народ против правительства, такого-то и такого-то, и нам нечего скрывать этого, потому что это наша гордость и девиз». Я был — помню — удивлен, прочитав эту прямо лирику в отношении Церетели. Действительно, Церетели был почти мальчик (по образованию и годам), но давал удивительно благородное впечатление и как живое лицо (в Думе), и как оратор. Вот вам и «изменивший себе Незнакомец»: конечно, ни К. Арсеньев, ни Изгоев, ни Рубакин, ни Струве ничего не почувствовали к Церетели, — и в защиту его, и в память его не промямлили никакого слова, не только хорошего, но и плохого. «Забыли в неочередный момент». Не забыл один Суворин, видите ли, «прихвостень

* Однажды мне Суворин (А. С.) сказал: «Гостиный Двор в Петербурге еще на моей памяти состоял из голландских и русских лавок, и даже немцев почти не было. Теперь немцев словно нет, русских — половина лавок, а другая половина — еврейские». Вот — и вся вражда, и только. Случайно узнав, что в доме Суворина живет одна еврейка, когда-то дававшая уроки музыки в его семье, я подошел и, смеясь, сказал ему: «А. С., у вас живет еврейка!» Она небольшого роста, он — высокого. Взяв ее за плечи, всю весело смеющуюся (она всегда смеется), он прижал ее к себе и весело сказал: «Я ужасно ее люблю. Она такая милая!» Это было среди большого собрания гостей. И столько было *отцовского* и *любящего* в его голосе, что я был поражен. Таким образом, ни в нем, ни в газете «антисемитизма» никакого решительно нет, а есть — дело, есть — очевидность, и именно «захвата» русского в России. Если бы евреи немножко были поумнее, если б они не были в печати лишь бессильными крикунами и безличными писаками, то не приняли бы в отношении «Нов. Вр.» той пошлой и безнадежной позиции, какую теперь занимают.

правительства», «заискивающий у власти», в газете «Чего изволите» и «кабаке» или «кафешантане». Но Суворин есть именно Суворин, а Изгоев-Струве-Арсеньев-Рубакин суть именно Изгоев-Струве-Арсеньев-Рубакин: мелкие не столько умы, как *мелкие души*, а мелкой душе прежде всего чуждо *благородство, великодушие и справедливость*. Никогда Суворин не переставал жать руку врагу, когда в отношении собственных его тем он видел у него благородство. Что такое Лев Толстой и что такое Церетели? Один такой «мирный», а другой — революционер: но от Суворина я слышал истинно негодующие слова о Толстом за то, что колеблет Россию, «не прощающие», — и по мотиву понятному, ибо Толстой уже старик; а о Церетели он не только не сказал ни одного порицательного слова (например, устно бы), но проговорил с любовью, почти с нежным чувством, как мог бы проговорить отец о погибшем, заблудившемся сыне, ибо он был еще юноша и его «глупости» нельзя было ему поставить «в строку». А Церетели был революционер и хотел «все низвергнуть». Но он сказал хвалу революционеру не как «Незнакомец», вторя тону Герцена, а вот как «трудовой солдат» около Руси. «Бедный юноша — ты погиб, и все, что ты делал, — было глупости. Но ты не мог этого видеть именно по юности. Ты умер как герой и с сердцем героическим... Мы все можем заблуждаться в мысли, и заблуждаюсь я в другом, как ты тоже заблуждался в другом. Но наш всех долг — до конца верить в себя и говорить правду, как кто ее понимает. Эту-то *честь человека* никто не отнимет от тебя. И был ли ты врагом или не врагом Родины — никто не вправе лишить тебя триумфа похорон». Вот отношение. Это не «браво! браво, Церетели!», пока он громил Столыпина (ответ его на первую речь премьер-министра), и — «всеми забыт», когда речи кончились и он пошел в тюрьму. Это отсутствие аплодисментов тогда, «в апогее», и скорбное сожаление и похвала, когда он повернул к миру арестантский халат, — это и есть настоящее отношение настоящего человека, отношение и отца, отношение и гражданина. Оно не только лучше и полнее «Незнакомца», оно неизмеримо его благороднее. В собственном смысле, конечно, никакого «перелома» не было в Суворине*, он был все *тем же* и все *таким же*. Но он неизмеримо против «Незнакомца» улучшился, — улучшился против его односторонности, против его капризов молодости, против его дурачеств молодости, «игры таланта» и прочих ярких, но малоценных (нравственно) вещей. Ему захотелось отдохнуть душой в подвиге. Ему захотелось выкупаться в свежей воде труда, терпения, медленного подымания вперед самого дела, а не своей личности; он кончил «каникулярные дни» *Незнакомца* и принялся за «учебный год» сурового, ответственного ученика ли, учителя ли. Этот «второй Суворин», выросший из «первого Суворина», залил его всеобъемлемостью, многообразием, умом, но главное — он залил его благо-

* Дурак Рубакин пишет: «Суворин до перемены убеждений», «Суворин после перемены убеждений». Конечно, сам Рубакин никаких решительно убеждений не ломал и никогда не имел и не имеет.

родством вот этого не мальчишеского, а отцовского, не бунтующего, а служебного отношения к вещам, к лицам, ко всему. «Жить – значит *служить*», и Бог – служит миру, а все люди – служат друг другу, и мы – служим России, а Россия – служит всем. В этих «службах» и их узоре есть ошибки, и избежать их никому не дано: однако важно, и это *одно важно*, чтобы не утрачивалась идея самой «службы», чтобы она не исчезала из мира, ибо без нее мир погибнет в бесчестности. Вот в эту-то «честность» Суворин и вошел, выйдя из «Незнакомца»: он принял бесчисленные оскорбления, принял лютой вой всей печати на себя, принял комки грязи, полетевшие на него от безумной и обманутой молодежи (если только не *павшей молодежи*), заслонив от уймы подлости и пошлости больное тело России. Раны Суворина – раны телохранителя России. Позор Суворина (в печати) – это как мать «берет на себя грех дочери» и несет его молча. Эта сторона Суворина, это его терпение, эта его нерастерянность в труднейшие минуты, это его спокойное господство умом над обстоятельствами и при всем том сохраненная доброта, незлобивость, безмстительность (я бы ни за что многое не простил) – удивительны. «Незнакомец» – мальчик. Талантливый. Остроумный. Но ведь это – *ничто*. Ведь все дело – в *серьезности*. Ведь жизнь же, наконец, серьезна, господа! Но вот, подите: «пусть серьезным остается правительство, ибо оно *бездарно*, – а мы, *талантливые люди*, покутим!»...

Вдруг от «талантливых людей» отделился талантливый из талантливых и сказал:

– Нет, господа! *России жалко*. Я – *не с вами*.

И весь «кутеж» повалился на него:

– Задавим! Разорвем!

Но он был именно «талантливый из талантливых» и ответил:

– Не разорвете, господа. Поборемся.

История этой 35-летней борьбы с «талантливым русским кутежом» и есть история «Нового Времени».

* * *

Если бы он был суров, как Катков, он был бы побежден (не читают). Если бы он был односторонен и однотонен, как Аксаков, – опять был бы побежден (читают только «свои»).

Но помог «Юрий Беляев»...

Помогла актриса...

Помогло «все»...

«Да! – водсвилль есть вещь, а прочее все – гиль».

Вся Россия оглянулась. «Этого нельзя не прочесть». Все, что угодно, можно *не* прочесть, Платона, Спинозу: но если *скандал* – то как же этого не прочесть?? – «Подавай сюда скандал».

Все «давай», чтобы одолеть этот угрюмый и печальный скандал *в душе* людей, заключающийся в неискренности людей, в притворстве людей, в

индифферентизме людей, в невообразимом тщеславии людей, в силу которого каждому есть дело до своей «славишки», до своего «хлебца», до своей «конфетки», и никому нет дела до заверченной в чадугу угара больной и старой Родины.

– Шалишь. Не свалишь! – сказал угрюмый солдат в Суворине и позвал «актрису»...

«С актрисой ты меня не свалишь». Тут помог и универсализм Суворина, и его скромность. «Не презирай никого в мире и никакого состояния» – вот его благородное и смиренное отношение к вещам в мире. Катков и актриса – что-то невообразимое в сочетании. «Савина и Аксаков» – тоже не идет. Если бы Суворин притворился – ему бы *ничего не удалось*. Но он не притворялся, «любя актрису»: он ее воистину полюбил, да и всегда любил, артистической и человеческой душой своей*. Будучи в то же время государственным человеком. Вот эта тайна и сделала то, что не удавшееся Каткову, не удавшееся Аксакову и что, казалось, вообще никому не удастся в России, т. е. в стране и в истории, где «есть веселие пити и не можем без того быти», – удалось Суворину.

– Да, государственные нужды – это не пустяки.

– Да, народность наша... ну, что же, это факт, и нельзя на него плевать.

– Русская история...

– Вообще вся Россия...

– Позвольте, – ему возражают, – но ведь Карл Маркс сказал, что это вообще все надо послать к черту...

– Что вы, Алексей Сергеевич: вы изменяете *русскому идеализму*. Великие русские писатели, еще Белинский, потом Герцен, а еще Щедрин и Чернышевский – все учили проклинать эту «нашу Рассею», осмеивать ее, ругаться над нею; и – подводить фундамент под гармонию человечества, первый камень которой был положен Фурье...

– Мы же за это *страдали*...

– Мы же за это *ссылались в Сибирь*...

– Мы *оплатили кровью* право презирать отечество, а вы учите его уважать, ценить и работать для него...

Об эту стену разбились не то что Катков с Аксаковым, не то что Гиляров-Платонов и Хомяков, но начал разбиваться и Пушкин (судьба его «Клеветникам России» в последующей литературе).

* Раз он мне шутливо сказал, – «на народе», в театре или на одном из юбилеев: «Как *неправильно* живет Толстой, и какую ему *скверную жизнь* устроили окружающие; какие-то странники, студенты и монотонность! Он и без того стар, а ему еще старости наваливают на плечи. *Я бы его окружил*, напротив, молодыми, веселыми (не в дурном смысле) женщинами, девушками, их играми, танцами и всякими удовольствиями вообще молодежи, и – детьми». Кто *лично* знал С-на, – знает, до какой степени «флирт» и «вино» были исключены из его обихода, до чего он весь приник к *работе*, и слова эти имели смысл: «Давайте – юности, добра, и – поменьше облаков; и, особенно, – поменьше и даже совсем не нужно *дождя*» (духовного, социального, бытового).

– Хорошо, мы немножко потанцуем... – был ответ Суворина.

«Танцевать» всем хочется. Это совпадает с «Русь есть веселие пити...». Мастерство, и притом *какое-то врожденное мастерство*, соединять «веселие пити» (не в буквальном смысле) с угрюмой мечтой отшельника – и составило победный залог Суворина. Без этого ничего бы не вышло. Без «*и Юрий Беляев*» – ничего бы не вышло. «Не вышло» бы без энтузиазма к Сальвини, своего театра, «Татьяны Репиной» и «Царевны Ксении», – без «Вопрос» и «Любовь в конце века» (не читал). Все искусственные вещи не удаются, а натуральные вещи все удаются. Может быть, никогда не повторится этого совпадения в одном лице такого множества, казалось бы, несовместимых призваний, какое мы видим у Суворина; или если не «призваний» в смысле чего-то «одного в жизни», то – влечений и увлечений, горячих, пылких, долголетних. Ими он и выиграл победу. Никогда нельзя забывать, что *первым его, еще ученическим, на школьной скамье*, трудом был «Словарь замечательных людей русских», а учителем уездного училища он пишет: «Ермак Тимофеевич, завоеватель Сибири». Темы и книги эти – не «Незнакомца»; это темы и книги – издателя «Всей России» и «Нового Времени». Значит, 18-ти лет, 23-х лет он был «стариком Сувориным»; вот где его *настоящий идеализм*: серая, повседневная работа для благоденствия, славы и величия России. Солдатская работа, солдатская и инженерная.

Этим все решается, – самыми ранними мечтами. Потому что на ученической-то скамье он, конечно, был только мечтателем; и мечта эта – не комедийка, не стишок, не сатирический рассказец «на нашего губернатора», а (смотрите *трудолюбие!*) «Словарь людей, потрудившихся для России»: работа бесславная, безличная, работа собирателя сведений по книгам. В этой ученической работе вылился «весь Суворин», «до могилы». Мало к кому так, как к нему, подходит прекрасное определение какого-то француза: «Что такое великая жизнь? Это – *мечта молодости, осуществленная в зрелый возраст*». А «Незнакомец» был исключением, выпадом, очень понятным. Во всех «делах русских» действительно замешано столько глупого, столько замешано, наконец, воровского и мошеннического, что не быть сатириком и насмешником тоже невозможно. «Голова не засмеется, – живот засмеется». Только ведь, вот, судя по отношению Некрасова к жене Огарева, судя по отношению к Белинскому того же Некрасова и Краевского, все эти вещи, увы, – «во всех лагерях», в том числе – и «страдальцев». У Белинского вырвался почти предсмертный вопль: «Да то, что делают со мною мои друзья и покровители (речь шла о Некрасове и Краевском), – это гораздо чернее всего, что делали Булгарин и Греч в нашей литературе». То-то и оно-то. На неумной картинке Наумова («Умиравший Белинский») надо было нарисовать не жандарма, показывающегося «символически» в дверях бедной квартирки, при плачущей жене и маленькой дочери умирающего критика: а кладущего в боковой карман пиджака толстый бумажник со сто-рублевками сытого либерала Краевского, – и протягивающего больному сотруднику «синицу» (3 рубля). Вот правда! Вот она *где!!*

– Но мы потанцуем, – сказал идеалистам-мошенникам Суворин. – А там подумаем и поговорим.

Он не принял прямого, «на сей день» сражения, а перевел его в инженерную, долгую, затяжную борьбу. «Вот – *Маленькая Библиотека*, по 15–20 коп. книжка. Почитайте, господа; пусть *читают ваши дети!* Шекспир и Шиллер – по 15 коп. пьеса. Вы читаете Писарева и Бюхнера, но дети ваши будут читать Шекспира, потому что нельзя же его не читать за 15 коп., когда Стасюлевич и его «Вестник Европы» дал то же в учебно-маленькой «Библиотеке» *не полное* «Горе от ума» за 75 коп. (я читал студентом).

Суворин – везде.

Суворин – в справочной книжке.

Нужно отыскать кухарку: «Возьми газету Суворина».

Суворин – в газете.

Авиация – и там Суворин.

«От Суворина некуда деваться».

Взвыли «страдальцы до Любани» (Михайловский административно был выслан на станцию Любань, ближайший буфет от Петербурга).

– А мы?!!

– Господа, свободная конкуренция! Я же вам не мешаю распространять философическую «Материю и силу» и «Кругооборот жизни» (Бюхнер и Мошешот): но они стоят по 1 руб. 50 коп., а я даю по 25 коп. томики «Истории Карамзина». *Мое – читают больше!!* Нисколько я не против пропаганды идей Лассалья и как он интересно застрелился из-за русской социал-барышни: а только я даю «Федора Иоанновича» в исполнении Орленева, и уж не моя вина, не моя и не ваша, что публика ломится в театр на сотое представление той же пьесы. *Ко мне идут больше.*

Суворин победил.

Он победил тем, что все к нему повалило.

– Да. Но потому, что это – кафешантан!!!

– Позвольте, какой же это «кафешантан», когда дается Пушкин по 10 коп. за том. Когда он дается не только без выгоды, но и с некоторым убытком*. Это просвещенная благотворительность.

* Первое дешевое издание Пушкина, превосходное по тексту и чрезвычайно удобное по формату и печати, было отпечатано Сувориным не только без барыша, но с небольшим убытком против стоимости бумаги и печатания. В день, когда оно («50 лет после кончины Пушкина») появилось в магазине, кинувшаяся за покупкою толпа своей массой сломала прилавок и мебель в магазине «Нового Времени». Поразительно, что Литературный фонд, прикармливающий социал-демократов, поступил как Плюшкин. Он не оценил нисколько, не поставил ни во что дачу *рублевого Пушкина*, но содрал с Суворина что-то около 40 000 рублей, понудив его жалобами купить все *свое издание* к этому дню (в редакции Морозова) на том основании, что Суворин в маленькое свое издание ввел те поправки текста (*конечно, незаметные и неценные* массовым читателем дешевого Пушкина), какие своими работами над рукописями сделал Морозов. Вообще русский радикал везде сорвет свой пятак.

Дело в том, что ленивая и развращенная публика не берет уже и «просвещенной благотворительности», если *в то же время* около нее нет шума, движения и чего-то веселящего нервы. И Суворин, в обширном и спокойном уме все понимая, все видя, — призвал в помощь и этот шум, и эту печатную наркотику. В XIX веке он действовал как в XIX веке. Особенность века, почти главная особенность, самая мучительная, самая скорбная, самая опасная, заключается в том, что если бы, положим, в Берлине или Париже, в Лондоне или Петербурге появился восставший из гроба апостол Павел, со всем огнем своего слова и убедительностью мысли, то, конечно, «ученики Бокля и Чернышевского» на него бы даже не оглянулись. И вот нужно было в эту-то толпу уже падших людей «капнуть Пушкина». Суворин капнул — *и капля растворилась в толпе и своей пахучестью хоть несколько облаговонила людей.*

Этого не мог сделать апостол Павел: но «хитроумный Улисс» это сделать мог.

В деятельность и личность Суворина, в его «1001 талант», конечно, входила эта хитрость: которую я позволю назвать благородною хитростью, потому что она была направлена на благо, и притом *благо общее*, но никогда решительно не устремлялась в свой мешок. Это — хитрость стратега в войне: она спасает армию. Это — изумительные «хитрости» Аннибала, когда он боролся с Римом: они отводили гибель от отечества. Это — та хитрость не *домашнего*, а *городского* человека, наконец человека *страны, земли своей*, которая совершенно неизбежна; ибо и город, и страна имеют свои улицы и свою жизнь, от индивидуума не зависящие и которые *уже хитры по своему устройству прежде рождения всякого человека.* Здесь закон не *личной совести*, а закон *совести исторической, городской, земской*; и эта совесть заключается в одном: *все — для города, и ничего — себе.* Если этот закон выполнен, то оправдана и личная совесть. Но Суворин его выполнил: от «Словаря» и «Ермака» до «Всей России» он думал только об отечестве. И я не видал еще человека такой сложной общественной деятельности, у кого душа постоянно была бы так ясна, проста и удовлетворена в смысле именно «внутренних угрызений», как у Суворина. В нем никогда я не замечал полоски уныния, тоски и тайной скорби, какая непременно скажется, если «совесть не чиста».

Единственное с досадой и требовательно сказанное слово, за более чем в 12 лет услышанное мною от него, было:

— Если вы *опять* принесете написанное на обеих сторонах, — я прикажу в типографии, чтобы не набирали.

«Опять» — значит, он раньше говорил. Но я не помнил. Да и что такое «на одной стороне»: а куда же другая? Наконец я разобрал, точнее, он мне разъяснил на этот раз подробнее, что *нельзя писать на правой и левой стороне страницы*, а нужно *только на одной правой*, ибо у наборщика руки

потные и в краске, и когда он держит пальцами «оригинал», набирая первую сторону, то другая пачкается, захватывается и *написанное становится неразборчивым и наборщику трудно набирать, страдают глаза*. Наборщики же в «Новом Времени» строптивы, я раз услышал где-то около плеча или за спиною под нос: «Мы когда-нибудь Юрия Дмитриевича (Беляева) отколотим за рукописи; ничего нельзя разобрать». Наборщик *медленно работает и теряет на времени (убыток)*.

Это и прочее. Всегда наблюдалось одно: «Этот человек *не обижен ли?*» И тогда Суворин терял свое лицо, всегда спокойное и уравновешенное.

Из мелочей: работая 12 лет постоянно, часто приходя в газетную наборную, я все же не помню метранпажей (4) по имени и отчеству. Всегда: «Здравствуйте, Сафонов; здравствуйте, Петров». Но *главы редакции* (2–3) всегда называют их по имени и отчеству.

Как-то я ночью, но рано пришел в наборную. Набор еще не готов, и вообще ничего не готово («к номеру»); и метранпаж (Петров) был свободен, и я свободен. Разговорились. Рассказал о жене, детях и всей работе, — начатой наборщиком в книжной наборной с 25 рублей в месяц (теперь 175 рублей в месяц, в средних годах). Характеризовал «все начальство», сменяющихся (в году) вице-редакторов и всех Сувориных. Один «вспыльчив, но добр»; «ну, *этот* — совсем рубашка» («человек-рубаха», поговорка), а тот «покричит, и ему через полчаса жалко станет, — и он сделает что-нибудь исключительно доброе, чтобы загладить окрик». И, кончая, повел головой:

«Суворины вообще все чрезвычайно добры».

Мне слышалось в этих словах рабочего, который стоит у дела 20 лет, что-то вроде ключа к пониманию всего дела. Нужно говорить о «генерации Сувориных». Конечно, никто не имеет гения (по разнообразию) отца, но во всех есть это стержневое качество рода, вероятно пошедшее от «деда с бабкой»...

I

17 августа 93 г.

Милостивый Государь
Василий Васильевич,

Я прочитал Вашу статью «Свобода и вера»*. Тема очень интересная. Но, во-первых, она не газетная, во-вторых, она изложена не для газеты. О согласии или несогласии с Вами редакции, конечно, не может быть речи, ибо у Вас есть имя. Согласитесь, что читать такую статью на пространстве трех недель, а мы иначе не можем ее печатать, как по одному фельетону в неделю, — почти немислимо. Всякая связь теряется, и интерес остается разве только для немногих. Вы указываете на статьи Самарина. Но они были ярко полемические, и вопрос, который они разбирали, был доступнее читателям. Я вообще против больших статей в газете, исключая беллетристики. Ни в одной газете мира не делают этого, хотя в них разбираются всякие вопросы. Газетная статья — фельетон, не больше. Если тема удоборазделима на самостоятельные части, тогда и большая статья может быть помещена, но не подобная Вашей, где все связано. Если у Вас найдется что-нибудь менее философское и более ясное и прямое для читателей, я с удовольствием бы принял** на тех условиях, которые Вы назначили. Я говорю «ясное», ибо, признаюсь Вам, мне было трудно читать Вашу статью, и я даже не уверен, понимаю ли я ее так, как следует.

Искренно Вас уважающий

А. Суворин

* Было нечто *чудовищное* предложить подобную статью газете, — и показывает все мое «неофитство» тех лет... Статья была помещена в «Русск. Вестнике» и вызвала ответ Влад. Соловьева — «Порфирий Головлев о свободе и вере». Статью находил тяжелой для чтения Н. Н. Страхов и — односторонней по содержанию; скорее слишком фанатичной и *непрактичной, нецелесообразной*. Скоро в полемику вступил и Л. А. Тихомиров, а также вторично отвечал Вл. Соловьев. — В. Р.

** Только *теперь* (в корректуре) замечая это ясное предложение «писать», — которым я, необъяснимо почему, не воспользовался до 1899 года, т. е. целых *шесть лет* (смотри *дату* следующего письма); между тем как эти шесть лет положительно были отравлены (и для *писательской деятельности*) беспросветной матерьяльной нуждой. Простая догадка писать «Заметки» спасла бы все; но я не умел в то время писать «Заметок», все выходили «трактаты». — В. Р.

12 авг. 98

Василий Васильевич!

В. П. Буренин дал мне прочесть два Ваших фельстона, которые он не напечатал, потому что «не понял их». Я их прочитал и не понял тоже. Странный афористический язык, пересыпанный текстами из Библии и русских писателей; трудно одолевается. Мысль прячется, точно конфузится показаться на свет Божий, или не хочет явиться в понятной для всех форме. Не то проповедь с церковной кафедры, не то глубокая философия, требующая комментариев. Согласитесь, если Буренин и я – мы не понимаем, то и огромное большинство читателей – тоже не поймут. Я знаю, что Вы способны говорить прекрасные вещи, что иногда Вы ясно видите то, что до Вас никто не видел или не решался сказать, что видел. В Вашем фельетоне о Толстом чутся что-то хорошее, но только чутся. Он должен быть переведен на ясный и простой язык, чтобы его все уразумели. Нельзя на 800 строках говорить загадками, какие бы чудесные отгадки за ними ни скрывались. В деревне я прочел Ваш фельетон о Грибоедове*. Там тоже только чутся что-то новое и деликатное, но не в такой мере оно не ясно, как в этих Ваших фельетонах. Делайте с ними что хотите, но в этой форме я не могу их поставить в газету.

Ваш А. Суворин

III

Многоуважаемый Василий Васильевич.

Я не могу напечатать эту статью («Номинализм в христианстве»). И статья А-та** подверглась сокращениям и изменениям, а в Вашей я не могу этого сделать и не знаю даже, где сделать. Война – скверное дело вообще, но у нас в церкви и на каждом молебне поют: «...победы на супротивные даруя...», и в каждом манифесте о войне призывают Бога. Я думаю, Он тут ни при чем, как и в вопросах о браках. Я мог бы тут изложить ужасную ересь. Но воздерживаюсь. Что касается чистоты нравов до воинской повинности, то ее никогда не было. В Воронежской губернии, в селах, вдали от столбовых дорог, в начале 50-х годов, можно было купить всякую девственницу за три рубля. Все иностранцы свидетельствуют о разврате русских в XV, XVI, XVII и т. д. веках. Аббат Иоанн, астроном, ездивший в Сибирь в начале 2-й половины XVIII века (он послан был для наблюдения прохождения Венеры под

* Статья «Горе от ума» на сцене Кисловодского театра. «Прыгающая» и «непомянутая» статья – «Около болящих». Обе перепечатаны в книге «Литературные очерки». – В. Р.

** Владимир Карлович Петерсен, подписывавшийся в «Н. Вр.» «А-т». – В. Р.

Солнцем), описал русскую свадьбу и обряды и сообщает, что россиянки умеют подделывать девственниц превосходно. Все русские песни прославляют незаконную любовь. Однако все это не резон. Мы не можем касаться вопроса, который Вы разбираете, с такой точки зрения. Провозглашать военное ведомство «еретическим, противодействующим Божией тайне», – этого я не могу. Вообще церковных вопросов я очень не люблю. Тут или – все говорить, или – ничего.

Ваш А. Суворин

26 авг. 98

IV

Василий Васильевич,

Вы, пожалуйста, мне помогите. Вы именно угадали, что надо. Не можете ли Вы мне написать начало совсем связно, отбросив совсем мое. Ваши мысли правильнее. Статьи, конечно, *поступок*, но не *вовсе поступок*. Статьи подлежат критике, но не суду чести. Комитет* ссылается на «охранение добрых нравов среди деятелей печати» (§ 1). Я их нарушил. Стало быть, я противо-

* Никакого у меня воспоминания о самом деле. Это, очевидно, «Охранка», сочиненная под именем «Суда чести» Михайловским и Спасовичем, двумя господами, у которых самого обоняния «чести», «добра» и «благородства» не было, но в их ногтях и когтях было хорошее осязание «суда» и «судьбища», и особенно вот административного суда, с оттенком полицейской расправы. «Писатель – птица тщеславная», – полагали новые охранники, и «у писателя *честь его* есть все его богатство»: по «чести» – принимают, по «чести» читают, по «чести» подписываются на газету или журнал. И вот как «теплые люди» на Сибирском тракте «отрезают у купцов цибики с чаем», так и мы, думали эти охранники, будем отрезать у писателей их «честь», – и посмотрим, как они без «чести»-то будут пописывать, искать читателей, искать влияния и значения, издавать журналы и газеты. Из двух таких птиц, как Спасович и Михайловский, легко было сшить третью птицу – Судейкина. Не Дегаева, что слишком ясно и коротко, а вот – Судейкина, чиновника министерства внутренних дел, обдумывавшего «устранение» министра внутренних дел, гр. Д. А. Толстого, и – овладение всеми делами России на подготовленной почве испуга и робости, растерянности и недоумения. Это – и достаточно сложно, и достаточно дальновидно, и, наконец, достаточно талантливо для двух таких умов, как знаменитый юрист-писатель и знаменитый критик-публицист, «проходивший 40 лет в одном скюртуке», т. е. с дальновидностью за 40 лет предвидевший, что этого «скюртука» не придется снять, он все будет самым удобным и самым «чиновным» на Руси, по крайней мере 40–50–80 лет.

Выводит в люди кто и пенсии дает?

Максим Петрович.

Михайловский, да и Спасович, и уселись в «Максим Петровича» журнализма. А бедный Суворин, честный и пылкий, впечатлительный и подвижный, должен был первым испытать, каково дерет новый коготок и каково клюет новый клюв. – В. Р.

действую Союзу. Видите, какая штука. Составлял устав Спасович и очень хорошо знал, к чему эти параграфы. М. П. Соловьев все проглядел, что и понятно. На мне Комитет пробует свою силу. Я знаю, что он ее пробовал на других уже не раз, и – с успехом и без протеста. Я не могу ему не протестовать. Но надо, чтобы это было доказательно, хотя бы для этого надо было распространиться. Я не могу, совсем не могу. Вы знаете это. Анонимные пасквилы меня не оставляют. Перед заутреней одно из таких произведений глубоко меня огорчило. Никогда я не встречал так Пасху. И я прошу Вас помочь мне. Только Вы и можете это сделать.

Ваш А. Суворин

18 апреля 99

Пожалуйста, марайте всюду, где покажется хоть малая неосторожность.

V

Василий Васильевич,

Я прочел Вашу передовую о *Мертвой точке*. Я думаю, что в этом виде она резка. Но тема была бы хороша для фельетона, – говоря вообще о скуке и развивая те исторические примеры, которые Вы приводите. В фельетоне не будет видно слишком яркого указания на правительство, а скорей на всю нашу жизнь, которая вообще скучна и не наполнена даже делом. Нигде так мало и так беспутно не работают, как у нас, и нигде так не умеют не работать и увлекаться своим ежедневным делом. В Германии тоже скучно, но жизнь идет. Оттуда бегут в Россию, во Францию, в Америку, а все-таки Германия богатеет и развивается. Там в газетах смертельная скука и все в них серьезно и не жалуются. В фельетоне много можно сказать, а в передовой трудно.

Ваш А. Суворин

25 июня 99

VI

29 авг. 99

С. Никольское

Какой Вы прекрасный фельетон написали, Василий Васильевич, о немцах и федосеевцах*. И гуманно, и очень оригинально, ничего пошлого, изношенного, я бы сказал даже – никакой литературы, а просто глубокая человеческая речь. Но я не согласен ни с Толстым, ни с Вами относительно крестьянского схода. Он тоже бывает очень разумен, но редко без водки обходится, которая портит его. Крепко жму Вам руку.

Ваш А. Суворин

* «Федосеевцы в Риге», – перепечатано в книге «Около церковных стен». – В. Р.

14 сент. 99. Никольское

Крепко жму Вам руку за Ваше письмо, Василий Васильевич. Вы совершенно правильно оцениваете характер Лели, моего сына. Эта разница наших темпераментов ссорит нас до страшной боли. Чувствуя, что я давно «на покое», я, естественно, желал такого же преемника, как я, который вел бы газету «экспансивно с художественными эпизодами», как Вы хорошо выражаетесь. И этого я в нем не видел, и это меня злило, и мы ссорились. Я долго не мог понять, что мы разные личности, что нельзя требовать того, к чему человек неспособен. Но я в нем ценил прямо высокую честность и упорный труд, который он удваивал ненужно. Я никогда так не работал над чужим текстом, как он. И я думаю, что не надо обезличивать никого, не надо на всех мундир надевать. Против этого я восставал ужасно и думаю, что я прав. Надо больше давать свободы личному мнению и не навязывать своего взгляда. А у сына моего это есть и это недостаток в газетном деле. Газета не есть собрание истин, а собрание мнений. Меня упрекали в том, что я будто бы флюгер. Я совсем не флюгер. Но, будучи человеком, не получившим солидного и серьезного образования*, принужденный постоянно учиться, постоянно читать и на лету схватывать знания, я давал свободу мнениям и заботился главным образом о литературной форме. В этом отношении я много работал над чужими статьями. Я любил говорить с сотрудниками по целым часам, но не столько об их статьях, сколько по поводу их. Часто мнения, которым я давал место, мне совсем не нравились**, но мне нравилась фор-

* Прелестная скромность (кто из редакторов, да и вообще из больших людей, это о себе скажет?!), тем ценнейшая, что она объективно не основательна. Суворин был «без солидного образования» на тот же манер, как Онегин и Пушкин: т. е. он прошел школу с малою программю, но, зная это, непрерывно потом всю жизнь читал, и читал *серьезное, превосходное*. По этой-то начитанности С-н, конечно, был из образованнейших людей, писателей, редакторов своего времени. Но, по скромности, совершенно искренно этого не чувствовал. — В. Р.

** Ну, вот и сам в случайном письме формулирует то, что я в нем наблюдал за много лет и на что (не помня этого письма) указал в характеристике его, написанной торопливо сейчас после его смерти (см. выше: «Несколько припоминаний об А. С. С-не»). О «флюгерстве» С-на: кажется, это милое словечко принадлежит вице-губернатору (Щедрин); но ко *всякому* скорее относится это слово, нежели к С-ну: он был *безгранично впечатлителен*, вот как медицинский термометр; и, говоря с ним о семье, о разводе, об оценке русских, о будущем России, — сплошь и рядом я слышал в конце беседы (т. е. часа через 1½ разговора на скором ходу) — совсем другие *тоны*, другие *слова*, другие *симпатии* и *антипатии*, чем в начале разговора. На него *произвели впечатление* новые примеры, новые факты, новые рассказы, какие вы привели (никогда — рассуждения, «соображения»), и он горел совсем новыми чувствами. Нужно иметь какую-то невероятную пошлость души, воистину быть «Иудушкой из Щедрина», — чтобы эту колоссальную впечатлительность и нетерпеливую правду в «сейчас» — наименовать «флюгерством». Только вице-губернатор и был способен так сказать и так определить. — В. Р.

ма, остроумие, живая струя. Ручей – не Волга, речка – не океан, но и в ручье и в речке есть поэзия, есть правда природы*. Так и в человеческой душе. Лишь бы она была искренняя.

Я никогда не был самоуверенным человеком. Никогда не мечтал о состоянии и о своем будущем. Я только работал и *увидал* себя человеком состоятельным уже тогда, когда увидел свой *закат*, когда обрывались силы, когда внутреннее содержание и порывы уменьшились, – и я увидел это состояние, которое не дало мне и сотой доли того, что получал я в своей работе, в этой горячке дела.

Вы видели меня, как я был угнетен во время похода на меня прошлой весной. Я был иногда жалок самому себе**. В первый раз в жизни я искал опоры в других и желал, чтобы меня поддержали. Я Вам давал читать мой ответ «Союзу писателей» и благодарен Вам за Ваши замечания и поддержку нравственную***. Я могу теперь критически отнестись к самому себе и знаю, что было хорошо и что надо было сказать иначе. Будущее газеты продолжает меня беспокоить серьезно, и я оттягиваю время, чтобы приехать в Петербург и встретиться лицом к лицу со злобою, завистью и клеветничеством, которые в деревню ко мне не доходят. Кроме «Нового Времени», у меня здесь «Петербургская Газета», «Московские Ведомости» и «Русские Ведомости», которые я очень уважаю за их джентльменство. Была у меня «Россия», но она меня мучила своей наглостью, с какой она искала предлогов к нападкам на меня**** и газету, и я перестал ее получать. Это тоже уже слабость. Я стал щадить себя, свои нервы, и это уже плохо. Побеждает только тот, кто не щадит своих сил и смело бросается в битву. Очень желал бы, чтобы Вы были правы в том отношении, что теперь другое время и другой надо темперамент. Я с Бурениным. Он сохранил еще свои силы. Его

* Как это хорошо! как благородно и человечно. Вот таких слов в «застенке» наших радикалов не прочтешь, на «суде чести» ихней ее не услышишь. – В. Р.

** Не помню и не замечал, – просмотрел, нисколько не интересуясь «травлей». «Эти дела мы знаем» (Вл. Соловьев против меня). – В. Р.

*** В «травле» всегда надо замечать, *кого* травят: и сейчас становиться на его сторону, зная (по философии и по религии), что «травимый» – человек правды и несчастья, а «травители» его передают в себе те черты подлого лица человеческого, *черной печени* человечества, которая хорошо известна историкам. В полемике тоже хорошо помогает нумизматика (постороннее занятие). – В. Р.

**** Здесь я пощажу, как и С-н пощадил, самолюбие «воротил» тогдашней (1899 г.) «России». Дело в том, что ему и всем крупным сотрудникам «Нов. Вр.» (С-н и они мне не говорили о факте, и я о нем случайно узнал) – известен был один *факт*, который достаточно было опубликовать в «Нов. Вр.» – с просьбой другим газетам «перепечатать», – чтобы «положить под доску» одного из этих «воротил» и травителей Суворина, положить – и косточки бы его только захрустели (морально, в смысле «джентльменства»). И вот *то*, что Суворин этого не сделал, т. е. пощадил врага, до такой степени его мучившего, пощадил его *стыд* и *имя*, и соделывает из личности Суворина *то* лицо, которое, раз увидев и – *узнав*, – привяжешься к нему непоколебимой привязанностью. – В. Р.

последний фельетон мне нравится. Это говорит независимая литературная сила. Его характеристика Короленки очень правдива. О *беллетристике* Михайловском и подавно. Я не люблю его и как публициста и критика*. Несмотря на свое философствование, он все-таки мелок и страшно многоречив. Многоречие только тогда хорошо, когда оно проникнуто горячностью, пылом, ядом страсти. У Михайловского этого мало. Знаете ли, что прошлой зимою критик Протопопов прислал мне прямо блестящую, полную *яда*, характеристику Михайловского. Он был справедливо возмущен лично против этого философа. Я не напечатал и отослал назад, говоря ему, что я боюсь, что он будет раскаиваться, и что лучше ему помириться со своим другом, — они были друзья**. Михайловский же напечатает обо мне все и, судя по фельетону Буренина, печатает.

Вы говорите, что нынешнее время вялое, скучное. А мне думается, что начинается некоторое повторение 60-х годов. Те же экивоки и та же слепота. Болото, в котором поднимаются гады и пузыряют воду. Мы дождемся чего-нибудь яркого. Я вижу здесь помещиков, среди которых есть просвещенные и умные люди. Один из последних сказал мне на днях: «Поверьте, что будет пугачевщина, — не такая, как была, но вроде той, что была». Отношения помещиков и крестьян — прямо боевые. Обе стороны стоят друг против друга с кулаками. Рабочие и фабриканты — то же самое. В литературе — то же самое. Пока пузыри, холостые выстрелы подземного газа, а потом и настоящие выстрелы. В провинции, в этой деревенской тиши, — виднее, чем в Петербурге. Как и чем живет народ — это ужас! Это рабы, ждущие Спартака. Мало-мальски состоятельный — не идет работать. У помещиков погибли тысячи десятин необранного хлеба, благодаря дождям, т. е. бедствию, и — вражде. «Не пойдем убирать чужой хлеб, когда свой гибнет». В «Мал. Письме», о котором Вы упоминаете, я с умыслом упомянул о Смутном времени. Я его постоянно изучал и хорошо знаю. *Сущность* вещей одна и та же. История России в XVII веке есть история среднего сословия, которое одно выиграло во время Смуты. Но сильно ли оно теперь, есть ли в нем настоя-

* Когда Михайловский умер, я написал о нем довольно теплую статью («*de mortuis — bene*») < «о мертвых — хорошо» — *лат.* — *Ред.*>: и С-н без всякого слова пропустил ее. Мог бы, под предлогами, отклонить похвалу недругу. Вот еще оговорка: Суворин был громадно *прял*, и я никогда, за 12 лет, не встречал в нем «отговорки». Он говорил «да», «нет», «нравится» и «не нравится». — *В. Р.*

** Впервые перечитываю в корректуре письма, давно полученные, — и сейчас только вдумываюсь во все подробности, тогда (при получении письма, в «суете») только мелькнувшие. Читатель оценит, что это было скрыто, и от *всех* скрыто, т. е. что он отказал Протопопову; и тем сохранил Протопопову дружбу Михайловского, а к Михайловскому как бы ввел в комнату этого раздраженного, может быть минутно, Протопопова снова как друга. Пусть другие говорят что хотят, но за это деликатное и незлобивое сердце я и в гробу, и у *живого* бы поцеловал руку. Потому что в «житейских отношениях» это и есть то, для чего *стоит жить*, что дает собою силу жить. Вот и оправдывается в письмах то, что я *по памяти фактов* говорил о нем (по смерти) в статье. Писем я совершенно не помнил и сейчас их читаю как впервые. — *В. Р.*

щие государственные люди, настоящие таланты, есть ли в нем та патриотическая искренность, которая спасла Россию в XVII веке? Ничего этого нет. Есть только один искренний элемент – евреи. К ним и обращают все взоры, и прежде всего правители и все среднее сословие, явно или тайно.

Если б мне было 45 лет, я бы теперь стал не проповедывать, а проклинать. И это всего удобнее было бы в деревне. Вот страдальца, о которой никто ничего знать не хочет. Журналистика мелет о страданиях актера, литератора, адвоката, биржевика, о всякой интеллигентной падали. О страданиях деревни никто не говорит. Маленькие заметки о том, что дожди погубили урожай. Большие статьи и фельетоны о банкротстве Мамонтова и других, о глупой пьесе, о петербургских интересах. А дожди принесут голод. Они отняли миллионы рублей у населения, которое молчит и перебивается, Ты, Господи, видишь – чем. И вечно эта деревня молчала, и все усилия трех веков нашей истории направлены к тому, чтоб она молчала. Ее били помещики, били откупщики, грабила администрация и била, – все били и угнетали, чтоб она молчала. Но она набирается сил, могу Вас уверить, в отдельных личностях. На днях моя дочь гуляла по шоссе (около усадьбы нашей идет шоссе тульско-киевское); встретила с мужиком из соседней деревни и разговорилась. Что он говорил ей – я повторить не могу. Но ни один из наших литераторов, не исключая Толстого, этого не говорил и не скажет.

Однако я заболтался. Я сижу один. Вся моя семья уехала в Феодосию. В огромном доме тишина. Кругом дома, в деревне, в природе – тишина такая, которую никогда не услышишь в Петербурге. Вы понимаете, что тишину можно слушать* и в ней есть что-то громкое, звучное. Точно Бог говорит, Сам Бог. Я думаю, Он говорит не бурей, не громом, а именно тишиною. Она дает свободу мысли, фантазии, она уязвляет и заставляет думать лучше, правдивее, чем в шуме столицы. Она воспитала Пушкина, Тургенева, Толстого.

Однако будет. Будьте здоровы. Пишите не в газету только, но и мне, если выберется время. Не думаю, что раньше октября я отсюда поднимусь. Разве что-нибудь особенное, от чего сохрани Бог.

Ваш А. Суворин

VIII

8 янв. 900

Василий Васильевич,

прочтите *хорошенько корректуру* своей статьи, уничтожьте скобки (), которые мешают читать, делают это чтение *прыгающим*, отвлекающим, негармоничным. Они все равно, например, как в игре на скрипке лопанье струны. Я Вас уверяю. Все статьи вообще испещрены этими скобками и знаками « »,

* Ага, вот этого не прочитаешь у радикалов. – В. Р.

которые столько же не нужны, как курсив. Это что-то неопрятное, заплаты на новом платье, румяна на свежем лице, губная помада на губах. Зачем это, Христа ради. Прочтите внимательно, и прочь эти румяна, этот песок на зубах. В Москве пелись песни, сказывались сказки. Это и была молодость, оставшаяся молодостью и во время Грозного, и во время Алексея Михайловича. Она и сохранила Русь. Средние века в Европе – преимущественно в городах, замках. У нас – деревня. В этом огромная разница. Повторяю еще раз: внимательно прочтите корректуру. Вам это нужно делать.

Ваш А. Суворин

IX

Здравствуйте, Василий Васильевич. Я прочел в прошлый раз Ибиса* с удовольствием, но не догадался, что это Вы. О суде мне нравится *идея*, но середина статьи не нравится. Она прыгающая, рогатая, недоказательная, все повторяющаяся. Я сделал несколько замечаний на корректуру и кое-что вычеркнул в начале, как ненужное... Что Вы так насели на Катюшу**, точно любовник. И разве нет разницы между Масловой и Коноваловой? По-моему, огромная. Это две разные женщины. Одна – раба и в бордели, другая – госпожа в проституции кафешантанов. Раба лучше госпожи, которая больше развращена. Поверьте, Толстой не взял бы ее героиней, эту Коновалову. Пусть не она соорудила заговор, но это равнодушие к убийству, этот шнурок из корсета для петли мужу – это возмутительно. За Масловой ничего подобного нет, и присяжные ее осудили. Коновалову я бы не оправдал, но снисхождение ей дал бы. Вы слишком увлекаетесь, говоря об убийцах и предписывая убивать только мясников, резателей и разбойников. Суд должен же иметь в виду факт или не должен? Почему «не убий» относится к «небесному»? Моисей убивал тысячи и тьмы и говорил «не убий». Тут что-то очень сложное. Государство не есть что-то недвижимое. Вы сами приводите слова Страхова. Без Петра и Екатерины, после страшной николаевской реакции, общество созрело и двинуло государство. Значит, оно растет и развивается, независимо от Петра и Екатерины. Теперь вместо Петра – литература, журналы, такой писатель, как Толстой, Достоевский, Гоголь, Пушкин. Пушкин очень большой человек, не во гнев Вам будь сказано. Я его перечитываю. Бездна ума, именно ума, не говоря уже о таланте. Восторгаются Сенкевичем – «*Quo Vadis*»***. А перечтите один набросок Пушкина к *Египетским ночам*, где действует Петроний, герой Сенкевича. У Пушкина ему посвящено несколько строк, а он ярче, чем у Сенкевича. Я даже думаю, что Сенкевич читал это. Вы правильно говорите о значении присяжных, но говорите это, –

* *Ибис* – один из моих псевдонимов в «Нов. Вр.» (начало моих увлечений *Египтом*). – В. Р.

** Маслова – в «Воскресении» Толстого. – В. Р.

*** «Камо грядеши» (*лат.*).

как для детей, в школе. Статья должна быть повыше школьного преподавания, и в ней должно быть место догадке читателя. Вы должны читать корректуру и исправлять ее, не особенно восторгаясь написанным сразу. Некоторые места я совсем не понял, например для чего Порция и Гамлет. Сравнение присяжных с армией положительно хорошо. Это у Вас самое лучшее. А вся середина скачущая, а потому и мысль только-только сверкает в потемках, но не дает ясности и спокойной убедительности. Убивать нельзя, по моему. Я прочел, как убивают птичек для дамских шляпок, и возмущался. Убивать человека по меньшей мере так же непозволительно для украшения своей жизни, как это в деле Коноваловой. А потому нельзя ее ставить рядом с Масловой и Отелло. Слишком много чести для этой профессиональной кокотки, очень сознательно присутствовавшей при убийстве мужа. Несовершеннолетие – вздор. Женщина 16 лет – совершеннолетняя*.

Ваш А. Суворин

6 июня 900

Чернь. Село Велие Никольское

X

Здравствуйте, Василий Васильевич. С приездом и обновлением. Надеюсь, кроме восхищения Италией, Вы укрепили свое здоровье. Я читал с удовольствием Ваши статьи, – не все, но большую часть. Я завидовал Вашей впечатлительности и вспоминал, как я в Милане, в день празднования юбилея Пия IX, рыдал от умиления** во время службы в чудесном Миланском соборе. Мне очень понравились Ваши статьи о Пасхе и католической церкви. Так никто не говорил. Вздумал я Вам написать вот почему. Меня все смущают слишком радикальные статьи в «Новом Времени» о школе. Я классическим языкам не учился, но почему-то у меня есть уважение к классическому миру. Смарать всю классическую школу – надо ли это? Пробежите в № 46 «Гражданина» – «Дневник». Мещерский говорит именно об этой смарке и смеется над «Новым Временем» – т. е. над Ванновским, именно над «национальной школой». Мне кажется, что в «Новом Времени» этот вопрос ставится неясно. Все говорят о скверных сторонах классической школы, но если обнаружатся такие же скверные стороны национальной*** школы? Ведь это

* Все письмо глубоко основательно. – В. Р.

** Этого радикалы не умеют, да и вообще в литературишке не водится. Поистине, С-н был писатель и человек, а вовсе не «литератор» (ремесло). – В. Р.

*** И, конечно, – «обнаружатся». Говорят, гимназия Русского Собрания, – «национальная», – прескверная. У нас, русских, слаб воспитательный талант, талант обучать и растить, и надо было эту сторону критиковать, а не «систему гимназий», как мы десятилетия делали, «скосив глаза на министра» и приговаривая по его адресу: «Кот Васька вор» и т. д. У нас школа только начинается, мы только начинаем это дело (мудрейшее!!) «уметь». – В. Р.

возможно при нашем колоссальном невежестве и нашей склонности к отрицанию. Нас хлебом не корми, но только отрицай. В этом наше утешение за климат, режим, бедность, отсталость*. В том же «Дневнике» грубая статья о женщинах в университете. Я бы стал восставать против Высших женских курсов, совершенно бесцельных, где ничему не учатся, но не против допущения студенток**. Господь с ними! Скорее теперь студентки Высших курсов сидят на коленях у студентов, чем стали бы они сидеть, когда были бы допущены в университет. Можно вместе танцевать, играть в игры, кататься на велосипедах и т. д. и нельзя вместе учиться. Это абсурд. Мне понравилось возражение Меньшикову, вероятно Ваше, относительно героев. Я в это время перечитывал «Войну и мир». Да, вот она – наша Илиада, вот наши «положительные герои». Лев Николаевич Толстой настоящего времени очень отошел от русского исконного характера, ударившись в ту сторону, в какую отошел Гоголь, с тем же христианским чувством, но не как православный, а как раскольник самого крайнего толка. Но Лев Николаевич времени «Войны и мира» и «Анны Карениной» настоящий гениальный русский человек, окрепший необыкновенно; это его апогей. Теперешние его сражения с Св.

* Гениально. – В. Р.

** Суворин здесь судит, не зная осязательно университета (и это относится вообще ко всем его суждениям, на протяжении всей жизни, о студенческих делах), – «втемную». Студенты и курсистки одни учатся «как дай Бог всякому», другие – не учатся, одни «сидят на коленях», другие – вовсе не сидят. Об этом нельзя ни утверждать, ни отрицать, – не нужно и не стоит. Об одной провинциальной гимназии мне говорила бывшая гимназистка, касательно своей двоюродной сестры, что она обычно, на свиданиях, просила офицера (была в него влюблена) «поискать у нее крест за пазухой». Отцы приходили ко мне здесь, в Петербурге, с жалобами, что их дочери, которых они пустили на Курсы (из провинции), – уже имеют ребенка. Это – вечное. Это не «Курсы» и не «не-Курсы», не Петербург и не провинция, а это – человеческое. У моего бывшего ученика (в гимназии) жена – бестужевка, а сестра – кончила здешние Медицинские курсы (теперь земский врач). От жены и от сестры он слышал, что курсистки не только имеют (иногда) детей, но и бывает, что они выходят в темную ночь на улицу и «случается что случается», притом – не со студентами, а с гвардейцами (по их, женскому, выбору). Но и это – вечное, еще записанное на страницах Библии, и ни малейшей охулки на Курсы или университет не кладет и не кассирует их величайшего (где случится) целомудрия. «Как так?» – спросит читатель. А вот и «так», – отвечу я: рассказывавшие-то мужу и брату сами были «курсистками» и подругами своих подруг, которые «гуляли»; и, между тем, своим мужьям и «не подумают» об измене хотя бы в виде легкого флирта. А, с другой стороны, в «пушкинские времена», и притом в дворянских семьях, «случалось» такое же, как на Курсах. Вопрос может быть о «проценте с тысячи», а не – о существе. Рядом с «гуляющей» сидит Татьяна Пушкина: и Татьяна Пушкина до окончания веков останется, как до окончания веков останется «гуляющая». Это – натура, а не «Курсы», вечность – а не «наш век». Целомудрие – не изгибнет, как не изгибнет и разврат. У молодежи есть другой грех: жестокость, сухость, грубость души. Вот это – грех. А «живот» и «дети» (нужно или не нужно) – еще большой вопрос и большая философия. ...Оставляю все дело на положении «многозначия». Здесь об этом не место рассуждать. – В. Р.

Синодом меня не привлекают и не занимают. Может быть, и это имеет значение, но Толстой «Войны и мира» куда выше. Это творец, а тот полемист и разрушитель, ставящий на место религии что-то несуразное. Вот Вы, говоря о героях, пропустили героев «Войны и мира». Здесь есть именно *положительные герои*, «создающие» русскую жизнь, и положительные героини.

Мне думается, с Мещерским надо бы поспорить, и серьезно. Писать, как он, юмористические заметки – очень нетрудно, но надо серьезно говорить о школе. У нас* К. Толстой невероятную чепуху городил и договорился до того, что в школе надо допустить искреннюю проповедь всяческого патриотизма. Вот было бы хорошо. Печать, в самом деле, наговорила множество самой глупой чепухи о школе. И мне думается, что нам следовало бы выработать свой определенный взгляд и держаться его, – и, выходя из него, полемизировать. У нас совсем почти полемики нет. А она именно необходима. Мне думается, что вы ничего не читаете, кроме «Нового Времени», а другие сотрудники читают только свои статьи. Потому у нас Вы полемизируете с Меньшиковым, Proctor с К. Толстым. Я бы Вас попросил обратить внимание на статьи Мещерского и вообще на этот поворот в классической школе. Ведь она нужна**. Бросаемся из одной крайности в другую и воображаем, что это дело. Все облегчаем науку. Можно опасаться, что мы облегчим ее до степени невозможной, когда мальчикам останется только в чехарду играть, а учителям играть в винт во время классов. Будьте здоровы. Мне трудно писать. Чувствую себя нехорошо, слишком старчески, и в голове мало просвету. Я, кроме того, болею «Новым Временем» тем сильнее, чем бессильнее себя чувствую. Не так ведется дело. Все враздобрь, и всякому до себя дело, а не общее дело.

Ваш А. Суворин

XI

29 июля. 901

Здравствуйте, Василий Васильевич. Как я рад, что Вы поете в опере Рубинштейна опричника Кирибеевича. Я всегда думал, что Вы в этой роли должны быть бесподобны. Я узнал об этом из «Нового Времени» после Вашей заметки о сочинениях Меньшикова. В ней я узнал милого Кирибеевича, который так заботится о любви и браке. Отчего бы Вам не написать программы... нет, не программы, а повести о брачном устройстве. Нынешний брак – чучело. Его надо побоку вместе с христианством, которое совершенно отживает свой век. Любовь должна быть свободна, но необходимо одно, чтоб мужчина и женщина, сделав ребенка, непременно выкормили его и воспитали хотя не до того возра-

* В «Нов. Вр.»? – В. Р.

** Это слово в письме неразборчиво; по-видимому, какое-то другое слово, а не «нужна». – В. Р.

ста зрелости, до которого воспитывают своих птенцов звери и птицы, но все-таки лет до 10–12, когда ребенок может поступить в среднюю школу, столь изумительно нарисованную комиссией Ванновского. С 10–12 лет государство должно взять на свое попечение детей. Самцу и самке будут положены пределы, назначенные самой природой. Из Ваших же статей я никогда не мог понять, чего Вы желаете? Если Вы желаете, чтоб каждый ребенок, тотчас после рождения, поступил в приют кормилиц, содержимый на государственный счет, – то, может быть, было бы лучше учредить заведения из самцов, с хорошим жалованием, в которые являлись бы девушки и женщины для удовлетворения своей плоти. Давайте проповедовать магометанство. Оно гораздо практичнее христианства. Впрочем, извините меня за эти глупости. Скучно*.

Ваш А. Суворин

XII

Спасибо Вам за Ваши письма, милый Василий Васильевич. Я знаю, как Вы впечатлительны и как Вы глубоко понимаете вещи. Иногда так глубоко, что моему простому уму и понять трудно. Глубина – хорошая вещь, но мы нуждаемся еще и в мелком плавании, где постоянно торчат разные преграды. Но хорошо, несомненно, «чувства добрые пробуждать» везде. Но только как согласить их с интересами ежедневными господствующего племени? Я этого не умел сделать. У меня всегда было неприязненное чувство к евреям не как к евреям, а как к племени, которое забирает русских и христиан в кабалу. Против католиков у меня никогда ничего не было. Вы бы могли еще пописать о католичестве. Разумеется, очень широко говорить в газете очень мудро, но можно сжато все выразить, – и вообще, и – по разным поводам. У нас, к сожалению, с католичеством связан польский вопрос, отношение к которому у нас не совсем правильно. Вообще мы порядочно запутались в *своих* внутренних международных отношениях. Князь Мещерский сегодня о печати скверно говорит. Меня это возмущает. Точно правительство состоит из бесплотных духов и действует с необыкновенной правильностью. Точно правительство и чиновники его – люди неопикуемой добродетели. Мне хочется в Петербург, и боюсь я. Здоровье мое нисколько не поправилось и, кажется, даже идет книзу. Оно, конечно, и здесь не Бог знает какой отдых и какая благодать, но все-таки спокойнее, чем в Питере. Будьте здоровы.

Ваш А. Суворин

30 июля 901

* Видите убежденного Суворина: это уж не «кабачки» Чернышевского и вице-губернатора. Он боялся потрясений здесь, в *центре* жизни. Образ же моих мыслей, – конечно никогда не посягая на «живот» («Древо жизни», его же «не преидеши»), на самом деле имел другой уклон, а не смысл «Кирибеевича». Но все это слишком сложно. *Образ мыслей моих, за все годы писаний, в значительной степени не понят был обществом. – В. Р.*

XIII

Василий Васильевич,

Ваш фельетон – вторник. Просмотрите извлечение из «Орловского Вестника» завтра, № понедельника. С этим необходимо сообразоваться и не нападать на Стаховича. Вопрос деликатный, к нему невозможно относиться спустя рукава, лишь бы вышел фельетон. Я позволяю себе повторить Вам, что у Вас многое очень небрежно, набросано наскоро, не связано, а в таком вопросе необходимо быть ясным. Похвалы Победоносцеву неумеренны. Это умный человек, но он трупы не оживит, а с трупами может жить, оставаясь живым человеком или, вернее, живым ученым*. Фельетон должен быть литературным произведением, а не заметкой только в 700 строк; он должен разниться не пространством, а самой сущностью, начиная с формы, которая не должна возбуждать недоразумений. Поэтому прошу Вас снова строго и глубокомысленно отнестись к корректуре, которая у Вас и которая очень несовершенна. Не кляните меня, ибо я желаю добра себе, Вам и делу.

Ваш А. Суворин
29 окт. 901

XIV

28 нояб. 901

Ну, Василий Васильевич, с Вас магарыч за Ваш прекрасный фельетон, истинно прекрасный. Не заставь я Вас перечитать его несколько раз, и – несколько раз в корректурах, он был бы совсем не то. *Работая* над ним, Вы прямо вдохновлялись таким красноречием, какого ни у кого из миссионеров и в помине нет. Никогда эти господа не говорили так убедительно против штунды, как Вы, не браня ее, не призывая на нее все глупые и жестокие громы. Несколько столбцов, 3–4, – такие, что их следовало бы разослать по церквам. Вы говорили о статье на Рождество. Ее надо заранее написать и поработать над ней в корректуре. Исполать Вам, добрый молодец. Пострадал от меня, и хорошо вышло.

О Бухарева не напечатал. Фактов совсем нет, а есть только фразеология, хотя местами красивая. Чью он воскресил христианскую семью, – так и остается неизвестным.

Ваш А. Суворин

Когда я умру, скажете обо мне:

«Жестоковыйный был мучитель! Но жертвы его наследят землю и пойдут в рай, наверно, после окончания дней своих».

* Как полно, во всех «да» и «нет», схвачена личность. – В. Р.

Василий Васильевич, я не понимаю, что Вы хотите сказать? Мне думается, что говорить о народных обычаях нельзя по своему только опыту. Вы «не знали о движении звезд», Ваш учитель «тоже не знал», – и Вы объявляете, что и народ об этом не знал. А я семи лет это знал: моя мать зимою пряла и вставала по стожарам (плеяды). Мужики знают небо, луну, солнце, – и есть множество примет и поговорок об этом. Я знаю, что понедельник – первый день по неделе (воскресенье), вторник – второй день, среда – середний, четверг – четвертый, пятница – пятый. Вы хотите, чтобы народ считал по планетам. Даже французская революция не могла ввести своего календаря и деления по декадам. Да и зачем это. Есть исследования Сахарова, Снегирева, Афонасьева («Взгляд славян на природу»), этнография Пыпина и множество других сочинений, по которым можно заключить, что народ живет с природою и ничто в ней ему не чуждо. Нельзя же печатать: «Я не знаю того и этого, а потому думаю, что надо вот это». Есть предшественники, которых прочесть надо. Если узнаете, – напишете, быть может, совсем не то. Вводить праздники луны, черпать из Ветхого Завета, зачем это? Вы приписали евреям то, чего у них не было, например любовь к природе. Новую луну и ныне народ встречает крестясь. Изображать Христа младенцем и держать его три дня в церкви – значит его заморозить. Вы точно в Италии себя воображаете. Народные обычаи, конечно, исчезают – и ничем Вы их не остановите. Никто столько не живет на дворе и на улице, как народ. Вообще фельетон этот мне не нравится. Я человек не ученый, но я читал по этнографии больше Вас. Вы хоть бы Пыпина перелистовали да Буслаева.

Ваш А. Суворин

15 дек. 901

XVI

Многоуважаемый Василий Васильевич,

я не имею возможности печатать фельетонов в 800–1000 строк, как бы они ни были превосходны. Кроме того, я прошу Вас перечесть то, что Вы написали о Рачинском, обзывая его Хлестаковым, Ноздревым, крепостником, лицемером* и т. д. Конечно, он отвечать не станет, и на такие заушения обыкновенно не отвечают. Вы говорите, что он не знает народа, что он не был в избах, – единственно на том основании, что он не сказал о том в своей книжке. Вы читаете от его имени, влагая в его уста презрительный монолог к народу. Вы несколько раз упрекаете его за то, что Богданов-Бельский писал его портрет. Вы ссылаетесь на каких-то священников, которые не читали его

* Не постигаю, как мог такую грубость допустить. Это – просто *пошлость* допустить такие слова о Рачинском; но в те годы я, по специальным поводам, был очень раздражен «против всех их» (Рачинский, Победоносцев, М. П. Соловьев). – В. Р.

книгу, и потому она скверная книга, точно священники — соль земли и авторитеты в педагогике. Если в его книге нет слов «папа и мама», «сестрица и братец», то она бездушная книга и сам он бездушный человек. Вы прославляете солдата-министра народного просвещения, точно он в самом деле светоч просвещения. Вы радуетесь, что до Царя не доходят такие книжки*, точно это хорошо, что до Царя ничего не доходит. Вы приглашаете его в «Народный дом Николая II», точно там можно встретить *народ*, а не чиновников, офицеров и купцов. Народные дома строят в столицах, а в деревне этого нет. Неужели можно вылить ушат оскорблений на человека, который прожил двадцать лет в деревне, в школе, в постоянном общении с крестьянскими детьми? Я этого не понимаю. И зачем Вы его делаете ответственным за церковно-приходские школы, которые заведены раньше его? Почему Вы пишете, что он допускает в школу только Жития святых и Часослов, когда он допускает в нее всех больших писателей и делает исключение для Гоголя, не понимаю почему? Я не читал обличений в «Гражданине» — «поразительных», — но думаю, что такие ссылки не авторитетны! Оплевать человека очень легко, но это совсем не по-христиански. Ванновский — так же «велик», как — «ангел» и «батюшка» Александр II. Если «ангел» Александр II, то уж Рачинский все-таки не Ноздрев, не Хлестаков, не сволочь аристократическая.

Ваш А. Суворин

5 янв. 902

Я прошу Вас сократить фельетон, написанный с душою, и исключить разные резкости. Сокращения, впрочем, сократят и резкости.

XVII

Василий Васильевич, если я не ошибаюсь, идея Вашей статьи о «Коринфской невесте» заключается в том, что сила любви так велика, что умершая девственница зовет своей бессмертной душой мужчину для совершения над ней любовного акта. Мужчина идет к ней, совершает «обильные любовные излияния» в мертвую и от ужаса сходит с ума. Это великая тайна необходимости совокупления для всякой девственницы. Я читывал в специальных книгах, что немало мужчин было, которые, с опасностью попасть на каторгу, пробираются на кладбища, разрывают

* Т. е. как «Сельская школа» Рачинского, — книга, конечно, *классическая*. Почему-то я наблюдал, однако, что священники ее не любят, предпочитая Рачинскому — Гольцова и Михайловского. Понятно и более вульгарно? По словам о «папа» и «мама» я припоминаю повод своих «выпадов» против Рачинского: он действительно *семьи и рода* — не чувствовал, а от *роженницы* и *родов* определенно отворачивался, чувствовал гнушение. Беременный живот был для него гнусность. — В. Р.

могилы и с мертвыми совершают этот любовный акт. Были случаи, которые доказывают, что подобные мужчины совершили этот акт со многими мертвыми женщинами и только тогда попадались под суд. Судебная медицина и, мне твердо думается, всякий здравый смысл относят эти явления к так называемому извращению полового инстинкта. Вы и приводите из Тарновского подобный случай. Но, по Вашему мнению, это только «протокол», а на самом деле это – тайна ужасно глубокая. У Гёте в его Фаусте (Вальпургиева ночь) ведьмы говорят о любви и своей «дыре» с таким же цинизмом, как и судебно-медицинские протоколы или как деревенские парни, которые говорят девушке – десятилетним мальчиком я это слышал: «Дай.....», а она отвечает: «Поди в поветь» (соломенная крыша над сараем, двором). Хотел ли этим Гёте сказать то же, что он сказал в «Коринфской невесте», по Вашему мнению? Я не философ, но я твердо знаю, что не дело газеты печатать судебно-медицинские протоколы о любовных актах не только с мертвыми, но даже с живыми. Это дело специальных исследований, и притом в странах с полной свободой печати.

Ваш А. Суворин
23 янв. 902

XVIII

Дорогой Василий Васильевич,

мы взяли только рассказ. Остальное так небрежно написано, что в одном месте ни я, ни Булгаков ничего не могли понять. Такие вещи надо самому прочитывать в корректуре и немножко сглаживать торопливость творчества журнального. А у Вас какие-то отдельные мысли, то удачные, но непонятные. Потом, откуда Вы взяли, что земству можно поручить благотворительные дела? Что такое земство прежде всего? Это сборщик податей, как министерство финансов. Кто ему даст лишний рубль в виде пожертвования? В земстве всегда несколько партий, и помещики ему не благоволят в большинстве. Почему обществу не надо давать дела? Почему это «разъединение», если образуется Союз? На призыв К. Толстого образовать какой-то фонд в Петербурге никто не отозвался, а «Союз» имел уже несколько сот членов, прежде чем объявлена подписка. Разъединение именно в том, что у нас сейчас же – критика, а – не поддержка, сейчас догадки – «деньги пропадут даром» и проч. «Вот отдайте в земство». А если земство их сворует? Кто его будет контролировать, если не будет «Союза» частных лиц? Вдохновение очень хорошая вещь, и оно Вас часто посещает и дает прекрасные мысли, но надо и вдохновение поверять разумом и давать ему наилучшую форму. Извините меня за эти старческие советы.

Ваш А. Суворин
19 дек. 903

Я прочел Ваше письмо, дорогой Василий Васильевич, и не знаю, что сказать. Я душу человеческую не могу купить, а Вы не можете ее продать. Благодарю Вас за те чувства, которые Вы ко мне питаете, но зачем Вы так часто упоминаете о моих семидесяти годах? Что это, жалость или насмешка? Я стар. Я вижу вокруг себя, как все те, которые создавали «Новое Время», постарели и становятся бессильными так работать, как надо для этого времени, когда возникают вопросы ежедневно, когда новые силы являются и погоняют стариков. Вы это знаете или нет, но я Вас спрашиваю именно потому, — сожаление или насмешка упоминаемые Вами так часто мои семьдесят лет? Если Вы знаете, что в эти семьдесят лет лежит на мне еще жестокая обуза, если я работаю через силу, желая сохранить то дело, которое я вырастил, то, может быть, я заслуживаю если не сожаления, то снисхождения. Я не могу измерить того, что Вы теряете, когда тысяча мыслей кипит в Вашей голове, как Вы говорите, и когда Вы ищите бросить их читателям. Я не знаю, что теряете Вы и что читатели теряют Ваши? Но я могу сказать, что теряет газета. Из «Нового Времени» вышла «Россия», потом «Русь». Обе газеты тотчас заявили, что они — отдельная партия, враждебная «Новому Времени». Газета «Слово» есть сколок с «Нового Времени», как бы стремящаяся стать на наше место, и ежедневно старается сказать, что она лучше умывается и независимее. Маленькие шпильки, иногда ничего себе, иногда плохие. В Земском Соборе она от нас отстала и, чтоб догнать, стала говорить, что лучше Земский Совет, ибо собор напоминает клерикализм. Это уж и неумно. И вот в эту газету Вы стремитесь. Если другие газеты этого еще не заметили, то заметят читатели и скажут, что Розанов перешел в «Слово». Но возможно, что и в газетах напечатают это. Вы, положим, опровергнете. Но опровержение обыкновенно — вещь никуда не годная. А этот уход роняет метрополию и усиливает колонию. И это тогда, когда «Новое Время» нуждается в публицистике гораздо больше, чем в фельетонистике. Ваши неподписанные статьи почти всегда содержательны и хороши, как и подписанные. В неподписанных статьях Вы трезвее, если можно так выразиться, но их почти всегда узнаешь. Я думаю, что литературные фельетоны, подписанные, кажется, Орион, в «Слове», Ваши. Я прочел — два, и совершенно Ваши приемы. Может быть, Вам мало работы. Но я думаю, что работа в двух газетах всегда рискованная, ибо журналист *никогда не может разбиваться* на такие две части, что был бы вправе сказать: «Я каждой уделяю столько, сколько надо, и именно то, что ей необходимо». В молодости я знал одну женщину, умную и развитую, которая говорила тем, которые за ней ухаживали: «Или все, или ничего. Я недостаточно интересуюсь вами, чтоб дать вам все, а потому отстаньте с приставаниями». Очень может быть, что она теряла, а может быть, и приобретала. Я думаю, что «Новое Время» представляет собою гарантию для талантливых людей в том отношении, что они имеют возможность совершенно обеспечить свое будущее и будущее своей семьи. Тысяча мыслей может быть всегда высказана, но я не думаю, что каждая

из тысячи непременно стоит того, чтоб быть высказанной. Я совсем не понимаю, почему возможность выписывать из книг два столбца такое преимущество, что Вы об нем упоминаете. Критик совсем не христомат. Мне приятнее читать его мысли, чем чужие, даже в том случае, если чужие лучше. Критик есть собственный биограф (автобиограф), и если я его полюбил, то за то, что он сам дает, а не за то, что он выписывает. Из Вашего письма мне ясно, что Вы желаете, чтоб я сказал Вам, что мне очень приятно, что Вы в две газеты будете писать. К моему величайшему сожалению, я этого сказать не могу. Журнал и газета – это другое дело. Если газета – свинья, а журнал – гусь, то Вы знаете пословицу. Но я до могилы останусь верным своему правилу: не насиловать волю сотрудников. Я боролся только с сыном, только эта рана никогда не заживает, а остальные излечимы*.

XX

Спасибо Вам за Вашу статью об Е. Л. Маркове, Василий Васильевич. Я очень люблю Вашу речь о литературе, добрую, внимательную и горячую. Вы превосходно определили значение Евгения Львовича и замечательно метко указали на «мечь», которая существовала в указанные Вами годы**. Я знаю Евгения Львовича еще по тем статьям, которые не проходили по условиям нашей полусвободы печати, с цепями циркуляров и всяких других намордников. Это была благородная личность и прекрасный литератор в лучшем значении этого слова.

Ваш А. Суворин

21 марта 903

* Письмо – без подписи фамилии. Была совершенно нелепа моя претензия писать в двух газетах, притом полемизирующих и издающихся в Петербурге. Но несколько дней, я помню, прошло, – прежде чем у меня улеглось волнение (и частью – негодование) на мысль, «как можно купить (откупить) мою душу» в такое-то, положим, *единичное* издание. Писатель чувствует «свое» (право, душу) и не чувствует «чужого». Он все кричит: «Кто может стеснить мою душу?» Редактор, *тоже измученный трудом и заботой*, может ответить: «Ах, оставьте вы меня с вашими нервами, душой и претензиями. Никакой я у вас души не покупаю и ни в чем не стесняю: а вот плотно бумага, с 100 000 *непременных читателей*, сколько ваши книги, если не ошибаюсь, не имеют. *Эти читатели заработаны моим трудом и талантом. Это – мои читатели, а не ваши читатели.* Если вы хотите приобрести их в читателей своих мыслей, то я их вам даю, но беру от вас за это согласие: ничем не расстроить и никак не уменьшить эту когорту, этот полк, этот целый город *моих читателей*; т. е. писать легко, приятно, ясно и... без *Коринфских невест*. Да? – условие заключено. Нет? – нет!» Но я это понял (сам) через несколько дней и тогда столь же удивлялся своей претензии, как раньше «пришел в изумление» от условия С-на. – В. Р.

** В 80-е годы. «Мечь» – в обществе, в литературе, у писателей, которую я и видел кругом и в самом себе чувствовал как в пишущем по отношению к *исходному событию* 80-х годов. – В. Р.

Дорогой Василий Васильевич,

посылаю Вам «С.-Петербургские Ведомости» и подчеркнутую заметку А. С-на. Это очень хорошая тема, – поговорить просто и сердечно о том, что в наше время нужны люди, нужно серьезное образование. Прошлое нас учило, что все эти волнения значительно нам мешали. Польское восстание 63-го года прямо-таки остановило реформы, а затем выстрел в царя и целый ряд действий революционных. Если б Вы зашли потолковать. Мне думается, что вопросы о браке и о новой церкви, несомненно, отойдут на второй план, если начнется деятельность реформаторская*.

Ваш А. Суворин

1 апреля 903

XXII

Василий Васильевич, прочтите в «Новостях» статью, посвященную мне. Автор кое-что переврал. Для государства все равно, по моему мнению, искренно или нет еврей меняет религию, но для церкви не все равно. Я и говорил, что об искренности судит только Бог, а не человек. Г. Соломин якобы глубоко возмущен и проч. Теперь полчаса десятого. Я не ложился** и сейчас поеду кататься. Если б Вы могли ответить, – и конечно, можно ответить, – я был бы рад. В заметке поминается Ваше имя, с довольно глупым примечанием.

Ваш А. Суворин

3 нояб. 903

* Которой он, следовательно, *ждал и хотел*, да, по тому судя, – и предвидел. – В. Р.

** Суворин ложился спать часов в 9–10, даже в 11 утра, – проводя всю ночь в чтении и в заботе (к 4 час. ночи «корректуры» оканчиваются и начинается печатание газеты). Не знаю и несколько не понимаю, чем бывали заняты эти часы, от 5 до 10 утра, когда он оставался *совершенно один*: ибо к 5 часам редакция совершенно пустеет и все уже спят. Перед сном, – как он здесь пишет, – он иногда катался или гулял по утренним улицам. Вся жизнь его вообще была *изумительно трезвая и изумительно трудолюбивая*. За обедами (по четвергам, в старое время, человеками с 15 гостями) он самое большее выпивал одну рюмку мадеры и ел не все кушанья, но какую-нибудь «кашку» отдельно, в высшей степени что-то скромное и малое. «Завтрак» часто ему Василий приносил в кабинет: это были две куриные котлеты и чашки две кофе со сливками. – В. Р.

XXIII

Василий Васильевич!

Удосужьтесь поговорить со мной, всего лучше вечером, например завтра, в воскресенье, часов в восемь.

Ваш А. Суворин

22 нояб. 903

XXIV

(Карандашом)

Василий Васильевич!

Вашу заметку Булгаков* так охолостил, что я прошу Вас давать корректуру Ваших набранных статей мне, если Вы их прямо посылаете в типографию. Это уже не статья, а какая-то вырезка для «Среди Газет».

Ваш А. Суворин

25 нояб. 903

XXV

(Карандашом)

Василий Васильевич, расскажите своими словами предложение Архангельского Думе. Вы короче и лучше его сделаете. Его аргументы банальны, а сравнение с крепостным правом неубедительно. Это – монастырь, как Вы далее говорите. Дума присвоила себе власть Церкви, власть Св. Синода – скажите ей это. Она воспользовалась бедностью девушек, чтоб наложить на них монашеский обет**. Не нападайте на старых дев. Из них есть прекрасные. Они в чужих детях видят своих детей. Я знаю одну лет двадцать, – одна из самых лучших и деятельных. Вы найдете в своем сердце другие убедительные причины, чтоб не принижать девушек-учительниц перед женщинами***.

Я Вас попрошу прочитать мое Мал. Письмо. Может быть, Вы что скажете о нем в печати или мне, если дело того стоит.

Я Вам пришлю его.

Ваш А. Суворин

29 нояб. 903

* Фактический редактор в то время. Редакция «Нового Времени» вообще всегда имела несколько ярусов. Ф. И. Булгаков был «первая инстанция». – В. Р.

** Должно быть, вопрос об обязательном безбрачии городских учительниц в СПб. городской Думе. – В. Р.

*** Как хорошо. И везде, всегда у Суворина эта забота – как бы не унижить, не обидеть человека, невидимого, далекого, ненужного (что ему «учительницы»?), словом, обмолвкой. А как эти «учительницы», растравленные печатью, кипели негодованием и бранью на Суворина, «Новое Время» и «нововременцев». Но он *всех* их берег добродетель, высоту и честь. – В. Р.

Дорогой Василий Васильевич, когда я протяну ноги, обо мне и в «Новом Времени» можно сказать то, что Вы сказали в ответ «Новостям». Но ранее нельзя. Вы понимаете почему. Но мне кажется, заметку можно было бы переделать. Я не хотел бы упоминать имени Соломина, — много чести. Вы могли бы сказать, что мое «Письмо» возбудило кое-какие толки в таком-то направлении и что так как я показывал Вам предварительно это письмо, то Вы считаете себя вправе высказать несколько своих мыслей. Разумеется, — о жестокости «Нов. Времени» говорить невозможно, также и о наших разговорах с Вами. Станьте просто на свою точку зрения и говорите, не защищая меня. Таким образом, это было бы разъяснением моих мыслей с Вашей точки зрения, достаточно самостоятельной и очень гуманной. В еврействе есть экономическая сторона, есть деятельная кровь, прилив которой к русской крови был бы бесполезен. Я именно стою на этом: *надо быть русским*. Еврей, оставаясь евреем по религии, русским не сделается никогда. Понижение религиозных убеждений и поэтому очень печальное явление. Православие должно бы привлекать своей свободой, своей простотой и вместе возвышенностью своего богослужения и проповеди. Мы с Вами и об этом когда-то говорили. Вы слишком ушли в религиозные вопросы, т. е. в подробности их, а дело — в сущности православного христианства. Мне часто хотелось написать об этом, искренно сознавая в недостаточном веровании, но у меня не хватает чувства. Но инстинкт русского мне подсказывает, что задача православия огромна еще. Вы знаете, как я люблю Толстого, но мне думалось всегда, что его проповедь о Боге есть проповедь о безбожии, ибо когда Бога анализируют, то что это за Бог. Бог должен быть не внутри только, но непременно вне. Будьте здоровы.

Ваш А. Суворин
4 дек. 903

XXVII

Ваша *заметка*, Василий Васильевич, прелесть. Я ее выставил потому, что сам написал письмо, и в одном № это слишком много. Кроме того, есть неточности. Во-первых, в цитате Мещерского. Надо: «...собрались, что-то пропели, что-то прочитали, что-то прослушали, что-то снова пропели и разошлись». Это «*что-то*» характерно в устах человека, который критикует. Во-вторых, надо бы сказать, что Общество издало несколько прекрасных книг — «Старина и новизна» и несколько хороших дешевых изданий. Золотой мундир — придворный, а это едва ли так, и даже если это так, — опасно намекать на то, что он бывает у Государя. Надо что-нибудь иное. Конечно, это ослабит заметку, но она все-таки будет очень хороша. Уверяю Вас, что у Вас отличный полемический талант и такие маленькие заметки Вы могли бы писать хоть каждый день. Попробуйте. Ведь это не мешает Вашим большим работам. Прилагаю записку в контору. До свидания.

Ваш А. Суворин
12 дек. 903

Василий Васильевич, напишите что-нибудь о прошлом годе, пожалуйста. «Царевича Алексея»* постараюсь поставить в том номере, потому что в завтрашний, при обозрении, он не войдет. В нем строк 300. Вы могли бы написать что-нибудь вообще об этом годе, об его настроениях, идеях и т. д. Вы, кажется, думаете, что Авд. Лопухина, первая жена Петра, была баба плохая. А когда она ушла в монастырь и любила майора Глебова (Петр его повесил), она писала ему такие страстные письма, что прелесть. Я думаю, что Петр был пьян, когда зачинал Алексея. Читали ли «Боярскую Думу» Ключевского? Там доказано документально, что Петр принял Россию, уже начавшуюся реформироваться в европейском духе. Наследники Петра были таковы, что Валишевский удивляется, как могла жить Россия? Екатерина I, проснувшись, спрашивала Меншикова: «Что сегодня мы будем пить?» На вино при дворе выходило чуть меньше, чем на жалованье гвардии. Петр II с теткой Елизаветой занимался..... и охотой. Черт знает что было. Россия не умерла бы, не могла бы умереть без Петра. Слишком много чести Петру, если Вы полагаете, что Россия без него умерла бы. И Царевич имел много симпатичных черт, это ясно видно из его процесса. Роман Мережковского я еще не читал, но «муки» еще ровно ничего не доказывают. Но написали Вы все-таки с душой.

Ваш А. Суворин

30 дек. 903

XXIX

Василий Васильевич, неужели только в песне, тройке и копеечке преступнику – русская «звездочка». О тройке Гоголь писал превосходно. О песне Тургенев – увлекательно. Переход к чиновничеству резок, а самая характеристика его резка. Последнее, впрочем, дело Ф. И-ча**. Я только о резком переходе. Неужели вся русская душа такая неопределенная, что, повторив Гоголя, Тургенева, оказалось далее – никакого материала? Мы любим песню, тройку и не любим чиновничества. Вот и все. Чудесный народ. Немец любит вальс и пиво и не любит чиновничество. Вы бы посидели над корректурой. Может, что и нашлось бы побольше.

Ваш А. Суворин

24 янв. 904

* Статья по поводу романа Д. С. Мережковского «Петр». – В. Р.

** Булгакова, – исправлявшего юридические обязанности редактора. – В. Р.

Как бы выдумать другое название для фельетона. Не *Война**, нет. Гораздо больше. Мысль не та. Подумайте и напишите.

Ваш А. Суворин

17 февр. 904

XXXI

Василий Васильевич, в корректуре прочел Вашу статью с удовольствием и еще с большим удовольствием сегодня, восстав от сна, спокойный и оправившийся от недомогания. Скажите спасибо г. А. С-ну из «СПб. Вед.» за то, что он своею якобы юмористическою заметкой возбудил в С. Ю. Витте желание познакомиться с Вашою книгою и послать вырезку из нее «письма» К. П. Победоносцеву, и дело дошло до отобрания книги и вырезки из нее «письма», которое и я очень не одобряю**. Все это подняло в Вашей душе

* Должно быть, о статье – «Поучительное в войне», напечатанной «на завтра» в № 10042 «Нового Времени». – В. Р.

** Как и мне было рассказано достаточно компетентным (официальным) лицом, история ареста книги «В мире неясного и нерешенного», через месяц после отпечатания, произошла таким образом: С. Ю. Витте (тогда министр финансов) послал ее, с просьбою обратить внимание на последние три страницы, К. П. Победоносцеву. Как мне передавали разные лица (трое, – и все с разных сторон), Победоносцев постоянно читал мои статьи и, при его разностороннем и древнем (по духу, по книгам) образовании, не мог не понимать, куда они клонятся в отношении Церкви и христианства. Как это понимал и Мих. Петрович Соловьев, тогдашний главноуправляющий по делам печати. Однажды, весной, он гулял со мной в саду. Кусты смородины расцветали, – и, взяв цветок в руки, Михаил Петрович и любяще, и иронически проговорил: «Вот, В. В., – вы и тут (в расцветающем цветке) увидите религию фаллоса».

Я был поражен. Но уклончиво улыбнулся и ничего не ответил. Это было, конечно, – так. В египетских храмах, в нижнем пояске их, так и изображалось: цветок в бутоне, цветок с раскрытой чашечкой, – бутон – цветок, бутон – цветок... Это – суть всего; как крест есть символ и суть христианства. И когда, решив перемену всех взглядов, я ходил по душным коридорам контроля, то душа моя как бы слышала стих:

Запою песнь новую, песнь неслыханную,
Облобызаю (духовно) уды врагов моих, –
Расцвету смоковницу засыхающую.

С другой стороны, раз, желая и для себя решить вопрос об отношении христианства «ко всему этому», я спросил Михаила Петровича (чрезвычайно начитанного):

– Христианство и пантеизм, – как вы думаете, Михаил Петрович?..

– Полная противоположность, – ответил он.

Если «полная противоположность», то, значит, эти две вещи, два духа, две веры взаимно и одна для другой разрушительны.

Отсюда совершенно очевидно, что Соловьев вполне понимал, «к чему дело клонится», но не делал мне ни одной цензурной придирки. Все то, что Соловьев понимал

тихое негодование и заставило ее высказаться так просто и так убедительно. Для честных и серьезных людей Вы выходите победителем, а остальные пусть тешатся. Надо и им какое-нибудь удовольствие. Итак, все к лучшему в этом лучшем из миров.

Ваш А. Суворин
24 марта 904

XXXII

18 мая 904

Здравствуйте, Василий Васильевич. Пишу к Вам из «страны мятелей и снегов», как где-то сказал Рылеев. У нас днем 4 град., ночью 2, и с 6 мая два только было дня довольно теплых. Такова Тульская Манчжурия. Боже мой, Боже мой, воюем на краю света за такие же Манчжурии, как уже есть, и такими же и с такими же манчжурами, ибо в нас, несомненно, монгольское есть. А в Вас есть ли что, кроме «святого пола». Он действительно свят у нас, и этого доказывать нечего. Что останется, коли не признать святости пола. Ни солнца, ни земли, роскошной, полной цветами и плодородием. Я

и видел, видел и Победоносцев (они были довольно интимны, особенно в начале службы Соловьева). Но и Соловьев (от меня лично), и Победоносцев (через Рачинского) знали о личном *мотиве* этого «поворота всех мнений», – и знали, что тут я нравственно прав, а в учреждениях и законах Церкви есть небрежная недоделанность, а может быть, и неясность и более, чем только неясность, в самом *учении* и *духе*. Вообще же знали, что я нравственно прав: и как оба были очень нравственные люди, вполне благородные, то не поставили ни одного препятствия, никакой «задоринки» мне в писаниях, хотя могли бы. Однако, получив (рассказ мне официального лица) записку и книгу от Витте с весьма недвусмысленным пусть даже и «умолчанием», что-де «чего же вы смотрите», Победоносцев без всякого от себя письма препроводил это главноуправляющему по делам печати, каковым в то время был Н. И. Зверев. И Витте, и добрейший А. А. Столыпин («А. С-н» *С.-Петербургск. Ведомостей*), не зная о подпочве всего дела, приняли – как и почти вся печать – меня за «ужасного порнографа». Между тем, египетская религия «распускающегося бутона» есть полное отрицание, – и до корня, до скончания веков *отрицание* – «порнографии», как мешанского и низменного, сального и хулиганского отношения к полу, к половым *точкам*, к половым *действиям*. Это есть «преображенный пол», где предметы и имена те же, что в «порнографии», но и вместе совершенно «другие», под «другим аспектом», в «ином духе». Все между собою так же относится, как петербургский «лупанарий» и, положим, история, рассказанная о Воозе и Руфи или о Товии и дочери Рагуила. *Русским* все это можно объяснить, заметив, что в известные минуты «одно» творится Саниным Арцыбашева и Татьяной Пушкина: но в *сотворенном* – какая же *разница*!! И «одно» в *новобрачии* и в *веселом доме*: но какая опять *разница*!!!! Общество, критика и, наконец, официальная цензура никак не могут и не хотят различить этой *разницы*. И обвиняют меня в «лупанаре», когда я говорю об египетском «бутоне» (*новобрачии*). – В. Р.

помню, после «Послесловия» Толстого к его известной повести, где действует Позднышев и проповедуется райская невинность, я получил длинное и горячее протестующее письмо от одного господина, который красноречиво проклинал Толстого за его проповедь воздержания и говорил, что русскому человеку ничего, кроме петли и водки*, не останется, если запретить ему вольное обхождение с женщинами, они же это и любят до смерти.

Надо писать, Василий Васильевич. У нас уж никакой литературы не стало, а она все-таки есть. Она есть даже в декадентине, в этих книжках новоявленных стихов, в сборниках и т. д. У нас никто литературой не занимается. Буренин ее презирает и глумится над нею. Вы не читаете и не ищите, сидя над святостью пола. Вал. Брюсов и другой, как его иностранная фамилия, столько сладострастного выпустили, что можно только радоваться свободе слова. Из «СПб. Вед.» знаю, что в газете моего возлюбленного сына проповедуется обнажение тела и какая-то барышня написала, что Розанов и Меньшиков, пожалуй, наденут на голое тело красные шарфы и резиновые калоши. Я думаю, что это одна из тех барышень, которые даже голыми ничего собою не изображают и нимало не соблазнительны. Такой дряни теперь ужасно много. Они хуже проституток, потому что у тех все-таки есть нечто вроде красоты, а у этих ничего, кроме вульвы, да еще поганой, которую они всем подставляют.

Надо бы, чтоб Вы писали. Вам бы следовало взять себе пятницы на время отсутствия Буренина и заняться в них литературой, этой новой, взять новые книжки сборников, стихов и т. д. (Есть сборник, где Горький о человеке философствует, где есть рассказ Андреева и проч.) Тут и «святость пола» подойдет, и все, что хотите, кроме, разумеется, таких тем, как «Коринфская невеста». Клубники и без того много, и искать ее на мертвечине, по меньшей мере, страшно.

Теперь бы надо лиризма, зажигательного, общественного, прославляющего русскую душу и силу. Пусть нас бьют. Но нас бьют потому, что мы соблазнились этой воинской повинностью. Меньшиков хорошо об этом написал. Быть трусом на войне — постыдно, но быть трусом в мирной жизни — ничего постыдного нет. Большинство таково. Но сильными надо быть. Мы вырождаемся в интеллигенцию, которая с искони веков занимается не чем иным, как упражнениями над полом. Как выцвели

* Связь с водкой полового воздержания или, вернее, полового худосочия (ибо *наше «воздержание»* обычно имеет около себя *истощающие* половые пороки) и мне приходила на ум; но вот Суворин заговорил даже и о *петле*. Самоубийство имеет обыкновенно под собою худую половую *подпочву*, худую половую *биографию*. Трудно это аргументировать *ad hominem* <к человеку — лат.>, но это видно *народно*: мусульмане *не пьют*, не знают *унынья*, не знают и *самоубийств*, ибо у них есть многоженство; евреи тоже не пьют и не самоубиваются, ибо у них есть *субботнее священное совокупление*. И многоженство, и эти «субботы с размножением» есть все тот же египетский «бутон — цветок, бутон — цветок», «бутон на переходе к цветку». Ни разврата, ни онанизма, ни водки, ни петли, конечно, не было тоже и у египтян. — В. Р.

барышни, как редко сильные мужчины. Англичане проповедуют уже лучший подбор. А я об этом годов десять – двенадцать тому назад написал в «Нов. Врем.» статью под заглавием «Новый человек», где говорил о необходимости подбора. Помню, врачи хвалили эту статью. Будьте здоровы, и Христос с Вами.

Ваш А. Суворин

18 мая 904

Чернь. Вилле Никольское

XXXIII

Спасибо Вам, дорогой Василий Васильевич, за Ваше милое письмо. Я насчет христианства старого закала, не то верующий, не то неверующий, но относительно литературы у меня с Вами много сходства. Я только не так восторгаюсь, как Вы. Мне очень понравился Ваш последний фельетон о Хомякове, очень здравомысленный и прямо резко идущий в сторону от всего, что в последнее время о нем говорилось. Возьмите 2 вып. сборника «Знание». О повести Андреева «Жизнь Василия Фивийского» уже много писали. Я не читал этого рассказа. Там же «Человек» Горького, который пустился философствовать; во 2-й части «Вишневый сад» Чехова, «Евреи» Юшкевича. Этот писатель из евреев. Я не читал и этой книжки, ибо не видел. Необходимо за литературой следить, а Вы случайно попадаете на темы и покупать книг не любите, а обе книги стоят 2 р. Не думаю, что Горький философ. Представьте, в здешней моей библиотеке я взял Помяловского. Кроме «Бурсы», я ничего не читал. Стал читать «Мещанское счастье». Какой это умный человек. О таланте не говорю, но – ум у него, и образование, и то и другое – солидное. А ума у наших беллетристов очень мало. Помяловский умер 29 лет. Он был бы куда выше теперешних корифеев, Горького и Андреева. Я на днях вернусь в Петербург. Очень что-то тревожно на душе. Точно беда какая впереди или какая радость. Но радость отбежала от нас, но я думаю, что впереди и недалеко что-то большое будет у нас*. Нельзя так жить. Мы слишком ушли в теории и оставили жизнь. А она требует энергии и воли. Вот этого у нас мало, так мало, что, если так будет дальше, мы совсем пропадем. Но так не будет. Или мы глупый, легкомысленный, насмешливый народ, или мы умный народ и насмешка не признак лени и неспо-

* Какое предчувствие!! Как ясновидение! – и оно могло родиться из огромного чувства земли родной, как у *живого сына о живой матери*... Пришла и черная Цусима, и поднялась белая волна «к новому! к другому!». Не примешайся бы социалистики, все наше «обновление» было бы не в 10% – здорово, а в 80% – здорово. Но не судил Бог. – В. Р.

собности к серьезному отношению к жизни, а признак того, что мы высоко можем пойти или *возлететь*.

Очень бы хотелось, чтоб Вы чаще писали, но не фельетоны. Это отжи- вающая форма. До свидания.

Ваш А. Суворин

3 июня 904

Никольское

XXXIV

Василий Васильевич, я не мог заснуть и прочел Ваш фельетон* снова и на- шел, что у Вас юмор есть. Ах, как я люблю этот юмор! На нем, а не на китах стоит Русь, и оттого она стоит, а не ходит, что юмором полна. «Все к черту, все трын-трава»... «Жгите, мучайте, – а я вам кукиш с маслом покажу. Что, взяли, черти косолапые?» И больше всего русский человек любит юмор, а потом лиризм, который поднимает его. Из кабака прямо в церковь, а из церк- ви прямо в кабак. Надо бы сделать церковь лучше и кабак несравненно луч- ше, и тогда дело пошло бы гораздо лучше вообще. Вы так не думаете? Я смеялся раза два, читая Ваш фельетон. Но ему мешает форма. Как Вы ее мало совершенствуете, удивительно! Оттого Вас мало ценят читатели. У Вас слог разгильдяйский, постоянно (), для пояснения мысли, когда без этих () можно обойтись. А слог страшно важная вещь. Он, конечно, у Вас оригинальный, *свой*, но Вы об нем не заботитесь. Летите и баста. Только при втором чтении я оценил фельетон, а при первом – совсем нет. Я даже не понял его хорошо. Что ж Вы хотите, чтоб и читатель обыкновенный его по- нял? Не поймет, скучным назовет. Я не хочу Вас обидеть. Хочу Вам правду сказать. А затем доброго утра, теперь 9 часов, иду спать.

Ваш А. Суворин

8 июля 904

XXXV

Василий Васильевич,

не делайте множества «выписок» и не говорите в примечаниях того, что можно и должно сказать в тексте. Это просто от небрежности происходит. Выписки почти всегда бесполезны, а в газетной статье прямо вредны. Их трудно читать, и они как-то *прерывают* речь критика. Вообще прошу Вас эту статью внимательно прочесть.

Ваш А. Суворин

13 июля 904

* О г. Лемке и его «Истории цензуры». – В. Р.

XXXVI

Василий Васильевич,

прочтите еще раз Ваш фельетон. Надо бы обширнее* сказать – о партии, а то «Новости», не имеющие никакого значения, и – «Русская Мысль»; скорее – «Русская мысль» и «Русское Богатство». Я изменил заглавие. Так оно и есть: «Писатель и партия» или «Писатели и партии» – как хотите. Мне хочется, чтоб фельетон прочли и поняли. Мысль Ваша очень хороша, и вот почему я так стараюсь, чтоб фельетон вышел ярче. Губить Чехова стал именно Михайловский. А Чехов был тем поэтом, который поет, как птица, – поет и радуется.

Ваш А. Суворин

15 июля 904

XXXVII

Многоуважаемый

Василий Васильевич,

что бы Вам ко мне иногда завернуть вечером. Надо бы говорить теперь. У Вас душа есть, а это важная вещь. В такие сумбурные времена, как наше, когда разума не хватает наверху и нигде его нет. Я не хочу сказать, что у меня он есть, но у меня остается ощущение его необходимости, несмотря на дряхлость и каторжную бессонницу, которая приближает меня к Творцу и к Богу моему, к Которому ехать, однако, у меня охоты нет. Знаете, я читал или, вернее, перечитывал Ренана *Жизнь Иисуса*. Вот чувствительный человек, Ренан то есть, – до слез трогает. Вот Вам бы трогательности. Впрочем, я что-то другое хотел сказать.

Ваш А. Суворин

17 нояб. 904

XXXVIII

Василий Васильевич,

посылаю Вам нечто, при сем приложенное и касающееся Вас, Мережковско-го и священной братии. Никому на руки не отдавайте сего и возвратите мне**. Маленьких статейек – пожалуйста. Да не напишете ли небольшую статейку в рождественский номер, или нет ли чего у кого из Ваших? Я веду жизнь совсем нелепую. Лег в 12 ч. пополудни, встал в 2 ч. пополудни и начинаю заниматься, старик и глупый, и нелепый.

Ваш А. Суворин

15 дек. 904

* По-видимому, «общее». – В. Р.

** Никакого воспоминания, что это. Уж не «распоряжение ли о закрытии Религ.-филос. собраний»? – Пожалуй, так. – В. Р.

Заметка Ваша* очень искренняя и хорошая. Но нельзя ли отмеченное сказать помягче. Конечно, нравы делают печать. Но согласитесь, что нравы создаются не родом, а временем и что известные границы должны быть положены и клевете, и лжи, и т. п. Мы с Вами проживем без суда и полиции, но это не для всех. Печать употребляет такие средства, есть такие поганцы печати, что приходится ставить загородки, чтоб она не оскорбляла всех, кого хочет. Подкуп в печати — дело обыкновенное, как и недобросовестность. Очевидно, Кутузов это и имел в виду. Ваше сравнение с городовым, хватающим всех неумытых, неудачно. Образование и чтение идет в ширину, а не в глубину, и печати необходимо быть умытой, — даже для тех, кто не умывается. Учительницы народных школ требуют, чтоб мальчишки мыли руки, и даже за это их наказывают и стыдят. Правила обыкновенно отпадают сами собой, когда люди вырастают, но когда они еще только воспитываются, правила необходимы. Вы сами оговариваетесь относительно лжи и клеветы, — «когда она не грубая». Так против этой *грубой* клеветы все-таки необходима защита.

Ваш А. Суворин
1 февр. 905

XL

Многоуважаемый
Василий Васильевич!

Я не понимаю Вашего фельетона, хотя прочел его дважды. Я не понимаю, почему Леонтьев** «благороден и истинно велик»? Положим, благородство — качество, которому легко поверить на слово, но почему он «истинно велик»? Этому на слово никто не поверит, а потому это следует доказать если не для большинства, которое малообразованно и маловосприимчиво к понятиям, к которым оно не приготовлено, то для меньшинства, даже для меньшинства из меньшинства. Но я уверен, что никто не поймет из Вашего фельетона ровно ничего о «величии» Леонтьева. Может быть, газетные рамки слишком узки для подобных доказательств, в таком случае докажите это на страницах журнала. Я читал Леонтьева мало, но все-таки читал; я читал о нем Николаева, Тихомирова, не говоря о Фуделе, которого не стоит читать по его лицемерию, но все-таки ничего не понял такого, что могло бы подсказать о величии этого человека. А я не могу печатать в газете того, чего я не

* По поводу письма графа А. К. Кутузова о печати. — В. Р.

** Константин Николаевич, «Сочинения» которого издаются нынешний год в первый раз. — В. Р.

понимаю, и я привык к языку понятному, простому и ясному и думаю, что о всяком великом человеке можно писать таким языком, и таким языком Вы писали о Достоевском.

Искренно Вас уважающий А. Суворин

16 марта 905

ХLI

Василий Васильевич,

мне кажется, эту статью проф. Никольского следует напечатать независимо от того, отвечает ли она нашим, т. е. Вашим, воззрениям или нет. Ее можно оговорить, как Вам угодно. Мне в ней кое-что нравится, и историческое, и нравственное. Она не без ехидства написана, но я думаю, и Вы сами найдете в ней хорошие стороны. В четверг за обедом кто-то сказал у меня, что Победоносцев примет монашество и сделается патриархом, а я сказал, что мой кандидат в патриархи – В. В. Розанов. В программе 32 иереев* действительно недостает того, о чем говорит Никольский. Во всяком случае, прошу Вас прочесть статью и положить на ней свое решение или написать о ней от редакции в том же №, где она будет помещена.

Ваш А. Суворин

25 марта 905

ХLII

Василий Васильевич,

что это такое затеял свящ. Ключарев? Кто ему отказывал в помещении его заметки, когда Булгаков мне сегодня сказал, что она была уже набрана? Я взял из «Русского Слова» слова о. Гр. Петрова о Никольском и о Вас, ибо у нас все пропускают весьма неосновательно то, о чем говорить следует, и берут то, чего брать не стоит. Наконец, если Вы знали, почему «32 священника» не подписали записки, т. е. почему их имена не явились, отчего же Вы сами не сказали от себя в заметке к статье Никольского или после этого? А теперь выходит нарекание на газету, и Ключарев, взявший обратно свое письмо после того, как я привел справку Гр. Петрова, побежал в «Слово» – ябедничать. Если б я знал адрес священника Ключарева, я бы так и сказал ему, что это ябеда. Какое могло быть у нас основание не помещать письма о. Ключарева, когда мы поместили о том же предмете слова Гр. Петрова. Мне кажется, что попы завертели и сами не знают, что делать. Если б Вы хоте-

* Статья проф. Никольского: «Почему 32?», – спрашивавшая, почему и по чьему побуждению «32 петербургских священника» обеспокоились одни «неканоническим» состоянием русской (обер-прокурорской) церкви? – В. Р.

ли ответить Скальковскому и Кирееву, то сделайте одолжение. Я не особенно за патриарха, но скорее за него. Мне нравится величаяя поэзия обстановки, и я думаю, что так называемый клерикализм вовсе не такое пугало, каким его хотят изобразить. Преследование клерикализма ведет, в конце концов, к уничтожению религии. Научная сухость и отсутствие всяких предубеждений лишает жизнь многого такого, что приятно и полезно душе человеческой. Когда-то в каждой деревне построят оперные театры, а без церкви просто скучно, и пока она еще много значит*.

Ваш А. Суворин
4 апр. 905

XLIII

Ваша милая статья не вошла сегодня. Прочтите ее еще. Может, добавьте. По-моему, конец скомкан. Ожидаешь в течение статьи больше, а дело выходит на милосердие. Когда судили Марию Антуанетту, женщины шипели против нее и оскорбляли самым наглым образом. В толпе есть эта безжалостность, но в ответственных случаях, когда женщина на виду, она поступит, вероятно, как Вы говорите. Шарлотта Кордэ убила Марата за его жестокость. Кланяюсь Вам, дорогой Василий Васильевич.

Ваш А. Суворин
25 апр. 905

Семирамида, Мария Терезия – Вы ее называли – Елисавета Английская, Екатерина среди *очень небольшого* числа государынь. Это важно. Большой процент. У Екатерины – много возлюбленных**, но ума она была необыкновенного. Переписка ее с Гримом – просто прелесть. Во время нашего разговора Вы сказали несколько слов о женских качествах, о подробностях, об искусстве быстро схватить их – они были бы очень кстати в Вашей статье. Можно прибавить, что в Комитете министров или, вернее, в высших сферах поднимался вопрос о выборе женщин. Это надо бы прибавить. Стоит ли упоминать о Л. Л. Толстом? Он полезет с ответом. Лучше бы сказать просто, что

* Да, мы только кричим: «Религии бы не надо», «религии бы поменьше», а представьте только *народную жизнь* без церквей, без праздников, без монастырей, без священников, и она сейчас обратилась бы в такую *оголенность*, в такую *дикость*, в такую *низменность* и *вонючее тоскливое болото*, что подумать страшно. Поэтому азбучно и наглядно можно выразиться так: появление всякой атеистической книжки равняется *закрытию школы*, потеря веры сотнею или тысячею людей равна *исключению из университета 1000 студентов за невзнос платы за учение*, а распространение Бюхнера, или Молешота, или нашего Чернышевского равнялось в свое время *назначению министром просвещения Аскоченского, или Фотия, или Аракчеева*. – В. Р.

** В письме – грубее, как в просторечии. – В. Р.

Вы прочли в газете такие-то строки, что у Вас в кавычках. Мне хотелось, чтобы Ваша статья вышла убедительнее и тверже. Не одним энтузиазмом брали женщины. Пожалуйста, поработайте над ней. Есть вещи, которые не следует выпускать в виде пробного шара, и не следует Вам именно, философ*.

А. С.

XLIV

Многоуважаемый
Василий Васильевич!

Не у Вас ли сборники Кельсиева о расколе? Вы их брали у меня. Если у Вас, мне они очень нужны. Что это Вы нецензурные статьи пишете? Булгаков говорит, что Вы написали о Победоносцеве и «его молоке». Неужели взаправду митрополит обязан в облачении идти навстречу рабочим, когда Святополк-Мирский ничего не знал до субботы вечером и, узнав, устроил войска для приведения рабочих якобы «в порядок». И где это видели митрополитов, умиряющих народ, вместо полиции, в какой истории? Я этого не знаю. Думаю, что это было бы очень глупо. Против декабристов послали было митрополита, в растерянности. В здравомыслии этого никто не делает. Петр подчинил духовенство чиновникам, и церковь обратилась в чиновничью. Тут не К. Петр. виноват. После статьи о. Григория едва ли остроумно сравнить К. П-ча с молочной коровою. Впрочем, как Вам угодно. Может, это и нужно. А он все-таки был сильным быком, а не коровой. Вы юморист, и Ваша религия юмористическая. По-моему, лучше никакой. С митрополитом я познакомился и говорил с ним целый час. Зачем он текстами говорит с народом? Проповедник должен быть публицистом и поэтом, чтоб речь лилась, а не складывалась по текстам. И как они находят их, — просто удивительно. Вероятно, Победоносцев и тут виноват**. А я этого не думаю. Мне кажется, во всем черт виноват да российская глупость. Мы очень глупы или очень умны. Но я Вам пишу глупости.

Ваш А. Суворин

25 янв. 905

XLV

На Вашу искренность отвечаю искренностью. Не говоря о своих чувствах к Вам, ибо осмеливаюсь думать, что я никогда не давал Вам повода сомневаться в моей полной симпатии и никогда не ввергал Вас в пучину консерватизма, а совсем напротив, как Вам хорошо известно. Помимо этих соображений, есть материальный вопрос. Ваше письмо его прямо не поднимает,

* В статье я проводил мысль о желательности, чтобы женщины были допущены к народному представительству, т. е. в Гос. Думу. — В. Р.

** Все письмо полно огромного здравого смысла и такого трезвого, спокойного суждения, — какого в те дни ни у кого (или у очень немногих) не находилось. — В. Р.

но несомненно, что, оставаясь только в «Новом Времени», Вы лишаетесь заработка в «Слове». Таким образом я лишаю Вас возможности зарабатывать более. Перцов начал газету без сотрудников: Мигулина взял из «Руси», сделал предложение нашему Глинке, который отказался, привлек Вас и, вероятно, обращался уже к Меньшикову или обратится. К литературе он имеет очень малое отношение. В каждом номере множество статей, как в хрестоматии, с вылазками против «Нового Времени». Я останусь на своем месте в этом движении и дальше Земского Собора не пойду. А что он сделает, — это не мое дело, а дело всей земли русской. Сегодня у Государя 1 1/2 часа сидел Л. Л. Толстой и говорил с ним о Земском Соборе. Однако я полез в сторону от материальной стороны дела. Думаю, что ее легко устроить*. Во всяком случае, делайте, как Вам лучше. Но на раздел Вашего сотрудничества я не могу согласиться, ибо уже сегодня Кривенко мне сказал: «Правда ли, что Розанов от Вас ушел?» Значит, об этом уже говорят. Согласитесь, что мне даже такие вопросы не могут доставлять удовольствия. Вам же, напротив, могут. Вот уж разница. Но я, кажется, слишком расписался, и разбирать меня трудно. Положите в архив.

Ваш А. Суворин
27 янв. 905

XLVI

Василий Васильевич!

Будьте добры, зайдите ко мне или прочтите прилагаемую корреспонденцию и начало моей заметки, которую я стал было писать. Но я напишу хуже Вас, но идею Вы усмотрите, и ее надо провести. Представительство все бы исследовало, допросило бы депутатов, решило вопрос, может быть, радикальнее, но не поставило бы православную церковь и русский вопрос в такое положение**.

Ваш А. Суворин
30 мая 905

XLVII

Дорогой Василий Васильевич!

Давно Вас не видал. Не хотите ли просмотреть эти огромные книги***, которые прислал обер-прокурор Синода. Есть тут по части нововременцев во-

* Опять моя идея, что «я могу *везде* сотрудничать». «Условия» (по *моей* инициативе) не были «изменены», так как всегда были хороши, и я чувствовал бы «притязательством» повышать их. В разное время (и без всякого повода и моей просьбы) они «повышались» самим А. С. Сувориным. — В. Р.

** Вероятно, — о Церковном Соборе как форме церковного представительства. — В. Р.

*** «Отзывы (всех) епархиальных архиереев по вопросу о преобразованиях в Русской Церкви», 4 тома in-folio. Здесь — масса бытового материала. — В. Р.

обще и Вас в особенности, например, стр. 119, часть I. Можно бы сделать характеристику архиереев по их отзывам. Я перелистывал только, кое-где останавливаясь. Архиереи неглупые люди и, кажется, почитывают по своей части. Вообще эти «отзывы» любопытны даже при беглом просмотре. Мыслей и опыта накопилось много.

Ваш А. Суворин

13 апр. 906

XLVIII

Многоуважаемый
Василий Васильевич!

Знаете ли, кто бы должен был напечатать Ваше письмо в ответ Шарапову? — Грингмут. Да, если он так умен, как Вы думаете. Я согласен с Вами и отчасти это высказал, что он поступил слишком наивно, слишком простовато, потребовав присяги от «Русских Ведомостей». Но он в то же время думал, что «Русские Ведомости» не осмелятся отвечать ему шуткой, и потому этот прием он считал превосходным. Ему помнилось нечто подобное в приемах Каткова, и, раз уже не получив ответа на этот вопрос, он повторил свой вопрос. Но ветер переменился, и его расчеты не оправдались. Таким образом, он наивен и прост только «по-видимому». Я потому говорю, что Грингмут должен был бы напечатать Ваше письмо, что он имел бы возможность отвечать на него и выяснить свое положение. Это ему прекрасный случай высказать тот ум и ту ясность ума, которые Вы у него подозреваете. Другого такого случая он не найдет, а ему надо найти, чтобы стряхнуть с себя очень большой промах. Он человек неискренний — вот в чем его беда. Я не напечатая, хотя мне кое-что нравится в этой Вашей искренней и хорошей исповеди. По-моему, без радикализма — что же за человек? Радикализм — это надежда, это идеал, это цель, это будущее. Без радикализма нет истинного таланта. А у Вас истинный талант, но он еще бродит, а потому о Вас не составилось настоящего понятия. Если бросить этот вопрос о Шарапове и Грингмуте, то Вашу «исповедь» печатать совсем не следует. Оценить ее могут только очень и очень немногие, а остальные и не поймут даже и исказят. Вы должны говорить и высказывать свои мысли не по поводу таких случаев, как настоящий. Ваши статьи о школе прекрасны. Статья о студенческих беспорядках не совсем искренна; в ней есть что-то угловатое для того, чтобы прикрыть неискренность. Позвольте мне передать Вам мнение о Вас Вашего почитателя: «Розанов очень талантливый человек, но он переживает тот возраст (40 лет), когда у талантливых людей является кликушество». Вы не сердитесь за это, тут обиды нет.

Если Вы будете писать для газеты, пожалуйста, ради наборщиков, т. е. ради удобства их работы, пишите только на одной стороне листа и оставляйте побольше поля, иначе строка очень длинна, и глазу наборщика приходится делать большое напряжение, чтоб следить за буквами по всему

протяжению такой длинной строки. Если Вам приходилось читать книгу с такими длинными строками, и притом без интервалов, то, конечно, Вы уставали скорей, чем за книгой с короткими строками, которые не лезут друг на друга*.

Ваш А. Суворин

21 янв. 907

XLIX

18 июля 907

Многоуважаемый
Василий Васильевич!

Я хотел бы, чтоб Вы исправили свой фельетон. Я вычеркнул сравнение Каткова с Каспием, вычеркнул Ваше обращение к Павленкову, который – ни при чем в вопросе об издании сочинений Каткова. Вы могли бы обратиться только к семье его, которой Катков оставил состояние, а не к издателям, которые не желают издавать то, что будет лежать в кладовых в виде печатной бумаги и выходить оттуда очень медленно. Затем я мало понимаю то, что Вы написали, особенно не понимаю выписку из Фукидида. Уж если выписывать, то можно найти много лучшего. Но я думаю, что выписывать не для чего. Затем, я не понимаю, зачем мы пишем так, что вечно обращаемся к Гоголю и вечно тревожим Петрушку. Неужели ничего поучительного в нашей памяти нет, кроме Гоголя и его героев. Я не знаю ни в одной литературе этого явления, т. е. чтоб писатели все цитировали для доказательства своих положений какого-нибудь одного писателя. А у нас из области гоголевских героев выхода нет. То Петрушка, то Собакевич, то Ноздрев. Мне думается, что критик и публицист обязаны говорить несколько иначе и, например, не сравнивать Комиссий по классическому преподаванию с Петрушкой. Неужели без Петрушки их уж и характеризовать нельзя? Конечно, это легче – сослаться на Петрушку, на Собакевича – и баста, но сплошь и рядом эти цитаты и ссылки ровно ничего не говорят, а только загоняют читателя совсем в другую область. Читаешь иностранную статью и постоянно извлекаешь из нее больше, чем из русской. Иностранец приведет много цитат из таких писателей, которые относятся прямо к предмету, о котором идет речь. А у нас – Гоголь, Петрушка и проч. Кружимся около этого и цитируем, точно в своей голове ничего нет. Скажите, почему это так и для чего это нужно? Почему Петрушка нужен в разговоре о классицизме и справедливо ли, что чтение иностранных писателей в переводе ничего не даст или очень мало? И опять Петрушка. Неужели если Петрушку не поймет француз, то ему следует для этого выучиться по-русски. Я полагаю, нет. Мне говорил один немецкий журналист, прочитавший «Шинель» Гоголя по-французски. «Это удивительный шедевр», –

* Кажется, вопрос идет о «Письме в редакцию», напечатанном позднее в «Северном Вестнике». – В. Р.

сказал он мне. Молодой испанский журналист рассказывал мне «Мертвые души», которые он читал тоже по-французски. Мне думается, что в своей статье Вы сказали очень немного.

Ваш А. Суворин

L

Василий Васильевич!

Неужели так вот 70 лет прожито даром и Чичиков все стоит перед глазами. Вы без Гоголя ни на шаг, точно мы остановились на «Мертвых душах» и далее ни шагу. Это правда не действительная, а литературная, учительская, – правда замкнутой комнаты и постоянного чтения Гоголя. Ни в одной стране нет этого языка со ссылками на героев сатир или романа. Ваша статья во всякой свободной стране была бы напечатана и не обратила бы на себя ни малейшего внимания. У нас она может обратить внимание цензуры и понравиться учителям, но реального значения за ней не будет. Вообще она очень хорошая статья, но ссылки на Чичикова, постоянные клятвы на Россию – «позорно, позорно» и т. д. – все это, по моему, совершенно не нужно. Одной статьей, будь она во сто раз резче Вашей, ничего не сделаешь. Надо постоянно долбить в одно место, а это можно только при известном спокойствии. В Европе учитель тоже не в авантаже, тоже – как римский раб. Это уж такое проклятие на просвещении. «Не о хлебе едином» – это как бы завещание учителю везде. Я, разумеется, совершенно согласен с Вами, что надо просвещению средства, надо поднять профессора и учителя, но об этом следует говорить спокойнее. Что делать, коли иначе нельзя. А главное, без Чичикова и т. п. господ, которых надо оставить литературной критике, ибо обобщать всех с Чичиковым совсем не убедительно*. О конце статьи – я не согласен с ним, но, раз статья идет за Вашей подписью, пусть будет так. Но если б я прожил 200 лет и имел бы все время детей, я не стал бы их образовывать по *renaissance* у летописей, былин, монастырей и «Слов». Храни от этого Господь. Ни Самарин, ни Аксаков и ни другие, которых Вы в свидетели призываете, – по летописям, былинам и «Словам» не образовывались. Конечно, русскому надо учиться и знать Россию основательнее, но без Европы ничего не поделаешь и на летописях далеко не уедешь. Ведь это монашеская канитель, в которой есть перлы, конечно, но их очень мало. И летописями, былинами и «Словами» также можно морить, как грамматикою латынян и греков.

Ваш А. Суворин

3 марта 908

* Все, что говорится в этом письме и говорилось в предыдущем об *отвратительности* вечных ссылок на Гоголя и его «Петрушек» и «Чичиковых» – полно у Суворина литературного вкуса. Действительно, это что-то *непорядочное*. Но мы «ругаемся Гоголем», как «ругаемся площадными словами», – и эта ругань 40 лет стоит в печати. Замечательны у Суворина и слова, что эти сравнения с «Петрушками» *ничего не доказывают* и говорят только о пустоте сердца и о пустоте воображения у самого пишущего, – о бессилии его к литературе. – В. Р.

20 апреля 1908

Василий Васильевич!

Я бы Вам посоветывал развить еще те мысли, которые Вы изложили в своей сегодняшней статье «Около народной души». Многое еще не ясно, но кое-что очень хорошо сказано и удачно. Я прочел это как стихотворение, но, мне кажется, тут необходима и проза с ее логикой. Что значит «войти в душу народную, оглядеться там, многому, очень многому научиться; ну а кое в чем – вступить в борьбу» и проч. Славянофилы тоже говорили о научении у народа многому и никогда не разобрали – чему? «Метерлинковский свет» – не понимаю. Мне его люди в драмах кажутся детьми с какими-то первоначальными импульсами. Это Петрушкин театр, с куклами, для маленькой аудитории. Исполнители должны не говорить, а шептать. Я читал Ваше предисловие к чему-то из Метерлинка, но, читая, думал, что Вы не читали того*, к чему предисловие писали. Это с Вами бывает, и, может быть, это не худо, потому что свободнее говорить свое, чем о чужом. Я Метерлинка люблю, но в том порядке вещей, о котором Вы говорите в своей статье, – я не понимаю, что значит «Метерлинковский свет»**. Вообще, повторяю, хорошо бы прочесть продолжение Вашей статьи.

Ваш А. Суворин

ЛII

(Карандашом на конверте.)

Василию Васильевичу Розанову:

Ваша сегодняшняя статья прелесть***.

Суворин

* Действительно – не читал и сказал это переводившему лицу, которое, не смотря на это признание, упростило все-таки «как-нибудь и что-нибудь» написать. Я написал несколько не идущих к делу полушуток. – В. Р.

** Я читал (с неделю, переживая каждое предложение) первые страниц 6 «Сокровища смиренных». И начал, после этого чтения, называть «Метерлинковским светом» видение и осознание тайной жизни души, – ее, так сказать, морфологии, а не физиологии; души и – судьбы человека. Напр., «я знаю, что будет завтра», и – «я предчувствую, тревожусь, томлюсь о том, что будет завтра»; вернее: «завтрашнее – уже сегодня (во мне и в мире) живет», и это-то слияние «сегодня-завтра» рождает «мое предчувствие». Все последнии феномены и суть «Метерлинковский свет» в моей, может быть ошибочной, терминологии. – В. Р.

*** После статьи в «Н. Вр.» № 11829 за 1909 г. (Попы, жандармы и Блок).

LIII

Василий Васильевич!

Будьте милы, прочтите мой ответ и сделайте свои замечания откровенно, если найдете неловкости и т. д. Я воспользовался Вашими замечаниями, иначе расположил первую часть и устранил почти все то, на что Вы указывали. Если б Вы сделали это сегодня, я был бы Вам очень благодарен.

Ваш А. Суворин
(1909?)

LIV

Василий Васильевич!

Вам бы самим сходить на Съезд и написать свои впечатления. Отчеты «Нового Времени» мертвы и бездарны. Ни один читатель, желающий уяснить себе, что такое происходит на Съезде, ничего не поймет из бессмысленных строчек, украшенных фальшивой головой Анрепа.

Ваша статья оригинальна, смела и правдива. В ней недостает только того, что проституция на самом деле давно существует там, где женщин не называют проститутками. Удивительно, что проститутка – предтеча и проповедник свободной любви, учительница новых поколений, «луч в темном царстве», отрицаемом радикальными воззрениями. Вот чепуха-то!

Ваш А. Суворин
23 окт. 910

LV

16 авг. 911. Франкфурт-на-М.

Дорогой Василий Васильевич!

Из моего невольного далека посылаю Вам горячую благодарность за то удовольствие, которое Вы доставили мне своим фельетоном о русской науке. Может быть, слово «удовольствие» слишком мелко, но Вы понимаете, что под ним должно понимать нечто очень важное. Дело не в моем удовольствии, а в удовлетворении очень и очень многих людей. Так еще никто не говорил, – так смело и так справедливо. Вопрос об ученых наших силах тщательно обходили и все сваливали на режим. Нет спора, он виноват, но отчего же у немцев и у французов и при старом режиме процвела наука и давала поколениям молодежи те знания, без которых трудно служить родине и складывать культуру. У нас представители науки университетской даже талантливым людям ничего не давали. Ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лермонтов, ни Толстой ничего от нее не получали. Начиная с Петра, все у нас само-

учки. Популярная литература вся переводная и довольно безграмотная. Даже популярная русская история написана французами и англичанами лучше, чем у Иловайского. Даже о русском эпосе лучшее сочинение французское, по признанию Ореста Миллера. Даже в этнографии немец Паллас много сделал. Вы написали свою статью так же смело и даровито, как, помните, написали статью в ответ Похитонову*. Вы, может быть, не знаете, что «Дядю Ваню» Чехова театральный Комитет, состоявший из профессоров Московского университета, не допустил на Императорскую сцену за то, что он осмелился осмеять профессора. Вот как представители науки поступили, как цензора. И все, что они писали сами, было до тошноты цензурно. Ни одного исторического, ни одного общественного вопроса они не касались как следует, а выбирали темы из времен допотопных в истории, например; хорошо Вы коснулись и Белинского. Но к Герцену Вы слишком строги.

Надо повторять эту тему о русской науке. Надо поддержать мужество тех ученых, которые служат действительно науке**. Вот что я Вам еще скажу. Борясь со своей болезнью, я имел дело со специалистами в Берлине, Фрейбурге, Эмсе и, наконец, здесь, во Франкфурте. Какая разница с русскими. Как они работают быстро, смело, какие у них приемы технические. Я видел и старых, и молодых, и средних лет врачей. Мечников прямо посылал меня к немцам, в особенности к Шпису здесь, во Франкфурте, который делает мне операцию горла. Крепко жму Вам руку.

Ваш А. Суворин

LVI

29 сент. 911

Милый Василий Васильевич!

Не могу не сказать нескольких слов на Ваше чудесное письмо. Вам бы следовало в газете сказать о Столыпине то, что мне написали: превосходно Вы чувствуете, что это «был первый министр-гражданин и даже чуть-чуть первый министр-обыватель». Мне даже кажется, что обывателем он был не «чуть-чуть», а много. Ему надо было жить. Может быть, тогда он памятника

* Описка или нетвердая память – «Пошехонову». – В. Р.

** Эти слова Суворина дают мне повод исправить одну не столько ошибку, сколько вообще неприятность. Достойный нумизмат, В. М. Алексеев, написавший первый на русском языке труд «О китайских монетах», принял за личный на себя намек слова мои об ученых, «изучающих китайские и индийские мифы». Незадолго до моей статьи он показывал мне китайские мифические (из Средних веков Китая) рисунки. Хотя я на самом деле нисколько в этом не виновен, т. е. его не имел в мысли, тем не менее приношу ему мою извинительную скорбь. Наряду со всеми эрмитажными учеными он принадлежит к тем русским «действительно служащим науке ученым», о которых упоминает Суворин, к людям редких знаний и редких способностей. – В. Р.

бы не скоро дождался, но он сделал бы то, что всего важнее, — вбил в русскую землю конституцию и то национальное чувство, которым он был полон. «Я плохой публицист», — говорите Вы. Это неправда. Все Ваши передовые статьи, без подписи, превосходны. Если не *все*, то большинство их. Подпись Вам мешает иногда быть публицистом. Публицист, строго говоря, не должен подписываться. «Times» и вообще английские газеты анонимны. Имя *подталкивает* перо именно тогда, когда перо должно двигаться горячо, без остановки, без уклонений. В критике, в статьях подписанных, личных, уклонения естественны и нужны; в публицистических газетных статьях уклонения мешают и ослабляют.

Я рад, что вынес операцию, длинную и мучительную. Но голос мой, увы, пропал, и порою я могу только шептать. А я говорить любил и вдохновлялся говоря больше, чем когда писал. Может быть, я мало слушал, поэтому мне и полезно послушать. Буду слушать. Душа, конечно, не стареет, но так как от тела она очень зависит, то ее можно уподобить человеку, который износил свой костюм и голодает. И холод, и голод, и стыд бедности мешает Вам и в старости — в ней и холод, и голод, и стыд. Письмо это, может быть, Вы получите вместе с тем, что и особа моя появится в Петербурге. Говоря откровенно, мне не хочется Петербурга с его суетою, и холодом, и слякотью. Мне теперь осень совсем напоминает мою старость. Летом гораздо лучше. Берлин мне не нравится. Франкфурт куда лучше, живее и теплее. Д-р Шпис, у которого я лечился, очень симпатичный человек: ему 48, моложав, чудесные глаза, прекрасно играет на рояле, поет, танцует, когда танцуют, и режет в горле с уверенностью необыкновенной. Недавно он через нос вырезал опухоль в мозгу одному человеку, которому грозила слепота. Первое мое впечатление от него было такое, что будто передо мною наивный молодой человек, с открытым и глубоким взглядом и с верою во что-то. Через месяц он велел мне опять приехать к нему показаться. И я поеду. Таким образом, дело мое еще не кончилось. До свидания.

Ваш А. Суворин

LVII

Милый Василий Васильевич!

Читали ли в «Историческом Вестнике» об Вашей арестованной книге (май). Если нет, прочтите.

У нас совсем почти игнорировали юбилей митрополита Антония, посвятив ему несколько строк на другой день. Это обидно. Не скажете ли Вы о нем, об этой 25-летней его службе, т. е. я хочу сказать — о службе его в чине митрополита. Я раз с ним говорил, и он мне понравился. Он так одушевился, говоря о бюрократии и притеснениях духовенства, что, казалось, говорит молодой человек. Можно передовую, если не хотите от себя. Пишу

это, сам мало разумея о заслугах митрополита. Есть ли они? Может, их нету? А может быть, они есть? Тогда нехорошо, что мы промолчали о человеке, который сам добился высокого сана.

Ваш А. Суворин

4 мая 912

Я вообще того мнения, что выдающиеся люди должны обращать на себя внимание печати. Что же страна без них?

LVIII

[На краю корректуры,
вероятно, за годы 1903–1907.]

В. В., очевидно, хочет реформировать церковь. Я думаю, что через газету эту реформу провести невозможно не только в самодержавном государстве, где фетишей так много, но и *во всяком* другом*.

ПРЕДСМЕРТНОЕ

(Карандашом на листочках.)

1

[«Уединенное[»] читал в Москве** и одобрял [–] не все.

2

Когда я читал, я все думал: а все-таки Розанов не все говорит, что знает, [–] главным образом, что чувствует. А это было бы очень интересно***.

3

Неужели книжка арестована? Не понимаю, за что.

* Обращено к редактору, вероятно Ф. И. Булгакову, на полях возвращенной мне («не пойдет») корректуры. Без подписи. Вероятно, в 1903 г. Заметку я отрезал от статьи и потому не могу восстановить времени. – В. Р.

** Куда ездил к докторам, для нового способа лечения. – В. Р.

*** Об «Уединенном». – В. Р.

Вы не подействовали на цензуру своей статьей?*

Отвратительно не говорить. Если б Толстой был в моем [положении], он все писал бы. А я не могу.

Я вообще чувствую себя скверно, тяжело.

Никакой склонности к писанию. Сам не знает, что делает и о чем заботится**.

Оно слишком политикою наполнено и спортом***.

Я ведь балуюсь, лечась. А я знаю, что скоро умру.

Что Вы думаете о нашем положении? Политическом и проч.

Читали Вы Толстого, посмертные?

[На мои слова, что читал и не понравилось, – с живостью движения:]

Даже [«] Хаджи Мурат [»], по-моему, неважно. [«] Капитанская дочка [»] в сравнении с этим – Храм.

* Статьей касательно неразличения цензурою, что «порнографично» и что не «порнографично». – В. Р.

** Не помню, о ком. Может быть, о Борисе Алексеевиче, сыне своем? – В. Р.

*** О «Вечернем Времени». – В. Р.

Я с ним говорил, показался он мне совсем несложным человеком. Сидел он у меня с час и говорил всякий вздор*.

Вы бы на эту тему написали**.

[(Не мне, а кому-то, но на листках, где писал и мне.)]

Никого не было.
Ездил с Сашей и Василием на острова.

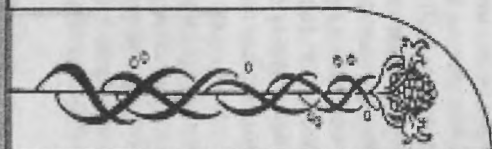
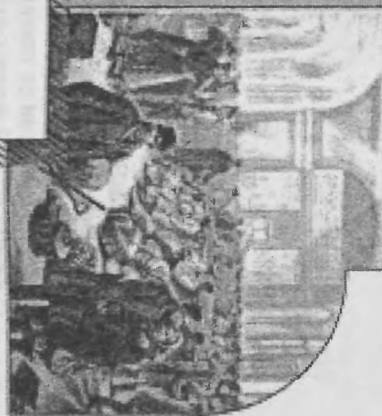
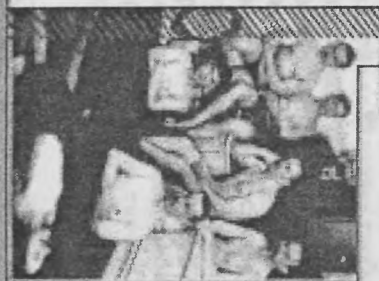
Говорил Вам Мих[аил] Ал[ексеевич], что премьер жаловался на Вас, что Вы не одобряете его [бриначу? финачу?] [попутно]?

Разве у Н. Ге мы купили пьесу?***

* О Григории Распутине. – В. Р.

** О гибели английского судна «Титаник». Я говорил, как прекрасно умерли погибшие. – В. Р.

*** Сохраняю эти заметки, как несколько характерные для его предсмертного состояния. Он весь был погружен в «труды и дни», в «сегодня»: и это говорит о великом покое его души и совести. – В. Р.



Письма В. В. Розанова к А. С. Суворину

<до 17 августа 1893 г.>

Милостивый Государь,
Господин Редактор!

Прилагая при сем, на Ваше рассмотрение, статью «Свобода и вера», вызванную толками последнего времени о пределах религиозной свободы*, я желал бы видеть ее помещенною в Вашей уважаемой газете на следующих условиях:

1) текст ее не должен быть в чем-либо изменяем,

2) гонорар = 15 к. за строку,

3) форма – 3 фельетона (1-й фел.: гл. I, 2-й фел.: гл. II, III, IV, 3-й фел.: гл. V–XIII), из которых два первые будут весьма короткие и последний – очень большой; в случае неудобства для Вас большого фельетона, третий фельетон может быть разделен на 2, причем главы XII и XIII отделятся в третий фельетон, но зато первые два фельетона (главы I, II, III, IV) должны быть соединены в один фельетон, и он не будет велик. Появление нескольких фельетонов, представляющих части одной статьи, для газеты вообще неудобно, но в «Новом Времени» уже были таким образом помещаемы нередко статьи, как Д. Самарина («Глашатай вселенской правды»), Н. Страхова («Три ступени нравственности») и пр. Что касается вознаграждения, то размер его Вы не найдете излишним, если примете во внимание, что фельетон по самой своей задаче требует значительной литературной обработки, и по крайней мере так оценивался мой труд в «Московских Вед.» (где в 1893 и 92 гг. мною было помещено 6 фельетонов). Что касается условия не изменять текста, то это для меня необходимо ввиду возможности возникновения полемики, причем, в случае изменения моих выражений, я, конечно, не мог бы их отстаивать и вообще принять спора. Наконец, относительно качества работы моей (которую и впредь, при случае, я желал бы продолжать на страницах Вашей уважаемой газеты), я не думаю, чтобы Вы нашли ее неудовлетворительною, так как до сих пор все органы, в каких мне случалось сотрудничать (в «Русском Вестнике» мне принадлежат статьи: «Легенда о Великом инквизиторе» 1891 г., «Эстетическое понимание истории»

* Статья Л. Тихомирова в «Русском Обозрении» и возражения ему Вл. Соловьева, Саламона, Н. Аксакова и др.

1892 г., «Сумерки просвещения» 1893 г., в «Русском Обозрении» – «О трех формах в развитии русской критики», в «Вопросах Философии» – «Цель человеческой жизни» и пр.), всегда помещали мои статьи без какого-либо неодобрения и изменения моего текста. Прошу Вас о решении своем уведомить меня в возможно непродолжительном времени (ибо самое время интереса общества к возбужденному вопросу может ослабнуть, и тогда появление ее будет запоздалым) по адресу: в *С.-Петербурге: Петербургская сторона, Павловская улица, д. 2, кв. 1, Василью Васильевичу Розанову.*

Примите уверение в совершенном моем к Вам почтении.

В. Розанов

Прошу Вас извинить меня за некоторые поправки в рукописи – плод усилий тщательнее сделать статью.

2

29 января 1894

Милостивый Государь,
Алексей Сергеевич!

Посылаю Вам при сем маленький критический очерк «Андерсен», написанный по поводу появления в нашей литературе первого перевода с оригинала всех его главных сочинений. Собственно, очерк этот касается не столько Андерсена, сколько *связи* его творчества с историческими, бытовыми и другими сторонами его родины; и в случае, если бы Вы нашли удобным помещение его у себя, я не имел бы ничего против того, чтобы, найдя другое, более узкое и соответствующее для него заглавие (какое мне не приходит на ум), Вы это заглавие изменили. Без сомнения, в более или менее продолжительном времени перевод Ганзена вызовет и много других критических статей об Андерсене в наших журналах (я уже и слышал, что разные авторы их готовят); в них с разных сторон и в разных своих элементах будет оценено художество Андерсена; *между* этими элементами и тот один, на который я указываю, имеет свое значение, и моя точка зрения имеет право на выражение. Как очень общая, к тому же едва ли не более всякой другой, она уместна, чтобы с нее *начать*.

Впрочем, все это Вам станет яснее из самой статьи, которую я желал бы поместить у Вас в виде фельетона (на условиях, на которые в принципе Вы выразили согласие месяца 2 назад в письме своем). В случае, если Вы не признаете ее удобною для себя, прошу Вас не отказать мне в ее возвращении по адресу:

С.-Петербург, Петербургская сторона, Павловская улица, д. 2-й, кв. 1-я.
Василью Васильевичу Розанову.

С уважением остаюсь

В. Розанов
29 янв. 94 г.

<до 15 июля 1897>

Многоуважаемый
Алексей Сергеевич!

Я заменил конец статьи о Пушкине и Спасовиче, который Вы не нашли ясным и доказательным, – совершенно другим. Пришлось несколько, но очень немного, удлинить статью. Убедительно прошу Вас ее напечатать.

Преданный Вам

В. Розанов

<после 12 августа 1898>

Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич!

Что делать – придется фельетоны разобрать, спасибо Вам, что Вы каждый раз даете отзыв о непринимаемом фельетоне, т. е. даете лишь со стороны судить себя. *Крадущийся* и *недоговаривающий* тон фельетона о Толстом выходит из опасности (даже от цензуры) темы. Вы знаете, что я очень (всегда был) религиозен и по сие время через 1–2 недели бываю у себя в приходской церкви; вообще люблю все церковное: итак, это не есть ни легкомыслие во мне, ни преднамеренная и тенденциозная враждебность к установлениям церкви, если я скажу, что в христианстве есть *неполнота*, и в таком пункте, что лишает его силы и даже надежды когда-либо овладеть жизнью. Эта неполнота и лежит в воззрении на семью и брак: в сущности, церковь не «брак» признает «святым», а только *свое* действие над брачующимися («внутри-храмовое венчание»), а самый брак, самое течение жизни семейной стоит полным недоумением среди характерно бесплотных доктрин христианства. Об этом и плачет Позднышев – Толстой: «Мы повенчались – а затем что?» Толстой спрашивает, и церковь не умеет ответить. Не умеет, потому что в этом пункте начинается в церкви зияние, дыра; нет положительного научения. Какие-то неприличности («карамазовщина» Достоевского), но из которых, во-первых: 1) рождаются дети, т. е. характерно невинные существа, и даже – *excusez du peu** – единственно на земле святые, непорочные существа; и, во-2), «неприличности», на коих и держится вся реальная связанность рода человеческого: ибо что значит работа около нас и наших нужд, горестей и проч. священников и «милостивых самарян» перед работой, заботами, болением наших незаметных жен? Таким образом, «семья», «неприличности» спальни, рождаемые дети – суть религия же; и мы подходим к вопросу или о второй религии возле христианства, или к глубо-

* ни больше ни меньше (*фр.*).

чайшему преобразованию христианства, и третьего выбора нет. В том и другом случае мы стоим перед религиозною реформою, которая задевает более существенные стороны, чем спор между Лютером и католиками о том, делаем ли и верою или одной верою («благодатью») спасается человек. Слава Богу, Алексей Алексеевич дал мне провести 4 фельетона, где я уже глубоко шевельнул этот вопрос; может быть, неумело, азартно – я все порываюсь к этой же теме. Тема именно колебания нашей цивилизации. Тут бы нужна ясность А-та (Петерсена); могучее слово Толстого; был бы жив Достоевский (бессознательно всю жизнь работавший над этою темою), он бы ухватился за тему. Рано ли, поздно ли, я найду для нее «язык простой и голос мыслей благородный» (простите, что перевираю цитату). Я упомянул о сфинксах, ибо, к удивленью своему, нахожу религиозную истину в египетской, да и всех языческих религиях: это и были религии *брачно-религиозные*, в отличие от христианства, которое одно только берет человека в одиночку, как Симеона на столпе, и говорит: «Вот так можно спастись»; а по-моему (и по язычеству, да и по Толстому в тайниках его мысли), – спастись не только можно, но и преимущественно можно «друг с другом», «вместе», «репка за репки», с детишками и «потрохами». Меняется теизм – и меняется культура. Но я пытаюсь в самом христианстве найти для этого зацепку: это – Вифлеем, который (как и все, в сущности, таинства) нисколько не разработан в церкви. Божия Мать – конечно, стала таковою не в покровах своих, не в плáте, накинутом на голову, но именно и специально как *мать* и *дева* в органических своих чертах. Как только мы это примем во внимание, т. е. отбросим с Девы покровы, совершенно ложно поклоняемые, – мы вдруг получим слияние христианства со всем язычеством; останется Бого-«родительница» – Дева, Божество в девственно-женских своих частях; и моментально мы постигнем, почему брак каждого смиренного и каждой смиренной есть «религиозное таинство», о чем лишь фиктивно учит церковь («не в вашем браке – тайна, но в моем вас венчании»). Религия совершенно преобразуется: она станет кровною религиею «кровных отношений», «семьи», «чадорождения», а не Соловков и Валаама. Тут только и возможна теитизация всей жизни, всего жизненного уклада. – Фельетоны Вы прикажите разобрать, а если Бог внушит мне переделать в понятную форму о Толстом, это будет новый фельетон, и я его принесу к Вам как новый.

Преданный Вам *В. Розанов*

5

Август 1898

Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич!

Вы лучше меня знаете, т. е. жизненно испытали, значение стиха:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия –

и оцените, что Кавказ и Крым, тысячу раз описанный устало-насыщенным пером писателей, все-таки может представить кой-что *новое и свежее*, когда на него смотрит человек, ранее никогда не спускавшийся южнее Орловской губернии. Поэтому, *никого не повторяя* и единственно надеясь на *свежесть смотрящего впервые глаза*, я позволяю себе дать Вам несколько очерков: один – посвященный Кавказу (теперь посылаемый); один – Крыму; один – размышлениям о Востоке в его характерном отличии от Запада. Думаю, это будет просто и занимательно для читателей, не говоря о наших бесчисленных обитателях юга.

Преданный Вам *В. Розанов*

Как хороша была Ваша статья об Ал. II по *полноте* очерка; как точна *граница* его способностей; гениальность (относительная) эпохи; недостаток у него *сотрудников* (ужасно важное замечание, чрезвычайно много объясняющее: в «сферах» это была бездарнейшая эпоха, государю не у кого было спросить совета; ведь он, при заметной негениальности его способностей, все же был даровитее каждого из своих министров, между коими некоторые были прямо уморительны). Да, этой гениальной по *свежести* эпохе, этой бы весне – да *такт* «матушки Екатерины», ее умение схватить настроение и властительно повести людей за собою, царственно их повести, а не демократически поплестись «*в толпе*» за вожаками толпы же. И Вы верно отметили, что в *ту же эпоху* общество выдвинуло огромные умственные силы: тут-то общество, сияя умом, и вырвалось впервые из-под дирижерства сфер, частью, как я сказал, «юмористических». Ну, да Вы это все «во-очию» видели. Только слово «рабство» я не употребил бы: было ли у нас «рабство»? Мягкость – сверху и ширь – снизу русской натуры не допускала, кажется, никогда рабства в западных, в американских или в римских формах.

6

<1899?>

Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич!

Очень я измучен жизнью, оттого так дурно пишу. Все Ваши упреки – правда; все чувствую сам, и спасибо, что, уже старый и утомленный человек, Вы пишете длинное «учительное» письмо. Ужасный у Вас *почерк* только, и я пишу этот ответ, разобрав лишь 1 страницу иероглифов. Но в Вас есть доброта, живость, отзывчивость – совершенно выдохшиеся в нас всех качества. Ну, простите, – посылаю эту писульку и с увеличительным стеклом буду разбирать дальше. – Да, вот большое дело: если б Вы мне дали в «Нов. Вр.» *богато* разработать, правда, щекотливую тему – о *поле и половом*. Алексей Алексеевич ею стесняется. Как-то в разговоре с Вами я услышал от Вас заметку: «Нет, Ницше очень интересен; Вы не читали его «Антихриста» – это

поразительно». Теперь я Вам отвечу, о чем промолчал тогда, что в Евангелии есть странная сторона: совершенная бесплотность, полное умолчание о кровных отношениях между людьми, т. е. родстве, семье и т. д.; о том, что составляет $\frac{9}{10}$ жизни. Это вещь ужасная потому, что Евангелие по смыслу нашей христианской цивилизации есть для нее фундаментальная книга. Размышляя очень упорно над этою темою, я пришел к выводам очень печальным для нашего христианства и думаю, что изумительное загрязнение нашей жизни и бездна индивидуального несчастья вытекает из этого странного евангельского умолчания. Собственно говоря, мы имеем очень *двусмысленного* характера *семью* и *брак*. Евангелие не имеет *никакого* на это взгляда и даже в решительный момент говорит: «лучше не жениться». Отсюда, из этой ужасной строки, потекло 2000-летнее отрицательное воззрение на пол, и, как мне думается, с этою строкою вошли под видом «кротости» и «чистоты» существенно демонические струи в нашу цивилизацию. Обратите внимание на недопущение развода, когда фактически брак уже расторгнут; от этого – и страх перед браком, и отказ молодежи вступать в так часто неудачный, но юридически нерасторжимый союз; на $\frac{1}{2}$ «незаконнорожденных», на детоубийства «из стыда» девушек, на вытравление плода девицами, вдовами и монахинями. Кровь именно *детская* неустанно льется: это какие-то вифлеемские избиения под покровом «искания Христа», искания осуществить Христову «бесплотность». Вот точка, из которой полезла ужасная грязь нашей цивилизации и на которой эта цивилизация просто могла бы быть потрясена, т. е. потрясена в том аскетически-монашеском идеале, которым она руководится, а не руководясь – остается на воззрении, что все это – «животное». Между тем можно открыть и доказать, что пол и половое как родник *семьи* и *родства* есть религиозное, священное; и что даже вообще религиозные веяния в человеке веют отсюда. Завтра или послезавтра я буду у Вас, и поговорим об этом. А сейчас бегу на службу.

Преданный Вам В. Розанов

7

<март 1899>

Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич!

Приношу Вам самую горячую благодарность за повышение гонорара, и приношу эту благодарность от детей своих и усталой жены. Дай Бог мне на деле отплатить Вам за нее, т. е. хорошо и удачно, *счастливо* работать для газеты Вашей. Это не всегда выходит преднамеренно, т. е. часто мы имеем наилучшие намерения в литературе, но чего-то нет, вдохновение ли не приходит – и тогда ничего не выходит. И раньше я слышал о Вашей доброте к рабочим в типографии, о пенсии Коршу, соиздателю «Петер-

бургских Ведомостей», и вот мне самому пришлось увидеть то же. Так как этот шаг Ваш был чисто добровольно, не связан ни с какою нуждою собственною для Вас, то тем паче я ценю свободное движение Вашего сердца. А в скольких «высоких богословах» я обманулся в жизни, в «высоких христианах»; и вот мне протянул руку помощи человек, который никогда не говорил о своей религиозности.

Еще раз крепко благодарю Вас и крепко жму руку.

В. Розанов

8

<до 18 апреля 1899>

Простите, глубокоуважаемый Алексей Сергеевич, что я допустил себе сделать *все и всякие* поправки, какие, так сказать, невольно *завязли у меня в языке и капнули с пера* – при чтении Вашего объяснения. Про себя и у себя Вы объективно увидите, *угадал ли я нужное или заметил пустое*; и, словом, объективно меня поправите, как я объективно поправляю Вас, *издали*, приглядываясь к речи и голосам ее. – Ну, дай Вам Господь всего лучшего. Почти – Христос Воскресе, – обнимаю и целую Вас.

Ваш В. Розанов

9

<апрель 1899>

Многоуважаемый Алексей Сергеевич!

Подлецы, очевидно, хотят *запугав* запутать Вас и *обмарать*: посему я и сделал все так в рукописи, что Вы держите голову *прямо* и при попытке противозаконно обмарать Вас – прямо им же угрожаете. Поверьте, что шакалы *спрячут хвост*, как только Вы не выкажете им *робкого сердца*. Они для того предварительно и *травили* Вас в печати, чтобы, доведя морально до истощения, отнять у Вас *силу сопротивления* на возможном и верно тогда же задуманном, в качестве последнего удара, «суде чести».

Ваш В. Розанов

Вы, как смущенный человек, едва ли видите ясно положение карт и точные границы игры. Распуская под рукою и шепотом «Суворин бесчестен», после суда и присуждения они получают право громко говорить: «Да, Суворин бесчестен, это признала литература, мы». Поговорили бы Вы с Плющик-Плющевским о возможности жалобы на *диффамацию* и вообще о *технической стороне* моей им угрозы.

<до 25 июня 1899>

Многоуважаемый Алексей Сергеевич!

Есть у нас пословица: «Правда светлее солнца». Когда ее услышал, давно и от одной старушки-вдовы, подумал: «Жив русский народ», т. е. он жив, имея в душе такие верстовые столбы нравственности, как эта поговорка. – Много я получаю частных писем и не смею ими утомлять ни Вас, ни Алекс. Алекс., ибо от работы у Вас, конечно, голова идет кругом, но вот я только что получил 1 письмо по поводу «Элементов брака», и решаюсь Вам его представить, и еще другое прилагаю, ранее полученное. Вы с Анной Ивановной лежите себе «к сторонке» и говорите: «Нам тепло!» – а ведь кой-кому «ой, как холодно». Не верю я, чтобы на «святой Руси» нельзя было *для всякого добиться правды*, да пока нет правды, я самую «святую Русь» под надзор беру и в «подозрительные» записываю.

Я, может быть, дурак и до крайности наивный человек, но решительно не могу поверить, чтобы я *родился* под неправду, в неправду и *для неправды*. Тогда незачем было родиться. Ведь даже Филарет написал:

Не напрасно, не случайно
Жизнь *от Бога* мне дана.

А когда Филарет написал, то неужели Розанов не вправе поднять вопрос: да неужели такое множество рождаемых малюток (в Петербурге $\frac{1}{3}$ всех рождаемых) суть

Дар *напрасный*, дар случайный...

Чер-р-р-т знает что такое! Да ведь это мировой пессимизм, когда так. Вопрос о браке меня вовсе интересует не практической стороною (хоть и она важна), а метафизической, ибо ниоткуда нельзя заглянуть так глубоко в корень вещей и, между прочим, в корень христианства. Содержится *пол* в религии или не содержится? Если *нет*, само собою нечего и говорить о браке как *таинстве*, и церковь должна, но явно и громогласно, отречь от себя семью и сама от нее отречься; поместить, так сказать, семью в разряд «отреченных, апокрифических книг». Но *без семьи* – сама церковь умрет: кто же пойдет в нее молиться, если не малютки, не матери. Ведь тогда ей останутся одни купцы, да и то только холостые. Итак, церковь от семьи никогда не откажется, но тогда она должна не мнимо и фальшиво, а в самом деле радостно и «во вся» принять в себя семью, принять ее не в закон церковный, но в душу свою религиозную, в молитвы свои, в ектении, в весь строй и во всю поэзию. Где же у нас *семейные*, для *семьи* написанные молитвы? Есть молитвы *политические*, там разные «победы даруя»; есть молитва даже против нигилистов (Победоносцевым сочиненная); есть молитва *перед путешествием*. А вот когда женщина

пугается в приступе родов, то бедной нечего и прочесть к Богу: только глазами поведет на образ. И мы имеем политическую церковь, а не семейную церковь, мы имеем консисторскую церковь, а домашней церкви у нас нет. Вот начало анализа. Никто не догадывается, что мы живем в антагонизме семьи и церкви, и это разрушает как одну, так и другую. Церковь без семьи гибнет, холодеет, становится пуста; а семья без церкви гибнет, ибо зашаталось в ней все. Неужели не великая реформа *гармонизовать церковь и семью*. Церковь и согласна бы, но при условии: «Я почванлюсь, а вы меня поносите»; это, помните, как в истории сказали послы древлянские мужам киевским: «Не хотим ни пешком идти, ни на конях ехать, а несите нас в лодках» (в которых приехали по Припяти). Тут начинается *гордыня церкви*, а где гордость, там «лукавый» и все «от лукавого». Повторяю, этот анализ важен. Повторяю, рождение метафизично, как и Филарет сказал; а когда так, церковь не имеет права сохранить свое учение о браке как о каком-то *апокрифе*, который она чуть-чуть допускает, а 100% его боится пропустить в себя. «Умру»... Как Вы с вашим умом не спохватились, что брак похож у нас на собаку, которую *ущемили* в дверях, и именно в дверях церковных. Голову-то по сю сторону, внутри храма держат: «без головы собачьей умрем», «без брака, *хотя по имени*, — умрем». Им отвечают: «Ну, так пустите всю собаку, а то ей больно, визжит». Церковь странно отвечает: «Нет, когда всю собаку пропустим, то тоже умрем, нам нужно только $\frac{1}{2}$ собаки и даже одна голова ее, одна даже *кличка*». Ну, «собака в дверях» и издыхает, то есть издыхает семья, весь семейный быт, вся семейная поэзия и вся семейная религия, «не пускают в церковь!». Как Вы не видите, что *это мировой вопрос, только что начавшийся*, и он поважней реформы Лютера с его пустым недоумением: «*Верую* одною или верою и *делами* оправдан будет человек перед Богом». Я верю, что правдивому русскому сердцу предлежит, отряхнувшись до конца от Византийской рухляди, сказать в христианстве свое огромное, новое слово. И вот точное *допрашивание*, как церковь учит о рождении:

Дар напрасный, дар случайный

или

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана

и есть коренной вопрос, откуда можно начать гениальный анализ всей византийской церкви. Ну, а пока прочтите 2 письмаца.

Ваш преданный В. Розанов

А пока я Вам напишу хорошую передовицу о нашем теперешнем промозглом *стоянии*. Вот удел «великие стояния», какие бывают в *посту*.

Пожалуйста, письма мне верните, т. е. не *затеряйте их*.

<до 14 сентября 1899>

Тронули Вы меня, многоуважаемый Алексей Сергеевич, Вашим письмом и Вашей чуткостью. Сколько молодости еще у Вас в душе, если есть *попытки* отозваться. Слово Ваше дорого и как ценителя (литератора) и приятно мне словом от редактора сотруднику, всегда имеющему причины сомневаться, не даром ли он хлеб ест. Да, успокоили Вы меня, и не знаю, как Бога благодарить и какое горячее сказать Вам спасибо за устройство меня в «Нов. Вр.». Ведь я все нервы вымотал с большой семьей на 150 р. жалованья, когда эти самые «150 р.» получал одиноко, в уездном городе, в 1-й год государственной службы. И сколько ни бить пороги «христоролюбивых» людей, Т. Филиппова, Аф. Васильева, – все видели мою нужду, прямо слезную, видели болезнь и смерть детей и невозможность купить другой раз лекарства – никто и пальцем не шолохнул. Да, узнал я наше православное «христоролюбие» и ужаснулся. Но оставим горькие воспоминания. Теперь я весел, *счастлив* (прямо *душевно* счастлив: до того с «душой» связано тело и все подробности жизни), и вся моя семья расцвела. И охота трудиться. Да когда весело – как не трудиться.

Алекс. Алекс. крайне предан газете, и это упрочает все дело. Что делать, нечего таить от себя и Бога, что Вы уже – стары, что Вы уже – в закате, а не восходе, хоть Бог и поддержит Ваши силы. Но «Н. Вр.» дело десятилетий, если и не вековое дело (хотя отчего бы и не стать ему вековым даже?). Алекс. Алекс. не будет вести газету экспансивно, с художественными эпизодами; но у него есть даже преимущество перед Вами именно в сторону устойчивости и постоянства: программа, которая едва ли изменится, которую он не обещает изменять. Это тоже дело важное. Самое время Ваше есть 60–70–80-е годы, т. е. именно десятичные вулканические извержения, и людей тоже вулканической, а не нептунической породы. Так и Вы: все на свете видели, бездну пережили; какие люди, какие настроения перед Вами прошли! Сколько колебаний! Сколько *самоувереннейших* решений, на которые позднее смотрели как на сумасшествие. Эпоха ходила, и люди ходили, как льдины в ледоход. В зависимости от этого вот – Вы, и вот – Ваши образы, и вот – Ваша судьба. Что же, время красивое и живучее. Теперь – много скучнее жить. Теперь все пошло в *отстой*: точно наливка на солнце у трудолюбивой хозяйки: «Пускай, матушка, постоит». Да, совсем другое время, признаюсь, мне не особенно по сердцу. Но, как бы то ни было, к этому историческому отстою идет тихий и обдуманный темперамент Вашего сына, и, я думаю, «Н. Вр.» с ним начнет линию стойкого и дальнего плавания. Он всем интересуется и в этом смысле крайне помогает сотрудникам (выбор тем, установка точки зрения, и, словом, он вовсе не пассивный и даже с излишествами активности редактор). Думаю – все это ладно, все это не лишнее в куче разнообразных *плюсов*, которые уже имеет «Н. Время».

Крайне горько было в сегодняшнем «Мал. письме» прочесть о хлебе и дождях. Если Бог уродит у меня мысль – должно быть, я кой-что об этом тоже напишу. Прощайте – и да сохранит Вас Бог.

Ваш преданный В. Розанов

12

<до 30 марта 1900>

Многоуважаемый
Алексей Сергеевич!

Я поправил, что Вы отметили в статье. Взял заглавие: «Думы и впечатления». Списочек журналов, о которых Вы мне говорили, я обдумываю: это нужно зрело обдумать. Тогда представлю Вам.

Ваш преданный В. Розанов

13

<после 6 июня 1900>

Да, многоуважаемый Алексей Сергеевич: когда пишешь, то впадаешь в субъективную иллюзию. Закон писателю: проветривайся и проветривайся; это как белье после стирки выносят на воздух проветриваться. Оттого такие «внутреннего изделия» журналы, как «Русский Труд», и выходят смешны. Прочитал сам автор – и сунул в машину: никто на него со стороны не посмотрит. Но не все авторы таковы, чтобы сказать: а ну-ка, не сидит ли у меня на спине сюртука какой дряни; если да, – сними, братец, пожалуйста. Самолюбие авторов – бич их, враг их и об них памяти в потомстве.

Ужасный у Вас почерк: как иероглифы или славянская вязь. Мы здесь в трудах. Отдыхайте. Просто меня удивляют Ваши длинные письма (конечно, – спасибо): вот человек еще не устал писать. Я почти не пишу частных писем; просто не могу; в статье – заиграет мысль, и забываешься. А вообще чернильница – Горгона для писателя. И рожка у ней черная, скверная. Все в фельетоне выправил; просто от субъективной иллюзии не замечаешь, как, напр., надоедают одни и те же имена (Коновалова, Маслова). Милое – становится противным. Великое дело – незабудка под кустом, великое счастье и правда неизвестности. Ну, простите, дорогой*, жму руку. Поклонитесь доброй Анне Ивановне; дочь – почти меня не знает, а то бы и ей поклон.

Ваш В. Розанов

* Не сердитесь за обмолвки *бесправные*.

Еще письмо Ваше только до $\frac{1}{2}$ дочитал. Буду «страдать и наслаждаться». Простите, простите за шутки: ведь писателю только пошутить – и *отдохнуть душевно*. А то очень мы трудимся, очень серьезны: надоело.

14

<13 августа 1900>

Многоуважаемый
Алексей Сергеевич!

Дабы не ввести Вас в недоумение, считаю долгом Вам сообщить, что под беллетристическим фельетоном «Декадент» я выставил другой псевдоним – *Старый провинциал* взамен не нравящегося мне «Ибиса».

Ваш преданный В. Розанов

Очень бы мне хотелось, чтобы в воскресенье пошел который-нибудь из моих фельетонов, беллетристический или «Возрасты любви». Они оба не трудны для чтения.

15

<до 17 января 1901>

Многоуважаемый
Алексей Сергеевич!

Я думаю, для «Нового Времени» будет удобно и до известной степени нужно поместить мой ответ Мережковскому, с признанием прав древнего эллинизма и иудейства в христианстве; поместить хотя бы уже для того, чтобы отойти в сторону от самых неприятных соседств. По горячности Мережковский дал совершенно неудачную формулу своим, конечно не монашеским, а эллинским тенденциям, и синодалы наши самым смешным образом обрадовались случаю пойти следом за Мережковским. Все это возможно и нужно исправить.

Ваш преданный В. Розанов

16

<2-я половина марта – апрель 1901>

Многоуважаемый и дорогой
Алексей Сергеевич!

Пишу за полночь, простите, что на blok-note, но захотелось мне поблагодарить Вас за то, что Вы мне дали возможность, без Вас, наверное бы, никогда не исполнившуюся, увидеть свет. Знаете, о чем я думаю непрерывно здесь: а

что, если бы что я вижу – увидал Пушкин. Ведь какие бы еще толики прибавились к его творениям?! Ведь Гоголь в Риме вспомнил «Мертвые души». Заграница – целый университет. Хорошо потрогать историю руками, мало о ней читать. Спасибо Вам, дорогой, и Бог Вас наградит за беззаботно (уж простите) доброе сердце. Послезавтра выезжаю в Флоренцию, дней на 8, потом 2 дня в Венеции и – домой прямо.

Ваш В. Розанов

17

<июнь 1901>

Ответно здравствуйте, дорогой и неоцененный Алексей Сергеевич! Прочел еще первые только строки Вашего письма, и захотелось и Вам сейчас сказать: «Здравствуйте!» Ведь Ваше письмо разбирать – часы и мука, и я не утерпел.

Об Италии: глаз у меня не усталый от впечатлений, я ничего ведь в мире не видел, а потому вижу много нового. Ах, если бы больше простора, просто физического, бумажного: я бы мало-помалу заново поставил вопрос об отношении к католицизму. Ведь мы как решили?

1) Вечная вражда. Ну, что же, сиди и грызи ногти – ничего не получится. Это = 0.

2) Примирение как отречение католичества от папства и слияние с нами в качестве простого епископства. Да как же, когда папы *сделали католичество*? Ну, как вы будете мириться с Россией, *исключая из нее русского Государя*? Невозможно. Пустые разговоры. Пустые надежды.

3) Примирение как отречение от православия (Вл. Соловьев). Да, но разве можно убить *добрый русский дух*, отразившийся многими добрыми и простыми и мудрыми чертами и на православии. Несправедливо.

Итак, в отношении к католицизму мы до сих пор доработались до 0, *невозможного и несправедливого*.

Мне казалось, что я в силах сдвинуть вопрос с этой мертвой точки. В Италии свежим, неутомленным взглядом я подглядел многое, чего раньше, кажется, не видели путешественники. *Нужно просто начинать знать друг друга и понимать друг друга*, помните, как у Пушкина:

что чувства добрые я лирой пробуждал –

и вот капля по капле сам собою начнется синтез Востока и Запада. Ведь я видел у них обряд крещения: отвратительная бедность, нищенство сравнительно с нами: ребенка привезли в Баптистерию (во Флоренции) и, сняв чепчик, полили из ковша водицы на голову, что-то прочли, и довольно – вези назад. Мы с женой просто ахнули. Это – нищенство, это – убогость против православия. Но около этого католичество имеет бездну обдуманности и *всестороннего* развития. В чем, как – ну, этого в письме не напишешь.

Мы уткнулись носом в *filoque* и папство, т. е. в непонятную словесную прибавку и в зависть наших архиереев к римскому архиерею, который «обошел их чином», — и тронуться с места не можем. А что за дело русскому народу и до *filoque*, и до зависти наших архиереев? Католичество — великая культурная сила, вот чего нам терять из виду нельзя. — Уморительно я с одним францисканцем в вагоне разговаривал о плохом, опасном положении христианства во всем мире: и что же, на полулатинском, полуфранцузском, полуитальянском языке мы говорили как друзья. Мне больно и ему больно — и друг другу плачемся. И мы были просты — т. е. католик был без высокомерия и русский — без зависти. Кстати, я в Италии всем говорил «*io russo*»*. Какое-то прямо хвастовство напало. Мне казалось, что после «*io russo*» все должны на меня смотреть как из золота сделанного. И знаете — до трогательности везде милое отношение. Но тут — опять в письме не упишешь.

Пишете о национ. школе. Конечно, мы *через край* загибаем, это я чувствовал в «Н. Вр.» не теперь, но и прошлый и запрошлый год. Отрицать древний мир невозможно по *красоте* его жизни, мышления и литератур. Без Платона и Эврипида не обходился еще ни один народ. Отрицать вовсе *солидарность* народов — невозможно. Дойдешь до самого куцега и тупоумного русизма; станешь предпочитать «Сад Немецки» Comedie Française. — Но вот в чем *наше право*: право оскорбленного. 30 лет презирали «они» причину, указания, самые доброжелательные, крик общества, действительную муку и действительное несчастье детей. «Они» так согнули дерево в одну сторону, что перегиб его в другую сторону *на такой же градус* стал исторической необходимостью, стал нравственным удовлетворением, в своем роде «реваншем». Но реформа, при всех насмешках Мещерского (сознаюсь, — ядовитых и удачных), кажется, пойдет отлично, и просто потому, что *ее все любят*. Великое дело: «все меня любят». Это дает крылья, это дает *почву для поправки*. Д. Толстой никогда не хотел поправиться, ибо его все ненавидели, и он замер в гордости и оскорблении (ибо он думал и надеялся устроить хорошее): «Ничего не хочу поправлять! Все — совершенно! Они дураки и не понимают». Как дело стало на эту почву, а оно стало на нее с 1870 года, оно стало делом, обреченным смерти.

Реформа Ванновского пойдет отлично, ибо ее все хотят, все любят, и она сто раз понравится. Большинство у нас статей писал, кажется, Карпов, мне они казались только что только сносными, а национальное беснование на другой же день стало надоедливым, наивным и смешным. И все же я твердил себе и другим: «Отлично! Отлично! Они — мальчишки, но эти мальчишки отличное сделают дело, *свежее, здоровое, с силами роста* в себе». Литература так развита теперь, да и так стал скептичен русский ум, что *застояться* наивному не дадут, сейчас все страхнут иронией. Ну, нужно

* «я русский» (ит.).

доверие между школой и обществом, гимназией и родителями, и это доверие *вдруг родилось и есть*. А это великая вещь!

Ну, устал писать. И насчет женщин Мещерскому ответили. Как Вы верно пишете, что если продолжать Мещерского, то нужно запретить танцы; а ведь под *его пером* танцы описались бы так: «Девушка и молодой человек, полуобнажившись, скачут по зале! и так все!! парами!!! Содом – хуже, чем у меня в кабинете». И пакостник же он: 30 лет пишет о нравах курсисток и студенток, когда сам «превзошел все нравы».

Как грустно, что Вы нездоровы. Как вообще грустно, что я узнал Вас на закате, когда Вы уже устали и Вам трудно и говорить и действовать. Без лести скажу, что Ваш светлый и добрый и открытый характер скрасил мне много дней, прибавил доброго мнения о людях. А я знал в этой сфере много разочарований. Крепко, крепко жму руку. Укрепляйтесь. Да знаете ли что: читал я лет 20 назад, в журналах, письмо знаменитого тогда Карла Фохта: «Вот – был стар, боли, усталость и сонливость настала; мой друг профессор такой-то стал меня лечить Броун-Секаровскими впрыскиваниями – и я опять тружусь, свеж, хочется работать». Знаете, ведь всех волшебств природы мы не знаем. Впрочем, Вы, кажется, лечиться не любите.

А в «Нов. Вр.» можно исподволь поправиться в сторону устойчивости и серьезности и неокончательного похоронения культуры античной. Об этом я с Геом поговорю. Да скоро ли Вы приедете? Анне Ивановне поклон.

Ваш преданный *В. В. Розанов*

18

<конец июля 1901>

Горько мне было, многоуважаемый Алексей Сергеевич, получить от Вас письмо, и, разумеется, я жалею, что поместил рецензию о Меньшикове. Но вот в Вене, в Троицу и Духов день, я с 9 часов вечера видел улицы уже совершенно пустынными; т. е. все сидели дома или сидели в театрах; того гулянья, вечернего и ночного, как у нас, – нет. А там гражданский брак и даже смешанные браки между евреями и христианами, без перехода еврей-жениха или еврейки-невесты в христианство. В Риме – упразднена уличная проституция и – тоже гражданский брак. В церквах везде Мадонны, но вот поразительно: на окнах эстампов я не видал полуобнаженных балетчиц. А между тем, когда в Италии и Австрии вводился гражданский брак, и там тревожились, и серьезно тревожились, что эта проповедь идет к разрушению семьи. У нас семью так охраняют, а ее почти нет; там почти разрушилась «христианская семья», а между тем только очистились уличные нравы. Кто любит свою жену – будет сидеть с нею, и кто любит своего мужа – будет сидеть с ним. Таким образом, нужно добиваться не свободной любви, но чтобы брак был фактически любящим и основывался на факте любви. Да

ведь это и входит в чин венчания: по каноническому праву я очень хорошо знаю, что *единственное условие* для священника есть *свободное согласие жениха и невесты* на брак; а по католической догме брак считается состоявшимся, если перед священником жених и невеста воскликнут: «Мы по свободному желанию становимся мужем и женою». Нужно только, чтобы это было сказано перед священником (авторитет церкви), и, если даже священник ничего не сказал, не совершил никакого чина венчания, — брак уже есть, состоялся. Римляне точны в определениях и расчленяют то, что у нас слитно и смутно.

От чего зависит серьезность семейных, да и всяких нравов? От серьезного настроения вообще, от серьезного настроения общества, от серьезного настроения человека. Но довольно справедливо можно сказать, что где чувство Бога, там и серьезность. А где оно, это чувство, в ком? Времена изменчивы, и есть целые поколения безрелигиозные и целые поколения религиозные. Безрелигиозное целое поколение еще не есть падение, крах цивилизации: через 15–20 лет может все стать неузнаваемо. «Где я ни был, — пишет Геродот, — есть народы без правительства, без царя; а без Бога нет народа». Вот как это древне, вот как вечно в человеке чувство Бога. Да отчего оно вечно? А оттого, что умираем, а оттого, что рождаемся, «света от света, духа истины от духа истины», как поется в Символе веры. Откуда-то что-то такое идет, от звезд ли, но, кажется, более всего от смерти и рождения, но в силу чего мы ощущаем Бога. Бог в нас, как искра в кремне: ударило событие — и мы верим, а еще вчера смеялись, и нам казалось, что никогда не поверим. Так что страх перед развращенностью людской мне кажется неосновательным. Ведь ничто так не надоедает скоро, как разврат: посмотрите, люди 60-х годов, как они тихо сидят и отличные теперь семьянины, и есть даже верующие. А уж, кажется, та эпоха со всем покончила, и с семьей, и с Богом. Вечное — как «Ванька-встанька»; ты его уронишь — а оно встанет. Да и что бы оно было и за «Вечное», если бы лежало после первого удара.

Во всяком случае, важно, чтобы семейных людей судили семейные. Ну, образуйте параллельно аскетическому Синоду — из протопресвитеров Синод; ну, как хотите, думайте, нажимайте лбы, но судить детей, судить женщин, матерей, девушек людям, которые ребенка и женщину видели только на рисунках «Нивы», просто страшно и прямо недобросовестно. Суд «перов» (= «равных») для каждого. Генрих VIII из-за Анны Болейн потрянул католицизм в Англии; мудрые «как змии» не оценили все-таки урока. Поразительно, что в сфере брака — первые христианские богословы путаются и перестают что-нибудь понимать; в христианстве действительно есть какая-то природная слепота к браку и семье, неискоренимая, но которую нужно же потрясти. Папа проклял Генриха VIII, назвав развратником; он назвал таким же именем и Лютера, женившегося на монахини. Но в воздухе напрасно прозвучали эти проклятия: и Германия, и Англия — образцы семейной чистоты, и уже не XVII–XVIII вв. во Франции, Италии и Австрии сравниться с ними. А между тем, казалось, торжество разврата; уж на что более

«проповеди свободы любви», как не монах, женившийся на монахине. Но Бог – вечен; но Вечное – «Ванька-встанька». Все доброе – сохранилось; а злое (= легкомысленное) отпало само собою.

По моему убеждению, в христианство брак вовсе не входит. Монахи не заблуждаются. «Суть скопцы... могий вместити – да вместит» – этого не переменишь, это слово Христово; да и с ним согласно все Евангелие: «Кто не оставит отца и мать, и жены и детей, и не возненавидит самую жизнь свою – несть Меня достоин». Шел сын похоронить отца: «Оставь мертвым погребать мертвых, ты же иди и благовествуй царство Небесное». Всех этих слов никак не переменить. Все поэтому попытки связать брак с христианством ни к чему не ведут, неискренни и разрушительны как для христианства, так и для брака. Брак они – оскотачивают; а не выходит этого – то они ополчают (пол) христианство. Или христианство – не скопчешко, не духовно, телесно; или брак – оскотчен, духовен только, сводится к отношению сестры милосердия к больному (Татьяна) или к заключению удобного обоюдного хозяйства и логовища (физиологический и коммерческий брак). Где же спасение, т. е. поэзия и религия семейной жизни. Выйдя из-под папы и попав в руки гражданского чиновника, он уже начал воскресать. Но есть путь далее. Какой? Да по точному учению церкви Иисус есть Вторая Ипостась, Второе Лицо. Есть Первое, «Отец-Бог», и еще третье, «Дух Святой». Вот где спасение.

Что мы о них знаем? Где мы их видим? Как мы их чувствуем? Никак. Нигде. Ничего. Бог-Отец – старец на потолке церквей. Да почему по крайней мере «старец». Он – Стар, «Ветхий деньми» (поименование в Библии), «Седый на херувимах» (там же). Старее мира, древнее мира. Где оно? в чем? Да вот образ – пень, из которого вырос зеленый пруттик. Всякое «вчера» есть Бог-Отец каждого «сегодня». Преемство времен, поток времен, из дня рождается ночь – из ночи день. Воображение отцов церкви было поражено: да куда все это деть? Неужели отнести к Иисусу? какая связь?! И они сказали: есть Сын, а есть еще Отец, другой, «древний». Что Он – рождающий, об этом утверждает Символ веры: «рожденна, не сотворенна» постановили о Сыне в отношении к Отцу отцы Никейского собора. Но прошли века. Сомнения отцов, пастырей европейской цивилизации, о том, можно ли все в мире отнести к Иисусу, заглохло и умерло почти, и мы ничего не умеем о Боге-Отце сказать, как только нарисовать его почему-то старым. Как и о св. Духе ничего не можем, кроме как нарисовать Его в виде «голубя». Не много же... Какое отношение христианства к браку? – отрицательное. В Кане Галилейской Иисус был, но ничего не благословил и даже не видел новобрачных. Нельзя же министерство финансов основывать на «динарии», о котором Он сказал, что «воздайте ему кесарю». Посылая в мир апостолов, Он не сказал: «идите и соединяйте юношей и дев в браке». А когда так, при чем хлопоты папы, заботы его об Анне Болейн и Генрихе. Докука со стороны. Да ведь, в сущности, и фальшивил папа: *возродить* любовь Генриха к Екатерине Аррагонской он не мог, запретить флирт Генриха с Анной Болейн он тоже не мог и едва ли имел в виду. О чем же хлопочет старец Римский: о самой постыдной вещи, о конку-

бинате (Генриха с Анной) при соблюдении внешности и видимости брака с Екатериной. Знакомая нам картина, вечное и *неумирающее* явление Европы – Генрих и утерся: не хочу я вашего конкубината, из-под полы советуюемого, а – женюсь, и уж на этот раз без вашего благословения.

Но я увлекся примерами.

Раз в мысль Иисуса не входил брак, а одно «строгое девство», то и кажется с первого взгляда, что царство Иисуса начинает колебаться, когда начинаем говорить о браке и требовать *брака в христианстве*. «Не можем! не можем!» – вот единственный честный ответ девственников. Что тут говорить: конечно, Ванновский не может вводить классицизма, а профессор-грек муштровать полки. Брак есть таинство Ветхого Завета («обрезание»), и, женясь, брачась, семействуя, – мы, конечно, выходим из Нового, уклоняемся, «не можем вместить» и возвращаемся к пророкам, к Синаю, к пустыням Месопотамии и Сирии. Но ведь вольно же было их так радикально разрушить, как разрушили «отцы». Они сказали: «Отец – рождающий», а между тем Он-то и был там, в Месопотамии, Сирии, даже чуть-чуть в Греции, хотя ослабленный, разжиженный, почти забытый. Но истинен Сын, истинен и Отец; что за Сын без Отца? Возвращаясь к Отцу, мы нимало не погрешаем, не выходим из пределов Символа Никейского, и вместе в нас как будто начинает оживать весь древний мир. Вот отчего вопрос о браке – великий, мировой вопрос. В нем начало прозрения на истину иудейства («весь Израиль спасется – слова ап. Павла), на вечность Эллады, на ограничение Европы, которая знала религию Сына, но странным образом отторгла Его и от Отца, и от св. Духа. Вообще, начиная с анализа брака, мы входим в огромное раздвижение религиозных горизонтов Европы и собственно входим в построение и дебри «Апокалипсического», «Откровенного», тайного и нового христианства. «Будет еще Откровение», «снова приду к вам» – это сказал Иисус ученикам. Если Его земная жизнь, 33 года, всему и *окончательно* научила людей, если тут конечное обрублено, то зачем еще приходить и еще что-то сказать!! Но, очевидно, Иисус знал, что и почему обещал.

Не в мои 48 лет и при довольно скромном характере (и вовсе остывших страстях – между нами) заниматься «свободной любовью». Не знал этого в молодости, а теперь и Бог не велел. Ни одной девушки в жизни я не обидел. Государству детей своих на воспитание не сдавал. Но, верьте же, тут вопрос – мировой. Сказать, что христианство не девственно – значит потрясти христианство, значит сразу и одним словом погнать и папство, и всех его монахов, и весь строй церкви вон. Нет, оно девственно. А тогда все остается на месте. Но брак как же, и он девственен? Ни один папа этого не скажет, этому засмеются куры. Но он говорит: «Мой брак, я – венчаю». Тут-то и начинается ограничение, введение монашества в его естественные границы. «Никак вы этого повенчать не можете, это – уже не ваше, вовсе это и не христианское, но не тревожьтесь и не волнуйтесь, это просто религия Бога-Отца, которого и вы чтите, но неполно и неумело, и вот вам предстоит около себя допустить развиться второй, Отчей, Апокалипсической церкви, которую Иоанн Бого-

слов предсказал в заключении своего Откровения и назвал ее «Новым Иерусалимом, сходящим с небес». Но что это такое, но как она устроится – это не в первые же ее минуты решать. «Будут другие, будут сильнее».

Мы теперь одни. Богд. Вениамин. уехал. Как Вам кажется газета? Стараемся, сколько есть сил: боимся, что Вы очень критикуете нас, но, знаете, издали всякое дело кажется хуже, чем в центре. Сапожнику всегда сшитый сапог нравится, а заказчику – часто жмет ногу. Но, кажется, все усердно стараются, и Фед. Ил. неусыпно за всем следит. Ну, простите. Все же я жалею, что напечатал статью о Меньшикове. Книжка его – неважная, и больше все пребывает в музыкальных сферах.

Ваш преданный В. Розанов

Порадуйте меня *добрым* письмом, я так их люблю от Вас, и у меня тоже на душе «скучно» при мысли, что Вы недовольны мною.

19

<лето 1901?>

«Ну, Суворин, удивил», – подумал я, читая (еще не дочитал) «Мал. письмо». Вы, батюшка, *вспорхнули* и заглянули за горизонт. Главное – совершенно неожиданно даже для Вас: Вы последние годы все «хронику писали», а *теперь* и сейчас, и вдруг бросаю «сейчас» к черту, – выглянули за черту. Действительно, все поразительно неожиданно эти 2 года. Во время *Эстергази* и *К°* никаким нюхом нельзя было пронюхать буров. И буры, и Китай – вдруг и неожиданно и, *с нашей точки зрения* (европейской), – беспричинно! Да, новым полна история, как семенем, и *новые* государи – их *юные годы* со счетов не скинешь. И какой отличный, надеющийся у Вас тон. А то мы прокисли между Эстергази и церковно-приходскими школами.

Ваш В. Розанов

И до чего у Вас чутко об «углах, и яркости красок, и смутности» – в душах и завтра, т. е. в политике. Чуткое письмо.

20

<январь 1902>

Многоуважаемый
Алексей Сергеевич!

Возвращаю Вам брошюру «Absit omen»* Рачинского и прилагаю статью – вообще о реформе и вообще о Рачинском и, в частности, о брошюре этой.

* «Да не послужит дурным знаком» (лат.).

Тема смутная и осторожная, и мне казалось, нельзя ее просто рубить. Ваш преданный *В. Розанов*.

Вы еще спите, и потому я и не передаю лично статью. А уже поздно, 7-й час.

21

<1902?>

Многоуважаемый
Алексей Сергеевич!

Вчерашний наш разговор о живом преподавании русского языка очень мне понравился, и я набросал статейку, поставив *себя* в роль собеседника с Григорьевым. Пробежите, может, Вам понравится, и, может быть, это хорошо для «Маленького фельетона». Ваш преданный *В. Розанов*.

22

<1903>

Удивительное Вы сегодня «Мал. письмо» написали, Алексей Сергеевич. *Не помню у Вас такого*. И стиль, и важность темы и речи, и смелость (в отношении к Витте): и все в меру, с таким достоинством. Ожидаю, что Вы получите много писем, но пусть это будет первое. Начиная со ссылки на Кузьму Пруткова – восхитительно. И взяли этим тоном, в сущности, верх над таким умницей (Витте), взяли, – но не отнеса к своему уму, а к возрасту («ты *сер*, а я, приятель, *сед*» – у Крылова). Удивительно.

И конечно, важно, чтобы у исходящей кровью центральной Руси не брали в *мечту какую-то* последнюю кровь, рубль и рабочую силу, а главное – *заботу и талант*. – Местами слова Ваши жестки до сухости и похожи на «ревизию верноподданного»: нам все равно, кто у Вас воровал, средние или высшие: нам существенно единственно то, что уворованного рубля уже не лежит у нас в кармане.

Мне кажется, Витте очень худо, *неловко* себя почувствует после Вашего «М. письма». Это – настоящая политическая речь. И как хорошо о комитетах. Ну, умудрил Вас Бог. И Вы жаловались, что устарели: это – речь 30-летнего темперамента, и только по мысли, а не по одушевлению – старье.

Ваш *В. Розанов*

23

<декабрь 1903>

Многоуважаемый Алексей Сергеевич!

Большого труда мне стоит это письмо писать. Но нет моих сил выносить долее. Целое лето и зиму, едва я приношу статью, Булгаков говорит: «На сколько

настроили», и этот упрек, что «строчишь ради платы», решительно подрезывает крылья. И сколько раз, написав статью и уже подписав фамилию, – так и оставишь у себя на столе, при мысли: «Опять скажет – ради денег». Сколько я ни бился сказать за свящ. Петрова слово (когда его травилась часть прессы, а часть защищала) – Булгаков решительно запретил что-либо писать, со словами: «Пожалуйста, не приносите мне ничего о духовенстве – я о нем слышать не хочу». Между тем чтения Петрова волновали весь Петербург. Приношу летом, по поводу закрытия во Франции конгрегаций, фельетон: «Изгнание богов», – с той мыслью, что *преувеличенные о себе представления католического духовенства*, как бы закрывшие от людей *непосредственное к Богу отношение*, – подняли это движение не *против религии вообще*, но именно *против духовенства*. Булгаков отказался даже и читать фельетон, и не читал. Статья о 60-х годах, помещенная в «Нов. Пути», была мною принесена ему как возражение Энгельгардту: и снова он отказался ее даже прочесть, сказав только: «Энгельгардт написал, а Розанов сейчас же ему возражает: Вы пользуетесь случаем, чтобы что-нибудь набить построчного». Как можно при этом подозрении и унижении писать одушевленно. Руки отваливаются. Во вторник он потребовал меня к себе и, указав на фельетон, одобренный к печатанию Викт. Петр. Бурениным, опять при Демчинском и при метранпаже насмехался, что я пишу ради строк, что только для этого увеличиваю объем фельетонов (часто ли они идут? Фельетон был величины с фельетон *Эльпе*). Я выбросил то, что было посуше. Оказывается, что он его еще не читал. Увидев в первых строках передачу разговора о дарвинизме, он говорит: «Вы не имеете о нем права писать, что Вы знаете о дарвинизме, это все надо выпустить». Но у меня это был пример, что, по Дарвиновой теории, *всякое новое явление, новая травка в поле* хорошо прививается, растет неудержимо, и также растет молодое и свежее женское образовательное движение. Вы знаете, как я люблю женщин, и эту-то часть именно я написал с одушевлением. Что это за отношение к делу, к литературе, к сотруднику, что со словами: «Это написано для денег» – берут ножницы и отстригают увлечение Ваше, любовь Вашу. Точно сердце выстригают из окружающих его жил. Скотство это, а не литература, скотское отношение к писателю, который есть друг другого писателя, и они могли бы помогать друг другу, вдохновлять друг друга. Спасибо дорогому Викт. Петр., который лаской своей столько раз утешил сердце. Меня вызвал в это время Афанасьев, – и я вышел из комнаты Булгакова и ушел домой, видя, что он хочет искорежить фельетон, и боля сердцем. Сегодня получаю газету – и все сердце оборвалось. Каждый писатель говорит с читателем: я хотел и имел повод сказать все милое трудящимся и учащимся женщинам, что о них думал, хотел прямо и их ответной любви к себе (ведь это прости-тельно), и я вижу – прямо фельетон начинается с суши, с дела, без тех вводных и, кажется, красивых мыслей, какие были. Что же он мне кричал, что «дарвинизм не относится к сельскохозяйственному институту»: есть красота мысли и слова, тонкие узоры изложения, которые нравятся сами по себе и уж которые автор сумеет связать с темой. Что за платье без кружев. Спросите в

типографии (или я Вам пришлю), пробежите три первые выпущенные столбца и решите сами: лишние ли они? Я до последней степени не только измучен, но и оскорблен: он говорит и поступает со мною, как Андрей с подручными сторожами. Вы сделали большую милость Меньшикову, став в непосредственные к нему отношения, без посредства Булгакова. Прошу и умоляю Вас, Алексей Сергеевич, не отказать мне в этом. Еще Меньшиков упорен в разговорах; но я, при моем характере, только обливаюсь внутренними слезами, когда меня мает и унижает Булгаков. Моя просьба к Вам: поставить передовые мои статьи под контроль исключительно Богдана Вениаминовича, а фельетоны и небольшие подписанные статьи (маленькие фельетоны) под контроль исключительно Буренина. Просто я не могу обращаться к Булгакову, говорить с ним. Лопнули силы. И, зная мою молчаливость, он точно за всех на мне вымещает, совершенно крича, как сторож на сторожей. Не в силах и не в силах больше терпеть. Простите.

Ваш *В. Розанов*

24

<17 февраля 1904>

Дорогой
Алексей Сергеевич!

Выберите одно из следующих заглавий:

- 1) Психология войны.
- 2) Война в истории.
- 3) Историческое значение войн.
- 4) Мистика войны.
- 5) *Поучительное в войне.*

Лично я склоняюсь к последнему заглавию; оно просто, многое обнимает, и ничего ясного (т. е. суживающего) заглавием еще не говорится.

И – с Богом пускайте сегодня.

Крепко жму руку. Ваш *В. Розанов*

25

<май 1904>

Должен перед Вами извиниться, дорогой Алексей Сергеевич, что так поздно Вам отвечаю: я был уверен, что Вы не в имении своем, а где-то в *Москве*, ибо в редакции мне сказали, что «папаша вызвал в Москву Бориса Алексеевича по телеграфу». – Спасибо Вам от всей души за предложение мне, на летнее время, критического фельетона по пятницам. Постараюсь. А как будет старание – увидите.

Русскую литературу, при всех ее «текущих недостатках», я очень люблю. В разные времена своей жизни я верил или пытался верить в разные стороны нашей жизни: то – в государство, то – в церковь. А кончил, казалось бы, самой вульгарной верой – в литературу. Главное, тут меня трогает ее *старательность*: чего-чего она *не видит*, о чем только *не заботится*?! Это, в сущности, превосходный штат ненаятных чиновников. Первородный ее грех – самолюбивость, самолюбие, но и тот парализуется безвредностью этих самолюбий, которые у всех на виду вызывают на смех, а *ядовитого вреда* не приносят.

Итак, вне этого первородного греха, притом не вовсе всем присущего, она есть вполне нравственное явление, и вот это всего более к ней привлекает. И притом нравственное – без ханжества, без подхалимства, а просто *на самой работе и вследствие работы*. Вот отчего литература заняла такое огромное место в жизни Европы, и хотя «гг. литераторы» не в ризах, а в сущности священники. Прочел в воспоминаниях Фаресова о Лескове его (Л-ва) горячий отзыв о Вашем, очевидно стародавнем, новогоднем рассказе, как г-жа NN, в кою влюблен полковник, принимает к себе на ночь любовника-офицера, а ночью возвращается ее муж, она любовника спрятала в трюмо, и он задохся. Об этом знает лакей – и навязывается уже насильно (шантаж) ей в любовники. Ужасное положение, и возможное. Лесков говорил, что знал такой случай в Орловской губернии, где барыня, через узнавание ее тайны, попала в руки конюха и сошла с ума: она все, бедная, мылась, боясь, что от нее лошадиным потом пахнет. Какие бывают истории! Ну, дорогой, отдыхайте на даче. Особенно сюда не торопитесь: копите силы на зиму. Ведь Вы «Маленькими письмами» за войну тысячи гонорару заработали. Кстати, до чего, я думаю, *технически неловко*, что Вы за статьи свои гонорара не получаете: прямо *неудобно* работать. Я бы на Вашем месте завел особую графу хозяйства. Ведь имеет же свое хозяйство у Вас типография, издания, газета, магазин. И для литературы бы тоже. – Ну, простите за шутку:

Как уст румяных без улыбки

и проч.

Крепко жму руку.

Ваш В. Розанов

26

<конец мая 1904>

Многоуважаемый
Алексей Сергеевич!

Препровождаю Вам фельетон, о коем вчера говорил, и возвращаю два тома соч. Хомякова. Ваш

В. Розанов

<после 25 января 1905>

Дорогой Алексей Сергеевич! Кельсиева я Вам вернул, продержав месяца четыре, – уже лет 5 назад (даже больше), ибо Вы очень дорожились этою книгою и просили быть внимательным не только сбережением ее, но и в *сроке чтения*. У меня из Ваших книг есть несколько (сейчас перед глазами, на особой полке «Чужих книг», но не перечисляю), но *Кельсиева нет*. Пусть хорошо посмотрят в Вашей библиотеке, она должна быть там, если не давали другому. — Бедного м. Антония затравили с рабочими; если он не умен – это не причина рубить голову; я и написал насмешливую статью, что рабочих увещать от имени церкви должен был Победоносцев или послать Саблера, ибо они управляют и руководят церковью, митрополит же, да и все прочие суть молчаливники не только с рабочими, но и ни с кем не умеющие говорить. Статья *по нашим временам*, пожалуй, даже цензурна: а главное, – сейчас бы заставила подумать о возвращении авторитета духовенству. Диво в самом деле: век не зовут к политике духовных; а вышел бунт – поди и умирай. – Написал же я по поводу слов Мещерского: «Отчего митрополит Петербургский не вышел 9 января к рабочим на площадь Зимнего дворца».

Сегодня опять Вы хор. написали «Мал. п.»: спокойно и осторожно, с запасом свободы и позади сказать – смотря по течению обстоятельств – и так, и иначе. Интеллигентные забастовки и меня возмущают. Это – ужасная *лень* в основе всего. Русское шалопайство (у Вас хорошо отмечено, что окраинцы – *трудолюбивее* нас). Я только себя утешаю тем, что и Германия после 30-летней войны (по Иловайскому) пришла на 1/2 века в состояние совершенной *дикости, бесиכולности*.

Вообще большие и *благодетельные* в конце концов внутренние движения *дорого* стоят (что делать!): *временная* безработица, нищета, дикость, грубость нравов – вот «счет» революции ли, реформации ли, да даже и больших реформ. Но зато потом, как после бури, – удвоенный цвет, утроенный плод от *переработки* всех соков. Я человек спокойный; конечно, революции не хочу; но как-то смотрю на «события». Уж очень долго мы дремали. Пусть пошумят. От шума не умирают. Ну, простите, если написал вздор. Ваш всем сердцем

В. Розанов

28

<до 27 января 1905>

Ну, что же, дорогой Алексей Сергеевич, я уже до получения Вашего письма в сущности решил тоже, что Вам *неудобно и неприятно* писание мое в 2-х газетах и что нужно от этого отказаться. Буду всеми мерами искать толстый

журнал: но едва ли найду. Крайняя наивность, или либеральный ригоризм, или <партийное?> бешенство – везде царствуют, а я во все эти 3 двора не подхожу. О Ваших 70 годах: если я *смел* что-нибудь о них иметь, то – жалость (откуда насмешка – как Вы предположили, – кто над этим смеется?!). Ведь старость – дробь болезни или скорей ее легкая тень. Не Вы ли писали по поводу книги Мечникова: на что мне жить 100 лет? дайте мне 60 *свежих*. Под старость жизнь *тяжела*. Мне 49 лет, а уже чувствую себя не так, как в 38 (золотое время). От этого я всегда мысленно берегся от *лишних впечатлений*; и, напр., когда Мережковский меня просил устроить свидание с Вами или его «с Зиной», я отводил в сторону разговор, говоря, что это ужасно трудно, что можно попасть в минуту, когда Вы «кейфуете» (*far niente*), а можно попасть – когда Вы озабочены: и, рискуя последним, я ничего в этом направлении (устроить свидание) – не могу. Сколько раз меня манила мысль познакомить Вас с Тернавцевым – и не решался Вам предложить. *Материальная сторона (о ней Вы пишете) от сотрудничества в «Слове» – была, но, даю слово, занимала 1/4 общего (литературного) желания*. Подумал: «Ну, теперь можно еще съездить в Швейцарию», да и вообще «увидеть мир», которого я, в сущности, вовсе не видел, а только *мечтал о нем*. Вот и все. Возвращаюсь к делу. Нужно заметить, я никогда не знал техники жизни и жил не по законам, а по естественному праву: т. е., грешный человек, делал решительно все, что мне вздумается, не справляясь с законами Росс. империи, лишь бы чувствовать внутреннее, «естественное» право. Поэтому в первый раз, когда мне представилась мысль (т. е. заговорили об этом в редакции) о праве сотрудничать только в одной газете, – это меня поразило удивлением. Но когда прошли дни, я *привык к этой мысли* и вижу, что *вообще так делается*. Это другое дело. Не думайте, что я не хотел бы послужить «Нов. Вр.» публицистикой: думаю, что я все еще не нашел тона, формы, манеры; потом очень уж я мысленно живу «по естественному праву» (т. е. отчасти как дикарь, как Робинзон): а мысль – это техника, и публицистика есть глубокое и особенно *отчетливое* проникание в *ход* этой техники. Вы в «Мал. письмах» нашли форму сливать *частное с общим*, говоря «по поводу», не впадать в мелочи и говорить о будущем. Но ведь это «эврика», которая не всякому дается. Тут – удача. Ну, дай Господи поработать. Жму руку.

Ваш В. Розанов

Еще о 70 годах я говорил в смысле *факта*: т. е. что Вы *лично* уже не держите кормило корабля с той силой, как оно держится даже в 60 лет: все же Вы изумляете – *вдохновением* (напр., последнее «Мал. письмо»), а не *работой*. А ведь и работа газетная – это «мелочи» и «мелочи», техника; каждый день – *внимание, вхождение в подробности*. Сотрудники газеты это и не могут не чувствовать, «схватываются за голову»: «Где голова?» А вместо головы иногда одна шапка. Впрочем, это тяжело и, может быть, плохо писать. Я хочу сказать: что, будь Вам 60 лет, я пошел бы наверх, долго говорил бы с Вами, положим, о фельетоне, о теме передовой, и, может быть,

Вы *разрешили* бы или *допустили* бы оттенок моей мысли, хотя она *точно* не совпадает с Вашим взглядом. Вы же склонны к этому. Вообще, в Вас нет *упорства* и нет этой задней мысли: «А, он спорит, значит, признает меня глупее себя: вон!» Причина гибели 1000 золотых оракулов, золотых мыслей на Руси, вообще – придавленности таланта на Руси. Вы впечатлительны. Ну, а есть люди *упорные* (к ним и Алексей Алексеевич принадлежит), стоит колом мысль: «Он спорит и, значит, считает, что я не знаю», «не понимаю» и пр. Право, вся Русь отравлена этим. Я сторонник республики не в смысле беспорядка, а вот в смысле этого *товарищества* талантов. Талант сам за себя отвечает, и, мне думается, в нем же *eo ipso** таится столько внутреннего счастья и есть настолько благородства, что *гадить* он не способен (тема «Моцарт и Сальери»). *Федор Ильич очень устал: и уже от этого опять-таки в очень пространные объяснения с ним не приходится входить. Так. обр., для сотрудничества вообще всех в «Нов. Вр.» очень узенькие стулья: не всегда отвечает ширине ж..., уж, простите за бесцензурность.* Впрочем, может быть, я и совершенно ошибаюсь: и Фед. Ил., и Вы оба *литераторы*, а не *издатели* и даже не редакторы, не *только* редакторы: литератор в оценку приносимой статьи вносит не один свой *нюх*, «что нужно и удобно для публики», а свою *физиономию* литературную как сумму отличий, вкусов и убеждений. Может, от этого мы все, сотрудники, и жалуемся, и жмемся. Физиономию – физиономия, душа – душу давит: это уже роль всемирной истории, так совершается история. Если эта точка зрения верна, то считайте все, сказанное мною на этом листке, – неверным, ошибочным. Может быть, и я заблуждаюсь. Может быть, газета вообще не должна же быть *tabula rasa***, на которой «сотрудники пишут что угодно». Тогда, конечно, все мое рассуждение не только неверно, но и невежливо, но вообще примите это так, как «думается сотруднику в 1 час ночи за письменным столом», и тоже сложите в свой «Архив». *Все можно понять хорошо при добром друг к другу отношении*, и я уверен, мы всегда будем так кончать свои дела. В «лыко» не всякую мою строку ставьте. Жму руку. У меня дочка захворала, 8 лет: и потому не иду лично поговорить.

29

<после 16 марта 1905>

Многоуважаемый
Алексей Сергеевич!

Очень печально для меня, что фельетон мой о Леонтьеве не понравился, но, конечно, я нахожу вполне справедливыми основания, по которым Вы его не печатаете: все, что вызывает недоумение и вопрос у редактора, вызовет еще

* вследствие этого (лат.).

** чистым листом (лат.).

большее недоумение у тысяч читателей газеты и eo ipso невозможно, не нужно, не достигает никакой цели и, след., вредно. Почему Леонтьев велик? Потому что одна мысль наполняла его жизнь (о гибели западной цивилизации и необходимости новой), потому что этою мыслью он не чванился, не расписывал ее, не драпировался в нее, не читал о ней рефератов, и, подумайте, сколько бы шуму сделали из $\frac{1}{100}$ этой мысли Кареев, Грот, даже Бестужев-Рюмин, Ламанский, как бы они ломались с нею, чтобы признать, что Леонтьев был велик в своей простоте и скромности. Пишу это, чтобы оправдать *перед Вами* свои слова о Леонтьеве и вовсе не в защиту фельетона своего, где я, думая всё о 600 строках, действительно даже не оговорил, почему Леонтьев велик, просто забыл об этом. Вы скажете, что мысль Л-ва о разложении всего в истории – слишком проста и элементарна (она и в действительности такова), но ведь это же не просто: разве не просто, что тела небесные взаимно притягиваются или проповедь Толстого – любите друг друга. Но велик человек становится, когда простое, но многоценное делает делом своей жизни, весь наполняется мыслью о нем etc. Леонтьева лично я не видал, был лишь в заочной с ним переписке, и попеременно и ненавидел и любил его, ненавидел за «жестоковость» его суждений, любил – за верность им, за героизм характера, за правильность многих его взглядов. Но *оканчиваю* я разочарованием в нем. Нет сил опровергнуть его логически, как натуралист-историк – он прав, и, чтобы побороть его, остается одно: указать на церковь И. Христа и сказать: «Безумец, монах, да ты забыл о ней, в своих тревогах о человечестве – ты язычник». Это, я убежден, единственное средство преодолеть Леонтьева, отвергнуть его и его «жестоковость» теории. Это я в фельетоне и сделал, который по отношению к Л-ву, несмотря на слова об его «величии» и «благородстве», ничего, в сущности, не значащие, – отрицателен.

Простите, что утомляю Ваше внимание, я знаю, до чего Вы заняты. Писать у Вас – меня крайне соблазняет, ибо о чем говорит Ваша газета – Россия думает, и кто хочет иметь аудиторию – должен стремиться и стремиться невольно к Вам.

Как честному и «ветхому денюги» публицисту – скажу открыто, что во многом, по многим вопросам – не совпадаю я с Вами (напр., о классицизме), не совпадаю и в *кolorите* мысли, в подробностях душевного строя. Перед великим Вашим здравым смыслом – преклоняюсь и завидую простоте и ясности Вашей речи. Не всякому это дано, и не будьте так строги в этом ко всякому, также и ко мне, бедному: вижу, чувствую и сознаю, что пишу как-то темно, и при всем том – великая страсть убеждать, убеждать именно множество, толпу, собственно – ее переделывать. Меня не столько печалит неудача *этого* фельетона, сколько Ваши слова о «языке понятном, простом и ярком». О, конечно, это так, Вы правы, да иначе Вы и права не имеете относиться к читателю и, след., требовать от писателя. Все так, но – вот я, в моих ограниченных средствах, с содержанием, которое так хочется передать, которое не незаслуживает, чтобы быть переданным. Пишу это,

чтобы Вам дать понять, что не упорство и не самомнение заставляет меня писать *так*, а не *этак*, а природа моя, из которой возьмите то, что Вам удобно, Вашим идеям не противоречит, и чуть-чуть иногда дайте выразиться моему личному колориту (в суждениях о религии etc.). Вот все, чего мне хотелось бы от Вас, и я счел долгом это сказать, чтобы не было неясности и напрасного неудовольствия в наших взаимных отношениях.

Вас искренно уважающий

В. Розанов

30

<после 12 мая 1906>

Дорогой
Алексей Сергеевич!

Мне думается, следовало бы напечатать эту статейку двинского коменданта: она *умна* и будет полезна как предостережение со стороны.

Ваш В. Розанов

31

<май 1905?>

Дорогой
Алексей Сергеевич!

Я исполнил Ваше желание – как умел. Я думаю, это должно пойти в виде передовой, как мнение газеты, а не как мнение *лица*, которое в данном случае может быть и не интересно католикам и русским. Они нуждаются в голосе «свыше», а лицо – свой брат, а не «свыше». Газета же *<нрзб>* «лицо вообще» – «свыше» *<нрзб>*.

В. Розанов

32

<до 3 октября 1906>

Дорогой Алексей Сергеевич!

Мне показалось в книжке Чамберлэна интересного не только главная тема (нееврейство Христа), но и побочные стороны, и, собственно, сама книга: как он трактует предмет, этот новый *тон* и *язык* в религиозных темах. Для наших грубых русских нравов это очень полезно. И я решил задержать читателя 2-мя статьями (и вторая, о нееврействе Христа, мною сейчас отсылается в набор). Право, это не хуже и не неинтереснее, чем лихорадка политики.

Ваш В. Розанов

<не ранее 8 февраля 1908>

Дорогой Алексей Сергеевич!

Среди всяких книжных новинок – Вам следует иметь на столе «*Основы христианства*» М. Тареева, – а просматривать книгу можно с 4-го тома, состоящего из 2-х отделов.

I. «Истина и символы в области духа».

II. «Христианская проблема и русская религиозная мысль».

Но мне тоже очень нравится его брошюрка «От смерти к жизни». Кажется, ее в продаже нет. Посылаю Вам. Со страницы 9-й много интересно о Вел. Княгине Анастасии, работавшей в Киеве; со стр. 148 много интересного о Толстом.

Что касается язычества, то тут я уже вклеил от себя и радуюсь, что Вам эта «отсебятина» понравилась. Отчего русским не выдумывать, когда немцы, французы и проч. выдумывают. *Ей-же-ей, Ренан при всей учености, которая от него не отнимается, о религии и христианстве говорит младенческие вещи.* Мы просто сердечнее французов и оттого лучше умеем «разнюхивать» эти вещи. Разве не великие христиане умирали при Цусиме? Да и без конца подобного.

Ваш В. Розанов

34

<август 1910>

Дорогой и глубокоуважаемый
Алексей Сергеевич!

С апреля минувшего пошел 11-й год моего постоянного сотрудничества в «Нов. Вр.», и, вследствие нашей революции или смуты, все вздорожало страшно: мясо было 18 коп. фунт, теперь – 28 коп. фунт; и все пропорционально этому. Затем, в минувшем году я отдал в школы 2-х младших детей; теперь учатся 5 человек. Поэтому жить мне стало трудно. И если Вас не затруднит, не откажитесь мне прибавить жалованье: теперь я получаю 350 р. в месяц, а мне хотелось бы получать 500 руб. Затем это будет *последняя* мне прибавка: более до конца моей жизни и, вероятно, сотрудничества в «Нов. Вр.» я не буду ничего никогда просить. Так я буду совершенно устроен...

После дела «литература»: Юр. Дм. Беляев рассказывал, что Вы ходите в резиновых галошах и в них же ездите, равно в халате. Нельзя сказать, чтобы красиво, но, верно, удобно. А в Ваши и даже мои годы удобство предпочитаешь уже всему. Сейчас вернулся от П. А. Столыпина Мих. Алексеевич: Столыпин ему говорил, что нужно поднимать дух в населении, бодрить его. Так-то это так, и Столыпин прекрасный и благородный человек, но уж очень они все вялы, и Столыпин тоже. Большой барин, «успокоил»

Россию, но дальше просто кажется, он не может придумать, что же дальше. В нем какой-то неизобретательный ум, — как и в нашем Столыпине, которому помогает хоть остроумие и шутка. Но решительно нельзя жить без чего-нибудь нового, и даже без шуток и остроумия. В воздухе царит ужасная скука, — это чувствуется. Чувствуется, что не «рассвет», а вечер или скучный обеденный час, 6 вечера, когда — ни зари, ни звезд, ни горячего солнца, а просто клонит ко сну. «Нынешние» не умеют устроить хорошую погоду, секрет чего не в делах, а в какой-то вялости духа. И Столыпин — хороший и честный, но похож на горшок с гречневой кашей, а не на бутылку с шампанским. Занимаются «делопроизводством»: но этим и Полина Яковлевна занимается, и не для чего ради этого называться министром, да еще «premier». Premier так уж premier: первая голова в стране, первая энергия в государстве. Этого-то и нет.

А давно нет «Мал. писем»: Вы бы что-нибудь о деревне написали, я думаю, теперь это интереснее всего, и можно бы даже начать новую рубрику: «Письма из деревни» или «Из глуши России». Ну, жму руку, отдыхайте. Ждем Вас к концу сентября. Мы здесь в поту, в пыли и при отвратительной погоде целое лето.

Ваш В. Розанов

35

<после 29 сентября 1911>

Ну вот, дорогой Алексей Сергеевич, прошло «целое время» (как говорят в народе) после Вашего милого письма ко мне о профессуре: и прошли какие события. Жаль Столыпина: могу ошибаться, но мне кажется, он был первый *министр-гражданин* и даже, чуть-чуть, *министр-обыватель*: так мне прямо почудилось, когда я на него смотрел в гробу, когда видел его такую милую *в детях* семью, скромную, почти провинциальную, дворянскую, помещичью. Ей-ей, о больной девочке, которой расшибло ноги (и она до сих пор не поправилась), я подумал как о Татьяне:

А мне, Онегин, *пышность эта* —

и проч., и проч.: и все она готова отдать за «полку книг» и «могилу няни». Вот это-то я *лично* в нем и любил, всегда себе представляя на Аптекарском острове, немножко как Цинцината (Рим) с его огородом. Во всяком случае — Столыпин *не канцелярия*; во всяком случае — он не мундир, чин и орден. Для нас, «людей старого порядка», и это — слава Богу, величайшее слава Богу.

И все-таки «слава Богу», что есть Дума и, что бы там ни говорили, все-таки есть конституция. Посмотрите, какое оживление; как смело говорят Коковцеву: «От национальной политики — ни на шаг», и он, изгибаясь, все-таки вынужден говорить: «Шагов в сторону не будет». Общественное мнение, голос «воздуха», а не кабинета, голос улицы, площади, деревни, в конце концов, *народный голос*, — окреп, не пятится, не прячется, а говорит, требует и диктует. Без Думы это было бы невозможно, этого бы *не случилось*. Обратите внимание, Алексей Сергеевич, на следующее: никто не говорит сейчас, и не болеет, и не трепещет сейчас *об упадке центра*, о кото-

ром такая тоска была при старом режиме, и этот «упадок центра» казался какой-то наступающей смертью. Что же такое случилось? Россия страшно помолодела за эти 7 лет, и болезнь *хилости, хирости и старости* прошла. «Упадок центра» был каким-то склерозом артерий. Я плохой публицист: но плакал об этом «центре», этих 36-ти губерниях, которые суть все родное и все старое на Руси. «Что делать? Что делать?» – твердил себе: «центр» беднеет, тупеет, школ нет и так как-то не прививаются они, а окраины поднимаются все в молодом цвету, в торговле, фабриках (Лодзь, Варшава, Рига).

И вдруг – прошло.

Как?

Да, действительно, «центр России» встал из-под пресса и оправился в 7 лет. Тут все сыграло роль: и Думы, даже 2 из них анархические, и аграрные беспорядки, и даже московское восстание. Может, все врозь и было вредно и глупо, – глупо наверно: но ведь и всякий «кутеж» есть чепуха, а, однако, он время от времени необходим. За 7 лет Россия «вскочила и побегала», – побегал старичок и стал опять мальчиком. Этот политический моцион, или «социально-политический», был ужасно полезен. «Ноги размялись», «косточки расправились», – и слава Богу.

Летом мы ужасно тревожились о Вашей болезни, но операция прошла отлично (здесь все говорят), и мы все успокоились. Хорошо, что Вы имели твердость на нее решиться и что не мямлили, не колебались, не запускали. Ум же Ваш свеж и кипит. Я давал Мазаяеву прочесть Ваше письмо ко мне. «Чем это не *Маленькое письмо*, – сказал он, – хоть сейчас в печать». Да, я думаю, и вообще крупные люди не стареют, по крайней мере не дряхлеют. И Толстой «кипел» до последних ночей в Астапове. Это преимущество умного. Тело стареет, а душа никогда не стареет; и эта «еще не старая душа», в сущности, поддает пару и телу, отчего «большие люди» и живут в общем долговечнее обыкновенных. Слышал – Вы хорошо чувствуете себя, катаетесь и вообще не скучаете и не хандрите. И приходится сказать не только с Коковцевым, но и с Вольтером: «Этот мир не из худших миров».

В. Розанов

Крепко жму руку. Кланяйтесь Мих. Ал. и Конст. Сем., если они там.

36

<без даты>

Это мысль! Дорогой Алек. Сергеевич – *Россия – Турция – Китай*. Как Вам пришло на ум! Вы первый сказали, а ведь – *в самом деле так!* Это был бы *мировой союз, мировой факт*, а уж не дипломатическое влияние. Вся дипломатия наша в целый век просто *ничтожна*, вертится – не зная, чего хочет. Чистая развратница. А Россия – Китай – Турция – это целый необозримый Восток; и ведь тогда мы вышли бы и из Индии Англию. Мне ужасно эта мысль нравится. *Умственно* даже нравится. Тут кое-что есть огромное.

Ваш В. Розанов

ПРОЕКТ УСЛОВИЙ МЕЖДУ РЕДАКЦИЕЙ «НОВОГО ВРЕМЕНИ» И В. В. РОЗАНОВЫМ

В. В. Розанов, становясь постоянным сотрудником «Нового Времени», не по договору только, но и по совести и любви к делу обязуется и хочет приложить весь ум и старание к возвышению чести и литературного достоинства газеты.

Его *постоянное участие* в ней выражается:

- а) в оставлении им места службы;
- б) во внимательном слежении за газетною печатью вообще и за ходом внутренней и внешней политики;
- с) в особенно внимательном слежении за ходом событий в сферах образования, семейного положения, окраин.

д) Он ежемесячно поставляет для газеты 8 передовых статей; иногда 6, иногда 10 – смотря по текущим событиям и интересу их.

е) Если бы в течение месяца, по причине особо важного события или события, имеющего ярко характерные особенности (дело Скублинской, дело Ольги Палем), относительно которого газете нет необходимости высказываться, но он лично и в интересах газеты захотел бы высказаться под своим именем, то подобная <бегущая> заметка заменяет одну передовую статью, и, следовательно, число обязательных становится 7 или 6. Это – необходимо, дабы не было напряженности и искусственности в поднятии *общих тем*, составляющих предмет передовой статьи.

В состав постоянного его сотрудничества вовсе не входят *фельетоны и библиография*, помещение которых остается во всем на прежних условиях; т. е. как свободная работа и оплачиваемая в прежнем размере, вне связи с платою за постоянное сотрудничество.

Редакция «Нового Времени» обязуется:

1. Уплачивать, за 8 передовых статей в месяц, 3000 р. в год постоянно текущего жалованья, т. е. ежемесячно по двести пятидесяти рублей.

2. Независимо сего – по 15 коп. за строку передовых статей и мелких, под его подписью или без подписи, заметок. Но оплата фельетонов, требующих художественно-критической работы воображения, и библиографии, требующей обширного чтения, остается на прежних условиях, т. е. 20 и 15 коп. за строку.

3. Ежегодно Редакция дает В. В. Розанову отпуск на полтора месяца, в течение коего жалованье сохраняется в прежней 250 руб. сумме, а обязатель-

ства В. В. Розанова прекращаются. Эти 1½ месяца могут быть передвинуты на который-либо из летних месяцев, по соглашению.

4. Если бы в течение года, зимы и вообще рабочего времени В. В. Розанову случилось заболеть, или в семье его произошли бы требующие безотлагательного внимания события, и, словом, что-либо внутреннее и до газеты не относящееся потребовало бы совершенного перерыва его сотрудничества на некоторое время, напр. даже на месяц, то Редакция, принимая во внимание, что взяла его в постоянную себе службу, обещает и обязуется, сохраняя ему полное содержание, не тревожить его в это исключительное и бедственное время.

Как одною, так и другою стороною все должно быть выполняемо охотно, с честью, свободно – дабы в столь нервном деле, как литература, никакая тень угрюмости отношений не портила прежде всего литературы. «Отравленная душа» есть «отравленная литература»: и всякое мучение автора есть вред газете.

Более всего опасаясь недостатка тем, В. В. Розанов просит Редакцию не быть несколько озабоченною, если бы течение передовых статей вдруг прервалось: богатое событие вызовет их ряд в непосредственной смежности, пустота самой жизни вызовет длинную полосу молчания. Вообще здесь легко перейти в «ремесленность» «поставщика»: что, губя автора, не может способствовать и поднятию достоинства газеты. Для обеих сторон будет спасительнее, если работа, пусть публицистическая, сохранит не только в писании, но и в слежении за событиями свободно-художественный характер. «Нет ремесла, есть литература» – для обеих сторон.

Не в пределах только этих условий, но – так как жизнь многообразна и изменчива, сотрудник В. В. Розанов и Редакция «Нового Времени» обещают вообще любовно хранить интересы друг друга, делая все к возможному обоюдному споспешествованию. И да подаст им Бог помощь в их усилиях и благословит труд и начинание.

В текущем 1899 году правило о полуторамесячном отдыхе сохраняется. Так как В. В. Розанову необходимы некоторые хлопоты по приведению служебных дел в состояние, удобное для передачи, и для выхода в отставку тоже требуется некоторое время, то полное действие настоящих условий начинается не ранее 1 мая. В случае, если бы Редакция пожелала, в возмещение этого времени, воспользоваться его летним отпуском, т. е. сократить его в настоящем году до двух недель, то В. В. Розанов ничего против этого не имеет. Вообще *время перехода*, однако ни в каком случае не долженствующее затягиваться на май месяц, не может быть отчетливо и точно в работе В. В. Розанова.

Сии условия будем хранить свободно и крепко, без обязательства, но с охотою и по чести.

С.-Петербург. 2 апреля 1899 года.

Коллежский Советник *Василий Васильевич Розанов*

А. Суворин

«В ЛИТЕРАТУРЕ ЕСТЬ ПРОИЗВОЛЬНАЯ СТОРОНА...»

В литературе есть произвольная сторона, но есть и роковая. Помню, когда Лев Николаевич хило и трудно поднялся с кресла и, протянув вверх руку, стал выбирать из лежавших на полочке тетрадошек одну, «искомую», — я подумал с глубоким и недоумением, и страданием:

Т. е. «не может» перестать все перебирать и перебирать тетрадошки, все писать новые и новые тетрадошки... Он был болен (был припадок после обеда), очень устал, но — «вот еще тетрадошка».

— У вас есть знакомые священники, — сказал он. — Вот передайте им, пожалуйста.

В вагоне я посмотрел; это было «Разрушение и восстановление ада», и о том, что «детей не надо учить закону Божию», потому что он начинается с Библии, а в Библии с первых глав начинаются все глупости. Прочитав страниц по 6-ти из «тетрадошки», я не мог далее, от скуки, и заснул. «К чему это?»

— Графомания, — мелькнуло у меня.

Из духовенства я не решился никому передать «тетрадошек»: так мне было неловко и больно за старца, еще великолепного в натуре своей. Сколько огня в беседе! Сколько молодости, энергии в припоминаниях, в соображениях. Когда я заговорил о «послесловии» к «Крейцеровой сонате», он сказал:

— Да, конечно, род человеческий будет вечно множиться и жить; но мне хотелось дать *толчок* к умеренности здесь, к удержанию от излишеств. Но и излишества будут...

Он повел рукой и продолжал:

— Но нужно, чтобы человек плакал об этом. Знаете, *кто* мне представляется самым нравственным человеком из всех, каких я знал? Один священник, с которым был странный случай или, лучше сказать, происходили странные случаи. Он был очень благочестив и богобоязнен. От этого ли страха не испытать дурных мыслей во время богослужения или от другого чего, но всякий раз, как, служа службу, он входил в алтарь, — он испытывал именно прилив дурных возбуждений, а когда из алтаря выходил на солею, оно проходило. Священник страшно мучился, считал себя страшным грешником и вечно оплакивал свое падение. Вот этот священник, с вечным грехом и вечным плачем о себе, и кажется мне праведнее всех праведников, каких я тоже знавал, но у которых не было греха — не было и раскаяния.

Толстой рассказал гораздо грубее, чем я здесь передаю; рассказал в непереносимых для печати словах, называя все своим именем. Я поразился. «Бывают же случаи, каких и предположить нельзя». Во всяком случае, от заключения «Крейцеровой сонаты» он отказался, сказав, что это «порочно» и для «вспомоществующего действия на читателей».

Но я отвлекся. Рок в писательстве тоже нужно принимать во внимание, и не класть на лицо автора всех темных теней, которые вытекали бы из *суммы* им написанного. Мысли эти приходят на ум, когда читаешь переписку его с теткой его, Александрой Андреевной Толстой, и вот теперь при воспоминаниях об его сестре, графине Марье Николаевне Толстой.

В настоящий том Собрания сочинений В. В. Розанова вошли его газетные и журнальные статьи и очерки 1912 г., книга «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову» (1913), а также письма Розанова к Суворину. Сохраняются те же принципы публикации и комментирования текстов, что и в ранее вышедших томах Собрания сочинений.

Принятые сокращения: НВ – «Новое Время»; НВип – Иллюстрированное приложение к «Новому Времени»; Б. п. – Без подписи.

В том не включены статьи Розанова этого периода, уже опубликованные в вышедших томах Собрания сочинений:

Т. 1. Среди художников (1994) – Возврат к Пушкину (НВ. 1912. 29 янв.); П. Перцов. Венеция и венецианская живопись (НВ. 1912. 17 мая); Басни Крылова о 1812 г. (НВ. 1912. 7 авг.; в книге – с изменением названия); Пасквале Виллари. Джироламо Савонарола и его время (НВ. 1912. 21 ноября); Миронова в «Сафо» (НВ. 1912. 11 дек.); А. Смирнов-Кутачевский. Иванушка-дурачок (НВ. 1912. 23 дек.).

Т. 4. О писательстве и писателях (1995) – Трагедия механического творчества (НВ. 1912. 3 февр.); Тема и Боккачио, и Сократа (НВ. 1912. 1 мая); Ропшин и его новый роман (НВ. 1912. 3 мая); Амфитеатров и Ропшин-Савенков (НВ. 1912. 23 мая); Ж. Ж. Руссо (НВ. 1912. 10 июля).

Т. 7. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996) – Максим Горький о самоубийствах (НВ. 1912. 6 марта).

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ 1912 г.

1912 и 1812 годы (с. 7)
НВ. 1912. 1 янв. № 12861. Б. п.

...убийством главы правительства... – Речь идет об убийстве П. А. Столыпина 1 сентября 1911 г.

...предстоящие выборы в 4-ю Г. Думу... – Выборы в IV Государственную Думу проходили в сентябре – октябре 1912 г.

Богатыри – не вы. – М. Ю. Лермонтов. Бородино (1837).

Статья написана в соавторстве с Н. Н. Глубоковским.

...заявлением «32-х священников»... – Речь идет о созданном в начале 1905 г. группой либерально настроенного духовенства (А. Д. Введенский, Г. С. Петров, П. В. Раевский и др.) кружке «тридцати двух священников», сторонников церковного обновления; см.: О необходимости перемен в русском церковном управлении. СПб., 1905.

...проф. А. И. Бриллиантов... написал обстоятельную его биографию. – Бриллиантов А. И. Василий Васильевич Болотов: Биографический очерк. СПб., 1910.

П. А. Флоренский... начал в «Бог. Вестн.» печатанием замечательное исследование «О дружбе»... – Флоренский П. А. Дружба. Из писем к Другу // Богословский Вестник. Сергиев Посад, 1911. № 1. С. 151–182; № 3. С. 467–507. С примечанием автора: Настоящее письмо, будучи самостоятельным целым, входит в состав ряда писем, печатавшихся под общим заглавием «Столп и утверждение Истины».

Книжные новинки к новому году (с. 10)

НВ. 1912. 3 янв. № 12863.

«Раненая» молодежь (с. 12)

НВ. 1912. 4 и 7 янв. № 12864 и 12867.

Летом она поместила вызывающий фельетон «Раненые» в «Русск. Вед.», а теперь в той же газете пишет «Еще о раненых». – Кускова Е. Раненые // Русские Ведомости. М., 1911. 17 июля. № 164; Она же. Еще о «раненых» // Русские Ведомости. М., 1911. 17 декабря. № 290.

...зачитывается теперь «Саниным», «Последней чертой», «Ключами счастья». – Речь идет о романах М. П. Арцыбашева «Санин» (1907), «У последней черты» (1910) и А. А. Вербицкой «Ключи счастья. Современный роман» (1909–1913. Кн. 1–6).

...«Записки из Мертвого дома»... – произведение Ф. М. Достоевского (1861–1862).

...о смерти супругов Лафаргов... – Французский социалист Поль Лафарг и его жена Лаура (дочь Карла Маркса) покончили с собой 25 ноября 1911 г. в возрасте 69 и 66 лет, чтобы не обременять себя и окружающих своей старческой немощью.

Николай Николаевич Овсянников (Некролог) (с. 16)

НВ. 1912. 13 янв. № 12873.

**Педагогика как самодействующий автомат
(К съезду директоров и преподавателей гимназий)
(с. 17)**

НВ. 1912. 18 янв. № 12878.

...дает опять перевес «недорослю Митрофану» над Правдиным и Стародумом. – Речь идет о персонажах комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781).

Может быть тревожный час истории... (с. 26)

НВ. 1912. 19 янв. № 1279.

Посещение преосвященного Гермогена (с. 28)

НВ. 1912. 22 янв. № 12882.

...номер «Московских Ведом.»... – Розанов имеет в виду статью: [Без подписи] «Как поправить церковное бедствие?» // Московские Ведомости. 1912. 19 янв. № 15.

«Свет» – ежедневная газета, выходившая в Петербурге в 1882–1916 гг.

**История обер-прокуроров или история церкви
(с. 31)**

НВ. 1912. 24 янв. № 12884.

**Н. М. Лагов. Париж... Его же. Рим, Венеция,
Неаполь... (с. 34)**

НВ. 1912. 30 янв. № 12890. Подпись: В. Р.

Особенная чепуха за день (с. 35)

НВ. 1912. 4 февр. № 12895. Подпись: Vox.

Заметка вызвала ответную реакцию – в печати и в жизни («вызов Розанова на дуэль») – упомянутого в ней журналиста. См. далее в наст. томе письма Розанова в редакцию от 7, 15 и 17 февр. 1912 г.

Баян в «Русск. Слове»... – Баян – псевдоним влиятельного журналиста И. И. Колышко, входившего в круг князя В. П. Мещерского.

...Рославлев в «С.-Петерб. Ведом.». – «Рославлев» – второй псевдоним того же И. И. Колышко. Розанов цитирует вперемежку «невероятные сравнения» из статей Баяна «Лилипуты» (РС. 1912. 13 янв. № 10), «Итоги» (РС. 1912. 27 янв. № 22) и Рославлева «Мысли» (С.-Петербургские Ведомости. 1912. 24 янв. № 19).

Чем кумушек считать трудиться... – И. А. Крылов. Зеркало и Обезьяна (1816).

...князь Гоморский... – намек на склонность к «содомским наслаждениям» издателя «Гражданина» князя В. П. Мещерского, известную в литературных

кругах того времени. Прозвище восходит к очерку-памфлету литератора И. Ф. Романова (псевдоним – Рцы) «Барон Гоморрский» из его книги «Листопад» (СПб., 1892).

Письма в редакцию (с. 36)

НВ. 1912. 7, 15 и 17 февр. № 12897, 12905, 12907.

...«таков, Фелица, я развратен»... – Г. Р. Державин. Фелица (1782).

Гг. Елец и Попов в письме, напечатанном сегодня в «Нов. Вр.»... – «Письмо в редакцию» (НВ. 1912. 16 февр. № 12906), подписано: Посредники: подполковник Елец, капитан Попов.

Н. В. Корецкий. Песни ночи (с. 38)

НВ. 1912. 7 февр. № 12897.

Д. В. Философов с «неугасимой лампадой» (с. 40)

НВ. 1912. 8 февр. № 12898.

Речь идет о книге Д. В. Философова «Неугасимая лампада. Статьи по церковным и религиозным вопросам» (М., 1912).

Где стол был яств – там гроб стоит... – Г. Р. Державин. На смерть князя Мещерского (1779).

Социал-комики (с. 42)

НВ. 1912. 11 февр. № 12901.

Литературная новинка (с. 46)

НВ. 1912. 20 февр. № 12910. Подпись: В. Р.

«К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни» – Леонтьев К. Н. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни (По двум письмам). М.: Творческая мысль, 1912.

Издание предположено в восьми томах... – Леонтьев К. Н. Собр. соч. Т. 1 – 9. М.; СПб., 1912–1913.

Армяне-москвичи (с. 46)

НВ. 1912. 24 февр. № 12914.

Гляжу я безмолвно на черную шаль... – А. С. Пушкин. Черная шаль (1820). У Пушкина: «Гляжу, как безумный...»

Вилай-оратор (Маклаков об университетах) (с. 48)

НВ. 1912. 3 марта. № 12922.

...читаю речь Маклакова. – Речь идет о помещенном в «Русских Ведомостях» (1912. 1 марта № 50) отчете: «Государственная Дума. Прения по университетскому вопросу».

Молодому поколению России (с. 51)

НВ. 1912. 4 марта. № 12923.

...«Хитопадеша»... – В следующем году автор выпустил продолжение: Орлов М. И. Хитопадеша. Полезное наставление. Собрание древнеиндийских нравоучительных рассказов. Перевод с санскрита... Части 3–4. СПб., 1913. (Над заглавием: Молодому поколению России.) В предисловии книги автор упоминает этот «прекрасный отзыв» Розанова о первой книге.

В Религиозно-философском обществе (с. 55)

НВ. 1912. 7 марта. № 12926. Б. п.

О загадке мира (с. 55)

НВип. 1912. 10 марта. № 12929.

«И клялся ангел, что (тогда-то и тогда-то) времени уже не будет» – Откр. 10, 6.

«Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви...» – Еф. 3, 18.

Эс-деки в странствиях (с. 57)

НВ. 1912. 11 марта. № 12930.

...вот третью книжку журнала «Вестн. Евр.» наполняют... мемуарами «ссылного» С. Чудновского... – Чудновский С. Из дальних лет // Вестник Европы. 1912. № 1, 2, 3.

Под этим поэтическим заглавием... 2-жа Пассек печатала свои воспоминания о Герцене, Огареве и других лицах 40-х годов. – Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. Т. 1 – 3. СПб., 1878 – 1889; 2-е изд. – СПб., 1905–1906.

«Сибирская Газета» – политическая, общественная и литературная газета, выходившая с сентября 1906 по март 1907 г. в Иркутске. Издание приостановлено по распоряжению иркутского генерал-губернатора.

Социально-политические силуэты (с. 59)

НВ. 1912. 14 марта. № 12933.

Об адресе «Св. Синода» своему обер-прокурору (с. 63)

НВ. 1912. 15 марта. № 12934.

«О, если бы ты был холоден или горяч...» – Откр. 3, 15–16.

...«мене, текел, фарес»... – Дан. 5, 25–28.

А. Ф. Кони как писатель и юрист (с. 65)

НВ. 1912. 19 и 22 марта. № 12938 и 12941.

...«Кони и Гааз» или «Гааз и Кони»... – см.: Кони А. Ф. Федор Петрович Гааз: Биографический очерк. СПб., 1897. Несколько переизданий. В 1910 г. в Москве вышел также сокращенный вариант: Кони А. Ф. Доктор Ф. П. Гааз: Краткий биографический очерк. М., 1910.

...«На жизненном пути». – Кони А. Ф. На жизненном пути. Т. 1. Из записок судебного деятеля. Житейские встречи. СПб., 1912. Этот 1-й том многотомных мемуаров Кони вышел в конце февраля 1912 г. Розанов далее цитирует главы этого тома «Дело Овсянникова» и «Игуменя Митрофания».

Памяти Анны Павловны Filosoфовой (с. 69)

НВ. 1912. 24 марта. № 12943.

Ал. Платонов. На высотах духа. Стихотворения и рассказы (с. 72)

НВ. 1912. 24 марта. № 12943. Подпись: В. Р-в.

Христос воскрес!.. (с. 72)

НВ. 1912. 25 марта. № 12944. Б. п.

Что такое история Давида и Вирсавии?.. этот псалом мы заучиваем наизусть, ибо он облегчает душу каждого... – 50-й Псалом Давида (входивший в гимназический курс «Закона Божия») – молитва его раскаяния в прелюбодеянии – см. 2 Цар. 11, 2–5, 15–17, 26–27; 12, 1–25; Пс. 50, 1–21.

Е. И. Игнатьев. Наука о Небе и Земле, общедоступно изложенная (с. 75)

НВ. 1912. 3 апр. № 12951.

...в русской книжке 1872 года... Н. Н. Страхова... – Страхов Н. Н. Мир как целое. Черты из науки и природы. СПб., 1872; 2-е изд. – СПб., 1892.

Принятые запросы (с. 77)

НВ. 1912. 11 апр. № 12959. Б. п.

Н. Шульговский. Лучи и грезы (с. 78)

НВ. 1912. 11 апр. № 12959.

Об управлении в русской церкви (с. 80)
НВ. 1912. 11 апр. № 12959.

Очи одела смертельная мгла... – М. Ю. Лермонтов. Морская царевна (1841).
...в известной книге, изданной Погодиным за границею, священника Беллюстина... – Имеется в виду книга «Описание сельского духовенства» (Лейпциг, 1858), изданная М. П. Погодиным без указания имени автора – Ивана Степановича Беллюстина.

...книгу казанского профессора Благовидова... – Благовидов Ф. В. Обер-прокуроры Святейшего Синода в XVIII в. и в первой половине XIX столетия. (Развитие обер-прокурорской власти в синодальном ведомстве): Опыт исторического исследования. Казань, 1899. Розанов написал рецензию на эту книгу (НВип. 1900. 8 ноября).

О погибших на «Титанике» (с. 82)
НВ. 1912. 12 апр. № 12960.

Океанский пассажирский лайнер «Титаник» затонул в апреле 1912 г., столкнувшись с айсбергом, во время своего первого рейса из Англии в Америку. Погибло около 1500 человек (на борту было приблизительно 2200).

**Музей изящных искусств имени
Александра III в Москве (с. 83)**
НВ. 1912. 14 апр. № 12962.

Памяти Ал. Ив. Косоротова (с. 85)
НВ. 1912. 17 апр. № 12965.

Блажен незлобивый поэт... – из одноименного стихотворения Н. А. Некрасова (1852).

...роман из гимназической жизни под названием «Вавилонское столпотворение» – Косоротов А. И. Вавилонское столпотворение. История одной гимназии. СПб., 1900. В сентябре – октябре 1899 г. эта повесть (а не роман) публиковалась в петербургской газете «Свет».

«Литературный фонд»... – неофициальное название «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», учрежденного в Петербурге в 1859 г.
...как Фамусов... помогает только «своим». – Речь идет о персонаже комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824); Розанов далее цитирует слова Фамусова из действия 2, явл. 5 этой комедии.

Донателло. Н. Горбова (с. 86)
НВ. 1912. 23 апр. № 12971. Подпись: В. Р-в.

Ответ свящ. Владимиру Галкину (с. 87)
НВ. 1912. 24 и 25 апр. № 12972, 12973.

...«А если законом оправдание, то Христос напрасно умер»... – Гал. 2, 21.
...Силоамская купель, вдруг «промывшая глазки»... – ср.: Ин. 9, 1–11.

**Митрополит Антоний в его исторических
заслугах (с. 91)**
НВ. 1912. 5 мая. № 12983.

Евреи в русской литературе (с. 94)
НВ. 1912. 6 мая. № 12984.

«Полагаю, есть разница между можно и невозможно», – пишет Г. Горнфельд... – Розанов здесь и далее цитирует «Письма в редакцию» А. Горнфельда и С. Венгерова (Новое Время. 1912. 4 мая. № 12982).

Это шейлоковское «вырезать фунт мяса из человека»... – Речь идет о персонаже комедии У. Шекспира «Венецианский купец» (1597), еврее-ростовщике Шейлоке, ссудившем деньги под залог фунта мяса из собственной груди должника.

Г-н Венгеров... «О героическом характере русской литературы»... – Венгеров С. А. Героический характер русской литературы. СПб., 1911.

«Шиповник» – существовавшее в 1906–1918 гг. в Петербурге книгоиздательство декадентско-модернистского направления, основанное З. И. Гржебиным и С. Ю. Копельманом. В 1907–1917 гг. выпустило 26 книг литературно-художественного альманаха «Шиповник».

Московские крестоносцы (с. 97)
НВ. 1912. 9 мая. № 12987.

*Дружно гребите во имя прекрасного... – А. К. Толстой. Против течения (1867).
...«кроткие наследят землю»... – Пс. 36, 11; Мф. 5, 5.*

Атеизм «с разрешения начальства»... (с. 99)
НВ. 1912. 11 мая. № 12989.

Годовщина В. О. Ключевского (с. 100)
НВ. 1912. 16 мая. № 12993.

...последуют еще два сборника... – см.: Ключевский В. О. Очерки и речи: Второй сборник статей. М., 1913; 2-е изд. – Пг., 1918; Ключевский В. О. Отзывы и ответы: Третий сборник статей. Пг., 1918.

...«Курс русской истории» – Ключевский В. О. Курс русской истории. Части 1–4. М.: Синодальная типография, 1904–1910. Многократно переиздавался.

В двух ценных статьях «Сборника»... – Любавский М. К. Василий Осипович Ключевский; Он же. Соловьев и Ключевский // Ключевский В. О. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 5–25; 45–58.

В объяснениях и характеристике г. Милюкова... – Милюков П. Н. В. О. Ключевский. М., 1912; заключительная статья указанного выше сборника (с. 183–217).

«Венок» на могилу Засодимского... (с. 103)

НВ. 1912. 20 мая. № 12997.

...я написал в «Московских Ведомостях» шесть фельетонов... – Эти шесть статей 1891–1892 гг. составили раздел «Старое и новое» в сборнике Розанова «Литературные очерки» (СПб., 1899; 2-е изд. – 1902); см.: Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 7]. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 159–208.

«И эта коммуна на Знаменской...» – коммуна-общешитие, существовавшая в 1863–1864 гг. в одной из квартир на Знаменской ул. в Петербурге. Основана писателем В. А. Слепцовым и рядом лиц, близких в те годы к журналу «Современник», как попытка реализации идей, изложенных в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863). Нашла памфлетное отображение в романе Н. С. Лескова «Нéкуда». Ряд членов коммуны привлекался к дознанию по делу о покушении Д. В. Каракозова на императора Александра II.

Если жизнь тебя обманет... – из одноименного стихотворения (1825) А. С. Пушкина.

Наша прислуга, пожары и деревенская школа

(с. 106)

НВ. 1912. 28 мая. № 13005.

Не будем равнодушны (с. 108)

НВ. 1912. 5 июня. № 13013.

Единство или разделение? (с. 109)

НВ. 1912. 12 и 13 июня. № 13020, 13021.

...«Борьба за веру»... – Ясевич-Бородаевская В. И. Борьба за веру: Историко-бытовые очерки и обзор законодательства по старообрядчеству и сектантству в его последовательном развитии. С приложением статей законов и высочайших указов. СПб., 1912.

«Кто душу свою потеряет для другого – сохранит ее, а кто сохранит ее для себя – тот ее потеряет» – ср.: Мф. 10, 39; 16, 25; Мр. 3, 35; Лк. 9, 24; 17, 33.

...«наложил пост на весь город, людей и даже животных». – Иона. 3, 4–10.

К изданию полного собрания сочинений

К. Леонтьева (с. 119)

НВ. 1912. 16 июня. № 13024.

...началось выходом 12-томное издание... – В этом издании вышло девять томов, «письма» не выходили: *Леонтьев К. Н. Собрание сочинений. Т. 1 – 9. М.: Изд-во В. М. Саблина; СПб.: Изд-во «Деятель», 1912 – 1913.*

Всего месяца два, как появилась... – *Кукулярский Ф. Ф. Осужденный мир (Философия человекоборческой природы). СПб., 1912.*

...«Рубакин»... – Имеются в виду рекомендательные списки литературы «Что читать?», публиковавшиеся с 1890-х гг. библиографом Н. А. Рубакиным.

К запросу в Св. Синоде преосвященного

Назария (с. 121)

НВ. 1912. 17 июня. № 13025.

...«суета и томление духа». – Еккл. 1,14.

**Воздуха и света... (К вопросу церковного
преобразования) (с. 124)**

НВ. 1912. 18 июня. № 13026.

...в своих «Записках»... – Многотомная «Хроника моей жизни. Автобиографические записки Высокопреосвященного Саввы, Архиепископа Тверского и Кашинского (сконч. в 1896 г.)» под ред. Г. Ф. Виноградова и К. М. Попова печаталась в «Богословском Вестнике» в 1900–1911 гг. из номера в номер.

Новые работы по философии (с. 127)

НВ. 1912. 21 июня. № 13029.

...две ценные философские работы, появившиеся этой зимой... – *Эрн В. Очерк теоретической философии Г. С. Сковороды // Вопросы философии и психологии. М., 1911. № 5 (110). Ноябрь – декабрь. С. 645–680; Карпов Вл. Натурфилософия Аристотеля и ее значение в настоящее время // Вопросы философии и психологии. М., 1911. № 4 (109). Сентябрь – октябрь. С. 517–597; № 5 (110). Ноябрь – декабрь. С. 725–814.*

Вега. Апокрифические сказания о Христе (с. 130)

НВ. 1912. 25 июня. № 13033.

Бедные наши дети (с. 133)

НВ. 1912. 27 июня. № 13035.

И над вершинами Кавказа... – М. Ю. Лермонтов. Демон (1841).

«Историю умственного развития Европы» – *Дрэпел Д. У. История умственного развития Европы. Рус. пер. под ред. А. Н. Пыпина. СПб., 1862.*

«Небо и земля»... «Каин»... – драмы (1821) Дж. Г. Байрона на библейские сюжеты.

«Юрий Милославский» – исторический роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829).

Зависимость духа общества от духа школы (с. 141)
НВ. 1912. 4 июля. № 13042.

Так тощий плод, до времени созрелый... – М. Ю. Лермонтов. «Он был рожден для счастья, для надежд...» (1832).

Официальный нигилизм (с. 147)
НВ. 1912. 9 июля. № 13047.

Уравнение программ (с. 150)
НВ. 1912. 14 июля. № 13052.

Перед задачами женского образования (с. 156)
НВ. 1912. 18 июля. № 13056.

Au naturel... (с. 164)
НВ. 1912. 23 июля. № 13061.

«Поэтическое искусство» Буало... – написанный в форме поэмы эстетический трактат французского поэта, теоретика классицизма Н. Буало (1674). Русский перевод (1752) – В. К. Тредиаковского.

Врачи-«психиатры» в качестве самовольных тюремщиков (с. 168)
НВ. 1912. 27 июля. № 13065.

На статью откликнулась газета «Речь», выступив в защиту репутации психиатра Шенфельда (д-р Вл. Цед-м. Новая глава // Речь. 1912. 30 июля. № 206). В ответной реплике (*без подписи*) «Новое Время» (1912. 31 июля. № 13069) писало: «Некий д-р Вл. Цед-м из «Речи» остался крайне недоволен заметкой В. В. Розанова о психиатре Шенфельде, убитом Генрихом фон Рутенфельдом. Можем удовлетворить любопытство д-ра Цед-ма. Заметка В. В. Розанова основана на данных, сообщенных «Утром России» – газетою, которую едва ли можно упрекнуть в юдофобстве. Скорей наоборот... «Шенфельд безупречной репутации...» Газеты сообщают, что д-р Шенфельд принимал живое участие в деле Бейлиса, обвиняемого в убийстве Юшинского. Для д-ра Цед-ма и его единомышленников – это уже репутация, а для нас такие факты авторитетности д-ра Шенфельда отнюдь не усугубляют и о бескорыстии его нисколько не свидетельствуют».

**Историческая заслуга ведомства императрицы
Марии (с. 170)**
НВ. 1912. 9 авг. № 13078.

...Скотинины и Простакова... – персонажи комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781).

Закржевский о Конст. Леонтьеве (с. 174)
НВ. 1912. 11 авг. № 13080.

«Огни» – еженедельный журнал, выходивший в Киеве в 1911–1914 гг. Редактор – О. П. Прохаско; № 29–39 за 1912 г. редактировал А. К. Закржевский.

«Собрание сочинений Константина Леонтьева» – см. выше комментарий к статье от 16 июня 1912 г.

...статья г. Александра Закржевского... – Закржевский А. Литературные впечатления: III. Воскресший писатель // Огни. Киев, 1912. № 30. 28 июля. С. 12–14.

А. С. Суворин (с. 177)
НВ. 1912. 12 авг. № 13081.

**Нельзя ли децентрализовать развод?
(К пересмотру его в Св. Синоде) (с. 178)**
НВ. 1912. 15 авг. № 13084.

**Библиотека всемирной литературы.
Европейские классики (с. 182)**
НВ. 1912. 29 авг. № 13098.

**Еще о врачах-психиатрах и лечебницах-тюрьмах
(с. 183)**
НВ. 1912. 3 сент. № 13103.

В статье, вызванной убийством в Риге доктора... – см. статью В. Розанова от 27 июля 1912 г. «Врачи-«психиатры» в качестве самовольных тюремщиков» (выше в наст. томе).

**1812–14 годы и их возможное идейное значение
(с. 186)**
НВ. 1912. 4 сент. № 13104.

По свидетельству С. А. Цветкова, заглавие статьи было изменено редакцией газеты. Первоначальное: 1812–14 годы и потерянные возможности XIX века.

Конст. Леонтьев в «Анализе... Толстого»... – Леонтьев К. Н. Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого // Русский Вестник. 1890. № 6–8. Отдельное издание – М., 1911.

«Записка о старой и новой России» Карамзина... – была подана А. Н. Карамзиным царю Александру I в марте 1811 г., стала доступна историкам в 1836 г., впервые опубликована в 1861 г. в Берлине и в 1900 г. – в России.

**«Государственные» ли русские (Ответ
г. Философovu) (с. 193)**

НВ. 1912. 5 сент. № 13105. Подпись: Н.

...г. Философов... в «Рус. Сл.»... – Философов Д. В. Двадцатый день («Вчера минул 20-й день со дня кончины А. С. Суворина...») // Русское Слово. 1912. 1 сент. № 202.

Из прошлого нашей литературы (с. 195)

НВ. 1912. 18 сент. № 13118.

Лук звенит, стрела трепещет... – начальные строки «Эпиграммы» (1827) А. С. Пушкина.

О. Д. Дурново. Так говорил Христос (с. 202)

НВ. 1912. 25 сент. № 13125.

«Я не мир принес на землю, но меч и разделение» – Мф. 10, 34–35.

...«оставить отца и мать, и жену, и ближних»... – ср.: Мф. 19, 29.

...«кто имеет любовь – исполнил все» – ср.: Рим. 13, 8–10.

Историко-литературный род Киреевских (с. 203)

НВ. 1912. 27 сент., 9 и 18 окт. № 13127, 13139 и 13148.

...На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?.. – М. Ю. Лермонтов. Три пальмы (1839).

«Левана» Ж. П. Рихтера... – Жан Поль Рихтер. Левана, или Учение о воспитании (1806).

Петр Васильевич Киреевский начал изложением... новогреческой литературы... – Киреевский П. В. Курс новогреческой литературы – по Я. Р. Нерулосу // Московский Вестник. 1827. № 13. С. 85–103; № 15. С. 284–304.

...перевод комедии Кальдерона... – Кальдерон де ла Барка. Трудно стечь дом о двух дверях. День первый // Московский Вестник. 1828. № 19–20. С. 234–271.

<А. С. Хомяков... – Литургия Иоанна...> (с. 222)

НВ. 1912. 30 сент. № 13130.

Священник Феодосий Левицкий и его сочинения...
(с. 223)

НВ. 1912. 3 окт. № 13133.

В. Реков. Без средней школы. Из жизни экстерна
(с. 225)

НВ. 1912. 20 окт. № 13150.

Энциклопедия из Капернаума (с. 227)

НВ. 1912. 28 окт. № 13158.

Священник Н. Р. Антонов. Русские светские богословы и их религиозно-общественное миросозерцание (с. 230)

НВ. 1912. 29 окт. № 13159.

Там на неведомых дорожках... – А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. Вступление (1825–1826).

К кончине высокопреосвященного митрополита Антония (с. 233)

НВ. 1912. 3 нояб. № 13164.

К делу Мартьянова (с. 235)

НВ. 1912. 12 нояб. № 13173.

Б. И. Гладков. Евангельская история... (с. 238)

НВ. 1912. 15 нояб. № 13176.

Почему этот святой ученический текст... нашли нужным переделать и подделать... – Имеются в виду издания, уже неоднократно служившие предметом иронии Розанова: «Священная история Ветхого Завета» протоиерея А. П. Рудакова (СПб., 1897), «Священная история Ветхого и Нового Завета» протоиерея Д. П. Соколова (СПб., 1894).

Признаки времени (с. 240)

НВ. 1912. 4 дек. № 13195.

«Мы всегда хороши»... (с. 241)

НВ. 1912. 12 дек. № 13203.

Левину из «Речи» (с. 248)

НВ. 1912. 13 дек. № 13204.

...пишет еврей Левин... в «Речи». – Левин Д. Илиодор // Речь. 1912. 9 декабря. № 338.

На эту заметку откликнулся В. Г. Короленко, официальный издатель и один из трех редакторов журнала «Русское Богатство». В «Письме в редакцию» «Нового Времени» он писал: «М. г. В № 13204 «Нового Времени» напечатана статья г. Розанова «Левину из «Речи», в которой автору угодно было, кроме г. Левина и «Речи», затронуть также «Русское Богатство» и А. Г. Горнфельда. Г. Розанову довелось подслушать разговор двух «тружениц» – «курсисток», жалующихся на то, что в «Русском Богатстве» не принимают переводов от русских переводчиков, а печатают исключительно переводы евреев. Если бы такой разговор пришлось услышать кому-нибудь из членов редакции «Русского Богатства», то мы объяснили бы «труженицам», что они распространяют клевету довольно обычного и довольно дурного тона. За время участия в редакции журнала А. Г. Горнфельда в «Русском Богатстве», между прочим, были напечатаны переводы следующих лиц, не принадлежащих к еврейской национальности: А. Н. Анненской, Е. Благовещенской, М. И. Благовещенской, Т. А. Богданович, М. В. Ватсон, Я. А. Глотова, Е. Н. Журавской, Л. Я. Круковской, А. В. Каменского, Б. Никитенко, В. В. Мягковой, К. И. Саблиной, А. Н. Тверитинова, А. Рождественской, Н. С. Русанова, Э. К. Пименовой, О. А. Шишмаревой. Нам остается пожелать, чтобы труженицы, которых подслушал г. Розанов, теперь подслушали также этот наш ответ автору статьи «Левину из «Речи» (НВ. 16 дек. 1912).

Ответ В. Розанова – см. следующую его статью от 16 декабря 1912 г.

Ответ г. Короленко (с. 249)

НВ. 1912. 16 дек. № 13207.

Заметка вызвала, в свою очередь, новое ответное «Письмо в редакцию» В. Г. Короленко (Новое Время. 1912. 22 дек. № 13213): «М. г. Г. Розанов, основываясь на «подслушанном разговоре», обвинил редакцию «Рус. Бог.» в том, будто в журнале принимаются переводы исключительно от переводчиков-евреев. Приведя длинный список лиц нееврейского происхождения, переводы которых были напечатаны в «Рус. Бог.», мы считали, что «клевета дурного тона», подслушанная г. Розановым, опровергнута. К удивлению, мы встретили новую заметку того же автора, в которой он берет анонимную клевету под свое дальнейшее личное покровительство, заявляя, что «В. Г. Короленко уклонился от ответа прямого и ясного». Г. Розанову, очевидно, угодно еще знать отношение количества русских переводчиков к переводчикам-евреям. Правду сказать, нам приходится преодолеть чувство глубокого нежелания продолжать этот разговор. Но раз он уже начался, – приходится докончить. Итак, удовлетворяем любопытство г. Розанова: на 17 имен русских переводчиков, нами указанных, переводчиков-евреев было за то же время семь человек. Это, конечно, случайность: отношение легко могло бы быть и обратное, так как «Рус. Бог.» считается лишь с соображениями литературного свойства, не обращая внимания на национальность авторов или переводчиков.

Г. Розанов вызвал нас на эту справку, из которой ясно, что не только первое утверждение (исключительно евреи), но и второе утверждение его (главную массу переводчиков в «Рус. Бог.» составляют евреи) – остается все же «клеветой дурного тона», которую не следовало отстаивать. На этом мы кончаем данный разговор, предоставляя г. Розанову варьировать как угодно эту понравившуюся ему тему. *С совершенным почтением Вл. Короленко.*

Под этим «письмом» далее в газете – реплика В. В. Розанова:

«М. г. Г-н Короленко своими «подслушал» и «дурного тона» думал укунить мне палец, – но только обгрыз ногти. *В. Розанов.*»

Закон о цензуре и администрация цензуры (с. 249)
НВ. 1912. 18 дек. № 13209.

«Кладбище страстей» Городецкого... – Городецкий С. М. Кладбище страстей. СПб., 1909.

Христианство и семья (с. 254)
НВ. 1912. 25 дек. № 13216. Б. п.

ПИСЬМА А. С. СУВОРИНА К В. В. РОЗАНОВУ

Печатается по изданию: *Розанов В. В. Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб.: Типогр. Товарищества А. С. Суворина – «Новое Время», 1913.* В Главное управление по делам печати книга поступила между 17 и 31 декабря 1912 г.

В рецензии на «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову» критик А. Дерман отмечал: «Розанов – это тот писатель, на котором литература прогрессивного лагеря любит проявлять свое благородство. Если в этом лагере обличают Розанова, полемизируют с ним и раскрывают его ужасную сущность, то непременно считают нужным прибавить: а все-таки Розанов талантлив или даже почти гениален. И порой кажется, что иные из этих эпитетов продиктованы не столько твердым убеждением, сколько боязнью не воздать должное врагу» (Заветы. 1913. № 4. С. 191).

Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине
(с. 259)

НВип. 1912. 18 авг. № 13087. С. 6 (266) – 12 (272) – начальная часть статьи. Полный текст статьи был опубликован в книге Розанова «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову». С. 3–66.

«Незнакомец» – псевдоним, под которым в 1860–1870-х гг. А. С. Суворин печатался в «Санкт-Петербургских Ведомостях». Его воскресные фельетоны публиковались под рубрикой «Недельные очерки и картинки». В 1875 г. изданы отдельной книгой в 2 т.

...*мою полемику со Струве*... – Речь идет о статье П. Б. Струве «Большой писатель с органическим пороком. Несколько слов о В. В. Розанове» (Русская мысль. 1910. № 11. Ноябрь. С. 138–146) и о большой ответной полемической статье В. В. Розанова «Литературные и политические афоризмы» (Новое Время. 1910. 25, 28 нояб., 9 дек.).

...*ответ мой Пешехонову*... – Речь идет о статье В. Розанова «Открытое письмо А. Пешехонову и вообще нашим «социал-сутенерам» (Новое Время. 1910. 15 дек.).

«Иудейская тайнопись» – статья Розанова, опубликованная в «Новом Времени» 12 декабря 1911 г. Вошла в его книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (СПб., 1914).

«Да! – водевиль есть вещь, а прочее все – гиль». – А. С. Грибоедов. Горе от ума. Действ. 4, явл. 6 (1824).

...*свой театр*... – театр, основанный Сувориным, – Петербургский Малый театр; был открыт в 1895 г. С августа 1913 г., в годовщину смерти основателя, получил официальное название «Театр А. С. Суворина».

«Татьяна Репина» – комедия в 4 действиях А. С. Суворина (1887, первоначальное название – «Женщины и мужчины»); 4-е испр. изд. СПб., 1911.

«Царевна Ксения»... – А. С. Суворин. Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения. Драма в 5 действиях, 8 картинах (1904).

«Вопрос» – комедия в 4 действиях, 6 картинах А. С. Суворина (1903).

...«*Любовь в конце века*»... – роман А. С. Суворина «В конце века. Любовь». СПб., 1893; 3-е изд. – 1898.

...«*Словарь замечательных людей русских*»... – первый, оставшийся в рукописи литературный опыт А. С. Суворина, подготавливавшийся им еще в период обучения в Михайловском кадетском корпусе и Константиновском военном училище в 1850–1853 гг.

...«*Ермак Тимофеевич, завоеватель Сибири*» – Суворин А. С. Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири. СПб., 1862. Брошюра серии «Рассказы по русской истории» Общества по распространению полезных книг.

...«*Материя и сила*» и «*Кругооборот жизни*»... – Речь идет о книгах: Бюхнер Л. Сила и материя (рус. пер. – СПб., 1907) и Молешотт Я. Вращение жизни в природе (рус. пер. – СПб.; М., 1867).

Феодор Иоаннович – трагедия А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» (1868). Пьеса была под запретом, и только в 1893 г. благодаря хлопотам Вл. И. Немировича-Данченко и А. С. Суворина удалось получить разрешение для ее постановки.

В. Н. Дядичев

Печатный текст писем издания 1913 г. заново сверен с оригиналами (ОР РГБ. М. 3822. Ед. хр. 1–3). Исправлены неточности розановского прочтения («Ужасный у Вас почерк: как иероглифы или славянская вязь», – писал он Суворину). Восстановлены сделанные Розановым мелкие купюры.

В настоящем издании сохранен порядок писем книги 1913 г., хотя Розанов отступал от хронологии. Он ошибочно написал дату в письме XLVIII как «21 янв. 907», тогда как у Суворина стоит «21 янв. 897», что подтверждается и содержанием самого письма. Следовательно, это письмо должно было бы идти перед письмом под номером II. Недатированное письмо XIX, исходя из его содержания, мы относим к январю 1905 г., когда обсуждался вопрос о сотрудничестве Розанова в газете «Слово». Розанов же поместил его среди писем 1903 г. Нарушена также хронология в расположении некоторых других писем. Письмо XVIII, с авторской датировкой 19 декабря 1903 г., помещено перед письмами XX–XXVII (21 марта – 12 декабря 1903 г.), то есть его правильный римский номер должен бы быть XXVIII. Письмо LIII в автографе не датировано. Розанов условно, со знаком вопроса, отнес его к 1909 г. Вероятно, письмо имеет отношение к истории «суда чести» Суворина с Михайловским и Спасовичем в предпасхальные дни апреля 1899 г. и должно быть помещено перед письмом IV.

Начало письма VII от 14 сентября 1899 г. содержит характеристику сына Суворина Алексея, исключенную по просьбе последнего из гранок книги. В автографе письмо начинается так:

«Крепко жму Вам руку за Ваше письмо, Василий Васильевич. Вы совершенно правильно оцениваете характер Лели, моего сына. Эта разница наших темпераментов ссорит нас до страшной боли. Чувствуя, что я давно «на покое», я, естественно, желал такого же преемника, как я, который вел бы газету «экспансивно, с художественными эпизодами», как Вы хорошо выражаетесь. И этого я в нем не видел, и это меня злило, и мы ссорились. Я долго не мог понять, что мы разные личности, что нельзя требовать того, к чему человек неспособен. Но я в нем ценил прямо высокую честность и упорный труд, который он удваивал ненужно. Я никогда так не работал над чужим текстом, как он. И я думаю, что не надо обезличивать никого, не надо на всех мундир надевать. Против этого я восставал ужасно и думаю, что я прав. Надо больше давать свободы личному мнению и не навязывать своего взгляда, а у сына моего это есть, и это недостаток в газетном деле».

В сохранившейся части верстки книги «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову» это место вычеркнуто черными чернилами, а на полях фиолетовыми чернилами приписано: «Ал. Ал. Суворин, когда я засыпал после обеда, очевидно, прочел в типографии, пришел и попросил-потребовал права зачеркнуть это место. Его, конечно, надо восстановить. В. Роз.» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 196. Л. 9 об.).

Ниже публикуются письма и неотправленные черновики писем и записок А. С. Суворина к В. В. Розанову, не вошедшие в издание 1913 г.

1

Недатированный черновик начала ответа на январское письмо Розанова 1905 г. (в настоящем издании письмо № 28) (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 322).

Дорогой Василий Васильевич, я прочел Ваше письмо после того, как Вы ушли. Я постараюсь, чтобы в материальном отношении Вы ничего не потеряли, оставаясь в одной газете. Это всегда уладить можно. Говорить мне с Вами всегда было приятно, ибо приятно говорить только с человеком, с которым ничего выдумывать не приходится, а разговор само собой выходит. Очень жалею, что Вы меня не познакомили с Тернавцевым. Я читал его «речи» в известных изданиях с большим удовольствием. Он решительно высказывался. Если когда можете прийти с ним вечером, был бы очень рад. Что талант «газете» не способствует, это верно. Я думаю, что талант нельзя <придержать?>, но он должен <избегать целей?>, отдаленных и <ближайших?>. Газета, вероятно, узка для него, но ведь не Бог знает, как широка русская жизнь. Ее надо просветить – это главное. Без таланта этого нельзя сделать. Талант имеет ту неопределимую способность, которая проникает в душу. А газета даст <столько?> душе...

2

Письмо от 6 января 1907 г. сохранилось в фонде литературоведа В. А. Жданова (РГАЛИ. Ф. 3105. Оп. 1. Ед. хр. 196. Л. 9 об.).

С Новым годом, Василий Васильевич, и дай Вам Бог здоровья и всякого благополучия, Вам и Вашей семье. Сейчас я прочел Вашу статью о поляках. Славно! Чудесно! Мое русское чувство, может быть глупое, некультурное, прыгает. Мы так себя оплеываем, чтобы делать себя <нрзб>, что становится трудно дышать. Рабы, себя бьющие, за что мало нас били и бьют все кому не лень, все, кто хочет, чтобы мы еще ниже упали и еще больше сделались рабами. «Шапками закидаем», «Квасной патриотизм» – эти выраженья придумали для литераторов, а в народе этого нет, а у нас с Вами этого нет. А коли нам хочется победы, то это хочется надежды, хочется сил и здоровья. А в сущности, мы вовсе не воинственны, но «есть упоение в бою» и проч. Будьте здоровы.

Ваш А. Суворин
6 янв. 907.

В фонде А. С. Суворина находятся несколько других недатированных записок и черновиков писем Суворина Розанову, оставшихся неотправленными (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 322).

Василий Васильевич,

Как называется то сочинение Тареева, о котором Вы написали хороший фельетон, меня очень заинтересовавший<?> <Тареев М. М. Истины и символы в области духа. Сергиев Посад, 1905; фельетон Розанова – «Непростительные пропуски» (НВ. 1907. 14 авг.); см.: Розанов В. В. Около народной души. М., 2003. С. 213–219>.

Василий Васильевич,

«Лиана» – что-то романтическое, странное, но из <умерших?> (не то какой-то бред по любви, не [от любви, а именно по любви. Середина всего лучше и начало ничего, как будто что-то есть, но конец совершенно не важен и дик, и написано холодно. Как будто барышня начиталась декадентских стихотворений и]

Это результат чтения декадентских стихотворений, и группа Дягилева и Вагнера там <нрзб>, о сфинксах и т. под. Только это <нрзб> все из жизни. В середине что-то мелькает, как будто <нрзб>. Конец совсем недурной и опять <нрзб>. Все холодно, за некоторыми исключениями, из которых будто бьет живое сердце. Такой вещи должно желать <нрзб>, чтоб был приемлемым, издателя.

Дорогой Василий Васильевич,

когда я умру, печатайте с Ал. А-чем все, что хотите. А я не могу. Я литератор, и только. Я не могу читать о «гробиках» внутри матки. Я думаю, что есть специальная литература, которая легко разъяснит, что это не гробики. Неужели мужчине и женщине нужен ребенок, чтоб вышел гробик. А если регулы есть бесчисленное множество гробиков, то надо советовать мужчинам совокупляться только во время регул, а в остальное время женщину не трогать. Говорить о незаконнорожденных можно и должно, но не так, как Вы. Напишите книгу об этом – там можете говорить и о матке, и о влагалище, и о фаллопиевых трубах и проч. Газета не может печатать хвалу половой анатомии и даже просто анатомии. На Толстого Вы напрасно ссылаетесь, он не говорит того, что Вы. О «гробиках» в матке я у него нигде не встречал. Наконец, Толстому если подражать, то с его талантом. Ваше упрямство все обращено на церковь. Вы горячо доказываете, что то только есть совокупление, если после него ребенок. А я думаю, что это дичь. Просто дичь. Ребята родятся убогие, преступные, идиоты, подлецы и т. д., потому что и в браке и вне брака употребляются <похотливые?>, пьяные, <облезлые?>, обессиленные, <нрзб>! Большинство людей – стадо, просто род назема, немножко лучше собаки, а пожалуй, и многим хуже. Что же это за «великая тайна» производится из мерзости? И где же Вам церковь, которая Вас и в сто раз не послушает, когда и без того можно говорить

о рождении и незаконнорожденных, и <люэтиков?>. Уходя в анатомию и в церковь, Вы тотчас делаетесь неудобочитаемым, но Вам хочется, чтобы Вас читали попы, епископы и митрополиты. Мне на них наплевать, и наша <перевранка?> не о них. Нигилисток я очень хорошо знал, и знает их Говоруха. Вы защищаете их не с той стороны, и Ваших взглядов я не понимаю. Они называли «<личной?> потребностью» – употреблять, – и предавались этому с удовольствием, а иногда даже без удовольствия, но дабы от других не отстать. Это было <прежним?> русским <диким?> протестом против власти родительской, которая была тоже дика. Я, впрочем, не поняв святости, был <нрзб> из Вашего восторженного к ним отношения. Всякие были, и Говоруха прав, говоря так, как говорил, ибо он знает по опыту и наблюдениям. Во всяком случае, я не буду печатать о том, что есть таинство в браке.

Ваш А. Суворин

6

Василий Васильевич,

Сейчас я читал, но не дочитал фельетон Мережковского в «Речи». Не это ли то, на что Вы отвечаете в своей статье, которую я читал в корректуре? Неужели это умно и талантливо у Мережковского? Неужели только один путь – революция, а кто не хочет ее, тот служит реакции. Мне кажется иногда, что Мер. просто глупый человек. Что он не художник – это ясно. Так, знаменитый роман «Петр и Алексей», значит<ельно?> был очень далеким от того, что на-
<ывается> художеством.

7

Василий Васильевич, дорогой,

Надо бы сегодня написать о «Правительственном вестнике». Мне речь Маркова 2-го нравится. Действительно, это обидно: «право переходить из православия». Пусть переходят, переход в иудейство не наказывает<ся>, но всякий переход добавляет государству работу, чиновникам, статистикам и проч., а потому следует оплачивать заявление до 10 коп. Что тут обидного? Во «Среди гор» я сказал об инциденте в Думе, где читал отчет. Я рад, что Вы мягко, так мягко и хорошо выражаетесь о том инц<иденте> и о речи Маркова. Это Русская душа, а у Мейендорфа немецкая. Может, он поступил лучше, но нам свои и дурные дорожки.

Публикация С. В. Шумихина

I

«Свобода и вера» – статья Розанова. Напечатана в «Русском Вестнике». 1894. № 1. Полемический ответ В. С. Соловьева «Порфирий Головлев о свободе и вере» – в «Вестнике Европы». 1894. № 2.

...не воспользовался до 1899 года. – 26 марта 1899 г. А. С. Суворин пригласил Розанова работать в редакции «Нового Времени», и Розанов ушел со службы в Государственном контроле.

II

В Вашем фельетоне о Толстом... – Статья Розанова «Гр. Л. Н. Толстой» появилась в «Новом Времени» 22 сентября 1898 г. В ответном письме Розанов писал Суворину: «Крадущийся и недоговаривающий тон фельетона о Толстом выходит из опасности (даже от цензуры) темы» (см. в наст. изд. письмо № 4, с. 339).

«Горе от ума» на сцене Кисловодского театра – статья Розанова в цикле очерков «С юга» в «Новом Времени» 24 июля 1898 г.

«Около болящих» – статья Розанова в «Биржевых Ведомостях» 15 сентября 1898 г.

III

«Номинализм в христианстве» – статья Розанова появилась в «Биржевых Ведомостях» 13 октября 1898 г.

VI

«Феодосеевцы в Риге» – статья Розанова в «Новом Времени». 1899. 27 августа.

VII

«Петербургская Газета» – политическая и литературная газета, выходила в Петербурге с 1867 по 1917 г.

«Россия» – политическая и литературная газета, выходила в Петербурге в 1899–1902 гг., редактор-издатель Г. П. Сазонов.

IX

Я прочел проиленный раз Ибиса... – Под псевдонимом Ибис Розанов напечатал в «Новом Времени» 28 мая 1900 г. статью «Университет в образовании писателей».

«Камо грядеши» – роман (1894–1895) польского писателя Г. Сенкевича о ранних христианах и деспотизме Нерона.

X

С приездом... – В марте 1901 г. Розанов с женой ездил в Италию на средства, предоставленные А. С. Сувориным для поправления здоровья Василия Васильевича.

...Ваши статьи о Пасхе и католической церкви... – статьи Розанова в «Новом Времени»: «Страстная пятница» (31 марта 1901), «Страстная суббота в Колизее» (1 апреля 1901), «Пасха в Соборе св. Петра» (13 апреля 1901), вошедшие позднее в книгу Розанова «Итальянские впечатления» (СПб., 1909).

...грубая статья о женщинах в университете. – В своем «Дневнике» от 17 июня 1901 г. кн. В. П. Мещерский писал: «Как только откроется доступ женщинам-студентам, вторая половина студентов втиснется в стены университета, а затем явятся студентки и за неимением мест рассядутся на коленях студентов, и будет весело...» (Гражданин. 1901. 21 июня. № 46. С. 18).

...его сражения с Св. Синодом. – Речь идет об отлучении Л. Н. Толстого от церкви в 1901 г. В «Листке свободного слова» (Лондон. 1901. № 22) Толстой напечатал «Ответ на определение Синода от 20–22 февраля и на полученные мною письма», перепечатанный с сокращениями в «Миссионерском Обозрении» (СПб., 1901. № 6).

XI

...заметки о сочинениях Меньшикова... – рецензия Розанова на «Начала жизни. Нравственно-философские очерки» М. О. Меньшикова в «Новом Времени». Приложение. 1901. 25 июля. С. 10–11.

XIII

Ваш фельетон... – «Из разговоров и литературы на религиозные темы» (Новое Время. 1901. 30 октября); вошло в книгу Розанова «Около церковных стен» под названием «Миссионерство и миссионеры», раздел «Миссионеры на Орловском съезде и речь г. Стаховича». Похвалы Победоносцеву были сняты из текста статьи. Вскоре Розанов напечатал в «Новом Времени» проникновенную рецензию на книгу К. П. Победоносцева «Московский сборник» (Скептический ум // Новое Время. 1901. 23 ноября).

XIV

...Ваш прекрасный фельетон... – «Голос из провинции о миссионерстве» (Новое Время. 1901. 29 ноября), который Суворин читал в корректуре и в котором речь идет о «безвкусной штунде». Перепечатан в книге Розанова «Около церковных стен».

О Бухареве не напечатал... – позднее, 12 и 17 декабря 1902 г., Розанов опубликовал в «Новом Времени» статью «Интересный этюд нашей умственной жизни», перепечатанную в книге «Около церковных стен» под названием «Асоченский и арх. Феод. Бухарев».

XV

«Взгляд славян на природу» – Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865–1869. Т. 1–3.

XVI

...то, что Вы написали о Рачинском – статья Розанова «С. А. Рачинский о средней школе» (Новое Время. 1902. 22 января). Книга Рачинского «Сельская школа» вышла в 1891 г. (5-е изд. – в 1902 г.).

XVII

...статьи о «Коринфской невесте». – Речь идет о статье Розанова, опубликованной позднее в «Весах» (1904. № 2) под названием «Тут есть некая тайна».

XIX

«Русь» – газета, выходившая в Петербурге в 1903–1908 гг., редактор-издатель А. А. Суворин.

«Слово» – политическая, общественная и литературная газета, выходившая в Петербурге в 1903–1909 гг. Розанов печатался в ней в 1903–1905 гг. и в 1908 г., в том числе под псевдонимом Орион.

XX

...Вашу статью об Е. Л. Маркове – «Памяти Евг. Льв. Маркова» (Новое Время. 1903. 20 марта).

XXII

«Новости» – «Новости и Биржевая Газета» издавалась в Петербурге с 1880 по 1906 г. (далее «Новости»). В обзоре «Русская печать» 4 ноября 1903 г. (второе издание) газета выступила по еврейскому вопросу с обвинениями в адрес А. С. Суворина и его газеты.

XXIV

Вашу заметку Булгаков так охолостил... – 26 ноября 1903 г. в «Новом Времени» появилась статья Розанова «Доброе слово в защиту крестьянки», о которой, очевидно, идет речь.

XXVIII

«Царевич Алексей» – статья Розанова в «Новом Времени». 1904. 5 января.

«Боярская Дума древней Руси» – докторская диссертация В. О. Ключевского печаталась в «Русской Мысли» (1880–1881), отдельное издание – М., 1881.

XXIX

О песне Тургенева... – рассказ «Певцы» (1850) в «Записках охотника» И. С. Тургенева.

XXXI

...прочел Вашу статью с удовольствием – «Злое легкомыслие» в «Новом Времени». 1904. 24 марта (ответ Розанова на критику его книги «В мире неясного и нерешенного»).

...последние три страницы. – Последний раздел «Случайные наблюдения над обрезанием и его влиянием на самоощущение в супружестве» был удален из книги «В мире неясного и нерешенного» по указанию Победоносцева. Восстановлен в издании: *Розанов В. В. Собр. соч. В мире неясного и нерешенного.* М., 1995.

...о Воозе и Руфи – Руфь. 2–4.

...о Товии и дочери Рагуила – Тов. 3, 17.

XXXII

«Послесловие» Толстого – «Послесловие» к «Крейцеровой сонате» (1890).

...иностранный фамилия – очевидно, К. Д. Бальмонт.

XXXIII

...Ваш последний фельетон о Хомякове – «Памяти А. С. Хомякова (1 мая 1804 – 1 мая 1904 г.)» в журнале «Новый Путь». 1904. № 6. Перепечатано в книге Розанова «Около церковных стен».

«Мещанское счастье» – повесть Н. Г. Помяловского, печатавшаяся в 1861 г. в журнале «Современник».

XXXIV

«О г. Лемке и его «Истории цензуры» – статья Розанова опубликована в «Новом Времени» 8 июля 1904 г. под названием «Литературные новинки».

XXXVI

«Писатель и партия» – статья Розанова о Чехове опубликована в «Новом Времени» 21 июля 1904 г. под названием «Писатель-художник и партия».

XXXVII

«Жизнь Иисуса» – первая книга «Истории происхождения христианства» (1863–1883; рус. пер. 1864–1907) французского историка и писателя Ж. Э. Ренана; вошла в «Собрание сочинений» Ренана (Киев, 1902–1903).

XXXVIII

...не «распоряжение ли о закрытии Религ.-филос. собраний»? – Религиозно-философские собрания в Петербурге были закрыты Синодом 5 апреля 1903 г. Возможно, речь идет о документах, связанных с запрещением Собраний.

XL

...я читал о нем Николаева, Тихомирова, не говоря о Фуделе. – Речь идет о статьях: Николаев Ю. Новый критик славянофильства // Московские Ведомости. 1892. 15 и 29 октября; Тихомиров Л. А. Русские идеалы и К. Н. Леонтьев // Русское Обозрение. 1894. № 10; Фудель И. И. Культурный идеал Леонтьева // Русское Обозрение. 1895. № 1.

XLI

Статья проф. Никольского... – 28 марта 1905 г. «Новое Время» поместило статью Розанова «По поводу статьи проф. Н. К. Никольского» (о выступлении 32 священников по поводу преобразования духовного управления).

XLII

...Гр. Петров о Никольском и о Вас – статья священника Г. С. Петрова «Почему 32?» в «Русском Слове» 31 марта 1905 г.

XLIII

Ваша милая статейка... – «Женщина и представительство» в «Новом Времени» 27 апреля 1905 г. Перепечатана в книге Розанова «Когда начальство ушло...» (1910).

Переписка ее с Гриммом... – Письма Гримма к имп. Екатерине II. СПб., 1886.

XLIV

...сборники Кельсиева о расколе. – Писатель-эмигрант В. И. Кельсиев издал в Лондоне официальные документы, относящиеся к русскому расколу: «Сборник правительственных сведений о раскольниках» (1860–1862. Вып. 1–4) и «Собрание постановлений по части раскола» (1863. Ч. 1–2).

XLVIII

...о «Письме в редакцию», напечатанном позднее. – Речь идет о «Письме в редакцию» в «Северном Вестнике». 1897. № 4. Отд. II. С. 85–92. В связи с этим и другими фактами, приведенными в письме (возраст Розанова – 40 лет), следует признать, что письмо Суворина датировано Розановым ошибочно. Должно быть 21 января 1897 г. Форма обращения («многоуважаемый») тоже из тех лет.

LI

«Около народной души» – статья Розанова в «Новом Времени». 1908. 20 апреля.

...Ваше предисловие к чему-то из Метерлинка... – Речь идет о предисловии Розанова к «Сочинениям» М. Метерлинка (в 3 т.). СПб., 1907. Т. 1.

Я читал... первые страниц 6 «Сокровища смиренных»... – В «Опавших листьях» (короб второй) Розанов писал: «Начал «переживать» Метерлинка: страниц 8 я читал неделю, впадая почти после каждых 8 строк в часовую задумчивость (читал в конке). И бросил от труда переживания, – великолепного, но слишком утомляющего».

LII

Ваша сегодняшняя статья прелесть – статья «Попы, жандармы и Блок» в «Новом Времени» (1909. 16 февраля).

LV

...своим фельетоном о русской науке – «Есть ли «наука» в России? (К академическому заявлению...)» // Новое Время. 1911. 12 августа.

«О китайских монетах» – Алексеев В. М. Описание китайских монет и монетовидных амулетов, находящихся в нумизматическом отделении Имп. Эрмитажа. СПб., 1907.

LVII

...об Вашей арестованной книге – рецензия на «Уединенное» Розанова в «Историческом Вестнике» (1912. № 5. С. 661–662) с подписью: Б. Г.

«Вечернее Время» – газета, выходившая в Петербурге в 1911–1917 гг.; редактор газеты – Б. А. Суворин.

ПИСЬМА В. В. РОЗАНОВА
К А. С. СУВОРИНУ

Печатаются впервые полностью по рукописям (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 3627). Публикация С. В. Шумихина.

15 писем Розанова к А. С. Суворину из представленных здесь 36 были опубликованы в книге: Письма русских писателей к А. С. Суворину (Подготовка к печати Д. И. Абрамовича). Л.: ГПБ, 1927. С. 145–167. Это № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 22, 23, 25, 27, 29, 34 и 35 настоящего издания (с уточнениями по автографам). Датировка писем Розанова, не имевшего обыкновение ставить даты на своих письмах, проведена на основе писем Суворина и упоминаемых публикаций статей Розанова в «Новом Времени».

1

Письмо датируется на основе ответного письма А. С. Суворина от 17 августа 1893 г.

...6 фельетонов. – Речь идет о шести статьях Розанова в «Московских Ведомостях» за 1891–1892 гг.: «Почему мы отказываемся от наследства?» (7 июля 1891), «В чем главный недостаток «наследства 60–70-х годов»?» (14 июля 1891), «Два исхода» (29 июля 1891), «Европейская культура и наше отношение к ней» (16 августа 1891), «Может ли быть мозаична историческая культура?» (20 июля 1892), «Еще о мозаичности и эклектизме в истории» (17 октября 1892).

2

...очерк «Андерсен» – не был опубликован. Речь идет о Полн. собр. соч. Г. Х. Андерсена в переводе А. и П. Ганзен (СПб., 1894–1895. Т. 1–4).

3

...статьи о Пушкине и Спасовиче. – В. Д. Спасович напечатал статью «Дмитрий Мережковский и его «Вечные спутники» (Вестник Европы. 1897. № 6); Н. А. Энгельгардт откликнулся статьей «Спасович и Пушкин» (Новое Время. 1897. 27 июня), прочитав которую Розанов напечатал статью «Два вида «правительства» (Новое Время. 1897. 15 июля), в которой вернулся к теме «Пушкин и В. Д. Спасович».

Письмо является ответом на письмо Суворина от 12 августа 1898 г.

...тон фельетона о Толстом – статья Розанова «Гр. Л. Н. Толстой» по поводу 70-летнего юбилея писателя напечатана в «Новом Времени» 22 сентября 1898 г.

Алексей Алексеевич – сын А. С. Суворина.

...«язык простой и голос мыслей благородный»... – у М. Ю. Лермонтова: «Мысль обретет язык простой / И страсти голос благородный» («Журналист, читатель и писатель», 1840).

5

В те дни, когда мне были новы... – А. С. Пушкин. Евгений Онегин, VIII, 1.

...несколько очерков... – имеются в виду статьи Розанова, печатавшиеся позднее в его сборнике «Литературные очерки» (1899) под заглавием «С юга» и написанные в результате поездки на Кавказ и в Крым в июне – начале августа 1898 г. Три из этих очерков печатались в «Новом Времени»: «В Кисловодском парке» (14 июля 1898), «Горе от ума» (24 июля 1898) и «Военно-Грузинская дорога» (2 сентября 1898).

...Ваша статья об Ал. II. – «Маленькое письмо» Суворина в «Новом Времени» 16 августа 1898 г. по поводу открытия памятника Александру II в Москве.

6

«Антихрист» – книга Ф. Ницше, вышедшая в 1888 г. (рус. пер. – 1907).

...«лучше не жениться» – Мф. 19, 10.

7

...благодарность за повышение гонорара. – В 1898 г., до поступления на службу в «Новое Время», литературный заработок Розанова составил 1756 руб. за год. В 1899 г., работая в «Новом Времени», Розанов получил за год 5670 руб., а в следующем, 1900 г. уже 9631 руб.

8

Ответ А. С. Суворина на это письмо Розанова см. в наст. изд. на с. 293–294 (письмо IV).

Весной 1899 г. Суворин был привлечен к суду чести комитетом Союза взаимопомощи писателей как возможный виновник циркуляра Министерства внутренних дел от 17 марта 1899 г., которым запрещалась всякая полемика о волнениях среди учащейся молодежи.

10

«Правда светлее солнца» – эту пословицу Розанов услышал от своей тещи А. А. Рудневой, о чем он писал позднее в *«Уединенном»*.

«Элементы брака» – статья Розанова опубликована в *«Новом Времени»* 21 ноября 1899 г. (вошла в книгу *«Семейный вопрос в России»*).

...дар напрасный, дар случайный – одноименное стихотворение А. С. Пушкина (1822).

12

«Думы и впечатления» – статьи Розанова под таким названием публиковались в *«Новом Времени»* 30 марта, 2 и 15 апреля, 11 мая 1900 г.

13

Ответ на письмо А. С. Суворина от 6 июня 1900 г.

«Русский Труд» – петербургский журнал, в котором Розанов печатался в 1897–1899 гг.

Анна Ивановна – жена А. С. Суворина.

14

«Декадент» – статья Розанова в *«Новом Времени»* (13 августа 1900 г. № 8786). Подпись: В. Колосов.

«Возрасты любви» – статья Розанова напечатана в *«Новом Времени»* 23 августа 1900 г. с редакционными сокращениями.

15

...мой ответ Мережковскому – статья Розанова *«Маленькая историческая поправка»* (Новое Время. 1901. 17 января), написанная по поводу очерка Д. С. Мережковского *«Л. Толстой и Достоевский»* (Мир Искусства. 1900. № 17/18. С. 71–84).

...что чувства добрые я лирой пробуждал – А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

«Сад Неметти» – театр Неметти находился в Петербурге на Петербургской стороне.

...поместил рецензию о Меньшикове. – Рецензия Розанова на книгу М. О. Меньшикова «Начала жизни: Нравственно-философские очерки» (СПб., 1901) напечатана в иллюстрированном приложении к «Новому Времени» 25 июля 1901 г.

«Кто не оставит отца и мать...» – Мф. 10, 37.

«Оставь мертвым погребать мертвых...» – Мф. 8, 22.

Богд<ан> Вениамин<ович> – Б. В. Гей, заведующий иностранным отделом «Нового Времени».

Эльпе – псевдоним фельстонииста «Нового Времени» Лазаря Константиновича Попова.

Поучительное в войне – под таким заглавием статья Розанова опубликована в «Новом Времени» 18 февраля 1904 г.

Борис Алексеевич – сын А. С. Суворина.

...в воспоминаниях Фаресова о Лескове – Фаресов А. И. Воспоминания о Н. С. Лескове // Исторический Вестник. 1902. № 5. С. 551–583.

Как уст румяных без улыбки... – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. III, 28.

Ответ на письмо Суворина от 25 января 1905 г.

...Кельсиева я Вам вернул... – Речь идет о книге «Сборник правительственных сведений о раскольниках» (1860–1863), изданной В. И. Кельсиевым.

Федор Ильич – Булгаков, сотрудник «Нового Времени».

Ответ на письмо Суворина от 16 марта 1905 г.

...о нееврействе Христа. – Речь идет о статьях Розанова «Был ли Христос евреем по племени (Гаустон Стюарт Чемберлен. Явление Христа. Пер. с немецкого. СПб., 1906)» и «Еще о нееврействе И. Христа», опубликованных в «Новом Времени» 4 августа и 3 октября 1906 г.

«Основы христианства» М. Тареева. – Розанов написал статью об этой книге – «Новый труд профессора Тареева» (Русское Слово. 1908. 8 февраля).
...его брошюрка «От смерти к жизни». – Тареев М. М. От смерти к жизни. Вып. 1. Живые души. Сергиев Посад, 1907.

Мих. Алексеевич – сын А. С. Суворина.
...в нашем Столыпине – Александр Аркадьевич Столыпин, брат премьер-министра, сотрудник «Нового Времени».
...при отвратительной погоде целое лето – лето 1910 г. семья Розанова провела в Луге.

Ответ на письмо Суворина от 29 сентября 1911 г.

А мне, Онегин, пышность эта... – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 46.
... «Этот мир не из худших миров» – ср.: Вольтер. Кандид. Гл. 30. У Вольтера при дословном переводе: «Все к лучшему в этом лучшем из миров».
Конст<антин> Сем<енович> – К. С. Тычинкин, служащий издательства А. С. Суворина.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект условий между Редакцией «Нового Времени» и В. В. Розановым (с. 368)

«Проект...» сохранился в архиве В. В. Розанова (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 21), автограф (Розанова) на двух листах; текст скреплен подписями В. В. Розанова и А. С. Суворина. Печатается по кн.: Российский архив. История Оте-

чества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 1991. Вып. 1. С. 254–256 (публикация Т. В. Померанской).

...дело Ольги Палем... – Имеется в виду получивший широкий резонанс в прессе уголовный процесс О. Палем, обвинявшейся в 1895 г. в убийстве студента А. С. Довнара, не желавшего продолжать с ней любовную связь.

**«В литературе есть произвольная сторона...»
(с. 370)**

Печатается впервые по автографу. РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 136–137 (без даты и подписи; датируется 1912 г. по содержанию статьи).

Публикация В. Г. Сукача

Помню, когда Лев Николаевич... – Единственная личная встреча и беседа В. В. Розанова с Л. Н. Толстым состоялась 6 марта 1903 г., когда Розанов с женой посетили Толстого в Ясной Поляне.

...это было «Разрушение и восстановление ада», и о том, что «детей не надо учить закону Божию»... – Речь, очевидно, идет о брошюрах Л. Н. Толстого «Разрушение ада и его восстановление» (1903) и «О преподавании Катехизиса. Письмо к деятелю по народной школе» (1900). Возможно также, что второй брошюрой была известная работа Толстого «Мысли о воспитании» (1902).

...я заговорил о «послесловии» к «Крейцеровой сонате»... – Л. Н. Толстой к своей повести «Крейцерова соната» (1889) написал специальное «Послесловие» (1889–1890), где отстаивал в качестве идеала жизни аскетизм и безбрачие.

...когда читаешь переписку его с теткой... – Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. 1857–1903. Т. 1. СПб.: Толстовский музей, 1911.

...и вот теперь при воспоминаниях об его сестре... – Сестра Л. Н. Толстого графиня М. Н. Толстая умерла 6 апреля 1912 г.

А. Н. Николюкин

Абамелек-Лазарев Семен Семенович (1857–1917), помещик, владелец нескольких заводов – 47

Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э. – 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) – 132, 152

Августин Аврелий (354–430), христианский церковный деятель, теолог, философ, писатель – 162, 240

Агафонов Алексей Семенович (ум. 1794), китаевед, переводчик – 227

Адрианов Александр Васильевич, этнограф, археолог, публицист, военный инженер – 59

Азеф Евно Фишелевич (Евгений Филиппович) (1869–1918), один из основателей и лидеров партии эсеров, секретный сотрудник департамента полиции (с 1893), разоблачен (1908), умер за границей – 15, 43

Айзмэн Давид Яковлевич (1869–1922), прозаик и драматург – 87

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист, поэт, философ, историк, общественный деятель, издатель, один из идеологов славянофильства – 11, 45, 98, 119, 130, 194, 198, 217, 221, 285, 286, 327

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860), публицист, историк, лингвист, поэт, один из идеологов славянофильства – 11, 45, 130, 188, 198, 217

Аксаков Николай Петрович (1848–1909), публицист, критик, философ, историк, богослов, чиновник Государственного контроля (1895–1903) – 209, 230–232, 337

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель – 11

Аладьин Алексей Федорович (1873–1927), публицист, депутат I Государственной думы от крестьянской курии (трудовик) – 22, 28

Александр I (1777–1825), российский император (с 1801) – 166, 167, 188, 223

Александр II (1818–1881), российский император (с 1855) – 71, 269, 306, 341

Александр III (1845–1894), российский император (с 1881) – 83, 264, 277

Александр Македонский (Александр Великий) (356–323 до н. э.), царь Македонии (с 336 до н. э.), полководец – 188

Александр Невский (1220/1221–1263), князь Новгородский (1236–1251), великий князь Владимирский (с 1252), полководец – 167

Александра Федоровна (урожд. Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская) (1872–1918), российская императрица, жена Николая II (с 1894) – 84

Алексеев Василий Михайлович (1881–1951), филолог-китаевед, переводчик – 330

Алексеева В. А., меценатка – 84

Алексей (Алексий) (90-е гг. XIII в. – 1378), митрополит Московский, глава Русской православной церкви (с 1354) – 31

Алексей Михайлович (1629–1676), царь (с 1645) – 299

Алексей Петрович (1690–1718), царевич, сын Петра I, из-за оппозиции политике отца был умерщвлен – 152, 313

Амвросий Оптинский (Александр Михайлович Гренков) (1812–1891), иеросхимонах, старец Оптиной пустыни, православный подвижник – 34, 80, 126

Анастасия, монашеское имя великой княгини Александры Петровны (1838–1900), старшей дочери внука Павла I принца Петра Георгиевича Ольденбургского, была замужем за великим князем Николаем Николаевичем (старшим) (1831–1891), последние годы провела в основанном ею Киево-Покровском женском монастыре – 365

Андерсен Ханс Кристиан (1805–1875), датский писатель-сказочник – 338

Андреев Александр Петрович (1820–1883), гидрограф, исследователь Ладожского озера – 228

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель – 24, 198, 270, 280, 316, 317

Анненская (урожд. Ткачева) Александра Никитична (1840–1915), переводчица, детская писательница – 249

Аннибал (Ганнибал) (247/246–183 до н. э.), карфагенский полководец, боровшийся с Римом – 137, 139, 289

Анреп Василий Константинович (1852–1927), профессор судебной медицины, депутат III Государственной думы – 329

Антоний (Александр Васильевич Вадковский) (1846–1912), митрополит Санкт-Петербургский и Ладозский (с 1898) – 91–93, 233, 234, 331, 360

Антоний (Алексей Павлович Храповицкий) (1863–1936), архиепископ Волынский и Житомирский (с 1902), Харьковский (с 1914) – 98, 232

Антоний Марк (ок. 83–30 до н. э.), римский полководец – 138, 139

Антонин (Александр Андреевич Грановский) (1865–1927), епископ Нарвский, викарий Санкт-Петербургской епархии (с 1903), епископ Владикавказский (1913–1917) – 125, 227

Антонов Николай Родионович, священник, религиозный писатель, участник Религиозно-философских собраний в Петербурге – 230

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), политический и военный деятель, пользовался большим влиянием при Александре I – 35, 322

Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист – 29, 127, 128

Арианди, меценат – 84

Арсений, епископ Подольский – 224

Арсеньев Константин Константинович (1837–1919), юрист, критик, публицист, политический и общественный деятель – 58, 227, 229, 230, 283, 284

Архангельский Василий Гаврилович (1868–?), преподаватель духовной семинарии, депутат II Государственной думы, товарищ председателя комиссии по народному образованию – 311

Арыбашев Михаил Петрович (1878–1927), писатель – 229, 315

Аскольдов (наст. имя и фам. Сергей Алексеевич Алексеев) (1871–1945), философ – 130, 196

Аскоченский (наст. фам. Оскошный, затем Отскоченский) Виктор Ипатьевич (1813–1879), писатель, историк, журналист, магистр богословия, издатель еженедельника «Домашняя беседа» (1858–1877) – 322

Астафьев Николай Александрович (1825–1906), историк – 98

Астракова Татьяна Алексеевна (1814–1892), писательница, была в дружеских отношениях с А. И. Герценом – 229

Атилла (Аттила) (ум. 453), предводитель гуннов (с 434), при котором этот союз племен достиг наивысшего могущества – 192

Атласов Владимир Васильевич (ок. 1661/1664–1711), сибирский казак, землепроходец, дал первые сведения о Камчатке – 228

Ауэр, отец Тамары Ауэр, девочки, погибшей при пожаре – 108

Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871), литературовед, собиратель и исследователь русского фольклора – 305

Афанасьев Николай Иванович (1864–?), секретарь редакции газеты «Новое время» – 357

Ашенбреннер Михаил Юльевич (1842–1926), член военной организации «Народной воли», осужден (1884), заключен в Шлиссельбургскую крепость (до 1904), автор воспоминаний – 228

Бабушкин Стефан Дмитриевич, юрист, церковный историк – 230, 231

Байрон (по мужу Ловлас) Ада (1815–1852), дочь Дж. Байрона, со своей женой Анной Изабеллой Милбэнк он расстался в 1816 г., через некоторое время после ее рождения – 183

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт, член палаты лордов (1809) – 83, 136, 138, 140, 141, 182, 183, 190, 204, 210, 211, 216, 260

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), революционер, теоретик анархизма – 171, 191, 192, 228

Баранов Асиф (Иосиф) Иванович, московский миллионер, меценат – 84

Барсуков Николай Платонович (1838–1906), историк литературы и общественной мысли, библиограф, археограф, историограф, издатель, мемуарист – 148, 171

Бартошевич, ученик Елецкой гимназии – 142, 143

Батьянов (Ботьянов) Михаил Иванович (1835–?), генерал, участник боев на Кавказе, в Крыму, на Дальнем Востоке, автор книг «Воспоминания севастопольца и кавказца», «За год войны» (1905) – 44

Баян – псевдоним И. И. Колышко

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик, публицист, мыслитель, общественный деятель – 66, 197, 205, 210, 216, 217, 282, 286, 287, 330

Белкин, соученик Розанова по университету – 128

Беллюстин Иван Степанович (1820–1890), священник, публицист – 81

Белый Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934), писатель, теоретик символизма, публицист, литературовед, меценат – 105

Беляев Юрий Дмитриевич (1876–1917), драматург, театральные критик, сотрудник газеты «Новое время» – 280, 285, 287, 290, 366

Бенардаки Николай Дмитриевич (1838–1909), писатель, журналист – 84

Бенкендорф Александр Христофорович (1781, по др. данным 1783–1844), политический и военный деятель, шеф корпуса жандармов и начальник Третьего отделения – 35

Беранже Пьер Жан (1780–1857), французский поэт – 190

Бердяев Николай Александрович (1874–1948), философ и публицист – 130, 196, 230, 231

Бёрне Людвиг (1786–1837), немецкий публицист и литературный критик – 190

Бернштейн Эдуард (1850–1932), один из лидеров германской и международной социал-демократии, автор книги об анархизме – 43

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897), историк, публицист, издатель, общественный деятель, основатель и руководитель (1877–1882) Высших женских курсов в Петербурге – 363

Бетлинг (Бётлингк) Оттон Николаевич (1815–1904), немецкий и российский филолог-индолог, автор «Санскритского словаря», известного под названием «Большой Петербургский словарь» (т. 1–7, 1855–1875) – 52, 53

Бейцой Иван Иванович (1704–1795), административный деятель, деятель культуры и просвещения, президент Академии художеств (с 1783) – 163

Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898), первый рейсканцлер Германской империи (1871–1890) – 63

Благовидов Федор Васильевич (1865–?), автор исторического исследования об обер-прокурорах Синода – 81

Благовестов Григорий Евлампиевич (1824–1880), публицист – 221

Блан Луи (1811–1882), французский политический деятель, социалист – 199, 200, 216

Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт и публицист – 328

Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864), министр внутренних дел (1832–1838), председатель Кабинета министров (1861–1864) – 134

Богачев, сотрудник газеты «Новое время» – 259

Богданов-Бельский Николай Петрович (1868–1945), художник – 87, 305

Богучарский В. (наст. имя и фам. Василий Яковлевич Яковлев) (1860, по др. данным 1861–1915), публицист, историк, издатель – 44

Бокль Генри Томас (1821–1862), английский историк и социолог-позитивист – 60, 144, 192, 195–197, 241, 289

Болейн Анна (Анна Болейн) (ок. 1507–1536), английская королева, вторая жена короля Генриха VIII, казнена – 352–354

Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833), писатель, естествоиспытатель, меценат – 224

Болотов Василий Васильевич (1853, по др. данным 1854–1900), церковный историк, богослов, филолог – 10, 123

Бонглов, немецкий историк, автор книги «Жизнь Гуса» – 208

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955), политический деятель, историк, автор работ о сектантстве – 112

Бопп Франц (1791–1867), немецкий языковед – 47

Боровиковский Владимир Лукич (1757–1825), художник – 228, 229

Бородавский Валериан Валерианович (1874/1875–1923), поэт, близкий к символистам, был участником Религиозно-философских собраний в Петербурге – 196

Бородкин Михаил Михайлович (1852–1919), генерал-лейтенант, начальник Александровской военно-юридической академии, член Государственного совета, историк Финляндии и русско-шведских войн – 228

Бредихин Федор Александрович (1831–1904), астроном – 76

- Бриллиантов Александр Иванович** (1867–1933), богослов, историк философии – 10
- Бродский Л. К.**, чиновник Синода – 223, 225
- Брокгауз Эдуард** (1829–1914), немецкий издатель русского Энциклопедического словаря, внук основателя фирмы Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823) – 134, 227, 229
- Броун-Секар Шарль Эдуар** (1817–1894), французский физиолог и невролог – 351
- Брюсов Валерий Яковлевич** (1873–1924), писатель, критик, переводчик, литературно-общественный деятель – 105, 316
- Буало Никола** (1636–1711), французский поэт, теоретик классицизма – 167
- Будда** (букв. просветленный), имя, полученное основателем буддизма Сиддхартхой Гаутамой (623–544 до н. э.) – 43, 54, 185
- Булгаков Сергей Николаевич** (1871–1944), философ, богослов, экономист, публицист – 130, 196, 230, 231
- Булгаков Федор Ильич** (1852–1908), писатель, редактор газеты «Новое время» (с 1900), редактор и издатель «Нового журнала иностранной литературы, искусства и науки» – 307, 311, 313, 321, 323, 332, 355–358, 362
- Булгарин Фаддей** (Тадеуш) Венедиктович (1789–1859), писатель, критик, издатель – 35, 58, 287
- Бунге Николай Христианович** (1823–1895), экономист, управляющий министерством финансов и министр финансов (1881–1886), председатель Комитета министров (с 1887) – 194
- Бунин Афанасий Иванович** (ум. 1791), помещик Тульской губернии, отец В. А. Жуковского – 171
- Бунин Иван Алексеевич** (1870–1953), писатель – 53
- Буренин Виктор Петрович** (1841–1926), публицист, поэт, литературный критик, член редакции газеты «Новое время» (с 1876) – 44, 292, 296, 316, 357, 358
- Бурунский Евгений Федорович** (1849–1912), ученый-криминалист, создатель Санкт-Петербургской судебно-фотографической лаборатории (1889) – 227–229
- Буслаев Федор Иванович** (1818–1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства – 47, 101, 133, 155, 305
- Бухарев Александр Матвеевич** (в монашестве архимандрит Феодор) (1822, по др. данным 1824–1871), богослов, философ, религиозный писатель, публицист – 196, 304
- Бэкон Фрэнсис** (1561–1626), английский философ и политический деятель – 127
- Бэр Карл Максимович** (Карл Эрнст) (1792–1876), естествоиспытатель, основатель эмбриологии – 229
- Бюхнер Людвиг** (1824–1899), немецкий врач, естествоиспытатель и философ – 43, 229, 241, 288, 322
- Валишевский Казимеж** (Казимир Феликсович) (1849–1935), польский историк, публицист, был сотрудником газеты «Новое время» – 313
- Валтасар** (ум. 539 до н. э.), сын последнего царя Вавилонии Набонида, погиб при взятии Вавилона персами – 65
- Валуев Петр Александрович** (1815–1890), министр внутренних дел (1861–1868), председатель Комитета министров (1879–1881) – 230
- Ванновский Петр Семенович** (1822–1904), министр народного просвещения (1901–1902) – 300, 303, 306, 350, 354
- Варламов Константин Александрович** (1848–1915), актер – 193
- Василий Блаженный** (ок. 1469–1557), московский юродивый, аскет, обличал власть имущих – 114
- Василий Великий** (ок. 330–379), христианский церковный деятель, теолог, философ, епископ Кесарийский (Малая Азия) – 53, 234
- Васильев Афанасий Васильевич** (1851–1929), публицист, поэт, издатель, возглавлял департамент железнодорожной отчетности Государственного контроля (1893–1896), будучи непосредственным начальником Розанова – 44, 230, 346
- Ватсон** (урожд. Де Роберти де Кастро де ла Серда) Мария Валентиновна (1848–1932), переводчица, поэтесса, историк литературы – 229, 249
- Введенский Александр Иванович** (1856–1925), философ, председатель Санкт-Петербургского философского общества (1897–1917) – 98, 129
- Вега**, составитель книги апокрифических новозаветных сказаний – 130–132
- Вейнберг Я. И.**, окружной школьный инспектор – 139
- Веласкес** (Веласкес) (Родригес де Сильва Веласкес) Диего (1599–1660), испанский художник – 192

- Вельтман Александр Фомич** (1800–1870), писатель, автор сочинений по истории, археологии, фольклору – 218
- Венгеров Семен Афанасьевич** (1855–1920), историк литературы и общественной мысли, библиограф – 42, 94–96, 227, 229
- Веневитинов Дмитрий Владимирович** (1805–1827), поэт, философ, критик – 209
- Вербицкая** (урожд. Зяблова) **Анастасия Алексеевна** (1861–1928), писательница – 13, 24
- Вильгельм II** (1859–1941), германский император и прусский король (1888–1918), из династии Гогенцоллернов – 272
- Винавер Максим Моисеевич** (1863–1926), юрист, один из основателей партии кадетов, член ее ЦК, затем редактор и издатель – 36, 194, 210
- Вирсавия**, в Ветхом Завете жена царя Давида, мать царя Соломона – 73
- Витте Сергей Юльевич** (1849–1915), председатель Комитета министров (с 1903), Совета министров (1905–1906), под его руководством составлен Манифест 17 октября 1905 г., мемуарист – 110, 264, 273, 277, 314, 315, 356
- Вольский А.** (наст. имя и фам. Ян Вацлав (Иван Константинович) Махайский) (1866, по др. данным 1867–1926), идеолог «махаевщины», одного из анархистских течений в российском революционном движении – 44
- Вольтер** (наст. имя и фам. Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778), французский писатель и философ-просветитель – 29, 30, 35, 43, 207, 367
- Вольтман Людвиг** (1871–1907), немецкий социолог и антрополог – 43
- Вышнеградский Иван Алексеевич** (1831/1832–1895), ученый, основатель научной школы по конструированию машин, министр финансов (1888–1892) – 194
- Гааз Федор Петрович** (1780–1853), врач-филантроп, был главным врачом московских тюрем – 65–67, 69
- Гагарин Иван Сергеевич** (1814–1882), писатель, уехав из России (1843), перешел в католицизм и вступил в орден иезуитов – 11
- Галилей Галилео** (1564–1642), итальянский ученый, один из основоположников точного естествознания – 76
- Галкин Владимир**, священник – 87, 88
- Ганзен Петр Готфридович** (1846–1930), датско-русский литературный деятель, переводчик – 338
- Гарибальди Джузеппе** (1807–1882), один из руководителей борьбы за освобождение и объединение Италии – 199
- Гарлей** (Харли) Шарлотта Мэри, 11-летняя дочь графа Эдуарда Оксфорда, с которой Дж. Байрон познакомился, посетив поместье ее родителей – 183
- Гарт**, автор книги о России – 96
- Гаусс** (Гаусс) Карл Фридрих (1777–1855), немецкий математик, астроном, физик – 56, 76
- Гацисский Александр Серафимович** (1838–1893), писатель, статистик, общественный деятель, исследователь Нижегородской губернии – 17
- Ге Николай Николаевич** (1831–1894), художник – 334
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих** (1770–1831), немецкий философ – 214
- Гей** (наст. фам. Гейман) Богдан Вениаминович (1848–1916), первый секретарь редакции газеты «Новое время», заведующий иностранным отделом – 351, 358
- Гей-Люссак Жозеф Луи** (1778–1850), французский химик и физик – 171
- Гейман А.**, автор книги «Социалистические фракции в сионизме, критический очерк» (1906) – об идеологии Бунда (еврейского рабочего союза) – 44
- Гейне Генрих** (1797–1856), немецкий поэт и публицист – 182, 190
- Генрих VIII** (1491–1547), английский король (с 1509), из династии Тюдоров – 352–354
- Гермоген** (ок. 1530–1612), патриарх Московский и всея Руси (с 1606) – 31
- Гермоген** (Георгий Ефремович Долганов) (1858–1918), епископ Саратовский и Царицынский – 26–30, 32–35, 81
- Геродот** (490/480 – ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк – 352
- Гёррес Йозеф** (1776–1848), немецкий писатель, философ и публицист – 215
- Герцен Александр Иванович** (1812–1870), писатель, публицист, философ, общественный деятель – 11, 58, 98, 172, 188, 191, 195, 196, 199–201, 216, 217, 221, 229, 271, 284, 286, 330
- Гершензон Михаил Осипович** (1869–1925), историк русской литературы и общественной мысли, публицист, фи-

- философ, переводчик – 96, 130, 171, 196–199, 201, 206, 208, 209, 214
- Герье Владимир Иванович* (1837–1919), историк, один из организаторов высшего женского образования – 44, 133, 240
- Гессен Иосиф Владимирович* (1865, по др. данным 1866–1943), юрист, публицист, один из основателей и лидеров партии кадетов, депутат II Государственной думы, редактор газеты «Речь» – 194
- Гёте Иоганн Вольфганг* (1749–1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель – 210, 211, 260, 307
- Гилевич Андрей*, инженер, аферист и убийца – 22
- Гиларь Алексей Никитич* (1856–1938), преподаватель истории философии в Киеве – 98
- Гиларов-Платонов Никита Петрович* (1824–1887), публицист, философ, историк, издатель – 286
- Гинцбург*, барон, банкир, предприниматель – 77
- Гиппиус Зинаида Николаевна* (1869–1945), писательница, жена Д. С. Мережковского – 44, 361
- Гиришман Леонард Леопольдович* (1839–1921), офтальмолог, возглавлял кафедру глазных болезней Харьковского университета, затем глазную клинику (с 1908) – 96
- Гладков Борис Ильич* (1847 – после 1910), присяжный поверенный, автор книг о Священном Писании – 238–240
- Глазепан Сергей Павлович* (1848–1937), астроном – 76
- Глебов Степан* (ум. 1718), майор, направленный в Суздаль для рекрутского набора и вступивший в связь с Евдокией Федоровной, бывшей женой Петра I, которая жила там в Покровском монастыре, казнен – 313
- Глинка* (псевд. Волжский) *Александр Сергеевич* (1878–1940), критик, историк литературы, сотрудничал в журнале «Новый путь» – 324
- Глинка Михаил Иванович* (1804–1857), композитор – 182
- Глинский Борис Борисович* (1860–1917), писатель, публицист, редактор журнала «Исторический вестник» – 14
- Глубоковский Николай Никанорович* (1863–1937), богослов, историк церкви – 10
- Гоголь Николай Васильевич* (1809–1852), писатель – 11, 35, 47, 98, 118, 129, 144, 147, 196, 216, 218, 276, 299, 301, 313, 326, 327, 329, 349
- Голенищев Владимир Семенович* (1856–1947), египтолог, на свои средства вел раскопки, собранную им коллекцию передал в Музей изящных искусств в Москве, с 1915 г. жил в Египте – 85
- Голицын Александр Николаевич* (1773–1844), обер-прокурор Синода (1803–1817) – 223
- Голубинский* (наст. фам. Песков) *Евгений Евстигнеевич* (1834–1912), историк церкви – 101, 180
- Гольцов* (Гольцев) *Виктор Александрович* (1850–1906), публицист, литературный критик, редактор журнала «Русская мысль» – 306
- Гомер*, полупоэтический древнегреческий эпический поэт – 210
- Гончаров Иван Александрович* (1812–1891), писатель – 119, 144
- Горбов Н.*, переводчик и искусствовед – 86, 87
- Горбунов Иван Федорович* (1831–1895/1896), актер и писатель – 168
- Горемыкин Иван Логгинович* (1839–1917), председатель Совета министров (1906, 1914–1916) – 51
- Горнфельд Аркадий Георгиевич* (1867–1941), литературовед, критик и переводчик – 42, 94, 95, 248
- Городецкий Сергей Митрофанович* (1884–1967), поэт, прозаик, переводчик, драматург – 251
- Горький Максим* (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868–1936), писатель, публицист, общественный деятель – 24, 256, 270, 279, 316, 317
- Грахи*, братья *Тиберий* (162–133 до н. э.) и *Гай* (153–121 до н. э.), римские народные трибуны – 162
- Грановский Тимофей Николаевич* (1813–1855), историк, публицист, общественный деятель – 197
- Греч Николай Иванович* (1787–1867), журналист, издатель, писатель, филолог, переводчик – 287
- Грибоедов Александр Сергеевич* (1790, по др. данным 1795–1829), писатель и дипломат – 35, 147, 200, 292
- Григорий VII Гильдебранд* (1015/1020–1085), папа римский (с 1073) – 161, 162
- Григорий Турский* (ок. 540 – ок. 594), епископ Тура (с 573) в Галлии, автор «Истории франков» (до 591) – 138

- Григорьев* Аполлон Александрович (1822–1864), критик, поэт, переводчик, мемуарист – 220
- Гримм* Фридрих Мельхиор (1723–1807), дипломат, писатель, участник кружка французских энциклопедистов – 322
- Грингмут* Владимир Андреевич (1851–1907), редактор газеты «Московские ведомости» (с декабря 1896), основатель «Русского монархического союза» (1905) – 325
- Грот* Николай Яковлевич (1852–1899), философ, редактор журнала «Вопросы философии и психологии» (с 1889) – 363
- Грузинский* Алексей Евгеньевич (1858–1930), историк литературы, филолог, переводчик, профессор Московского университета – 171, 182
- Губастов* Константин Аркадьевич (1846–1919), историк, дипломат, посланник при Святом престоле в Ватикане – 84
- Гудвилов* Гудвилов, литератор, знакомый П. В. Киреевского – 218
- Гумбольдт* Александр (1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник – 155
- Гусев* Александр Федорович (1842–1904), богослов, профессор Казанской духовной академии, религиозный писатель – 98
- Гутенберг* Иоганн (1394/1399 или 1406–1468), немецкий изобретатель книгопечатания – 251
- Гуцков* (Гатцук) Алексей Алексеевич (1832–1891), издатель «Крестного календаря» – 44
- Гучков* Александр Иванович (1862–1936), лидер октябристов, предприниматель, председатель III Государственной думы, умер в Париже – 36
- Гюго* Виктор Мари (1802–1885), французский писатель – 199
- Давид*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1004 – ок. 965 до н. э.) – 73, 132
- Давыдов* Иван Иванович (1794–1863), философ и филолог, профессор Московского университета, с 1841 г. академик – 215
- Даль* Владимир Иванович (1801–1872), писатель, лексикограф, этнограф, врач – 216, 218
- Данилевский* Николай Яковлевич (1822–1885), социолог, философ, естествоиспытатель, публицист – 17, 220
- Данте Алигьери* (1265–1321), итальянский поэт и политический деятель – 182, 190
- Дантон* Жорж Жак (1759–1794), деятель Французской революции, один из вождей якобинцев – 145
- Дарвин* Чарлз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель – 127, 128, 196, 206, 357
- Дарий I Гистасп* (550–486 до н. э.), царь государства Ахеменидов (с 522 до н. э.) – 186
- Дебогорий-Мокриевич* Владимир Карпович (1848–1926), народник, публицист, мемуарист – 15, 16
- Дегаев* Сергей Петрович (1857–1920), народоволец и агент петербургской охранки, разоблачен в 1883 г., жил за границей – 15, 293
- Делянов* Иван Давыдович (1818–1897), министр народного просвещения (с 1882) – 47
- Демчинский* Николай Александрович (1851–1914/1915), метеоролог, журналист, сотрудник газеты «Новое время» – 357
- Де-Пуле* Михаил Федорович (1822–1885), педагог, краевед, писатель, критик – 268
- Державин* Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816), поэт и политический деятель – 40
- Десницкий* Михаил Валентинович, учитель-эллинист – 139, 140
- Де-Фоз* (Дефо) Даниель (ок. 1660–1731), английский писатель – 15
- Джасниш* Григорий Аветович (1851–1900), публицист, историк, общественный деятель – 66
- Дмитрий Иванович Донской* (1350–1389), великий князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362), полководец – 31
- Добролюбов* Николай Александрович (1836–1861), литературный критик, публицист, постоянный сотрудник журнала «Современник» – 145
- Донателло* (наст. имя Донато ди Никколо ди Бетто Барди) (ок. 1386–1466), итальянский скульптор – 86
- Дорошевич* Влас Михайлович (1864–1922), журналист, публицист, театральный критик – 37
- Достоевский* Федор Михайлович (1821–1881), писатель и мыслитель – 57, 94, 95, 98, 119, 121, 130, 144, 152, 155, 174, 196, 198, 199, 210, 220, 299, 321, 339, 340

- Дроздов Николай Георгиевич*, сотрудник церковной газеты «Колокол» – 88
- Дрэпер Джон Уильям* (1811–1882), американский естествоиспытатель и историк – 134
- Дуллий*, сектант – 110–114, 117
- Дурново О. Д.*, религиозный писатель – 202, 203
- Дурново Петр Николаевич* (1845–1915), министр внутренних дел (1905–1906, с 1900 – товарищ министра) – 51
- Дягилев Сергей Павлович* (1872–1929), театральный и художественный деятель, организатор «Русских сезонов» (с 1907) и труппы «Русский балет» (с 1911) за границей – 105, 228
- Евгений* (Евфимий) *Алексеевич Болховитинов* (1767–1837), церковный деятель, историк, библиограф, митрополит Киевский – 148, 227
- Евдокия Федоровна* (1669–1731), первая жена Петра I (1689–1698), дочь боярина Федора Лопухина – 313
- Егоров Ефим Александрович* (1861–1935), сотрудник газеты «Новое время», секретарь журнала «Новый путь», участник Религиозно-философских собраний в Петербурге – 37, 38
- Екатерина I Алексеевна* (урожд. Марта Скаврнская) (1684–1727), российская императрица (с 1725), вторая жена Петра I (официально с 1712) – 153, 313
- Екатерина II Алексеевна* (урожд. Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская) (1729–1796), российская императрица (с 1762) – 163, 182, 299, 322, 341
- Екатерина Арагонская* (1485–1536), английская королева, первая жена Генриха VIII (в 1509–1533) – 353, 354
- Елагин Алексей Андреевич* (ум. 1846), отчим братьев И. В. и П. В. Киреевских, переводил сочинения Ф. Шеллинга – 171
- Елагина* (урожд. Юшкова, в первом браке Киреевская) *Авдотья (Евдокия) Петровна* (1789–1877), хозяйка литературно-философского салона, переводчица, мать И. В. и П. В. Киреевских, племянница В. А. Жуковского – 171, 216
- Елагина* (урожд. Мойер) *Екатерина Ивановна*, дочь М. А. Протасовой (Мойер), жена историка Василия Алексеевича Елагина (1818–1879), брата (по матери) И. В. и П. В. Киреевских – 208
- Елец Юлий Лукьянович* (1867–1932), публицист, военный историк – 37
- Елисавета (Елизавета) I* (1533–1603), английская королева (с 1558), из династии Тюдоров, дочь Генриха VIII и Анны Болейн – 322
- Елизавета Петровна* (1709–1761/1762), российская императрица (с 1741), дочь Петра I – 313
- Елисавета (Елизавета) Федоровна* (урожд. Елизавета Александра Луиза Алиса Гессенская и Рейнская) (1864–1918), великая княгиня, старшая сестра императрицы Александры Федоровны, жена великого князя Сергея Александровича (с 1884), занималась благотворительной деятельностью – 84
- Ельчанинов Александр Викторович* (1881–1934), религиозный философ, богослов, педагог – 130, 196
- Ермак Тимофеевич* (1532/1542–1585), казачий атаман, положил начало освоению Сибири – 287, 289
- Ермолов Алексей Сергеевич* (1846, по др. данным 1847–1917), министр земледелия и государственных имуществ (1894–1905) – 44
- Ешевский Степан Васильевич* (1829–1865), историк, профессор Московского и Казанского университетов – 98
- Жан Поль* (наст. имя и фам. Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) (1763–1825), немецкий писатель – 208, 212
- Жанэ (Жане) Поль* (1823–1899), французский философ – 43
- Жебелев Сергей Александрович* (1867–1941), историк античности – 228, 229
- Жемчужников Алексей Михайлович* (1821–1908), поэт и публицист – 205
- Жуковский Василий Андреевич* (1783–1852), поэт, переводчик, литературный критик – 35, 98, 117, 118, 163, 182, 197, 205, 208, 209, 213
- Журавлев М. Н.*, предприниматель и меценат из Рыбинска – 84
- Закржевский Александр Карлович* (1886–1916), критик, историк литературы, писатель – 174–176
- Занд (Санд) Жорж* (наст. имя и фам. Аврора Дюпен, в замужестве Дюдеван) (1804–1876), французская писательница – 105
- Заозерский Николай Александрович* (1851–1919), профессор церковного (ка-

- нонического) права Московской духовной академии – 180
- Засодимский* Павел Владимирович (1843–1912), писатель – 103–105
- Засулич* Вера Ивановна (1849–1919), участница революционного движения, критик, публицист – 15
- Захарьин* Григорий Антонович (1829–1897/1898), терапевт, основатель клинической школы, занимался благотворительной деятельностью – 84
- Зверев* Николай Андреевич (1850–1917), профессор, затем ректор Московского университета (1895–1898), товарищ министра народного просвещения (1898–1901), начальник Главного управления по делам печати (1902–1905) – 315
- Зеньковский* Василий Васильевич (1881–1962), богослов, философ, педагог, священник (с 1942) – 196
- Золя* Эмиль (1840–1902), французский писатель – 35
- Иаков*, ветхозаветный патриарх – 272
- Ивановский* Виктор Федорович (1881–?), историк, преподаватель Киевской духовной академии, автор книги «Филон Александрийский» (1911) – 10
- Иванов* Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт, публицист, филолог, переводчик, теоретик символизма – 196
- Иванов* Евгений Павлович (1879–1942), публицист, писатель, участник Религиозно-философских собраний в Петербурге – 55
- Иванов* Иван Иванович (ум. 1869), слушатель Петровской земледельческой академии, убит С. Г. Нечаевым и его соучастниками – 144
- Иванов-Разумник* (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов) (1878–1946), критик, публицист, историк русской литературы и общественной мысли – 44
- Игнатъев* Е. И., автор научно-популярных книг – 75, 76
- Изгоев* (наст. фам. Ланде) Александр (Аарон) Соломонович (1872–1935), публицист, журналист, член ЦК партии кадетов – 283, 284
- Иисус Христос* – 29, 45, 64, 72, 74, 75, 83, 87, 116, 130–132, 139, 140, 176, 202, 203, 208, 239, 240, 254–256, 262, 271, 305, 342, 353, 354, 363–365
- Илиодор* (Сергей Михайлович Труфанов) (1880–1952), иеромонах, один из организаторов «Союза русского народа» – 27, 35, 125
- Илия*, ветхозаветный пророк – 131
- Иловянский* Дмитрий Иванович (1832–1920), историк и публицист – 42, 330, 360
- Ильминский* Николай Иванович (1822–1891), востоковед, тюрколог – 153
- Иннокентий* (Иван Васильевич Беляев) (1862–1913), епископ Тамбовский, экзарх Грузии (с 1909), религиозный писатель и проповедник – 125
- Иннокентий* (Иван Алексеевич Борисов) (1800–1857), архиепископ Херсонский и Таврический, богослов и церковный оратор – 245
- Иннокентий III* (Джованни Лотарио, граф де Сеньи) (1160–1216), папа римский (с 1198) – 137
- Иоанн* (XVIII в.), аббат, астроном, побывавший в России – 292
- Иоанн Богослов*, в Новом Завете апостол – 64, 131, 354
- Иоанн* (Иван) IV Грозный (1530–1584), первый русский царь (с 1547) – 152, 218, 299
- Иоанн Златоуст* (между 344 и 354–407), византийский церковный деятель, проповедник, архиепископ Константинопольский (397–404) – 74, 222, 234
- Иоанн Кронштадтский* (Иоанн Ильич Сергиев) (1829–1908), протоиерей, православный проповедник и писатель – 34, 44, 45
- Иона*, ветхозаветный пророк – 118, 132
- Иона* (ум. 1461), митрополит Московский и всея Руси (с 1448) – 31
- Иона*, монах-затворник в Киево-Печерской лавре – 113
- Иосиф*, в Новом Завете плотник, обрученный с Богоматерью Марией – 254
- Ирвинг* Вашингтон (1783–1859), американский писатель – 135
- Исаия* (IX–VIII вв. до н. э.), ветхозаветный пророк – 131
- Иуда*, ветхозаветный патриарх – 272
- Кавелин* Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, правовед, философ, общественный деятель – 11, 218, 282
- Кальдерон де ла Барка* Педро (1600–1681), испанский драматург – 211
- Каменский* Анатолий Павлович (1876–1941), писатель, киносценарист – 87
- Каменский* (Коменский) Ян Амос (1592–1670), чешский мыслитель, педагог, писатель – 98

- Кант* Иммануил (1724–1804), немецкий философ – 56, 127, 197, 212
- Кантерев* Николай Федорович (1847–1917), историк – 10
- Карамзин* Николай Михайлович (1766–1826), историк и писатель – 35, 101, 102, 117, 118, 144, 163, 188, 197, 200, 205, 218, 288
- Кареев* Николай Иванович (1850–1931), историк и публицист – 43, 363
- Карелин* (Корелин) Михаил Сергеевич (1855–1899), историк – 98
- Карл Великий* (742–814), франкский король (с 768), император (с 800), из династии Каролингов – 148
- Карлейль* Томас (1795–1881), английский историк, философ, писатель, публицист – 86, 199, 200
- Карпов* Василий Николаевич (1798–1867), философ и переводчик – 98, 127–129
- Карпов* Евгений Павлович (1857–1926), драматург и публицист – 350
- Кассо* Лев Аристидович (1865–1914), министр народного просвещения (с 1911) – 35, 49, 50
- Катков* Михаил Никифорович (1818–1887), публицист, издатель, критик – 35, 194, 217, 221, 281, 285, 286, 325, 326
- Кельсиев* Василий Иванович (1835–1872), этнограф и публицист, с 1859 по 1867 г. в эмиграции – 322, 360
- Кеплер* Иоганн (1571–1630), немецкий астроном – 76
- Кибардин* Н. И., автор книги о взглядах Аврелия Августина – 240
- Кизветтер* Александр Александрович (1866–1933), историк, профессор Московского университета, член ЦК партии кадетов, депутат II Государственной думы – 36, 98
- Кинэ* (Кине) Эдгар (1803–1875), французский историк и публицист – 199
- Киреев* Александр Алексеевич (1833, по др. данным 1838–1910), генерал от кавалерии, религиозный мыслитель, публицист – 322
- Киреевская* Авдотья Петровна – см. Елагина А. П.
- Киреевский* Василий Иванович (ум. 1812), отставной майор, помещик, увлекался естественными науками, отец И. В. и П. В. Киреевских – 207
- Киреевский* Иван Васильевич (1806–1856), философ, литературный критик, публицист, один из основателей славянофильства – 45, 98, 130, 172, 188, 196, 197, 203, 206–209, 211, 212, 214–217, 219, 221
- Киреевский* Петр Васильевич (1808–1856), фольклорист, археограф, публицист – 45, 130, 172, 188, 203, 206–209, 211, 214–221
- Кирилл Александрийский* (ум. 444), христианский церковный деятель и теолог – 259
- Киселев* Павел Дмитриевич (1788–1872), министр государственных имуществ (1837–1856), посол во Франции (1856–1862) – 194
- Кладо* Николай Лаврентьевич (1862–1919), военно-морской теоретик и историк – 267
- Ключарев* Григорий Максимович, священник, религиозный писатель – 321
- Ключевский* Василий Осипович (1841–1911), историк – 98, 100–103, 218, 313
- Книрим* Александр Александрович (1837–1904), юрист, на различных должностях при министерстве юстиции – 68
- Ковалевская* Софья Васильевна (1850–1891), математик – 161, 162
- Ковалевский* Максим Максимович (1851–1916), юрист, историк, социолог, общественный деятель – 58, 229
- Ковалевский* Павел Иванович (1849, по др. данным 1850–1923), психиатр, профессор Харьковского университета, ректор Варшавского университета – 43
- Ковальский* Иван Мартынович (1850–1878), революционный народник, при аресте оказал вооруженное сопротивление, расстрелян – 15
- Кожеевский* Владимир Александрович (1852–1917), историк культуры, публицист – 98
- Козлов* Алексей Александрович (1831–1901), философ и публицист – 196
- Коковцов* Владимир Николаевич (1853–1943), министр финансов (1904–1914, с перерывом в 1905–1906), председатель Совета министров (1911–1914), меценат – 42, 45, 367
- Колесников*, меценат – 84
- Коломнина* (урожд. Суворина) Александра Алексеевна (1858–1885), дочь А. С. Суворина – 260
- Колышкин* Иосиф (Иосиф Адам Ярослав) Иосифович (1861–1938), прозаик, драматург, публицист – 35–38
- Кольцов* Алексей Васильевич (1809–1842), поэт – 118, 197, 218
- Кони* Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, судебный оратор – 44, 65–69

- Коновалова**, мужеубийца – 299, 300, 347
- Конт** Огюст (1798–1857), французский философ и социолог, один из создателей позитивизма – 128, 192, 196
- Кордэ** (Корде) Шарлотта (1768–1793), французская дворянка, убившая Ж. П. Марата, казнена – 322
- Корецкий** Николай Владимирович (1869–1938), поэт, драматург, издатель, расстрелян – 38–40
- Корнель** Пьер (1606–1684), французский драматург – 210
- Корнилов** Александр Александрович (1862–1925), историк, публицист, общественный деятель – 171
- Короленко** Владимир Галактионович (1853–1921), писатель, публицист, общественный деятель – 44, 249, 297
- Корш** Евгений Федорович (1809/1810–1897), переводчик, журналист, издатель – 342
- Косоротов** Александр Иванович (1868–1912), драматург, прозаик, публицист – 85, 86
- Костомаров** Николай Иванович (1817–1885), историк и писатель – 101, 102
- Кошелев** Александр Иванович (1806–1883), публицист, издатель, мемуарист, общественный деятель – 220
- Кравчинский** (Степняк-Кравчинский, наст. фам. Кравчинский, псевд. Степняк) Сергей Михайлович (1851–1895), революционный народник, писатель, с 1878 г. в эмиграции – 15, 16
- Краевский** Андрей Александрович (1810–1889), издатель, журналист, публицист – 197, 287
- Кранихфельд** Владимир Павлович (1865–1918), литературный критик и публицист – 42, 249
- Красножоген** Михаил Егорович (1860–?), юрист, специалист по церковному (каноническому) праву – 180
- Кривенко** Василий Силыч (1854–1928, по др. данным 1931), публицист, театральный критик, заведующий канцелярией министерства Императорского двора – 324
- Кромвель** Оливер (1599–1658), деятель Английской революции, лорд-протектор (военный диктатор) (с 1653) – 83
- Кропоткин** Александр Алексеевич (1840–1886), общественный деятель и ученый, брат П. А. Кропоткина – 60–62
- Кропоткин** Петр Алексеевич (1842–1921), революционер, теоретик анархизма, философ, ученый, публицист – 43, 44
- Крукс** Уильям (1832–1919), английский физик и химик – 76
- Крупенский** Павел Николаевич (1863 – после 1927), бессарабский помещик, депутат II–IV Государственных дум – 35
- Крылов** Иван Андреевич (1769–1844), баснописец, драматург, журналист – 36, 54, 356
- Кугель** Александр (Авраам) Рафаилович (1864–1928), театральный критик, драматург, журналист – 44
- Кудрявцев-Платонов** Виктор Дмитриевич (1828–1891), философ и богослов – 98
- Кузнецов** Николай Дмитриевич, преподаватель церковного права в Московской духовной академии (1911–1913), автор работ по различным проблемам церковного устройства – 81, 98
- Кузьмин-Караваев** Владимир Дмитриевич (1859–1927), политический и общественный деятель, публицист, юрист – 229
- Куклярский** Федор Федорович (1870–1923), философ – 120
- Кулаковский** Юлиан Андреевич (1855–1919), филолог и историк – 10
- Курпин** Александр Иванович (1870–1938), писатель – 198
- Куртов** Павел Григорьевич (1860–1923), товарищ министра внутренних дел и командир отдельного корпуса жандармов (1909–1911) – 45
- Куропаткин** Алексей Николаевич (1848–1925), военный министр (1898–1904), в русско-японскую войну (1904–1905) командующий войсками в Маньчжурии – 44, 45, 271
- Курье де Мере** Поль Луи (1772–1825), французский писатель, публицист, филолог, памфлетист – 190
- Кускова** Елизавета (наст. имя Екатерина Дмитриевна) (1869–1958), публицист, издательница, мемуаристка, общественно-политическая деятельница – 12–14, 16, 22, 37, 42, 44
- Кутлер** Николай Николаевич (1859–1924), юрист, предприниматель, один из лидеров партии кадетов и авторов ее аграрной программы – 98
- Кутузов** А. К., видимо, имеется в виду Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848–1913), поэт, как член комиссии Государственного совета (1905) был сторонником ужесточения цензурных мер в печати – 320

- Лавров** Петр Лаврович (1823–1900), философ, социолог, публицист, один из идеологов революционного народничества – 43, 60
- Лагоз Н. М.**, автор путеводителей по Франции и Италии – 34, 35
- Лазаревы** (Лазарян), дворянский род, основатель – Лазарь Назарович Лазарев, переселившийся в 1747 г. из Ирана в Россию – 47
- Ламанский** Владимир Иванович (1833–1914), публицист, историк, ученый-славист, общественный деятель – 53, 363
- Ланге** Фридрих Альберт (1828–1875), немецкий философ и экономист – 43
- Лассаль** Фердинанд (1825–1864), немецкий политический деятель, социалист, публицист – 288
- Лаура** (урожд. Нове) (1308–1348), жительница Прованса, которой посвятил свои «Канцоньеры» Ф. Петрарка – 183
- Лафарги** Поль (1842–1911) и **Лаура** (1845–1911) (дочь К. Маркса), один из руководителей французских социалистов и его жена, покончили жизнь самоубийством – 16
- Левин** Давид Абрамович (1863–1930), сотрудник газеты «Речь» – 248, 249
- Левицкий** Феодосий, священник, религиозный писатель – 223–225
- Лейбниц** Готфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ, математик, физик, языковед – 160
- Лемке** Михаил Константинович (1872–1923), историк, археограф, публицист – 318
- Леонардо да Винчи** (1452–1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер – 135
- Леонид** (508/507–480 до н. э.), спартанский царь (с 488 до н. э.), погиб в сражении с персами у Фермопил – 82
- Леонтьев** Константин Николаевич (1831–1891), философ, писатель, публицист, литературный критик – 46, 119–121, 174–176, 187, 188, 191, 192, 196, 320, 362, 363
- Лермонтов** Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт и прозаик – 8, 19, 35, 81, 118, 145, 198–200, 205, 216, 329
- Лесевич** Владимир Викторович (1837–1905), философ и публицист – 43
- Лесков** Николай Семенович (1831–1895), писатель – 125, 359
- Ливий** Тит (59 до н. э. – 17 н. э.), римский историк – 138
- Лизогуб** Дмитрий Андреевич (1849–1879), революционный народник, помещик – 15
- Лихонин** Михаил Николаевич (1802–1864), поэт, переводчик, критик – 212
- Лобачевский** Николай Иванович (1792–1856), математик, создатель неевклидовой геометрии, названной его именем – 56
- Лодер** Христиан Иванович (1753–1832), анатом, лейб-медик, профессор Московского университета – 213
- Локк** Джон (1632–1704), английский философ – 83
- Локоть** Тимофей Васильевич (1869–?), ученый-агроном, публицист, депутат Государственной думы (трудовик) – 44
- Ломоносов** Михаил Васильевич (1711–1765), естествоиспытатель, поэт, художник, историк, общественный деятель – 19–22, 24, 118, 277, 278
- Лопатин** Лев Михайлович (1855–1920), философ и психолог – 197
- Лопухина** Авдотья – см. Евдокия Федоровна
- Лорис-Меликов** Михаил Тариелович (1825–1888), председатель Верховной распорядительной комиссии (1880), министр внутренних дел (1880–1881) – 47
- Лот**, в Ветхом Завете племянник Авраама, спасшийся со своими дочерьми после гибели Содома и Гоморры – 220
- Лэярд** (Лейард) Остин Генри (1817–1894), английский археолог и дипломат – 198
- Любавский** Матвей Кузьмич (1860–1936), историк, профессор и ректор (1911–1917) Московского университета – 101
- Любимов** Николай Алексеевич (1830–1897), физик, соратник М. Н. Каткова, редактор журнала «Русский вестник» – 281
- Лютардт** (Лютард) Христофор Эрнст (1823–1902), немецкий теолог – 98
- Лютер** Мартин (1483–1546), немецкий религиозный реформатор – 35, 139, 340, 345, 352
- Магомед** (Мухаммед, Мохаммед) (ок. 570–632), основатель ислама, в котором почитается как пророк, глава теократического государства – 134, 135, 137
- Мазаев** Михаил Николаевич (1869–?), поэт, библиограф, журналист, сотрудник газеты «Новое время» – 367
- Майер** (Мейер) Николай Васильевич (1806–1846), врач в Пятигорске, прото-

- тип доктора Вернера в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова – 198, 199
- Маймонид** Моисей (Моше бен Маймон) (1135–1204), еврейский философ, теолог, врач – 282
- Маклаков** Василий Алексеевич (1869–1957), адвокат, один из лидеров партии кадетов, депутат II–IV Государственных дум, мемуарист – 48–50
- Максаков**, член Киевского религиозно-философского общества – 10
- Максимов** Сергей Васильевич (1831–1901), писатель, этнограф, фольклорист – 148
- Максимович** Михаил Александрович (1804–1873), естествоиспытатель, историк, филолог, фольклорист – 218
- Малеванный** Кондратий Алексеевич (1845–1913), религиозный проповедник, основатель секты – 110, 117, 118
- Малиновский** Алексей Федорович (1762–1840), историк, археограф, архивист, возглавлял Московский архив министерства иностранных дел, куда в 1831 г. поступил на службу П. В. Киреевский – 217
- Мамонтов** Савва Иванович (1841–1918), капиталист и меценат, занимался предпринимательской деятельностью в промышленности и на железнодорожном транспорте, основал частную оперу, разорился в 1899 г. – 298
- Марат** Жан Поль (1743–1793), деятель Французской революции, один из вождей якобинцев – 322
- Мария Антуанетта** (1755–1793), французская королева, жена (с 1770) Людовика XVI, казнена – 322
- Мария Терезия** (1717–1780), австрийская эрцгерцогиня (с 1740), из династии Габсбургов – 322
- Мария Федоровна** (урожд. София Доротея Августа Луиза Вюртембергская) (1759–1828), вторая жена (с 1776) Павла I (тогда еще наследника престола), создала ряд благотворительных и воспитательных организаций, составивших после ее кончины «ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны» (или «Маринское ведомство») – 158, 163, 170–173
- Мария Федоровна** (наст. имя Мария София Фредерика Дагмара) (1847–1928), дочь короля Дании Кристиана IX, жена (с 1866) Александра III – 84
- Марков** Андрей Андреевич (1856–1922), математик – 99, 100
- Марков** Евгений Львович (1835–1903), педагог, публицист, литературный критик, земский деятель – 309
- Маркс** Карл (1818–1883), немецкий мыслитель, основоположник коммунистической теории, названной его именем – 195, 286
- Марлинский** (наст. имя и фам. Александр Александрович Бестужев) (1797–1837), писатель и критик – 198
- Мартьянов**, отцеубийца – 235
- Матфей**, в Новом Завете апостол – 239
- Маццини** (Мадзини) Джузеппе (1805–1872), вождем республиканско-демократического крыла движения за освобождение и объединение Италии – 199
- Медер** Владимир Давидович (псевд. Гринберг) (1879–1923), один из лидеров Бунда (еврейского рабочего союза) – 44
- Медечи** (Медичи) Джакомо (1817–1882), деятель национально-освободительного движения в Италии – 199
- Мельников-Печерский** (наст. имя и фам. Павел Иванович Мельников, псевд. Андрей Печерский) (1818–1883), писатель – 109
- Мельшин-Якубович** (наст. имя и фам. Петр Филиппович Якубович, псевд. Л. Мельшин) (1866–1911), народоволец, поэт – 15
- Менделеев** Дмитрий Иванович (1834–1907), химик, педагог, общественный деятель – 19, 265
- Меншиков** Александр Данилович (1673–1729), сподвижник Петра I, в годы царствования Екатерины I фактический правитель государства – 313
- Меньшиков** Михаил Осипович (1859–1918), публицист, сотрудник газеты «Новое время» – 44, 248, 272, 282, 301, 302, 316, 324, 351, 355, 358
- Мережковский** Дмитрий Сергеевич (1865–1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель – 44, 313, 319, 348, 361
- Месон** Джон, английский теолог – 98
- Метерлинка** Морис (1862–1949), бельгийский драматург и поэт-символист – 328
- Мехелин** Леопольд (Лео) Генрих Станислав (1839–1914), финский ученый-государствовед, один из лидеров движения за автономию Финляндии в составе Российской империи – 194
- Мечников** Илья Ильич (1845–1916), биолог и патолог, основоположник отечественной эмбриологии – 43, 330, 361

- Мещерский Владимир Петрович* (1839–1914), писатель и публицист, издатель газеты-журнала «Гражданин» – 31–33, 36, 45, 300, 302, 303, 312, 350, 351, 360
- Мигулин*, журналист, сотрудник газеты «Русь» – 324
- Миллер Герард Фридрих* (1705–1783), историк и археограф, родом из Германии, в России с 1725 г. – 278
- Миллер Орест Федорович* (1833–1889), историк литературы, фольклорист – 330
- Мильтон Джон* (1608–1674), английский поэт, публицист, политический деятель – 190
- Милуков Павел Николаевич* (1859–1943), историк, лидер и теоретик партии кадетов – 102
- Милютин Дмитрий Алексеевич* (1816–1912), генерал-фельдмаршал, военный историк, участвовал в проведении военной реформы 1860–1870-х гг. – 11
- Милютин Николай Алексеевич* (1818–1872), государственный деятель, принимал активное участие в подготовке крестьянской (1861) и земской (1864) реформ – 11
- Минцлов Сергей Рудольфович* (1870–1933), писатель, историк, мемуарист, библиограф, археолог – 147–149
- Мирабо Оноре Габриель Рикети* (1749–1791), французский политический деятель, депутат Генеральных штатов (1789), где стал известен как обличитель абсолютизма – 145
- Митрофанья* (баронесса Прасковья Григорьевна Розен) (1825–1889), игуменья Владычье-Покровского монастыря в Серпухове, была избита в подлоге документов, в 1874 г. приговорена к ссылке – 67, 69
- Михайловский Николай Константинович* (1842–1904), социолог, публицист, литературный критик, идеолог легального (либерального) народничества – 41, 44, 176, 201, 221, 249, 288, 293, 297, 306, 319
- Мишле Жюль* (1798–1874), французский историк – 199
- Моисей*, в Ветхом Завете предводитель израильтян, основатель иудаизма, пророк – 299
- Мойер*, фамилия по мужу (профессору медицины в Дерпте) Марии Андреевны Протасовой (1793–1823), племянницы В. А. Жуковского, последний сделал ей предложение, но встретил отказ со стороны ее матери (урожд. Буниной) – 171
- Молешиотт Якоб* (1822–1893), немецкий физиолог и философ – 195, 288, 322
- Моника*, мать Аврелия Августина – 162, 240
- Монфор Симон де*, граф Лестерский (ок. 1208–1265), один из лидеров оппозиции баронов английскому королю Генриху III – 137
- Мопассан Ги де* (1850–1893), французский писатель – 22, 241
- Морозов Петр Осипович* (1854–1920), историк литературы, пушкинист – 288
- Морозова* (урожд. Мамонтова) Маргарита Кирилловна (1873–1958), меценатка, учредительница религиозно-философского издательства «Путь» в Москве – 196
- Морозовы*, промышленники, владельцы текстильных предприятий, многие из них занимались меценатством – 84, 196
- Муйжель Виктор Васильевич* (1880–1924), писатель – 87
- Муратов Павел Павлович* (1881–1950), писатель, публицист, историк искусства – 10, 11, 86
- Мурильо Бартоломе Эстебан* (1618–1682), испанский художник – 192
- Мусин-Пушкин Михаил Николаевич* (1795–1862), попечитель Санкт-Петербургского учебного округа (1845–1856) – 25
- Мякотин Венедикт Александрович* (1867–1937), публицист, историк – 44, 45
- Надсон Семен Яковлевич* (1862–1887), поэт – 22, 23, 229
- Назарий*, епископ Полтавский – 121, 123, 124
- Наполеон I* (Наполеон Бонапарт) (1769–1821), французский император (1804–1814, март – июнь 1815) – 139, 186, 187, 191
- Наумов Алексей Аввакумович* (1840–1895), художник – 287
- Нафанаил*, в Новом Завете апостол – 239
- Некрасов Николай Алексеевич* (1821–1877/1878), поэт, прозаик, издатель – 13, 22, 71, 197, 201, 217, 221, 287
- Неплюев Николай Николаевич* (1851–1908), помещик, религиозный публицист, общественный деятель, сторонник переустройства крестьянской жизни на основе трудовых братств – 44, 98

- Нерон** Клавдий Цезарь (37–68), римский император (с 54), из династии Юлиев-Клавдиев – 39
- Несмелов** Виктор Иванович (1863–1937), религиозный философ, профессор Казанской духовной академии – 98
- Нестор** (XI – нач. XII в.), древнерусский летописец, монах Киево-Печерского монастыря – 138
- Нечаев** Василий Михайлович (1860–?), юрист, профессор Высших женских курсов в Петербурге – 229
- Нечаев** Сергей Геннадьевич (1847–1882), революционер, организатор тайного общества «Народная расправа» – 144–146, 189, 191
- Нечаев-Мальцев** Юрий Степанович (1834–1913), владелец стекольного завода в Гусь-Хрустальном, вице-председатель Общества поощрения художеств, меценат – 84
- Никитин** Иван Саввич (1824–1861), поэт – 268
- Никодим**, в Новом Завете фарисей, законоучитель и член синедриона, стал тайным учеником Христа, беседовал с ним и участвовал в его погребении – 130
- Николаев** Ю. (наст. имя и фам. Юрий Николаевич Говоруха-Отрок) (1850–1896), писатель, публицист, литературный критик – 320
- Николай I** (1796–1855), российский император (с 1825) – 12, 45, 97, 200, 236, 237
- Николай II** (1868–1918), российский император (1894–1917), расстрелян – 306
- Никольский** Николай Константинович (1863–?), историк литературы, профессор Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре гомилетики и истории русской церкви – 321
- Николя** Огюст, французский теолог – 98
- Никон** (Никита Минов) (1605–1681), патриарх (с 1652), лишен сана патриарха Собором 1666–1667 гг., умер в ссылке – 10
- Ницше** Фридрих (1844–1900), немецкий философ – 50, 120, 192, 195, 196, 204, 341
- Новиков** Николай Иванович (1744–1818), просветитель, писатель, философ, издатель – 196, 259, 277, 278
- Новоселов** Михаил Александрович (1864–1938), религиозный мыслитель, организатор «Кружка ищущих христианского просвещения», издатель «Религиозно-философской библиотеки» (1902–1917) – 97, 98
- Ной**, ветхозаветный праведник – 139
- Нордау** Макс (наст. фам. Зюдфельд) (1849–1923), немецкий писатель и литературный критик, по образованию врач – 43
- Нотович** Осип (Иосиф) Константинович (1849–1914), редактор-издатель газеты «Новости» и журнала «Петербургская жизнь» – 44
- Ньютон** Исаак (1643–1727), английский математик, физик, астроном, создатель классической механики – 56, 76, 154, 162, 164
- Овидий** (Публий Овидий Назон) (43 до н. э. – ок. 18 н. э.), римский поэт – 183
- Овсянников** Николай Николаевич (ум. 1912), деятель народного просвещения – 16, 17, 166
- Овсянников** Степан Тарасович, купец-миллионер – 67–69
- Огарев** Николай Платонович (1813–1877), поэт, публицист, общественный деятель – 58, 172, 196, 198, 200, 201, 287
- Огарева** (урожд. Рославлева) Мария Львовна (1817–1853), первая жена Н. П. Огарева – 201
- Одоевский** Владимир Федорович (1803/1804–1869), писатель, философ, музыкальный критик – 198, 209
- Окен** (наст. фам. Оккенфус) Лоренц (1779–1851), немецкий естествоиспытатель и натурфилософ – 215
- Ольга Константиновна** (1851–1923), дочь великого князя Константина Николаевича, замужем (с 1867) за королем Греции Георгом I (1845–1913) – 84
- Онан**, в Ветхом Завете сын Иуды, отказавшийся иметь ребенка от своей жены и умерщвленный за это Богом – 140, 145, 146
- Орленев** Павел Николаевич (1869–1932), актер – 288
- Орлов** Михаил Иванович (1864–?), протоиерей, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, религиозный писатель – 53–55
- Орнатский** Философ Николаевич (1860–1918), протоиерей, общественный деятель, председатель совета Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви – 100
- Орсини** Феличе (1819–1858), итальянский политический деятель, член патриотической тайной организации «Молодая

- Италия», покушался на Наполеона III в Париже, казнен – 199
- Ослабя** (Ослябя) Родион (ум. после 1398), монах Троице-Сергиева монастыря, герой Куликовской битвы – 125
- Павел**, в Новом Завете апостол – 10, 57, 87, 289, 354
- Павел I** (1754–1801), российский император (с 1796) – 166–168, 207
- Павел Александрович** (1860–1919), великий князь, младший сын Александра II, генерал от кавалерии, почетный председатель Русского общества охранения народного здоровья, расстрелян в Петропавловской крепости – 84
- Павленков** Флорентий Федорович (1839–1900), основатель книгоиздательства – 326
- Павлов Ф. С.**, рижский корреспондент газеты «Утро России» – 169, 184, 185
- Палем** Ольга, обвиняемая в убийстве на шумевшем процессе – 368
- Паллас** Петр Симон (1741–1811), естествоиспытатель и этнограф, по происхождению немец, работал в России (с 1767) – 330
- Панаева** (урожд. Брянская, во втором браке Головачева) Авдотья (Евдокия) Яковлевна (1820–1893), публицист, прозаик, мемуаристка – 201
- Панин** Никита Иванович (1718–1783), государственный деятель, дипломат, воспитатель Павла I – 194
- Панков** Александр Александрович (1855–1920), богослов, религиозный публицист – 82
- Пассек** (урожд. Кучина) Татьяна Петровна (1810–1889), переводчица, мемуаристка – 58
- Пергамент** Михаил Яковлевич (1866–1932), юрист, профессор гражданского права, декан юридического факультета Высших женских курсов – 229
- Первошиков** Дмитрий Матвеевич (1788–1880), астроном, математик, профессор и ректор (1848–1851) Московского университета – 220
- Передельский** Владимир Васильевич (1869–?), архивист, коллекционер – 148
- Пересвет** Александр (ум. 1380), монах Троице-Сергиева монастыря, герой Куликовской битвы – 125
- Переферкович** Наум Абрамович (1871–1940), филолог, переводчик, комментатор Талмуда – 96, 282
- Перцов** Петр Петрович (1868–1947), критик, публицист, искусствовед, поэт, издатель, мемуарист – 324
- Петерсен** Владимир Карлович (1842–1906), публицист, военный инженер, сотрудник газеты «Новое время» – 292, 340
- Петр** (ум. 1326), митрополит всея Руси (с 1308) – 31
- Петр I Великий** (1672–1725), царь (с 1682, правил самостоятельно с 1689), первый российский император (с 1721) – 26, 32, 33, 80, 152, 153, 162, 165, 166, 177, 299, 313, 323, 329
- Петр II** (1715–1730), российский император (с 1727), внук Петра I – 313
- Петр III** (1728–1762), российский император (с 1761), внук Петра I – 165
- Петрарка** Франческо (1304–1374), итальянский поэт, гуманист – 183, 218, 219
- Петров**, метранпаж в типографии газеты «Новое время» – 290
- Петров** Григорий Спиридонович (1866–1925), священник, публицист, проповедник, за критику православного духовенства был лишен сана (1908), умер за границей – 321, 323, 357
- Петров** М. Н., историк – 98
- Печерин** Владимир Сергеевич (1807–1885), общественный деятель, поэт, философ, филолог, эмигрировал (1836), принял католичество (1840) – 196, 198
- Пешихонов** Алексей Васильевич (1867–1933), экономист, публицист, член редколлегии журнала «Русское богатство», один из основателей трудовой народно-социалистической партии (энесов) – 44, 281, 330
- Пий IX** (Джованни Мария Мاستан-Ферретти) (1792–1878), папа римский (с 1846) – 300
- Пиленко** Александр Александрович (1873–1920), профессор международного права в Санкт-Петербургском университете, сотрудник газеты «Новое время» – 37
- Пименова** (урожд. Петриченко) Эмилия Кирилловна (1854–1935), переводчица, автор книг для юношества – 249
- Пирогов** Николай Иванович (1810–1881), хирург, естествоиспытатель, педагог, общественный деятель – 98, 153
- Писарев** Дмитрий Иванович (1840–1868), публицист, литературный критик, ведущий сотрудник радикального журнала «Русское слово» – 145, 288

Платон (428/427–348/347 до н. э.), древнегреческий философ – 127, 128, 160, 161, 232, 285, 350

Платонов Ал., писатель – 72

Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904), министр внутренних дел и шеф отдельного корпуса жандармов (с 1902), убит эсерами – 273

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918), деятель российской и международной социал-демократии, философ, публицист – 43

Плутарх (ок. 45 – ок. 127), древнегреческий писатель и историк – 138, 139, 210

Плющик-Плющевский Яков Алексеевич (1845–1916), юрисконсульт министерства внутренних дел – 343

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), правовед, обер-прокурор Синода (1880–1905), член Государственного совета – 28, 34, 35, 98, 117, 118, 121, 122, 125, 304, 305, 314, 315, 321, 323, 344, 360

Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель, издатель – 11, 81, 148, 214, 220, 227

Погожев Евгений Николаевич (1870–1931), церковный писатель и публицист – 82

Полубояринов, предприниматель, издатель – 149, 266

Поляков Лазарь Соломонович (1842–1914), банкир, меценат – 84

Помяловский Николай Герасимович (1835–1863), писатель – 245, 317

Попов Александр Николаевич (1820–1877), историк – 218

Попов Лазарь Константинович (1851–1917), журналист, сотрудник газеты «Новое время» – 36, 37

Поповы, предприниматели и меценаты – 84

Порфирий (Константин Алексеевич Успенский) (1804–1885), епископ Чигиринский, историк, археолог, путешественник – 26

Преображенский Иван Васильевич (1854–?), религиозный писатель – 239

Прове Ф., меценат – 84

Протасов Николай Александрович (1798/1799–1855), генерал-адъютант, обер-прокурор Синода (с 1836) – 33, 34, 117, 118, 224

Протасова А. В., меценатка – 34

Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918), крупный землевладелец

и промышленник, занимался благотворительной деятельностью, министр внутренних дел (1916 – нач. 1917), расстрелян – 84

Протопопов Михаил Алексеевич (1848–1915), литературный критик – 297

Пругавин Александр Степанович (1850–1920), исследователь сектантства и старообрядчества – 112

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865), французский экономист, социалист, теоретик анархизма – 105, 199, 229

Птоломей (Птолемей) Клавдий (ок. 90 – ок. 160), древнегреческий ученый – 76

Пугачев Емельян Иванович (1740/1742–1775), донской казак, предводитель казачко-крестьянского восстания 1773–1775 гг. – 14

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт и прозаик – 22–24, 35, 36, 47, 96, 105, 117, 118, 152, 196, 198, 200, 209, 210, 214, 218, 239, 250, 256, 260, 286, 288, 289, 295, 298, 299, 301, 315, 329, 339, 349

Пылин Александр Николаевич (1833–1904), историк литературы и общественной мысли, этнограф – 66, 305

Раден Эдита Федоровна, баронесса, фрейлина великой княгини Елены Павловны, вела многолетнюю переписку с Ю. Ф. Самариным – 11

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), донской казак, предводитель казачко-крестьянского восстания 1670–1671 гг. – 14

Раич Семен Егорович (1792–1855), поэт, переводчик, журналист – 209

Ранский (вероятно, Румовский Степан Яковлевич) (1734–1812), астроном – 76

Расин Жан (1639–1699), французский драматург, поэт – 210

Распутин (наст. фам. Новых) Григорий Ефимович (1864/1865, по др. данным 1872–1916), крестьянин Тобольской губернии, как «целитель» и «прорицатель», получивший большое влияние при дворе, убит заговорщиками – 35, 36, 45, 334

Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео Франческо) (1700–1771), архитектор – 218

Раулинсон (Роулинсон) Генри Кресвик (1810–1895), английский востоковед и дипломат, один из основателей ассириологии – 198

- Раутенфельд* Генрих фон, пациент врача-психиатра М. Шенфельда – 169, 170, 184–186
- Рафаэль Санти* (1483–1520), итальянский живописец и архитектор – 192
- Рахманов* Г. К., издатель – 101
- Рачинский* Сергей Александрович (1833–1902), ученый-ботаник, деятель народного просвещения, организатор сельских школ – 45, 87, 206, 239, 305, 306, 315, 365
- Реков* В., публицист и очеркист – 225
- Ренан* Жозеф Эрнест (1823–1892), французский писатель, филолог-востоковед, историк религии – 43, 319, 365
- Рентген* Вильгельм Конрад (1845–1923), немецкий физик – 76
- Риман* Бернхард (1826–1866), немецкий математик – 56
- Риттер* Карл (1779–1859), немецкий географ – 214
- Рихтер* Ж. П. – см. Жан Поль
- Розалин* Николай Матвеевич (1805–1834), писатель и переводчик – 211, 218
- Розанов* Василий Васильевич (1856–1919) – 10, 38, 44, 98, 103, 111, 128, 129, 242, 248, 291–332, 338–345, 347–349, 351, 355, 356, 358–361, 364–369
- Розанов* Василий Васильевич (Вася) (1899–1918), сын писателя – 140, 165–167
- Розанова* Вера Васильевна (1848–1867/1868), сестра писателя – 154
- Розанова* Вера Васильевна (Верочка) (1896–1920), дочь писателя – 133–137, 140
- Рославлев* Александр Степанович (1879–1920), поэт и публицист; по др. более вероятным данным, здесь А. Рославлев – это псевдоним И. И. Колышко – 35
- Рубакин* Николай Александрович (1862–1946), книговед, библиограф, писатель – 42–45, 121, 283, 284
- Рубакина* Лидия Терентьевна, мать Н. А. Рубакина – 43
- Рубинштейн* Антон Григорьевич (1829–1894), дирижер, пианист, композитор, музыкально-общественный деятель – 302
- Рудаков* Александр Павлович (1824–1892), протоиерей, богослов, автор популярных книг о Библии – 239
- Рукавишников* Константин Васильевич (1848–1915), горнопромышленник, предприниматель и меценат – 84
- Русаков* (Русанов) Николай Сергеевич (1859–1939), публицист, в основном сотрудничал в журнале «Русское богатство» – 249
- Руссо* Жан Жак (1712–1778), французский писатель и философ – 35
- Рыбников* Павел Николаевич (1831–1885), фольклорист – 216
- Рылеев* Кондратий Федорович (1795–1826), поэт, декабрист – 315
- Саблер* (с 1915 Десятовский) Владимир Карлович (1845–1929), товарищ обер-прокурора Синода (1892–1905), обер-прокурор Синода (1911–1915) – 28, 29, 31, 34, 44, 64, 81, 122, 124–126, 178, 360
- Саблин* Владимир Михайлович (1872–1916), книгоиздатель и переводчик – 119
- Саванаролла* (Савонарола) Джироламо (1452–1498), настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, выступал против тирании Медичи и обличал папство – 35
- Савва* (Иван Михайлович Тихомиров) (1819–1896), архиепископ Тверской, археограф – 125, 126
- Савантов*, архивист, коллекционер – 148
- Савина* Мария Гавриловна (1854–1915), актриса – 286
- Сазонов* Сергей Дмитриевич (1860–1927), министр иностранных дел (1910–1916), умер в эмиграции – 8
- Салаевы*, братья-предприниматели: Федор Иванович (1820–1879), издатель и книгопродавец, Николай Иванович (1821–1867) – 149
- Саламон* (Саломон) Александр Петрович (1853–1908), административный деятель и публицист, директор Императорского Александровского лицея, друг В. С. Соловьева – 337
- Салтыков* (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин) (1826–1889), писатель-сатирик, публицист, редактор журнала «Отечественные записки» – 98, 189, 201, 221, 265, 276, 286, 295
- Сальвини* Томмазо (1820–1915), итальянский актер – 287
- Самарин* Дмитрий Федорович (1831–1901), историк и публицист, общественный деятель – 291, 337
- Самарин* Петр Федорович (1830–1901), тульский губернский предводитель дворянства, общественный деятель – 11

- Самарин** Юрий Федорович (1819–1876), философ, историк, публицист, один из идеологов славянофильства – 10–12, 98, 327
- Самарина** Е. Н., меценатка – 84
- Саркисов** С. И., армянский языковед, учитель – 46–48
- Сатин** Николай Михайлович (1814–1873), поэт и переводчик, мемуарист – 198
- Сафронов**, метранпаж в типографии газеты «Новое время» – 290
- Саффи** Аурелио (1819–1890), деятель итальянского освободительного движения, публицист – 199
- Сахаров**, священник, историк религии – 10
- Сахаров** Иван Петрович (1807–1863), собиратель и исследователь русского фольклора, этнограф – 148, 305
- Святополк-Мирский** Петр Дмитриевич (1857–1914), министр внутренних дел (1904–1905) – 323
- Семирамида** (Шаммурамат), царица Ассирии (кон. IX в. до н. э.) – 118, 322
- Сенкевич** Генрик (1846–1916), польский писатель – 299
- Сен-Симон** Клод Анри де Рувруа (1760–1825), французский мыслитель, сторонник социалистического переустройства общества – 216
- Серапион** Машкин (1851–1906), архимандрит, религиозный писатель, о нем П. А. Флоренский писал в своем труде «Стоп и утверждение истины» – 196
- Серафим Саровский** (Прохор Сидорович (Исидорович) Мошнин) (1754, по др. данным 1759–1833), православный подвижник – 34, 80, 126
- Сергей Александрович** (1857–1905), великий князь, сын Александра II, московский генерал-губернатор (с 1891), убит эсером И. П. Каляевым – 84
- Сергий** (Иван Николаевич Страгородский) (1867–1944), епископ Финляндский (с 1905), патриарх (с 1943) – 124
- Сергей Радонежский** (Варфоломей Кириллович) (1314/1321–1392), православный подвижник, основатель и игумен Троицкого монастыря (впоследствии Троице-Сергиева лавра) – 138
- Симеон Богоприимец**, в Новом Завете старец-священник, узнавший в младенце Иисусе будущего Христа (Мессию, Спасителя) – 131
- Симеон Столпник** (ок. 390–459), христианский монах, отшельник – 340
- Сипягин** Дмитрий Сергеевич (1853–1902), министр внутренних дел (с 1900), убит эсерами – 263, 277
- Скабичевский** Александр Михайлович (1838–1910), литературный критик, историк литературы, публицист – 176
- Скальковский** Константин Аполлонович (1843–1906), публицист, директор горного департамента министерства государственных имуществ – 322
- Скворцов** Василий Михайлович (1859–1932), чиновник Синода, публицист, редактор-издатель ряда церковных изданий – 121, 122, 125
- Скобелев** Михаил Дмитриевич (1843–1882), генерал от инфантерии, в русско-турецкую войну 1877–1878 гг. командовал отрядом под Плевной и дивизией в сражении при Шипке-Шейново – 267
- Сковорода** Григорий Саввич (1722–1794), украинский философ, поэт, музыкант – 77, 127, 129, 130, 196
- Скотт** Вальтер (1771–1832), английский писатель – 40, 210, 216
- Скребицкая** М. С., меценатка – 84
- Скублинская** Марианна, акушерка из Варшавы, убивавшая новорожденных детей – 368
- Слепцов** Василий Алексеевич (1836–1878), писатель – 42
- Слонимский** Леонид Зиновьевич (1850–1918), публицист, сотрудник журнала «Вестник Европы» – 228
- Смирнов**, профессор Казанского университета, автор книги «История английской этики» – 228
- Смирнов** М. А., учитель словесности в Елецкой гимназии – 142
- Смирнов** Сергей Константинович (1818–1889), протоиерей, автор учебников церковной истории – 239
- Смирнова** (урожд. Россети или Россет) Александра Осиповна (1809–1882), фрейлина (1826–1832), жена дипломата Н. М. Смирнова, была в дружеских отношениях со многими известными писателями, мемуаристка – 11
- Снегирев** Иван Михайлович (1793–1868), историк, этнограф, археолог, фольклорист – 148, 218, 305
- Соболевский** Алексей Иванович (1856/1857–1929), филолог, один из основателей исторического изучения русского языка – 230
- Сократ** (ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий философ – 128, 160, 185, 186

- Солдатенков* Козьма Терсентьевич (1818–1901), предприниматель, издатель, меценат – 84
- Соловьев* Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, поэт, публицист – 40, 43, 46, 98, 121, 134, 196, 197, 291, 296, 337, 349
- Соловьев* Михаил Петрович (1842–1902), начальник Главного управления по делам печати (с 1896), писатель, публицист – 294, 305, 314, 315
- Соловьев* Сергей Михайлович (1820–1879), историк – 46, 98, 101, 102, 180
- Соломин* (по всей вероятности, псевд. Сергея Яковлевича Стечкина), журналист, критик, редактор – 312
- Соломон*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965 – ок. 926 до н. э.) – 54
- Соломонов* И. Е., учитель рисования в отставке, жертва семейной трагедии – 241–243
- Спартак* (ум. 71 до н. э.), гладиатор, вожь восставших рабов в Древнем Риме – 297
- Спасович* Владимир Данилович (1829–1906), юрист, публицист, общественный деятель – 293, 294, 339
- Спенсер* Герберт (1820–1903), английский философ и социолог – 128, 192, 196, 197
- Сперанский* Михаил Михайлович (1772, по др. данным 1771–1839), ближайший советник Александра I, затем генерал-губернатор Сибири (1819–1821), руководил работой по законодательству – 98, 168, 191, 194, 196
- Спиноза* Бенедикт (Барух) (1632–1677), нидерландский философ – 185, 186, 285
- Стасюлевич* Михаил Матвеевич (1826–1911), историк, издатель, общественный деятель – 66, 288
- Стахович* Михаил Александрович (1819–1858), писатель – 218
- Стахович* Михаил Александрович (1861–1923), публицист, общественно-политический деятель – 304
- Степанов* С. Л., инспектор Санкт-Петербургского учебного округа – 18, 25
- Стефан Яворский* (Симеон Иванович Яворский) (1658–1722), церковный деятель, писатель, местоблюститель патриаршего престола – 32
- Стефенс* (Стеффенс) Хенрик (1773–1845), философ, естествоиспытатель, родом из Норвегии, в Германии с 1804 г. – 208
- Столыпин* Александр Аркадьевич (1863–1925), публицист, сотрудник газеты «Новое время» – 272, 282, 314, 315, 366
- Столыпин* Петр Аркадьевич (1862–1911), председатель Совета министров (с 1906), провозгласил курс на социально-политические реформы, проводил разработанную им аграрную реформу – 36, 51, 55, 284, 330, 366, 367
- Стороженко* Николай Ильич (1836–1906), историк литературы, профессор Московского университета – 133
- Стоюнин* Владимир Яковлевич (1826–1888), педагог, автор трудов по теории и истории педагогики, методике преподавания русской литературы – 153
- Страхов* Николай Николаевич (1828–1896), философ, публицист, литературный критик – 76, 77, 220, 291, 299, 337
- Строганов* Сергей Григорьевич (1794–1882), попечитель Московского учебного округа (1835–1847), московский генерал-губернатор (1859–1860) – 198
- Суворин* Алексей Алексеевич (Леля) (1862–1937), сын А. С. Суворина, главный редактор газеты «Новое время» (1888–1901), редактор газеты «Русь» (с 1901) – 279, 340, 341, 344, 346, 362
- Суворин* Алексей Сергеевич (1834–1912), издатель, публицист, критик – 75, 177, 178, 193, 194, 257, 259–279, 282–307, 309–332, 338–344, 346–349, 351, 355, 356, 358–360, 362, 364–369
- Суворин* Борис Алексеевич (1879–1940), сын А. С. Суворина, активно участвовал в редактировании газеты «Новое время» – 333, 358
- Суворин* Михаил Алексеевич (1860–1931), сын А. С. Суворина, фактический редактор газеты «Новое время» (с 1903) – 334, 366, 367
- Суворина* (урожд. Орфанова) Анна Ивановна (1858–1936), вторая жена А. С. Суворина – 344, 347, 351
- Суворов* Александр Васильевич (1730–1800), полководец, генералиссимус (1799) – 167, 168
- Судейкин* Георгий Порфирьевич (1850–1883), жандармский офицер, заведующий агентурой петербургского охранного отделения, убит народовольцами – 15, 293
- Сумароков* Александр Петрович (1717–1777), писатель – 277
- Сусанин* Иван Осипович (ум. 1613), крестьянин Костромского уезда, убит, спасая царя – 153

Сютаев Василий Кириллович (1819–1892), крестьянин из Тверской губернии, самобытный религиозный мыслитель – 117

Талейран Шарль Морис (1754–1838), французский дипломат, министр иностранных дел (1797–1807, 1814–1815) – 42

Тамерлан (Тимур) (1336–1405), среднеазиатский эмир (с 1370), полководец – 50

Тан (псевд. Владимира Гармановича (наст. имя Натан Менделевич) Богораза) (1865–1936), этнограф, лингвист, писатель, публицист, общественный деятель – 44

Тандов (Тандьянц), армянский историк – 46, 48

Тареев Михаил Михайлович (1867–1934), православный богослов и философ – 10, 98, 355

Тарновский Вениамин Михайлович (1837–1906), венеролог, профессор Петербургской медико-хирургической академии – 307

Татищев Василий Никитич (1686–1750), политический деятель и историк – 277

Тернавцев Валентин Александрович (1866–1940), чиновник особых поручений при обер-прокуре Синода, богослов, религиозный писатель – 361

Терпигоров (псевд. Атава) Сергей Николаевич (1841–1895), писатель-публицист – 86

Тестов Иван Яковлевич, владелец ресторана в Москве – 48

Тиберий Клавдий Нерон (42 до н. э. – 37 н. э.), римский император (с 14), из династии Юлиев-Клавдиев – 132

Тириш Фридрих Вильгельм (1784–1860), немецкий филолог и педагог – 215

Титов, священник, религиозный писатель, автор исследования о ветхозаветном богослужении – 112

Титов Андрей Александрович (1844–1911), палеограф, собиратель и издатель древних рукописных памятников – 148

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923), революционный народник, после 1888 г. монархист, редактор газеты «Московские ведомости» (1909–1913), мемуарист – 98, 291, 320, 337

Тихонравов Николай Саввич (1832–1893), литературовед и археограф – 101, 133

Толстая Александра Андреевна (1817–1904), двоюродная тетка Л. Н. Толстого – 370

Толстая Мария Николаевна (1830–1912), сестра Л. Н. Толстого – 97, 370

Толстая (урожд. Берс) Софья Андреевна (1844–1919), жена Л. Н. Толстого – 261

Толстой Алексей Константинович (1817–1875), писатель – 97

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), министр народного просвещения (1866–1880), министр внутренних дел (с 1882) – 203, 264, 293, 350

Толстой К., публицист, журналист – 302, 307

Толстой Лев Львович (1869–1945), сын Л. Н. Толстого, в своих произведениях высказывал несогласие с взглядами отца – 322, 324

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель и мыслитель – 10, 35, 43, 44, 54, 58, 97–99, 119, 121, 152, 182, 187–190, 195, 196, 222, 260–262, 284, 286, 292, 294, 298, 299, 301, 302, 312, 316, 329, 333, 339, 340, 363, 365, 367, 370

Томсон Уильям (лорд Кельвин) (1824–1907), английский физик, один из основоположников термодинамики – 76

Тредьяковский (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703–1768), поэт и филолог – 277

Трепов Дмитрий Федорович (1855–1906), московский обер-полицмейстер (1896–1905), затем петербургский генерал-губернатор, товарищ министра внутренних дел, командир отдельного корпуса жандармов – 277

Третьяковы, Николай Сергеевич, предприниматель и Сергей Николаевич (1882–1943), предприниматель и политический деятель, член совета Московской галереи П. М. и С. М. Третьяковых, сын и внук собирателя западной живописи Сергея Михайловича Третьякова (1834–1892); со временем его коллекция западной живописи пополнила Музей изящных искусств в Москве – 84

Троицкий Матвей Михайлович (1835–1899), психолог и философ, профессор Московского университета (с 1875) – 128

Трубецкой Паоло (Павел Петрович) (1866–1938), скульптор, с 1906 г. жил в основном за границей – 260

Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905), философ, публицист, общественный деятель, первый выборный ректор

- Московского университета – 43, 196, 240
- Трубников*, знакомый П. В. Киреевского – 218
- Тураев* Борис Александрович (1868–1920), востоковед – 85
- Тургенев* Иван Сергеевич (1818–1883), писатель – 12, 58, 66, 104, 119, 125, 152, 182, 196, 210, 260, 298, 313
- Тычинкин* Константин Семенович (ум. после 1923), заведующий типографией газеты «Новое время» – 367
- Тэн* Ипполит (1828–1893), французский философ и социолог искусства, историк – 17
- Тютчев* Федор Иванович (1803–1873), поэт, публицист, дипломат – 130, 196, 213, 215, 217
- Уваров* Сергей Семенович (1786–1855), президент Петербургской Академии наук (с 1818), министр народного просвещения (1833–1849) – 219, 220
- Успенский* Глеб Иванович (1843–1902), писатель – 24, 42
- Успенский* П. Д., автор книги о мистической теософии – 55–57
- Ушинский* Константин Дмитриевич (1824–1870/1871), педагог, теоретик педагогики – 98, 153
- Фаресов* Анатолий Иванович (1852–1928), писатель, публицист, мемуарист – 359
- Федор Иоаннович* (Федор Иванович) (1557–1598), последний царь (с 1584) из династии Рюриковичей – 152
- Федоров* Николай Федорович (1828–1903), религиозный мыслитель, выдвинул теорию о всеобщем воскрешении отцов и преодолении смерти – 196
- Феофан Затворник* (Георгий Васильевич Говоров) (1815–1894), православный богослов, писатель, публицист, проповедник – 255
- Феофан Прокопович* (1681–1736), политический и церковный деятель, богослов, религиозный писатель – 277
- Филарет* (Василий Михайлович Дроздов) (1782–1867), архиепископ (с 1821), митрополит Московский, православный богослов, философ, историк, проповедник – 27, 33, 98, 117, 118, 224, 233, 245, 344, 345
- Филиппов* Тертий Иванович (1825–1899), писатель-славянофил, директор Государственного контроля – 276, 346
- Филипсон* Григорий Иванович (1809–1883), офицер Генерального штаба в Ставрополе, впоследствии сенатор, мемуарист – 198
- Филон Александрийский* (ок. 25 до н. э. – ок. 50 н. э.), иудейско-христианский религиозный философ – 10
- Философов* Дмитрий Владимирович (1872–1940), литературный критик, публицист – 40–42, 193, 194
- Философова* (урожд. Дягилева) Анна Павловна (1837–1912), деятельница русского женского движения – 69–71
- Флетчер* Джэйлс (ок. 1549–1611), английский дипломат, был послом в Москве (1588–1589), автор сочинения «О государстве Русском» – 220
- Флоренский* Павел Александрович (1882–1937), православный священник, философ, ученый, инженер – 10, 130, 196
- Фон-Визин* (Фонвизин) Денис Иванович (1744/1745–1792), писатель – 144
- Фотий* (Петр Никитич Спасский) (1792–1838), церковный деятель, архимандрит, оказывал влияние на Александра I – 322
- Фохт* Карл (1817–1895), немецкий философ и естествоиспытатель – 351
- Франциск Ассизский* (наст. имя и фам. Джованни Бернардоне) (1181/1182–1226), итальянский проповедник и поэт, основатель ордена францисканцев – 41, 42
- Фудель* Иосиф (Осип) Иванович (1864–1918), священник, публицист – 46, 320
- Фукидид* (ок. 460–400 до н. э.), древнегреческий историк – 326
- Фурье* Шарль (1772–1837), французский социальный мыслитель, приверженец социалистического переустройства общества – 216, 286
- Халатьянц* Григорий Абрамович (1858–1912), профессор Лазаревского института восточных языков, сокурсник Розанова – 46–48
- Хомяков* Алексей Степанович (1804–1860), философ, богослов, писатель, публицист, один из основателей славянофильства – 11, 40, 98, 130, 172, 188, 195, 196, 206, 217, 222, 286, 317, 359
- Цветаев* Иван Владимирович (1847–1913), историк античности, искусства, знаток эпиграфики, создатель и первый директор (с 1911) Музея изящных

- искусств в Москве (ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) – 84
- Цветков* Сергей Алексеевич (1888–1964), историк литературы, друг Розанова, составитель его библиографии – 130
- Цезарь* Гай Юлий (102/100–44 до н. э.), римский диктатор и полководец – 132, 141, 152, 160–162
- Цераский* (Цераский) Витольд Карлович (1849–1925), астроном – 76
- Церетели* Ираклий Георгиевич (1881–1959), депутат II Государственной думы, председатель ее социал-демократической фракции – 283, 284
- Цинциннат* Луций Квинкий (V в. до н. э.), римский политический деятель, считался образцом скромности и верности долгу – 366
- Цицерон* Марк Туллий (106–43 до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель – 48, 49
- Цокколли* (Цоколли) Г., автор книги об анархизме – 43
- Цумт*, немецкий автор грамматики латинского языка – 215
- Чаадаев* Петр Яковлевич (1794–1856), мыслитель и публицист – 190, 196
- Чамберлен* (Чемберлен) Гастон Стюарт, автор книги «Евреи, их происхождение и причина их влияния в Европе» – 364
- Черкасский* Владимир Александрович (1824–1878), общественный деятель, славянофил, участник подготовки и проведения крестьянской реформы, председатель правительственной комиссии внутренних и духовных дел Царства Польского (1864–1866) – 11
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, публицист, критик, философ, общественный деятель – 43, 144, 191, 286, 289, 303, 322
- Чертков* Владимир Григорьевич (1854–1936), издатель, общественный деятель, друг Л. Н. Толстого – 44
- Чехов* Антон Павлович (1860–1904), писатель – 262, 263, 317, 319, 330
- Чичерин* Борис Николаевич (1828–1904), правовед, историк, философ, публицист – 44, 98, 196
- Чудновский* С., автор мемуаров, опубликованных в «Вестнике Европы» – 58–61, 63
- Чулков* Георгий Иванович (1879–1939), прозаик, поэт, критик – 44
- Шалаяпин* Федор Иванович (1873–1938), певец (бас) – 24
- Шамишев*, знакомый А. Я. Панаевой – 201
- Шарапов* Сергей Федорович (1855–1911), экономист, публицист, издатель – 325
- Шатобриан* Франсуа Рене де (1768–1848), французский писатель и мыслитель – 210
- Шевырев* Степан Петрович (1806–1864), литературный критик, поэт, публицист, профессор Московского университета, академик – 218
- Шекспир* Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт – 45, 51, 83, 121, 211, 260, 288
- Шелгунов* Николай Васильевич (1824–1891), публицист, литературный критик, общественный деятель – 176
- Шеллинг* Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854), немецкий философ – 209, 211–215
- Шенфельд* Макс, врач-психиатр, возглавлял лечебницу в Риге, был убит в июле 1912 г. своим пациентом – 169, 184–186
- Шереметьевы* (Шереметевы), боярский и дворянский род, известен со 2-й трети XV в. – 194
- Шестов* Лев (псевд. Льва Исааковича Шварцмана) (1866–1938), философ и литературовед – 105
- Шешковский* Степан Иванович (1720–1794), обер-секретарь Тайной экспедиции, «кнутобоек» – 35
- Шиллер* Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства – 63, 182, 210, 211, 256, 260, 288
- Шинов* Дмитрий Николаевич (1851–1920), земский деятель, один из лидеров октябристов – 44
- Шлейден* Маттиас Якоб (1804–1881), немецкий ботаник – 206
- Шопен* Фридрих (1810–1849), польский композитор и пианист – 139
- Шопенгауэр* Артур (1788–1860), немецкий философ – 50, 54, 129, 192, 195, 196
- Шпис* (Шписс) Густав (1862–1948), немецкий хирург-онколог – 330, 331
- Штёкер* Адольф (1835–1909), немецкий пастор и политический деятель – 63
- Штраус* Давид Фридрих (1808–1874), немецкий теолог и философ – 43
- Шульговский* Николай Николаевич (1880–после 1934), писатель – 78, 80

Шапов Афанасий Прокофьевич (1831–1876), историк и публицист – 229

Шедрин – см. Салтыков М. Е.

Щекин М. С., дипломат и меценат – 84

Щербатов А. А., меценат – 84

Эврипид (Еврипид) (ок. 480–406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург – 350

Эдуард VII (1841–1910), английский король (с 1901), из Саксен-Кобург-Готской династии – 116

Элье, псевдоним сотрудника газеты «Новое время» Лазаря Константиновича Попова – 357

Эльцбахер П., немецкий социолог и философ, автор книги «Анархизм» (1900), в которой излагаются теории наиболее известных анархистов – 43

Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882), американский философ и эссеист – 29

Энгельгардт Николай Александрович (1867–1942), писатель, публицист, критик, историк литературы – 357

Эрн Владимир Францевич (1882–1917), философ, историк философии, публицист – 127–130, 196, 197

Эстергази Мари Шарль Фердинанд (1847–1923), французский офицер, по происхождению венгр, был обвинен в 1896 г. (уже после ареста А. Дрейфуса) в причастности к шпионажу в пользу Германии, что впоследствии подтвердилось (правда, частично), невиновность же Дрейфуса была полностью доказана – 355

Эфрон (Ефрон) Илья Абрамович (1847–1917, по др. данным 1919), издатель русского Энциклопедического словаря – 134, 227, 229

Южаков Сергей Николаевич (1849–1910), либеральный народник, публицист, экономист – 44

Юсупова Зинаида Николаевна (1861–1939), княгиня, меценатка, член комитета по устройству Музея изящных искусств в Москве – 84

Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927), писатель, публицист, историк литературы – 317

Языков Николай Михайлович (1803–1846/1847), поэт – 218, 219

Яковлев, калужский губернатор – 207

Якушкин Павел Иванович (1820–1872), писатель, этнограф – 218

Янжул Иван Иванович (1846–1914), экономист, статистик, социолог, профессор Московского университета, академик – 44

Янышев Иоанн Леонтьевич (1826, по др. данным 1828–1910), протопресвитер придворного духовенства, ректор Санкт-Петербургской духовной академии (1866–1883), духовник Александра III и Николая II – 93

Ясевич-Бородаевская Варвара Ивановна, исследовательница сектантства, участница Религиозно-философских собраний в Петербурге – 109–113

Составитель *В. М. Персонов*

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ 1912 года

1912 и 1812 годы	7
Богословие	9
Книжные новинки к новому году	10
«Раненая» молодежь	12
Николай Николаевич Овсянников (Некролог)	16
Педагогика как самодействующий автомат (К съезду директоров и преподавателей гимназий)	17
Может быть тревожный час истории... ..	26
Посещение преосвященного Гермогена	28
История обер-прокуроров или история церкви	31
Н. М. Лагов. Париж... Его же. Рим, Венеция, Неаполь... ..	34
Особенная чепуха за день	35
Письма в редакцию <о вызове на дуэль>	36
Н. В. Корецкий. Песни ночи	38
Д. В. Философов с «неугасимой лампадой»	40
Социал-комики	42
Литературная новинка	46
Армяне-москвичи	46
Виляй-оратор (Маклаков об университетах)	48
Молодому поколению России	51
В Религиозно-философском обществе	55
О загадке мира	55
Эс-деки в странствиях	57
Социально-политические силуэты	59
Об адресе «Св. Синода» своему обер-прокурору	63
А. Ф. Кони как писатель и юрист	65
Памяти Анны Павловны Филосовой	69

Ал. Платонов. На высотах духа. Стихотворения и рассказы . . .	72
Христос воскрес!..	72
Е. И. Игнатъев. Наука о Небе и Земле, общедоступно изложенная	75
Принятые запросы	77
Н. Шульговский. Лучи и грезы	78
Об управлении в русской церкви	80
О погибших на «Титанике»	82
Музей изящных искусств имени Александра III в Москве	83
Памяти Ал. Ив. Косорогова	85
Донателло. Н. Горбова	86
Ответ свящ. Владимиру Галкину	87
Митрополит Антоний в его исторических заслугах	91
Евреи в русской литературе	94
Московские крестоносцы	97
Атеизм «с разрешения начальства»...	99
Годовщина В. О. Ключевского	100
«Венок» на могилу Засодимского...	103
Наша прислуга, пожары и деревенская школа	106
Не будем равнодушны	108
Единство или разделение?	109
К изданию полного собрания сочинений К. Леонтьева	119
К запросу в Св. Синоде преосвященного Назария	121
Воздуха и света... (К вопросу церковного преобразования) . . .	124
Новые работы по философии	127
Вега. Апокрифические сказания о Христе	130
Бедные наши дети	133
Зависимость духа общества от духа школы	141
Официальный нигилизм	147
Уравнение программ	150
Перед задачами женского образования	156
Au naturel...	164
Врачи-«психиатры» в качестве самовольных тюремщиков	168
Историческая заслуга ведомства императрицы Марии	170
Закржевский о Конст. Леонтьеве	174
А. С. Суворин	177
Нельзя ли децентрализовать развод? (К пересмотру его в Св. Синоде)	178

Библиотека всемирной литературы. Европейские классики . . .	182
Еще о врачах-психиатрах и лечебницах-тюрьмах	183
1812–14 годы и их возможное идейное значение	186
«Государственные» ли русские (Ответ г. Философову)	193
Из прошлого нашей литературы	195
О. Д. Дурново. Так говорил Христос	202
Историко-литературный род Киреевских	203
<А. С. Хомяков... – Литургия Иоанна Златоуста...>	222
Священник Феодосий Левицкий и его сочинения...	223
В. Реков. Без средней школы. Из жизни экстерна	225
Энциклопедия из Капернауа	227
Священник Н. Р. Антонов. Русские светские богословы и их религиозно-общественное миросозерцание	230
К кончине высокопреосвященного митрополита Антония	233
К делу Мартынова	235
Б. И. Гладков. Евангельская история	238
Признаки времени	240
«Мы всегда хороши»...	241
Левину из «Речи»	248
Ответ г. Короленко	249
Закон о цензуре и администрация цензуры	249
Христианство и семья	254

ПИСЬМА А. С. СУВОРИНА К В. В. РОЗАНОВУ

Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине	259
Письма	291

ПИСЬМА В. В. РОЗАНОВА К А. С. СУВОРИНУ

Письма	337
------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект условий между Редакцией «Нового Времени» и В. В. Розановым	368
«В литературе есть произвольная сторона...»	370

КОММЕНТАРИИ	371
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	404

Научное издание

Василий Васильевич Розанов

Собрание сочинений

Признаки времени
Статьи и очерки 1912 г.

На контртитule фотография В. В. Розанова с дочерью Верой (1910-1912)

Заведующий редакцией *М. М. Беляев*

Ведущий редактор *П. П. Апрышко*

Редактор *Т. В. Исакова*

Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*

Технический редактор *Т. А. Новикова*

Корректоры *Е. Н. Горбунова, Т. И. Андрианова, Т. Ю. Коновалова*

Издательство «Республика»

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
ЛР № 010273 от 10.12.97.

ГП издательство «Республика».

Миусская пл., 7, Москва, А-47, ГСП-3 125993

ООО «Алгоритм-Книга»

Лицензия ИД 00368 от 29.10.99, тел.: 629-93-02, 733-97-89

Сдано в набор 13.01.06. Подписано в печать 13.12.06.

Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная № 1.

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 25,11. Уч.-изд. л. 31,82.

Тираж 2000 экз. Заказ № 7203.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО ордена «Знак Почета»

«Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова».
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

ISBN 978-5-9265-0307-1



ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»

Выпускает
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В. В. РОЗАНОВА

В 1994—2006 гг.
вышли следующие тома:

- Т. 1 — Среди художников (1994)**
- Т. 2 — Мимолетное (1994)**
- Т. 3 — В темных религиозных лучах (1994)**
- Т. 4 — О писательстве и писателях (1995)**
- Т. 5 — Около церковных стен (1995)**
- Т. 6 — В мире неясного и нерешенного (1995)**
- Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996)**
- Т. 8 — Когда начальство ушло... (1997, 2005)**
- Т. 9 — Сахарна (1998, 2001)**
- Т. 10 — Во дворе язычников (1999)**
- Т. 11 — Последние листья (2000)**
- Т. 12 — Апокалипсис нашего времени (2000)**
- Т. 13 — Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев (2001)**
- Т. 14 — Возрождающийся Египет (2002)**
- Т. 15 — Русская государственность и общество
(Статьи 1906–1907 гг.) (2003)**
- Т. 16 — Около народной души (Статьи 1906–1908 гг.) (2003)**
- Т. 17 — В нашей смуте (Статьи 1908 г.) (2004)**
- Т. 18 — Семейный вопрос в России (2004)**
- Т. 19 — Старая и молодая Россия (Статьи и очерки 1909 г.) (2004)**
- Т. 20 — Загадки русской провокации (Статьи и очерки 1910 г.) (2005)**
- Т. 21 — Террор против русского национализма (Статьи и очерки 1911 г.)
(2005)**
- Т. 22 — Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.) (2006)**

**Подготовлены к выпуску
следующие тома:**

- Т. 23 — На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913–1915 гг.)**
- Т. 24 — В чаду войны (Статьи и очерки 1916–1918 гг.)**



